С.Н.СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ
УТРЕННИЙ ВЗРЫВ
ЗАУРЯД-ПОЛК
ЛЮТАЯ ЗИМА
С.Н.СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

ЭПОПЕЯ

УТРЕННИЙ ВЗРЫВ

ЗАУРЯД-ПОЛК

ЛЮТАЯ ЗИМА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84 Р 7
С 32

Иллюстрации художника
А. В. Николаева

С $\frac{4702010200—1804}{080(02)—89}$ 1804—89

УТРЕННИЙ ВЗРЫВ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Над новой огромной картиной «Демонстрация перед Зимним дворцом» Алексей Фомич Сыромолотов работал в своей мастерской в Симферополе, перевезя сюда холст, начатый в Петрограде, притом работал так неотрывно, как это было ему всегда свойственно.

Хотя к октябрю 1916 года уже исполнилось ему шестьдесят лет, но он был еще очень силен и телом и духом. Он даже сказал как-то своей двадцатидвухлетней жене Наде, урожденной Невредимовой:

— Могу тебе признаться, что я, как это ни покажется кому-нибудь неестественным, ничего пока еще не потерял из всех своих качеств художника... Разве мне нужны, например, очки? Ведь нет же, ты это знаешь! Все воспринимаю ярко и точно, как и сорок лет назад, и рука вполне тверда... А? Тверда или нет? Хочешь убедиться? Надевай пояс!.. Впрочем, нет, не пояс,— он может порваться,— а лучше длинное полотенце вместо пояса.

— Зачем это?— спросила Надя и поглядела на мужа пытливо, хотя уже догадывалась, что он хочет на ней же самой показать, насколько крепки еще его шестидесятилетние руки.

Тонкая в талии и стройная, она была не ниже ростом коренастого Алексея Фомича. Незадолго перед тем она взвешивалась, и в ней оказалось почти четыре пуда.

— Это уж мое дело, зачем! Доставай полотенце, тебе говорю!

Сыромолотов глядел на нее притворно строго, Надя же на него с несколько лукавым прищуром светлых круглых глаз; потом стремительно и в то же время как бы без малейших усилий тела подошла к комоду,

выдвинула нижний его ящик, достала полотенце и завязала его на талии тугим узлом.

— Крепко? — спросил Алексей Фомич и сам еще туже затянул узел.

— Не-ет, не под-ни-мешь! — протянула Надя шаловливо, как девочка.

— Раз, два, три! — скомандовал самому себе Алексей Фомич, став за ее спиною и берясь за полотенце правой рукой.

И вдруг она очутилась над его головой, и он, торжественно шагая, прошелся из одной комнаты в другую, неся ее на правой руке, согнутой в локте, а левую уперев для равновесия в свой бок.

Когда он опустил Надю, она захлопала в ладоши, вскрикивая:

— Браво! Браво, Алексей Фомич! Браво!

Она не называла его иначе, как по имени-отчеству, не могла от этого отвыкнуть; и в то время, как он не перестал и на втором году супружества любоваться ею, она не перестала по-девичьи восхищаться им, художником-силачом.

Здесь, в Симферополе, жил еще ее дядя Петр Афанасьевич Невредимов, в доме которого она выросла и которого называла, как и все ее братья и сестры, «дедушкой», а тому было уже теперь восемьдесят восемь лет. Он был весь белый; голова его тряслась при ходьбе и при разговоре, а тело, хотя и высокое, казалось совсем легким, почти прозрачным.

Рядом с ним Алексей Фомич не мог не считаться не только молодым, даже молодцеватым: ведь ни в его густой гриве на объемистом черепе с широким крутым лбом, ни в его подстриженной клином русой бороде не было еще седых волос. При виде его каждый говорил: «До ста лет доживете!» — на что Алексей Фомич отвечал серьезно: «Я и сам полагаю, что не меньше».

Надя не замечала старости своего мужа просто потому, что не видела этой старости. Выйдя замуж за него в Петрограде, где она была на бестужевских курсах, она радостно вернулась с ним в Симферополь, где все было для нее родным, где она могла хоть ежедневно бывать у матери в доме «деда», где мать ее, Дарья Семеновна, продолжала, как и много лет назад, вести хозяйство; где жили многие из ее подруг по гимназии, с иными из которых ей доставляло удовольствие встре-

чаться: ведь недавнее девическое не могло же так вот сразу испепелиться в ней.

Но самое значительное в ее жизни была, конечно, мастерская ее мужа, где занимала еще одну из стен картина «Майское утро», два с лишним года назад тронувшая ее до слез, и где возникала теперь новая, гораздо более сложная и глубокая «Демонстрация», создававшаяся у нее на глазах и даже при ее участии, как не раз говорил ей сам Алексей Фомич.

Ведь на этой картине она шла впереди огромнейшей толпы с красным флагом. Она как бы жила уже там увековеченная, обессмерченная,—там как будто даже больше, чем вот тут, в телесной своей оболочке... Она нашла для этой картины в Петрограде массивного, похожего на царя Александра III, только без бороды, пристава Дерябина. Она ходила к этому приставу вместе с Алексеем Фомичом; она содействовала тому, что Дерябин, не зная, зачем и куда он будет нужен Алексею Фомичу, согласился позировать ему, сидя верхом на прекрасном породистом вороном коне в белых чулках; и вот теперь как живо стоят они,— и конь и его монументальный всадник на картине, стоят впереди наряда конной полиции, охраняющей Зимний дворец.

— Без тебя, Надя, не было бы этой моей картины,— так часто говорил Алексей Фомич, и его слова поднимали Надю в какую-то блаженную высь. Она чувствовала себя как бы частью вот этого большого художника-творца, властелина линий и красок, такого необыкновенного, единственного и в то же время такого простого, своего, всегда бывшего рядом с нею.

Она представляла себе, как будут смотреть эту картину, когда, наконец, ее можно будет выставить. Не картина, а творение, и как будто не Алексей Фомич, ее муж, и она вместе с ним творили, а весь народ.

Ведь началом революции будет непременно демонстрация перед Зимним дворцом, и эта вторая революция после той, пятого года, победит, не может не победить!.. Если не победит, то ведь нельзя будет и выставить такую картину. Ее и теперь приходится скрывать от любопытных глаз, никого не впускать в мастерскую и никому не говорить, чем занят Алексей Фомич.

Те этюды, которые продолжал делать он к своей «Демонстрации», и здесь, как в Петрограде, ни в ком не могли, конечно, возбудить подозрений: ведь все эти детали сами по себе были вполне невинного свойства,

но вся картина в целом представлялась Наде большим и серьезным делом, частью огромнейшего и серьезнейшего дела освобождения России. Этим делом занят был теперь,— она это ощущала живо,—как на фронте, так и в тылу весь народ, за исключением... но исключение это виделось Наде таким ничтожным, что она готова была повторять вслед за Алексеем Фомичом: «Очень шибко катится колесница русских судеб!..»

Правда, он добавлял к этому еще: «Поэтому и мне надо двигать свою картину как можно быстрее...» Но Надя знала, что он не теряет не только ни одного дня, даже и часа во дню, и иногда говорила:

— Ну, Алексей Фомич, так работать, как ты работаешь, не в состоянии, я думаю, ни один художник.

На что Алексей Фомич отвечал:

— Именно так, как я-то, и работают все вообще художники... Конечно, я имею в виду настоящих, а не так называемых.

А однажды к этому добавил:

— На натуру очень много времени уходит, вот что... Точнее, на поиски настоящей натуры... Попадается, да не то, что надо... И с Леонардо да Винчи тоже ведь был не совсем приятный для заказчиков пассаж. Я говорю о «Тайной вечере». Заказали и назначили срок. Начал он писать, а с кого же прикажете писать — ведь не пристава, а самого Христа и двенадцать его апостолов? Надо найти, с кого, и вот он ищет. Больше всего времени уходит на поиски, а не на работу. Двенадцать лиц, наконец, есть на картине, это считая с Христом, а тринадцатое? Для тринадцатого натуры никак не может найти. Месяц ищет, два ищет, три ищет,— нет! И черт его знает, где его разыскать! Кто же этот тринадцатый? Да Иуда!.. Три месяца ходил по всем притонам, пока наконец-то набрел на подходящий профиль подлеца! И возвел его в перл создания... Он на картине и чернее-то всех других, и за мешок со сребрениками держится да еще и солонку локтем опрокинул,— всесторонний, следовательно, негодяй!

В поисках натуры для картины Сыромолотов ежедневно гулял по той улице, на которой стоял его дом, и по другим соседним, более оживленным, и вглядывался так пристально во все встречные лица, что казался очень подозрительным тем, кто его не знал: не сыщик ли?

Но такие все-таки были редки, большинству же он был известен, а так как ходил он медленно, что было необходимо ему для наблюдений, то какие-то местные остряки сочинили даже речение: «мертвый шаг, как у художника Сыромолотова».

Иногда, правда, очень редко, заходил по вечерам, когда нельзя было писать красками, в дом Сыромолотова старик Невредимов. Он заходил поговорить о политике, не об искусстве, но разве мог без такого колоритного старца обойтись Алексей Фомич? Все поколения должны были найти свое место в огромной толпе манифестантов, поэтому был на картине и он, белоголовый, только ему не говорили об этом ни сам художник, ни Надя, так как не были уверены в том, что он не расскажет о картине кому не следует: у него, бывшего здесь несколько десятков лет нотариусом, много было знакомых.

Он садился обыкновенно в гостиной, зажав между острых колен свою трость с набалдашником в виде лающей моськи. Выточенная из моржовой кости голова этой моськи была удобна тем, что сверху отполировалась под рукою, стала совершенно гладкой, и на нее отлично можно было опираться, а снизу захватить ее безымянным пальцем, чтобы в руке держалась крепче.

О политике он говорил однообразно, но вполне убежденно:

— Паршивый у нас царишка,— вот беда наша!.. И ту войну, с японцами, проиграл, так зачем же в эту еще полез?.. Си-дел бы ты, пропойца непутевый, тихомирно, дожидался бы, когда удобнее тебе лататы задать, а то, пожалуй, хуже тебе будет: убьют, как Людовика Шестнадцатого убили.

Сыромолотов слушал и, незаметно для увлеченного старца, подмигивал Наде, дескать, не прав ли он был, поместив деда в толпу демонстрантов. Но когда вместе с дедом приходила Дарья Семеновна, та все-таки, на случай чего, оглядывалась при таких бунтарских словах на окна и успокаивалась, когда вспоминала, что окна выходят не на улицу, а в сад.

Вся круглая и невысокая, она увековечила себя не в Наде, а в ее младшей сестре Нюре, с недавнего времени живущей в Севастополе, где муж ее, прапорщик флота, служил на одном из самых крупных судов. Таким образом, в войну была втянута и эта дочь Дарьи Семеновны, как двое из ее сыновей, служивших в ар-

мии на Западном фронте, и двое других — на других фронтах, а между тем до войны они были кто инженерами, кто студентами,— так велик был спрос на пушечное мясо. Ведь свыше двух миллионов было в плену в одной только Германии, не говоря о миллионах раненых и убитых.

Очень затянулась война, о которой в начале ее многие, даже сведущие в государственных делах, люди, как бывший премьер-министр Витте, говорили, что она должна окончиться через три-четыре месяца. Летнее наступление на Юго-западном фронте захлебнулось под Ковелем; Румыния, выступившая не на стороне тройственного союза, была в очень короткий срок разбита и занята германо-болгарскими войсками; Италия была разбита Австрией...

Успехов не было, но тем отчетливей в сознании Нади рисовалось, что такое напряжение всех сил может привести только к очень крупным и главное — решительным результатам. Она любила повторять вслед за мужем: «Угол падения равен углу отражения!..»

Называя свои заботы о картине Алексея Фомича прямым участием в его работе, она старалась делать все, чтобы на пути к окончанию этой работы не возникало никаких препятствий. Но вдруг,— это случилось 5 октября,— она получила тревожную телеграмму: «Надя, приезжай немедленно: мне очень плохо, и совсем некому мне помочь. Нюра».

Нюру в самом начале войны Надя устроила на те же бестужевские курсы, где училась сама. Там, в Петрограде, Нюра познакомилась с молодым лесничим Калугиным, за которого и вышла замуж. Но война требовала новых и новых жертв на место выбывших из строя людей, и Калугин, имевший какую-то льготу, был тем не менее взят в ополчение. Он должен был пройти через школу прапорщиков и выбрал морскую школу в Кронштадте, которую через четыре месяца окончил, получив не столько знания морского дела, сколько чин «прапорщика по морской службе». Окончив эту школу одним из первых по успехам, он получил назначение на новый мощный линкор «Императрица Мария». Назначение это считалось его товарищами по школе очень счастливым, так как Черноморский флот в эту войну почти не имел никаких столкновений с противником, поэтому опасности там не предвиделось.

Но Нюра была беременной, и, отправляясь в Севастополь, Калугин оставил ее в Петрограде, чтобы она могла приехать к нему, когда он устроится на новом месте, несколько освоится со службой и найдет квартиру, что было нелегко, так как Севастополь был переполнен. Когда же, наконец, он нашел комнату, Нюра так поспешила к мужу, что даже не остановилась в Симферополе, чтобы повидаться с матерью и сестрой,— отложила это до более удобного времени.

Она, конечно, писала из Севастополя, но ничего тревожного не было в ее письмах; и вдруг теперь эта телеграмма, очень спешно вызывающая Надю.

— А что, может быть, и мне надо поехать вместе с тобою? — совершенно неожиданно для Нади сказал Алексей Фомич.

Отлично знавшая, как дорожит своим временем муж, Надя так была обрадована этой готовностью его ей помочь, что, хоть и была в слезах, бросилась его целовать. И на другой уже день они поехали в Севастополь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поезд пришел туда в шестом часу вечера.

С вокзала на извозчике отправились сначала в гостиницу Киста, старый трехэтажный дом, выбеленный еще до войны в светло-зеленый тон, но теперь очень неприглядный, выцветший, с подтеками.

Хорошо в этой гостинице было только то, что стояла она недалеко от Графской пристани, Морского собрания, Приморского бульвара. Хорошо было и то, что нашелся в ней свободный номер, хотя и очень невзрачный, убого обставленный, на третьем этаже.

Гостиница эта возникла здесь еще с тех времен, когда Севастополь начал отстраиваться в семидесятых годах после Крымской кампании. С третьего этажа видно было всю Большую бухту, в которой стоял флот, и Алексей Фомич тут же, войдя в номер, обратился к коридорному:

— А что, любезнейший, можете вы мне показать, где стоит корабль «Императрица Мария»?

Коридорный, человек еще не старый, но какой-то весь выжатый, желтый, худой, бритый, лысый, с судачьими глазками, почему-то сначала оглядел всего Алексея Фомича и Надю, потом склонил небольшую

головку свою на правый бок и ответил не без серьезности:

— «Мария» называется дредноут, а стоит вот, куда покажу вам пальцем.

Алексей Фомич прищурил глаз, чтобы точно продолжить линию указательного пальца коридорного, и спросил:

— Это, значит, длинный такой и низкий?

— Осадку, действительно, имеет он низкую, а что над ним повыше, это называется башня для орудий.

— Где, где «Мария»? — с большим любопытством прильнула к Алексею Фомичу Надя и, когда он показал ей этот дредноут, протянула:

— Вот он какой!.. Я думала, что все-таки он более видный!

Коридорный, как будто обидясь за «Марию», кашлянул в руку и сказал, глядя исподлобья:

— Это, конечно, издаля только кажется, а близко посмотреть если, прямо страшилище!

И тут же добавил сухо:

— Документики ваши пожалуйте для прописки, а то у нас очень большие строгости ввиду военного времени.

— Очень не нравится мне тут,— сказал Алексей Фомич, когда коридорный ушел с его паспортом.

— Ну, уж как-нибудь перетерпим одну ночь, а завтра переменим... Что же, когда у Нюры никак нам нельзя: одна комната, а их двое,— отозвалась Надя и открыла окно.

— Да, смотря как сложатся обстоятельства, в чем будет заключаться наша помощь, а то, раз Нюре так плохо, пожалуй, в этот номер за целый день ни разу и не заглянешь,— попытался представить себе этот завтрашний день Алексей Фомич.

— Хлопотать уж сейчас надо начать,— заторопилась Надя.— Пойдем-ка искать этот Рыбный переулок, где Нюра живет.

О том, что живет в доме номер шесть по Рыбному переулку, Нюра писала, а что идти к нему надо было сначала по Нахимовской, узнали в конторе гостиницы.

Около памятника Нахимову остановился было созерцательно Алексей Фомич, но Надя спешила:

— После, после посмотришь! — и потянула его за рукав.

Стремительная всегда Надя стала здесь совсем летучей, и Алексей Фомич, едва поспевая за нею, шутил:

— Не зря у тебя на шляпке какое-то птичье перо, и хорошо еще, что одно, а не пара: тогда бы уж где бы мне было за тобой угнаться!

Шляпка у Нади была осенняя коричневого бархата, а крыло — ярко-голубое; и легкой походкой жены, и ее стройным станом любовался Алексей Фомич здесь, в чужом для него городе, как будто давненько уже ее не видел, как будто они встретились здесь после случайной и досадной разлуки. Это примиряло его и с убогим номером у Киста, и с теми хлопотами, которые уже начались.

Нюру он часто видел в Петрограде и питал к ней родственные чувства, так как была она во многом сходна с сестрою. Но когда они добрались, наконец, до квартиры Нюры и вошли к ней, он с первого взгляда даже не узнал ее, так она располнела: Нюра ли это, или кто другая?.. И даже ростом стала как будто гораздо ниже, чем была, но это уж объяснялось тем, что теперь на ней были мягкие домашние туфли, а в Петрограде — ботинки на высоких каблуках.

Только прямой пробор светлых волос и очень радостный взгляд круглых глаз и то, как, ахнув, она сложила перед грудью лодочкой руки, напомнило Сыромолотову, что перед ним действительно Нюра, но это продолжалось не больше мгновенья, а в следующее мгновенье сестры слились в одно двуглавое четырерукое тело, которое художник наблюдал со свойственным ему острым вниманием.

Волосы Нади в двух хитро закрученных косах, выдаваясь сзади из-под шляпки, были явно темнее волос Нюры, и узкий сзади черный жакет Нади очень хорошо оттенялся широким синим Нюриным капотом. Главное же, эта группа щедро была освещена бившими сквозь окно лучами низкого уже вечернего солнца, так ярко позолотившего слившихся сестер, что Алексей Фомич не мог не сказать восхищенно и громко:

— Прекрасно!.. Положительно, прекрасно!..

Он совсем не хотел, конечно, спугнуть очарования,— напротив, ему хотелось, чтобы оно как можно дольше длилось, это редкостное мгновенье, но Нюра оторвалась от Нади и раскрыла перед ним руки, лепеча:

— Ах, как я рада, что вы тоже приехали вместе с Надей, Алексей Фомич!.. Ах, как я рада!

И Алексей Фомич, растроганный этим лепетом, почти детским, обнял ее и поцеловал сначала в пробор волос, потом в лоб над левой бровью и, наконец, в круглую и тугую щеку.

Только после этого Сыромолотовы разделись, и Надя сняла свою шляпку. Хоть и старшая, но она казалась теперь Алексею Фомичу года на три моложе своей младшей сестры.

— Да вы, Нюра, настоящая уже матрона! — весело сказал он.— И что всего удивительнее,— посмотри-ка, Надя, какое у Нюры чистое лицо!.. А ведь как часто бывает,— я сам наблюдал это несколько раз — появляются на лице какие-то желтые пятна, синие отеки,— вообще искажаются очень лица в таком положении, и это вполне понятно, а вот она — как и была, только что пополнела! Молодцом, молодцом, Нюра,— положительно, молодцом! Это — хороший признак. Значит, все окончится благополучно!

И тут, заметив прямо около себя на шифоньерке черного резинового слоника с приподнятым хоботом, Алексей Фомич вздумал помять его от полноты чувств и, когда слоник запищал вдруг тонко и умоляюще, залился веселым смехом.

Нюра тоже улыбалась, глядя на него, но улыбка ее была грустной, и она сказала:

— В том-то все и дело, что совсем неблагополучно, Алексей Фомич.

И вдруг на глаза ее навернулись слезы и покатились медленно по щекам.

— Что такое?.. Почему это? — сразу осерьезился Сыромолотов, заметив ответные слезы и в глазах Нади.

— Я была у двух здешних врачей-акушеров, и оба нашли у меня предлежание плаценты.

Алексей Фомич поднял брови и вопросительно поглядел на Надю, надеясь, что она поняла сестру. Однако и Надя тоже глядела недоуменно, и Нюра пояснила:

— Положение, значит, такое, что родить, как все рожают, я совсем не могу, и если мне не сделают своевременно операцию-чревосечение, то...— она не договорила, только развела короткими полными руками.

Надя вскрикнула коротко и негромко, вскочила и кинулась к сестре. Теперь, стоя над нею, она припала к ее голове, и обе плакали.

Солнце уже опустилось настолько, что свет из окон (их было два и оба на запад) лился уже притушенный,

и Алексей Фомич глядел на жену и свояченицу теперь уже не глазами художника.

Он старался представить себе того хирурга, который будет делать операцию Нюре. А вдруг хирург этот недостаточно опытен, и операция выйдет неудачной?.. Это его сразу встревожило так, как будто не Нюре даже, а его Наде предстояла такая страшная операция.

Чтобы успокоиться, он начал разглядывать комнату, в которой сидел. Она была большая, разделенная надвое толстой занавеской с темно-коричневыми крупными цветами по соломенно-желтому фону. За этой занавеской находилась, конечно, спальня,— здесь же была гостиная с мебелью, как в зажиточных домах старого уклада жизни: мягкие стулья в белых чехлах, широкий диван с вышитыми бархатными подушками, а на столе с изогнутыми ножками — малиновая ковровая скатерть... «Ничего, что ж,— хорошая комната. Заботливый, значит, у Нюры муж...» — подумал Алексей Фомич и, чтобы разрядить тяжелое настроение сестер, спросил:

— А где же ваш муж, Нюра? На корабле своем, должно быть, на «Императрице Марии»?

— Нет, он сейчас в городе,— ответила Нюра, выглянув из-под руки сестры.— Он поехал окончательно договориться с хирургом, какой будет мне операцию делать... Ведь получилось так, что ребенок, хоть он несколько недоношен еще, однако... А вдруг начнутся преждевременные роды? Говорят, надо это предупредить, а то будет уж поздно. А Мише как раз завтра с утра надо быть на корабле,— у него вахта после поднятия флага... Ему уж часа через два надо на корабль отправляться, а то может опоздать на катер: после одиннадцати часов никакие катера с кораблей к Графской пристани уже не приходят... Да ему и отпуск дан только на сегодня... Ах, как это хорошо, что вы приехали!.. Мы с Мишей хотя и просили нашу хозяйку мне помочь,— отвезти меня в больницу, да она сама сейчас не очень здорова,— у нее зубы... А вдруг завтра совсем разболеется, как тогда?.. С вашим приездом я прямо на седьмое небо попала!

Голос у Нюры был певучий, грудной, хотя и негромкий, и говорила она без каких-либо заметных усилий.

— А куда же все-таки тебя надо будет отвезти? — спросила Надя.

— Придется просто в городскую больницу тащить меня,— сказала Нюра таким тоном, будто извинялась.— У тех двух акушеров, у каких я была, есть частные родильные заведения, маленькие, но, во-первых, там очень дорого будет стоить, а самое главное,— ведь они оба не хирурги, и хирурга им надо будет приглашать все равно из городской больницы... Так зачем же, спрашивается? Лучше уж прямо туда и ехать, где хороший хирург, а он считается очень опытный, он уж пожилой, фамилия его Готовцев.

Как раз в это время в комнату вошел морской офицер, и при первом взгляде на него Алексей Фомич по карточке, присланной когда-то Нюрой сестре, узнал Михаила Петровича Калугина, прапорщика флота.

Приглядеться к себе он, впрочем, не дал. Быстро сняв фуражку и положив ее на полку вешалки, он подошел к Наде, она же коснулась губами его густых темных, но не черных волос. Алексей Фомич отметил, что движения его были очень отчетливы, точно совершались по команде. Не задержавшись ни секунды лишней около Нади, Калугин повернулся к нему и, поклонившись, протянул ему руку. Алексей Фомич положил левую руку на его погон,— прочный, широкий, с черным просветом и с одной серебряной звездочкой, притянул его к себе, и они по-родственному поцеловались.

После этого, задержав его руку в своей и рассматривая его лицо, Алексей Фомич заговорил в приподнятом тоне:

— Вы знаете, кто вы мне приходитесь, Михаил Петрович? — Свояк,— вон кто!.. Довелось мне, значит, дожить до свояка!

Калугин улыбнулся и начал снимать свою легкую черную шинель.

Без шинели, в одной форменной тужурке с большим серебряным значком Лесного института с правой стороны, в безукоризненно белом воротничке и в таких же манжетах, он казался еще более собранным, по-юношески гибким, хотя по лицу ему можно было дать лет под тридцать; роста он был хорошего,— выше среднего.

Несколько старила его бородка, хотя и небольшая, мягкая, цветом чуть светлее волос на голове. Мягким,— иначе Сыромолотов не мог бы определить,— был и взгляд его глубоко сидевших небольших глаз, мягкими были и линии носа... «Не то, чтобы красивое, но, право, какое-то уютное лицо»,— думал Алексей Фомич,

размышляя по обыкновению, не подойдет ли он к его картине и куда его, моряка, можно было бы там поместить.

Надя же тоже ни разу не видавшая Калугина в Петрограде, очень внимательно приглядываясь к нему, теперь думала, не виноват ли он в этом Нюрином «предлежании плаценты», и решила про себя, что он больше похож на учителя младших классов, чем на моряка, что такой не может быть виноват в несчастье, постигшем Нюру. Да и сама Нюра в письмах своих никогда не сообщала о нем ничего плохого: было видно по этим письмам, что живут они дружно.

— Доложила уж вам Нюра, в чем наша к вам просьба? — спросил Калугин, улыбаясь больше Наде, чем Алексею Фомичу, хотя и на него перевел глаза. И, как бы угадывая, о чем думает Надя, добавил: — Я сейчас был у хирурга, и говорил он мне, что подобные случаи в его практике встречаются не так редко, а причины, почему так происходит, медициной еще не открыты... И знаешь ли что,— обратился он к Нюре,— советует не откладывать дела в долгий ящик, а завтра же ложиться в больницу!

— Вот видишь,— завтра! — сказала Наде Нюра с испугом в глазах.

— Это не значит, впрочем, что операция будет непременно завтра, но во всяком случае на этих днях... смотря по обстоятельствам. Вообще там ты будешь у них под наблюдением, и все у них там, в случае надобности, под руками... Да и хирург ведь живет там же: у него казенная квартира,— пояснил Калугин, обращаясь к свояку.

— Разумеется, да... Разумеется, так будет умнее всего,— сразу согласился Сыромолотов и тут же добавил: — Хотя мне лично не приходилось испытывать тревог, подобных вашим, но вот Надя как женщина, притом же сестра, она-то уж позаботится, затем и приехала... А я, конечно, буду за ассистента при ней... У меня ведь сын тоже прапорщик, как вы, и лет, должно быть, ваших, только он художник... Он родился нормально и, правду сказать, не при мне,— я в то время уезжал на этюды на Волгу сначала, а потом на север: северное сияние меня привлекало тогда,— это зрелище, доложу вам!.. Он в пехоте, в окопах на Юго-западном фронте... Кстати сказать, ваша служба, Михаил Петрович, в этом отношении, как бы сказать, го-раз-до культур-

нее!.. Да и о военных действиях вашего Черноморского флота что-то мало пишут в газетах: похоже, что их и нет совсем, а?

— Нет, вы говорите? Да, конечно, у нас и чище и куда тише, а что касается военных действий, то есть у нас для этого адмирал Колчак, командующий флотом: нет, нет, да и придумает какие-нибудь действия, совсем ненужные!

— «Мария» семь дней в походе была,— вставила Нюра,— Миша только вчера вернулся... А завтра, может быть, опять снимутся с якоря.

— Нельзя выдавать в публику военные тайны! — шутя погрозил ей пальцем Калугин, но тут же обратился к Алексею Фомичу: — Все может быть,— вдруг возьмем да пойдем.

— А куда же именно? — спросила Надя.

— Вернее всего, что опять к Варне... Есть такая болгарская крепость на черноморском побережье. Мы именно туда и ходили, но наткнулись на минные заграждения, так что по Варне и одного выстрела не пришлось нам сделать, зато два тральщика потеряли на минах.

— Как потеряли? — очень живо обратился к свояку Сыромолотов.

— Подорвались на минах и разлетелись в куски,— объяснил Калугин.— Назначение тральщиков — тралить мины,— вытаскивать из воды и делать безвредными... Два таких тральщика шли впереди нас... Вдруг слышим — взрыв! Глядим, одного тральщика на воде уж нет... Колчак был на «Марии», посылает миноносец спасать людей, если можно. Видим, идет миноносец на явную гибель в ту сторону, влево, а в это время другой тральщик, который был правее, тоже фонтаном взлетает на воздух!.. Вот что у нас было, а вы говорите: безопасно! Спасибо, что хоть миноносец Колчак тогда отозвал обратно: спасти бы он никого не спас, а только бы сам напоролся на мину... К чему же свелся весь наш поход против Варны? Два тральщика потеряли да несколько офицеров и несколько десятков матросов списали в расход, вот и все, весь результат. Спасибо, что хоть миноносец-то уцелел!

— Так никого решительно и не спасли? — спросила Надя.

— Ну, где уж там кого-нибудь спасать! Да и некого было: все сразу погибли... Так мы и повернули назад оглобли... Кстати, время уж чай пить, пойду скажу

хозяйке. Я вестового не держу,— добавил Калугин и вышел из комнаты.

— Зачем же это Михаил Петрович при тебе рассказывает такие страшные вещи? — обратилась Надя к сестре.

— Да я ведь от него уже слышала это еще вчера и гораздо более подробно,— просто ответила Нюра, а в это время прислуга хозяйки, сумрачная женщина лет за пятьдесят, внесла кипящий никелированный самовар. Она была и раскосая и неопрятная на вид, но, как это ни странно было слышать Наде от Нюры, к ней приходил какой-то рябой с черным лицом сверхсрочный матрос.

За самоваром Калугин говорил о линкоре «Мария»:

— Это махина ровно в двадцать три тысячи тонн водоизмещения! У нас на Черноморском флоте таких дредноутов два: второй — «Екатерина Великая». Да еще вот-вот должен к нам прибыть третий однотипный «Александр Третий»...

— Откуда прибыть? — перебил Сыромолотов.

— Из Николаева, там у нас такие чудовища строят. А у турок, кроме немецких крейсеров «Гебена» и «Бреслау», можно сказать, ничего нет. «Мессудие», «Меджидие», «Гамидие» были, но теперь из этого старого хлама остался только «Гамидие» — небольшой крейсерок, а «Меджидие» сел на мель под Одессой, «Мессудие» в Дарданеллах подорван английской подводной лодкой... «Гебен» — солидный, конечно, крейсер в двадцать три тысячи тонн, но у нас на четырех башнях двенадцатидюймовки, а у «Гебена» на дюйм меньше; это значит, что мы можем бить его с такой дистанции, когда у него будут недолеты. Встреча с «Гебеном» у «Марии» была, обменялись несколькими выстрелами без всяких результатов, и «Гебен» ушел восвояси.

— А догнать его? — энергично спросил Алексей Фомич.

— Догнать? — Калугин улыбнулся.— Догнать нельзя: он оказался быстроходнее... Это уж недостаток всех наших больших судов: тихоходы. И в Балтийском флоте тоже... А во всем остальном — последнее слово техники!... В этом отношении мне очень повезло, что я на такой корабль попал, как «Мария», ведь мог бы попасть и на тральщик и даже на какой-нибудь транспорт... У нас на корабле тысяча двести человек экипажа матросов и офицеров. Целый городок, да и матросы

наши — народ отборный, всех специальностей: артиллеристы, машинисты, гальванеры...

— Это что за специальность? — удивилась Надя.

— Старое название электриков... Ведь у нас электричество поворачивает орудия огромной тяжести, электричество подает на лифте и снаряды из крюйт-камеры... Снаряды ведь тоже многопудовые, и каждый снаряд надо не только поднять до орудия, а еще вложить, и всей этой работой ведают гальванеры... В машинном отделении — машинисты, при орудиях — комендоры, наводчики,— это все развитой народ, хорошо грамотный... Кроме всего прочего, у нас на берегу и два гидроплана стоят на случай разведки,— значит, и летчики есть. А против чужих аэропланов есть в башнях особые орудия семидесятипятимиллиметровые,— вот как мы вооружены,— знай наших!

В тоне, каким говорил это Калугин, была нескрываемая гордость за свой корабль, за свой николаевский завод, инженеры и рабочие которого создали такое совершенное и грозное для противника судно, наконец и за своих матросов, которым вполне послушна такая чудовищная сила. Он воодушевился, этот двухмесячный моряк, и теперь очень нравился и Алексею Фомичу и Наде.

— А как все мудро устроено,— продолжал он,— даже в смысле непотопляемости корабля. Ведь в корпусе его порядочное число водонепроницаемых перегородок! Вы представляете это?

— Гм... С трудом,— признался Сыромолотов.— Мне нужно было бы посмотреть вблизи на такой корабль, чтобы это представить.

— Допустим, такой случай,— оживленно продолжал Калугин.— Получил корабль в подводной части пробоину, хлынула в нее вода и что же сделала? Затопила только одно это отделение, а корабль идет себе пусть не полным ходом,— для него это не так важно.

— Все это отлично,— перебила вдруг Надя,— но вот вы, Михаил Петрович, сказали, что погибли у вас совершенно зря два тральщика и на них много матросов.. Как отнеслись к этой аварии ваши матросы?

Калугин поглядел на нее удивленно, перевел глаза на Алексея Фомича, потом усиленно начал мешать ложечкой в чаю.

— Вот тут... тут вы попали... в самое больное наше место,— ответил он, запинаясь и несколько приглушив

голос.— Матросы наши.. как бы вам сказать... могут мыслить критически, это не серая деревенщина... и в данном случае равнодушно отнестись к гибели товарищей своих, которые ведь для них же старались, их же оберечь хотели.. равнодушно отнестись не могли.. Должны были смолчать, однако, не молчали,— в этом и было, мягко говоря, нарушение дисциплины... Тральщики существуют затем, чтобы мины вылавливать, а не на минах взрываться, поэтому матросы и кричали: «Почему гидропланы не послали вперед?» С гидропланов, конечно, можно просматривать воду на глубину примерно в восемь метров, а тральщики сидят гораздо мельче... Увидели летчики мину,— сбрось на это место буек; тральщик подойдет, ее выловит. А то пустили их в незнакомых водах на ура, этих наших тральщиков, а под Варной мин оказалось, как картошки в матросском борще... Значит, что же тут случилось? Авария по нераспорядительности начальства. А начальствовал кто? Кто тральщики посылал, а гидропланов не выслал? Сам наш командующий флотом адмирал Колчак: ведь его флаг у нас на «Марии» был... Значит, ропот матросов против кого же был направлен? Против самого Колчака, а не против нашего командира, каперанга Кузнецова. У Кузнецова с матросами вообще столкновений не бывает, он человек умный. Вопрос, значит, в том, как мог адмирал допустить такую небрежность...

— Да, в самом деле, как же он так? — изумился и Алексей Фомич.— Матросы поэтому, значит, и заворчали там, под Варной?

— А как именно «заворчали»? — спросила Надя.— Взбунтовались?

— Не то чтобы взбунтовались, нет, из повиновения не вышли, но... как бы это выразить поточнее, ропот пошел.

— И громкий? — снова спросила Надя.

Калугин посмотрел на нее внимательно и ответил:

— Довольно слышный... так что и самому Колчаку он стал известен. В результате чего Колчак и приказал снять с Варны осаду... Так мы и ушли, не сделав ни одного выстрела.

— А что же все-таки он представляет собою, этот Колчак? — полюбопытствовал Сыромолотов.— Ведь он,— пришлось мне как-то о нем слышать,— человек крутой?

— Как бы ни был крут, ведь не в порту, а в открытом море... Да и девятьсот пятый год, должно быть, вспомнил,— сдержался. С матросами сам ни о чем не говорил, предоставил это дело Кузнецову, ну, а тот постарался политично его замять, точно ропота никакого и не было.

— А зачем же собственно нужно было идти к этой Варне? — спросил Алексей Фомич.

— Вот в этом-то самом и была для всех нас загвоздка: зачем? За каким именно чертом? Так все и говорили!.. Варна нас совсем не трогала,— это раз; большого вреда ей принести своей пальбой мы не могли бы,— это два; крепостные орудия того же калибра, как и у нас, а может, и побольше,— даже шестнадцатидюймовки, например,— на вооружении Варны имелись,— это три... Море перед Варной давным-давно у них отлично пристреляно,— четыре; цели у нас раскидистые,— Варна ведь велика,— а у них одна точка — наша «Мария»,— это пять. Спрашивается: какой же успех сулило Колчаку такое предприятие? Авантюра вроде гебеновской под Севастополем в начале войны с Турцией! Зачем же такие авантюры копировать? Тут не одни матросы могли возроптать, а и офицеры тоже!

— Но они все-таки не возроптали? — тут же спросила Надя.

— К сожалению, у них это не проявилось заметно.

— А каков он из себя, этот Колчак? Интересуюсь, как художник, то есть мыслящий образами.

И, спросив это, Алексей Фомич смотрел на Калугина, ожидая от него рисунка головы, лица, фигуры этого командующего флотом.

— Колчак... он, говорят, из бессарабских дворян, впрочем, точно не знаю,— сказал Калугин.— Каков из себя?.. Брови у него черные, как две пиявки, нос длинный и крючком...

— Гм... вон ка-кой! — разочарованно протянул Сыромолотов.— До него был адмирал Эбергард, швед по происхождению... Как мы гостеприимны!.. А я слышу, читаю: Колчак, и даже не понимаю, что это за фамилия такая!

— Гриб такой есть — колчак. Южное название,— пояснил Калугин.

— А-а, гри-иб! Вот что скрывается под этим таинственным словом! — протянул Сыромолотов.— Гриб!..

И, наверное, очень ядовитый он, этот гриб... никак не иначе, что ядовитый...

— Однако уже девятый час,— поглядев на стенные часы, забеспокоился Калугин,— скоро надо мне сниматься с якоря... Я и то получил отпуск от самого командира, не от старшего офицера, тот не отпускал, а Кузнецов вник в положение Нюры и отпустил. А то ведь я должен был бы наблюдать за погрузкой угля и нефти на «Марию», дело же это очень грязное.

— Грязное? — переспросил Алексей Фомич.

— А как же! Ведь уголь грузят матросы вручную: две баржи становятся с обоих бортов, а с них уж матросы в козулях за спиною уголь по сходням тащат на палубу и прямо через люк ссыпают в трюм. Можете вообразить, какой там теперь содом и сколько там пыли! Прямо не продохнешь!.. А угля в нашу ненасытную угольную яму, вы знаете, сколько надо погрузить?

— Сколько?

— Да почти сто двадцать тысяч пудов,— гору! Кроме того, сколько-то тысяч пудов нефти для машинного отделения... Нефть, разумеется, переливают по особому рукаву с баржи.

— Сто двадцать тысяч пудов угля,— повторил Алексей Фомич,— гм, это, действительно, целая гора... И на сколько же этого вам может хватить для похода?

— Примерно так на неделю... Всего угля, разумеется, жечь нельзя,— до родного порта тогда не дойдешь: нужно, чтоб хотя десять тысяч пудов осталось про запас. Так же и насчет нефти, чтобы все-таки не досуха, а кое-что все-таки болталось бы на донышке... Конечно, можно бы нам прямо с приходу и не грузиться, да это уж придумал сам Колчак матросам в наказание... Хорошо будет, если только этим отделаются. А что непременно опять на Варну пойдем, об этом говорят офицеры. Значит, Колчак предупредил нашего Кузнецова.

— А как у вас отношения с матросами? — спросила Надя.

— Мне кажется, неплохие,— ответила за мужа Нюра, до того молчавшая: она разливала чай.— Ведь матросы знают же, что Миша — только временный офицер.

— Липовый,— подтвердил Калугин.— Ведь у меня даже и обозначения специальности нет. К экзамену на штурмана, например, мне надо еще много готовиться; также и на минного офицера и прочее. Ведь мое знание морской практики очень слабое: в этом меня любой

кондуктор флота, даже простой унтер-офицер первой статьи на обе лопатки положит. Матросы это, конечно, видят и относятся ко мне снисходительно. Кадровые офицеры для них сплошь «драконы», а я исключение. Да ведь кадровое морское офицерство, как я убедился, это какая-то замкнутая каста. Во-первых, они все из дворянских фамилий, есть даже и сиятельства, как, например, князь Трубецкой, начальник отряда миноносцев, каперанг, кандидат в адмиралы... У нас в экипаже есть барон Краних, остзеец. Мог бы, кажется, во время войны с немцами держаться поскромнее, однако нос дерет высоко... кстати сказать, в Балтийском флоте, мне говорили, служил до войны еще князь Барятинский, чуть ли не сын победителя Шамиля и наместника Кавказа,— так того исключили из своей среды за то, что женился на актрисе Яворской. Эта Яворская имела свой театр, а князь Барятинский, лейтенант, писал для ее театра пьесы, значит, вполне естественно ему было на ней жениться; так нет, видите ли,— актриса! По их понятиям все равно что публичная женщина. И вот, извольте, князь Барятинский, оставить службу: вы мараете морской мундир!

— Вот как, скажите, пожалуйста! — удивился Алексей Фомич.— И как же вы там ладите с ними с такими?

— Теперь военное время, приходится им быть вежливыми и со мной. Вот эта штуковинка,— коснулся своего значка Калугин,— все-таки мне помогает: как-никак — высшее образование. Да и сам я стараюсь держаться с ними не на короткой ноге, а в пределах служебного приличия. Я ведь совсем не пью и не курю даже... Потом, какие еще у меня есть качества? Я — порядочный гимнаст и хорошо плаваю, чем может похвалиться не каждый из них, кадровых.

— А как вы полагаете все-таки, как по вашим наблюдениям: далеко еще до взрыва народного негодования против войны или уж близко? — отчеканивая слова, спросила вдруг Надя, долго до того наблюдавшая его молча.

— До взрыва народного негодования, вы сказали? — повторил Калугин, несколько как бы опешив от неожиданности услышать такой вопрос.

— Да, именно! — упрямо подтвердила Надя.— То, что вы рассказали о недовольстве матросов, дает ли какие-нибудь надежды на близость взрыва?

— Как вам сказать...— задумался Калугин и в знак неопределенности развел руками, а Сыромолотов, как бы желая пояснить, почему так спросила Надя, вставил добродушным тоном:

— Она у меня радикалка, вы не удивляйтесь! Недавно мне даже читала чьи-то стихи о взрыве, весьма энергично.— И обратился к жене: — Прочитай-ка их, Надя!

— Да этот взрыв совсем из другой оперы,— досадливо отмахнулась от него рукой Надя.— Это старинные стихи Аполлона Майкова, и я думаю, что Михаил Петрович и без меня их знает.

— А-а! Это про наш Крым! — оживленно сказала Нюра.— Там и Судак и Феодосия, только они называются по-древнему: Сули и Кьяфа. Из времен покорения Крыма Магометом Вторым.

— Не знаю, право... Что же, прочитайте,— обратился к Наде Калугин.

— Я прочитать могу, но... я не о том взрыве вам говорила...

И, не вставая с места, только сдвинув брови, отчего продолговатое тонкое миловидное лицо ее стало вдруг суровым, гордым, Надя начала декламировать:

Сули пала, Кьяфа пала,
Всюду флаг турецкий вьется...
Только Деспо в черной башне
Заперлась и не сдается.

«Положи оружье, Деспо!
Вам ли спорить, глупым женам?
Выходи к паше рабою,
Выходи к нему с поклоном!»

— «Не была рабою Деспо
И не будет вам рабою!» —
И, схватив зажженный факел: —
«Дети, крикнула, за мною!»

Факел брошен в темный погреб...
Дрогнул дол, удар раздался —
И на месте черной башни
Дымный столб заколебался.

— Все? — спросил Калугин.

— А что вам еще надо?

— Освобождения, значит, не было?

— Зато взрыв состоялся... Человеческое достоинство проявлено... Притом в полной своей силе,— сказала На-

дя, так пристально глядя на Калугина, что он, подумав, отозвался ей:

— По-видимому, все-таки до точки кипения у наших матросов еще порядочно...

Он вскинул голову к стенным часам, вынул свои карманные, завел их и добавил горестно:

— Надо идти!.. Очень не хочется, а надо, ничего не поделаешь, а то могу опоздать на катер.

В комнате стало уже заметно сумеречно, но огня не зажигали. Да и наступающая ночь обещала быть светлой: в небе не было заметно ни облачка. Калугин поднялся.

— Итак,— обратился он с торжественностью в голосе к Алексею Фомичу и Наде.— Кажется, лишнее говорить мне вам, как я благодарен, что вы приехали, что вы замените меня Нюрочке!.. Она знает, куда ее надо везти, к кому обратиться... может быть, завтра,— добавил он и с еще большей почтительностью, чем при своем появлении, поцеловал руку Нади и долго жал обеими руками мощную руку Алексея Фомича, глядя на него проникновенно, потом приник к Нюре, прощаясь.

— Главное, не робей! — говорил ей вполголоса.— Готовцев ручался мне, что все обойдется благополучно.

Надев шинель и взяв фуражку, он сделал от двери общий поклон и вышел, и некоторое время в комнате было тихо.

— Ну, Надя, как ты находишь мужа Нюры? — приподнято спросил жену Сыромолотов и подмигнул не без лукавства.

— Мне он очень понравился,— просто сказала Надя.

— Должен признаться, что и мне тоже... Да, должен в этом признаться... А я — я,— зарокотал Алексей Фомич, обращаясь к Нюре,— очень строг к людям, о чем прошу помнить, и мне угодить оч-чень мудрено, имейте это в виду!

Нюра улыбнулась строгому тону и виду художника, а Надя заметила:

— Уходить пора уж и нам, Алексей Фомич. Надо только договориться насчет завтрашнего.

— А что тут договариваться? Часов этак в девять мы приедем сюда на извозчике, а Нюра до этого времени должна хорошенько выспаться, чтобы быть в надлежащей форме, как говорят цирковые борцы, и собраться.

Потом, приглядевшись к Нюре, насколько позволили сумерки, Сыромолотов добавил:

— Робеть же нет решительно никаких оснований... Я помню, жена моя, первая, говорила, что ее роды тянулись более суток... Больше суток, вы только представьте! Матросов и офицеров на двух тральщиках,— сколько их там было десятков,— убило мгновенно, они не мучились, а чтобы родить одного, всего одного только человека, который мог ведь родиться и мертвым или помереть через день-два после родов, молодая женщина должна была нечеловечески мучиться больше чем двадцать четыре часа!.. Вот как все это нелепо устроено!.. Убить, это всякие негодяи обдумали всесторонне, как сделать, тысячи способов для этого есть, а родить?.. Тут способ только один, притом чрезвычайно трудный! Вам же, Нюрочка, судьба предлагает другой, более короткий и легкий. Не будет ли оно гораздо лучше для вас, а? Давайте-ка думать, что этот именно способ и будет лучше!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Сыромолотовы вышли в Рыбный переулок, было уже совсем сумеречно, однако не темно, хотя уличных фонарей по заведенным правилам и не зажигали. Можно было даже разглядеть лица встречных. А Нахимовская оказалась теперь, в десятом часу, очень людной и оживленной. Много было офицеров, моряков и пехотных, так как гарнизонную службу в Севастополе несли ополченские дружины, и каждый из этих офицеров шел рядом с женщиной, и часто слышались вспышки веселого смеха.

— Вот видишь как,— говорил, стараясь, чтобы выходило потише, Алексей Фомич,— война войной, а любовь любовью...

Дома на Нахимовской были большие, с магазинами внизу, но магазины почти все, кроме бакалейных, были заперты, окна вторых и третьих этажей занавешены, впрочем, неплотно: то там, то здесь выбивались на улицу оранжевые косяки и полоски света, однако никто не обращал на это внимания.

Около памятника Нахимову остановился теперь Алексей Фомич вполне разрешенно, хотя памятник проступал смутно.

— А ведь Нахимов закоренелый был холостяк,— сказал он,— как и адмирал Ушаков. Женщин на военные суда даже и не допускали. И вот теперь, наконец-то, когда Нахимов стоит, отлитый из бронзы, женщины взяли свое: снуют вокруг него в большом изобилии.

И как бы в подтверждение его слов где-то впереди, где чуть заметно белели колонны, ворвался в негромкий гул голосов звонкий и надрывный женский голос:

Все гово-рять, шо я ветренна бува-аю,
Все го-во-рять, шо я мно-го люб-лю,
Ах, от-че-го ж я про всех позабу-ва-аю,
Про од-но-го поза-буть не могу!

— Должно быть, пьяная,— высказала догадку Надя, на что Алексей Фомич отозвался:

— По-видимому, пригубила чуть-чуть.

Слышно стало, что кто-то уговаривал женщину не петь, но надрывный голос ее взвился снова в наступающую ночь:

Де-сять любила, девять поза-была,
А од-но-го не могу поза-быть.
Эх, бро-шу я ка-арты, брошу я биль-я-ярты,
Д'ста-ну я го-орькую водочку пить!

Кто-то рядом с Сыромолотовым, вздохнув, сказал сочувственно:

— Видать и так, нарезалась... и где только достала!

Женский голос, оборвавшись было, зазвенел между тем снова:

А-ах, не тер-зайте вы грудь мою боль-ну-ю,
Вы не узна-вай-те, кого я люблю!
Нет, не скажу вам, по ком я все тоску-ую,
Лучше ж свое го-ре в вине я по-топ-лю!

— Гм... Очень это искренне у нее выходит,— остановясь, заметил Сыромолотов.— Послушаем, как пойдет дальше.

Но дальше песня не пошла; дальше послышался только зычный мужской окрик:

— А вот я тебя в участок сейчас отправлю, тогда и забудешь!

Ясно стало, что песню прекратил полицейский.

Между тем со стороны бухты, иногда звонче, иногда глуше, что зависело от небольшого ветра, дувшего с мо-

ря, доносилась музыка духового оркестра, как будто на одном из многих судов справлялся какой-то праздник.

Алексей Фомич так и подумал и сказал Наде:

— Ведь есть же праздники полковые, того или иного святого, значит, должны, по теории вероятностей, быть и судовые... А раз праздник, то как же обойтись без духового оркестра?

На что отозвалась Надя с досадливой ноткой в голосе:

— Ты все что-то шутишь, а я думаю совсем не о том.

— О чем же именно?

— О Нюре, конечно!.. Допустим даже, что операция пройдет удачно, а вдруг ребенок окажется мертвый?

— Ну, зачем же такие страсти!.. И почему же именно мертвый?

— А как операция должна делаться,— ведь мы с тобой этого не знаем... Я думаю, что под наркозом?

— Гм... Я тоже так думаю... А как же иначе?.. Ну, разумеется, под наркозом! — подумав, согласился Алексей Фомич.

— Хорошо, под наркозом... А если Нюра не выдержит этого наркоза, если у нее сейчас слабое сердце? Разве таких случаев никогда не бывало?

— Слышал и я, что бывали, да ведь тут, в городской больнице, опытные врачи, я думаю.

— Везде они опытные, но почему-то везде попадаются невежды,— решительно отрезала Надя и, пройдя несколько шагов, добавила: — Пусть даже все окончится благополучно, и ребенок окажется живой, а как же Нюра сможет кормить его грудью с такою большою раной?.. Да и молока у нее может не быть, раз ребенок еще недоношенный.

— Гм, да-а... Для меня ясно, что Михаилу Петровичу придется нанять кормилицу... Большой расход, конечно, но что же делать? Раз появляются в семье дети, значит увеличиваются расходы.

Когда они подошли к своей гостинице, то разглядели несколько поодаль от входа знакомого им коридорного возле двух женщин в белых беретах одного фасона.

Сыромолотов остановился в косяке тени, остановилась и Надя, и коридорный на их глазах направился с одной из женщин к широким ступеням входа, а другая вдруг закричала ему вслед хрипло:

— Ах ты, хабарник паршивый! Я тебе, значит, мало хабаря даю?

Но тут же около нее появились два матроса, и один из них, обняв ее, проговорил весело:

— А-а, Гапочка, наше почтение!

Другой же еще веселее:

— Напысала Гапа Хвэсі,
Що вона теперь в Одэсі,
Що вона теперь не Гапа,
Бо на неі біла шляпа,
И така на ней спідныця,
Що сама кругом вертыця!

Надя очень энергично потянула за собой Алексея Фомича, и он так и не досмотрел, чем кончилось у двух матросов и Гапы.

Лестница на третий этаж довольно тускло была освещена лампочками в небольших нишах, и, поднимаясь по ней, говорил Алексей Фомич:

— Да, здесь совсем другой тон, чем в нашем Симферополе... что и неизбежно, впрочем, раз тут военный флот стоит.

После комнаты Калугиных номер в гостинице Кист*а* показался им обоим еще более убогим, чем с приезда сюда. Надя покачала головой и сказала:

— Ну, уж так и быть! Переночуем здесь эту ночь, а завтра, как устроим Нюру, поищем другую гостиницу.

Конечно, это было вполне скромное желание, но случилось так, что даже такого желания выполнить на другой день им все-таки не удалось.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Музыку, которую слышали Сыромолотовы, слышал в это же время и Калугин, когда катер, на который он сел, шел к «Марии».

Кто распорядился, чтобы играла музыка на линкоре во время тяжелой погрузки угля матросами, об этом не мог, конечно, догадаться Калугин, но оркестр играл.

На катер, пришвартовавшийся к Графской пристани, сели вместе с Калугиным только матросы с «Марии», несколько человек, посылавшихся в город по хозяйственным делам. Это были баталер Переоридорога и данные ему в помощь унтер-офицер 1-й статьи Саенко и трое рядовых, из которых Калугин знал по фамилии только одного Матюкова.

Этого матроса знали по фамилиии и все офицеры корабля по той причине, что один из них, старший лейтенант Водолагин, находил удовольствие часто без всякой надобности, но громогласно обращаться к нему:

— Поди-ка сюда ты, фамилию которого нельзя назвать в обществе!

Пятеро попутчиков Калугина везли на корабль что-то запакованное в рогожные кули и толстую бумагу, так что не зря болтались они на берегу — выполнили приказ.

Видно было по их возбужденным лицам и веселому разговору, что им удалось и слегка выпить. Матрос с неприличной фамилией оказался тем весельчаком, который по неписаным законам военной службы обязателен для каждой роты, эскадрона, экипажа; здесь на катере почему-то больше всех говорил именно он, отпуская шуточки, заставлявшие других хохотать громко. Он был низенький, черномазый, скуластый, а желтые глаза его все время вели себя беспокойно: перекатывались справа налево, слева направо, и Калугин еще раньше как-то, до похода на Варну, подумал про себя, что такие глаза он в своей жизни видит впервые.

Когда он явился на Графскую пристань, эти пятеро матросов его уже ждали, и тут же баталер Переоридорога, с тремя басонами на погонах, старавшийся держаться в соответствии со своей должностью солидно, да и сам высокий, плечистый, круглощекий, черноусый, с серебряной цепочкой часов, неизменно красовавшейся на его форменке летом, подойдя к нему и взяв под козырек, сказал вежливо густым голосом:

— Извольте садиться, ваше благородие, сейчас катер отчалит.

— Как так сейчас?.. Может быть, кто-нибудь из офицеров подойдет? — спросил Калугин.

— Никак нет, больше никого быть не может,— ответил баталер,— и так нам приказано доложить вам.

Калугину оставалось только догадаться, что в этот день никто, кроме него, не был отпущен на берег и что, по-видимому, даже командир и старший офицер оставались на корабле. Это заставило его с благодарностью подумать о Кузнецове, что вот он все-таки сочувственно отнесся к затруднительному положению своего младшего офицера и даже, может быть, преступил общий приказ адмирала, чтобы никому из командного состава не покидать в этот день «Марии».

Несколько странным показалось ему еще и то, что Саенко, ловкий и как-то особенно всегда щеголеватый, весьма неглупого вида унтер-офицер, улучил время подойти к нему при посадке на катер и спросить вполголоса:

— Должно, ваше благородие, Колчак для нас что-нибудь обдумал?

— Ничего об этом не знаю,— так же вполголоса пробормотал Калугин, но такая доверчивость к нему со стороны матроса его изумила.

Ему вспомнился вопрос Нади: «А как у вас с матросами?» Он как-то и сам не придавал значения тому, что думают о нем матросы. Думал, что только посмеиваются между собой над ним за его плохое знание морской практики; и только вот тут теперь, в сумерки, на Графской пристани, перед посадкой на катер он почувствовал вдруг, что матросами «Марии» он уже как бы отколот от офицерства и перетянут к себе.

Тут именно в первый раз он и сам ощутил свою гораздо большую близость к матросам, чем к офицерам, уверенность в них, какой не было у него раньше, и от сознания этого произошел в нем какой-то подъем, и еще больше укрепился он в мысли, что с Нюрой все окончится хорошо.

После этого он так самозабвенно стал думать о Нюре, о ее сестре Наде, о большом художнике Сыромолотове, который только что называл его своим свояком; так ярко встали они все трое — Нюра, Надя и Алексей Фомич — перед его глазами, что заслонили собою и катер, и бухту, и суда, мимо которых шел катер к «Марии», и пятерых матросов рядом, тем более что их очень смутно было видно, а катер шел бойко.

Матросы говорили о чем-то своем, что они только что видели в городе; они хохотали от шуточек, отпускавшихся тем из них, «фамилию которого нельзя было называть в обществе», но сознание Калугина не проникало в то, о чем они говорили.

Однако вот уже близок стал знакомый силуэт «Марии» с ее башнями и трубами на корпусе, низкобортном и длинном. Тут особенно слышна стала музыка на линкоре и совершенно непонятна, так как Калугин знал, что идет, должна была идти, погрузка угля. Да и баржа с углем с того берега, к которому подходил катер, стояла еще так же, как и среди дня, только поднялась

несколько выше над водою, освободясь от большой тяжести.

Музыка духового оркестра еще гремела, когда пришвартовывался к трапу катер, и Матюкову показалось, что надо закруглить под эту музыку все, чем вызывал он хохот своих товарищей, и неумеренно громко он выкрикнул:

— Матросы уголь собі грузять, як скажені, а драконы наши, мабуть, танцюють!

А в это время музыка как раз оборвалась на последнем аккорде и вторая половина его выкрика прозвучала сильнее, чем хотел и он сам, так что и Калугин ее расслышал.

Но нужно было соскакивать с катера на трап, что он и сделал. Хватаясь за фалреп, он поднялся на палубу, и вдруг дорогу ему заступил тот самый барон Краних, о котором упоминал он в разговоре с Сыромолотовыми.

Краних был, вспомнилось ему, вахтенный начальник, но Калугин даже не понял его, когда он резким, скрипучим тоном выдавил из себя:

— Вы что это за орду привезли на корабль, прапорщик?

— Какую орду? — пробормотал Калугин и, оглянувшись назад, разглядел при падавшем вниз с палубы свете плотную фигуру баталера Переоридорога, принимавшего на ступеньки трапа с катера свои покупки.

Только тут он вспомнил, как весело говорили о своем матросы даже и тогда, когда катер уже подходил к судну; вспомнил и последний выкрик Матюкова и, наконец, то, что Краних не добавил к названию его чина слова «господин», как это было принято и считалось вежливым. Поэтому он добавил как мог спокойнее:

— Во-первых, я прибыл сюда сам по себе, а матросы сами по себе, и, во-вторых, вы, господин старший лейтенант, не имеете права делать мне никаких замечаний, так как я вам не подчинен!

— Есть! Вы мне не подчинены по службе, но-о... поскольку я старше вас в чине и вахтенный начальник на корабле, то вы-ы... обязаны меня выслушать! — отчеканивая слова, но не повышая тона, точно протискивал через суженную гортань Краних.— И раз вы на одном катере с матросами, то вы тем самым и являетесь их начальником: «сами по себе» они быть не смеют!.. И не смели они при вас, офицере, вести себя так безо-

бразно, как я наблюдал отсюда!.. При офицере матросы должны молчать, как вареные судаки!.. Вы уронили свое офицерское звание тем, что позволили матросам так себя вести в вашем присутствии!.. Вот что я хотел сказать вам, прапорщик!

Барон Краних был несколько выше ростом, чем Калугин. У него было весьма вытянутое лицо, короткие белесые усы и крупные зубы. Калугин был так ошеломлен его длинным выпадом, что даже не нашел сразу, что ответить. Краних, впрочем, и не ждал никакого ответа: он ринулся прямо к трапу, по которому поднимались матросы, так что вполне естественно было для Калугина не присутствовать при том разносе, какой явно готовился сделать матросам барон. Калугин и раньше замечал, что он возбуждает почему-то в этом остзейце чувство неприязни, однако так далеко, как вот теперь, зайти, этого даже и не предполагал в нем Калугин.

Оркестр, давший было себе небольшой отдых, грянул снова, и Калугин решил идти дальше, но, ступив шагов двадцать по палубе, попал в полосу угольной пыли. Хотя был уже на исходе десятый час, матросы с корзинами угля за спинами, тяжело ступая, подымались вверх по одной стороне широких сходен и сбегали вниз по другой стороне, а за порядком следили, кроме старшего и младшего боцманов, еще и два офицера, особо назначенные.

Калугин должен был отрапортоваться прибывшим, но искать для этого старшего офицера не стал: вдруг тут же назначит его на приемку угля! Поэтому он постарался обойти место работ и проникнуть к себе в каюту, твердо надеясь на то, что в десять часов должны покончить с погрузкой и, как обычно, отпустить матросов спать: ведь рожок горниста разбудит их завтра, как полагается уставом, в шесть часов, а до десяти оставалось не больше четверти часа...

Возбужден он был чрезвычайно, и, как всегда в таком состоянии, лихорадочно пробегало в его мозгу, что́ нужно было ответить барону. Его замечание теперь, у себя в каюте, он считал уже не чем иным, как намеренным оскорблением, причины которого коренились глубже, чем сегодняшняя непринужденность матросов на катере. Откуда он взял, что матросы, севшие с ним вместе на катер, тем самым становились его командой и должны были молчать, как судаки?

Теперь его ненаходчивость в стычке с Кранихом так же возмущала его, как и тон Краниха... Он сел около столика как был, не снимая фуражки и шинели, и старался припомнить что-нибудь из того, о чем говорили матросы, возвращавшиеся вместе с ним, но вспомнить смог только одно последнее замечание Матюкова о «драконах», которые «танцюють» в то время, как матросы грузят, «як скажені».

В другое время, пожалуй, он не обратил бы внимания на такие слова, но сегодня, вот теперь, они показались почему-то очень естественными для матроса с «Марии» после того, что случилось незадолго перед тем под Варной.

По мнению Краниха, он должен был бы сделать строгое замечание Матюкову; по мнению Краниха, пока шел сюда катер, сказано было матросами еще очень много и даже гораздо более забористого; по мнению Краниха, в его лице и в лице пятерых матросов на корабль прибыли какие-то заговорщики, а в нем даже и здесь, у себя в каюте, продолжалось то же самое усвоение двух новых и очень значительных в его жизни людей — Алексея Фомича и Нади, причем Надя теперь вспоминалась с горделиво сдвинутыми бровями, какою была она, когда декламировала стихи о героине Деспо. Тогда и в ней самой появилось что-то героическое, а ведь приехала она только затем, чтобы помочь своей сестре, а значит и ему, в очень трудных, правда, но личных обстоятельствах их жизни.

Теперь, сидя одетым у себя в каюте, он снова чувствовал в себе тот сдвиг, какой появился в нем дома в этот вечер. Там,— ясно для него было,— его отбрасывали от корабля, чему в глубине души он был рад; здесь его как будто встряхнул, схватив за шиворот, этот барон фон Краних и ткнул на его место на корабле.

Всего вернее было предположить, что именно завтра, если погрузили всю гору угля, «Мария» снимется с якоря и снова пойдет к Варне, и, может быть, даже адмирал Колчак прибудет на корабль к поднятию флага, и при нем придется ему заступать на вахту, а это значит, что надо очень точно знать и с полною отчетливостью проделать все, что полагается при этом по уставу, не допустить ни малейшей ошибки,— это служба его величеству... А потом «Мария» пойдет опять туда, где мин в море, как картошки в матросском борще... и мо-

жет быть, удастся все-таки выполнить предписание — сделать десяток выстрелов из двенадцатидюймовок и получить в ответ попадания из крепостных орудий большого калибра... А что может принести хотя бы одно такое попадание, кроме аварии судна и смерти многим матросам и кое-кому из офицеров?

«Это называется — сбросили с облаков»,— подумал Калугин и тут же вспомнил, что надо идти все-таки рапортовать «из отпуска прибыл»; да и до десяти часов оставалось всего только пять минут.

Он одернул себя и внутренне и внешне,— поправил перед зеркалом фуражку, принял вполне служебный вид,— и вышел из каюты, чтобы идти к старшему офицеру, а в это время по коридору между каютами как раз шел ему навстречу сам старший офицер, человек грузный, с двойным подбородком, с глазами навыкат, с высокой, но сбегающейся кверху лысой головой.

Калугин тут же приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Господин капитан второго ранга, из отпуска прибыл!

Капитан 2-го ранга Городысский должен был бы протянуть ему руку и пройти дальше или сказать что-нибудь о состоянии здоровья его жены Нюры, но он, при сильной электрической лампочке в коридоре, очень яркой, вдруг неожиданно сказал сухо и очень начальственно:

— Вы должны были доложить мне об этом, как только прибыли, не заходя в свою каюту, поняли?

И пошел тяжелой хозяйской походкой, а Калугин решительно ничего в оправдание придумать не мог так же, как только что Краниху. Он вернулся в каюту и снял шинель.

Ему стало ясно, что Кранних успел уже доложить о неблаговидном поведении прапорщика Калугина, который позволил матросам преступно распускать языки в своем присутствии...

Музыканты перестали уже играть, и ровно в десять часов погрузка угля была закончена, матросы были отпущены спать; часть лампочек на корабле была потушена.

Мог бы лечь спать и Калугин, но он был теперь слишком возбужден, чтобы заснуть, и ничего читать ему не хотелось. Он вдруг пришел к очень тревожной мысли, что на корабле в его отсутствие что-то произо-

шло среди офицеров, что и вызвало два подряд оскорбления, какие он получил. Может быть, шли разговоры вообще о поведении матросов: явно надоела, дескать, им война, расшаталась среди них дисциплина, и нельзя ли найти общими силами, кто именно в этом виноват.

Калугин почувствовал, что не ложиться спать, а войти в жизнь корабля он должен. Может, и действительно обнаружено такое брожение среди матросов, что опасно и выходить с ними в море?.. Но где же можно было узнать об этом? Конечно, только в кают-компании.

Угольная пыль теперь уже осела, но она скрипела под ногами на палубе, куда вышел Калугин несколько освежиться и собраться с мыслями. Он представил, какая это будет завтра работа матросам, которые должны будут до церемонии поднятия флага привести здесь все в полный порядок: подмести и вымыть весь пол, надраить до блеска все медяшки, чтобы Колчак завтра утром не заметил нигде на палубе ни одной угольной пылинки... А может быть, этот Колчак совсем не на своем месте, как командующий флотом, в котором имеются дредноуты новейшей конструкции? Оттого-то,— как это приходилось ему слышать здесь, на «Марии»,— не заметно особой разницы между действиями Черноморского флота при Эбергарде и при Колчаке; оттого-то таким неудачным вышел и последний поход «Марии» против Варны... «Ничтожество!.. Карьерист!» — определил Колчака Калугин.

Город не различался отсюда, с палубы «Марии», только чувствовался, но, стоя у самого борта, Калугин неотрывно глядел только в том направлении, стараясь представить Нюру теперь непременно рядом с ее сестрой, а около них мощного Сыромолотова.

Ясное сознание, что Сыромолотов приехал к нему, сидит теперь в его комнате, подняло в нем уважение к себе, пошатнувшееся после двух полученных им замечаний, и он направился в кают-компанию, став уже гораздо бодрее и успокоенней.

Ярко освещенная люстрами, прижатыми к потолку, обширная кают-компания была что-то очень переполнена, как редко когда бывало после десяти часов: что-то, значит, действительно произошло.

Над длинным столом, за которым сидели офицеры, повисло облако табачного дыма, и Калугин сразу не рассмотрел, кто это, зачем-то полуподнявшись, кричит о Болгарии.

Кричал это лейтенант Замыцкий,— со лба большие залысины и на затылке плешь,— волосы тоненькие, жиденькие, белесые; глаза тоже белесые; лицо рыхлое, вздутое, а бритая верхняя губа какая-то очень длинная и имеет способность сильно сокращаться слева. От этого рот становится косой, и вполне понятно, что матросы зовут Замыцкого «Косоротиком».

Но обыкновенно бывало, что он говорил тихо, вдумчиво, немногословно: ответит двумя-тремя словами на чей-нибудь вопрос, сделает рот сковородником и отойдет. Очень удивился Калугин, отчего же это теперь он так вдруг разошелся.

Подумав, что теперь в кают-компании решается вопрос о Болгарии и Турции, как участницах войны против России, Калугин успокоился: не мешало ведь и в самом деле офицерам линкора «Мария» поговорить о своих противниках, владеющих половиной побережья Черного моря, и он хотел постоять, послушать.

Но кают-компания была освещена слишком ярко, чтобы можно было остаться в ней незамеченным, и прежде других обратил на него внимание именно этот «Косоротик», с которым никаких столкновений у него не было.

— Спрашивается, что за флот у адмирала Сушона? — продолжал лейтенант, наливая себе что-то из графина.— Па-ро-дия на флот! Один, в сущности, только «Гебен», а как держится! Как везде укрепился! Даже к какому-нибудь Зонгулдаку близко не подойдешь, а почему? Потому что ввел Сушон у турок то, чего у них раньше не было: дис-циплину!.. Дисциплину среди матросов, конечно!.. А у нас (вот тут-то и был им кинут взгляд в сторону Калугина), даже младшим офицерам позволяют у нас дисциплину расшатывать!

Тут он сел и, подтянув свою губу слева, неумеренно распустил ее справа, а Калугин почувствовал что-то вроде острого укола в сердце. Он мог бы, конечно, тут же повернуться и уйти, но ему подумалось, что такой шаг все тут примут за признание своей вины и за трусость, поэтому не только он не ушел, но даже сел за стол, заметив свободный стул.

Ведь сказано было «Косоротиком»: «младшие офицеры»,— значит, кого-то еще, кроме него, имел он в виду, этот незадачливый по внешности лейтенант.

Но только что сел Калугин, как именно к нему-то и повернулись все головы Изумленно он обвел их воп-

росительным взглядом и в короткий момент этот успел разглядеть только трех-четырех, кто был к нему ближе... Мелькнуло в голове и то, что он знал о них.

Вот старший лейтенант Болдырев, штурман, с которым как-то не пришлось Калугину за два месяца службы сказать и двух десятков слов: встречаясь с ним, Болдырев непременно должен был поглядеть не на него, а на его значок лесничего и, неприязненно отвернувшись, уйти, будто ждали его спешные дела.

У него была узкая голова, виски вдавлены, уши без мочек, лицо из мелких линий, сухое, как будто совсем и не способное к улыбке; глаза тусклые, табачного цвета. Казалось Калугину, что его лицо ему же самому чрезвычайно надоело. Он все время курил и заволакивал себя густыми клубами дыма. Он сидел прямо против Калугина за столом, и от него первого услышал прапорщик странные слова:

— Это что же у вас,— народо-любие, что ли, что вы так запанибрата держите себя с матросами?

Сказано было сквозь прокуренные зубы и как-то очень зловеще по смыслу, так что Калугин невольно оглянулся в сторону буфета, где суетились вестовые, и спросил не в полный голос:

— Разве я чуждаюсь общества офицеров?

— А с кем же вы в коротких отношениях, я что-то не знаю? — подхватил его вопрос сосед справа, лейтенант Привалов, артиллерист.

Тоже какое-то черствое лицо, хотя ведь молодое... Что же выйдет из него в зрелые годы?.. Болдырев бреется, а у этого рыжеватая бородка, но карие глаза прищурены так, как будто им и дела нет до какого-то прапорщика на «Марии», но зато ноздри вдруг широко разлетелись, и Калугин подумал: «Вынюхивает!»

— В коротких? — переспросил он.— Этого я, действительно, не успел еще сделать: слишком мало служу.

— Выходит, что надо вам заслужить доверие ваших товарищей,— сказал сосед Болдырева, старший лейтенант Плетнев, ревизор «Марии», заведовавший продовольственной частью, не по летам располневший блондин в пенсне.

Он был всегда вежлив и всегда занят; Калугину казался всегда благодушным, довольным своим положением на корабле, поэтому вопрос, какой он сделал

тут же после совета о доверии, был неожидан и, пожалуй, резок:

— С вами был на катере наш баталер?

— Баталер?.. Переоридорога?.. Да, со мною... А что?

— Он был, оказывается, пьян и вел себя нахально, а вы даже замечания ему не сделали!.. Как же вы так?

Только теперь понял Калугин, что все дело было сочинено бароном Кранихом, и не стой он тогда около трапа, когда пришвартовывался катер, никто здесь не говорил бы ничего обидного.

Изогнув голову так, чтобы видеть побольше офицеров за столом,— не окажется ли здесь и сам Краних,— Калугин вдруг встретился глазами с командиром корабля Кузнецовым.

Кивнул ли в самом деле ему головою Кузнецов, или так только ему показалось, Калугин не мог еще себе уяснить, когда вдоль стола пошла передача: «Прапорщика Калугина к командиру!»

Когда это докатилось к нему, он встал и пошел как будто связанными ногами: нетрудно было догадаться, о чем желает говорить с ним командир, так как рядом с ним сидел старший офицер Городысский. Между тем, подходя к Кузнецову, Калугин не видел на его лице даже наигранной строгости.

Это было простое русское лицо пятидесятилетнего хорошо пожившего человека, всегда старавшегося быть, что называется, «отцом-командиром». На «Марии» за два месяца службы Калугину не приходилось слышать его криков,— кричал за него старший офицер,— Кузнецов же был на удивление неизменно благодушен. Он как будто раз и навсегда убедился, что весь экипаж корабля отлично знает свое дело и, в случае смотра высшего начальства или серьезного боевого дела, его не подведет.

Никто из матросов даже, не только из офицеров, не винил его в гибели двух тральщиков под Варной,— знали, что это вина самого командующего флотом, а не его.

Когда Калугин подошел и остановился перед стулом Кузнецова, командир совершенно неожиданно спросил вдруг:

— Ну что,— как ваша жена, а? — И посмотрел на него при этом вкось, но как будто приветливо и даже с улыбкой.

Став так, что Кузнецов был виден ему в профиль, Калугин отвечал:

— Завтра ее повезут на операцию, господин капитан первого ранга! Я сговорился уже об этом сегодня с хирургом городской больницы.

Серый глаз из-под вскинувшейся мясистой брови задержался на Калугине, когда недоуменно спросил Кузнецов:

— Почему в городской больнице? Почему хирург? Какая операция?.. Ведь вы говорили, что роды у вашей жены?

— Они невозможны, господин капитан первого ранга! Приходится применить кесарево сечение.

— Ке-са-ре-во сечение? — протянул Кузнецов, и все его плотное лицо, с крупным лбом под ежиком волос темно-медного цвета, повернулось к прапорщику. Он как будто припоминал, что это за «кесарево сечение», и, припомнив, погладил свой круглый подбородок, потом потрогал подстриженные усы и, наконец, сказал:

— Это, знаете ли... это, кажется, операция очень серьезная, да-а!

И без всякой последовательности обратился к Городысскому:

— Кто именно вам докладывал, Николай Семенович?

— Вахтенный начальник барон Краних, — ответил ласковым тоном старший офицер.

После этих слов его произошло что-то непонятное, однако спасительное для Калугина.

— А-а!.. Вон кто!

Кузнецов почему-то сморщился, почесал средним пальцем ухо, точно хотел выковырнуть залетевшую туда фамилию... Потом он покатал в обеих руках пустой стакан, перед ним стоявший, и вдруг поднялся.

— Пойду, — мне некогда, — сказал он. — А вы тут сами, Николай Семенович, поговорите с прапорщиком!

И величественно, — он был не менее объемист, чем Городысский, — пошел к выходной двери.

— Да я уж говорил с ним, — ответил старший офицер и отправился провожать командира.

Калугин понял из всего этого только то, что он свободен, и, нимало не медля, вышел следом за ними, соображая на ходу, что командир больше настроен против Краниха, чем против него.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Слишком много оказалось для Калугина впечатлений этого дня, притом всего только за несколько последних часов особенно острых.

Покорное, но испуганное ожидающее лицо Нюры; ее беспомощно опущенные вниз руки и большой живот, выпирающий даже из широкого синего капота,— живот, который завтра, без него, взрежет, чтобы вынуть ребенка, хирург.

Этот хирург, с которым он говорил,— приземистый, скуластый, за пятьдесят лет человек, с какимто калмыковатым лицом, хотя и с русским именем,— Готовцев Лаврентий Иванович, держится вполне уверенно, обнадеживает, а между тем, разве не бывает неудачных операций даже и не у таких провинциальных, а у столичных известных хирургов. И пальцы этого Готовцева теперь, когда вспомнились они, показались Калугину какими-то слишком толстыми для хирурга... С такими пальцами дрова колоть или кузнецом быть, а не операции делать... Нюре, разумеется, он ничего не сказал насчет пальцев, так как нельзя же было ее беспокоить... Впрочем, тут же, вспомнив пальцы Сыромолотова, он успокоился: ведь Алексей Фомич, как художник, тоже должен был бы, если так рассуждать, иметь гораздо более тонкую, нервную, чуткую руку...

Сыромолотов вообще изумил его своей черноземной силой: лицом без морщин, обилием волос на голове и в бороде и совершенно без намека на седину, шириною плеч и независимостью осанки человека, знающего себе цену... Трудно было даже и представить, сколько лет еще мог бы он прожить: двадцать, тридцать, сорок,— всякое из этих чисел казалось вполне вероятным Калугину. Невольно он сравнивал свою Нюру с ее сестрой Надей. Надю, пожалуй, всякий должен был бы счесть более красивой, может быть, была она и тоньше Нюры душой, но Нюра и при соседстве такой сестры все-таки оставалась для него самым близким и дорогим человеком, и беспокойство за нее сжимало его сердце тисками...

А тут вдруг — слишком вольно вели себя матросы на катере, и он не остановил их, не сделал им замечания!.. Почему? Потому просто, что был слишком полон личным,— не военным, а мирным,— слишком

чувствовал себя только мужем Нюры, завтрашним, быть может, отцом своего ребенка, хотя бы он появился на свет и при помощи ножа хирурга,— и совершенно как-то позабыл даже, что он — морской офицер в чине прапорщика. Забывчивость понятная: ведь он всего только два месяца как выпущен из морской школы... Чтобы во всякий момент своей жизни чувствовать себя офицером, нужна привычка... «Как же они не понимают такой простой вещи? — думал он о лейтенантах.— Даже для того, чтобы нести обязанности помощника лесничего, как нес их я, тоже нужно было втягиваться, привыкать, не один, не два месяца, а что же такое лес по сравнению с такой свирепой мировой войной, какая теперь ведется неизвестно почему, неизвестно зачем, вот уже более двух лет!.. Слово «драконы» возмутило остзейца почему? Потому, конечно, что напомнило ему девятьсот пятый год, и он сумел заразить своим беспокойством многих других...»

Приходилось думать, как теперь отнесутся к нему. Считать исчерпанным этот вопрос Калугин не мог, конечно, хотя сам Кузнецов и не говорил с ним о нем. Этот неприятный для него вопрос он просто передоверил старшему офицеру, но разве это не все равно?.. Быть может, за поведением матросов приказано следить не одному Краниху? Быть может, матросы «Марии» и высшим начальством уже признаны ненадежными, а он нечаянно только подлил масла в огонь? Быть может, завтра же самому Колчаку будет доложено о брожении матросских умов, и он, прапорщик Калугин, будет обвинен в подстрекательстве к бунту?..

В горячечно работавшем мозгу его проносились лица только что виденных в кают-компании офицеров, и ему уже становилось понятным, что они тесно сплотились против своих же матросов, насторожившись, решили подтянуть вожжи, а он, занятый своим личным, семейным, этого даже и не заметил.

И вот что еще стало ему ясно: на матросов на катере он смотрел благодушно не только потому, что был переполнен своим,— они были гораздо понятнее ему, чем все офицеры на «Марии», гораздо почему-то ближе... Только теперь, именно здесь, в своей каюте, Калугин понял вдруг, что это и не могло быть иначе.

Он не был дворянином по рождению, как все офицеры «Марии». Он учился в реальном училище, а не

в гимназии, куда, быть может, его и не приняли бы, как «кухаркина сына». Ведь его мать и действительно именовалась «кухаркой за повара», и только ее искусство в кулинарном деле помогло ей вывести в люди сынишку, оставшегося без отца еще в возрасте четырех лет. Среди уличных мальчуганов на Галерной гавани в Петербурге и прошло все его детство, и детских переживаний его не могли заглушить потом ни реальное училище, ни институт.

Эту же самую простонародность, которая лежала в его основе, он почувствовал и в курсистке-бестужевке Нюре Невредимовой, почему так и потянулся к ней. И своим среди своих всего два часа назад он был, впервые увидев известного ему еще с отрочества по репродукциям с картин художника Сыромолотова и сестру Нюры. Могучий этот старик, он ли не был простонароден?.. А в сегодняшней кают-компании, там кто?.. Кранихи, полкранихи, четвертькранихи?..

Чем может кончиться у него с ними то, что началось сегодня? Может быть, просто выкинут его с «Марии», бросят за борт с линкора куда-нибудь на тральщик или на транспорт?.. А не все ли ему равно? Пусть выбрасывают куда угодно... Пусть выбросят хоть завтра же,— он будет только рад этому: не будет участвовать в новом совершенно бессмысленном походе на Варну, который может окончиться еще более печально, чем это случилось с тральщиками.

Что ему нужно было хорошо выспаться перед завтрашней вахтой, об этом не забывал Калугин, этого просило и все его тело, измотавшееся за день, но сон не шел, веки никак не могли сомкнуться.

Он лежал, заложив ладони рук за голову, отчего голове было жарче, но даже этой позы изменить не мог. Поток впечатлений дня был очень бурен. Мысли перескакивали с предмета на предмет, и совершенно ничем и никак нельзя было заглушить ощущения, что жизнь взяла его за ворот железными пальцами, что они не разожмутся, а вот-вот встряхнут его с огромной силой... И логики никакой в этой встряске не было видно, и напрасный труд был бы ее искать...

Ему хотелось думать только о Нюре, даже больше того: чувствовать себя так, как теперь чувствует себя она сама. Он представлял совершенно осязательно ее одну в комнате на своей постели, как он сам один на койке в своей каюте. Война — наносное, вой-

на пройдет, а Нюра останется, должна остаться, и не одна, а с ребенком,— его и ее вечностью.

Он говорил ей часто, что уверен, как в ней и в себе,— родится мальчик, новый Калугин, продолжатель его и ее,— вечность их на земле... Операция — не роды, но с этим он уже примирился. Так или иначе, естественным или искусственным путем, но ребенок, мальчик, должен появиться на свет... быть может, даже завтра, скорее всего, что именно завтра...

С этой стороны удача. Здесь из колоды как будто вынут крупный козырь. Об этом говорило ему и лицо Нюры,— радостное лицо. За последнее время в первый раз увидел он у нее такое радостное лицо, и ему хотелось думать только о ней, сегодняшней и завтрашней, а около него таилась в ночном сне жизнь тысячи двухсот людей... Впрочем, не все из них и спали: несли вахту, оберегали сон, отбивали склянки... Оберегали сон многих, между прочим, ведь и его тоже... Офицеров — горсть, матросов — сила!.. И вот он, прапорщик Калугин, обвиняется в том, что откалывается от офицеров, благоволит матросам...

Они должны быть заодно, а выходит, что матросы — против своих офицеров, офицеры — против матросов, а завтра ведь, может быть, им всем прикажут идти в бой, в сражение... Что же может выйти у них удачное для андреевского флага?

Как ни пытался заснуть Калугин, ничего не выходило: слишком близко к нему подступали допрашивающие глаза то одного, то другого из виденных им по прибытии сюда кранихов, полкранихов, четверть-кранихов, и все хотелось отмахнуться руками от их противной близости...

Когда забылся он наконец, было уже около двух часов, однако и забытье это, неполное, тяжелое, не избавляло его от скачки перед ним назойливых, совершенно ненужных ему лиц, хотя он укрывался от них своей тужуркой; прорывались и лезли к нему неотбойно...

А в шесть часов разбудили его рожки горнистов и дудки дневальных.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Горнисты в свои рожки играли «побудку», а следом за ними дневальные высвистывали «койки наверх!». Это значило, что матросы, чуть только про-

снувшись, должны были спрыгнуть со своих подвесных, похожих на гамаки, коек, проворно зашнуровать их и подтянуть, чтобы они не мешали двигаться в помещении, и без того тесном.

Калугин, проснувшись, представлял утреннюю суетню матросов, которые теперь, скатав койки, спешили к умывальникам, чтобы выйти потом «на молитву» и на утреннюю поверку.

Это проводилось ежедневно: молитва тоже входила в круг служебных обязанностей матросов, а поверка должна была установить, не сбежал ли кто из них ночью в город (бывали такие случаи).

Калугин вспомнил, что вечером норд-вест гнал с моря в бухту волну: освещенные прожекторами с «Марии», горевшими при погрузке угля, эти черные, с белыми гребешками волны имели вызывающий вид. И теперь он спрашивал самого себя: утих норд-вест или еще более разыгрался?

Голова была тяжела, так как спал он мало, и ему хотелось еще хотя бы с полчаса поваляться на койке, но вдруг почему-то он подпрыгнул на ней,— чуть не свалился на пол...

Крупная дрожь прошла по всему огромному телу корабля... почему? Это было так неожиданно, так необычайно, что Калугин тут же вскочил и бросился к двери, а там, в коридоре, как и у него, везде отворялись двери кают и из них выскакивали офицеры, как и он, в одном белье. «Что такое? В чем дело?» — слышались крики, но ответом на них был страшнейший грохот взрыва где-то там, под ними, и так встряхнуло весь корабль, что никто не удержался на ногах, и Калугину показалось, что он, падая, стремглав летит куда-то в темноту: электричество погасло!.. Тут же пополз по коридору какой-то удушливый запах, от которого слезы выступили и трудно стало дышать.

Кто-то кричал:

— Наверх! Наверх! Газы!

За кого-то спереди ухватился Калугин, кто-то сзади крепко взялся за его рубаху, и вот цепочкой, один за другим, ощупью, но не теряя ни секунды, они двинулись к трапу, который должен был вывести их на верхнюю палубу, на свежий воздух, где можно было бы действовать легким...

— Что? А? Торпеда?.. Откуда?.. Чья?..— слышал Калугин впереди и сзади себя, сам же он не спрашивал: он зажал рот левой рукой.

Узок был и коридор, но трап, когда добрались до него, был еще у́же: там началась давка. Однако вверху, на палубе, то появлялись, то исчезали какие-то отблески... откуда?..

Наконец, вот и палуба, но, ступив на нее, Калугин застыл на месте от испуга: набегавшие и отбегавшие отблески оказались пожаром на корабле,— палуба горела в носовой части...

Горела масляная краска, горело дерево, где оно было, горела парусина, покрывавшая орудия... Одна за другой на глазах Калугина грозные башни с их чудовищно длинными двенадцатидюймовками охватывались огнем!

— Откуда огонь? — громко, но самого себя спросил Калугин, а кто-то рядом, пробежав мимо, ответил ему:

— Нефть горит!

Калугин выскочил ближе к борту, чтобы взглянуть на носовую часть, и увидел взметнувшийся высоко в черное небо согнутый, растрепанный ветром столб огненной нефти. Она не успевала сгореть в воздухе, и большие клочья ее падали в море, продолжая гореть на воде...

Это было страшное зрелище: казалось, что море около злосчастной «Марии» тоже горело... Клочья нефти летели дальше и дальше, но когда ослабевал порыв ветра, обрушивались на верхнюю палубу...

Одна стихия стремилась уничтожить на корабле все, что могла; другая — кругом него — зловеще смотрела на него тысячью желтых глаз, ждала его как свою законную добычу...

Это не столько осмыслил, сколько почувствовал Калугин: две стихии, и обе — его смертельные враги... Если не сгоришь, то утонешь!..

Не было видно кругом офицеров и матросов: метались какие-то странные, яркожелтоосвещенные люди в одном белье... Вот кто-то кричит:

— На корму! На корму!

Это дошло до сознания: раз взрыв произошел в носовой части, где в трюме было заложено,— Калугин вспомнил это,— сорок четыре тонны бездымного пороха, значит, надо бежать на корму, под которой нет

крюйт-камер... И бежать, не теряя секунды: огонь лютует, он движется быстро, он лижет крашеную палубу...

На бегу Калугин едва замечает кого-то, кто сидит на палубе и собирает выпавшие из его живота кишки...

Кругом вой,— страшный, нечеловеческий вой, из которого вырывается только один внятный крик:

— Спаси-ите!

А как спасать? А кому спасать?..

Мельком глянув с борта вниз, Калугин видит при зыбком желтом свете, что кто-то барахтается в море,— и не один, там несколько голов, и оттуда доносится тот же крик:

— Спаси-ите!

«Надо спускать шлюпки!.. Отчего не спускают шлюпок?» — возникает мысль... И тут же: «А наши гидропланы?»

Не видно ни шлюпок в воде, ни гидропланов в воздухе...

На корме, на мостике, когда добежал он, увидел много людей... Узнал командира, узнал старшего офицера, хотя оба они были тоже в одном белье... Они и здесь рядом... Но здесь есть и матросы, и при особенно яркой вспышке огня Калугин узнает какое-то знакомое лицо, всматривается,— вспоминает фамилию матроса Саенко... Вспоминает и то, что все пятеро, бывшие с ним на катере, посажены были под арест,— значит, выскочили из каземата?.. Как же это им удалось?.. А летящие вверху клочья горящей нефти несет ветром и сюда...

Вдруг загорается кормовой тент...

— Тент, тент тушите! — кричит Кузнецов, и Калугин почему-то бросается исполнять этот приказ командира, будто он обращен именно к нему.

Как его тушить, этот тент, он не знает, и в руках у него ничего нет...

Однако он видит рядом с собою Саенко, а тот уже нашел что-то такое на палубе, чем колотит по горящему толстому холсту, чтобы сбить огонь... И несколько человек матросов,— их можно от офицеров отличить по их тельняшкам,— тоже что-то делают у тента...

Калугин ищет около себя на палубе хоть что-нибудь, но ничего не находит, а между тем Кузнецов командует снова:

— Срезать тент и сбросить в море!

Калугин как-то даже становится бодрее: командир не теряется,— он знает, что надо делать!.. С горящего и тонущего корабля он должен будет уйти последним,— такова его привилегия!.. Срезать тент? А чем же его срезать?

Полагая, что там, где он прикручен к стенке, есть что-нибудь, чем можно срезать узлы,— иначе зачем такая команда? — Калугин бросился к стенке: он — офицер, он должен руководить работой...

Оказалось, кто-то из матросов уже рубил топором — и где только взял его? — узлы и делал это метко и быстро... И вдруг случилось то, чего никак не предвидел Калугин: горящий тент, оторвавшись от стенки, накрыл его так, что он почувствовал паленый запах собственных вспыхнувших волос на голове и бороде, и в то же время поволок его к борту, за который и свалил его своею тяжестью...

Калугин окунулся с головой в холодную воду... На голове и левой щеке засаднило... Когда он вынырнул, то рядом с собою увидел головы нескольких человек.

— Саенко! — крикнул он, сплюнув воду.— Ты здесь?

— Я здесь! — крикнул Саенко.— А ты кто?

— Я — прапорщик Калугин!

— А-а! Ваше благородие! — и в голосе Саенко ему послышалась радость.— Вы как на плыву?

— Ничего, легок! — ответил он.

— Тогда плывем рядом!.. Должны подобрать!

Сзади кто-то выкрикнул с передышкой:

— Там сгорели-ба... а здеся утонем!

И еще другой голос:

— А далеко плыть-то?

Впереди была только темнота, из которой вырывалось несколько желтоватых гребешков волн, когда на волне подымалось тело Калугина. Удача была только в том, что плыть пришлось не против волны, а за волною. Удачей счел Калугин и то, что его сбросило тентом в ту часть моря, на которой не горела нефть... На ногах его были только тонкие носки, в которых он спал,— они движениям ног не мешали. По тому, что саднило и левое плечо, он понял, что рубаха на плече прогорела... Изловчился ощупать голову и лицо,— обрил огонь, как парикмахер... Вспомнил, что когда

был реалистом шестого класса, зашел после экзаменов в парикмахерскую на Галерной и обрился там наголо, чтобы голове летом было легче... Старался работать руками и ногами так, как когда-то на Неве и в Финском заливе, соблюдая все правила пловцов, экономя силы. Так как ближайшим судном был линкор «Екатерина», то на него и стремился держать направление, хотя волны отшвыривали его то влево, то вправо. Работа тела победила тот холод, который его охватил, когда он упал через борт в море, но надолго ли? Подумав об этом, он оглянулся влево, где плыл Саенко. Однако не разглядел его за волною.

«Не утонул ли?» — подумал он, но тут же услышал его голос недалеко от себя сзади:

— Не чепляйся за мене! Втопишь!.. Плыви сам!

И тут же чей-то еще голос, хриплый и слабый:

— Не могу я... судорога...

Судорога!.. С ним тоже может это случиться, и что тогда?.. Неужели конец?.. А где же шлюпки? Ведь он уже далеко отплыл от горящего корабля, а почему же не спускают шлюпок на других кораблях?

Чтобы определить на глаз, как далеко оставил он за собой «Марию», он оглянулся и, к ужасу своему, увидел, что «Мария» тут же за его спиной, рядом, огромная, огненная, страшная!

— Саенко! — крикнул он что было силы и ждал.

— Есть Саенко! — отозвался матрос шагах в десяти сзади.

И тут же обо что-то ударилась рука, что-то обхватила непроизвольно... «Доска? Откуда это доска?..» Только подумалось, а тело уже привалилось к этой спасительной доске, чтобы передохнуть хоть немного. Но очень жутко было одному то подниматься на волне, то нырять вместе с доскою...

— Саенко! — снова крикнул Калугин.

— Вашбродь,— вон он, тузик! — отозвался Саенко совсем рядом своим радостным голосом.

— Тузик? — Калугин забыл и не мог вспомнить в этот момент, что такое скрывается под словом «тузик», но, взлетев на волну, начал медленно перебирать глазами перед собой и заметил вдруг, как над водой опустились и поднялись, вновь опустились и вновь поднялись, блестя, весла!.. Одна только пара весел, но в них было его спасение.

А голова Саенко оказалась уже впереди его... Калугин отбросил доску и вразмашку поплыл вслед за этой головою на двухвесельную лодочку, самую маленькую из шлюпок, которую звали тузиком, потому что был в ней всего один гребец.

— Сюда, сюда! Подгребай! — кричал этому гребцу Саенко.

Хотел было крикнуть то же самое и Калугин, но у него ничего не вышло от страха: он почувствовал, что судорога сводит ему правую ногу.

Он загребал руками во всю силу, какая еще оставалась, и на взлете волны видел, как карабкался по веслу в тузик Саенко, и слышал, как кричал он гребцу:

— Офицер наш тут один плывет! Не сшиби!

Еще несколько взмахов одними руками, и вот, наконец, весло, за которое надо было взяться, а волна отшвыривает, и он, отфыркиваясь от воды, лезущей в рот, и волоча правую ногу, хватается за борт тузика, а гребец подсовывает, свесившись, свою руку ему под плечо.

Какое трудное оказалось это дело — влезть в игрушечную лодчонку с ногою, которая мешала!.. Отблеск горящей «Марии» помог разглядеть Саенко, который уперся задом в другой борт тузика, чтобы он, Калугин, не перевернул его тяжестью своего тела.

Вот уже голова Калугина и плечи его рядом с мокрой одеждой гребца, а нога не способна делать никаких движений,— она только дрожит и скрючивается, и Калугин хрипит:

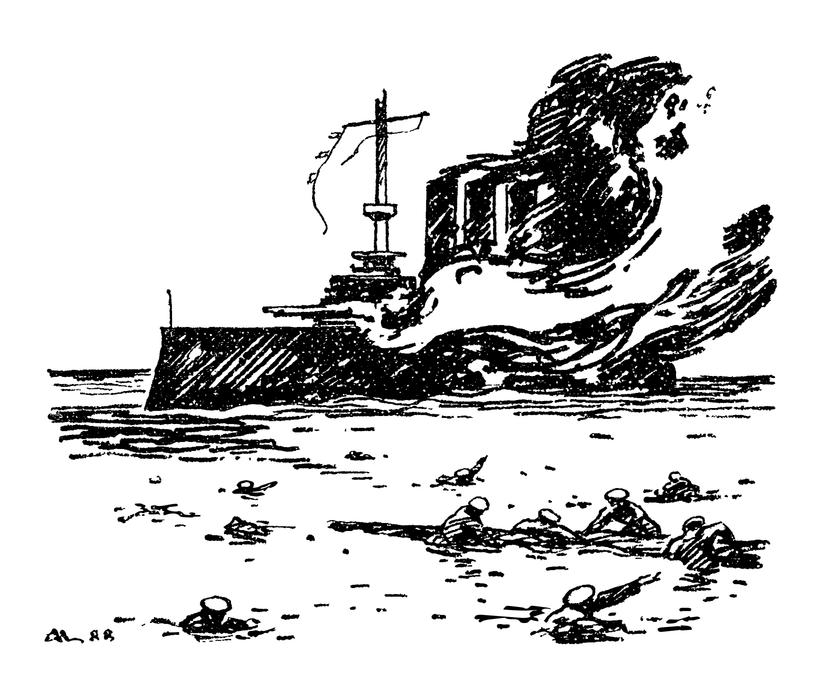
— Берись за ногу! Судорога!

Какой-то еще неясный момент, и вот он полулежит в тузике, и Саенко говорит радостно:

— Ну вот и спаслись,— слава богу!

Калугин, который старался как-нибудь выпрямить свою ногу в узком, тесном тузике, только что хотел сказать ему: «Спасибо тебе, а то бы я не спасся!» — как раздался новый, второй, потрясающий взрыв на «Марии».

Он поднял голову, и ему показалось, что прямо над ним, так близко, рванулся в небо ярко-оранжевый, переплетенный синим, столб пламени: другие большие цистерны нефти дали этому пламени пищу... Картина стала совсем непереносимо страшной, а тузик закачался, забился на новых волнах, которые шли от пред-



смертно вздрогнувшей всем своим стальным корпусом «Марии»...

— Ну, значит, конец! — сказал Калугин.

— Нет, стоит еще! — крикнул им обоим, ему и Саенко, матрос-гребец, выправляя над водой весла.

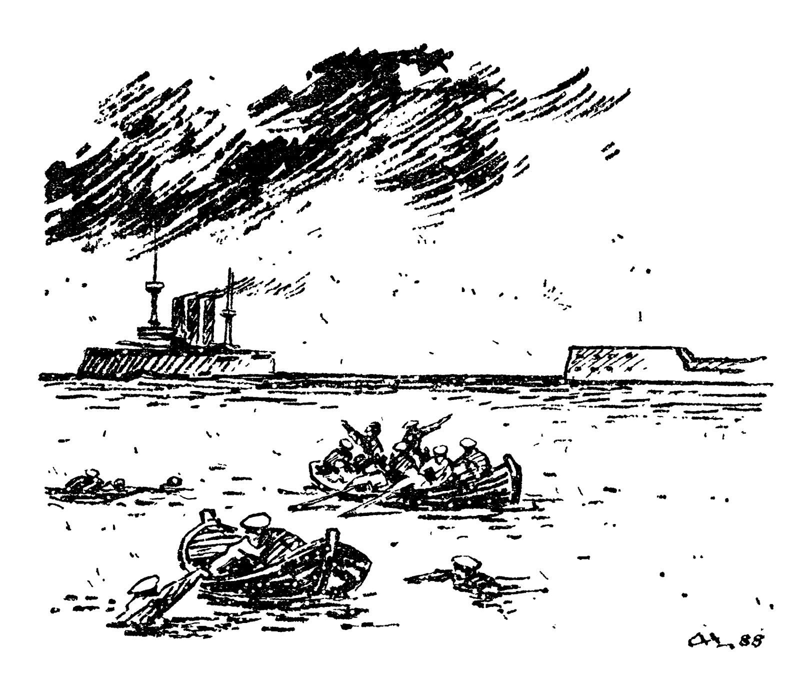
— Спа-си-те!.. Братцы!—донеслось далеко с воды.

— Спа-си-те! — донеслось еле слышно, как стон.

Тузик валялю... Калугин уперся плечом в его борт и ухватился за перекладинки на дне, которые были уже покрыты водою, чтобы не вылететь из него, так он кренился то на тот, то на другой борт на беспорядочной зыби: волны, шедшие от «Марии», встречались с волнами от непрекращавшегося нордвеста.

«Только бы добраться до баржи!» — думал Калугин, борясь со своей судорогой, которая так мучительно стягивала иногда ногу, что он захватывал зубами мокрый рукав рубашки, чтобы не кричать от боли.

Уже не было возможности смотреть даже и на погибающую «Марию», да там и нельзя было разглядеть ничего, кроме бушующего огня вверху над огненным морем... Лучше было даже закрыть глаза: ужаса,



который творился теперь там, он не мог уже представить,— от этого отказывалось воображение.

— Вон она, баржа! — услышал он голос Саенко, глядевшего в сторону «Екатерины» и других судов.

— Что? Баржа?.. Есть баржа?..

В ноге осталась от судороги тупая общая боль, но мышцы уже не сокращались так непослушно воле... И тузик пошел ровнее... «А что же те, кто кричал: «Спасите!» — подумалось Калугину, и он ответил себе, что, может быть, они все-таки не утонули, может быть, подобрал такой же тузик... Ведь преступлением было бы со стороны командиров не только «Екатерины», но и прочих судов не послать катера, а только шлюпки с гребцами, на спасение экипажа «Марии»!.. За такое преступление судить их суровым, строжайшим судом, как изменников родине!..

— Вот и баржа,— сказал гребец, и Калугин увидел что-то длинное, по цвету светлее моря; подняв голову, он разглядел и фонарь на мачте, горевший, впрочем, очень слабо, тускло, масляно.

— Ну, теперь лиха беда причалить! — сказал Саенко, на что гребец ничего не ответил: он и сам знал,

что «лиха беда»,— можно было и разбиться о борт баржи по такой волне и снова вывалить в воду тех двоих, кого только что спас.

— Лови конец! — закричали с баржи, и Калугин увидел, как что-то метнулось к ним оттуда, а Саенко крикнул: — Есть! — и схватил обеими руками канат.

Перелезть с пляшущего на волне тузика на баржу оказалось для Калугина делом еще более трудным, чем вылезть из воды на тузик. Правая нога была совсем бессильна и болела; мокрое белье прилипло к телу и стесняло движения и очень холодило, просыхая на ветру, а между тем требовалось быть акробатом, чтобы улучить самый удобный момент из немногих и зацепиться за что-то руками, чтобы не обрушиться в жуткую волну.

Ему помог Саенко: он подхватил его как-то умело в поясе и скомандовал: «Гоп!» — а сам Калугин сделал что-то такое, что именно и нужно было сделать по этой жокейской команде, и, непостижимо для самого себя, стоял на барже, которая могла бы вместить человек полтораста... или даже все триста, трудно было определить это.

— Эге! Вот и дома! — крикнул Саенко, и Калугин понял его: теперь уж было надежно.

С другого борта,— он увидел это при неровных, хотя и сильных вспышках огня над линкором,— тоже входили в баржу люди в белье,— матросы ли или офицеры, трудно было ему понять. Как-то даже и не возникала мысль, чтобы можно было кого-то узнать. Было только сознание, что спасают, что пристала к барже шлюпка...

Стоять он не мог от боли в ноге и сел на что-то и, сжавшись всем телом в тугой комок, боролся с холодом, который шел от его же мокрого белья. Холоду хотелось проникнуть в него как можно глубже, пронизать его насквозь, а он стремился не пускать его внутрь и дрожал крупной дрожью.

— А холодно ж, хай ему грець! — сказал около него Саенко.— Так недолго и чахотку схватить!

— Ничего... Перетерпим...— счел нужным подкрепить его Калугин, стараясь при этом хоть не ляскать зубами; и тер левой ногой свою правую, чтобы она меньше коченела.

Кто-то зычно кричал с борта баржи в воду, в темь и в яркие вспышки пламени:

— Да трафьте ж к трапу, слепые черти!

И Саенко, тоже силясь справиться с пляшущей нижней челюстью, радостно доложил:

— Видать, ще юдна шлюпка подходе, вашбродь!

Но не одна, а еще две больших шлюпки подошли и с правого и с левого борта и выгрузили на объемистую баржу выловленных людей, когда загрохотал новый страшный взрыв...

Баржа закачалась всем своим немалым корпусом на прихлынувшей оттуда, со стороны «Марии», высокой волне, и раздались крики кругом:

— Лег!.. Лег набок, гляди!

И тут же новые:

— Опрокинулся,— во страсти!.. Килем кверху!.. Сейчас потонет,— эхма!..

Калугин видел теперь на воде освещенную только горящей нефтью спину огромнейшего морского чудовища... И так как Саенко в это время крестился испуганно, то перекрестился и он.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Долго не могла заснуть Надя, придя от Нюры, и мешали этому сложные чувства.

Вихрь новых представлений и мыслей ворвался в нее здесь, в Севастополе, но самым заметным звеном этого вихря было все-таки то, что Нюра, ее младшая сестренка, на этих вот днях, быть может даже завтра, станет матерью!

С раннего детства овладела Надей привычка нянчиться с Нюрой, руководить ею, учить ее, что надо делать, что нельзя; как понимать это, как то; как называется эта буква азбуки, как эта...

Она как будто вкладывала в Нюру себя, ревностно оберегала ее, жила ею, сама повезла ее в Петроград, устроила на курсы... Там разошлись их дороги, там обе стали замужними, и вот теперь у нее, Нади, муж известный художник, так спокойно относящийся к жизни, что заснул даже здесь, в этом тухлом номеришке, как у себя дома; у нее — картина, которая явится,— дайте срок,— очень большим и нужным творением искусства, картина, в которой она чувствует себя соавтором мужа, однако жизнь ее как-то половинчата, ущерблена, неполна, нет...

Многого, очень многого не хватало в ней, в этой жизни, и очень остро почувствовалось это именно сегодня, в комнате Нюры: превосходство над собою болезненно почувствовала там Надя... В жизни ее открылась незаполненная пустота: была картина, но не было ребенка!

То, прежнее отношение к Нюре, которое можно бы было назвать почти материнским, оно проснулось, заговорило громко. Она, Надя, должна бы была передать Нюре, впервые рожающей, свой опыт, но нечего было передавать: опыта не было, Нюра своевольно опередила ее в этом.

Роды ее будут не такими, как обычно; ей поможет в этом какой-то хирург Готовцев, которого не видала Надя и никак себе не представляла, но все равно, ведь ребенок почти уже доношен, сам просится в жизнь. Нюра зачала его, Нюра питала его своею кровью, Нюра сберегла его в себе, и он появится так или иначе, и она будет матерью,— выполнит назначение женщины, а вот ей, Наде, этого не дано... Не то чтобы зависть к своей младшей сестре копошилась в сознании Нади, но что-то близкое к зависти, что-то похожее на нее.

И муж Нюры, моряк поневоле, нравился Наде, он был бесхитростный, простой, прочный в своем чувстве к жене... Беспокойной оказалась его служба во флоте, но все-таки гораздо лучше линейный корабль, чем окопы на фронте,— и здесь, значит, вынулся Нюре счастливый жребий... Да война уж идет к концу, это всеми чувствуется, это все уже понимают... Демонстрация у Зимнего дворца неизбежна. Сколько до нее? — несколько месяцев, не больше... И тогда картина Алексея Фомича (и ее) будет выставлена всенародно,— смотрите и удивляйтесь! — и муж Нюры, прапорщик флота Калугин, сбросит с себя морскую форму...

Иногда она забывалась, но тогда попадала в область таких непостижимо запутанных и нелепых снов, что, просыпаясь, никак не могла сразу догадаться, где она и что с нею. Потом опять начинала думать о Нюре и ее материнстве, пока не забывалась снова, чтобы кружиться в вихре неведомо откуда бравшихся снов.

И когда она ясно услышала грохот, как будто ударил гром теперь, в октябре, и когда звякнули стекла в окне, а сама она будто подбросилась на койке всем телом,— это Надя тоже сочла было нелепым сном, но, открыв

глаза, увидела, что Алексей Фомич уже осветил свою лохматую голову зажженной им спичкой.

— Что это значит, а? — спросила Надя и села на койке.

— Что?.. Не знаю... «Гебен», может быть, а? — пытался догадаться Алексей Фомич.

— Свечку зажги!

— Ищу ее... Не знаю, куда делась...

Огарок свечки коридорный им поставил, предупредив с вечера, что электричество у них горит только до двенадцати часов, но теперь, ошеломленные громом, нашли они этот огарок с трудом, а когда зажгли его, услышали бегущих по коридору людей.

— Значит, и нам бежать надо! — решил Сыромолотов.— Одевайся скорее! Это не иначе, как «Гебен»... Неймется им, негодяям!

— Васька! Васька, черт окаянный! — закричал кто-то, пробегая мимо их двери.

— Надо умываться! — Надя бросилась к умывальнику.

Но в умывальнике не было воды: она забыла, что истратила ее всю еще с вечера. А Алексей Фомич поспешно одевался. Начала проворно одеваться и Надя.

Посмотрев на свои часы, сказал Сыромолотов:

— Времени еще немного,— седьмой час в начале, а уж заря: посмотри-ка на окно, Надя!

Окно розовело, и это заметила Надя, когда заслонила собою свечку. Кое-как заплетя косы и приколов их, Надя надела шляпку, схватила свое пальто, потушила свечку (отчего зарево в окне стало гораздо ярче) и, пропустив Алексея Фомича в коридор, заперла номер.

— На, спрячь,— сунула она ключ Алексею Фомичу, который рокотал, направляясь к лестнице:

— Вон в какую мы историю попали, а?.. Вот тебе и Севастополь!

Как ни спешили они одеться, оказалось, что из своего коридора они выходили последними. Но на лестнице, освещенной теперь небольшими керосиновыми лампочками, им удалось все-таки спросить какого-то чубатенького парнишку:

— Что это, зарево или светает?

Парнишка бросил им в ответ два какие-то ни с чем несообразные слова: «Море горит!» — и загромыхал по ступенькам лестницы на каблуках.

— Должно быть, морской бой... да иначе и быть не должно,— пытался догадаться Сыромолотов.— «Гебен» палит в наших, они в него...

— Отчего же залпов больше не слышно? — спросила Надя уже на нижней лестнице.

— Подожди, выйдем — услышим,— обнадежил ее Алексей Фомич.

Но ничего не услышали они, когда вышли из гостиницы. На площади было темно, а в небе над бухтой краснело-желтело зарево; кругом около них бежали куда-то люди.

— Куда вы? — спросила Надя кого-то из бежавших.

— На Графскую! — ответили ей.

— Стало быть, и нам надо на Графскую,— решил Алексей Фомич.

Графская пристань от гостиницы Киста была недалеко, но тяжелому Сыромолотову показалось, что шли они долго: это потому, что Надя почти летела вперед, безостановочно твердя одно и то же:

— Там что-то теперь ужасное происходит в бухте, ты пойми, а там Михаил Петрович!.. И как же теперь себя чувствует Нюра?.. Мы должны сейчас к ней ехать, сейчас же!.. Вот узнаем, что там такое, и к ней, чтоб ее успокоить!.. Ведь она должна быть спокойной перед такой операцией, а тут вдруг кто-то крикнул: «Море горит!» Какой ужас!.. Господи, какой ужас!

— Чепуха!.. Как это «море горит»?.. А ты и поверила! — пробасил Алексей Фомич.

Но около кто-то из темноты отозвался на это:

— Не знаете, как море горит? Очень просто: нефть на воде горит!

— Вот! Ты слышишь? — подхватила это Надя.— Вон какой ужас!

Сыромолотов держал Надю за локоть, чтобы она не слишком рвалась вперед, она же все-таки вырывалась, чтобы поспеть за другими. Ему приходилось делать непривычно большие шаги; у него начиналась одышка.

Наконец, подошли к такой густой толпе, сквозь которую нельзя уж было пробиться. Да и следом за ними подбегали новые толпы, и оттуда, запыхавшись, кричали:

— Что, братцы, там, а?.. Какой это корабль горит?

— Ты слышишь? Корабль горит! — закричала Надя Сыромолотову.

— Ну, значит, подбили, вот и горит,— объяснил он ей.

— Какой черт подбили! — гаркнул кто-то около.— Чем это подбили? Взорвали, а не подбили!

И еще кто-то около:

— Подводная лодка подошла!.. Мину пустила!

— Торпеду, а не мину!

— А не один ли черт? Сказал тоже!

— Да какой же корабль наш горит? — почти простонала Надя, обращаясь ни к кому и ко всем.

И чей-то суровый мужской голос спереди ответил ей:

— Вот тебе на,— не знает какой! Дредна́ут «Мария»!

Надя не прижалась к Алексею Фомичу при этих словах,— она просто упала на него всем телом, и, обняв ее всю, он бормотал тоже ошеломленно:

— Ну, не надо, Надюша, не надо, милая... Возьми себя в руки!.. Может, это и враки,— почем они знают и в самом деле?.. И нам ведь к Нюре надо ехать сейчас, к Нюре!..

О Нюре не забыла, конечно, Надя, как ни была поражена тем, что услыхала. Она поспешно вытерла глаза и кинулась в толпу, прихлынувшую сзади. Однако протиснуться сквозь нее, пожалуй, не могла бы, если бы не мощная работа Алексея Фомича руками и плечами. При этом спрашивали у него:

— Что горит?.. Какой корабль погиб?

Он же бормотал на это однообразно:

— Неизвестно... Ничего неизвестно!

Знакомой уж им Нахимовской улицей, ежеминутно уступая дорогу бегущим к пристани людям, добрались они до Рыбного переулка.

Они боялись испугать Нюру даже одним своим появлением в такой ранний час (было около семи), и Надя придумывала на ходу, как она потихоньку постучится в дверь и что именно скажет о приходе. Но тут раздался новый взрыв, отчего даже тротуар под ногами вздрогнул, как при землетрясении, и в небо высоко взлетело если не пламя, то такое, что стоило пламени по силе света, и Надя снова упала на грудь Алексея Фомича...

В окнах дома номер шесть они увидели свет ламп, и стучать в дверь комнаты Нюры не пришлось: Нюра стояла уже одетая и спрашивала их так же, как они спрашивали в гостинице:

— Что это, «Гебен» подошел?.. Это наши дали сейчас залп с крепости?

— Именно, он, подлец, «Гебен»! — мгновенно придумал Алексей Фомич.— А с него гидроплан слетел и к нам, но его тут же подбили, и он горит,— показал на небо через окно.

Нюра поглядела на зарево и заметила довольно спокойно:

— Только зарево что-то очень большое...

Чтобы не проговорился все-таки Алексей Фомич, Надя ответила ей:

— Это так только кажется от темноты...— И тут же добавила: — А ты уж собралась,— вот молодец! Сейчас мы тебя и повезем в больницу.

И стала нервно гладить ее по голове и целовать в щеки.

— Рано, мне кажется, сейчас ехать, Надя: спят там теперь все в больнице,— возразила было Нюра, но Надя была решительна.

— Теперь? Спят? Весь Севастополь проснулся,— почему же в больнице будут спать!.. Алексей Фомич! Выйди, пожалуйста, посмотри, может, мимо какой извозчик едет, а мы пока соберемся!

Сыромолотов понял, что он здесь сейчас лишний, а извозчика действительно надо было найти во что бы то ни стало.

— Найду, найду,— облегченно сказал он и вышел.

Свет в переулке был только от зарева в небе со стороны бухты, и был он мутноватый, зыблющийся, нестойкий.

Алексей Фомич, продвигаясь из переулка на улицу, старался думать только об извозчике и слушать, не громыхнут ли где в стороне по булыжнику звонкие колеса извозчичьего четырехместного фаэтона; но думать только об этом оказалось нельзя, и вслушиваться приходилось в другое.

Сыромолотов пытался убедить самого себя в том, что если даже что-то страшное происходит сейчас в бухте, то не с «Марией» же,— почему именно с «Марией»?.. Просто вздумалось кому-то ляпнуть: «Мария», другие сейчас же и пошли попугайничать: «Мария!», «Мария!» — Мало ли еще судов в Большой бухте?..

И, чтобы подкрепить себя, он обратился к кому-то в картузе и пиджаке на вате:

— Ведь это не «Мария» горит, а?

— Как же это так не «Мария», когда она самая и есть! — удивился картуз.

— Да ведь ты же не видел этого, а только зря болтаешь! — рассердился Алексей Фомич.

— Собственными своими ухами я это слыхал, а совсем не болтаю! — рассерчал картуз.

— Э-э, «ухами», «ухами»! — свирепо повторил Алексей Фомич и пошел дальше.

Новый взрыв, как будто даже еще более ужасный, чем прежние, остановил его. Он невольно поглядел на небо, чтобы посмотреть еще больший взлет пламени, но, к удивлению своему, этого не увидел: зарево как будто даже несколько потускнело... Подумал о Наде: что теперь говорит она в утешение Нюре? Он бы сам едва ли нашел, что сказать.

Еще минут десять ходил он, стоял на перекрестках, вслушиваясь, не прогремят ли где близко колеса. Спрашивать ему уж никого не хотелось больше: было страшно...

Но вот какие-то два подростка, похожие на гимназистов по своим шинелям, закричали третьему, только что вышедшему из ворот дома на улицу:

— Эх, соня!.. Про-спал!.. Уже потонула!

— Кто потонула? — звонко спросил этот третий.

А те, пробегая дальше, ему:

— «Мария»,— вот кто!

Алексей Фомич был так поражен этим, что даже не остановил их, чтобы расспросить,— да они и быстро скрылись... Однако его нагоняли тоже быстро шедшие со стороны Графской пристани трое молодых людей. Из этих один говорил громко и горестно:

— Перевернулась, бедная, килем кверху и — на дно у-ух!..

Алексей Фомич этих хотел было остановить, но тут, на свое счастье, услышал именно то, чего ждал: колеса извозчика.

— Изво-щик! — крикнул он неожиданно даже для самого себя громко, но в этот крик вложил все негодование свое против судьбы, избравшей непременно «Марию», чтобы взорвать и утопить ее одну, не тронув никаких больше судов на всей стоянке Черноморского флота.

Извозчик остановился и повернул к нему.

Посмотрев на него, когда он подъехал, очень близко и проникновенно, Алексей Фомич сказал ему, занеся ногу на подножку:

— Надо будет отвезти в больницу роженицу, жену офицера морского, понял?

— Понимаем,— ответил бородатый извозчик, русак.

— Только чтоб ни-ни с твоей стороны, никаких не было разговоров про эту самую погибшую... про «Марию»... ты понял?

— Понимаем, не дураки ведь,— качнул головой извозчик, подождал, когда уселся он, спросил, куда ехать, и тронул лошадей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Извозчик действительно понимал.

Нюра, выйдя из дома и садясь в фаэтон, обратилась к нему:

— Что там такое горит?.. Почему залпы из пушек?

Но он, хоть и старался внимательно в нее вглядеться, ответил непроницаемо:

— Кто же их знает, из-за чего они там?.. Дело — военное, не наше.

И во всю дорогу до больницы ничего больше не сказал.

Стало уж светлеть небо, и отпылало зарево над рейдом, когда подвезли к больнице Нюру. Во время езды все в ней было сосредоточено только на том, чтобы вот тут, в фаэтоне, совершенно преждевременно не начались схватки... Да и «пальба залпами» прекратилась ведь, и Надя не напоминала об этом больше, и Алексей Фомич с полной основательностью сказал, что там все уже кончилось и ничего больше не будет.

Думать надо было только о своем, о самом важном, о том, к чему готовилась несколько месяцев, о последнем дне беременности. Этот последний день наступил,— может быть, даже час, а не день...

Надя, сама еле представляя, что за операция предстоит сестре, успела уже убедить ее, что это — совершенно безопасно и для нее и для ребенка; что это безболезненно, так как под наркозом, а главное, что это гораздо скорее, чем роды, которые всегда очень мучительны, если они первые. «Недаром же,— говорила она,— теперь так много работают врачи всех стран над вопросом, как обезболить роды!» А рану, какую ей сделают, зашьют так искусно, что через какие-нибудь двe-три недели даже и сама она не найдет, где именно был разрез...

В больнице, конечно, никто уж не спал.

Надя, оставив Нюру под присмотром Алексея Фомича в приемной, прежде всего позаботилась о том, чтобы предупредить бывших тут не разговаривать при ней о гибели «Марии», потом ринулась на квартиру Готовцева.

Алексей Фомич, оставшись рядом с Нюрой в плохо освещенной приемной, начал, чтобы занять ее и отвлечь от тяжелых мыслей, подробно рассказывать, как удачно прошли роды его первой жены и какой молодчага вышел его сын Ваня, «любимое дитя Академии художеств», получивший за свою картину «Циклоп и Одиссей» поездку за границу и там, в Италии, ставший между прочим еще и цирковым борцом, чемпионом мира по французской борьбе.

Говорил и все время следил за Нюрой, внимательно ли она его слушает. Ему же самому казалось, что он никогда раньше не был таким красноречивым и многословным, как теперь, когда он говорил о сыне, с которым даже не переписывался. Но расхваливал он его вполне убежденно: ведь это было нужно сейчас Нюре.

Когда Надя пришла, наконец, вместе с Готовцевым в приемную, утренний свет уже проник в окна этой обширной, но невеселой комнаты казенного вида, и Алексей Фомич смог с одного взгляда оценить того, в чьи руки передавал Нюру, к которой теперь, после катастрофы с «Марией», выросли и стали еще нежнее зародившиеся раньше отеческие чувства, пожалуй, первые в его жизни, так как не было их и к сыну Ване, художнику и чемпиону мира.

Готовцев показался ему надежным. Полная уверенность в себе, в том, что он сделает в отношении Нюры все совершенно безупречно и что опасаться каких-либо плохих последствий операции значило бы просто проявить свое невежество, так и сквозила во всех чертах этого грубоватого, правда, но зато твердого лица, во взгляде его зорких и спокойных глаз и даже в его походке, тоже спокойной, неторопливой, хозяйственной. Он как полный хозяин держался в приемной, что было, конечно, естественно: он ведал всей больницей.

Алексей Фомич очень не любил, когда незнакомые ему люди заговаривали с ним о живописи, но когда, пожав ему руку, Готовцев спросил его с большой любезностью:

— Над какой картиной сейчас работаете? — и добавил: — Я, должен вам сказать, кое-что понимаю в живописи и большой старинный ваш поклонник! — Алексей Фомич ответил ему на это с любезностью еще большей, что пока еще не положил кисти и «дряпает кое-что и кочевряжит» в меру своих слабых сил понемножку.

Готовцев обещал уже Наде к операции приступить теперь же, не откладывая ни на час, так как откладывать было бы опасно, и сказал Алексею Фомичу:

— Супругу вашу мы уж, не посетуйте, возьмем с собою, раз таково ее желанье, и дадим ей, как у нас полагается, белый халатик,— радикальное средство от всех микробов, а для такого широкого человека, как вы, у нас, простите, и халата не найдется!

— Да мне, собственно, зачем же углубляться в недра вашего заведения? — сказал Алексей Фомич.

— Именно, незачем! — подхватил Готовцев.— Да и здесь, в приемной, вам тоже незачем быть... Погуляйте по нашему садику,— есть у нас такой,— или вообще побудьте на свежем воздухе, а когда мы окончим, то ведь мы вас тогда найдем!

Алексею Фомичу оставалось только поклониться и напутствовать Нюру, чтобы она не робела. Потом они трое пошли из приемной туда, куда было нужно Готовцеву, он же вышел сначала в садик, где было всего с десяток деревьев, наполовину уже очистившихся от листьев, и две или три цветочных клумбы с неутомимо цветущей розовой петуньей и невысокими кустами лиловых и желтых георгин.

Так как садик окружен был высокими белыми стенами с большим количеством окон в них, а это явилось стеснительным для Алексей Фомича, то он вышел пройтись по тротуару около больницы.

Он желал остаться наедине, для чего видел впереди довольно времени, а подумать ему было о чем.

От множества тяжелых впечатлений в это утро Севастополь казался ему неустойчивым, катастрофичным, клокочущим, как кипящая вода в огромном котле.

Какими размеренно живущими представлялись ему отсюда улицы его привычного Симферополя! Даже демонстрации, хотя бы и незначительной, там ему никогда не приходилось видеть, пусть именно там задумал он писать картину «Демонстрация», там писал первый этюд к ней: Надю, тогда еще девицу Невредимову, с красным флагом, который сам же ей соорудил и вло-

жил в руки... Там ему нужно было самому компоновать взрыв терпения народа,— здесь он уже как будто показался ему, только какой-то совершенно непредвиденный и страшный.

Вся суть его, как художника, в том именно и заключалась, чтобы самому создавать бури из отдельных кусков тишины, приводя их в стремительное движение по своей воле.

В его картинах всегда была та или иная неожиданность для зрителя, которая не укладывалась и в слово «экспрессия»: он ведь никогда не писал «мертвой натуры», хотя и ходил по улицам «мертвым шагом». И вот в это утро перед ним встала гигантская картина, писанная не им, а многими, массой...

Что там случилось с «Марией»?.. И почему именно с этим линкором, а не с другим,— этого он не знал, но ведь его свояк Калугин только вчера говорил не о каком-либо другом, а именно о «Марии», что там роптали против действий под Варной адмирала Колчака матросы, роптали во всеуслышанье...

Даже и выйдя из больницы, Алексей Фомич почти не замечал построек вдоль улицы с той или другой стороны. Его воображение, предоставленное здесь самому себе, бушевало теперь, как пламя на «Марии», поднимавшееся столбами кверху, как пламя на море от разлившейся на волнах горящей нефти...

Дома около были точно сотканы из чуть-чуть оплотневшего воздуха, они и не стояли даже, а как бы реяли, и сквозь них проступал длинный, низкобортный линейный корабль с четырьмя башнями, каким он был вчера перед вечером... И вот теперь он пылал, а на нем метались горящие люди...

Языки нестерпимо яркого пламени,— желтого, всех оттенков,— бушуют на нем, и накаляются стальные плиты, которые ведь всюду там, на палубе, на бортах, на башнях... Вот валится вниз с башни, которая уже дала крен, что-то огромное... может быть, двенадцатидюймовое орудие, из которого ни разу не пришлось выстрелить по неприятельскому кораблю!..

А фон для этой страшной картины — черная предутренняя ночь... Когда эта картина горящего линкора подходила близко к его глазам, так что можно было различить даже и лица людей, мечущихся по палубе, Алексей Фомич прежде всех других видел мужа Нюры, прапорщика Калугина, Михаила Петровича.

Только вчера увиденный им впервые таким уверенным в себе, он представлялся ему с совершенно потерявшим всякий человеческий облик лицом и пылающим, как живой факел...

Этого вынести он не мог... Он бормотал: «В воду!.. Бросайтесь в воду!..» Однако тут же представлялась ему вода, которая тоже пылала, и он закрывал от ужаса глаза.

Когда же это видение горящего корабля отступало и он овладевал собой, ему вспоминались картины Айвазовского, Боголюбова и других художников-маринистов, изображавших то Синопский, то Наваринский, то другие морские бои... Стоят в линию наши парусные суда, и возле каждого белая круглая вата порохового дыма: это они стреляют по судам противника, стоящим в почтительном отдалении. Для пущего разнообразия в цветовой гамме где-нибудь на том или ином нашем судне два-три желтеньких пятна: это огонь выстрелов... Все чинно и благородно, ни убитых, ни раненых, и все мачты и паруса, весь рангоут и такелаж в образцовом порядке: как смеют враги нанести какой-нибудь ущерб казенному имуществу?

Но вот два тральщика, быть может порядочных по величине парохода, два дня назад погибли на минах под Варной, и от них ничего не осталось, и ни один человек из их экипажей не уцелел!.. «Вы представляете, что такое казенное имущество? — почти бормочет Сыромолотов, глядя на зеленую водосточную трубу, но представляя перед собой во всех мелочах только что виденного Готовцева.— Оно потере не подлежит, оно должно быть всегда налицо на случай ревизии! Когда художник Орловский, которого воспел Пушкин в «Руслане и Людмиле», написал большую картину «Переход Суворова через Альпы», она не была принята министром двора, князем Волконским: «На мундирах солдат у Суворова было по семь пуговиц в два ряда, а у вас только по шесть; куда же они дели седьмые? Преступление художника,— государственное преступление!.. Что же в самом деле случилось с этими седьмыми пуговицами на мундирах? Французы Массены их отстрелили, или солдаты потеряли такое казенное добро великой цены?..»

Так и не приняли у Орловского картину, над которой он целый год трудился!.. Осерчал Орловский и сам уничтожил свой холст... А кто уничтожил огромный корабль, дредноут?.. Это пока не было известно Сыромолотову,

а самому додуматься до чего-нибудь несомненного было совершенно невозможно...

Зато неотбойно выросла перед глазами, проступив сквозь какие-то дома и деревья, пылающая громада «Марии», которая вдруг накренилась всеми башнями и трубами вперед, ниже, ниже, и погрузилась в море огня шумно, захлебисто, подняв около себя огненные водовороты... и нет уже ни башен, ни труб, ни палубы,— торчит только длинная, черная, мокрая, как спина какого-то ископаемого левиафана, подводная часть корабля, местами развороченная взрывами... В последний раз мелькнула перед глазами зыбкая, струистая, как пар, фигура того, кто совсем недавно был прапорщиком Калугиным, и исчезла...

А жена этого Калугина,— теперь, впрочем, уже вдова,— лежала сейчас здесь на операционном столе в больнице, и ради нее и с нею вместе приехал сюда он, художник Сыромолотов!

Все это было, как страшный сон, и Алексей Фомич невольно пощупал себя за локоть: не спит ли он в самом деле?.. Но в это время из дверей больницы, к которой он подошел, откуда-то идя обратно, выскочила женщина, очень по-домашнему, в белом халате... Она ищет кого-то глазами,— вот, видимо, нашла и бежит... к нему, и он не сразу понял, что это Надя, а когда понял, наклонил голову, готовясь к новому удару. Но Надя, добежав до него и бросив руки ему на плечи, радостно, совсем по-детски пролепетала:

— Мальчик! Мальчик!..

— Что? Какой мальчик? — и понял и не понял Сыромолотов; и тут же вполголоса: — Мертвый?

— Живой! Что ты! Конечно, живой! — крикнула уже теперь Надя.

По щекам ее катились слезы, и чтобы спрятать их, она ткнулась к нему в грудь осчастливленным лицом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Офицерское отделение лазарета «Екатерины» было полно офицеров с «Марии», но спаслись далеко не все.

Из тех, которым удалось спастись, многих с забинтованными лицами никак не мог узнать Калугин; но так как и голову и лицо его тоже забинтовали, то другие не узнавали его.

Они стали новыми не только друг для друга, но даже и для самих себя. Их ударило в голову, и опомниться не могли они долго. Это чувствовал по себе Калугин.

Когда он лег на койку, то укрылся с головой одеялом. Он слишком был потрясен, да и все тело его трясло от озноба. Он не мог никого и ничего видеть.

То напряжение всех сил, которое помогло ему спастись, теперь упало, исчезло... Ни себя самого он не ощущал теперь как прапорщика морской службы, младшего офицера экипажа «Императрицы Марии», ни других около себя не воспринимал как офицеров с «Марии», и это было просто, может быть, потому, что ведь не было уже «Марии».

Для него как бы совсем даже кончилась и служба во флоте... Какая же теперь еще служба?.. Кому именно и зачем служить?.. И кто будет служить?.. Он?.. Да его почти уже нет, его подменило там, в это утро, и надобно было еще освоиться с тем, кем он стал теперь.

Его била крупная дрожь. Фельдшер лазарета положил к его ногам бутылки с горячей водой, но ему казалось, что они только мешали ему согреться.

Когда ему, как и всем другим, дали крепкого, почти черного, чаю с коньяком, ему стало лучше, и он забылся.

Видимо, забылись, как и он, или пытались забыться и другие, но в лазарете было тихо до полудня, когда матросы-санитары принесли им не то завтрак, не то обед.

Здесь был общий стол, за который они уселись, и Калугин не столько ел что-то такое, что ему дали, сколько вглядывался в лица тех, кто сидел с ним рядом, и против него, и дальше.

Тяжело обожженных или раненных среди спасшихся не было: такие и не могли бы спастись. Были люди, пережившие общее огромное несчастье и этим несчастьем выбитые из колеи так же, как и он,— так ему казалось.

Что-то говорилось не в полный голос, во что вслушаться было ему трудно, и первые слова, которые он расслышал ясно, были слова бывшего командира бывшей «Марии». По-видимому, он отвечал на чей-то вопрос, недослышанный Калугиным.

— Ведь кругом была полная темнота, и на корабле потухли все лампочки,— вот и думай в кромешной тьме, что тебе будет угодно!.. Я и сейчас не понимаю, что та-

кое произошло,— отчего вдруг взрывы,— как же мог я давать вполне разумные приказания тогда?

В лазарете был полный дневной свет, и Калугин мог хорошо вглядеться в лицо Кузнецова. Голова его почти до бровей была в легкой повязке, отчего он стал похож на корабельного кока. Лицо его за одно это утро сделалось дряблым, рыхлым; обычно живые серые глаза потускнели.

Нельзя было не понять Калугину, что вся ответственность за гибель дредноута в собственном порту ложилась на него одного, командира. Кто бы ни пошел под суд в связи с этой гибелью и корабля и многих из экипажа, в первую голову пойдет он.

— Самым разумным приказанием моим было бы уже после первого взрыва: «Спасайся кто как может!» — продолжал тем же тусклым голосом Кузнецов.— Но откуда же я мог знать, что будут еще взрывы?

— Взрывы должны были произойти от детонации,— сказал кто-то из офицеров, но Кузнецов ответил на это:

— Я сам ждал детонации после первого же взрыва,— я говорю о том, когда свет потух,— но-о... прошло ведь порядочно, как вы знаете, времени, пока новый взрыв раздался. Так вот,—детонация ли это?.. Пусть определяют эксперты, а мне это было неясно... Можно ведь было думать и о нападении подлодки... Так ведь и вы думали, Николай Семенович,— обратился он к старшему офицеру.— Теперь эта версия отпала: и сеть при входе на рейд совершенно цела, и водолазы осмотрели весь корпус «Марии» снаружи,— об этом я получил сообщение... Все взрывы произошли внутри корабля, в трюмной части, и от неизвестных пока причин,— вот и все, что и я знаю и вы знаете.

Калугину было ясно, что, говоря однотонно и медленно, Кузнецов вместе с тем подбирает слова так, как будто желает оправдаться и перед самим собою и перед своими офицерами прежде, чем начнет он оправдываться устно и письменно перед начальством.

Что касалось старшего офицера, который и теперь, после гибели корабля, сидел рядом с Кузнецовым, то он позволил себе возразить:

— Матросов вы, значит, совершенно отводите?

— Не вижу никаких оснований к тому, чтобы пошли они на массовое самоубийство! — быстрее, чем ожидал от него Калугин, отозвался на это Кузнецов.— Вот составили здесь список спасшихся матросов, сколько же

их всего? Около четырехсот, пожалуй, погибло, а? Нет, это абсурд, абсурд!

Однако Городысский проявил упрямство. Поведя массивной нижней челюстью влево-вправо (хотя и не жевал в это время), он сказал, пряча, впрочем, глаза от Кузнецова:

— Абсурд, конечно, теперь, как говорится, post factum. Но ведь нам надо считаться с тем, как представляли себе последствия своего преступления эти... эти вообще мерзавцы... По дикости своей, они думали, конечно, что покушение их окончится чем же? Так себе, небольшой аварией... Просто хотели вывести «Марию» из строя, скажем, на месяц, а там видно будет, что дальше сделать. По крайней мере, больше уж в октябре никуда в море не пойдут!.. Вот как они могли думать, а как получилось, это мы на себе испытали.

— Гальванеры,— вот чьих рук дело! — поддержал кто-то старшего офицера.

— Или портовые,— раздался еще чей-то голос.— Стакнулись с матросами.

Калугин даже не поглядел в сторону тех, кто это сказал: его внимание сосредоточилось на лице одного только Кузнецова. Ему хотелось уловить по выражению этого лица, что думает бывший командир, угадать, что он может ответить старшему офицеру. Но ответил он как бы не ему, а своим мыслям:

— Конструкция корабля оказалась гораздо хуже, чем полагали мы все,— го-раз-до хуже!.. Это должны будут принять во внимание и при приемке «Александра Третьего»... Теперь уж серьезнее должны будут подойти к этому вопросу... Выходит, что легкую победу сильному противнику в открытом бою может предоставить корабль типа «Марии»,— вот что!

Он побарабанил задумчиво пальцами по столу, как бы ожидая, что кто-нибудь его поддержит, но на его замечание о плохой конструкции никто не отозвался.

Калугин заметил именно теперь, что отношение к Кузнецову изменилось не только у Городысского, и понял это. С гибелью корабля офицеры «Марии» освободились от подчинения своему бывшему командиру. Безразлично, куда их теперь устроит высшее начальство: на новый ли корабль «Александр III» или куда еще, но служить под начальством Кузнецова они уж больше не будут. Да ведь неизвестно было еще и то,

чем может окончиться суд в отношении самого Кузнецова, а суд этот будет судом военного времени.

Острее вопроса о том, кто явился причиной такого перелома в их военной карьере, не могло быть для офицеров с «Марии» в лазарете «Екатерины», и их не могло уже сдерживать одно только уважение к Кузнецову. Поэтому не удивился Калугин, когда кто-то поднялся на дальнем конце стола с намерением сказать нечто значительное. Долго вглядывался в него Калугин, чтобы узнать, но больше по голосу, чем по лицу, щедро смазанному вазелином и потому как бы струящемуся, узнал лейтенанта Замыцкого.

— Двух мнений тут быть не может,— начал он непререкаемым тоном,— гальванеры или портовые, но свои мерзавцы!.. Не представляли вполне ясно, что произойдет?.. Желали только временно вывести линкор из строя? По-зволю себе высказать соображение: они были только орудием кое-кого других,— вот я как думаю!.. Я думаю, что в этом замешан... э-э... посторонний элемент! Что?.. Неправдоподобно, может быть, кто-нибудь думает? Более чем правдоподобно!.. В таком городе, как Севас-то-поль, чтобы не было рево-люционеров,— да кто же в состоянии этому поверить?.. И разве они не могли дать инструкции кое-кому из наших негодяев, как надо действовать? Вполне могли, раз закваска девятьсот пятого года у нас во флоте забродила!.. О чем же еще говорить?.. Свои! Это вне сомнения, что свои, а чьими руками извне, извне,— оттуда (он показал в сторону города) они действовали?.. Дело жандармского отделения их накрыть, эти руки, пока они отсюда не исчезли, вот что! Оцепить надо Севастополь со всех сторон,— и обыски! А матросов наших, какие остались в живых, всех изо-ли-ровать,— вот что я предлагаю сделать.

И, видимо, очень довольный собою, Замыцкий обвел всех кругом глазами и медленно уселся. Но Кузнецов, внимательно его слушавший, спросил вдруг, с виду спокойно:

— А вы не желаете, значит, даже и отдаленно предположить, что взрывы могли произойти сами по себе, без чьего-либо злого умысла?

— Как это «сами по себе»? — тоном изумленного возразил Замыцкий.

— Как?.. Вследствие химического разложения пороха, например,— пояснил Кузнецов.— Вам известно,

сколько хранилось у нас бездымного пороха? Около двух с половиной тысяч пудов!.. А о случаях самовозгорания каменного угля вы знаете? Что лежит тут в основе? Химические, конечно, процессы. То же самое и с порохом при недостаточно, как бы сказать, осмотрительном его хранении... А порох в зарядах для мин? А заряды для орудий? Ведь мы получаем их в готовом виде. Мы их принимаем и не имеем права их не принять... А вдруг именно вот с ними, с этими готовыми зарядами, мы и приняли при-чи-ну будущей гибели нашего корабля!.. Но при чем же тут, хотел бы я знать, матросы?

Калугин слушал его удивленно.

Выходило на первый взгляд не только странно, а даже и непонятно, что Кузнецов, бывший командир корабля, готов был самого себя обвинить в том, что плохо заботился о хранении пороха и боевых припасов вообще, только бы никто не вздумал обвинить его матросов в закваске потемкинцев 1905 года, в революционной настроенности их, достигшей большого напряжения. Будто он чувствовал или даже знал вполне точно, что вина его в будущем суде над ним будет признана тягчайшей, если вверенные его попечению матросы умышленно учинили гибель корабля. Он и теперь уже, когда его никто и не думал судить, защищался от этого обвинения ссылками на самовозгорание каменного угля и самовоспламенение пороха, а к моменту суда будет во всеоружии по этой части, и пусть-ка попробуют с ним тогда потягаться эксперты!

Но только что успел так подумать Калугин о Кузнецове, как почувствовал на себе чей-то очень внимательный взгляд. Вскинув глаза по направлению этого взгляда, Калугин даже как-то поежился от нахлынувшего на него отвращения: оказалось, что смотрел на него так пристально не кто иной, как барон Краних, о котором, не заметив его утром ни на барже, ни на «Екатерине», Калугин думал как о погибшем. Ни на голове, ни на лице его не было повязки, как у некоторых; только левая рука его была, по-видимому, контужена, потому что висела на ленте из марли, продетой в петлю его лазаретного халата.

Калугин думал все-таки, что этим пристальным его взглядом и окончится, но он ошибся. Закурив папиросу, Краних поднялся из-за стола, обошел его вокруг, и Калугин увидел близко около своего лица длинный журавлиный нос и белесый ус барона.

— Кажется, если не ошибаюсь, вы — прапорщик Калугин?

— Да... вы не ошибаетесь,— ответил Михаил Петрович.

— А-га-а! — многозначительно протянул Краних и пошел на свое место далеко уже не так медленно и с раскачкой.

Теперь, глядя на него, Калугин ожидал уже какой-нибудь злобной выходки, однако не думал, что она будет громогласной.

Между тем Краних, зажимая между пальцами недокуренную папиросу и не садясь на свой стул, начал говорить торжественно-уличающим тоном:

— Вот на что, господа, хотел бы я обратить ваше внимание!.. Прапорщик Калугин, оставшийся в живых и сидящий с нами за одним столом, вчера был в отпуску в городе по семейным, как я слышал, обстоятельствам... По семейным или не по семейным, но возвратился на корабль он с кучкой пьяных матросов, с которыми был запанибрата!.. Матросы эти привезли некоторый груз для буфета кают-компании, но-о... почему-то вслед за этим последовали взрывы!.. Возникает вполне естественный вопрос: не было ли чего-нибудь этакого... вообще... вы меня понимаете, конечно, господа — припрятано в одном из кульков, а? Вот что мне хотелось бы знать, господа!

Калугин почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и стала стучать в голову.

— Что вы сказали?! — крикнул он и вскочил со стула.

Но тут же увидел он, что поднялся и Кузнецов. Голова его была начальственно откинута назад, и глаза блеснули.

— Я вам за-пре-щаю!.. Вы слышите, барон Краних?.. Я вам не позволю,— вы слышите? — говорить такие гнусности, такие гадости, такие мерзости о моем офицере!.. Из-ви-нитесь!.. Немедленно извинитесь!.. Сейчас же извинитесь!..— закричал он.

Это произвело впечатление на всех.

— Извинитесь! — крикнул и старший офицер.

— Извинитесь! — повторило сразу несколько офицеров.

Краних наклонил вперед голову и пробормотал:

— Я... господин каперанг... беру свои слова обратно...

Калугин не успел еще сообразить, можно ли счесть это не совсем внятное бормотание извинением перед ним лично, как дверь в лазарет отворилась и вошел командир «Екатерины», тоже капитан первого ранга, несколько старше на вид, чем Кузнецов, ниже его ростом и суровее взглядом, а с ним вместе, несколько позади его, младший врач «Екатерины», который перевязывал Калугина, как и других офицеров, человек еще молодой, из военно-медицинской академии, земляк Калугина,— петербуржец, о чем сказал он ему сам, перекинувшись с ним несколькими словами, когда его перевязывал.

Командир «Екатерины» пришел как бы просто проведать потерпевших крушение и, усевшись среди них, сожалеюще кивал головою, вспоминая, что уже слышал раньше,— что не смог почему-то выбраться в темноте наверх и погиб офицер Игнатьев, механик «Марии», которого он знал...

Потом он, как бы спохватившись, весело обратился к Кузнецову:

— А ведь я вам принес приятную для вас новость, а именно: получена мною бумажка из штаба, чтобы вас и всех ваших офицеров, какие, разумеется, могут ходить,— но, кажется, все тут не забыли этой привычки,— отправить в город, на свои квартиры... Поэтому... что именно надо предпринять поэтому?.. Я думаю так: отправить людей по вашим, господа, квартирам, чтобы ваши вестовые привезли вам необходимую одежду: не в лазаретных же наших халатах вас отправлять,— это было бы неприлично, а как следует, в форменном платье, а?

— Да, это было бы очень хорошо,— живо согласился Кузнецов, а старший офицер добавил:

— И родные наши обрадуются, а то ведь не знают даже, живы ли мы!

— Вот именно, вот именно,— и родных обрадуете, да... А что касается медицинской вам помощи, кто в ней нуждается,— перевязки, например, переменить и прочее, то,— я уж это сам решил,— откомандирую вам для этой цели нашего младшего врача, а вы ему адреса свои дадите,— он вас навещать будет, поможет вашим врачам.

Хотя Калугину и показалось, что командир «Екатерины» хочет просто как можно скорее отделаться от неожиданных гостей, заполнивших его лазарет, он все же очень благодарно глядел на этого распорядительного че-

ловека, с седеющими висками и горбатым крупным носом.

Он заметил, что были довольны и все другие, а младший врач весело и юно улыбался: ведь он на несколько дней кряду списывался на берег.

Но спросил Кузнецов:

— А как с моими матросами?

И сразу изменилось благожелательное лицо командира «Екатерины».

— Ну, уж, знаете ли, эти ваши матросы! — ответил он горестно.— Орда! Дикая орда какая-то! — И выкатил глаза, и выпятил толстые и красные губы, и даже за ухом почесал ожесточенно.— Я приказал поместить их в трюм,— подняли крик: «Мы не свиньи!» А куда же мне их девать, четыреста человек почти голых? В кают-компанию, что ли? Они лезут из трюма на палубу,— кричат, что в трюме дышать им нечем,— каковы? Да ведь вы же матросы, а не девицы из института благородных девиц,— почему же это вам в трюме дышать вдруг нечем стало?.. Я приказал выдать им сухое белье, пока их мокрое высохнет, нет, давай им еще и бушлаты,— им холодно! А откуда же я возьму бушлаты на четыреста человек?.. Ведут себя очень дерзко, ругаются даже!

— Они пережили такой ужас,— мягко заметил Кузнецов, выслушав все это,— что их надо понять... Это у них психическая травма, а не то чтобы какая-нибудь злостность с их стороны.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Было уже часов десять утра, когда Алексей Фомич и Надя вернулись к себе в гостиницу.

Тот же самый коридорный, похожий на скопца, внеся в их номер самовар и поставив стаканы, сказал, обращаясь к Сыромолотову:

— Вчерась вам хотелось очень поглядеть на нашу «Марию», да к вечеру дело было, и вроде бы туман... А теперь вот и ясная погода,— день, а не увидите уж ее больше: потонула!

И взглянул при этом исподлобья и совсем не так, как полагается глядеть коридорным, а подозрительно и даже, пожалуй, зло.

Вчера он был очень услужлив и после каждого почти слова склонял головку,— небольшую и сплошь лысую,— на левый бок, и даже когда ничего не говорил, то причмокивал улыбающимися губами, точно собирался сказать кое-что приятное... Теперь же не только Алексей Фомич, но и Надя заметила, что взглядывает он на них неспроста так наблюдательно. И оба догадались, что в его глазах они что-то не того: только вошли в номер,— а уж просили показать им «Марию»; потом куда-то ушли и вернулись только часа через три; куда же именно они ходили и что делали в течение этих трех часов?

Поняв именно так коридорного и переглянувшись с Надей, Сыромолотов сказал ему:

— Мы сейчас только из больницы пришли: там операцию серьезную сделали сестре вот моей жены... А муж ее, бедной, моряк был на «Марии», погиб, наверно!

— На «Марии»?.. Офицер был?

Сухонькое личико коридорного заметно потеплело, и уж не Сыромолотов, а Надя ответила ему вопросом:

— Ведь об этом должны уж теперь знать в морском ведомстве: все ли до одного офицеры погибли, или... может быть, кто и спасся?

— Кажется, это штаб называется, где можно узнать? — спросил и Алексей Фомич.

— Насчет офицеров, конечно, первым делом должны дать знать,— кого не считать в живых, а кто, может, есть налицо... А насчет матросов, действительно, трудно, как было их там очень уж много,— начал раздумывать вслух коридорный.— Что касается офицеров, то как же можно: у всех родня тут, всем знать желается.

Немного помолчал и добавил:

— Что касаемо штаба флота, то он на «Георгии Победоносце»... В штабе, там, конечно, обязаны знать, это точно...

Еще помолчал и добавил:

— А может, и в Морском собрании знают? Это тут и вовсе рядом.

— В самом деле, Алексей Фомич,— Морское собрание! — обрадованно обратилась Надя к мужу: — Там тебя, я думаю, знают офицеры,— должны знать... Мы ведь видели, мы мимо шли,— вот бы нам зайти да спросить.

— Напьемся чаю,— зайдем,— согласился Сыромолотов и опять к коридорному:

— Провели мы много времени в больнице,— так и не узнали, не у кого было спросить,— что же говорят люди: отчего это погибла «Мария»?

Он ждал, что коридорный непременно сначала разведет руками, а потом обстоятельно передаст слухи, которые ходят. Однако коридорный почему-то ответил отрывисто:

— Раз ежели вы не могли узнать, то что же мы тут можем знать, на своем месте сидя?

И вдруг повернулся и ушел, хотя ни Алексей Фомич, ни Надя не слышали, чтобы кто-нибудь позвал его оттуда, из-за двери.

— Странно он что-то себя ведет,— буркнул Сыромолотов, на что отозвалась Надя, заваривая чай:

— Мне в больнице пришлось всех просить, чтобы Нюре ничего не говорили о «Марии», так и то на меня глядели подозрительно... Почему это?.. Всем объясняю, что муж погиб, а мне говорят: «Разве это уже известно?» Оно и действительно выходит так: неизвестно, зачем говоришь?

Когда они вышли из гостиницы после чаю, то к Морскому собранию направились, не сговариваясь друг с другом. Когда же подошли к этому красивому большому дому с колоннами, увидали: оттуда вышел пожилой уже, высокий моряк с подстриженной клинышком серой бородой.

Он шел им навстречу. На погонах его Надя разглядела две полоски штаб-офицера и, едва поровнявшись с ним, обратилась к нему:

— Простите, пожалуйста, не знаете ли, где нам могут сказать об участи одного офицера с «Марии»?

Капитан первого ранга скользнул бесцветными глазами в плотных коричневых мешках по ее лицу, потом по лицу Алексея Фомича и ответил почему-то очень начальственным тоном:

— Об участи офицеров с корабля «Императрица Мария» пока еще полных сведений не имеется.

Сделал движение, чтобы идти дальше, куда шел, но спросил вдруг:

— Чин и фамилия?

— Фамилия — Калугин, а чин — прапорщик,— так же коротко ответила Надя.

— Пра-пор-щик! — почему-то недовольно протянул строгий этот моряк и пошел, даже не кивнув головой.

— Гм... Как же можно это понять? — густо сказал Сыромолотов, глядя вслед уходящему, а Надя отозвалась на это нарочно громко:

— А говорят еще, что кадровые моряки — воспитанные люди!

Дойдя до массивных входных дверей Морского собрания, они остановились, и Алексей Фомич сказал уверенно:

— Нет, ничего мы тут не узнаем, и незачем нам сюда заходить!

Он припомнил коридорного и закончил:

— Нас здесь еще, пожалуй, задержат,— ну их совсем! Очень подозрительный стал народ.

— Хорошо, не пойдем туда, а как же все-таки быть? По-твоему, оставаться в неведении? — возмутилась Надя.

— Подождем, вот как быть... Давай подождем хотя бы до вечера, а не так тебе вот сразу — вынь да положь!.. Это, должно быть, какое-то большое флотское начальство, с кем ты говорила, хотя и не адмирал: у адмиралов черные орлы на погонах... И ты сама могла видеть, как это начальство озлоблено. На кого же именно озлоблено, вот вопрос!.. Предупреждаю тебя, что нисколько не удивлюсь, если сейчас у нас в номере орудует полиция!

— Ну, это ты уж слишком! — и отвернулась и махнула рукой Надя.

— Почему же слишком? Нисколько не слишком, а в самый раз!.. Ты подумай только: стоило нам приехать в Севастополь, и вдруг на тебе,— катастрофа! А вдобавок к этому у нас еще на несчастной «Марии» был «пра-пор-щик»!

Сыромолотов вытянул это последнее слово так похоже на того высокого важного моряка с двумя просветами на погонах, что Надя сама повернула от Морского собрания в сторону памятника адмиралу Нахимову.

Почти бессонная ночь, и это страшное утро, и хлопоты около Нюры утомили их обоих так, что в этот день ходили они мало: больше сидели на Приморском бульваре, где и обедали в ресторане.

И оказалось, что именно здесь, в ресторане, никого уже не нужно было расспрашивать: здесь все говорили сами.

Странно было видеть Сыромолотову, что хотя торговля спиртными напитками была воспрещена, тем не

менее в ресторанном зале говорили громко, глаза у многих возбужденно блестели; кое-где за столиками шли даже споры.

Бóльшая часть обедавших здесь были пехотные офицеры, и Сыромолотов вглядывался в каждого из них ненасытными глазами художника: не пригодится ли какое-нибудь из этих лиц для картины «Демонстрация»; Надя же напрягала слух, так как разговор за всеми столиками шел только о таинственной гибели «Марии».

Особенно громок был голос и особенно блестели глаза и красно было лицо, с которого не сошел еще летний загар, у какого-то штабс-капитана из ополченской дружины, с широкими скулами и покатым лбом и с седыми подусниками при неестественно черных усах.

— Загадочная личность! — тихо сказала о нем Надя Алексею Фомичу.— Усы-то он, конечно, красит, но почему же не красит подусников?

— Пестроту любит,— отозвался Алексей Фомич, глядя в свою тарелку.

Вот этот-то любитель пестроты и кричал:

— Говорят, много все-таки осталось в живых из матросов,— и вот теперь вопрос: что с ними будут дéлать?.. Но только прежде всего: там что бы с ними ни делали потом,— к расстрелу их или только на каторгу, но прежде всего — вон ко всем чертям из Севастополя эту заразу,— вот что я вам скажу!.. Это — настоящая зараза, эти шмидтовы дети!.. А кто ими вертит как хочет, агитаторы ихние где сидят, а?.. Они, глядишь, в газетчонке здешней да по аптекам, да в студенческих тужурках расхаживают! Этих — на фонари, и решительно никаких разговоров, иначе у нас к весне ни флота не останется, ни гарнизона не будет! Имейте это в виду!..

А с другого столика долетело до слуха Нади именно то, что ей так хотелось узнать еще утром. Говорил совсем еще молодой офицер, явно слабогрудый, даже с подозрительными пятнами румянца на впалых щеках:

— Слышал я, что вечером сегодня офицеров с «Марии» высаживать на берег будут... какие, конечно, ходить могут.

— Вечером сегодня!—радостно шепнула Надя мужу.

Но так как Алексей Фомич не расслышал слов этого офицера,— тот говорил тихо,— то Надя должна была объяснить ему, в чем дело.

— Вот видишь! — сразу воспрянул духом Сыромолотов.— Оказалось, вечер утрá мудренее, а не наоборот,

как нас учили в Академии художеств!.. Есть, значит, и среди офицеров уцелевшие... Как-нибудь спаслись. Должны же их учить, как можно спасаться, в случае ежели... Хорошо, привезут, а куда же именно привезут?

— Ну уж, разумеется, к Графской пристани,— решила Надя.

— А ты почем знаешь?

— Во всяком случае, пойдем туда, а там видно будет.

— Сейчас же после обеда и пойдем,— немедленно согласился Алексей Фомич,— так как неизвестно, что тут, в Севастополе, считается «вечером».

Только около скромного небольшого памятника Казарскому задержался после обеда Сыромолотов на Приморском бульваре. Разглядывая его с разных сторон, говорил он Наде:

— Читал я в «Русской старине», что его отравили в Николаеве... Сначала отравили, а потом, вот видишь, памятник поставили... и к оградке его приткнули, так, чтобы никто и рассмотреть не мог.

— Как отравили? Кто отравил Казарского? — спросила Надя.

— Известно уж, кто, раз был он после своего подвига сделан флигель-адъютантом и получил приказ Николая Первого обревизовать хозяйство Черноморского флота... Ревизоров ведь в те времена часто так чествовали: всыпали им мышьяку в бокал с шампанским,— вот и избавились от ревизии!.. Тогда министр один посылал ревизором своего племянника в одну черноземную губернию и только одну заповедь ему все твердил: «Ради бога, ничего у этих мерзавцев не ешь и не пей, а то отравят!» А в Черноморском флоте в те времена,— это ведь при адмирале Грейге было,— казнокрадство процветало уму непостижимое!.. И вот, не угодно ли,— новоиспеченный флигель-адъютант своего флота,— всех прохвостов знает и до всего докопаться может!.. Пригласил его, конечно, на ужин какой-то генерал морской службы, который складами ведал, поднесла Казарскому там его дочка бокал шампанского,— выпил за ее здоровье и через день жизнь свою потерял!.. От двух турецких адмиралов на своем маленьком бриге «Меркурий» отбился, а от своего генерала поди-ка отбейся, когда он махровый казнокрад, и смерть твоя ему с рук сойдет при покровительстве Грейга!.. Это только Иван Александрович Хлестаков, благодаря гениальному уму своему, и от на-

прасной смерти избавился и кое-какой капиталец своим ревизорством нажил.

Когда пришли Сыромолотовы к Графской пристани, то увидели, что слабогрудый юный офицер сказал правду: человек не менее двадцати дам,— иные с детьми,— сидели на зеленых скамьях и неотрывно глядели в сторону бухты. Что они не бездельно отдыхают здесь после бездельной прогулки, видно было по их серьезным встревоженным лицам, по их беспокойству.

Сесть поближе к лестнице было уж нельзя, и Сыромолотовы едва нашли место на самой дальней скамейке, причем Алексей Фомич рокотал:

— Хороши бы мы были, если бы вечера дожидались!.. Вот видишь, даже и полиция явилась!

Действительно, щеголеватый околоточный надзиратель, в серой шинели офицерского покроя, но не солдатского, а тонкого сукна, и в белых нитяных перчатках, тоже подошел к самой лестнице. Он даже спустился по ней на несколько ступенек и стал прилежно из-под руки глядеть в сторону судов.

А вскоре после его появления почему-то начали останавливаться около Графской пристани многие, едва ли имевшие какое-нибудь отношение к офицерам «Марии», и околоточный, поднявшись с лестницы, пока еще без особого рвения, просил публику «не скопляться».

Было около четырех часов, когда по каким-то таинственным признакам люди около Алексея Фомича и Нади угадали, что идет к пристани не катер вообще, который привезет офицеров или матросов, получивших отпуск на несколько часов, а именно тот самый, которого ждали.

Теперь Сыромолотовы уже не сидели на скамейке, а были в толпе. Торжественно прозвучавших чьих-то слов: «Отвалили от «Екатерины» — они не поняли, но севастопольцам-то были понятны эти слова, и околоточный не мог уже сдержать их бурного натиска. Когда все ринулись по лестнице вниз, конечно, этот порыв захватил и Алексея Фомича с Надей.

У околоточного оказалось двое помощников-городовых. Их усилия теперь были направлены на то, чтобы остался хоть какой-нибудь проход на ступенях лестницы.

— Господа! Соблюдайте же порядок! Так нельзя! — кричал околоточный.— Подайтесь к стенке!

Городовые же действовали просто руками и очень ревностно. Оглянувшись назад, Сыромолотов увидел еще

какого-то полицейского, видом постарше, чем околоточный, и чином явно крупнее. Он решил, что это пристав ближайшего полицейского участка.

Рядом с ним стояли двое каких-то чиновников в штатских фуражках, с кокардами на тулье, а повыше их увидел Алексей Фомич того самого капитана первого ранга, которого они с Надей встретили около Морского собрания. Он был не один, а, по-видимому, со своим адъютантом, молодым моряком.

— Не знаете ли, кто это? — спросил своего соседа Сыромолотов, кивнув ему на важного каперанга.

Сосед, хотя и штатский, имел вид знающего человека, и он, не задумываясь, ответил:

— Это — Гистецкий, начальник штаба севастопольского экипажа.

— Гистецкий,— повторил, наклоняясь к Наде, Алексей Фомич,— тот самый, какого мы встретили...

Но Надя была занята тем, что делалось впереди.

Волнение тех, кто стоял на лестнице, ведущей к пристани, возрастало по мере того, как подходил катер, отваливший от «Екатерины».

Тремя ступеньками ниже Сыромолотовых, рядом с пожилой дамой в черной осенней шляпке, стоял гимназист лет тринадцати, с биноклем, прижатым к глазам. Он все время глядел на этот катер и вдруг закричал радостно-звонко:

— Мама,— вон папа! Папа,— я вижу!.. Ура-а!

Дама в шляпке тут же выхватила бинокль из его рук, а он захлопал в ладоши.

Должно быть, дама тоже разглядела в бинокль мужа, потому что начала креститься и плакать, а сын снова взял у нее бинокль.

— Ах, как жалко, что у нас нет бинокля! — проговорила Надя, на что отозвался Алексей Фомич:

— Уж если кого нет, того и в телескоп не увидишь.

— Значит, что же, по-твоему, мы напрасно стоим?

— Да как тебе сказать... Пожалуй, что так.

Катер пристал наконец, и там, внизу, начались такие крики, что Надя сказала:

— Вот так давка!.. Хорошо, что мы стали выше: ведь все равно, всех увидим,— мимо нас пройдут.

Мальчик-гимназист своим хлопаньем в ладоши как будто дал тон всей встрече спасенных с «Марии» офицеров. Там, внизу, как в театральном зале, загремели аплодисменты. Послышались даже и крики «ура», прав-

да, отдельные, не поддержанные всеми: не то поняли сами неуместность этих криков, не то воздействовал на толпу расторопный околоточный.

Первым поднимался по лестнице в узком проходе между стенами людей усталого вида пожилой офицер, фуражка на котором сидела боком от повязки. Он то поднимал правую руку к козырьку, вглядываясь в тех, кто ему хлопал в ладоши, то опускал ее бессильно и глазами искал ступеньку, чтобы поставить на нее ногу.

— Это кто? — спросил Сыромолотов всеведущего соседа.

— Сам командир, Кузнецов,— ответил тот.

На шаг сзади его поднимались молодой морской офицер и рядом с ним молодая женщина, которые, как понял это Сыромолотов, встречали Кузнецова. Оглянувшись назад, Алексей Фомич увидел довольно большую группу моряков на верхней площадке лестницы и понял, что встреча была приготовлена довольно торжественная,— только оркестра не хватало.

Другому, тоже немолодому, штаб-офицеру с «Марии» бросился на шею гимназист... Расцеловавшись с ним и женой, он вместе с ними стал подниматься выше не совсем свободной походкой.

Потом прошли вереницей старшие лейтенанты и просто лейтенанты, большей частью в повязках: у кого лицо, у кого голова; у одного рука, сжатая в локте, висела на бинте, перекинутом на шею...

Они шли как после сражения.

Их родные, встречавшие их там, у причала, или вдоль лестницы, поднимались вместе с ними...

Прошли мимо Сыромолотовых и два мичмана, оба невысокие, еще юные и державшиеся бодро: каким-то чудом они не были ни ранены, ни обожжены, и если немного казались как будто сконфужены, то только тем, что лишены повязок.

Зато изобильно снабжен был повязками и головы и лица последний, за которым сомкнулась толпа, но этот последний был не моряк, а какой-то чиновник в фуражке с зелеными кантами и в черной шинели с зелеными петлицами.

Фуражку он придерживал рукою, так как она едва могла держаться на толстой повязке. Из-за этой руки и другой повязки — с правой стороны лица — трудно было разглядеть его лицо, но и Алексей Фомич и Надя

не могли не заметить, что оно было безбородое, безусое и даже как будто безбровое... На шинели его не хватало двух пуговиц.

Он прошел мимо, глядя вниз на ступеньки. Видно было, что его никто не встречал, и непонятно было, прибыл ли он на катере с моряками или один из толпы, моряков встречавшей.

— Ну, вот видишь, Алексей Фомич, и нет нашего Михаила Петровича! — со слезами в голосе громко сказала Надя.

— Да... Нет... Значит... тяжело ранен, может быть...— забормотал Сыромолотов.

И вдруг этот последний, в повязках, в шинели и фуражке чиновника какого-то ведомства, остановился, обернулся к ним и крикнул:

— Алексей Фомич!

На него напирала толпа, пробиться сквозь которую было ему невозможно, так что Сыромолотов поднялся к нему сам вместе с Надей, желая догадаться, кто это его окликнул.

И вот они сблизились тут же на лестнице, где стоять им было нельзя, а можно было только двигаться вместе со всей толпой.

— Не узнали? — говорил на ходу чиновник.— Мудрено и узнать... Я бы и сам себя не узнал... А шинель и фуражка это мои, помощника лесничего... Из квартиры привезли на «Екатерину»... Ведь у меня все погибло вместе с «Марией»... а запасного не было.

И только выслушав все это, Алексей Фомич понял, что перед ним не кто другой, как его свояк, прапорщик флота Калугин, и совершенно неожиданно для себя чуть не всхлипнул:

— Миша!.. Голубчик ты мой!.. Жив, а!.. Надя, смотри, жив!..

— Вот Нюра обрадуется!.. Вот обрадуется!..— воскликнула Надя, пытаясь найти на лице Калугина место, в которое можно было бы его поцеловать.

— А Нюра? Что Нюра?.. Как? — спросил Калугин, которого в это время обнял левой рукой и нес над ступеньками Сыромолотов.

— Операция была сегодня... мальчик!

— Ну, слава богу!.. Вот радость!.. Ну, слава богу!.. Вот спасибо вам!.. Без вас бы как?.. Никак! Гибель!.. Вот спасибо!

И дальше, до того места, где им попался извозчик, шли они трое, не говоря о том, что произошло на «Марии», а только ощущая именно это — радость, радость от того, что жизнь не прекратилась, что она продолжается, что он выправится, что заживут ожоги, что отрастут волосы, что на земле теперь уже не один Калугин, лесничий,— временно, по необходимости, не им созданной, ставший моряком,— а уже двое их, Калугиных: большой и маленький.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В свой Рыбный переулок помощник лесничего приехал снова моряком, так как Алексей Фомич на радостях заехал на Большую Морскую в магазин военного портного Лифшица и купил ему там готовую шинель с погонами прапорщика, а рядом, в магазине «головных уборов» — фуражку.

Зато в уютной большой комнате, сидя на мягком стуле, Алексей Фомич услышал подробный рассказ о том, что произошло рано утром на линейном корабле «Императрица Мария», как этот корабль погиб, перевернувшись кверху килем, и как его свояку посчастливилось спастись.

Вернувшись в гостиницу Киста уже часов в восемь вечера, Алексей Фомич и Надя не могли думать о том, чтобы перейти куда-то в другую гостиницу или хотя бы в другой номер здесь: они были слишком утомлены впечатлениями этого необычайного дня.

Надя только справилась по телефону в больнице о здоровье Нюры и ее «Цезаря», как окрестил младенца Сыромолотов, и просила передать Нюре, что завтра сможет ее навестить Михаил Петрович.

Разумеется, и утром, едва одевшись, она уже пошла к телефону и, когда вернулась, радостно передала мужу, что у Нюры все благополучно.

Коридорный, который с виду не перестал еще относиться к ним подозрительно, внеся самовар, сказал как будто в сторону:

— Вчерашний день офицеров с «Марии» доставили...

— Видели!.. Видели, братец ты мой, мы их всех,— перебил его Сыромолотов,— и своего встретили!

— Жив оказался?

Тут коридорный поклонился низко Алексею Фомичу и добавил весьма торжественно:

— С чем вас имею честь поздравить!

Алексей Фомич суетливо потянулся за своим кошельком и дал ему, что подвернулось под руку, объяснив потом Наде:

— Очень проникновенно это у него вышло,— нельзя было не дать!

А придя убирать самовар, коридорный, сияя, осведомил их:

— Вчерась офицеров, а нынче, как мне слышать довелось, матросов с «Марии» доставят.

— Матросов? Вот надобно пойти посмотреть на них, Алексей Фомич! — схватилась за это Надя.— Пойдем, а?

— Непременно! Непременно пойдем! — очень воодушевился художник.

— А куда же именно доставят? — спросила Надя.— На Графскую тоже?

— На Граф-ску-ю? — протянул коридорный.— Как же это может быть, чтобы матросов да на Граф-скую?.. У них своя пристань есть,— называется Экипажная.

— Хорошо, пусть Экипажная, а как туда идти или ехать?

— Да трамваем можно, если не желаете прогуляться... А не захотите если трамваем,— на извозчике... Я бы и сам пошел, да ведь меня отсюда не пустят: кто же будет самовары по номерам разносить?

— Ну, хорошо, нынче, а когда же все-таки нынче? — захотел уточнить Алексей Фомич.

— Да говорили мне так, что люди уж идут туда, на Экипажную пристань, и в большом числе.

— Вот видишь! — заторопилась Надя.— Как бы не опоздать нам!

И, чтобы не опоздать, они вышли из номера тут же после чая.

Алексей Фомич видел, что большая деловитость охватила Надю. Еще только спускаясь с лестницы, она уже распределяла все дообеденные часы:

— Значит, мы так: сначала посмотрим матросов, потом к Михаилу Петровичу и вместе с ним тогда к Нюре... А теперь пускай-ка он спит: ему как следует выспаться надо, чтобы хоть сколько-нибудь в себя прийти.

До Экипажной пристани они доехали на трамвае. Это была обыкновенная пристань, необыкновенно было только то, что около нее скопилось действительно очень

много народа. Это была далеко не та вполне прилично одетая, наполовину чиновная публика, которая накануне встречала офицеров с «Марии»; это был Севастополь Корабельной слободки, Малахова кургана, Куликова поля. Женщины в этой огромной толпе решительно преобладали. Ведь у многих матросов были здесь жены с детьми. Никто из них не знал и нигде не мог добиться, живы ли их мужья, отцы их детей. Только теперь, именно здесь, около пристани, к которой причалила баржа, могли они, наконец, узнать это.

Они изболелись, ожидая этого часа. Но гораздо раньше их явился на пристань большой наряд полиции, и Сыромолотов заметил даже несколько жандармов очень высокого роста.

— Не иначе, как служили раньше в гвардейских полках,—сказал о них Алексей Фомич.— Народ отменно бравый... А вон у одного, погляди, Надя, даже солидная золотая медаль под бородой: должно быть, вахмистр...

— Да, я вижу, что жандармы, но зачем же все-таки они здесь? — недоумевала Надя.— Если для того, чтобы оградить и без того пострадавших от напора на них публики, то... кажется, и полиции было бы достаточно: куда ни погляди, везде на полицейского наткнешься!

— А ты забыла, что этот пестрый офицер в ресторане вчера говорил? — напомнил Алексей Фомич.— Да ведь и Михаил Петрович вчера сделал на этот счет довольно намеков.

— Значит, не просто пострадавших матросов встречают, а преступников? — вознегодовала Надя.

— Не возмущайся здесь громко,— это лишнее,— остановил ее Алексей Фомич.— Отложим-ка возмущение до более удобного момента.

Они не рвались непременно вперед,— это им было не нужно,— они стали в стороне, но так, чтобы все-таки побольше видеть. И видели они, как, выходя из приставшей баржи, строились матросы, которых никто не принял бы за матросов по их виду.

Прежде всего, почти ни у кого из них не видно было присущих матросам бескозырок с ленточками сзади. Почти все были открытоголовые. У многих головы были забинтованы и ярко белели. Иные были на костылях. Все в своих тельняшках с синими полосками на груди,— в одном нижнем белье, а между тем день был хотя

и солнечный и безветренный, однако по-осеннему прохладный.

— Посмотри-ка, Алексей Фомич, ты — дальнозоркий: мне кажется, они даже босые! — в ужасе выкрикнула Надя.

— Да-да, кое у кого как будто есть туфли больничные на ногах, а в общем...— пригляделся и не договорил Сыромолотов.

— Как же они будут идти?

— Ну, ведь у них тоже все погибло на «Марии»,— откуда же им так вот сразу возьмут,— ты подумай! — объяснил Алексей Фомич и добавил:

— Обмундируют там, куда их поведут.

— А куда именно поведут? — допытывалась Надя.

Какая-то женщина в черном слинялом платочке, стоявшая впереди их, обернулась и объяснила:

— В казармы флотские поведут,— вот куда... Экипажные эти для чего же еще заявились? — и кивнула в сторону.

Поглядев туда, Сыромолотовы увидели человек двадцать одетых в черные бушлаты матросов при фельдфебеле. Они шли на пристань с очевидной целью принять по счету и доставить без потерь матросов с «Марии». А для общего наблюдения за порядком командированы были сюда и теперь стояли рядом и оживленно о чем-то говорили между собой довольно далеко в стороне от Сыромолотовых черноусый жандармский офицер и рыжеусый полицейский чин.

Наконец, шествие матросов с «Марии» началось, и вся огромная толпа ринулась слева и справа, чтобы в плотно сбитых рядах да еще среди белых повязок на головах разглядеть знакомые, родные лица.

А полицейские и жандармы, работая дюжими руками, орали: «Осади назад, эй!.. Куды прешь!.. Не вылазь вперед!.. Не лезь, в морду получишь!»

Матросы, хоть и босые, старались идти браво, выискивая глазами своих женщин. Когда находили, выкрикивали радостно их имена.

А к ним, в свою очередь, летели крики:

— Что, Гречко́ Иван, живой, ай нет?.. Неуймин Семен жив?.. Шумните, родимые. Перепелица идет ли?..

Как побитый противником батальон, бросивший не только оружие во время бегства, но и сапоги и даже фуражки, чтобы легче было бежать, шли матросы, но лица их были хмуры: видно было и Алексею Фо-

мичу и Наде, что понимали они, какую им устроили встречу.

Иногда тот или иной на вопрос женщин отзывался жестко:

— Что, Перепелицу шукаешь? Сгорел!

— Гречко Иван?.. Потонул Гречко!

— Неуймин Семен?.. Пошел на дно с линкором вместе!

Однако, видя, как городовые и жандармы отпихивали подальше женщин, кричали свирепо им:

— Мы что вам, ироды, арестанты, что ли?

— Не сметь вольничать, фараоны!

— На абордаж пойдем!

Крикливое вышло шествие, шумное... И то и дело взглядывала Надя на Алексея Фомича, своего мужа, художника, негодующими глазами. А художник ничего не пропускал из того, что пришлось ему здесь видеть. Он чувствовал и то, как трудно было с непривычки ступать этим несчастным людям по булыжнику мостовой босыми ногами или еще и цепляться за камни концами костылей, только вчера сработанных матросами-плотниками с «Екатерины».

Им нужно было идти медленно, чтобы высмотреть своих и чтобы свои разглядели их в густом строю, но жандармы и полицейские подгоняли их криками:

— Живей! Живей!

А фельдфебель команды экипажных матросов, шедших с винтовками впереди, оборачиваясь к ним, командовал:

— Дай но-огу!.. Ать-два! Ать-два! Левой!

Двигаться живее нужно было, конечно, уже затем, что толпа справа и слева матросов совершенно запрудила улицу и остановила движение по ней экипажей, машин и пешеходов.

И по мере того, как проходили матросы, начиналось страшное: истерически голосили женщины, не разглядевшие своих мужей или услыхавшие в ответ на свои вопросы, что они погибли.

Мало-помалу отдельные резкие плачи слились в один сплошной неутешный вопль, который способен был тронуть даже каменные сердца...

— Я не. могу больше! Пойдем отсюда! — потащила Алексея Фомича Надя.— Это слишком ужасно!

И, выбравшись кое-как из толпы, долго шли они молча. Да и о чем было говорить им после того, что они видели?

Был уже двенадцатый час, когда они добрались до Рыбного переулка, но тут их ожидало то, чего они не в состоянии были предвидеть: Михаила Петровича не было дома. Он оставил для них записку карандашом: «Вызван к следователю. Когда вернусь, не знаю».

— Вот видишь, как быстро развиваются события! — сказал Алексей Фомич.— К следователю! Это, конечно, насчет взрыва на «Марии»... Что же, так и должно быть: без следствия как же?

— А что же нам теперь?.. В больницу одним?

— Нет уж, я думаю, лучше бы втроем, с Михаилом Петровичем... Но ведь неизвестно, сколько его продержат... Вот что разве нам сделать: поехать на Братское кладбище!

— А там что?

— Ну, все-таки как же: быть в Севастополе и не видать Братского кладбища!.. Там памятников много,— Корнилову и другим...

И они, отдохнув, отправились на Братское кладбище.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Твердым и четким писарским почерком в бумажке, полученной Калугиным от рассыльного матроса, было написано: «Явиться для дачи показаний по делу о гибели линейного корабля Черноморского флота «Императрица Мария».

«Для дачи показаний»,— повторял он про себя, глядя в зеркало на свое новое лицо, к которому не успел еще привыкнуть,— лицо совершенно без волос, даже без бровей, и с красной, на щеках пузырящейся кожей. «Может быть, не идти совсем? Ведь я теперь на положении больного... и жена после такой операции... не пойду, ну их всех к черту!» — раздумывал он. Но тут же явилась мысль: «А может быть, следователь уже знает что-нибудь о причине взрывов? Узнать бы и мне от него...»

И как ни странно было самому ему идти одному в таком виде к следователю, он все-таки пошел, тем более что идти оказалось не так далеко.

Следователь, по фамилии Остроухов, по должности обер-аудитор, оказался человеком лет под сорок; крас-

ноносый, в пенсне, с ушами не острыми, как ожидал Калугин, а напротив, несколько даже лопоухий. По погонам военного чиновника Калугин определил, что он — коллежский асессор. Писец у него был в матросской форме,— унтер-офицер с тремя басонами, лицом и головою круглый и видом невозмутимый.

Камера следователя имела какой-то преувеличенно-казенный вид: два стола, два жестких стула около них, кипы бумаг на столах, и на стене — черная коробка телефона с черной висячей трубкой.

Калугин вошел к следователю в шинели, но это как бы не было замечено следователем: он обратил внимание только на забинтованное лицо, и первое, что сказал, было слово:

— Пострадали?

— Как видите,— ответил Калугин и добавил: — Но могло бы быть и гораздо хуже: мог сгореть на корабле и мог утонуть, когда плыл.

Калугин ожидал, что следователь спросит, как именно он спасся от этих двух возможных видов смерти, но он сказал на это, загадочно глядя сквозь пенсне какими-то отсутствующими белесыми глазами:

— Угу... так... Вот вы на себе убедились, значит, к чему это привело!

— Я не понял: что привело? — спросил Калугин.

— Да вот этот самый взрыв корабля... о котором сейчас и будет у нас речь.

Тут Остроухов счел зачем-то нужным заглянуть в одну из бумажек, перед ним лежащих, потом в другую; снял пенсне, протер его замшей, которую вытащил из ящика стола, надел его снова и только после всех этих совершенно ненужных, как казалось Калугину, действий спросил коротко, казенными словами:

— Что вы можете показать о причинах взрыва?

— Совершенно ничего,— немедленно ответил Калугин.— Причины взрыва мне неизвестны.

— Неизвестны? — многозначительно повторил следователь.— И вы даже не пытались их узнать?

— От кого же можно было узнать?.. Пытался, конечно, но все другие столько же знали, сколько и я.

— Никто не знал? Гм... очень странно!..— Следователь еще раз поглядел в какую-то бумажку и спросил: — А настроение матросов накануне катастрофы вам разве не пришлось наблюдать?

— Накануне? — схватился за это слово Калугин.— Накануне бо́льшую часть дня я провел на своей квартире в городе... Мне пришлось провести это время в хлопотах о жене, чтобы поместить ее в больницу. Вчера ей сделали операцию.

— Угу... так... Но ведь и до этого и после этого вы ведь по службе своей должны были видеть настроение матросов? — совершенно не обратив внимания на «жену», «больницу» и «операцию», повторил свой вопрос следователь.

Но это невнимание и к тому, что нуждалась в срочной операции Нюра, и к тому, что он столько беспокоился об этом, и к тому, что операцию Нюра перенесла, больно хлестнуло Калугина, и он ответил следователю резко:

— Что матросы исполняли свои обязанности, как всегда, это я видел, а что означает «настроение» их, этого я не понимаю!

— Будто не понимаете? — игриво сказал следователь.— А кажется, вполне и всем понятное слово!

— Настроение матросов! — повторил, точно думая вслух, Калугин и пожал плечами.

— А не роптали ли матросы на начальство по поводу того, что два наших тральщика взорвались на минах? — спросил и впился в него глазами Остроухов.

Калугин понял, что это был каверзный вопрос; что если он ответит: «Да, роптали», то сейчас же последует вопрос: «Кто именно роптал? Как их фамилии?» Поэтому он проговорил медленно:

— Сам я ропота никакого не слышал... Я только слыхал от одного из офицеров, что был какой-то ропот.

— От кого из офицеров вы слышали?

И так напряженно-внимательно поглядел следователь, что Калугин не задержался с ответом:

— Это говорил мне судовой механик Игнатьев.

Он знал, что Игнатьев погиб, однако оказалось, что это знал и следователь, потому что тут же спросил:

— Еще от кого вы это слышали?

Калугину очень хотелось сказать, что о ропоте матросов было известно всем офицерам и доложено даже самому командующему флотом, бывшему тогда на «Марии», но он воздержался. Он сказал только:

— Был об этом общий разговор в кают-компании, но при этом фамилии каких-нибудь матросов отдельно никто не называл... Говорилось общими фразами: «Мат-

росы беспокойны»... «Матросы что-то галдят»... Но какие именно матросы и что именно галдят, об этом я ничего определенного не слышал.

— Плохой вы, значит, службист! — презрительным тоном сказал следователь.

— На это не обижаюсь,— согласился тут же Калугин.— Я ведь офицер военного времени, да и произведен не так давно.

— Вы — студент?

— Окончил Лесной институт... Был помощником лесничего.

— Так-с!.. А к какой политической партии вы принадлежите? — в упор глядя, спросил Остроухов и взял поудобнее ручку, чтобы записать ответ.

— Ни к какой,— спокойно уже теперь ответил Калугин.— Я ведь сказал вам, что был помощником лесничего, а какая же может быть политическая деятельность в лесах?

— Нет, все-таки отчего же?.. Странно даже в наше время быть диким! Например, партия социал-демократов, так называемых меньшевиков, вполне легальная партия... Даже и большевики ведь имели же своих представителей в Государственной думе... И трудовики тоже... Что же тут такого? Это вполне естественно быть в той или иной партии... Вы эсер?

— В институте я занимался только своим институтским курсом,— тщательно выбирая слова, ответил Калугин,— а для партийной деятельности я и времени выкроить бы не мог.

— Что же так? Или вы были, как бы сказать, не очень блестящих способностей, или, напротив, хотели блестяще окончить институт? — с нескрываемой иронией предложил вопрос следователь.

— Я и окончил институт блестяще, как вы выразились: в числе первых. Поэтому и получил место в Петроградском лесничестве, а не где-нибудь в местах отдаленных.

— Угу... так... О вас хорошо отзываются матросы,— почему? — вдруг спросил Остроухов, когда записал его ответ.

— Хорошо? — переспросил Калугин.— Признаться сказать, я этого не слышал... Хотя, если бы отзывались плохо, то не понял бы, по какой причине.

— Так отзываться, как о вас, матросы могут не о своих начальствующих лицах, а о равных себе... по

своим убеждениям... гм, да... по своему отношению к службе...

— Вот как! — удивился Калугин, думая в то же время, что это уже следователь просто сочиняет, но Остроухов спросил вдруг:

— Вы часто разговаривали с матросами... О чем? Прошу показать.

Только после этого вопроса, заданного с нарочито-жандармской строгой ноткой в голосе, Калугин понял, что он подозревается не в чем ином, как только в сговоре с матросами взорвать «Марию».

Он покраснел, как от публичного оскорбления, но в то же время внутренним чутьем постигал, что должен оставаться спокойным, и с видом недоуменья ответил:

— Говорить о чем-нибудь с матросами морским уставом офицерам не воспрещается, господин следователь!.. Если, например, матрос просит совета о чем-нибудь своем, домашнем,— ведь они большей частью крестьяне,— то почему же ему этого совета не дать?.. Вы можете меня еще спросить, почему я не ругал матросов последними словами, но я, признаться, не видал никогда в этом надобности, да и нет их совсем, этих слов, в моем лексиконе... А по-человечески относиться к матросу завещал офицерам не кто другой, как Нахимов... А какая же в Севастополе лучшая улица, если не Нахимовская, и где же стоит памятник Нахимову, если не на ней?

— О Нахимове вы говорите лишнее,— сухо отозвался следователь.— Речь идет не о нем, а только о вас лично... В своих показаниях вы решили запираться, но-о...

И Остроухов повел указательным пальцем около своего красного носа, как бы договаривая этим: «Нас не надуешь!»

— То есть как это запираться? В чем запираться? — И вновь покраснел Калугин и хотел было уже крикнуть: «Вы что же это? Меня, что ли, подозреваете в гибели «Марии»? — но почему-то повел в это время глазами в сторону матроса-писаря, у которого был явно сочувствующий ему вид, и удержался.

Следователь тоже, по-видимому, понял, что зашел несколько далеко, и сказал неопределенно, хотя по голосу и твердо:

— Да ведь вот вы не желаете показать, о чем именно вы имели обыкновение говорить с матросами!

— Нет, я вам сказал, о чем приходилось говорить, и прошу это мое показание записать,— насколько мог спокойнее ответил Калугин.— И проверить это вы можете: обратитесь для этого к матросам.

— Да, конечно!.. И особенно ценные для вашей реабилитации показания могут дать те люди, которые утонули, как механик Игнатьев! — явно издевательски заметил Остроухов.

— Я вас прошу, господин следователь, меня не оскорблять! — не повышая голоса, но чувствуя, что теперь уже не краснеет, а бледнеет, медленно проговорил Калугин, и, по-видимому, это подействовало на Остроухова.

Он снова снял пенсне, снова протер его замшей, потом добавил уже молча несколько строк к тому, что записывал, и сказал вполне отчужденно:

— Прошу прочитать и подписать.

Калугин взял у него бумагу, в которой хотя и коротко, но без прибавок было изложено то, что касалось его отношений к матросам, то есть, что он никогда не ругал их и говорил с ними о их домашних делах во внеслужебное время.

— Я дал еще показание, что ни в какой партии не состою и политикой не занимаюсь,— сказал Калугин, возвращая листок.

— Разве я этого не записал?.. Ну что ж, хорошо, добавим,— отозвался на его слова следователь с беспечным уже теперь видом и действительно тут же добавил.

Калугин просмотрел еще раз все сначала и подписал.

— Надеюсь, что теперь я свободен? — спросил он, подымаясь со стула.

— Да-а,— протянул следователь,— пока не явится необходимость вызвать вас снова.

Калугин тут же вышел из камеры, позаботившись только о том, чтобы как-нибудь нечаянно не кивнуть ему головой на прощанье.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В общем приподнятом состоянии вернулся к себе Калугин. Ему сказали, что без него были у него художник с женой и просили передать, что зайдут попозже, чтобы вместе ехать в больницу.

Хозяйка квартиры, болезненная, но соблюдавшая важный тон вдова полковника, получавшая пенсию,

старуха с волосами седыми, но завитыми в букли весьма прихотливого вида, зашла даже к нему и как раз в то время, когда он хотел расположиться на диване, отдохнуть от следователя.

Она была обеспокоена: шутка ли, к следователю вызывается ее жилец! Не он ли взорвал «Императрицу Марию»? Подслеповатые глаза ее старались проникнуть в самую глубину души таинственного и, пожалуй, даже очень опасного человека, каким стал теперь для нее прапорщик флота Калугин.

Калугин чувствовал это, да и нельзя было не почувствовать: хозяйка уселась близко к нему, окружила его облаком каких-то сильных, хотя и не особенно приятных духов, вытянула из кружев желтую, сморщенную, жилистую шею, обратилась вся в такое внимание, что забыла даже стереть излишек пудры с пористого, как будто даже и неживого лица.

— И о чем же он вас допрашивал, Михаил Петрович? — любопытствовала она.

— Да ведь событие, разумеется, чрезвычайной важности: погиб в своей собственной бухте дредноут! — объяснил Калугин.— Тут не одного, а двадцать следователей назначишь, чтобы выяснить, почему погиб... Всем нам, оставшимся случайно в живых, очень хочется это узнать.

— А разве так уж никто и не знает? — И старуха даже попыталась подмигнуть, что почти развеселило Калугина.

— В том-то и дело, что история эта не так проста,— сказал он.— А наш командир Кузнецов высказывал даже мнение, не виноват ли в этом взрыве разложившийся бездымный порох.

— Во-от как!.. Разло-жившийся?.. От чего же он мог разложиться? — явно не поверила хозяйка.

— От химических процессов, конечно.

— И что же следователь?.. Он тоже так думает?

— Следователь должен собрать все показания, на то он и следователь... Один из допрошенных говорит свое, другой свое... догадки его, я думаю, мало интересуют,— выводы он сделает сам, но для этих выводов нужно ему, чтобы кто-нибудь и что-нибудь знал о причине взрывов, а знать никто из нас, офицеров, ничего не знает.

— А из матросов? — очень вскинуто спросила хозяйка, облизнув сухую нижнюю губу.

— Полагаю, что после нас, офицеров, будут допрошены и матросы,— ответил Калугин.— Да и как же может быть иначе? Ведь мы-то спали в своих каютах, а матросы были уж подняты на ноги горнистами... Кроме того, многие из них не спали и ночью отбывали вахту... Может быть, кто-нибудь из них остался в живых. Вот их-то показания и будут для следователя иметь важность, а наши что? Так только, как говорится, для проформы.

Убедил или нет хозяйку свою Калугин, но она ушла, как бы спохватившись, что затрудняет его своим разговором, а она, как сама больная, вполне понимает его, тоже теперь больного.

Отворив окно, чтобы проветрить комнату после ее ухода, Калугин пытался представить, как он встретится с Нюрой, не испугает ли ее своими бинтами, всем своим новым обличьем, не повредит ли ей он, не способный ее обрадовать?.. И ведь придется же ей объяснять, что с ним произошло, а ему опротивели уж подобные объяснения: особенно это чувствовал он теперь, после допроса следователя.

Приткнувшись к спинке дивана, он пробовал закрывать глаза, чтобы хоть немного забыться, пока придут Сыромолотовы, и в этих попытках забыться, ни о чем не думать, прошло около часа. Но вот из-за неплотно притворенной хозяйкой двери он расслышал, что кто-то спрашивает его по фамилии и чину, как не мог бы спрашивать Алексей Фомич. Он поднялся с дивана, сам отворил дверь и увидел того самого младшего врача с «Екатерины», который делал ему перевязку.

Он вспомнил, как командир «Екатерины» говорил в лазарете, что списывает его на несколько дней на берег для медицинской помощи всем пострадавшим на «Марии», и понял, что он явился переменить ему повязку, поэтому встретил его, улыбаясь приветливо.

Однако врач, фамилия которого, он помнил, была Ерохин, имел какой-то оторопелый, но вместе с тем и изнутри сияющий вид, как будто принес ему захватывающую новость.

Первое, что он сказал, переступив порог комнаты и почему-то сам, притом плотно, притворив дверь, было:

— Ну знаете ли, у вас и мат-ро-сы!..

Сказано это было вполголоса, но с таким выражением, что Калугин тотчас же повел его, взяв за руку,

не только в глубь своей гостиной, а даже за занавеску, в спальню, где было достаточно места, чтобы усесться для разговора весьма существенного и, по-видимому, некороткого.

— Что такое наши матросы?.. Где вы их видели?.. На «Екатерине»? — спросил он вполголоса.

— Да в том-то и дело, что они уже здесь, в экипажных казармах, а вы разве не знали? — удивился Ерохин.

— Откуда же я мог узнать?.. Я только что был у следователя.

— Ах, вот как! Вызывали уж!.. Завертелась, значит, машинка! И что же там вас, как?

— Что же там мог я показать, когда я ровно ничего не знаю?.. Так и записано... А у матросов что?

Ерохин махнул рукой.

Та какая-то, преувеличенная даже, жизнерадостность, какую наблюдал на его белом, северном, нисколько не загоревшем за лето лице Калугин в лазарете на «Екатерине», теперь не то чтобы померкла, но она преобразилась в большую осмысленность. Энергия лица осталась та же, но она как-то сжалась, сосредоточилась, потеряла юношескую раскидистость.

— Я попал туда, в казармы, как курица во щи,— начал он,— во исполнение приказов своего начальства иметь наблюдение за потерпевшими на «Марии», медицинское, конечно, а не полицейское, а наткнулся не только на полицейское, а даже и на жандармское! Вот и представьте мое положение эскулапа у тех, которым никакой медицинской помощи даже и не полагается!

— Во-от ка-ак! — изумился Калугин.

— Очень густо замешено,— подтвердил врач.— Только каперанг Гистецкий сумел так замесить... И не знаю, не могу догадаться, кто и как будет размешивать!

Ерохин остановился тут и выразительно поглядел в сторону двери.

— Ничего, продолжайте,— сказал Калугин и сделал успокоительный знак рукой: дескать, некому там подслушивать.

— Представьте, выкопал откуда-то не то чтобы, скажем, соборного протопопа, а целого архиерея викарного,— продолжал Ерохин с воодушевлением.— Должно быть, здешней епархии,— откуда же больше? Вида не очень постного: на черной камилавке белый вышитый крест, а наперсный крест золотой, на георгиевской ленте: воевал, значит! Умеет обращаться с нижними чи-

нами,— вот почему и вызвался назидать матросов... А я, как услышал, что матросов ваших доставили в экипажные казармы,— дай, думаю, пойду выполнять свои обязанности... Взял вот эту сумку свою,— туда... А там,— можете вообразить,— полицейские у входа и на дворе тоже: пришлось мне свою бумажку показывать,— не сразу пропустили. И, действительно, вхожу, а там уж Гистецкий и с ним человека четыре из его штаба и этот самый викарий... Я к Гистецкому с рапортом, зачем явился, а он мне рычит: «Не время!..» Однако не выгнал, вот почему я там остался.

— Выходит, повезло вам,— заметил Калугин.

— Повезло!.. Удостоился видеть извержение Везувия! — Ерохин еще больше оживился, вздернул узкие плечи почти до ушей и схватил себя за подбородок.— Я, конечно, в сторонке держался: чуть только увидел сановного монаха, сразу понял: добра не жди!.. Увещевать приглашен,— что еще о нем можно было подумать!.. Вот слышу, кричит Гистецкий в дверь напротив: «Скоро там?» Эге, думаю, там, значит, они и есть, матросы с «Марии». Смотрю, выходит мичман в форме дежурного, к Гистецкому: «Построились, господин каперанг!» Гистецкий викарию: «Пойдемте, ваше преосвященство» — и пошли в дверь, а за ними и другие... Мне бы не идти, да ведь неизвестно было, идти или нет. Раз не выгнали, значит, надо идти, так я решил. Вхожу за другими, сзади всех, со своей сумкой, и вижу: как они были у нас на «Екатерине», так и здесь стоят: лазарет, а не строй!.. А мичман,— мальчишка еще совсем,— командует: «Смирна-а,— равнение налево!» Матросы и повернули головы налево, а это вышло не в сторону дверей, а совсем в другую!.. Тут же, конечно, поправился бедный: «Головы напра-во!» — но... пропал эффект! Матросы прыснули,— смешливый оказался народ... Посмотрел на мичмана зверем Гистецкий и матросам сквозь зубы: «Здоро́во!» И что же вы думаете? Те ни звука!.. Сделали вид, что не расслышали... Скандал!.. Не ответили на приветствие высшего начальства!.. Смотрю на Гистецкого, что он сделает, а он — туча тучей, но сдержался и этому викарию или кто он там такой: «Ваше преосвященство, скажите им слово, а мы пока выйдем...» Какое именно, об этом, конечно, условились, я думаю. Опять я в хвосте всех. Вышли все туда же, где и раньше стояли, и слово началось... Доносилось это слово до меня слабо, но суть его была в том,

что матросы потеряли веру в бога, и какие совсем ее потеряли, те погибли, а в ком вера еще не погасла, те, стало быть, спасены от смерти... Совершили большой, очень большой грех, но чистосердечным раскаянием в этом грехе могут еще спасти свои души. «Помните, говорит, как в церкви поется: «Студными бо окалях душу грехми... но надеяйся на милость благо-утро-бия твоего...» Вот тут и ахнул кто-то из матросов: «Эй! Ваше благоутробие! Заткнись!» А потом и пошло! Крики: «Вон!..» Свист в четыре пальца,— содом и гоморра!.. Викарий, конечно, вылетел за дверь, как бомба, а туда ворвался Гистецкий... И тут уж проповедь началась совсем с другого конца. Такая ругань пошла, хоть топор вешай! И «скоты», и «сволочь», и «сукины дети», и «мерзавцы», и так далее, в восходящем порядке... И, конечно, команда: «Кто кричал и свистел, пять шагов вперед, шагом марш!» Все ваши матросы стоят и молчат, и никто, конечно, не вышел... Что тут бы-ыло!.. И ведь это как раз после душеспасительного слова высокого духовного лица, которое тут же стоит,— ведь оно не уехало: оно возмездия жаждет за оскорбление его сана!

Калугин слушал молодого врача, все выше поднимая обгоревшие брови, пока не стало больно коже. Наконец, сказал:

— Викарий этот получил урок, в какое время он живет и с каким народом имеет дело... А матросы что же,— их довели до этого, вот и все! Довели!.. И капля камень долбит, а тут тем более не камни, а люди! Почему забывают об этом, черт бы их драл?

— Гистецкий не забыл, что люди: «Расстреляю! — кричит.— Сейчас же прикажу всех выволочь на двор и перестрелять, как собак! Выходи, кто кричал и свистел!» Матросы стоят, молчат, глядят сурово... Гистецкий берет тоном ниже: «Даю пять минут вам, негодяи! Если не выйдете через пять минут, расстреляю каждого десятого!» — вынул часы, смотрит... Больше пяти прошло,— никто из матросов ни с места!.. Еще тоном ниже берет Гистецкий: «Мое слово твердо,— говорит,— расстреляю каждого пятого, если не выйдет, кто оскорбил высокое духовное лицо!»

— Позвольте! — перебил Калугин.— А почему же это лицо молчало? Ведь оно духовное, оно Гистецкому не подчинено, так почему же оно не сказало, что оскорбление прощает... по христианскому милосердию... и просит расстрелом не угрожать матросам?

— Лицо молчало, как в рот воды набрало... И вообще неизвестно, чем бы дело окончилось, но тут как раз вошел ваш командир Кузнецов.

— Кузнецов вошел? Вот как! Значит, за ним посылали?

— Очевидно... Вошел в фуражке, при орденах,— шинель была расстегнута, чтобы ордена видели матросы... И как только вошел, матросы посветлели, а Гистецкий вышел с викарием вместе.

— А что же ему оставалось делать? И так слишком уж далеко зашел: вздумал матросов расстреливать без суда и следствия!.. Хорошо, а что же Кузнецов?

Калугину захотелось самому представить, что мог бы действительно сделать Кузнецов, но у него ничего не вышло.

— А Кузнецов,— продолжал Ерохин,— взял под козырек и мягким таким голосом: «Здорово, братцы!» И грянули тут ваши матросы: «Здравь жлай, ваш сок бродь!..» После этого некая пауза. Потом Кузнецов, не повышая голоса: «Оскорбили вы,— говорит,— духовное лицо, так вот, кто это сделал, должен сознаться». Молчат матросы. «Не желаете? — говорит.— Ну, тогда нечего вам и в строю торчать, так как строй — святое место... Расходись по своим койкам!» И разошлись. А кто очень ослабел, так как долго в строю стояли, тех товарищи под руки отвели.

— Тем дело и кончилось?

— Пока только этим... Слышал еще, как Кузнецов сказал из моряков кому-то,— не знаю его по фамилии: «Ввели для матросов тюремный режим, а спрашивают с них военную дисциплину!»

— Это правда,— согласился Калугин.

— Конечно, правда... Однако, когда я к нему обратился за разрешением пересмотреть перевязки матросов, он мне: «Я здесь не хозяин». А как же было мне обращаться с этим к Гистецкому? Я стушевался... Пойду, думаю, по офицерским квартирам. В первую голову вспомнил вас,— к вам первому и пришел... сейчас и займусь вами. А потом — к другим.

— Но, знаете ли что, вы не рассказывайте другим, что мне рассказали,— почему-то вздумалось попросить его Калугину.

— Нет, я тоже полагаю, что не стоит,— тут же согласился Ерохин.— Это я только вам, как земляку и студенту...

И, привычно быстро перебинтовав Калугина, Ерохин ушел. А Калугин после его ухода долго стоял у окна, смотрел на свой переулок и думал.

Он не ложился даже, как сделал бы это в любое другое время, не мог: его точно распирало от того, что на него нахлынуло теперь, на другой день после катастрофы, когда всему его потрясенному телу необходим был длительный сон или хотя бы отдых.

Но ведь точно в таком же положении, как он, были и спасшиеся случайно матросы. Он вспомнил Саенко, который плыл рядом с ним и без помощи которого он, пожалуй, не мог бы даже и спастись, когда его ногу уже свело судорогой... И вот теперь этого Саенко,— унтер-офицера 1-й статьи, — как и других, из которых тоже есть много унтер-офицеров, искалеченных взрывами на линкоре, обвиняют поголовно в том, что это они взорвали свой дредноут, к ним привозят архиерея, чтобы перед ним покаялись они в своем тяжком грехе (в том грехе, что остались живы!), а когда вполне естественно оскорбленные этим подозрением и этим топорным приемом в отношении их, они протестуют, как могут, на них орут, их зверски ругают, им угрожают расстрелом то через десятого, то через пятого, то поголовным!.. Куда же еще можно идти дальше в этой дикой нелепости?..

Он не замечал времени, стоя у окна и думая не о том, как допрашивал его следователь Остроухов, а только о матросах... Едва заметил он и то, как подходили к дому номер шесть широкий и в широкополой серой шляпе художник Сыромолотов и рядом с ним казавшаяся совсем тоненькой Надя...

— Понимаете ли, Алексей Фомич, в чем непременно желают обвинить бывших здоровенными, как лоси, людей? Ни больше, ни меньше, как в том, что все они вдруг решили покончить самоубийством! Да разве это им свойственно? — говорил Калугин после того, как рассказал, что передал ему Ерохин.— Ведь это же все были могучие люди, силачи, а не какие-нибудь хлюпики, истерики, кокаинисты! Что же было у нас на «Марии»: команда в тысячу двести человек здоровенных матросов или клуб самоубийц?.. Когда-то капитан-лейтенант Казарский на своем игрушечном, восемнадцатипушечном бриге «Меркурий» был атакован двумя огромными турецкими линейными кораблями и объявил команде, что при последней крайности брига он туркам не сдаст,

а взорвет и погибнет сам вместе с командой и с турками. Этот жест безнадежности чем был вызван? Необходимостью! Требованием морского устава! Спускать свой флаг перед противником запрещает устав, а приказывает в случае крайности взорвать судно, затопить судно, но не сдать его врагу! Так же и крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец» не были сданы японцам, а были потоплены в бухте Чемульпо. Там была крайность, а здесь, у нас, что? Какое-нибудь так называемое короткое замыкание, в чем я не знаток,— несчастный случай, и вот взрыв за взрывом и погиб линкор!.. А им хочется видеть в этом непременно злой умысел.

— Вы очень взволнованы, Михаил Петрович,— сказала Надя, воспользовавшись его передышкой.— Вы и забыли, что вам еще в больницу надо,— посмотреть Нюру и ребенка.

— Да, да... А как же, как же!.. Я сейчас! — заторопился Калугин.

Но только подошел к вешалке, чтобы надеть шинель и фуражку, как забыл, зачем подошел сюда, и заговорил, стоя там, у вешалки:

— Им козла отпущения надо, видите ли, найти во что бы то ни стало, а тут, по их мнению, все отлично сшивается одно с другим, а именно: готовился, дескать, новый поход «Марии» на Варну, где море прошпиговано минами, как колбаса салом; то тральщики взорвались, а то и «Мария» ау! — тем более, если на букет мин нарвется!.. Нарвался же наш «Петропавловск» на такой букет мин под Порт-Артуром,— и ни «Петропавловска», ни адмирала Макарова, ни художника Верещагина!

— Да, и Верещагин погиб! — прикачнул головой Сыромолотов.

— Но там хоть какого-то великого князя все-таки спасли, а кто будет спасать под Варной, за двести верст от своей базы? Неминуемо все погибнут!.. Отсюда берет начало ихняя логика — матросы будто бы рассуждали: «Если там взорвемся, то все погибнем, а если здесь, в родной бухте, сами попробуем взорваться — авось половина останется в живых!» Это что,— логика или идиотство?

— Пришлось и нам это слышать,— сказала Надя, вспомнив и офицеров в ресторане и других.

— Это логика? — повторил Калугин, обращаясь к ней.— Это дичь, а не логика! Кто автор нашей военной дисциплины? Не знаете, конечно... Фридрих Второй,

король прусский. Это он внушал своим солдатам: «Бойся палки своего капрала больше, чем пули врага!» И внушил! И эту Фридрихову дисциплину усвоили во всех армиях, так как очень выгодна она для королей!.. Но раз матросы,— представим это,— решили самовзорваться вместе с кораблем, то о какой же военной дисциплине может идти речь?.. Только палкой капрала держалась дисциплина, и вот, значит, к черту палку капрала! Что же тогда должно все-таки остаться? Да вот именно одна только маленькая надеждишка, что кто-нибудь другой погибнет, только не я! Я-то уж во всяком случае спасусь! Меня-то уж непременно минует чаша сия... И вот раздается взрыв... за ним тут же второй!.. Что же делать надо матросам, чтобы спастись? Спасайся, кто может — без команды начальства? Сигай себе за борт и плыви?.. Куда плыть? К берегу, конечно, а до берега больше версты, а вода осенняя, холодная, а на воде волны, норд-вест дует!.. Учат плавать матросов, однако все ли они способны к этому? Далеко не каждому эта мудрость дается: большинству из них, значит, все равно каюк! Если не сгоришь,— потонешь!

— Успокойтесь, Михаил Петрович, вам вредно так волноваться! — сказала Надя, подошла к нему и взяла за руку, как бы щупая пульс.

— Да, в самом деле, вы что-то уж очень близко к сердцу все приняли, а к чему? — зарокотал Сыромолотов.— Ни к чему, поверьте! Зайдут в тупик и сами станут: не будут же стену прошибать лбом?.. А вот на жену и сынка вам надо бы поглядеть, а? Это рассеет ваши грустные мысли.

— А? Да... Я с удовольствием... Я и сам ведь хотел ехать,— забормотал Калугин и, слегка поморщившись, надвинул кое-как на голову фуражку.

— И букет цветов не забудьте роженице купить! — строгим тоном наставляла его Надя.

— Да, а как же... Я знаю... Я помню об этом: букет цветов... Это непременно: букет цветов,— повторял, как будто боясь забыть, Михаил Петрович, надевая свою новокупленную шинель.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Букеты георгин осенних, особенно пышных, продавали женщины с Корабельной слободки на перекрестке улиц, и один из них, самый красивый, выбрал Алексей

Фомич для Нюры. Тут были и лиловые, и оранжевые, и вишнево-красные, и даже пестрые,— красные с белым, какие-то совсем неожиданно веселые на вид.

Букет был не просто большой — огромный, и когда Сыромолотов передавал его своему свояку, то любовался им сам так долго, что Надя опасалась уж: пожалуй, не отдаст, а понесет его сам и этим станет привлекать к себе преувеличенное внимание прохожих.

А Калугин, взяв в обе руки букет и утопив в нем половину лица, заговорщицким полушепотом сказал, обращаясь к Наде:

— А что, если это сам Колчак приказал взорвать «Марию»?

— Ну что вы! — даже отшатнулась от него Надя,

— Некая доля вероятия мне представляется,— уже громче продолжал Калугин, чтобы слышать мог и Алексей Фомич.— Вспомните, как адмирал Чухнин расстреливал всем флотом мятежный крейсер «Очаков»... Там это вышло громко, наяву у всех, а здесь втихомолку,— только и разницы. А цель у обоих адмиралов была одна: искоренить так, чтобы мятежного духу не оставалось! Может быть, только один Кузнецов и был посвящен в этот замысел, почему он и заступается все-таки за матросов?

— Строите здание на песке! — отозвалась Надя, Алексей же Фомич только кашлянул громко, как бы предостерегающе.

— Не совсем на песке,— не замолкал Калугин.— Обратите внимание на то, что взрыв произошел вскоре после «побудки», когда все матросы должны были быть уже на ногах, однако еще не одеты, что и требовалось для того, чтобы удобнее плыть... Это, значит, было предусмотрено: чтобы не слишком много людей,— главным образом, конечно, офицеров,— погибло, а то все-таки, что ни говори в свое оправдание, там, наверху, не очень удобно. Не предусмотрено было только многое другое...

— На то воображения не хватило,— вставил от себя Алексей Фомич.

— И воображения,—согласился Калугин,—и знаний. Как взрывать, что взрывать, какие могут быть последствия,— все это надо было взвесить загодя... Может быть, в адмиральские соображения и не входило совершенно губить корабль, а только произвести эффект и... искоренить, как я уже сказал... А Гистецкому, разуме-

ется, даны были указания обвинить в этом подлом деле матросов и действовать по своему усмотрению, чтобы непременно найти среди них виновных... В девятьсот пятом году придумали какого-то полкового священника,— кажется, Брестского полка, из севастопольского гарнизона,— он начал исповедовать матросов, и тех, кто сказал ему «на духу», что он замешан в восстании «Потемкина» и «Очакова», потом арестовали. А Гистецкий сразу махнул выше: давай архиерея сюда!.. Тех же щей, только погуще влей!.. Приемы, значит, одни и те же,— старые, надежные, но-о... на этот раз осечка: народ стал уже не тот! Поумнел, очень поумнел за одиннадцать всего только лет, имейте это в виду!

Говоря это, Калугин довел Сыромолотовых до остановки трамвая, и спустя минут десять они были уже вблизи городской больницы. Надя звонила в больницу, когда вернулась с Братского кладбища, что муж оперированной Калугиной приедет навестить жену, и, по-видимому, это было передано Готовцеву, потому что они нашли его в приемной, где он мог и не быть в такое время.

С живейшим интересом встретил он моряка, пострадавшего при взрыве «Марии», и тут же, чуть появился этот моряк, захотел осмотреть его ожоги. Разбинтовал его голову, покачал головой и утешил:

— Хорошо отделались! Могли бы и глаз лишиться!

Конечно, забинтовав его снова, он тут же спросил:

— Отчего это, скажите, пожалуйста? Какая причина такой катастрофы?

— Ничего никому не известно,— ответил Калугин,— Ведется следствие, может быть, что-нибудь и будет обнаружено... А как, кстати, в «Крымском вестнике» пишут, я еще не успел прочитать?

— Ничего бы и не прочитали, потому что пока ничего об этом в нем нет,— сказал Готовцев.

Кроме Готовцева, в приемной была фельдшерица, чернобровая, долгоносая, с очень прищуренными глазами. Оба они были в белых халатах, и, когда Готовцев сказал: «Ну что ж, давайте пройдем к вашей роженице!» — оба посмотрели на Алексея Фомича и переглянулись.

— Что? — заметив это, намеренно вздохнул Алексей Фомич.— Я вижу, что в смысле халатности я привожу вас в затруднение, а?

— Для интеллигентного человека вы вполне уникальный экземпляр,— бойко ответила ему фельдшерица.

— Уникальный? — повторил Сыромолотов.— Гм, да... Вполне возможно, как уникальный, я могу подождать здесь, в одиночестве, или погулять на свежем воздухе, а то у вас тут очень пахнет иодоформом.

— Да, есть такой грешок,— сказал Готовцев в то время, как фельдшерица начала доставать халаты для Нади и Калугина.— Но как же все-таки быть с вами?

— Совершенно никак. Не затрудняйте себя, пожалуйста!.. Тем более что очень загадочно для меня назначение этих белоснежностей.

— Да-а, паллиатив, разумеется,— согласился Готовцев.

— И даже нечто вроде мантий английских ученых,— сказал Алексей Фомич.— На кой черт им эти средневековые мантии, однако надевают для научных прений!

— Вот именно!.. Но раз заведено так, то... Вот что разве сделать: облечь вас в два халата! В правый рукав одного войдет ваша правая рука, в левый рукав другого,— левая, а спереди и сзади оба халата приколем булавками,— идея!.. Так вы будете похожи на приезжего профессора-гинеколога, приглашенного на консультацию к моей оперированной... Идея!

И, сам довольный своей выдумкой, Готовцев предложил Алексею Фомичу снять пальто и действительно соорудил из двух самых широких халатов подобие одного, исключительно широкого.

— Мы вошли,— говорил он тем временем,— в область попечения «Союза земств и городов», но пекутся о нас, должен вам сказать, плохо: очень бедно нас снабжают, и очень у нас тесно, так что вы нас не слишком критикуйте: что делать, война!

Потом, когда обрядил и оглядел Сыромолотова, он добавил:

— Очень торжественно будет, если пойдем мы вчетвером, да еще с таким букетом!.. Вот что мы сделаем: разделимся на две партии. Вы,— обратился он к Наде,— ведь знаете, как пройти в родильное отделение?

— Ну, еще бы! Конечно, знаю,— уверенно сказала Надя.

— Вот и поведите с собою счастливого отца-моряка. А мы с Алексеем Фомичом придем по вашим следам.

Так как Нюра была не роженица, а оперированная, то положение ее оказалось несколько особое по сравнению с подлинными роженицами, за ней нужен был и особый уход, поэтому и поместили ее не в общей

палате, а отдельно, за перегородкой, не вплотную, впрочем, доходящей до потолка. Комнатка эта была маленькой и назначена для дежурной сиделки. Сиделке поставили койку в общей палате, а Нюру устроила здесь Надя, поговорив об этом с Готовцевым. Поэтому теперь Надя вела сюда Калугина так освоенно, как будто принадлежала сама к персоналу больницы. Калугин же, сам в бинтах и этим похожий на больного, но в то же время с огромным букетом георгин, был очень мало понятен людям, пока они шли, и еще менее понятен роженицам, когда попал в их палату.

Дверь в родильное отделение приходилась как раз так, что до того закоулка, где лежала Нюра, надо было пройти Калугину, идущему вслед за Надей, не больше десятка шагов, но он был оглушен криками матерей и их новорожденных.

Еще не отгорело в нем то, о чем говорилось сегодня и в камере следователя, и на квартире, и даже на улице на пути сюда: гибель дредноута и в нем и около него нескольких сотен человек, не каких-нибудь, с улицы, первых попавшихся, а отборных, молодец к молодцу, с крутыми красными затылками, в бескозырках, лихо заломленных набок, с налитыми, тугими, широкими в запястьях руками; что ни спина, то сани, что ни грудь, то наковальня... Только что они были перед глазами — и на горящем корабле и в горящем море, но вот заступило их место другое.

Трудно было Калугину при беглом взгляде сосчитать этих матерей, подаривших Севастополю столько маленьких человечков, и трудно было отказаться от мелькнувшей мысли, что среди этих маленьких есть двое-трое, а может и больше, сыновей погибших матросов.

Его огромный букет приворожил глаза: на него смотрели притихнув, и это смутило Калугина.

— Вот здесь Нюра... И мальчик с нею,— таинственно сказала Надя, подведя его к перегородке.

Она отворила тонкую, из фанерки, дверь, и Калугин увидал Нюру. Нюра не спала, как он почему-то представлял себе, когда сюда шел. Она лежала на спине. Голова ее была высоко поднята на подушке, поставленной торчком и как-то боком. Свет на нее падал сверху: окно здесь было небольшое и выше, чем обыкновенно. Глянувшие на него глаза показались ему больше и ярче, чем были все последние дни, но они мелькнули только на момент,— их заслонила Надя, нагнувшаяся над сестрою.

Однако она тут же отступила, сказав:

— Вот, Миша!

В первый раз назвала так его она, но ему не пришлось остановиться на этом даже короткой мыслью: он бросился к Нюре, точно его толкнуло в спину, бросив около на пол свой букет.

Нюру не поразила его повязка на лице: ее предупредили об этом.

— Ну вот, Миша, теперь я уж мамаша твоего ребенка! — с усилием проговорила она и так тихо, что Калугин за шумом в общей палате еле ее расслышал.

— Я очень рад! Я очень рад! — говорил он, смотря на нее неотрывно.

— Увековечиться ты хотел,— вот! — И Нюра повела рукой и головой в ту сторону, где лежал ребенок, которого он даже и не заметил, входя.

Ребенок лежал на каком-то сундучке сиделки, к которому был придвинут чемодан Нюры. Сооружение это было покрыто чем-то белым и мягким, свисающим до пола. Ребенок лежал неподвижно, как кукла из воска, не имеющая ни рук, ни ног,— так его спеленали.

Эта безжизненность своего ребенка, которого Калугин, идя сюда, представлял открытоглазым и буйным, его испугала. Откачнувшись к Наде, он даже спросил ее на ухо, шепотом: «Жив ли?»

— Ну конечно! Какой вы глупый! — громко и весело ответила Надя и добавила: — Возьмите его на руки!

Калугин уже протянул было осторожно руки вниз, когда отворилась дверь комнатки и вошли Готовцев с Сыромолотовым, и Надя еле успела взять с пола букет георгин и положить его на сундучок.

— Ну вот, Алексей Фомич, поздравьте роженицу! — пропуская вперед Сыромолотова, сказал совсем интимным тоном Готовцев.

— Поздравляю, голубчик, поздравляю, молодчина этакая! — зарокотал Алексей Фомич, не решаясь поцеловать Нюру, а только касаясь своей бородою ее волос. И тут же: — А где же произведение вашего искусства, я что-то не вижу?

— Вот он! — отступив, открыла Надя младенца и взяла его на руки.

— Такой малютошный! — удивился Сыромолотов.

— Извини, не малютошный! Его взвешивали: десять фунтов!

— И даже в хлеб запекать его не надо будет, а?

— Как это в хлеб запекать?

— Ну, уж не знаю, как Гаврилу Романыча Державина запекали, когда он родился! Это я у Грота, его биографа, вычитал!

Готовцев же, не теряя времени, считал, держа в руке часы, пульс Нюры, и Нюра смотрела восторженно на этого спокойного человека, который умелыми опытными руками просто-напросто вскрыл ее, как запечатанный пакет, и вынул из нее ребенка, неспособного естественным путем появиться и начать жить вне ее.

— Прекрасно! — сказал Готовцев, отпуская ее руку и пряча часы.— Здесь у нас не совсем удобно вашей жене,— обратился он к Калугину,— но вот и некоторый плюс: у нее пока нет еще молока для ребенка, а здесь, в палате, имеется многомолочная родильница, и она его будет кормить, пока не выпишется.

Калугин хотел было произнести обычные слова благодарности, но не мог, спирало гортань, и он только пожал его руку.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Букет георгин поставили в белый кувшин.

Две сиделки назначены были попеременно дежурить у Нюры.

Готовцев обнадежил Калугина, что не позже как через двенадцать дней он может уже взять жену и ребенка.

На обратном пути Надя уверяла Калугина:

— Михаил Петрович, имейте в виду: мальчик вышел вылитый вы, вылитый вы!

— А я, право, не разглядел,— конфузливо отзывался на это Калугин.— Главное, я ведь совсем не видел, какого цвета у него глаза.

— Потому что он спал, и хорошо делал... А глаза я видела вчера: ваши! Ваши!

— По лицу новорожденного нельзя судить, каким окажется лицо даже пятилетнего, не только взрослого,— сказал Алексей Фомич Наде.— Но вот вопрос: как вы назовете сына, Михаил Петрович? Я предлагаю назвать его Цезарем. Был же у нас композитор известный Цезарь Кюи, отчего же не быть Цезарю Калугину?

— Мне кажется, такого православного имени Цезарь даже и нет, а? — обратился Калугин к Наде.

— Разумеется, нет! Что это за святой такой Цезарь? Так у нас, у русских, никого не называют! — возмутилась Надя.

— Гм... не называют... И очень жаль! А было бы неплохо: Цезарь Михайлович. Во всяком случае, оригинально.

— Разрешите записать вас в крестные отцы ему, Алексей Фомич,— робко попросил Калугин.— И имя мы дадим ему ваше — Алексей.

Это несколько смутило Сыромолотова.

— Да ведь если вы так хотите... и Нюра, конечно, тоже... то что же я могу иметь против этого?.. Хотите, чтоб был Алексей, пусть будет Алексей... Только жить ему придется не так, как мы, Алексеи, жили, а по-новому, я в этом уверен: совсем при других условиях, чем теперь!

И многозначительно поглядел Сыромолотов на своего свояка, а когда перевел глаза на Надю, та раза два согласно, хоть и без слов, кивнула ему головой.

На другой день Сыромолотовы были уж снова у себя дома: Алексей Фомич ценил время.

Обратный приезд их тут же стал известен в доме Невредимова, и скоро пришли узнать у них о Нюре сам древний Петр Афанасьевич, худой и высокий, и Дарья Семеновна, круглая, почти шаровидная.

И в то время как мать у дочери выпытывала все подробности насчет Нюры, старец, потрясая белой головой, старался узнать от Алексея Фомича все, что касалось гибели дредноута «Императрица Мария», о чем в Симферополе ходили только маловразумительные слухи.

— В газете, значит, ничего не было об этом? — спросил Алексей Фомич.

— Если бы было!.. Если бы хоть пять строчек!.. Ничего! Решительно, я вам скажу, ничего!

И даже моська из моржовой кости, глядевшая поверх костлявой руки старца, и та имела непонимающий вид.

Алексей Фомич рассказал древнему вкратце, что он знал сам о катастрофе, но это не погасило любопытства человека, привыкшего доискиваться причин.

— Однако неясно для меня одно,— сказал он,— почему же именно этот взрыв, отчего он случился?

— Узнаем со временем,— уклончиво ответил художник.

— Говорят у нас тут, будто офицер австрийский, переодетый, конечно, в русскую форму, с вензелем царским на погонах, привез якобы подарки на эту самую «Императрицу Марию» от императрицы Александры Федоровны, а в подарках-то этих и была спрятана она — адская машина!..

И, сказав это, старец пытливо начал глядеть на Алексея Фомича, но тот досадливо отмахнулся.

— Мало ли что говорят и что говорить будут, Петр Афанасьевич! Всего не переслушаешь!.. Здесь придумали одно, в Москве придумают другое, в Петрограде — третье, что ни город, то норов, что ни деревня, то обычай...

Когда ушли Невредимовы и Алексей Фомич остался только с Надей, он вошел с нею вместе в мастерскую и долго смотрел на свою картину.

Вечерело уже, надвигались сумерки, хотя картина от этого ничего пока еще не теряла в своей яркости.

Выдержанная в предгрозовом, тревожно воспринимаемом колорите, включающая в себя множество людей, картина уже и теперь была полна порыва и с первого взгляда становилась понятной. «Давай свободу!» — явно для всякого зрителя кричала масса народа, подошедшая к Зимнему дворцу. «Бессмысленные мечтания!» — отвечал на это дворец.

Можно было расслышать и другие крики, гораздо более решительные, более близкие к цели... Такой демонстрации перед дворцом не было,— это было ясно, но в то же время ясно было и то, что она вот-вот должна быть и непременно будет.

В нее нельзя было не поверить,— до такой степени естественно, проникновеннс передана была она художником на его огромном холсте. Художник просто-напросто предвосхитил событие, которого не могло не быть, и это особенно сильно чувствовала теперь Надя после того, как не видала картины почти четыре дня.

— Какая могучая вещь! — сказала она с восторгом.

— Ты это серьезно так думаешь? — недоуменно спросил Алексей Фомич.

Он прошелся по мастерской из угла в угол раз, другой и начал вдруг гневно:

— Это... это «разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц» — вот что это такое, если ты хочешь знать!.. Я — художник и мыслю только образами... только образами!.. Корабль государственности российской перевер-

нулся килем кверху,— вот что мы видели с тобой в Севастополе!.. А я тут какую-то де-мон-стра-цию!.. Взрыв, а не демонстрация, вот что должно быть и что будет!.. Не вымаливать идти, даже и не кричать: «Долой!», как это принято, а взорвать — вот что и просто и ясно!.. Корабль государственности российской, а? И ведь какой корабль! Вполне соответствующий мощи огромной державы!.. Дюжину двенадцатидюймовок имел!.. Конечно, полное истребление двухсоттысячной армии Самсонова, например, это гораздо грандиознее и для России чувствительнее, чем гибель всего только одного дредноута и нескольких сот человек на нем, но-о должен я сказать, что, во-первых, время уже не то: тогда только еще началась война, а с того времени прошло уже больше двух лет; а во-вторых, и люди стали совсем не те, и они это доказали!

Наде, после разговора с матерью, хотелось поговорить с мужем о том, что было бы хорошо ей, теперь уже одной, дня через два снова поехать к Нюре, не отрывая его от работы, но очень неожиданно для нее было то, что он только что сказал о своей картине. Сыромолотов же продолжал:

— Вот именно этот самый взрыв на «Марии», по-моему, и называется «вложить мечи в ножны!..» Воевать?.. Гм, гм... А за что же именно воевать? А во имя чего, позвольте узнать? Чтобы эти подложные, поддельные господа Романовы удержались на престоле?.. Нет уж, что-что, а народ теперь поум-не-ел!.. Теперь ему пальца в рот не клади,— откусит!.. Помню, чей-то фельетон не то в московской, не то в петербургской газете был помещен, еще до войны с Японией: назывался он «Господа Обмановы». Много шума он тогда произвел!.. А теперь и фельетонов таких не надо писать: всякий знает!

Надя поняла, что говорить ей сейчас, что она думала сказать, было бы как нельзя более не вовремя и стала разглядывать картину, но Алексей Фомич взял ее за руку и повернул лицом к окну, говоря недовольно:

— Фрейшиц, Фрейшиц!.. А севастопольские матросы совсем не так играют, и погоди, погоди еще, как они могут заиграть!.. «Ваше благоутробие!» — а? «Ваше благоутробие!»... Это — начало конца, начало конца!..

Он сделал было несколько грузных шагов по мастерской, но, остановившись, продолжал, так как не говорить не мог:

— ...Их казнят... Их казнят, ты увидишь!.. А я опоздал!.. Я опоздал со своей этой картиной,— вот я к какому выводу пришел!

Только теперь поняла Надя,— скорее почувствовала, чем поняла,— что ей надо обнять его и крепче к нему прижаться.

— Да что ты, что ты! Как опоздал? — заговорила она почти испуганно.— Как опоздал, когда она почти уже готова? Ведь ее даже и сейчас уже можно выставить, если...

— Если позволят, ты хочешь сказать? Если я захочу сидеть в тюрьме?.. Пока ведь и говорить о ней никому здесь нельзя, а не только показывать... Но ведь я говорю о том, что не успею ее закончить даже и к тому времени, когда показать ее будет можно и, пожалуй, нужно... Не в порядке такой постепенности произойдет революция,— указал Алексей Фомич на свою картину,— а сразу, взрывом, таким, как на «Марии», вот в чем я теперь убежден!.. И это — прочно!.. Это у меня теперь прочно, имей в виду!

— Что же, это ведь хорошо,— сказала Надя.

— Да, это хорошо, я согласен... Я согласен, хорошо!.. Но вот что мне еще хотелось бы тебе сказать...

Сыромолотов прошелся по диагонали мастерской и заговорил снова, резко и громко:

— Там — смерть! Над тем — крест!.. Но вот что еще меня поразило и о чем я молчал, скажу теперь... Вмешательство хирурга в рождение маленького у Нюры, должен тебе признаться, на меня это произвело впечатление тоже огромное... Ведь нужно же было, чтобы у такой вот Нюры родился ребенок, новая жизнь на земле! И тоже как бы путем взрыва, под аккомпанемент взрывов на «Марии»... Что же это значит, а? Значит ли это, что новая жизнь в России должна появиться тоже после гигантского взрыва, как дело рук искуснейшего в этой области творца, а?.. И кого же именно? Кто будет этот творец, не можешь ли ты назвать?

— Как же не могу назвать? — серьезно и даже строго посмотрела на своего мужа Надя.— Я тебе уже не раз называла его, разве ты забыл?

— Называла... Кого же ты имеешь в виду?.. Это — Ленин? — вдруг быстро спросил Сыромолотов.

— Разумеется, только он,— Ленин!..

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Два дня после того Алексей Фомич занят был в своей мастерской только тем, что его поразило: взрывом «Марии»; картина «Демонстрация» отошла на второй план. Придя к мысли, что она уже запоздала, что он смотрел сквозь нее не вперед, а назад, что гулкая поступь истории видится и слышится где-то уже в большом отдалении от этой его картины, Сыромолотов обеими руками схватился за то, что он сам видел, что видела бывшая рядом с ним Надя, что обрушилось смертельной тяжестью на близкого уже ему теперь человека — мужа Нюры, прапорщика флота Калугина.

Не демонстрация, а взрыв — в этом основном нельзя уж было теперь сбить с позиции художника. Демонстрация — это что-то размеренно-обдуманно подготовленное, расчерченное по клеточкам, просмотренное и обсужденное во всех мелочах, произнесенное хотя и в несколько повышенном тоне, но дипломатически вежливо и способное прекратиться под ливнем воды из брандспойтов. А взрыв, хотя он подготовляется тоже,— нет действий без причины,— внезапен, крут, сродни землетрясению, когда вдруг задрожит в той или иной части своей планета, и этой дрожи не в состоянии остановить никакой брандспойт и никакой пристав Дерябин, как бы несокрушимо на вид массивен он ни казался, сидя в седле на вороном породистом коне в белых чулочках на литых сухих ногах.

Отчетливо и упорно в виде триптиха начала рисоваться ему та картина, за которую он теперь с бо̀льшим пылом, чем за «Демонстрацию», готов был приняться, и первая часть триптиха была для него ясна: несколько человеческих силуэтов (пока еще не толпа, где все слитны) на переднем плане на набережной перед бухтой. Лица обращены туда, в даль бухты, куда показывают и руки, а там, в темноте — извивы пламени: что-то горит там, чему не положено гореть, так что эти несколько силуэтов на переднем плане надо дать, чтобы зритель почувствовал: там вдали катастрофа!..

Первая часть должна была ввести в тревогу взрыва, тревогу внезапную и большую.

Вторая часть триптиха — зритель должен увидеть воочию — горит не что-то и не где-то, а вот: эта огненная стихия охватила огромный дредноут, красу, мощь и гордость военного флота... Страшными взметами огня

здесь уже озарено, как днем, все, что есть на переднем плане: на красно-желтых гребнях волн головы, плечи и руки плывущих прямо на зрителей матросов... лодка с одним гребцом, который силится втащить к себе того, кто подплыл к нему вплотную. Это ближе к правой стороне, а слева высится борт баржи с опущенным к самой воде трапом. К барже этой тоже подплывают один за другим два человека, и им матрос в бушлате и суконной бескозырке готовится бросить спасательный пояс... С борта баржи свешиваются головы офицера и матросов. То, что эти матросы и офицер одеты по-зимнему, должно говорить зрителю: взрыв произошел в холодное время, и если осенью, то не в начале ее, а в середине или в конце. В бушлате и тот матрос, который помогает пловцу в рубахе влезть в свою лодчонку. А из-за этого, уже спасенного, видны головы двух других, умоляющих глазами спасти и их, между тем как зрителю видно, что им никак не может найтись в лодочке места... Дальше в море, на ярких волнах, еще головы плывущих, и чем дальше, тем они менее отчетливы, и совсем не видит зритель, что происходит там, на горящем линейном корабле: там только огонь, дым, и темнеют, вырываясь из огня и дыма, башни...

Третья часть триптиха — верхняя палуба линкора, или, точнее, то, что от нее осталось... Это самая страшная часть: она не только почти непосильно для красок трудна,— ее трудно и представить ясно даже и художнику с таким могучим воображением, как Сыромолотов. То, что рассказывал ему Калугин, он в состоянии был, конечно, выявить перед собою, но этого было чрезвычайно мало для картины. Центральной фигурой тут был в воображении художника молодой человек с лицом Калугина, с его формами тела, а справа и слева от него несколько фигур матросов, более широких и плотных, чем он. Сзади же их падает на их плечи и головы пылающий уже тент. Еще одно мгновенье, и этот тяжелый на вид тент или накроет их или собьет их всех в море, которое на переднем плане и в котором барахтается уже много людей... Но ведь борт линейного корабля высок, и это надо показать на холсте; но, кроме центральных фигур, должны быть даны еще и другие на той же горящей палубе; но, наконец, есть уже на той же горящей палубе и тела погибших,— обожженных, убитых обрушившимися частями корабля... Тут очень сложный рисунок, тут освещение, не поддающееся испы-

танным приемам живописи, и то, что получилось у Сыромолотова на эскизе, кажется ему самому какою-то детской мазней.

В то же время он чувствовал, что на такой именно сюжет он писал бы картину запоем, и эта третья часть триптиха должна бы ему удаться как никому другому из художников ему известных, сверстников его и более молодых, если бы только побольше собрать деталей.

Главная трудность представлялась Алексею Фомичу в том, как передать не в рисунке, а в красках разбушевавшуюся стихию огня.

— Это пламя,— говорил он Наде,— надо сделать так, чтобы зритель даже и подходить близко к картине боялся бы! Чтобы он на почтительном расстоянии держался, а иначе... иначе зачем же это и огород городить?.. Нужно, чтобы зрителю в двадцати шагах от картины было бы уже жарко так, чтобы он пиджак с себя снял!.. Огонь и справа и слева, и сверху и снизу, а что же взять должен я для контраста?.. Башню с орудиями? Но ведь и башня горит, и орудия валятся вниз... Все нестерпимо для глаз, и нужно, чтобы зритель не только бы пиджак снял, а еще бы и зажмурился, чтобы не ослепнуть! И лицо бы этим снятым пиджаком закрыл, чтобы искрами ему щек не опалило!.. И громадной должна быть картина, громадной, вот в чем дело,— а это столько деталей, да и каких!.. Задача!.. Такой задачи решать мне не приходилось... Что же такое по сравнению с этим «Демонстрация»? Колорит солнечного дня, хотя бы и петербургского, а тут? Офорт,— да... Можно офорт, а маслом?.. И невооб-разимо и не-изоб-разимо,— вот что мне приходится сказать.

— Пожар,— только что на море, а не на земле,— пыталась представить картину Надя, но Алексей Фомич взглянул на нее удивленно.

— А ты разве видела где-нибудь чью-нибудь картину пожара хотя бы и на земле? Только маслом, маслом, и картину, а не этюд? Где? Чью?

— У Верещагина, кажется, есть: пожар Москвы в двенадцатом году,— начала было вспоминать Надя, но Алексей Фомич только махнул рукой.

— У Вере-щагина!.. У него не столько огонь, сколько дым!.. Кстати, дым... Какого цвета бывает дым, когда горит нефть, ты не знаешь... Не знаешь, конечно, но ведь узнать можно... Мне кажется, что он должен быть очень темный... и тяжелый, и клубами. И ведь можно

допустить, что в середине палубы, то есть на средине картины, только что загорелось, а иначе и люди должны бы были уж сгореть... Здесь только что начал пробиваться огонь, и люди поэтому освещены пламенем очень ярко, например, слева, где башня, где огонь уж бушует... Башня слева; центр картины освещен нестерпимо для глаз, а в правой части — там тоже группа людей,— все в одном нижнем белье и все в движении: там вот-вот будет дана команда: «Спасайся, кто как может!» Там освещение сравнительно слабее...

— Вот что, Алексей Фомич,— перебила его вдруг Надя: — Ведь я могла бы съездить в Севастополь и еще поговорить на эту тему с Нюриным мужем. Я думаю, он мог бы припомнить расположение групп на палубе и вообще... всякие там детали, какие тебе нужны.

— Мне много нужно! Очень много,— но для начала, для хорошего эскиза, что же, да, конечно,— согласился Сыромолотов.— Он мог бы что-нибудь припомнить, хотя был в таком состоянии, что... А для меня каждая деталь драгоценна... Эскиз, да, вот: ты могла бы взять с собою мой эскиз, а он мог бы сказать, в чем, по его мнению, несообразность, что я упустил из виду, чего я недопредставил...

— Кстати, и Нюра...— вставила несмело Надя, но Алексей Фомич подхватил энергично:

— Разумеется, и Нюра, разумеется, да, да!.. Как она там со своим маленьким?.. Хотя у тебя и нет личного опыта, но все-таки ты могла бы ей очень помочь, Нюре. Я думаю, двух дней тебе было бы довольно, чтобы это уладить, а?

— Два дня? — повторила Надя.— Пожалуй, что ж, пожалуй, довольно будет два дня: что же мне делать там больше?

Заметив радость Нади и поняв ее так — вышедшим только теперь наружу желанием вырваться к Нюре и понянчить ее ребенка, Алексей Фомич улыбнулся, отвернувшись, и отозвался ей тоном как бы совершенно деловым:

— Впрочем, если обстоятельства сложатся так, что за два дня ты всего не успеешь сделать, то отчего же тебе не пробыть и три? А я тут без тебя, между прочим, сделал бы небольшой ремонт.

— Крыльца? — догадалась Надя.

— Разумеется. Ступеньки там совсем стали инвалидами, и если не ты, как легонькая, то я-то уж во вся-

ком случае могу их обрушить при первой возможности, да еще и ногу при этом сломать...

Так быстро решена была новая поездка Нади в Севастополь, который занимал все ее мысли.

Пламя горевшего дредноута «Императрица Мария», охватившее вот тепрь, как она видела, всего целиком Алексея Фомича, не могло же, конечно, не опалить и ее.

Она не в силах была бы найти многих и притом точных слов для того, что ее переполняло теперь, но слово «началось» казалось ей совершенно бесспорным. Что именно «началось» и объем того, что должно было произойти вслед за взрывом, представлялось ей довольно смутно еще, не имело пока даже приблизительных очертаний, таких, чтобы хоть за что-нибудь могла ухватиться мысль, но поворот к чему-то огромному и новому в общей жизни людей ею ощущался уже в севастопольском взрыве.

Она говорила самой себе, не решаясь сказать этого даже и мужу: «События приходят и уходят, и новые являются им на смену,— и что такое вся эта мировая война, как не цепь событий, очевидных для всех и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Африке и огромных? Сколько было сражений на разных фронтах у нас и на разных фронтах на Западе! Широко движется вперед куда-то не один наш народ, а все человечество в целом: не сотни миллионов, а все два миллиарда людей к цели огромнейшей. И миллионы людей погибли уже, и миллионы еще погибнут, и что же по сравнению с этим взрыв всего одного только нашего военного судна, пусть даже и дредноута, пусть и с тысячью жертв?.. Поговорят об этом взрыве с неделю у нас, а потом забудут о нем даже и в Севастополе, не только в остальном Крыму, а в остальной России о нем даже, может быть, и не узнают... И все-таки, несмотря на все это, не мелкий факт этот взрыв, нет! Это значительно! Это предвестник отбоя, поворота... может быть, даже и скорого конца войны!»

С такими мыслями или скорее порывами мыслей, не влившихся еще в слова, ехала Надя на извозчике на вокзал. Алексей Фомич не провожал ее, чтобы не терять своего времени, так как поезд из Симферополя в Севастополь уходил утром, а утро было время особенно дорогое для него, художника кисти: утром работал он у себя в мастерской гораздо плодотворнее, чем днем,

утренние часы его очень часто были часами счастливых находок.

Два крыльца имел дом Сыромолотова: одно парадное — в сторону улицы (дом стоял внутри довольно большой усадьбы), другое — с «черного» хода. Это второе крыльцо обветшало вполне заметно для глаза хозяина-художника, и нашелся плотник, чтобы его починить.

Плотник этот пришел утром, с плетенкой, из которой торчало топорище, в левой руке и с пилою в правой. Он был рыжий с проседью, рябой, скуластый, с конопатой тощей шеей и глядел исподлобья какими-то поблескивавшими сухим блеском глазами. Алексей Фомич с первого взгляда заметил, что пиджак его продрался на обоих локтях, а на полосатых брюках красовались латки на обоих коленях. На рыжих волосах торчал какой-то легкомысленного вида картузик, чуть потемнее волос и с очень маленьким козырьком. Плотник был не низок ростом, но сухопар, и пришел он не один, а с бабой в теплом платке. У бабы,— коротенькой и ставившей ноги носками внутрь,— лицо было тоже рябое, но красномясое, плоское и без веснушек.

И когда вышел к ним Сыромолотов, плотник только слегка приподнял картузишко, а баба сразу затянула нараспев:

— Уж мы тут вам, барин, так будем стараться, та-ак стараться!..

Плотник посмотрел на нее волком и прикрикнул:

— Дунь-кя!.. Отойди к сторонке!

Однако Дунька не отошла, и он сам отошел от нее шага на два ближе к крыльцу.

— Вы что же, вдвоем работать будете? — спросил Алексей Фомич.

— Известно,— баба,— вот и увязалась,— сквозь зубы пропустил плотник.— Надо же ей знать, куда за получкой иттить!

— А-а,— понял Сыромолотов и спросил: — А вас, кажется, мне так говорили, Егором зовут?

Плотник глянул на него по-своему исподлобья, но как будто непонимающе и даже оглянулся зачем-то назад, точно спрашивали у кого-то другого.

— Не Егор, значит, вы?

— Никак нет,— ответил плотник сумрачно, но твердо.

— А как же, если не Егор?

— Я имя крещеное имею Е-го-рий,— раздельно произнес плотник.

— А не один ли это черт? — недовольно заметил Алексей Фомич.

— Вам должно быть известно,— высокомерно поглядел на него плотник.

— Мне известно, что один... А фамилия как?

— По фамилии я — Сурепьев.

— Ну и отлично... Так вот, Егорий Сурепьев, чтобы времени даром не терять, приступайте!

— Есть! — вздернув голову, отозвался на это Егорий и не то чтобы громко, но все же внушительно обратился к жене: — Дунькя! Сию минуту отседа лети к шаху-монаху!

Алексей Фомич не видел, как глянул при этом Егорий на свою Дуньку, но догадался, что очень свирепо, так как она тут же повернулась и пошла, ставя ноги носками внутрь и припечатывая их к земле крепко.

— Похоже, что дела у вас теперь, у всех плотников вообще, неважные? — спросил Сыромолотов Егория, когда ушла Дунька.

— Дела совсем даже стали тупые,— вынимая из плетенки рубанки и стамески, согласился Егорий.— Охотников строиться теперь днем с огнем не найдешь: война!.. Хотя, сказать бы, и плотники тоже подобрались: кто убитый оказался, кто увечье себе получил, а кто в плен попал,— с плотниками та-ак!.. А если я, матрос черноморский, еще не взят на смерть, на увечье, так я ведь старых годов считаюсь, это раз, а во-вторых, куда нас, матросов, несчислимо брать? Кабы пехота,— та — другое дело, а матросня, она вся на счету, и вот ей, хотя бы наш Севастополь взять, убыли особой нет: сколько считалось спервоначалу во всех экипажах, столько и есть... Взять нас можно, конечно,— отчего не взять? Правительство все может сделать: захочет — возьмет, а зачем? Только абы-бы кормить нас зря? А пища матросам, слова нет, полагается хорошая,— не как пехоте... А доски-брусья у вас заготовлены?

Сыромолотов повел его в сарай, где сложены были у стены доски и другой лес, а Егорий Сурепьев, отбирая там себе, что казалось ему подходящим для работы, заговорил вдруг таинственным тоном:

— Вы, слыхал я про вас, господин сознательный, кокарды не носили и сейчас не носите, а также имения у вас нет, что же дома этого касаемо, то такой дом

должон исключительно у каждого рабочего быть, и похоже к тому теперь дело клонит, по тому самому вам можно сказать, чего другому бы не сказал...

Алексей Фомич заметил, как глаза у Егория стеклянно блеснули, в упор нацелившись на него, когда он держал в руках доску, готовясь положить ее сверху отобранной кучки леса. Голос Егорий заметно понизил, хотя сарай стоял в глубине двора, и услышать, что в нем говорилось, было бы мудрено кому-нибудь со стороны.

— Кандалами звенел за политику шесть лет и четыре месяца день в день! Вы, конечно, доносить на меня не побегёте,— потому вам могу довериться... С «Очакова» крейсера я матрос второй статьи,— ну, конечно, прав-состояния по суду был лишенный... Про крейсер «Очаков», небось, слыхали?

— Имею о нем понятие,— сказал Сыромолотов и добавил:— Также и о броненосце «Потемкине».

— Стало быть, одним словом, вам очень много об этом нечего рассказывать,— довольно качнул головой Егорий и продолжал: — Время какое было — этот девятьсот пятый год!.. Ну, похоже так,— ото многих людей приходится слышать,— хоть теперь уж считается шешнадцатый, а к пятому будто обратно дело подходит... И неужто ж теперь во флоте сознательных офицеров нет, как тогда были? Хотя бы, примерно будучи сказать, лейтенант Шмидт, какой нами тогда командовал... Эх, человек же был! Слово свое скажет,— и все готовы были за ним хоть в огонь, хоть в воду... А то вот был еще у нас на «Очакове» прапорщик из запаса,— фамилию имел Астияни,— из себя чернявый...

Сыромолотов, как хозяин, должен был бы позаботиться о том, чтобы Егорий Сурепьев, бывший матрос с крейсера «Очаков», поменьше говорил и побольше бы делал, но, как художник он ловил глазами каждый поворот головы этого, в первый раз увиденного им человека, непохожего на всех других, которых он когда-либо видел прежде. Поэтому он даже пробормотал поощрительно:

— Говорите не опасаясь.

Какой-то прапорщик флота Астияни (или, может быть, Остиани) заставил его вспомнить о своем свояке, тоже прапорщике флота Калугине: как-то он теперь там, в Севастополе, куда поехала Надя? А Егорий, положив уже доску, продолжал:

— Ведь вот же считается из одного котла флотский борщ мы ели с одним подлецом, ну, а если бы не тот прапорщик Астияни, он бы весь партийный комитет на берегу выдал!.. Пришел это с берега и сейчас к вахтенному, прапорщику Астияни: «Честь имею доложиться, ваше благородие!» Тот ему, конечно, со своей стороны: «Чего тебе, Войт?» Фамилия, значит, такая была того подлеца-матроса: Войт. «Так и так, дело очень секретное: сейчас вот получил восемьсот рублей от комитета, чтобы я им восемьдесят винтовок на берег доставил... А я и вовсе хочу, чтобы мне от начальства благодарность,— вот чего я хочу! Извольте принять от меня те и самые ихние восемьсот рублей, сосчитать их только вам надо, а мне расписку чтоб... Они меня этими деньгами купить хотели, будто я их никогда сроду таких огромадных денег не видал, а у нас же смолокурня своя есть, и также уголь мы палим большим количеством... Пусть мне, одним словом, от начальства благодарность, а не то чтобы я им винтовки доставлял, с какими вполне я могу засыпаться!.. Я-то деньги у них взял, конечно, бараном вполне прикинулся как и нельзя лучше, а сам про себя думаю: «Доставлю их господину вахтенному начальнику, и пусть их благородие доложит командиру,— может, мне за это какую награду дадут». Тот прапорщик даже ахнул, как это услышал,— а он же вполне сознательный был... «Ну, говорит, спасибо тебе, Войт, для пользы службы! Спасибо, что так ты сделал,— присяги военной не переступил!» Тот Войт, конечно, ему: «Рад стараться!» «Иди же теперь спать, а завтра я твое дело доложу командиру. А расписку, что деньги я от тебя принял, это я вот тебе сейчас напишу...» Все по форме сделал, а ночью собрал матросов несколько, какие сознательные, и им так и так: «Войт, подлец, комитет выдал! Надо, стало быть, пока не дошло до командира, непременно его убрать». Ну, раз дело до этого коснулось, чтобы убрать, то все говорить стали: «Я его!.. Я его!.. Нет, я!..» А тут прапорщик Астияни им: «Как же вы его убрать можете?» — «Ну, конечно, стукнем в голову да за борт!» — «Не подходяще, говорит. На моем дежурстве такое будет, это и вам погибель, а также и мне своим чередом... Называется это напролом идти, а не то чтобы... Может, я к утру что-нибудь такое придумаю, что и вы отвечать за такую стерву не будете, и я как-нибудь вывернусь...» Ну, с тем, конечно, все разошлись: человек не нам чета: прапор-

щик, образование имеет. А утром встали, конечно, койки свои скатали — подвесили, ждем, что он, наш вахтенный начальник, надумает. А он, прапорщик Астияни, назначает уборку снарядов в крюйт-камеру, а Война этого самого Июду — в число рабочих... Сам же, конечно, для наблюдения стоит это, как ему положено, на трапе, на верхней площадке... Работают матросы наши ничего, справно, и кто что знает про Война, все, одним словом, молчок и вида не подают... И Войт, этот гад, ворочает, как нигде не был, ничего не видал,— а малый он из себя был здоровый... И вдруг,— на тебе,— выстрел!.. И как этот Войт стоял над снарядом нагнумши, так и упал на него, рукой его правой обнял! Череп ему пуля насквозь и как раз в переносье вышла,— вот это место!

Тут Егорий выпрямился, голову отбросил, выставил кадык, и глаза его теперь уже длительно блестели. А на переносье свое он указал сначала одним пальцем, потом, чуть повыше, другим.

— Я не совсем ясно это представляю,— сказал Сыромолотов, тщетно пытаясь вообразить картину уборки снарядов на нижней палубе крейсера,— причем прапорщик, выстреливший в Войта, поместился где-то на верхней ступеньке трапа, который куда же, собственно, вел?

— Вам, конечно, трудно это,— сразу согласился Егорий,— как вы есть штатский и сроду на судне военном вам не приходилось бывать... А он, прапорщик Астияни, вон как удумал: он и револьвер из кобуры кожаной не вынимал, а так только чуть отогнул ее, кобуру свою, и как только Войт под ним оказался нагнумши, так он и нацелил ему в голову через кобуру,— вон ведь что удумал! Что значит он — ученый был человек, а не то что мы — серость!

— «Вынимал револьвер вахтенный начальник?»—нас спрашивают. «Нет,— говорим,— никто не видал, чтобы их благородие револьвер свой из кобуры вынимали,— в этом какую угодно присягу примем: потому, как этого не было, то, значит, и не могло быть».— «А почему же это,— нам опять вопрос,— вдруг выстрел?» Ну, мы уж слышали от прапорщика эти самые слова: «Несчастный происшел случай»,— вот и мы все следом за ним: «Несчастный,— говорим,— случай». А прапорщик со своей стороны доложили, что, мол, так и так, замечен, что якшается с кем-то на берегу. Уж там ищи, где хочешь, с кем якшается: Севастополь — это тебе не деревня, и люди там сидят не пришитые: нонче там, а завтра

взял да и смылся. «Ага,— говорят,— та-ак! Ну, туда ему, подлецу, говорят, и дорога!» И вышел, стало быть, этот Войт обоюдный Июда,— вот как дело было.

— Ну, все-таки вас за него судили? — полюбопытствовал Сыромолотов.

— За Войта чтобы? Меня? Ни божесбави! Так что даже и прапорщику нашему церковного покаяния не дали, а не то чтобы нам... Мы же в этом при чем же быть могли?.. Вот с попом Брестского полка когда,— может, и эту историю пришлося вам слышать,— ну, тут уж одни сами матросы, потому как офицер, пускай даже сознательный,— на такое дело он вряд ли бы пошел.

— Я действительно что-то слышал о каком-то полковом священнике,— припомнил Сыромолотов.— Не то он матросов исповедовал, а потом на них донес начальству, не то...

— Истинно! Оказался Июдой тоже, не хуже Войта,— подхватил Егорий.— А нешто написано это в его Писании, чтобы ему на духу поверенное начальству потом доносить?

— Нет, этого нигде нет ни в каком Писании, и не имел права он, священник, этого делать,— решительно ответил Алексей Фомич.

И, как бы поощренный этим, Егорий, не глядя уже больше на ворота сарая,— не показался бы там какой посторонний человек,— и несколько даже повысив голос, продолжал:

— Вот за это самое его и постановлено было казнить!..

Он подождал немного, не скажет ли чего-нибудь художник, но Сыромолотов молчал, выжидая.

— Матросы, они, конечно, одним словом, читали кое-кто в газетах: «К смертной казни через повешение»,— вот у них это самое и явилось. Того мало, что исповедников своих выдал: он в пехотном полку своем Брестском что ни обедню служит,— от него проповедь солдатам: «Не будьте как матросы-бунтовщики! Попадете за это после смерти к чертям собачьим сковородки горячие лизать и, значит, в котлах вариться, а пока что натерпитесь на каторге, ну, однако, могут вас взять да повесить!..» И что ни воскресенье, только это самое солдаты брестские от него и слышат: «В случае чего с вашей стороны,— поимейте это в виду,— возьмут да повесят!..» Вон он где второй Войт объявился,— в Брестском полку... Поэтому и решение об нем у матросов вышло:

убрать!.. И, значит, одним словом, все обдумано было, как убрать того попа вредного... В пятом годе снег в Севастополе выпал большой, и так что даже санки у извощиков завелись... Санки, значит, должны были помочь спроти того попа нам дать. Идет он это в шубе-шапке меховой, как им полагается всенощную служить, а тут метель поднялась,— свету не видно,— да уж и сумерки само собой,— идет, а насустречь ему матросов двое. «Так и так, батюшка, во флотских казармах матросам проповедь скажите,— очень вас просят все, как умеете вы проповеди говорить, аж до самых печенок людей пробирает...» Поп туды-сюды: «Да как я могу свою паству бросить на произвол, а к вам, матросам, ехать?» Ну, ему тут разговоры насчет того, что души надо заблудшие спасать, а какие праведные, те сами собой спасение получат, а между тем к саням с ним подходят, какие уж наготове стоят, да его за шубу, да в сани... Ну, одним словом, вывезли его куда надо было, да так он, значит, на фонаре и повис как был: и шубу и шапку ему оставили, потому, конечно, холод...

— Это, стало быть, за такое дело вы кандалами зазвенели? — неприязненно и глухо спросил Сыромолотов.

— За такое дело разе кандалы бы дали? — как бы даже удивясь подобному вопросу, чуть усмехнулся краешками бескровных губ Егорий.— За такое дело — амур-могила и черный гроб! — Он провел ребром ладони по кадыку и посмотрел вверх на перекладину сарая.— Нет, я этому делу не касался, да, кажись, и матросов тех не нашли,— бежали они из Севастополя в ту же самую ночь, кажись... Нет, это я сключительно за одни просвирки.

— Как за просвирки? — не понял Алексей Фомич.

— А это как лейтенанта Шмидта расстреляли,— вам должно быть известно, на острове Березани, а мы, матросня, как узнали, решение тогда вышло всем за упокой Шмидта просвирки подать. Вот загодя просвирки мы в городе заказали, на судно доставили,— а нас все-таки восемьсот считалось человек,— и как только обедня началась в судовой церкви,— даже, сказать лучше, перед самым началом это,— что ни матрос, всякий идет к алтарю, просвирку несет, а на просвирке бумажка белой ниткой привязана, а на бумажке, своим чередом, написано у всех: «За упокой души лейтенанта Шмидта»... Стоим друг на друга зиркаем, что будет. Глядь, выходит из алтаря наш поп судовой, весь так точно красной

краской покрасился и патлы свои залохматил. «Братья-матросы! — кричит.— Ну неужто у вас ни у кого отца-матери нет покойных, что оказался изменник царю, вере, отечеству всех вам дороже?» Ну, вот я тут и рявкнул один за всех матросов: «Дороже!» О-он же,— он на меня только чуть глаз навел, патлатая душа, а заметил! Ну и, конечно, своим чередом, командиру послал сказать, какие-такие ему представили поминальные просвирки. Глядим, входит в церковь наш командир и прямо идет мимо нас в алтарь... А из алтаря голос его слышим: «Выбросить за борт!» Так и выбросили почитай восемьсот штук!.. Цельный день потом мартышки их клевали.. Ну, а я как рявкнул один за всех, так и посчитали меня в этом деле зачинщиком... Выходит, бунт я поднял, а как же? Вот за это я и получил каторгу!..

— И что же там, на каторге, другие тоже за политику сидели? — спросил Сыромолотов.

— Со мной вместях? — Егорий покрутил головой и ответил: — Со мной на одних нарах там помещалось несколько их, ну, только они за такую политику, какая иржёть.

— Как так «иржёть»? — не понял его Алексей Фомич.

— Ну, сказать бы так: конокрады! Самые последние считаются люди, какие у мужика весной, как ему пахать-сеять, лошаденку лядащую уводили, а его в нищих оставляли,— вот какие.

И, должно быть, вспомнив об этих своих соседях по нарам, Егорий замолчал, забрал в охапку отобранные доски и потащил их к крыльцу.

А Сыромолотов, походив немного по саду и подойдя потом тоже к тому крыльцу, сказал:

— Был я недавно в Севастополе и угодил как раз ко взрыву дредноута «Мария»... Страшная была картина — этот взрыв!.. Как вы думаете,— вы — бывший матрос,— кто мог решиться на такое дело, а? Кто мог взорвать такую громадину?

Егорий, нагнувшийся в это время над последней ступенькой крыльца, посмотрел на него снизу вверх и ответил загадочно:

— Кто взорвал, тот руки-ноги не оставил.

Сыромолотов пошел от него в комнаты недовольный таким ответом. Ему хотелось услышать еще одну догадку о том, отчего погиб дредноут «Мария» и вместе с

ним множество здоровых людей, которым жить бы да жить.

Но нельзя же было ему, художнику, не занести в свой альбом эту новую «натуру». А когда он вышел снова на двор не только с альбомом, но и со стулом и уселся шагах в десяти от крыльца, нельзя же было не задать Егорию Сурепьеву еще несколько вопросов: разговаривать с «натурой» было в основных привычках Сыромолотова.

— Вы что же, Егорий, уроженец здешний или из других каких мест?

— Никак нет, не здешний рожденный...— Зачем то помолчав немного, Егорий добавил: — Курский я соловей, Дмитриевского уезда, села Гла́маздина.

— На родину, значит, вас совсем не тянет?

— А что же я на той родине своей должен с голоду, что ли, подыхать? Чудное дело,— родина! — И Егорий очень зло блеснул глазами.— Там же кто у меня может быть, ежли я давно уж там все обзаведение продал?.. Старик там у нас был один до земли очень жадный,— тот купил: все бы ему аржицу да пашаничку сеять... Ну, правду сказать, с той самой аржицы старик этот клятый до таких годов дотянул, что уж сам все на тот свет просился, где аржицы,— вам это должно быть известно,— ангелы не сеют, а черти им даже и земли не продают... Ан, сколько ни просился тот старик туда, все его дело не выходило... И так,— вам сказать в точности,— до девяноста аж лет дожил, а все не помирает: не находит его смерть никак — и шабаш! Вот уж видит он, тот старик,— сын старший к нему на полати лезет,— лет под семьдесят было тому... «Чего это ты, Вася, прилез?» А Вася этот ему: «Да что-то кабыть слабость какая-сь во мне завелась, в самой середке... Отлежусь, может, зле тебя». Не отлежался, брат, вскоростях помер... А там, через полгодика этак, другой сын, помоложе, тоже к нему на полати мостится. «Что это вздумал ты, Проша?» «Да так чтой-то лихоманка очень одолевает...» Неделя не прошла,— помер и этот самый Проша, а отец ихний все жив... Наконец того, зачал как-то он года свои высчитывать,— девяносто два насчитал... Ну, конечно, есть старику отчего испугаться! Взохался, взахался: «Ох, что же это такоича! Ах, грехи мои тяжкие!.. Не иначе потому это бог про меня забыл, что грехов на мне много!.. Тишка! — кричит.— Тишка, иди сюда!» А Тишка этот внук уж его был,— от Прохо-

ра: так уж ему тогда лет сорок с годком было. «Чего тебе?» — «Гони за попом! Отысповедуюсь, приобщусь, может, помру скореича... И тебе без меня полегче будет, а то ведь зря на полатях место пролеживаю...»

Сделав тут передышку, так как сильно пришлось стучать молотком по гвоздям, Егорий продолжал:

— Ну, конечно, приходит поп за своим доходом, и вот начинается исповедь эта самая... Надо бы тихо, да старик-то ведь уж глухой стал, тихо говорить не может... Кричит попу что есть мочи: и тем-то он грешен был, и тем-то... Подождет, подумает, почешется и еще добавит. Ну, с течением времени, даже и попу тому надоело его слушать. «Отпускаются, говорит, все грехи твои, и давай уж причащать тебя буду, а то ты и до вторых петухов не кончишь!..» Причастил его, конечно, получил свое за требу, водчонки выпил, закусил студнем,— подался домой к попадье... А старик этот... Как его звали, шут его дери? Кажись, Семен Матвеич... Полежал, полежал после того в чистой рубашке, подождал-подождал своей смерти,— что же это за наказание такое? Не идет, и шабаш!.. Покряхтел про себя и опять к тому внуку Тишке: «Нет, Тиша, видать, не помру я так-то: еще ведь я, окаянный, один грех забыл!.. Ведь вот же напасть мне какая: забыл, и все!.. А грех-то не какой-нибудь вообче, а большой считается. Гони опять за попом!» А Тишка этот не дурак тоже: это, стало быть, опять попа водкой пои да студня ему становь. «Какой такой грех-то? — вспрашивает.— Ты мне его скажи, а я уж попу передам, а то вполне может такое дело выйти: поп-то придет,— чего ему не прийти,— а ты грех тот забудешь,— какими ж глазами мне тогда на попа моргать, что я его зря беспокоил?» Ну, тут старик ему в голос: «Мать твою за грудь в сенцах лапал, вот какой грех мой,— понял?» Тишка ему: «Лежи уж знай! Тоже грех нашел! И мать-то моя давно уж помершая, никак годов десять будет. Авось помрешь и так, без попа обойдешься!» Ну, однако, не помер в этот год: держал его черт за те бабьи грудя еще на полатях года четыре... Вот и спроси теперь того самого черта: какой тебе, черту, от этого барыш, что четыре года ты старого человека за грудя мучил?

Говоря это, Егорий привычно строгал доску, положив ее вместо верстака на двое козел, какие хранились в сарае для пилки дров.

— Это, собственно, к чему же вы мне, Егорий, об этом старике рассказали? — самым добродушным тоном спросил Сыромолотов, принимаясь за новую зарисовку.

— А это к тому я, барен,— метнул в него жуткий какой-то взгляд плотник,— что вот, бывает же ведь такое: живут-живут какие, и до того они живут, что аж сами в гроб просятся и даже гроба себе покупают, ан не тут-то было,— живут!.. А об себе думка у меня такая: из-за чего же ты с утра до ночи бьешься? Сключительно из-за одного куска хлеба, а бывает, и того куска не залапаешь.

— У вас, что же, семейство, что ли, большое?

— Бог миловал семейство чтоб заводить! — не поднимая глаз от рубанка, отчетливо сказал Егорий.

А Сыромолотов в это время подумал, не знает ли он про старика Невредимова, не намекает ли на его долгую жизнь, вспоминая какого-то Семена Матвеича из села Гла́маздина.

Поэтому он сказал как бы про себя:

— Много что-то злобы против людей, очень много...

— А доброта у меня спроти них откуда же может взяться? — с любопытством даже как будто поглядел на него плотник.— Есть по плотницкой работе калуцкие,— ну про тех говорится, что лаптем тесто меряют, огурцом телушку режут... А про курских что говорят? Только что обротники, потому как они по конской части мастера... Однако, в конце-то концов, вот что и с нами, с курскими, происходит! — И он показал художнику сначала один дырявый рукав пиджака, потом другой.

Кстати, в это время он уже остругал доску и подошел к крыльцу отмечать на ней карандашом, сколько надо отпиливать на ступеньки.

— Говорится: каких замуж выдали, каких сговорили, а про каких и думать забыли,— вот так и про нас грешных,— как бы позаботился он, чтобы и язык его не оставался без работы.— Ну, однако ж, раз веру-царя-отечество защищать, то, значит, тут уж про всех до единого вспомнить надо. Бери вот себе японскую винтовку, как своих не стало хватать, да маршируй себе под пули, под снаряды, голову свою им подставляй, как она все одно дурная и на черта она тебе больше сгодиться может? Говорится,— реки и те без помощи поникают, а на твою помощь склюдчительно вся царская надежда положена.

Тут Егорий коротко кашлянул и приставил левую ладонь, согнутую калачиком, ко рту. И только когда на-

чал отпиливать от доски на ступеньку, испытующе исподлобья поглядел на художника.

— Да, подобрали людей,— не замедлил согласиться с ним Алексей Фомич.— А в начале войны, я помню, все говорили, что продолжительной такая война быть не может: раз, два,— и готово... У меня сын тоже вот уж третий год служит в пехоте... Свояк мой,— он в Севастополе, во флоте,— чуть не погиб на этой самой «Марии»,— едва-едва выплыл... А кроме того, ведь и братья жены моей тоже в разные полки взяты...

— Ну, однако, дозвольте спросить, барен,— не то чтобы рядовщиной они были забраны? — очень живо осведомился Егорий.

— Нет, не рядовыми,— скороспелыми офицерами этими военного времени,— прапорщиками,— охотно ответил Сыромолотов и добавил: — Ведь они все образование получили, поэтому теперь и офицерские обязанности несут.

— Ну да, вроде как святые в старину спасались в пустынных местах,— подхватил Егорий,— хотя между прочим базар от тех мест пустынных поблизу должон был находиться, иначе бы курса свово не прошли бы, с голодухи поколели бы раньше времени... Это я к примеру так говорю,— и опять кашлянул в левую руку, начав прибивать на место отпиленную ступеньку.

«Востер на язык!» — подумал о нем Алексей Фомич, принимаясь за новый рисунок, по счету четвертый.

— Вы, конечно, хозяин считаетесь дома свово,— начал снова Егорий, прибив эту ступеньку и принимаясь отпиливать кусок доски для другой.— И хотя, сказать бы, желаете, чтоб я у вас на глазах работал, ну, заняты притом же своим делом, чтоб зря времени не тратить... А то вот раз,— это до войны дело было,— работал я тоже на дому у хозяина одного, только он был немец. Просветы я ему делал для флигеля, а также по́дшив под потолок,— работа эта, известно вам, гвоздевая... А тут ему приспичило ехать куда-то, немцу тому, по делам по своим, дня на три... «Вот, Егорий,— это он мне говорит,— как теперь без моего глазу будешь ты, оставляю тебе по списку тысячу семьсот восемьдесят семь предметов, а ты прими и распишись, как ты есть грамотный, а когда приеду, то, стало быть, мне в точности отчет дашь, сколько чего и куда у тебе пошло».

— Каких же это тысяча семьсот предметов? — удивился Сыромолотов.

— А как же так, каких! Разных там вобче по нашему делу: шпингалетов, задвижек, шурупов, петель оконных, ручек, крючочков для форточек и, что касается для подшива, гвоздей двухдюймовых, также и трех-четырехдюймовых,— доски прибивать к балкам,— объяснил Егорий.— Ну вот, приезжает тот немец, давай все считать он,— каждый, понимаете, гвоздь забитый и тот сосчитал,— записал на бумажке, чтобы не сбиться...

— Да, немцы статистику любят,— согласился Сыромолотов.— Вот так же они и свои снаряды к орудиям считали перед войной и свои патроны... Да и у союзников их тоже все было ими сосчитано... Благодаря счету они теперь и побеждают.

— Ну, тот немец, он, кажись, на Урал куда-то выслан,— и все, значит, тыщи предметов его остались совсем без последствий,— вставил плотник.— А вот что я хотел бы у вас вспросить, барен. Вы вот это чертите карандашиком не с меня ли, грешного, свои планы?

— То есть рисунки, вы хотите сказать?

— Ну, хотя бы ж рисунки,— и кашлянул Егорий, прикрыв рот.— Выходит, стало быть, так: вы мне пользу преизнесли, работу мне на день дали, так что я могу считать, что назавтра я хлеба себе разжился, а я вам, выходит, пользу двойную преизношу: и крыльцо вам починяю, и, своим чередом, вы с меня рисунки свои снимаете,— может, за них не трояк, как я, получите, а пожалуй что чуть-чуть и поболе... Это я к примеру так говорю.

— Нет, я за эти рисунки ни одной копейки не получу: они никому не будут нужны... А если я их делаю, то это у меня просто привычка такая,— с виду совершенно спокойно ответил Алексей Фомич.

Однако, посидев после того еще с минуту, он закрыл альбом, взял стул и ушел в комнаты.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В полдень пришла Дунька и принесла Егорию какую-то снедь в синей эмалированной миске, завернутой в тряпицу.

Пока он ел, она с большим любопытством ходила по двору и саду, зашла, наконец, и в сарай, и Алексей Фомич слышал, как Егорий крикнул ей:

— Дунь-кя-я! Ты чего это там зиркаешь, где не надо? Аль украсть чего хочешь у барена, сука?

Отворив окно, Сыромолотов не утерпел сказать:

— Очень строго что-то вы обходитесь с женой, Егорий!

— С бабой своей? — поправил его плотник.— А с ними, с бабами, разве можно иначе? Им только волю дай, а тогда с ними и жизни не рад будешь.

Егорий при этом сжал кулак, на вид твердый, как каменный, и помахал им предостерегающе в сторону подходившей от сарая Дуньки. Однако, к удивлению Сыромолотова, и у Дуньки оказался голос,— правда, весьма неприятный, вороний:

— Хороших людей постыдился бы, цыбулястый черт! Жрал бы, когда тебе принесли, да молчал бы, конопатый идол!

И Сыромолотов еще только пытался догадаться, что это значит «цыбулястый» — когда Дунька торопливо подобралась к окну и почти пропела:

— Бари-ин! Дайте уж мне вы, сделайте такую милость, той трояк, а то ведь пропьет он его, а мне и пятачка не даст, а я его, черта, корми!

— Постойте, как же это так? — озадачился Алексей Фомич.— Он же ведь матрос бывший, сознательный, за политику «кандалами звенел», а вы...

— Ка-кой он матрос! — истошно закричала Дунька.— В острогу он сидел за тую политику, какая иржёть!

— Что за черт! Опять это «иржёть»! — изумился Алексей Фомич, но в это время крикнул и Егорий: «Дунькя-я!» — и встал, и показался страшен: рот его был открыт, оба каменных кулака сжаты, а глаза округлились, как у ястреба.

И не успел еще Алексей Фомич вынуть кошелек из кармана, как Дунька уже метнулась от окна за угол дома, а следом за ней от крыльца бросился и Егорий все так же с открытым ртом, как будто хотел он пустить в дело и зубы.

Алексей Фомич сразу потерял всю присущую ему медлительность; почти прибежал он из мастерской к парадной двери и едва успел отворить дверь, как на него шлепнулась всем телом Дунька, за которой Егорий был уже не больше как в трех шагах, так что щербатые, но еще крепкие зубы его как бы впились уже в то место, где только что, момент один назад, была спина Дуньки.

Сыромолотов захлопнул за собою дверь, стал на первую ступеньку крыльца, прикрыв собою Дуньку, и крикнул:

— Стоп!

Почему-то именно это «стоп!» вырвалось у него как-то само собою, а не «стой!», и так же, как Егорий, он сжал кулаки. И, должно быть, вид его, мощный, несмотря на большие годы, и решительный все-таки, сразу отрезвил плотника: он остановился на полушаге, как будто по военной команде.

И с полминуты стояли они друг перед другом, художник и плотник, остро, как перед рукопашной схваткой, наблюдая друг друга, пока на глазах художника не преобразился плотник: кулаки его разжались, рот закрылся, а в ястребиных глазах появились даже неожиданно веселые как будто огоньки, и выдавил он из себя хрипло:

— Это вы, ба-рен, хорошо исделали, что дверь от нее закрыли, а то бы она вас обобрала, эта Дунькя-воровка!

— Врешь, дьявол проклятый! Не воровка я! В острогу не сидела, как ты, конокрад паршивый!

Сыромолотов повернулся к ней, на всякий случай оглянувшись при этом на ее мужа. Ему представилось, что она, эта Дунька, кинется вот сейчас на него сзади и пырнет его ножом в спину. Он быстро, как и не ждал от самого себя, поднялся на площадку крыльца, чтобы стать хотя бы рядом с Дунькой, а не спиною к ней, и, овладев уже собою, крикнул плотнику:

— Иди кончать работу!

— Есть кончать работу! — по-морскому повторил Егорий, повернулся через левое плечо вполне отчетливо, но пошел снова за угол дома, загребая землю длинными ногами и сутулясь.

— А ты вот что, Дунька,— ты сейчас же отсюда уходи, а там дальше это уже не мое дело, как ты поступишь: дальше — там уж спасайся от мужа, как сама знаешь!

И, говоря это, Сыромолотов все-таки вынул приготовленную было раньше трехрублевую бумажку из кошелька и подал ей с большой осторожностью, крепко зажав кошелек в руке.

К удивлению его, Дунька ничего не сказала, кошелька даже и не попыталась выхватить из его рук, бумажку проворно спрятала, скомкав, а сама, поглядывая на угол дома, заспешила к калитке.

Алексей Фомич долго ходил из угла в угол по своей столовой, украшенной вместо картин или этюдов только старой, выцветшей уже табличкой, написанной когда-то собственноручно им готическим шрифтом: «Хороший гость необходим хозяину, как воздух для дыхания; но если воздух, войдя, не выходит, то это значит, что человек уже мертв».

Поглядев теперь на эту табличку, Сыромолотов подумал, что восточная мудрость, создавшая такое изречение, как бы предвидела такого «гостя», как этот вот плотник, назвавший себя Егорием Сурепьевым. Однако он счел бы за малодушие выгнать его вот теперь же, да и Дуньке надо было все-таки дать время от него куда-нибудь скрыться.

Он привык думать над словами, услышанными им впервые, а теперь как раз были два таких слова: «иржёть» и «цыбулястый».

«Иржёть», думал он, это вроде как мужики в средних губерниях — Тамбовской, Рязанской,— говорят «аржица» вместо «ржица», то есть рожь, да и сам этот Егорий, хотя он курский, тоже сказал раз «аржица», «пашаница», а вот «цыбулястый» откуда взялось? Должно быть, от «цыбули»,— лук по-украински но не луковица, конечно, а только зеленые длинные листья, пустые внутри. Как зеленые листья лука, цыбулястые ноги длинны и слабы; как ветру легко сломать листья цыбули, так легко можно сбить с цыбулястых ног человека; но разве годятся в матросы люди с подобными ногами? Кто же все-таки он, обладатель таких ног: «очаковец» ли, если верить ему самому, или всего только бывший конокрад, если верить жене его Дуньке? Бывшим конокрадом оказался, между прочим, и Распутин,— третье лицо в государстве Россия (а может быть даже и первое). Что же это за государство такое, в котором из конокрада может выйти не только полуцарь, а даже целый сверхцарь, и начнет этот сверхцарь проводить такую политику, какая «иржёть», да так оглушительно, что до сих пор стоит в ушах это ржанье — взрывы на несчастном дредноуте «Императрица Мария», погибшем не где-то в открытом море, в сражении с более сильным противником, а в своем собственном порту, в знаменитой Большой севастопольской бухте. И если этот Егорий Сурепьев, который, может, по паспорту своему и не Егорий и не Сурепьев, не был никогда матросом, как говорила его жена, а только слышал от матросов, что они рассказывали

о предателе Войте, и прапорщике Астияни, и о восьмистах просвирках, поданных «за упокой души лейтенанта Шмидта», то чем же все-таки он занимался раньше, прежде чем стал конокрадом? И неужели Вильгельм и его министры, подготовляя эту ужасную войну, учитывая, сколько стали выплавляется в год в России и сколько может быть сделано на ее заводах орудий и снарядов, винтовок и патронов, учитывали и то, сколько таких вот Егориев останется в России в тылу, когда все молодое, способное, крепкое и чистое отправит она на фронт, протянувшийся небывало в ее истории от Мурманска до Одессы и даже до Закавказья? Кто не ляжет костьми на этом огромном фронте, тот вернется после войны, но в каком виде вернется? Простреленный, хронически больной и ревматизмом и другими болезнями явится он с фронта!.. Интеллигенция русская,— разве так уж была она многочисленна? Растили, растили эту интеллигенцию со времен Петра, но сколько же останется от нее после такой войны?..

Почему-то, хотя и в связи, конечно, с тем, о чем он думал, очень отчетливо представился Алексею Фомичу сын Ваня, когда-то «любимое дитя Академии художеств», прапорщик мощного вида. Писал он отцу редко, и последнее от него письмо было получено месяца два назад. Он был адъютантом одного второочередного полка и писал из города Броды в Галиции, который тогда только что был занят этим и другим полком одной с ним дивизии. После того появлялись кое-где списки убитых и раненых офицеров, но Вани не было в этих списках, и художник, думая о своей картине «Демонстрация», перестал наконец думать о сыне.

Теперь же, когда он шагал по столовой, сын вспомнился и стоял перед глазами очень отчетливо, и странным показалось то, что Ваня смотрел на него как-то по-новому: не спокойно-наблюдательно, по-художницки, и не опустошенно, как этого можно было ожидать от человека, проведшего больше года на фронте, а задумчиво, углубленным в себя, очень каким-то поумневшим взглядом...

Он хотел чем-нибудь заняться, чтобы отвлечься от этого, но ничего такого не нашлось, и стало так почему-то трудно оставаться наедине с собою, что ноги сами повернули из столовой к тому крыльцу, где стучал молотком плотник.

Отворив дверь на это крыльцо, Алексей Фомич с минуту глядел на Егория, шумно сопя; даже странно пока-

залось ему, что плотник вот так, как ни в чем не бывало, орудует тут у него и делает вид, что не замечает, уйдя весь целиком в свою работу, что хозяин дома отворил дверь и на него, а не куда-то в даль, смотрит.

Наконец, он вышел на крыльцо, и тут ему пришлось удивиться по-настоящему: Егорий, кашлянув по-своему, в кулак, вдруг поднял на него глаза и спросил негромко:

— А вам известно, барен, как королева какая-сь,— кажись, греческая она была,— через наш Симферополь в Петербург ехала?

— Не знаю,— буркнул Алексей Фомич.

— Как же,— ведь это не очень давно было,— после пятого года... Генерал Княжевич тогда у нас губернатор был, а Кузьменко полицмейстер,— вместе они ее и встречали... по какой такой причине у нас она, королева эта, остановку должна была исделать, это, конечно, дело ихнее, а только не одна же она ехала... Раз такая птица важная к нам залетела, то грекосов этих самых, или как бы сказать пиндосов, много зле нее держалось... Ну, однако, раз назначена остановка им всем, то как считаете,— кормить такую ораву надо, иль пускай у них кишки марш играют? Вот и поломай голову те княжевичи с теми кузьменками, из чего именно обед им сварганить? Ну, тогда тут им на выручку явился пристав один,— третьей он был части, очень из себя здоровый, Дерябьев по фамилии...

— Дерябин? — невольно переспросил Сыромолотов.

— Хотя бы ж Дерябьин, как вы сказали, а по-нашему все одно... И вот Кузьменко к нему: «Так и так,— выручай!..» — а Дерябьин этот, он же на егмé вырос.

— На какой «егмé»? — перебил Сыромолотов.— Что это еще за «егмá» такая?

— Ну, иначе сказать, на хабаре...

— А еще иначе «на взятке», что ли?

— Ну, хотя бы и так... Все, выходит, я говорю не по-вашему, а где я учился, чтобы по-вашему говорить?

Так как Егорий после этого замолчал, а Сыромолотову хотелось уже теперь узнать что-нибудь о видном персонаже своей картины приставе Дерябине, то он спросил:

— Что же именно Дерябин,— как? Чем он Княжевича выручил?

— Так ведь в третьей части тут цыгане живут, и не сказать бы, что их мало, а вполне порядочно — цельный квартал цыганский,— кашлянув, продолжал плотник.— Призвал он, Дерябьев, старшого цыгана и ему

приказ дал: «Через два часа чтоб, никак не позже смотри,— пятьдесят штук курей в губернаторский дом чтоб доставили королеву кормить! Не кого-нибудь, а целую королеву, черти смоленые,— поимейте это себе в виду!» А цыгане что ж,— цыгане, конечно, курями хоть не занимались, ну, между прочим, про запас себе доставать их умеют: этому они сыздетства обучённые (тут Егорий слегка подкивнул подбородком и мотнул головой). Одним словом вам сказать, двух часов не прошло, а цыгане-цыганки полсотни курей на губернаторский двор приташшили... Как я сам на том обеде у губернатора Княжевича не был, то сказать вам не могу по этому самому, сколь гости были довольны; а только вечером после обеда их уж опять на вокзал провожали и счастливого пути им желали... А на другой день те цыгане к тому приставу Дерябьеву гурьбой лезут — деньги за курей получать. Ну, а Дерябьев, он же сам деньги получать любил, а не то чтобы их кому платить,— кээк рявкнет на них: «Прочь отседова, пока целы! Чтоб и духом вашим цыганским у меня тут на дворе не пахло!..» Ну, однако, сказать бы, цыгане-цыганки того крика не очень испугались, как уж не один раз его слыхали, а знай себе денежки требовают. Ну, тогда Дерябьин им вместо денег бумажку сует к полицмейстеру Кузьменке: «Вот от кого деньги вам получать!..» Хорошо, что ж: все ж таки бумажка, а не то чтобы крик один, притом же печать на той бумажке, видят, есть круглая,— все по форме... Приходят до Кузьменки того, а тот — старый уж человек,— я, мол, этому делу не причина, и платить за курей денег у меня не заготовлено, а идите вы к самому губернатору,— может, он вам уплотит. «Бумагу, кричат, давай. Без бумаги как пойдем к губернатору?» Кузьменко что ж,— дает им и он бумажку и тоже для видимости печать к ней пристукнул. Лезут теи цыгане в губернаторский дом, а тут губернаторша от них в страх и ужас пришла и давай духами прыскаться и кричать, и, стало быть, их городовые селедками своими долой с улицы гонят. «Куда ж нам теперь?» — цыгане кричат. «А вы какой части? Третьей считаетесь? Ну, вот к свому приставу Дерябьеву и шпарь!» Пришли опять цыгане до Дерябьева, а тот им кричит: «Теперь осталось вам только к чертовой матери иттить или же к самой королеве греческой да с нее деньги за курей и получать, как они есть все до одной вами уворованные!.. И ничего вам, смоленым чертям, не

стоит еще их наворовать хоть целых две сотни, потому как наш Симферополь — он город губернский считается, и курей в нем водится не меньше, как сорок тысячев!..» Ну, стало быть, благословение свое им дал,— с тем и пошли теи цыгане. И уж после того, конечно, у какой цыганки на угошшение королевы этой самой две куры пошло, через день, через два их пять в закутке сидело, только корми знай!.. Ну, и корма тоже воруй.

Сыромолотов ничего не сказал плотнику, когда он кончил рассказ о цыганах, но про себя не мог не отметить, что вот пристав Дерябин, который занял уже свое место на его огромной картине, оставил, значит, по себе память здесь, а теперь не иначе как обуреваем задачей оставить еще большую память и там, в столице.

Обедал Алексей Фомич ежедневно в два часа и, простояв перед картиной, чтобы вглядеться в несколько нового теперь уж и для него самого пристава Дерябина, минут десять и увидев потом, что стрелка стенных часов подходит к двум, он снова вышел на крыльцо, чтобы спросить у плотника:

— Что, много ли осталось? Последнюю ступеньку прибить?

— Да вот уж прибиваю последнюю,— ответил Егорий, не поднимая на него глаз.

— Кончай, кончай и перестань уж стучать,— мне надоело,— тяжело выдавил из себя Сыромолотов.

Только после этих слов чуть как будто даже усмехнувшийся плотник тяжело посмотрел на художника и отозвался тягуче:

— Ба-аре-ен! Вам стуканье мое за какие-сь пять али шесть часов надоело, а как же нам за всю жизнь нашу? Каждный день с утра до ночи мы один только стуковень свой слушаем, тем и живем на свете!

— Ну, это уж дело не мое, мне в это вникать и незачем да и некогда,— неприязненно сузив глаза, бросил Сыромолотов.

— То-то оно и дело, что и незачем вам да и некогда,— повторил явно сердито Егорий.— Таким же самым манером и всякий другой из вас может сказать.

Сыромолотов дождался, когда он забил последний гвоздь в последнюю ступеньку, и сказал:

— Ну вот,— теперь собирай свои инструменты и с богом!

— А трояк за работу, вы считаете, что уж мне самому уплатили, когда вы его Дуньке дали? — с большой

ненавистью в голосе спросил плотник, складывая в плетенку рубанок, молоток, топор, который оказался ему здесь не нужен, но на который пристально смотрел теперь художник.

— А ты откуда же взял, что я дал трояк твоей Дуньке? — спросил Алексей Фомич, увидя, что топор лежит уже в плетенке.

Егорий коротко, теперь уже заметнее, усмехнулся снова, кашлянул в свой каменный кулак и ответил тоном как будто сразу повеселевшим:

— Как езли не дали, так чего же лучше! Тогда значит, я как у вас тут работал, то я же и за работу получить должóн, а ничуть не Дунька, какую я все одно, домой приду, изуродую, как бог черепаху!

— Теперь и я вижу, что ты не матрос и никогда им не был! — выкрикнул Сыромолотов, протягивая заранее приготовленную трехрублевку и сопя шумно.

— Воля ваша... что хотите во мне видеть, то и видьте,— сказал, как бы не обидясь на это, Егорий.

Он сложил бумажку вчетверо, сунул ее во внутренний карман пиджака и пошел, ничего больше не добавив и как бы устало волоча ноги, а Сыромолотов вошел в комнаты только тогда, когда услышал, как он звякнул щеколдой калитки.

В два часа кухарка Сыромолотова, Феня, внесла ему в столовую тарелку супа, и он спросил ее с заметной для него досадой:

— И где же это посчастливилось тебе такого плотника найти, Феня?

Немолодая уже, бывшая когда-то раньше кухаркой у Невредимовых и нанятая Надей, как только приехала она из Петрограда женою Сыромолотова, а бывшая раньше у него экономка Марья Гавриловна нашла себе другое место, Феня удивленно подняла бесцветные, реденькие брови, свекольно зарделась всем как бы вспухшим лицом и, показав золотые коронки почти всех передних верхних зубов, спросила испуганно:

— Неужто такой плохой оказался?

— Каторжник какой-то и чуть свою жену не убил при мне! — объяснил Алексей Фомич, чем был плох плотник.

Но слова его сразу успокоили Феню.

— А я-то думала что другое,— махнула она широкой в запястье рукой.— Я их обоих ведь на базаре и раньше часто видала: он с инструментом стоит, а она ему работу ищет: у всех выспрашивает, не надо ли плотника.

— Ну, уж завтра их едва ли на базаре увидишь.

Феня подумала и отвечала спокойно:

— Как пьяные оба напьются, то, может, и на базар не пойдут; а если не пропьют денег, опять рядышком стоять будут: ворон ворону глаз не выклюнет.

— Ну что же,— вот в самом деле, завтра на базар пойдешь, поищи-ка их там, и, уверяю тебя, не найдешь: не тем у них пахнет, чтобы им там опять рядышком стоять,— оживленно сказал Алексей Фомич.

Вслед за этим он представил матросов, которые помогали спастись его свояку, прапорщику флота, из благодарности которым он и этому «цыбулястому» плотнику, назвавшемуся бывшим матросом с крейсера «Очаков», начал говорить «вы», и спросил Феню:

— Все-таки же матросом-то он когда-нибудь действительно был или никогда не был? Умеет говорить «есть!», как принято только у матросов.

— А что же тут такого хитрого сказать «есть»? — улыбнулась Феня.— «Есть» — это я разов двадцать на день от людей слышу, да и сама так тоже не меньше говорю.

— Гм, да, конечно, хитрого нет... Но ведь, кроме того, о матросах-черноморцах подробно довольно он мне рассказывал,— добавил Алексей Фомич.

— А он разве от людей не мог слышать? А представиться — это не одни актеры в театре, а и всякий умеет,— опровергла Феня и этот довод и победоносно унесла на кухню пустую тарелку, чтобы принести жаркое.

Сыромолотов же вспомнил в это время то, что рассказал ему плотник о цыганах, которых будто бы сам пристав Дерябин благословил на кражу кур у хозяек Симферополя, и, странно было ему самому отметить это в себе, он именно здесь, за обедом, в этот рассказ поверил. Вышло, значит, так, что раньше о Дерябине он думал все-таки лучше, а теперь ясно стало, что если он сам, этот пристав, на «егмé» вырос, то другим он и быть не мог.

Конечно, можно было и не верить истории с цыганами, как не хотелось уже верить участию вот этого Егория Сурепьева в истории с просвирками «за упокой лей-

тенанта Шмидта», но почему-то все же не мог уже теперь к «своему» Дерябину на вороном красавце коне относиться так, как относился раньше. Тут же после обеда он снова пошел в мастерскую, долго смотрел на свое создание и сказал вслух, покачав презрительно головой:

— Так вот ты каков оказался со всей своей важностью!.. Ловкостью рук цыганских королеву греческую кормил!.. Хо-ро-ош гусь!

И хотя рассудок Сыромолотова стоял за то, что вполне так и мог поступить пристав Дерябин, как об этом рассказывал плотник-конокрад, потому что рыбак рыбака видит издалека, но художнику, совершенно вопреки рассудку, допустить этого почему-то не хотелось: очень видное место занимал этот покровитель куроцапов на его картине.

В то же время как-то независимо от недавнего, только вчерашнего еще увлечения своего эскизами к новой картине — «Взрыв линкора» — он глядел теперь и на них несколько как будто другими глазами. И опять виноват в этом оказался тот, кто назвал себя бывшим матросом с крейсера «Очаков».

А вечером, когда пришлось уже зажигать лампы, не то чтобы жуть, а какое-то все же неприятное чувство овладело Сыромолотовым.

Правда, это чувство было естественным: он уже отвык оставаться по вечерам один; пустоту в его доме заполняла вот уже около двух лет Надя, а в этот вечер ее не было, и пустота наползала на него изо всех углов. Однако не только это одно, было еще и другое.

Невольно вспомнилось слово «детонация», слышанное там, в Севастополе, от свояка с забинтованной головой. Там, на линкоре «Императрица Мария» взрыв за взрывом, и вот от детонации, от взрывных волн, расходящихся кругом, начинаются вдруг взрывы на других судах, где ведь тоже есть свои крюйт-камеры, в которых хранятся и снаряды и бездымный порох. Нечто подобное этому самому бездымному пороху ощутил он теперь и в себе самом, и этот порох, — ясно представилось именно так,— в нем взорвался.

Пока это еще где-то там в глубине, незаметно для постороннего взгляда, не совсем внятно и для него самого, однако же ощутимо и может повести за собой другие взрывы, гораздо более крупные.

И хотя не хотелось Сыромолотову даже самому себе сознаться в этом, но навертывалось как-то само собою,

что помог ему ощутить взрыв в себе не кто иной, как Егорий Сурепьев, с каменными кулаками, цыбулястыми ногами и конопатым кадыком на тощей шее.

И снова он подумал о сыне Ване, бывшем одно время чемпионом мира по французской борьбе: вот это была бы опора! Однако где-то понадобился он, как опора, вместе с миллионами других подобных ему опор... Кому же собственно? Тому самому, кого на картине «Демонстрация» охраняет пристав Дерябин! Выходит, что он, этот ничтожный человечек, овладел его сыном-богатырем и только потому, конечно, что он еще достаточно для этого молод...

В то время, когда молод был сам Алексей Фомич, не было войны, которая могла бы его, художника, втянуть в свою всеистребляющую воронку,— и только это одно, что не было, позволило ему быть и остаться самим собою. А если он теперь не там же, где-то в Галиции, недалеко от сына, то этому обязан только своим годам, которые принято называть не пожилыми даже,— старыми.

«Старые года», «старость»,— об этом как-то ни разу в отношении себя самого не приходилось думать Сыромолотову, и это просто потому, что не ощущал он в себе толчков старости.

Он именно так и представлял, что старость имеет испытанный прием врываться к человеку толчками, ударами, вспышками, а когда ворвется, то остается и пускает корни, как раковая опухоль желудка, например, пускает в сторону печени свои метастазы... И вот глядит с недоумением человек, что седеют и падают его волосы, начинают почему-то качаться и сами выходят из челюстей зубы; то там, то здесь появляются на лице морщины...

Телом он еще крепок как будто, но вот неожиданно новый толчок старости, и становится почему-то неуверенной походка... Потом еще толчки: тупеет слух, изменяет зрение, странно начинает вести себя память.

И черт их знает, откуда берутся и как подкрадываются эти толчки, но человек уже не доверяет себе,— своим силам, своей способности жить одному, без всякой опоры. Перестает он верить и в свою безопасность и начинает подозрительно оглядываться по сторонам и всматриваться во все лица кругом, в которых начинает уже чудиться ему что-то новое и почему-то враждебное, хотя среди этих людей есть и такие, которые известны ему

давно и прежде казались видны насквозь, как вода в неглубоком тихом ручье.

В этот вечер, когда совершенно стемнело, Сыромолотов сделал то, чего как-то не приходило ему в голову делать раньше: он вышел из дому, подошел к калитке и попробовал дернуть ее, чтобы убедиться, заперла ли замок или нет Феня.

Какую-то незнакомую ему расслабленность в теле почувствовал он, когда ложился спать: не усталость, обычную после хорошо проведенного рабочего дня, а именно расслабленность, которая испугала его своей новизною и долго мешала ему заснуть.

Проснулся же он еще задолго до рассвета от какого-то нелепого и в то же время жуткого сна.

Насколько он мог припомнить проснувшись, началось с того, что у него в мастерской появились какие-то люди, по виду как будто богатые: двое мужчин, весьма упитанных, и женщина средних лет, чернявая, завитая, с нерусским лицом и жестами.

Один из мужчин, горбоносый, бритый, говоривший с сильным акцентом, был как будто мужем этой чернявой; другой,— выше этого ростом и надменнее видом,— ничего не говорил, только изредка поднимал руку, показывая то на то, то на это в его мастерской, где они вели себя почему-то по-хозяйски.

Не только этюды, свернутые в трубки, но и книги из двух книжных шкафов были уже почему-то свалены кучей на полу, причем иные пачки их были перевязаны крест-накрест зеленым шнуром от гардин.

Ошеломленный тем, что увидел, он закричал, как мог громко: «Нет! Нет, этого я вам не позволю!» Они же, все трое, в ответ на его крик только пожимали плечами и делали гримасы, как будто он вел себя очень бестактно... Но вот вдруг женщина с черными буклями берет его за руку и самым сочувственным тоном говорит:

— Это чистый грабеж! Вам надо пожаловаться приставу!

— Дерябину? — догадывается он.

— Дерябину,— соглашается она.— Пойдемте вместе, я его очень хорошо знаю...

И его уводят... Уводят из его же собственного дома, и он понимает, что его уводят, но все-таки идет... Дальше был какой-то непостижимый сумбур, из которого возникло знакомое,— деревья его сада над забором, и он понял, что подходит к своей калитке, а женщина кричала:

— Это безобразие, что они у вас сделали! Хотя они вам дали двадцать тысяч, но ведь это все равно, что фальшивые бумажки... Разве же это настоящие деньги,— вы подумайте!

И тут он увидел прямо на земле около калитки вынесенные уже из дома пачки книг, трубки этюдов, картины на подрамниках и наконец... «Демонстрацию» почему-то в новой широкой и блестящей позолотой багетовой раме... Она стояла прислоненная к забору... Возле нее был тот высокий и безмолвный и показывал пальцем на подъезжавшие подводы, на которых,— явно ведь это,— сейчас увезут все, что было в его мастерской, даже и «Демонстрацию», а он силится вспомнить, когда и кто дал ему какие-то двадцать тысяч, и хочет спросить об этом женщину, но ее уже нет около, а в калитку со двора протискивается с большущим узлом за спиною плотник Егорий Сурепьев с красным натуженным лицом и снизу, из-под узла кричит во двор:

— Дунь-кя-я! Ты же там как, стерва? Все ль подобрала, черт рябой?

От этого видения, от этого резкого крика им, Сыромолотовым, овладевает какой-то цепенящий ужас, и он поднимает голову с подушки. Сердце его очень стучало, руки дрожали так, что едва нашел он коробку спичек около себя на стуле, чтобы зажечь свечку. И когда зажег и увидел около себя все привычное свое, все-таки вглядывался во все углы,— куда же делись эти страшные, жаждущие его смерти люди?

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Когда вернулась Феня, то первое, что услыхал от нее Алексей Фомич, было:

— Видела я их обоих: стоят, как и стояли.

— Стоят? И не пьяные? — удивился Сыромолотов.

— Похоже было, что нет, не успели... Я даже к ним подошла близко, а плотник мне: «Али еще я понадобился твоему барину?» — «Нет, говорю, с нас довольно!» И иду себе дальше, а он мне вдруг с глумом с таким: «Похоже, говорит, что не так долго нас ждать будете: мы к твоему барину обязательно заглянем,— пускай ждет!»

— Что-о?.. Так и сказал? — изумленно вскрикнул Алексей Фомич.

— Истинно, такими самыми словами,— чуть не побожилась Феня.— Я уж вижу — глум с его стороны,— не стала с ним связываться,— да ведь и народ кругом нас,— взяла и пошла дальше.

— Что же это значит «заглянем»? Если чтоб лошадь украсть, так он же мог видеть, что никакой лошади у меня нет.

— Как украсть, то они найдут, конечно, и без лошади взять... Выходит, что собаку нам теперь завесть надо,— решила Феня.

И Алексей Фомич тут же согласился.

— Собаку, да, это правда... Никогда прежде не было в ней надобности, но раз уж явилась, надо достать... Вот Надя приедет,— тогда... ну и плотника ты нашла мне, Феня!

— А кто ж его знал, какой он, Алексей Фомич! Душа не окошко,— в чужую душу не влезешь. Стоит человек, набивается на работу,— значит, люди его берут,— вот и взяла. Неужто ж он и со всеми так-то? А вы, может, об нем бы в полицию заявили на всякий случай?

— В полицию? Гм, да... в полицию... Черт их знает, этих воров, может быть, они с благословения полиции-то и действуют,— вспомнил Сыромолотов дерябинских цыган.

А когда встал перед глазами его кошмарный сон, какой он видел, то он добавил:

— И о ком же именно буду я заявлять? Он мне назвался Егором Сурепьевым, а по паспорту может быть какой-нибудь Федул Коровкин!.. Наконец, помнится мне, читал я где-то, как... Это было лет сорок — пятьдесят назад, но ведь суть дела не изменилась у нас даже и за такой срок... В один губернский город,— Тамбов, кажется,— приехал ювелир-торговец из другого города, только побольше, в надежде дворянкам тамбовским бриллианты продать. Разумеется, расчет был верный: у кого дочери невесты,— да как раз зима была, время балов,— сезон бриллианты с рук сбывать... Приехать приехал, но ведь нужно ему было о себе в полицию заявить, зачем он приехал и что он не вор, а там-то магазин свой имеет, чтобы разрешение на продажу драгоценных камней выправить. Остановился он в гостинице, в первой, положим, части,— значит, приставу первой части и обязан был заявить. И заявил. А пристав чуть про такое необыкновенное обстоятельство услышал, сразу к губернатору, который, понятно, благословил его: «Не зевай!

Такой случай только один раз в жизни твоей быть может!» И вот в первую же ночь на несчастного того ювелира в его же номере, запертом на ключ, напал грабитель,— в картинных отрепьях и с непременным длинным кинжалом: «Немедленно все давай и молчи, а то зарежу!» Тот жизни лишаться не захотел и все бриллианты отдал, а грабитель спрятал и бриллианты, и кинжал, и себя самого так искусно, что потом всю полицию Тамбова мобилизовали его найти во что бы то ни стало, и пристав первой части старался тут больше всех,— ку-да-а! Не нашли, и никаких следов: просто как в воду канул... А на первом же балу у губернатора сама губернаторша щеголяла в бриллиантах более крупных, а жена пристава первой части в бриллиантах помельче. И сколько тот ювелир ни хлопотал потом, даже и в Петербурге, нет,— бриллиантов своих он так и не разыскал. То есть, проще говоря, ему их не вернули ни пристав-грабитель, ни губернатор, с которым он поделился.

— Вон ведь что делают! — всплеснула Феня руками.— А кабы собака хорошая у бриллиянтщика была в номере, она бы тому приставу зубами сюда бы вцепилась! — И показала чуть пониже двойного подбородка.

— Ну да, я к этому и рассказал, чтобы собака. Непременно должна быть теперь у нас собака.

В это время открылась калитка и вошел почтальон с кожаной сумкой через плечо и с крепкой на вид суковатой толстой палкой, явно рассчитанной на сражения с собаками, которые считают, как известно, почтальонов самыми подозрительными людьми.

Держа наготове палку, хотя собаки еще не было во дворе художника, почтальон крикнул ему еще издали, чуть только его увидел:

— Вам телеграмма!

— А-а, очень хорошо, очень хорошо! — обрадовался Алексей Фомич, полагая, что это от Нади, что она сообщает ему: «Все у Нюры наладила, завтра приеду». Но чем больше потом вглядывался он в телеграмму, тем больше темнело его лицо.

Вот что было на этой аккуратной бумажке:

«Лежу лазарете Бродах тяжело ранен осколком снаряда вырван бицепс правой руки Иван Сыромолотов».

— Бицепс... правой руки... Вырван осколком снаряда...— оторопело пробормотал Алексей Фомич, обращаясь к Фене.— Вот! Этот вот... бицепс! — показал он на своей правой руке, держа телеграмму в левой.

— Батюшки!.. Как же это так?.. В Севастополе?.. Надежду Васильевну?..— И слезы покатились по щекам Фени.

— У Вани, у Вани! — почти крикнул Алексей Фомич.— У Вани в Галиции, а не... Это сын мой! — повернулся он к почтальону.— В Бродах теперь... в лазарете!

Почтальон, старичок небольшого роста, с запавшими в рот губами, в синем форменном картузе, участливо поводя в стороны небольшой головкой, протягивал ему тем временем свою тетрадку и карандаш, чтобы он расписался в получении телеграммы, и Алексей Фомич, овладев собою, сказал, берясь за карандаш, Фене:

— Дай ему... вообще там... за доставку.

А расписавшись, добавил:

— Бицепс долой,— какой же он теперь художник?.. И разве может он теперь... даже и владеть-то рукою?

— Это — сынок ваш? — почтительно осведомился почтальон, успокоившись и насчет собаки и насчет того, что получит за доставку.

— «Сы-ы-но-ок»! — презрительно, но врастяжку буркнул Сыромолотов; и вдруг громко: — Сынище, а не сынок! Был!.. Был, говорю, а теперь стал калекой!.. Без правой руки, куда же он теперь? Заборы красить?..

— Война! — И как будто сказал что-то всеобъясняющее, почтальон развел руками и выпятил нижнюю губу.

Получив несколько почтовых марок, заменявших тогда мелкие монеты, почтальон ушел разносить другим подобные же телеграммы, а Сыромолотов пошел в мастерскую.

— Вой-на? — закричал вдруг там он, глядя на свою картину.— Вой-на-а?.. А ты представлял ли ее, эту войну, ты, ты, как тебя там зовут: Николай, Францевич, Вильгельм Вильгельмыч?.. Представлял?.. Нет! Куда тебе! И когда тебя, подлеца, они, вот они, демонстранты эти, потащат на эшафот, как я аплодировать этому буду!.. Так! Так!.. Благо ты не оторвал еще у меня рук!.. И пусть разобьют в прах и в пыль твой Зимний дворец даже после того, как тебя повесят,— следует, надо!.. В прах, в клочья, в пыль!.. Ишь ты нашелся какой владыка над сотнями миллионов!.. Мер-р-рзавец подлый!..

Тут тихо, робко, как бы сама собой от одного только этого исступленного крика отворилась дверь мастерской, и зарозовела в проеме двери Феня с подносом, на котором тоже как-то как будто робко стояли рядом два полных стакана холодной воды.

Через час Алексей Фомич сидел в доме старца Невредимова и говорил ему о сыне:

— «Любимое дитя Академии художеств»,— так называли его профессора Академии... Он был на верном пути, а если сбивался иногда в сторону, то, позвольте-с, кто же не спотыкается? Только тот, кто совсем не ходит! А не сбивается с пути, кто не ищет,— он же всегда искал... Не был бревном он, не был! Он учился в Италии, он штудировал западных художников... Он, может быть, потому только не остановился на чем-нибудь одном, что хотел видеть все. Это не порок! Чтобы выбрать свою дорогу, нужно все иметь перед глазами,— по возможности, разумеется,— и знать, куда они могут привести... Он не опоздал бы проявить себя резко, отчетливо, очевидно для всех и каждого,— потому что чувствовал, что сработан он крепко, что отпущен ему долгий век, а не как иным сморчкам! Ему незачем было спешить... Спешат только те, кто с червоточиной. Тем надо спешить, те знают, что смерть уж про-гу-ливается у них за спиною, поглядывает уж на них, как на свое достоянье. Тут заспешишь поневоле... Был у нас такой пейзажист,— Васильев Федор,— внебрачный будто бы сын графа Строганова,— как же было ему не спешить, когда болен он был чахоткой? А Ваня был несокрушим, как... как Тициан, например, Микеланджело, которые до ста почти дожили лет,— вон какие здоровяки были, а? На тех же дрожжах взошел и Ваня мой, на тех же самых... И вот,— конечно! Закрыта для него теперь область живописи!

— И в каждой семье так... в каждой семье...— вставил было старец, подрагивая головой.

— В каждой семье, да,— явно для него нисколько не вдумавшись в эти слова, повторил художник и продолжал: — Иной может думать, что вот я, отец, будто бы мало заботился о своем сыне, уделял ему очень мало внимания... Нет, врут! Я его хорошо воспитал! Заботился о нем, но... в меру: настолько, насколько нужно было такому, как он. Не папенькина же сынка мне из него надо было сделать, — такими хоть пруд пруди! Я ему дал талант, и я же поставил этот талант на ноги! Я указал ему дорогу, какою он должен был идти, хоть семьдесят, хоть сто лет, сколько проживет, а что же еще я должен был для него сделать?.. И вот его вырвали из жизни!.. Молодость вырывают из жизни,— таланты вырывают в огромнейшем числе,— вот что такое эта война! А что

же останется в жизни, когда из нее вырвут молодость, когда убьют там, на фронте, все таланты? Что такое народ без талантов? Кастрат! Полутруп! Сплошная морщина!..

— Да, скажем, вот такой старик, как я,— спокойным тоном вставил Невредимов, поднося к глазам свою руку и внимательно разглядывая ее, как что-то совершенно чужое и даже для него новое.

На эту руку поглядел и Алексей Фомич глазами художника и замолчал: рука Петра Афанасьевича договорила то, что он мог бы сказать еще.

Мощная рука Вани отжила свой век по воле немцев, а почти совершенно лишенная каких-нибудь мышц, вся состоящая только из дряблой тонкой кожи и просвечивающих сквозь нее тугих темных вен и изжелта-белых костей почти девяностолетняя бессильная рука продолжала жить... как такая же, конечно, рука старика из села Гламаздина, Курской губернии, о котором рассказывал плотник Сурепьев.

Алексей Фомич знал уже со слов Нади историю гроба, купленного для себя Петром Афанасьевичем, когда ему стукнуло семьдесят лет, знал и то, что этот гроб, совершенно уже обветшавший, все еще хранится где-то в углу сарая.

— Мне говорил кто-то об одном тоже художнике молодом,— с усилием припоминая, заговорил Петр Афанасьевич, опустив руку,— будто откуда-то он приехал сюда, к нам, купил здесь зачем-то дом, немного пожил в нем и уехал... не помню уж его фамилию...

— Это и был Ваня, мой сын,— сказал Сыромолотов.

— А-а!.. Вот видите как... Не к вам в дом приехал, а свой купил... значит, заработал же для этого деньги...

Потом тут же, как бы забыв про этого молодого художника и присматриваясь снова к своей руке, продолжал старец уже о каком-то отставном генерале:

— Генерал-лейтенант в отставке у нас жил тут... И не так много ему лет было... восемьдесят, кажется. Только не больше... Только он, знаете ли, как спросят его бывало: «А как ваше здоровье?» — он... он сейчас же: «А вам какое дело?» — и начинал этак ногами даже топать,— очень серчал... Хе-хе... Все будто кругом смерти его желали,— вот он в чем... подозревал всех... Так же если кто спросит: «А сколько вам, ваше превосходительство, лет?..» — просто, знаете ли, из себя выходил...

Алексей Фомич смотрел на него, слушал его бормотанье и думал обиженно: «Как же это он так? Ни малейшего сочувствия мне, а говорит о чем-то своем... Вот что значит глубокая старость!»

Но, как бы проникнув в его мысли, старец, сначала старательно и беззвучно пожевав губами, проговорил, наконец, глядя на Алексея Фомича в упор:

— Ваш сын... А почему же... почему вы этого ему не воспретили?.. Я говорю об этой самой вот покупке дома... Зачем?

— Хотел он, чтобы своя у него была мастерская,— объяснил Алексей Фомич.— В этом он подражал мне, своему отцу,— но должен сказать, что ведь и всякий художник этого хочет, если он — талант, а не... какой-нибудь учитель рисования в низших классах женской гимназии. Художник же талантливый должен расти, каждый день расти, как молодой дуб, как... слоненок!.. Должен занимать все больше и больше пространства, должен захватывать все больше и больше от жизни!.. Стяжатель он должен быть, да,— стяжатель все новых и новых впечатлений, а не толочься на одном месте!.. И что награбил у жизни глазами художник, тащи в свою мастерскую!.. Но, однако, награбленное это не прячь бесполезно, а пускай немедленно в оборот,— создавай картины!.. Картины,— вот цель жизни художника! А где же писать картины, если нет своей мастерской! Вот Суриков жил в Москве, и что же? Ведь он даже и мастерской своей не имел! Разве это не пощечина искусству? Какая-то полутемная комнатенка, гитара висит на стене, как у ротного писаря, бюст глиняный в углу на полу торчит,— и уж много лет он там торчит, а зачем? Это, видите ли, его, Сурикова, меценат Мамонтов от скуки лепил,— свя-тая реликвия!.. Ну, возьми да и выкинь его ты к черту,— зачем же он у тебя торчит и пыль разводит?.. А комнату для работы над картинами ему, видите ли, Исторический музей дал! Исторический, видите ли, музей должен был ему мастерскую дать,— Сурикову! Автору «Боярыни Морозовой» и «Утра стрелецкой казни»!.. Нет, скажу я вам: мастерская для художника — это... это альфа и омега,— это прежде всего, Петр Афанасьевич,— и сын мой правильно поступил, раз заработал для э т о г о деньги... Это-то правильно, да... Но потом... потом он приезжал продавать за бесценок свою мастерскую, потому что началась война и его должны были взять туда, где отрывают художникам

правые руки... чтобы больше уж не думали они о живописи!

— Да ведь кажется... кажется мне, идет дело к тому, что... уж не нужна никому станет живопись вот-вот...— вставил Петр Афанасьевич, лишь только сделал передышку Сыромолотов.— Пушки теперь, пушки картины пишут... И такие это картины, что хоть не смотри их... И, скажу откровенно вам, неприятно, нет, неприятно мне, что я... до этих картин дожил... И го-раз-до бы лучше было мне, если бы, скажем так... умер бы я раньше... перед войной... да.

— А почему же именно было бы лучше? — оживленно спросил Алексей Фомич, не вполне поняв старца.

— Почему?..— Петр Афанасьевич несколько как бы задумался, но ненадолго.— Потому что умирать человеку надо вовремя,— вот почему... Понял, зачем люди на свете живут, уважение к ним приобрел,— вот... вот тогда ты и помри с миром... «С миром»,— это не зря ведь... так говорится... «С миром», а не «с войною»!.. Не «с войною» — вот что... Не доживай до того, чтобы уж и уважать людей было бы тебе не за что... и чтобы... и понимать бы ты даже перестал, зачем люди живут! — Помолчал немного, поглядел на зятя-художника внимательно и договорил: — Не знаю, понятно ли... для вас, Алексей Фомич, я сказал, а только... иначе уж сказать не умею...

— Нет, отчего же,— я вас понял, понял,— успокоил его Алексей Фомич.— Потому и понял, что сам иногда так же думаю... Думаю, да, но-о... не желаю так думать,— в этом разница! Нахожу доводы, чтобы так не думать... и вот почему. Живопись — это мысль, мысль, воплощенная в краски... А без мысли человек — что же он? Мычать, траву щипать и жвачку жевать? И хвост у него непременно вырасти должен: не умеешь мыслить,— махай хвостом!.. После этой войны будет всем ясна катастрофа с мозгом! Способность мыслить замрет надолго, и не у нас только, а во всей Европе... Разве в германской, австрийской, французской, итальянской армиях нет художников, поэтов, молодых философов, людей науки? Есть сколько угодно, и могли бы они вон на какую высоту двинуть человеческую мысль, а их заставляют валяться в грязи в каких-то там вонючих окопах!.. А почему они поз-во-ляют,— вот как надо сказать во всеуслышанье,— почему позволяют обращать себя в свиней, известных любителей грязи?.. И что это за Цирцея такая, которая могла обратить их в свиней?..

Это... это сплав Вильгельма, Франца-Иосифа, Николая, Георга, Пуанкаре и еще нескольких негодяев, надевших юбку Цирцеи!.. И разве все другие — не Цирцеи, а того же пола, как и Цирцея,— матери, сестры тех, кто отдан на съедение в эту войну, совсем неспособны ни мыслить, ни даже пикнуть? Разве не могут они все вместе,— только непременно все вместе,— завопить: «До-вольно!..» Да так завопить, чтобы и никаких пушек не было бы уж слышно?.. Почему же они молчат, хотел бы я знать? Разве они рожают детей и дрожат за них, пока они понимают в жизни столько же, сколько слепой щенок в астрономии, разве затем они все это, чтобы кто-то забрал весь смысл их жизни и обратил их в свиней? Почему все терпят вот уже два года эту сумасшедшую войну и никто не протестует?

— А каким же образом... могли бы они... протестовать? — с заметным любопытством спросил старец, поднимая повыше нависшие было на глаза белые брови.— Писать об этом в газеты? А газетам разве позволят... это печатать? Не-ет! Нет, не позволят такое печатать, нет...

— Выйти на улицы,— вот что должны сделать женщины!.. Выйти на улицы всем, везде, во всех городах и селах сразу,— тогда это будет внушительно! Выйти и кричать: «Довольно!»

Так как Алексей Фомич, увлекшись, сам выкрикнул это, не соразмерив силы своего голоса с небольшими комнатами невредимовского дома, то отворила дверь и вошла обеспокоенно мать Нади, Дарья Семеновна, и Петр Афанасьевич тут же обратился к ней с видом настолько серьезным, что она могла принять его вполне за шутливый:

— Вот что вам надо делать, Дарья Семеновна,— выйти на улицу и там кричать: «Довольно войны!.. Сыты мы вашей войной!.. Прекратить немедленно!»

Алексей Фомич удивился, что старец проговорил это, хотя и сильно тряся головою, но без обычных для него пауз, и, представив свою картину «Демонстрация», на которой он шел вместе с Надей и двумя студентами, братьями Нади, сказал значительно:

— Этот-то выход на улицу и можно будет назвать голосом народа!

О том, что на фронте в Галиции серьезно ранен сын Алексея Фомича, знала уже Дарья Семеновна: он рассказал это ей тут же, с приходу, когда не видел еще ста-

рика Невредимова. И она не только покачала сокрушенно головой, но еще и потянулась к его губам своими в знак семейного сочувствия в беде. Нашла и слова утешения, что теперь уж Ваню выпустят в отставку, а что касается бицепса, заметила, что бицепс — это ведь не вся же рука, что и кроме бицепса на руке много мускулов, и авось они приучатся его, этот вырванный бицепс, заменять и двигать руку.

— Да, вот, и в самом деле,— отозвался на это обнадеженный Алексей Фомич.— Лишь бы только пальцы могли шевелиться вполне послушно, лишь бы кисть они могли держать крепко,— кисть, карандаш, уголь!.. Ведь техника-то у него уже есть,— ее бы, технику, не потерять совсем,— совсем,— это важно! — а что она окажется, конечно, неминуемо ниже, чем была, это... это, может быть, и преодолимо, а?.. Лишь бы не было каких-нибудь осложнений при лечении, как это иногда бывает...

Теперь, войдя, Дарья Семеновна глядела несколько непонимающе, почему это вдруг расшумелся Алексей Фомич, и он вложил в ее спрашивающие глаза:

— Женщины, Дарья Семеновна,— ведь это же половина человечества, а после больших войн,— это уж нам говорит статистика,— их становится больше, чем мужчин, и если они о себе не заявляют громко, то кто же виноват в этом? Только они же сами! И мне,— лично мне,— должен вам признаться в этом,— кажется вот теперь, что война их раскачает, и не у нас только, а во всем мире,— культурном, разумеется, мире, который и войну эту затеял... Но у нас в особенности! Если не женщины, то кто же? Женщины должны начать у нас революцию,— вот к какому выводу я прихожу!

Захлопотавшаяся по сложному хозяйству, весьма уже пожилая, мать восьмерых детей, кроткая на вид Дарья Семеновна совсем не похожа была ни на какую деятельницу революции. Она только слабо, одними уголками губ и глаз улыбнулась на то, что было сказано ее зятем с таким подъемом, а между тем ведь ни на одну минуту не могла забыть она, что все пятеро сыновей ее были взяты в армию...

— Дарья Семеновна!.. Телеграмму вам телеграммщик принес,— приотворив немного дверь, но не просовывая в нее даже и головы, сказала в это время кухарка Невредимовых Аннушка, и Алексей Фомич увидел, как сразу угасла улыбка на лице Дарьи Семеновны, как это лицо побледнело.

Точно кольнуло его, поднялся со стула Сыромолотов, чтобы поглядеть в окно на двор. Он уже приготовился увидеть опять того же старичка с суковатой палкой, но телеграмму принес другой, совсем почти еще мальчишка, вида беспечного, даже, пожалуй, озорного, но тоже с кожаной блестевшей на солнце черной сумкой через плечо и с палкой, только гладкой и потоньше, чем у старичка.

— Что бы это могла быть за телеграмма?.. От кого это? — встревоженно спросил Петр Афанасьевич, и голова его при этом не то что задрожала, а как-то даже дернулась раза три.

— В прапорщики, должно быть, произвели Сашу и Геню,— догадался что ответить ему Алексей Фомич: он знал, что пока еще в школе прапорщиков были оба младшие сыновья Дарьи Семеновны.

— А может быть, да... Может быть, так и будет,— пытался успокоить себя старец.— Я забыл уж, когда их туда зачислили, в школу прапорщиков, но могли... могли ведь выпустить и досрочно...

И, подняв брови, зашевелил он губами, чтобы высчитать, вышел ли срок к производству племянников его в прапорщики, но... это оказалось уже ненужным: вошла Дарья Семеновна с телеграммой, которая, как рассмотрел издали Алексей Фомич, не была распечатана ею.

— Ну что? — спросил он ее вполголоса.

— Боюсь я,— прошептала Дарья Семеновна, и Сыромолотов ее понял: он взял телеграмму из ее рук, как-то совершенно бездумно положил ее в карман пиджака и тут же вышел из комнаты.

— Что там, а?.. От кого? — спросил старец, по лицу Дарьи Семеновны стараясь угадать, кто и о чем телеграфирует.

— Это так себе... Это, наверно, пустяки какие-нибудь,— попробовала солгать не только ему, но и себе самой мать пятерых сыновей, служивших в армии.

И прошло еще с полминуты, когда снова приотворилась дверь, и Алексей Фомич, так же как перед тем Аннушка, не показываясь сам и даже ничего не говоря, только поманил ее пальцем.

И она пошла, еле отрывая от пола сразу похолодевшие и очужевшие ноги и держась за сердце. А так как она забыла затворить за собою дверь, то напрягший весь свой слух Петр Афанасьевич слышал, как вскрикнула она: «Петичка!.. Петя!..» — и как потом зарыдала неудержимо, не справившись с материнским горем.

Больше уж незачем было Петру Афанасьевичу спрашивать, что там, в этой зловещей телеграмме: он догадался, что на фронте убит его любимец, в честь его получивший имя свое, инженер-путеец Петя, прапорщик-сапер...

Когда Алексей Фомич, проводив рыдающую Дарью Семеновну в ее спальню и оставив ее там на заботу Аннушки, крупной полнотелой женщины пятидесяти с лишком лет, вернулся в комнату старца, обдумывая на ходу ложь, какую нужно бы было ему сказать, он увидел прежде всего, что голова старца не повернулась к нему: она была неподвижна и как-то неестественно запрокинута на спинку кресла, в котором он сидел, а обе руки конвульсивно шевелили пальцами на его острых коленях...

Глаза старца были открыты, но неотрывно смотрели куда-то вверх, и в них не было уже никакой мысли; рот, с деснами, лишенными зубов, был тоже, как и глаза, широко открыт, но безмолвен...

Пораженный, с минуту стоял Алексей Фомич, глядя только на шевелившиеся пальцы старца, но вот и они перестали шевелиться.

— Что это?.. Обморок... или...— проговорил вполголоса Алексей Фомич и, почувствовав сильную слабость в коленях, опустился на стул и опустил голову.

Он не мог не опустить ее: из нее как будто сразу вылетели все мысли, и только опустив ее и закрыв глаза, оказалось возможным снова начать думать.

Не было во всю жизнь Сыромолотова, чтобы столько обрушилось на него сразу за какой-нибудь час, точно действительно рухнула над его головой крыша и с потолка на него посыпалось, хоть выбегай поскорее из дому.

Он понял, что перед ним не обморок, а смерть, и что этой смерти могло бы не быть вот теперь, здесь, если бы другая смерть не выхватила там, на фронте, брата Нади, которого ему так не привелось даже и увидеть.

Убит Петя, а как именно? Может быть, разорван на куски снарядом так, что и собрать тело нельзя?.. Алексей Фомич в лихорадочном беге мыслей представил было такое разорванное на куски и разбросанное по земле тело, но тут же поднялся...

Он еще раз подошел к тому, с кем только что говорил и с кем говорить больше уже никто не будет, и ему стало страшно. Он хотел было протянуть свою руку к его руке и не мог... Подумал вдруг: «Нельзя мне быть здесь

одному дольше».— И пошел туда, где рыдала,— что было слышно отсюда,— Дарья Семеновна.

Открыв дверь ее спальни, он остановился. Почему-то все-таки представилось ему: если сказать о том, что умер Петр Афанасьевич, то это отвлечет Дарью Семеновну от ее горя, как его самого отвлек от личного удара другой, сильнейший удар: так во время нестерпимой зубной боли иные колют чем-нибудь режущим больную десну.

— Дарья Семеновна! — сказал он громко.

Она лежала на кровати, и на плече ее он увидел толстую старую утешающую Аннушкину руку, а сказать громко ему пришлось, чтобы она могла расслышать его сквозь свои рыдания.

— Дарья Семеновна! — повторил он, подойдя.— Встаньте, пожалуйста!.. Посмотрите, что там с Петром Афанасьевичем!

— С Петром... Афанасьевичем? — И поднялось красное мокрое лицо от подушки.

— Да... Ему что-то плохо,— твердо проговорил Алексей Фомич.

И сначала ахнула Аннушка, потом, уперев руки в ее колени, поднялась Дарья Семеновна.

Она смотрела еще заплаканно, она еще вздрагивала от рыданий, подавляемых ею, но когда Алексей Фомич повторил: «Очень плохо!» — поняла его, видимо, так, как ему и хотелось быть понятым.

Она как бы отупела вдруг и стала безвольной и бессильной. Сыромолотов поддерживал ее под локоть, когда она согбенно выходила вслед за Аннушкой из спальни.

Эту спальню ее от кресла с телом старца Невредимова отделяла всего только одна комната в несколько шагов шириною, но Сыромолотову показались чрезмерно тяжелыми и долгими сделанные им шаги.

Он отвернулся к окну, когда обе женщины приблизились вплотную к креслу. Он, художник, всю жизнь стремившийся только к тому, чтобы видеть и запомнить как можно больше людей в каких угодно положениях и при любой обстановке, не в состоянии был теперь оставаться только художником; и даже как-то совершенно непроизвольно обе руки его поднялись к ушам при первых резких вскриках сначала Аннушки, а за ней Дарьи Семеновны.

Должно было пройти несколько не поддающихся подсчету мгновений, пока он, наконец, ощутил в себе реши-

мость подойти к женщинам, а подойдя, заметил, что щеки его вдруг как-то совершенно незнакомо ему захолодило от первых в его сознательной жизни слез.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

У Аннушки, как знал это Алексей Фомич, часто болели зубы и зимою непременно бывали «прострелы». От зубов обычно она просила в аптеке какой-то «уксус от четырех разбойников», от «прострелов» другое, не менее загадочное средство — «семибратнюю кровь»,— и он удивлялся, как такие лекарства отпускали ей в аптеке.

При простреле спины или поясницы Аннушка хотя и не лежала, но, говоря безнадежным тоном: «Вступило!» — двигалась кособоко, поохивала, грела спину и поясницу около кухонной плиты.

Когда она отворяла входные двери Алексею Фомичу, он заметил у нее некоторую кособокость в соединении с мрачностью взгляда, но, видимо, «прострел» был уже на исходе. Теперь же точно выбило сразу из нее то, что «вступило», такой она стала деятельной и подвижной, насколько позволяла ей это тучность.

Вместе с нею Алексей Фомич перенес тело старца на диван, с которого пришлось снять валик и подставить стул, так как после смерти тело как бы вытянулось, оставаясь легким.

Дарья Семеновна уже не рыдала больше, она оцепенело примолкла. И хотя время от времени шептала про себя: «Что же я теперь буду делать?» — но двигалась тоже, держась близ Аннушки, а не зятя.

И когда Аннушка заговорила о том, что надо обмывать тело, Алексей Фомич вспомнил о своей Фене и сказал, что пойдет домой, пришлет ее, а мимоходом зайдет на почту телеграфировать Наде, чтобы приезжала немедленно.

Слишком тяжело ему было в невредимовском доме, и по улице он шел не обычным своим шагом, который местная молодежь назвала «мертвым сыромолотовским», а походкой хотя и пожилого тяжелого человека, но явно спешащей.

Он зашел даже и на почту,— это было по дороге,— но посылать телеграмму раздумал: и самое слово это «телеграмма» теперь казалось ему очень зловещим, и не хотелось беспокоить Надю, которая все равно ведь

должна была приехать если не сегодня, то завтра, и успела бы вызвать Нюру, если бы нашла, что та сможет быть на похоронах дедушки, обремененная грудным ребенком, оставив обоженного мужа, за которым тоже нужен был уход.

— Ну, Феня, придется тебе идти к Дарье Семеновне,— сказал он, воротясь домой: — Там у нее и останешься, сколько потребуется: несчастье там.

— Батюшки! — прошелестела Феня, и круглые глаза ее остановились.

— Петр Афанасьич...

— Неужто померли? — догадалась Феня и начала мелко и часто креститься, как бы отгоняя испуг от глаз.

О том, отчего умер Петр Афанасьевич, промолчал Сыромолотов, так как она хорошо знала всех детей Дарьи Семеновны, когда были те еще подростками...

Феня немедля ушла, и он остался один на один со всем тем, что на него так жестоко свалилось в этот день, точно был он тоже дредноут, и один за другим прогремели в нем совершенно нежданные оглушительные взрывы.

А взрывы — это опустошения. При взрывах даже в отдаленно стоящих домах вылетают разбитые стекла окон и гулко хлопают, открываясь, двери. И вот такой дом открыт настежь,— и входи в него кто хочет войти.

И не входили уж даже, а вламывались, врывались такие гости, которые и совсем не нужны были хозяину, «как воздух для дыхания», и уходить не хотели...

Вот дня через два похоронят Петра Афанасьевича, а перенесет ли этот перелом в своей жизни Дарья Семеновна? Не ляжет ли на него, художника, тяжкая обуза с невредимовским домом и в такое время, когда стремительно падают в цене деньги, растут неимоверно на все цены и наследники оставшейся от старца собственности разбросаны по разным фронтам?

Эту собственность надо сохранить для них, а между тем совершенно ведь неизвестно, что будет дальше. Непонятно даже, нужно ли сохранять эту недвижимую собственность, неизвестно, и как вообще можно что-нибудь сохранить, не только недвижимость, когда все так стремительно движется во что-то неизвестное еще пока, но уже явно обильное смертями.

Вот нет уже в живых одного из наследников Петра Афанасьевича, а останутся ли в живых другие из воюющих еще четверых? Немцы затевали войну летом «до

осеннего листопада», но она тянется больше двух лет и обратилась в войну на истощение,— на потерю великого множества и людей и всего ценного. А что же останется через год, через два еще? Только голый человек на голой земле! А голому зачем живопись? Голому нужны штаны, хотя бы из толстого холста, а не картины, написанные на этом холсте, хотя бы его «Демонстрация», хотя бы и «Сикстинская Мадонна» Рафаэля.

Война родит нищету и одичание у тех, кто в ней не погибнет... Сколько ни перебрасывал в уме всякие возможности оставшийся наедине Сыромолотов, все выходило, что не о картине надобно было ему думать, а только о том, чтобы уцелеть. С горящего корабля государственности российской броситься в море и все силы напрячь, чтобы выплыть.

Ведь все разгорается пожар, и чем дальше, все прожорливее он будет и страшнее, и, чтобы не отставать от событий, надобно смотреть очень зорко кругом и напрягать поминутно слух, чтобы не пропустить мимо ушей последнюю команду для погибающих: «Спасайся, кто и как может!»

И успеет ли Ваня залечить свою рану до того момента, когда раздастся эта команда, когда нужно будет грести хотя бы одною левой рукой, но так, чтобы могла она работать одна за две?

И о ближайшем думалось: куда поедет Ваня, когда будет выписан из лазарета? Если к нему, то его, конечно, надо было бы поселить хоть на первое время вот здесь, в этом доме, а между тем вставал уже грозный вопрос: хватит ли средств, чтобы прожить до конца войны?

Гора-война подошла к Магомету-художнику,— вот как он ощущал теперь в себе взрыв дредноута «Императрица Мария». Война его настигла, как ни стремился он от нее уйти. За два дня, проведенные им в Севастополе, он постиг весь огромнейший ужас ее, понял то, что както не входило в него, не проникало полностью в его мозг в течение двух лет.

А то, что узнал он еще всего за один только этот нынешний, до половины прожитый им день!.. Эти несколько часов как будто смели с него последние звенья того, во что он забронировал было себя крепко. Броня его была скована им самим, но вот она распалась, и он почувствовал себя уязвимым со всех сторон, как рак-отшельник, весь целиком вылезший на острый песок морского дна из раковины моллюска, спасавшей его от разных зол.

Он и на картины свои смотрел теперь как на что-то чужое, так они стали от него далеки. И, чтобы не видеть их, он вышел в сад, прошелся несколько раз по единственной там аллее между высоких абрикосов, потом подошел к калитке и только что подошел, увидел, что поднимается щеколда.

Он подумал, что это вернулась Феня, хотя прошло не больше часа, как она ушла, и ждал, что скажет ему она, отворив калитку. Однако совсем не Феня, а плотник Егорий Сурепьев появился вдруг до того неожиданно, что Алексей Фомич даже отступил на шаг и собрал мышцы торса для обороны, инстинктивно приготовясь к защите.

Но Егорий,— он был теперь один, но, как и вчера, с пилою за спиной и с плетенкой в руке,— не двинулся дальше калитки.

Скользнув глазами по его плетенке и не заметив там топорища, Алексей Фомич все же крикнул в полный свой голос:

— Тебе что здесь нужно?

Егорий ответил не сразу: он сначала приподнял свой картузик и поглядел хотя исподлобья, как привык, но как бы сочувственно, потом кашлянул по-своему в конопатую рыжеволосую руку.

— Слыхал я,— потому и пришел,— будемчи гроб сделать вам надо, то это отчего же,— это в лучшем виде могу!

— Мне-е? Гро-об?..— даже несколько опешил от этих слов Алексей Фомич.— Ты что, пьян?

— Никак нет, не пил еще нонче, а будто верная женщина одна говорила. Ну, неужто ж она, подлюга, оммануть меня хотела?.. Старик будто, тесть то есть ваш, преставился,— правда ли, нет ли?

Только тут понял его Сыромолотов и сказал отрывисто:

— Да. Помер... А гроб есть!

— Ба-а-рен!.. Слыхал я про этот гроб! Ну, когда уж в том гробу двести квочек писклят своих повывели, то куда же теперь он может годиться? — усмехнулся Егорий.

— Насчет каких-то там писклят я не знаю, а был он сделан по росту... может быть, только пройтись по нем политурой...

— Поли-турой!.. А игде ж ее взять теперь, тую политуру, когда ее уж всю давно повыпили люди? — удивился Егорий.

— Как это так повыпили?

— А известно, кто пить захочет, а водки нигде не продают, он и политуре радый станет, как она же на спирту делалась, тая политура. А доски дюймовки я там у вас в сарае видал,— вполне они подходящие и, сказать бы, сухие, а не то что прямо с лесной, из сырого леса напиленные. А для человека гроб, известно вам, первое дело... Глазетом его, если желаете, обить, это я тоже могу, только я же его, того глазета, с собой не принес,— вам в лавке купить придется. А под глазетом он, гроб, конечное дело, свой вид будет иметь,— называемо приличный.

Пока все это так обстоятельно говорил Егорий, Алексей Фомич думал, что, может быть, и в самом деле тот старый гроб пришел в негодность, что, пожалуй, лучше на него не надеяться, а сделать новый, но сказал он с явным недовольством:

— Может быть, и понадобится гроб, только вот зачем ты ко мне с этим пришел, не понимаю!

— А как же можно,— с видом простодушия принялся объяснять Егорий.— Туда если иттить, там говорить об этом не с кем: там же, вам известно, остались теперь одни женщины, а им разве втолкуешь, что гроб тот, запасенный, он может в сыром сарае и без земли сгнить, или же его жук всего проточил,— положи в него упокойника, тот наземь и провалится,— вот какое может случиться, а им, женщинам, нешто втолкуешь?

— Да ведь гроб и готовый в лавке можно купить,— вспомнил Алексей Фомич, чтобы отделаться от плотника; но врастяжку, по-своему, вытянул Егорий.

— Ба-а-рен! Во-первых, может, найдется, слова нет, подходящий, может, и нет, а во-вторых, сколько же он по нынешних ценах, стоить будет,— возьмите в соображение; а я из готовых досок за один день его в лучшем виде исделаю и дорого вам не поставлю, а средственно.

— Ну, хорошо, хорошо! — махнул рукой Сыромолотов.— Иди туда, посмотри тот гроб и приведи его в порядок. Это ведь тоже работа будет или нет?

— Воля ваша... Только кабы с ним больше не провозиться, чем с новым,— вот я об чем... А пойтить туда если, то отчего же...

И Егорий ушел наконец, а немного спустя после его ухода, когда Сыромолотову захотелось прилечь и он направился было в дом, послышалось ему, как будто остановился около ворот извозчик, потом снова звякну-

ла щеколда калитки, и совершенно изумленный, хотя теперь и радостно, Алексей Фомич увидел вошедшую во двор Надю.

Бывает такая возбужденность, что человек долго сохраняет ее в чертах лица и в порывистых, резких движениях. Он может при этом и переместиться куда-нибудь довольно далеко и увидеть много людей и пейзажей, для него новых, и не заметить их, потому что он сам для себя стал новый и слишком отягощен новым собою.

Такую именно возбужденность и в лице и даже в походке принесла из Севастополя в Симферополь, из квартиры Калугина в дом Сыромолотова Надя, и зоркий глаз художника уловил это с первого же взгляда, и первое, что сказал Алексей Фомич, был встревоженный вопрос:

— Что там с тобой случилось?

Мысль о том, что Надя приехала, получив телеграмму от своей матери о смерти дедушки, возникла было у него, но тут же исчезла: это могло бы иметь место только в том случае, если бы телеграмма о смерти старца Невредимова была бы послана часа за два, за три до его смерти.

— Там!.. Там очень скверно! — криком ответила Надя, и Сыромолотов понял это так: умер маленький Алеша. Подавленный смертями близких ему людей — Петра Афанасьевича и Пети, он иначе и понять ее не был в состоянии и так спросил, обняв ее:

— Алеша?

— Что Алеша? Нет, ничего Алеша... А вот Миша,— Михаил Петрович арестован,— вот что!

— Арестован? Как так? За что? Когда?..

Не возмущенным, а испуганным тоном проговорил он это, и Надя, оглянувшись на калитку, ответила:

— Пойдем в комнаты,— расскажу.

Пока шел рядом с женою Алексей Фомич, припомнилось ему, как рассказывал Калугин, что его вызывали к следователю, и это связал он с тем, что услышал от Нади, поэтому, уже взойдя на крыльцо, он заметил как бы про себя:

— Ожидать этого, впрочем, основания были.

Что это сказано было им опрометчиво, он тут же понял, так как Надя отдернулась от него и крикнула неузнаваемым голосом, с искаженным лицом:

— Как были?.. Как так были?

— Да ведь раз следователь вызывал, то, значит, он и имел в виду в будущем что же еще, как не арест? Так, помнится, и сам Михаил Петрович говорил...— попробовал объясниться Сыромолотов.

— Ты очень поспешил уехать из Севастополя, вот что должна я тебе сказать! — вдруг очень яростно вырвалось у Нади.— Если бы мы остались там еще дня на два, следователь не посмел бы его арестовать!

— А-а,— вон в чем дело! Значит, я во всем виноват: поспешил уехать! — отозвался на это Алексей Фомич скорее благодушно, чем с иронией, но Надю раздражали слова его, а не тон, и раздевалась она, делая ненужно резкие движения, явно сдерживая себя, чтобы промолчать.

— Отдохни,— ты устала, голубчик... Ты, вернее всего, и не спала там совсем... Сейчас напьемся чаю, и ты ложись,— мягко говорил Алексей Фомич, бережно беря со стула брошенное ею пальто и не зная, куда его повесить.

— Фе-ня! — крикнула Надя, отворив дверь, ведущую на кухню.

— Фени нет,— поспешно сказал Сыромолотов.— Я послал Феню тут в одно место... Она должна скоро прийти.

— Послал?.. Куда и за чем ты мог ее послать?..— И Надя взяла из рук мужа свое пальто и спрятала его в шкаф.

— Ты хотя бы села и отдохнула, Надя...— и, обняв ее за плечи, Алексей Фомич помог ей легким нажимом рук опуститься на кушетку.

— Ты говоришь: следователь вызывал, значит, можно было ожидать ареста,— сразу начала Надя, лишь только села,— а совсем это ничего не значило! Вызывали и других офицеров, однако арестован пока только он один... А началось это с флотских казарм и как раз на другой же день, как мы уехали.

— Значит, со стороны тех самых матросов с «Марии»? Или я не так тебя понял?

— Разумеется, с них, а то с каких еще? Ведь остальные матросы теперь не в казармах, а на судах... А эти сидят под арестом, и они протестуют, конечно,— объяснила Надя, но гримаса недовольства им так искажала ее лицо, что Алексей Фомич отвернулся, вздохнув.— Они ведь все раненые, обожженные, а тут вдобавок к этому еще и арест! И какие-то пехотные солдаты их там сторожат,— караул это называется,— приставлен же он от

гарнизона крепости, а не то чтобы от флота. Ну вот... А там, между ними, между матросами, унтер-офицер один оказался — Саенко, тот самый, какой на ялике был, когда Михаил Петрович отправлялся на свою «Марию»... Он же, этот самый Саенко, и спастись ему потом помогал: вместе их на какой-то там тузик из моря взяли, а потом с этого самого тузика на баржу... Ну вот... а у следователя, когда Михаил Петрович был, там оказался уже список матросов с ялика: вахтенный начальник, барон какой-то, этот список представил. А в этом списке как раз унтер-офицер Саенко: значит, следствию он был уже известен... Так вот, Саенко этот там в казарме и выступил. На топчан даже встал, чтобы его все видели, и речь начал: «Потерпите, товарищи, теперь нам недолго уж осталось терпеть! Мы-то на воле будем, а кое-кто другой попадет сюда на наше место!..» Как именно он там говорил, это неизвестно, конечно, только так передавали его речь Михаилу Петровичу. Как раз в то время, как Саенко на топчане стоял и речь говорил, караульный начальник в казарму вошел и будто бы все слышал. Он, конечно, об этом и донес начальству, и в тот же день Саенку перевели уж в тюрьму, в одиночку, а к Михаилу Петровичу явились ночью с обыском, литературу искали. Ничего не нашли, конечно, так как ничего и не было, тем не менее взяли его, так что когда я приехала, то его уж в комнате не было, а в больнице Нюра бедная, и вся в слезах!.. «Я, говорит, все собиралась тебе написать, а ты как все равно почувствовала,— приехала...»

— Гм... Так вот оно что!.. Ну, это, знаешь ли, действительно подлецы!

Алексей Фомич поднялся с места, начал ходить по комнате и на ходу уже добавил:

— Так это Нюра, значит, и решила, что если бы я в то время был в номере гостиницы Киста, то у них в квартире обыска бы не было?

— Не обыска,— ареста!.. Обыск и арест — это ведь далеко не одно и то же,— наставительно заметила Надя.— При тебе они постеснялись бы его арестовать!

— А для этого мы с тобой, значит, должны были ночевать там, у них, а не в номере? Что такое ты говоришь,— подумай!

— Отчего же ты к этому так отнесся, не понимаю! — возмутилась Надя.— Ведь Колчак теперь там хозяин не только флота, а всего Севастополя даже! А Колчак раз-

ве никогда не слыхал о художнике Сыромолотове? Ты мог бы к нему поехать и все ему объяснить, и тогда бы Михаила Петровича освободили!

— Ну уж это вы с Нюрой рассуждаете слишком по-женски,— отозвался Алексей Фомич.— Но непонятно мне совершенно, каким же образом мог стать Колчак хозяином Севастополя, как ты говоришь. Ведь он всего только вице-адмирал, и ведает флотом, а не городом.

— Всем Севастополем теперь ведает! — с особым ударением повторила Надя.— Отцы города там овацию ему сделали, когда он их убедил, что весь город спас!

— Чем спас? Как спас?

— Чем?.. Я тебе не сказала, чем... Тем, что послал какого-то своего адъютанта,— кажется Фока,— что-то в этом роде,— затопить «Марию», и он ее затопил!

— Постой,— как же именно затопил? Каким способом он смог ее затопить? — захотел представить Алексей Фомич, но Надя замахала рукой.

— Не знаю, не знаю! Этого я не знаю, каким способом! С подводной ли лодки пустил... как это там у них называется?.. Торпеду, что ли?.. Ну, затопил, и все! И вот, благодаря этому, все, кто там еще оставались в каютах, погибли,— так вообще в Севастополе говорят... А Колчак объяснил будто бы отцам города, что если бы не затонула «Мария», то мог бы произойти взрыв какой-то необыкновенно ужасный, а за ним тут же на всех прочих судах начались бы взрывы, а после этого перекинулось бы на город, где тоже ведь есть крепость, а в крепости склады и этого самого бездымного пороху и всяких там вообще снарядов... Выходило, по его словам, что ни от флота, ни от крепости, ни от всего Севастополя ничего бы не осталось, и все бы вообще население погибло... вместе с отцами города... Вот за что они его и чествовали: жизнь он им спас!..

— Так называемая детонация?.. Гм, неужели могло быть действительно от детонации такое несчастье?..— усомнился было Алексей Фомич, а Надя продолжала возбужденно:

— О Колчаке там еще и такое говорят, я слышала. Будто жандармский полковник послал телеграмму о взрыве «Марии» в Петроград Протопопову,— знаешь,— министру внутрѐнних дел,— а Протопопов этот, он ведь считается по своей должности еще и шефом корпуса жандармов, и даже в Государственную думу будто бы являлся в генеральской жандармской форме голубо-

го цвета; так что он для севастопольского жандармского полковника, Протопопов этот, прямой и непосредственный начальник,— он ему и донес... А Протопопов Колчаку телеграмму: «Изложите мне все обстоятельства дела о гибели дредноута «Императрица Мария»... Колчак же ему будто,— ведь все-таки министру внутренних дел! — ответил, что он ему не подчинен и ничего излагать ему не обязан и не будет, а жандармскому полковнику приказал немедленно сдать свою должность помощнику и убираться из Севастополя!.. Вот что говорят о Колчаке. Подчинен он будто бы одному верховному главнокомандующему, то есть самому царю, и ему уж послал свой верноподданнический рапорт... И не только там какой-то Протопопов,— а и сам даже председатель совета министров ему не указ, и он его знать не хочет!

В любое другое время художник Сыромолотов, внимательно приглядевшись к Наде, сказал бы ей: «Посиди-ка так немного,— я сейчас!» — и взялся за карандаш или кисть. Однако теперь, хотя и много в ней было для него нового, начиная даже с платья,— голубого с узенькими белыми полосками, отделанного кружевами по воротничку и рукавчикам, и с круглой золотой брошкой, сверкавшей сквозь кружево,— и кончая редким для него возмущением во всех чертах дорогого ему лица,— теперь он только смотрел на нее, слушал и шевелил бровями.

— А не было ли в этом затоплении «Марии» чего-нибудь другого, а не то чтобы заботы об остальных судах и тем более о городе? — спросил он наконец.— Не спасал ли этот Колчак Севастополь от крамолы?

— Именно так многие и думают,— кивнула головой Надя,— особенно после истории с жандармским полковником! Выходит что же? Ведь он, командующий флотом, отвечает перед царем за крамолу в Черноморском флоте, а дело против него начинает жандармский полковник, адресуясь к министру внутренних дел, шефу жандармов!.. Между тем ведь Колчак, когда затопил «Марию», он, собственно, что же такое сделал?

— Спрятал концы в воду? — попытался догадаться Алексей Фомич, но тут же ответил себе сам: — Однако же не все концы спрятал: четыреста с чем-то человек осталось все-таки в живых на суше.

— Вот в том-то и дело, что остались в живых! — подхватила Надя.— И вся задача в первом взрыве, а не в последнем. Фок или другой кто был виновник

последнего, он только приказ самого Колчака исполнял. А Колчак притянул себе на помощь детонацию!

— Может, только за волосы притянул, а когда знатоки дела в этом разберутся, окажется, что повод к затоплению был другой,— несколько пошире и поглубже... Вот что значит та картина, какую мы с тобой видели!

— Кстати, детали для картины, как ты просил, откуда же я могла бы получить, если Мишу арестовали? — вспомнила Надя.— Я, конечно, отлично понимала, как они для тебя важны, но...

— Но обстоятельства оказались гораздо важнее всех и всяких деталей,— договорил за нее художник.— Обстоятельства страшные, да,— сложные и страшные! И куда они нас приведут,— это мы, может быть, скорее узнаем, чем думали раньше.

— Что касается ближайшего, то, я полагаю, ты не откажешься завтра же вместе со мною поехать опять в Севастополь, а, Алексей Фомич? — тоном просительным, но в то же время и не предполагающим никаких отговорок с его стороны сказала Надя.

Он посмотрел на нее удивленно:

— Мне?.. Ехать с тобою завтра же в Севастополь?.. Гм... Едва ли, да, едва ли удастся нам это сделать.

Алексей Фомич понимал, конечно, что этот его ответ возмутит Надю, но он помнил то, чего еще не знала она, и не навернулось ему никаких других слов, кроме этих.

— Почему? — вскрикнула Надя.— Почему ты не хочешь поехать завтра к Нюре?

Он видел, что после этого выкрика губы ее не только дрожали, а даже дергались, как будто она про себя кричит ему что-то еще.

— Да видишь ли, почему,— медленно, потому что обдумывал каждое слово, начал объяснять Алексей Фомич: — Во-первых, это может быть даже очень рано, да, вот именно, рано, так как следствие только еще началось, а невиновность Миши выяснится через неделю-другую сама собой...

— Так ты, значит, хочешь, чтобы он полмесяца обожженный, в перевязке, сидел под арестом? — еще резче крикнула Надя.

— Успокойся, я ничего этого не хочу, конечно, я только рассуждаю вполне объективно. Ведь следователь должен опросить многих людей, чтобы невиновность одного,— Миши,— для него самого стала ясна.

Арест Миши называется, если не ошибаюсь, только предварительным, и ведь он же — офицер флота, а не какое-нибудь частное лицо, каким являюсь, например, я... И вот, ты представь, представь себе эту картину: в военное ведомство, где свои ведь законы, своя дисциплина, врываюсь я,— совершенно частное лицо, ни к чему военному никогда никакого отношения не имевшее, и начинаю говорить, что прапорщик флота такой-то, имярек, ни в чем не виновен, что его арестовали напрасно и так далее в том же духе. Тогда меня, вполне естественно, должны спросить: кто я такой, и почему я знаю, виновен или не виновен прапорщик флота Калугин?

— Так ты, значит, не хочешь ехать?

— Считаю, что это пока... пока,— понимаешь? — совершенно лишнее,— ответил как мог спокойнее Алексей Фомич.

— Нет! Как ты хочешь, но ты — эгоист! — крикнула Надя, вскочив со стула.

— Я?.. Эгоист? — очень изумился ее виду Сыромолотов.

— Да! Эгоист! Да!.. Ты — талантливый художник, ты — знаменитый художник, но ты — эгоист!.. Эгоист! Эгоист! Эгоист!

Надя прокричала это слово четыре раза подряд, но, может быть, повторила бы его еще несколько раз, если бы не вошла вдруг в комнату Феня.

Так ей в диковинку было видеть Надю в таком возбужденном состоянии, что она остановилась, войдя, и глядела оторопев.

— Ну что, Феня? — спросил ее Алексей Фомич.

— Да что же,— обмыли,— сказала, взглядывая то на него, то на Надю, Феня.— Обмыли, сертук на него надели мы с Аннушкой, а Дарья Семеновна ордена на сертук нацепила... А тот плотник, какой вчера у нас крыльцо починял, он в гробу доски переменяет: нашел так, что они будто две или три погнили...

— Что такое? В каком гробу? — побледнев, повернулась не к Фене, а к мужу Надя.

— Ты только не волнуйся, Надюша,— взял ее голову в свои руки Алексей Фомич.— Умер твой дедушка.

— Умер?.. Дедушка?.. Когда?

— Да утром нынче,— ответила за Сыромолотова Феня.— Как только телеграмма получилась, что Петичку на войне убили, так и...

Алексей Фомич поглядел было грозно на Феню, но Надя упала ему на грудь без слов, без слез, без чувств.

Он поднял ее и понес в ее комнату, и Феня, сокрушенно качая головой, пошла следом за ним.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Хотя Петр Афанасьевич, еще будучи всего только семидесятилетним, купил для себя гроб, Дарья Семеновна решительно отвергла тогда даже и самую мысль старика о его возможно близкой кончине и приспособила этот страшный длинный ящик для ссыпки в него своей сушеной вишни.

И так шло год за годом... Прошло целых восемнадцать лет, решительно убедивших ее, что она права, что назначение гроба этого ею угадано верно.

И вдруг гроб был вытащен из сарая каким-то рябым плотником, обит им блестящим белым глазетом и вот теперь стоит в комнате на столе, а в нем лежит тот, кто его купил для себя, но совсем не для сушеных вишен.

Только приход Нади вывел Дарью Семеновну из какого-то подобия столбняка, когда она только смотрела, но не видела ясно того, что делалось около нее, и не понимала, зачем делалось.

Видели и понимали только Аннушка и Феня да вот этот плотник, присланный вместе с женой его Дунькой Алексеем Фомичом.

Щека о щеку с Надей выплакалась Дарья Семеновна и понемногу пришла в себя, что и неминуемо надо было, так как к ней обращались то за тем, то за другим, и она должна была несколько раз отпирать грузный дубовый комод и доставать деньги...

— Без нас с Дунькой, барыня, не обойдетесь,— бубнил ей этот долговязый плотник, назвавший себя Егорием.— Мы с Дунькой и гроб своим чередом вам починим, и могилу на кладбище выроем, и землей вашего покойника закидаем, честь честью, в лучшем виде,— все как есть сделаем... На Дунькю мою не глядите, что баба: она, проклятущая, и топором даже умеет действовать не хужей меня. И так что, скажем, ей все одинаково: хучь правшой, хучь левшой бревна тесать мо-

жет... А что касаемо полотенцев, гроб чтоб этот в могилу опущать, то это уж вы, барыня, расстарайтесь полотенцев нам дать холстинных, сурового холста, чтобы они, полотенца эти, случáем, оборваться не могли: тогда уж это считаться будет скандал на весь город,— полотенцев, будут говорить, пожалели на такое дело!.. А полотенца ежель крепкие будут, мы тогда этот гроб в лучшем виде опустим... Ну уж, конечно, вам знать надоть, полотенца эти тогда, послé всех причиндалов, в нашу пользу должны пойтить, это уж кого угодно спытайте, вам скажут: так полагается.

У Дарьи Семеновны от его бубненья звонко стучало в голове: «Хучь правшой, хучь левшой»... «Хучь прамшой, хучь лепшой»... И она таращила глаза и всячески напрягала слух, стараясь что-нибудь у него понять, но до прихода Нади это ей никак не удавалось.

А вечером явился к ней давно уж ей известный бакалейщик Табунов, сильно сутулый старик, с пронзительным взглядом исподлобья и седыми кудерьками, лезущими вверх, на тулью кожаного картуза.

С того времени, как поселилась со своим многочадным семейством у Петра Афанасьевича, Дарья Семеновна покупала и муку, и сахар, и чай, и лимоны в лавке Табунова, и теперь все-таки хоть немного, но легче ей стало, что пришел он сам посочувствовать ее горю.

Однако сочувствовал Табунов, повторяя однообразно: «Божья воля... Спротив его святой воли не пойдешь... Все под богом ходим...» При этом считал необходимым вздыхать и качать головою. Недолго и стоял он около гроба, созерцая лик усопшего, крестясь и сгибаясь в поясных поклонах; вынул большой клетчатый платок, поднес его к сухим пронзительным глазам, как бы вытирая приличные такому случаю слезы.

Сделав же все, что считал нужным, Табунов не ушел к себе домой: он уединился в другой комнате с Дарьей Семеновной и обратился уже к ней теперь за сочувствием к своей участи:

— Помните, Дарья Семеновна, был у меня приказчик старший, Полезнов, Иван Ионыч?

— Ну как же не помнить! Давно ли он ушел от вас? В начале войны ведь,— отозвалась на это Дарья Семеновна.— Забыть за два года никак и нельзя.

— Во-от! Полезнов... Иван Ионыч... Ушел, да, два года назад,— продолжал Табунов.— Уйти-то ушел, только ведь он у меня тя-япнул, Дарья Семеновна! Скажу вам, как на духу, по-ря-доч-но он у меня тяп-нул!.. Теперь,— писал мне,— свое дело открыл... В Бологом где-то,— это под Петербургом,— дом себе приобрел... Овес-сено там на фронт поставляет... Раздул, одним словом, кадила свои, а на чьи же именно средства, вот вопрос! У меня тя-япнул! А я свое дело должен был довести к сокращению... Верчусь, конечно, а это уж, хотел бы вам по знакомству я сказать, один только бог знает, как мне вертеться приходится!.. И в какое время это мне приходится на старости лет, а? Когда деньги стали неверные, вот когда!.. Сейчас они деньги, а завтра их возьми, они уж один ноль без палочки!

Тут Табунов опасливо поглядел на дверь, хотя и закрытую, и перешел почти на заговорщицкий шепот:

— Дарья Семеновна! Вам же теперь, как похороны у вас завтра,— или, может, хотя послезавтра,— деньги будут нужны, то я бы с большим моим удовольствием под золотые вам дал!.. Ну, просто сказать, купил бы у вас десятки ли там, пятерки ли, сколько продать захотите, столько бы и взял... А деньги, это я с собою принес,— вот они, здесь, в боковом кармане,— чтобы прямо вам на расход. Расход же, он предстоит, конечно, порядочный, это что и говорить.

Дарья Семеновна даже испугалась и того, что он говорил, и шепота его, и как он похлопал костяшками пальцев по боковому карману своего ватного пиджака, и пробормотала укоризненно:

— Что же это вы с такою поспешностью!

Но Табунов не смутился:

— Поспешаю потому,— боюсь, кабы другие кто не перехватили: все теперь золота ищут... А я бы вам по старому знакомству, и как вы все ж таки много у меня покупали,— да, в надежде я, и покупать еще будете,— супротив других мог бы даже и надбавку на каждый золотой дать!

Дарья Семеновна подумала. Деньги, действительно, были нужны, поэтому несколько золотых монет она продала Табунову, после чего он, ставший очень довольным, тут же откланялся и пошел домой, не взглянув больше на тело Петра Афанасьевича и ничего не сказав еще о «божьей воле».

Алексей Фомич давно уже знал за собою неискоренимый, непобедимый «грех», как он называл это,— сильнейшую ненависть к смерти, равную по силе его же любви к жизни.

Жизнь он любил во всех ее проявлениях как большой художник, а смерть ненавидел как непонятное и пугающее насилие над нею. Он никогда не мог заставить себя сделать зарисовку мертвого человека и вполне искренне изумлялся тому, как мог такой художник, как Бруни, рисовать мертвого Пушкина.

Даже когда Надя сказала ему:

— Сделай мне одолжение, Алексей Фомич,— напиши этюд с дедушки в гробу,— он только поглядел на нее удивленно, пожал плечами и ответил коротко: — Пригласи фотографа.

Не понял он также и заботы Дарьи Семеновны о каком-то поминальном обеде, который, по ее мнению, надо было бы дать ей, как это принято делать, тут же после похорон. Он поднял удивленно брови и стал выкрикивать гулко:

— Что, что? Поми-нальный обед? Это... это картина передвижника Журавлева?.. Это... чтобы дьякон напился и вместо «Вечной памяти» грохнул «Многая лета!» да так, чтобы вылетели стекла изо всех окон!.. Этого еще не доставало! Этого не хватало!.. «Дружина пирует у брега на тризне плачевной Олега»? И неизвестно, почему эта тризна «плачевная», если «дружина пирует»! Пирует,— значит, очень радуется, а чему же собственно? Смерти?.. Тризну хотите устроить?

— Нет, Алексей Фомич,— ведь это же не для всех, кто придет, обед готовить... Куда же нам столько людей угощать, и откуда на это столько денег взять, да, кроме того, и посуды? Для духовенства бы только: ведь устанут пешком-то на кладбище идти,— отдохнуть им, подкрепить силы свои ведь надо же,— объясняла Дарья Семеновна.

— Отдохнуть, говорите? А вот — деньги они за свой труд тяжкий получат, и пусть себе дома отдыхают! — не смягчался Сыромолотов.— Ишь ты, разбаловали как тунеядцев!.. На свадьбах они жрут и пьют, на родинах жрут и пьют, так давай им жрать и пить еще и на похоронах тоже! Великая, подумаешь, это радость! Помянуть надо покойничка посошком на дорожку!.. Дичь, дичь! Непроходимая дичь! И на подобной тризне у вас, Дарья Семеновна, я не буду,— не ждите,— и ни копейки

денег на это не дам!.. И нет уже у меня теперь лишних денег! И неоткуда мне взять никаких денег!.. Не в такое время мы с вами живем и не к тому мы идем, поймите это! Не к деньгам, а к безденежью мы идем!.. Не родит война, нет, а только убивает, не производит, а истребляет!... По-ми-наль-ные обеды в такое время, а! Что за тьма такая египетская, скажите!

Повернулся круто и пошел, оставив Дарью Семеновну в полной растерянности чувств. Но, сделав с десяток своих грузных шагов, возвратился, чтобы закончить еще более внушительно:

— И если я умру раньше вас, что и должно быть, так как я вас постарше, и вам придется меня хоронить, то чтобы и в гробу лежа не слышал я над собой никаких панихид,— вот что!.. «В гробу» я сказал? А зачем это, собственно, какой-то гроб? Зачем доски зря тратить? Чтобы они в земле истлели? Лишнее, лишнее!.. Хороните меня без гроба и никого не пускайте к моему телу,— чтобы никому не вздыхать, не зевать и поминального обеда не ждать!

Только после этих неожиданных для Дарьи Семеновны слов ушел совсем и, как отнеслась к этому она, не думал. Может быть, и не говорил бы так при Наде, но Надя в это время была на кладбище, где Егорий и Дунька копали могилу.

После бурной своей вспышки против тризны вообще Сыромолотов все-таки не был убежден в том, что обряд этот не будет соблюден и что его Надя не станет тут ревностной помощницей матери.

Введя к себе в дом Надю, как жену, он день ото дня убеждался, что она во всей возможной полноте унаследовала от Дарьи Семеновны не то что просто хозяйственность, а упоенье домоводством, и, носясь на этом коньке своем, сталкивалась с тоже весьма хозяйственной Феней, причем отголоски их ссор доносились иногда и в его мастерскую в виде повышения голосов и излишнего хлопанья дверьми.

Заказать в цветочном магазине венок он сам предложил Наде и дал ей для этого деньги, но совсем не думалось ему о том, куда после похорон попадает этот венок. Думалось о том, какой формы памятник заказать потом на могилу Петра Афанасьевича и какой рисунок взять для железной ограды.

Это была гораздо более привычная для него область, и почему-то упорно начал рисоваться перед ним крест,

хотя и каменный, но сделанный «под березу». В Симферополе, как и во всем Крыму, не росли березы, а это были любимые деревья Сыромолотова.

И, придя домой в этот день, Алексей Фомич, не следя за часами, исчертил большой лист бумаги проектами памятников на скромной могиле дедушки Нади и рисунками ограды к этой могиле.

Обеда в этот день не готовила Феня,— она была в доме Невредимовых,— и Алексей Фомич сам ставил для себя самовар, а после чая, когда уже начало темнеть, сам закрывал ставни окон и зажигал лампы.

Потом по привычке ходить, хотя и медленно, из угла в угол по своей мастерской, долго ходил и думал.

Было о чем думать: то, что свалилось на него так внезапно и неожиданно, было подготовлено, конечно: так же внезапно падает и сук, если он подпилен.

Утром в день похорон Надя пошла в свой родной дом рано, чуть стало светло, но Алексей Фомич сознательно не торопился. Зато когда подходил он к дому Невредимовых, он застал, как и думал, и на улице, и на дворе, и в комнатах дома очень неприятное ему большое многолюдство.

Все здесь пришли, конечно, из того квартала, в котором оказался покойник, и никому, конечно, никакого дела не было ни до этого покойника, ни до его родных,— так ощутил Сыромолотов.

Октябрь стоял теплый, как и полагалось крымскому октябрю, поэтому женщины были здесь в одних платьях, хотя среди них гораздо больше видел Сыромолотов старух, чем молодых...

Идя к дому Невредимовых, смотрел Алексей Фомич на чистое, прозрачное, молодое небо, а около ворот дома увидел сивобородых морщинистых стариков. Задержавшись в калитке, услышал он — один такой, лишний уже в жизни, завистливым голосом спрашивал другого:

— Это сколько же, выходит, седмиц прожил упокойник? Чи дванадцать, чи тринадцать?

А другой отвечал, считая на скрюченных пальцах обеих рук:

— Як осемдесять осемь, кажуть люди, то... до тринадцати трох не дотягнув... Ну, а все ж таки... богато надбал.

— Труда никакого не знал, вот почему богато надбал! — твердо решил первый старик, чем заставил слегка улыбнуться про себя Сыромолотова.

На дворе, увидел Сыромолотов, несколько человек мальчишек лет по двенадцати, очень весело настроенных, гонялись один за другим и угощали друг друга подзатыльниками.

— Вы что это тут, а? — строго спросил одного из них Сыромолотов.

— Мы-то? Мы певчие,— объяснил тот, и Сыромолотов догадался, что Дарья Семеновна пригласила для пущей пышности похорон хор певчих из церкви своего прихода, и вспомнил, что регентом этого хора был некий Крайнюков, известный, с одной стороны, тем, что вместо кисти левой руки была у него култышка, а с другой стороны, тем, что на него иногда «находило». Что именно «находило», этого никто толком объяснить не мог, только показывали указательными пальцами себе на лоб и поджимали губы.

Входя в дом и вспоминая об этом, Сыромолотов отчетливо подумал: «Остается пожелать, чтобы хотя до конца похорон на него ничего не «нашло». В том, что сейчас он увидит этого регента, Алексей Фомич не сомневался, но прежде, чем регента, он увидел священника о. Семена и дьякона о. Митрофана.

Хотя дом Сыромолотова тоже считался в приходе о. Семена Мандрыки, но в первый раз близко увидел его Алексей Фомич только теперь.

Крупный и с крупными чертами лица, мясистого и сохранявшего еще летний загар, с объемистым, бугроватым, начисто лишенным волос черепом, с широким ярким носом, уткнувшимся в широкую же белую бороду, о. Семен оказался в достаточной степени живописен. Жирноплечий, сутуловатый, в разговоре шумливый, так как наверно плохо уж слышал, и, как истый украинец, сильно напиравший на «о», он ничем не обнаружил к художнику неприязни за то, что тот никогда не бывает в приходской церкви и не принимает причта у себя дома ни на Рождество, ни на Пасху. Он даже пытался участливо улыбаться, насколько позволяли это ему очень толстые губы и тугие, как литые резиновые мячи, щеки.

По всему складу его угадывал в нем Алексей Фомич густой бас, между тем в церкви и вот теперь на похоронах петь о. Семен должен был, как священник, тенором, а басом — дьякон о. Митрофан, между тем как внешность его была явно теноровая: он был щупловат, хотя уж тоже пожилой, имел чуткие к звукам, очень

легко вспархивающие брови и жидкую чалую бородку, которую часто гладил, захватывая ее всю сразу костистой белой рукой.

Вместе с духовенством в комнате, смежной с тою, в которой стоял гроб, был и регент Крайнюков, показавшийся Сыромолотову несколько похожим на автопортрет художника Федотова: такой же облысевший лоб, такое же бледное нездоровое лицо, такие же унылого вида усы подковкой.

О. Семен, как бы повинуясь внушению свыше, сказал Алексею Фомичу:

— Вот теперь, по кончине Петра Афанасьевича, вам подобает быть главою дома, потому как Дарье Семеновне стало уж теперь тяжело, бедной...

— Да еще и одного из сыновей потеряла,— ведь это что значит для матери сына потерять! — добавил о. Митрофан, и брови его взлетели изумленно при таком напряжении мысли.

А регент Крайнюков, улучив удобную минуту, спросил Сыромолотова вполголоса:

— Не довелось ли вам слышать, что я написал музыку к «Буря мглою небо кроет»?

— Нет, простите, не приходилось слышать,— ответил Алексей Фомич.

— Как же так? В одном городе живем... и оба мы с вами люди искусства...— забормотал явно обиженный Крайнюков, и, испугавшись, как бы вот именно теперь на него не нашло, Сыромолотов поспешил убедить его, что в самое ближайшее время он непременно явится послушать исполнение «Бури» под его дирижерством.

В гробу, стараниями Егория обитом белым глазетом, лежал Петр Афанасьевич в строгом черном сюртуке с двумя орденами, с желтой восковой свечкой в руках над золотопечатной бумажкой, называемой, как знал это Алексей Фомич, «молитвой».

А Надя изумила его тем, что, одетая теперь в черное траурное платье, быть может взятое у матери, она, почти не отходя от гроба, все смотрела в лицо дедушки и даже поправляла зачем-то свечку над «молитвой», складки его сюртука. И глаза у нее так же опухли уже от слез, как и у Дарьи Семеновны.

Так как ни Аннушки, ни Фени, ушедшей сюда вместе с Надей рано утром, не видел в комнатах Алексей Фомич, он понял, что обе они на кухне и священнодействуют там, готовя все-таки поминальный обед.

Венок, за которым ездила Надя накануне, стоял теперь, прислоненный к спинкам двух стульев, в головах гроба.

Но вот в открытой из прихожей двери появился еще венок. В нем были те же осенние цветы: розовые астры, белые, желтые, розовые хризантемы, сине-лиловая лобелия и розаны разных оттенков. А вслед за венком вошли в комнату двое низеньких старичков, одинаково одетых и лицами очень похожих друг на друга: оба лобастенькие, с равно подстриженными седыми усиками и седыми ежиками на головах. Сыромолотов вспомнил, что слышал о них: братья, и даже близнецы, бывшие сослуживцы Петра Афанасьевича по губернской архивной комиссии.

Когда венок их был установлен на двух венских стульях рядом с венком Нади, они, одинаково пристукивая каблуками, подходили с одинаковым сочувствием семейному горю и к Дарье Семеновне, и к Наде. Наконец, подошли и к Сыромолотову.

— Разрешите познакомиться: Козодаевы! — сказал один из них, почтительно улыбнувшись одними только белесыми глазами.

— Какое несчастье постигло вас! — сказал тут же другой, сочувственно покачав головой.

Не придумав, что им ответить, Алексей Фомич только пожимал их руки и склонял несколько голову то в сторону одного, то другого.

— Мы слыхали, что и вас лично постигло горе! — выразительно проговорил первый Козодаев.

— Это мы имеем в виду ранение вашего сына,— пояснил другой Козодаев.

— Откуда же вам это известно? — удивился Алексей Фомич, но тут же поправился: — Да... благодарю вас... да! Сын мой, художник,— он стал теперь калека, инвалид, да!.. А брат моей жены, тоже прапорщик, убит на Юго-западном фронте.

И по тому, как согласно закивали головами братья, увидел, что это они тоже знают.

— А есть ли линейка, чтобы гроб установить? — спросил тут о. Семен Сыромолотова, который этого не знал. Но его выручил один из Козодаевых, очень живо ответивший:

— А вот же мы как раз на линейке нарочно и приехали!

Другой же добавил:

— И приказали извозчику, чтобы стоял и ждал.

— Тогда что же,— тогда начнемте вынос тела усопшего!

И все пришли в движение от этих как бы командных слов о. Семена, и тут Алексей Фомич увидел откуда-то взявшегося Егория Сурепьева, который первым подошел к гробу, растопырив руки так, точно хотел охватить гроб в середине и вынести его один.

Пиджак на нем был не тот, драный на локтях, а гораздо новее, под пиджаком же оказалась чистая белая рубашка, вышитая елочками. Невольно повел глазами по сторонам Сыромолотов,— не здесь ли Дунька,— и увидел ее: стояла в дверях,— в синем платке на голове, и лицо ее показалось ему как будто недавно вымытым.

«Мы еще придем к вам,— вы нас ждите!» — вспомнились ему зловещие слова Егория, когда он уходил от него, хоть и не вместе с Дунькой, в первый день, и ему стало очень не по себе.

А когда гроб был установлен на линейку и все, бывшие в доме и на дворе, вышли на улицу и ее запрудили, Алексей Фомич увидел прямо перед собой подступившего сзади моряка, который оказался на полголовы выше его ростом и, пожалуй, не у́же его в плечах, с погонами отставного капитана второго ранга. Рыжебородый, надменного вида, весьма сосредоточенно присмотрелся он к нему колючими серыми глазами и спросил отрывисто:

— Кого это хоронят?

И надменный вид моряка, и этот вопрос, обращенный почему-то именно к нему, очень не понравились Сыромолотову, и он отозвался сухо:

— Старика, как видите.

Гроб тогда не был еще накрыт крышкой, и моряк отставной стал очень внимательно рассматривать покойника; наконец спросил:

— Чиновник бывший?

— Да, служил.

— Все эти чиновники вообще...— начал было моряк, передернув носом, но вдруг, неожиданно для Сыромолотова, перебил себя: — Вижу, что вы русский!.. Да?.. Коняев! — твердо, по-военному, представился он и протянул руку.

— Сыромолотов! — пророкотал Алексей Фомич.

Он подумал тут, что моряк спросит: «Не художник ли?» — но моряк ничего не спросил; он заговорил сообщительно о своем:

— Я из Севастополя сюда приехал... хлопотать о прибавке пенсии. Цены на все, видите ли, растут, а почему же пенсий не прибавляют? Пенсия моя почти уже стала нищенской,—поняли? Вот!

— Кто же здесь может вам к ней что-нибудь прибавить? — усомнился Алексей Фомич.

— Э-э, кто, кто! — сделал гримасу Коняев.— Тут есть комитет со средствами, отпу-щенны-ми правительством на поддержку офицеров, пострадавших во время войны,— поняли? Вот! Однако чиновники, чиновники там сидят, и все очень, доложу, подо-зри-тельны по своей национальной принадлежности,— поняли? Вот!

Тут капитан Коняев повел около носа указательным пальцем, искоса поглядев на Сыромолотова так проникновенно, что тот этим как бы вынужден был заметить:

— Вам бы снова поступить на службу!

— Просился! Да!.. Не взяли! Контужен в голову в бою под Порт-Артуром на «Ретвизане»... Вот!

Это название погибшего во время войны с Японией корабля напомнило Сыромолотову гибель «Марии», и он спросил:

— А вот там у себя, в Севастополе, не пришлось ли вам слышать, отчего погиб дредноут «Мария»?

— «Им-пе-рат-ри-ца Мария», а не какая-то там «Мария»,— поправил его Коняев.— Да, погиб, я видел, как он горел... Какой-то, говорят, немец взорвал, прапорщик флота... Сколько получил за это, подлец, вот вопрос?.. А получил, мерзавец! Этому отвалили куш! Свои же, конечно, немцы!

— Прапорщик флота, вы говорите? — И тут же представился Алексею Фомичу муж Нюры, Миша Калугин, как он, с забинтованной головой и в зеленой шинели лесничего, подымался по лестнице на Графской пристани... поэтому он добавил резко: — Это вы слышали какую-то дурацкую глупость и ее повторяете!

— Ка-ак так «глупость»! — надменно вздернул голову Коняев.

— Так и глупость! — упрямо повторил Алексей Фомич.

— Вы... смеете... оскорблять... штаб-офицера флота?

— Я всегда называю вещи своими именами,— так привык!

Сыромолотову показалось при этом, что моряк с контуженной головой сейчас же кинется на него, и он привел все свое тело в состояние обороны, несколько подавшись назад, но капитан Коняев, смерив его с головы до ног злыми глазами, только пропустил сквозь зубы, задыхаясь:

— Понял!.. Я по-нял, с кем имею дело! С немцем!

И, как бы отбросившись от него, пошел строевым шагом назад, откуда появился; Сыромолотов же стал искать глазами Надю, благодарный случайности, отвлекшей ее в сторону от него как раз в тот момент, когда этот отставной моряк, у которого явно «не все дома», порочил мужа ее сестры.

И о. Семен, и дьякон, бывшие в комнатах в подрясниках, теперь засияли серебром чернопарчовых риз, и регент Крайнюков, собрав свой хор, взмахнул вдохновенно здоровой рукой выше головы, и грянуло на всю улицу для начала:

— Свя-ятый боже! Свя-яты-ый кре-епкий!..

Петр Афанасьевич Невредимов отправился из дома, который строил лет шестьдесят назад, в свой последний путь... И тут подошли к Алексею Фомичу Надя с матерью, чтобы идти за гробом всем вместе не разбиваясь.

Какую бы картину ни писал художник, он прежде всего должен определить для нее свое место, свой наблюдательный пункт,— и во все время работы над картиной держаться своего места твердо и точно. Чуть передвинет себя он вправо или влево, чуть опустится ниже или подымется выше,— сразу изменится и отношение между предметами, и освещение, и объем их,— а это значит, что картина будет уже другой.

Когда задумывал Сыромолотов свою «Демонстрацию», он нашел для себя место, вне огромной толпы на Дворцовой площади в Петрограде, и безошибочно чувствовал расстояние между собой и теми, кто попал на передний план его картины.

Теперь, идя с обнаженной головою на кладбище за гробом старика Невредимова, он двигался вместе с толпою и был в середине ее. Не наблюдать всего, что видно было кругом, он не мог: это было основным его

свойством, и наблюдал он, как свойственно наблюдать только художникам; но в то же время он не мог не связать плотно этого шествия толпы со своей картиной: он слишком сжился с картиной и не иначе представлял всех людей на ней, как живыми и стоящими перед глазами.

Живые люди теперь, около него, и справа и слева шли и часто смотрели на него, и глаза их и его встречались. У него и у этих людей кругом оказалось как бы одно общее дело... какое же именно? Старика, прожившего двенадцать с половиной «седмиц» и теперь лежащего в закрытом гробу под двумя венками из живых цветов, провожают к его могиле, и он, в гробу, центр этой движущейся картины, точка схода всех ее горизонталей.

Медленно двигались «разбитые на ноги» коняги извозчика. Их была пара разномастных, но одинаково линялых: одна — бывшая вороная, другая — бывшая буланая.

Шляпки Дарьи Семеновны и Нади обвиты черным крепом, причем на шляпке Дарьи Семеновны колыхалось уныло при каждом шаге черное страусово перо. Широкую черную ленту пришпилила Надя и на рукав Алексея Фомича. Полагалось бы по прежнему, довоенному, чтобы и лошади были в черных попонах, и факельщики из бюро похоронных процессий, но даже и ревностная к соблюдению всех правил обряда Дарья Семеновна признала это для себя не по средствам.

Зоркими глазами художника пробегал Алексей Фомич по толпе, идущей вместе с ним, и не мог не видеть, какие в большинстве старые, изможденные, плохо одетые были здесь люди. «Оставьте мертвецам хоронить покойников своих»,— вспомнилось ему изречение из древней книги. Если не мертвецы еще эти рядом, то полумертвецы, а все, кто молоды, те в окопах от Балтийского моря до Черного, и там изо дня в день превращают их в мертвецов, как Петю Невредимова, а других в инвалидов, как Ваню, бывшего чемпиона мира по французской борьбе, «любимое дитя Академии художеств...»

Хор певчих все-таки честно хотел заработать себе на хлеб, и «Со святыми упокой» сменялось тягучим «Надгробным рыданием», причем у Крайнюкова иногда даже и желтая култышка левой руки поднималась кверху.

Хор оказался спевшийся: не зря строгость преобладала в лице Крайнюкова; и среди ребячьих голосов выделялся такой дискант, что годился бы и в соборный архиерейский хор в «исполатчики», а из взрослых певчих у одного была неплохая октава, скреплявшая все ребячьи и теноровые голоса, как подпись крупного чиновника на казенной бумаге.

Сравнив про себя октаву хора с подписью крупного чиновника, Алексей Фомич представил ярко и ругавшего чиновников здешних отставного капитана второго ранга и его болтовню о прапорщике флота, то есть об арестованном муже Нюры, своем свояке, но постарался тут же забыть об этом.

Как раз в это время сзади кто-то спросил довольно громко:

— А это кого же все-таки хоронят?

— Архивариуса здешнего... Кажется, он уж даже и отставной был,— ответил этому кто-то тоже громко.

— Вон кого!.. Поэтому, стало быть, окончательно сдают в архив.

И захихикали оба.

Алексей Фомич оглянулся и увидел двух молодых еще, но хромых: один сильно припадал на правую ногу, у другого торчал костыль под мышкой.

— Наверное, инвалиды войны,— шепнул он Наде, так как она не могла не слышать этого разговора, очень, конечно, для нее обидного.

После этого Алексей Фомич часто поворачивал голову то влево, то вправо, а то и оглядывался даже, гораздо внимательнее присматриваясь к людям, идущим зачем-то за гробом незнакомого им человека, как будто ни у кого здесь не было своего необходимого дела.

Все были убогого вида: старики, старухи, увечные... И вспомнился ему замысел самой молодой из его картин: «Нищий Христос», навеянной строчками стихов Тютчева:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Эскизы к ней он делал еще подростком, но дальше эскизов не пошел. На них цветными карандашами и акварелью пытался он изобразить подобную этой толпу, шедшую за Христом, который нес крест на плече. Он

не показал тогда, куда шел его Христос,— куда-то в туман,— а последний в толпе, то есть на переднем плане эскизов, не шел, а полз на четвереньках...

Тут же вслед за этими старыми эскизами представил Алексей Фомич свою «Демонстрацию на Дворцовой площади» и, кивнув вправо и влево, сказал вполголоса Наде:

— Вот это — демонстрация так демонстрация!

Надя не поняла его. Она спросила:

— Против чего?

— Против войны, разумеется,— против чего же еще,— ответил Алексей Фомич.

Тут донесся до них от впереди идущего о. Семена возглас, точнее конец возгласа:

— ...новопреставленному рабу твоему Петру и сотвори ему вечную па-амять!

А хор подхватил единодушно:

— Веч-на-я па-амять, веч-ная па-амять, ве-е-ечная па-а-амять!

На кладбище у свежевырытой могилы, к которой подвел шествие Егорий Сурепьев и возле которой поставили открытый снова гроб, о. Семен счел нужным произнести слово об усопшем, а Сыромолотов пристально следил за тем, как он то поворачивал голову, следя, чтобы все внимательно его слушали, то поднимал глаза к небу, то опускал на бренную кучу земли около могилы и на гроб с телом старца.

— Братие! — начал он как с амвона в церкви.— Пятая заповедь гласит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши на земли». Вот перед нами прах раба божия Петра, дожившего до глубокой старости, во исполнение обещания пятой заповеди. За что же даровал ему бог и благо и долголетие? За то, что чтил он и отца и матерь свою и принял на себя заботу о многочисленной семье брата своего, скоропостижно умершего. Восьмерых племянников и племянниц своих возростил покойный и на ноги их поставил. Подумайте, сколько же было трудов положено им ради этого доброго дела, и трудов, и усердия, и забот неусыпных, и труд его не пропал даром. Полезных для всего общества людей воспитал усопший... И даже... даже один из них, офицером будучи на фронте, пал смертью храбрых, защищая родину, то есть

и всех нас, здесь собравшихся отдать и ему последний долг, хотя и мысленно только. Упокой же, господи, душу раба твоего Петра с миром, идеже праведнии успокояются, в месте злачне, в месте покойне, и упокой также, господи, душу воина, на брани убиенного, именем тоже Петра, и сотвори им... вечную память!

Тут о. Семен перекрестился, широко отведя руку, и кивнул регенту, и «Вечную память» грянул хор.

Тот дискант — «исполатчик», который, по мнению Алексея Фомича, мог бы и в соборе петь архиерею «Исполла эти деспота!», так запрокинул голову, заливаясь, что нельзя было рассмотреть его глаз, а октава, скреплявшая хор, оказавшаяся на вид каким-то мастеровым, скорее всего кровельщиком, с обрюзглым и давно не бритым лицом, напротив, выкатил глаза от больших усилий, и подумал Алексей Фомич не без опасения, как бы не выскочили они у него совсем из орбит.

Но пропели «Вечную память», и о. Семен обратился почему-то прямо к Сыромолотову, говоря:

— Не пожелает ли кто из присутствующих сказать слово?

Сыромолотову никогда не приходилось быть в таком положении, и о том, чтобы произносить речь над гробом Петра Афанасьевича, он не думал, поэтому только отрицательно крутнул головой, но его тут же выручил один из Козодаевых.

Ненужно улыбаясь и кланяясь о. Семену, а потом зачем-то в сторону обоих Сыромолотовых, имея в виду, должно быть, только Дарью Семеновну и Надю, он начал с себя:

— Я — член губернской архивной комиссии, долго служил под руководством покойного Петра Афанасьевича и, должен сказать, до самой смерти сохраню память о моем бывшем начальнике. Всегда серьезно относился он и к любимому нами делу, к истории нашего с вами края, ко всем этим бумажкам, пылью покрытым, и вообще... Также и к памятникам старины, которых, должен вам сказать, очень много в Крыму. Большими знаниями обладал в этой области покойный Петр Афанасьевич, а знания эти пришли к нему откуда же, как не от его редкостного трудолюбия? И то еще должен я сказать, что знания эти нужно было ведь сохранить в своей памяти, а это значит, что память... память его не... как бы выразиться... не оскудевала с годами! Но почему же не оскудевала? Потому что наш дорогой

усопший, Петр Афанасьевич, вел правильный образ жизни, не допускал никаких излишеств, в чем и является он для всех нас настоящим образцом,— образцом для подражания, я хочу сказать. Спи же в мире, наш дорогой образец жизни, Петр Афанасьевич, и да будет земля тебе пухом!

О. Семен благодарственно наклонил маститую плешивую голову в сторону Козодаева, но тут же, как Козодаев стал чинно рядом со своим братом, откуда-то сзади, усиленно очищая себе дорогу локтями, пробрался вперед явно пьяненький в такое трезвое время и в таком серьезном месте, как кладбище, старичок, лукаво подмигивающий, озорноватый, с бегающими глазенками и красным носиком, поднял зачем-то правую руку, как регент, и обратился к о. Семену:

— Я скажу слово!

О. Семен поглядел на него неодобрительно и даже головой в знак разрешения не кивнул, но старичок тем не менее начал:

— В нотариальной конторе я служил у покойного Петра Афанасьевича, и как же можно: очень даже хорошо я помню это, как меня жучил покойничек, дай ему, господи, царство небесное!

Тут старичок перекрестился и даже как бы всхлипнул от прихлынувших высоких чувств; но тут же сзади Алексея Фомича сказал кто-то голосом очень знакомым и с оттенком явной зависти к старичку:

— Ну, не иначе, как политуры бутылку игде-сь на чердаку нашел — выпил!

Алексей Фомич обернулся и увидел рябое лицо Егория: смотрел тот на говорившего вплотную прилипшими круглыми, жадными, ястребиными глазами, как бы стараясь пробуравить ими убогий череп пьяненького и узнать, где этот заветный чердак, на котором дурак какой-то прячет от довоенных еще времен оставшиеся, пахнущие спиртом бутылки политуры?

А пьяненький старичок, бегая глазками и то и дело взмахивая рукой, как будто собираясь взлететь, продолжал:

— Смерть-матушка, она всех нас равняет, и никто от ее глаз не ускользнет! То я говорил, конечно: «Вы, Петр Афанасьевич!», теперь же право имею говорить «ты»... Служил ты верой-правдой царю-отечеству на государственной службе по десятому классу должности, а я считался уж лично у тебя, на частной службе... Вы-

служил ты, как тебе полагалось по десятому классу, чин надворного советника, а также и ордена тоже,— орденами был награжден: орден Станислава четвертой степени и орден Анны — третьей... И вот, значит, как получилось у нас с тобой: я хотя не надворный и без орденов безо всяких, ну, пока еще живой, а ты вот уж покойник! Петр Афанасьевич! Уважаемый мой патрон! Скажи, зачем ты умер?..

Даже слезы, самые настоящие слезы навернулись при этих словах на глазки старичка, и он начал вытирать их грязными пальцами обеих рук сразу, но о. Семену не понравилось его надгробное слово. Он взял пьяненького за плечо, дернул от себя в сторону и крикнул:

— Довольно! Иди!

Потом он обвел взглядом, еще не остывшим от возмущения, толпу около себя и спросил громко:

— Нет ли еще желающих почтить память усопшего?

Задержал было снова взгляд на Сыромолотове, но, когда Алексей Фомич сделал отрицательный знак головой, о. Семен сказал разрешающе:

— Можно, стало быть, забивать крышку!

— Есть забивать! — тут же отозвался ему Егорий и выступил из-за спины Сыромолотова уже с молотком в правой руке и с гвоздями в пригоршне левой.

Тут же Дарья Семеновна, колыхнув страусово перо, потащила за руку Надю в последний раз поглядеть на дедушку, а вместе с ними подошел к самому гробу и Алексей Фомич.

Державший уже в обеих руках крышку гроба Егорий пытливо поглядел на них троих секунды три-четыре, потом медленно, но деловито стал прилаживать крышку, а Дарья Семеновна заплакала навзрыд, и Надя обхватила ее за плечи, боясь, чтобы она не упала на гроб.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Так как Дарья Семеновна все-таки, с помощью Анушки и Фени, соорудила поминальный обед для о. Семена с дьяконом и регентом и для братьев Козодаевых, то Сыромолотов тут же после похорон пошел домой, уступив Надю ее матери. Он решил, что для него довольно и того, что он в этот день видел.

Еще будучи профессором живописи в Академии художеств, он часто и вполне убежденно говорил своим ученикам: «Рисуйте всегда! Даже и ложась спать, рисуйте в постели, пока сами собой не закроются глаза, а проснетесь, прежде чем начать одеваться, беритесь за карандаш. Рисуйте, пока ваши глаза видят, а рука действует... Карандаш пусть всегда будет с вами, при вас неотлучно. Чтобы писать красками, нужно подходящее время и подходящее место, а карандаш пусть будет шестым пальцем вашей руки: художник без карандаша — не художник!»

Самому для себя ему не нужно было повторять этого. Он не мог не взять в руки карандаша и тогда, когда вернулся домой с похорон. Он слишком много видел людей в этот исключительный день для того, чтобы не поддаться соблазну набросать каждого из них на память.

Он был один в доме, но все-таки плотно, по привычке затворился в своей мастерской, и в широком альбоме из ватманской бумаги одна за другой начали появляться головы о. Семена, о. Митрофана, регента Крайнюкова, Козодаевых, того старика, который натуженно считал, сколько седмиц прожил Петр Афанасьевич, и многих других, случайно бросавшихся в глаза. Появилась в альбоме и пара разномастных коняг извозчика, везших линейку с гробом, и хорошо удалось занести всю фигуру пьяненького старичка, с поднятою рукою и с ужимкой немалого хитреца на небольшом скомканном лице. Вспомнилось и попало сюда же вздернутое правое плечо калеки с костылем, и за одной старушкой в платочке карандаш, как будто сам собою, начал зачерчивать еще трех согбенных старушек... так часа за два, за три,— Сыромолотов никогда не смотрел на часы у себя в мастерской,— заполнился с десяток страниц альбома, так что можно уж было начать углем на холсте набрасывать все похоронное шествие, если бы явилась мысль написать такую картину, но тут от Дарьи Семеновны вернулись Надя с Феней и начали греметь посудой.

Когда Сыромолотов обедал один, Надя, усталая и с каким-то очень обесцвеченным и отвердевшим, точно гипсовым лицом, лежала на диване и молчала. Но кончился его обед, убрала посуду Феня, и сказала Надя тихо:

— Сядь около, Алексей Фомич.

Сыромолотов подвинул стул к дивану, сел и услышал неожиданно для себя:

— Все тебя осудили там у мамы... А отец Семен даже раза два сказал: «Ну и гордец у вас зятек, Дарья Семеновна!»

— Гм... Вон как! Так и сказал «зятек»? Умалил меня, унизил!.. «Зятек»! — улыбнулся Алексей Фомич.— И что «гордец», это тоже неточно. Я не гордец, а только ценю свое время. Не два века буду жить и не двадцать седмиц, поэтому ценю время. Этим своим основным свойством для общежития неудобен, что давно уже понял и, как видишь, отъединился... И еще одно, самое важное: ведь я художник, а не священник, не чиновник, не член комиссии, не капитан в отставке... Для них эта жизнь, какою они живут, и есть одна-единственная — другой они не знают ведь, согласись с этим!.. А если бы и для меня их жизнь тоже была бы жизнью, то как я мог бы стать художником и быть им до своих ... солидных ведь уже лет? Даже и в доме моем для меня лично вот в этой комнате, называемой столовой, все — иллюзия, как бы сон наяву, а жизнь,— моя жизнь,— только в другой комнате, в моей мастерской. Ведь это, конечно, и с тобой бывает, как со всяким,— ты просыпаешься, но в это время досматриваешь какой-то сон... Сон этот твой ярок во всех деталях, как самая взаправдашняя действительность, только что сочетания этих деталей странные... Странные, да, однако же они существуют в твоем мозгу, пока ты просыпаешься, они живут,— вот в чем фокус,— притом интенсивнейшей жизнью живут.

Тут Алексей Фомич поднялся, начал ходить по столовой и продолжал на ходу:

— Вот хотя бы я сам сегодня, просыпаясь, увидел вдруг очень ясно, как тебя сейчас вижу, что летят к нам двое на крыльях орлиных, а между тем я отлично вижу, что это люди,— молодые, с усиками, один брюнет, другой блондин,— для разнообразия, конечно... Под-ле-та-ют и садятся на крышу сарая. То есть они не садятся, а стоят на крыше и на меня зверски смотрят. Они на меня, я на них,— и вдруг один спрашивает меня: «Это чей дом?» — «Мой дом»,— отвечаю. А тут другой: «Как же ты смеешь иметь дом, когда летать не умеешь?» Я ему, этому, а сам усмехаюсь: «Как так я летать не умею? отлично умею! Смотрите оба и в оба: полечу сейчас, и без ваших крыльев!» И под-

нялся с земли без малейших усилий и полетел... Кругами летал я над ними,— с каждым кругом все выше. А им кричу: «Ну что? Как? Видали?..» А потом опустился на ту же крышу, чтобы посмотреть, из чего у них крылья,— и проснулся тут окончательно и глаза открыл... И вспомнил, что похороны сегодня... Здравый смысл, житейский, в этом сне, конечно, начисто отсутствует. С точки зрения этого здравого смысла на кой черт мне было каким-то этим летунам доказывать, что я тоже могу летать и даже без крыльев? Однако же вот во сне, где здравый смысл отсутствует, это оказалось почему-то необходимым. Так же и в живописи моей: то самое необходимо бывает, без чего люди в жизни превосходно обходятся. Так и вообще случается, что художник пишет, а публика не понимает, зачем это. Однако так же точно и с Коперником и с Галилеем случилось. Солнце вокруг Земли ходит или Земля вокруг Солнца? Ты училась, ты, значит, знаешь, что Земля вокруг Солнца, а между тем ты каждый день говоришь: солнце поднимается, солнце заходит... И никакие Коперники и Галилеи не могли убедить в свое время святейших отцов церкви, что зря библейский Иисус Навин кричал: «Остановись, солнце, над горой Елеонской, чтобы мне засветло укокошить всех до одного моавитян, а то, как опустишься ты, ищи-свищи подлецов этих!..»

— Так энергично он, кажется, не кричал,— вставила безразличным тоном Надя, но Алексей Фомич только махнул рукой и продолжал:

— Великие художники Ренессанса писали что? То, чего никогда и нигде не видели, чего никто не видел,— Сикстинских и прочих мадонн в окружении ангелов, тайные вечери, Страшные суды... А между тем ведь этой иллюзорной жизнью они жили, когда писали свои картины, и благодаря тому, что иллюзиями питались, мечтами, снами, несуществующим, нереальным,— живут и теперь среди нас... Гм... «Рождение Венеры» Боттичелли, например, где и когда это видел Боттичелли? Или «Моисей» Микеланджело, с бородою в пять ярусов и с мышцами Геркулеса Фарнезского! Разве мог быть когда-нибудь и где-нибудь такой Моисей или даже просто вообще человек? Никогда и нигде! Плод фантазии художника, но вот до наших лет дожил и еще будет жить тысячу лет!.. Да, наконец, хотя бы репинскую картину взять «Иван Грозный и сын его Иван»,— так ли это было на самом деле? Это нам неизвестно, но Репи-

ну мы поверили, что именно так, и прапраправнуки наши ему будут верить: именно таков был Грозный, и таков был сын его Иван!

Надя поставила руку на локоть, подняла на нее голову, поглядела на мужа с большою тоской и сказала:

— Ты остаешься самим собою, хочешь ты сказать? А я? Я совершенно разбита!.. Вдвойне: и за себя и за мать... Что же я сказала! Втройне, а не вдвойне: и за Нюру тоже!.. У меня путаются мысли.

— Ты могла бы добавить и меня тоже,— вышло бы вчетверне,— вполне серьезно сказал Сыромолотов.— Война — это казнь! Тем всякая война и страшна, что она — казнь... И вот, если ты хочешь знать, какое впечатление осталось у меня от сегодняшних похорон... Ты меня извини, Надя, тебе может это быть неприятно,— но... извини во мне, человеке, художника... Впечатление же такое, как будто мы не Петра Афанасьевича только, а всю старую Россию хоронили со всеми ее заквасками, со всеми загвоздками, со всеми задвижками, со всею дикостью непроходимой и с поминальными обедами в том числе,— ты уж меня извини,— у меня ведь тоже наболело,— я втрое больше, чем ты, живу в своем милом отечестве. И ты, конечно, не присмотрелась так, как я, ко всему шествию, а ведь это же буквально полумертвецы хоронили мертвеца... Пьяненький-то старикашка один чего стоит! До чего показателен оказался со своей речью!

— Он не столько полумертвец, сколько полный подлец! — решила Надя.

— Однако же из других всех никто и такого слова не сказал! Нет способности говорить речи! Седмицы сосчитать — это еще туда-сюда, кое-как при помощи пальцев смогут, но чтобы «слово» сказать,— нет, не приучены к этому! «Народ безмолвствует»! А время бы уж ему и заговорить! Неужели двух лет такой войны недостаточно, чтобы даже и глухонемые заговорили? Заговорят, заговорят, я чувствую! У нас с тобою в семействе одном сразу две смерти, а посчитай, сколько таких семей на всю Россию!.. Да ведь и не одних только людей съедает фронт,— он все съедает. И людей, и лошадей, и машины,— там все и всех надо кормить, а кто же в окопах сидит и погибает? Те, кого кормильцами зовут. Терпению-то должен прийти конец или нет? И что может потерять от протеста тот, кому уже нечего терять? Разве такая небывалая война может окончиться

ничем? Не-ет, не может, не-ет! Большие причины рождают и большие следствия... Угол падения равен углу отражения.

— К какому же все-таки выводу ты пришел? — спросила Надя, когда умолк Алексей Фомич.

— К какому выводу? — Сыромолотов прошелся еще раз по столовой от стены до стены и ответил: — Собаку хорошую надо бы нам с тобой завести, вот что. Лучше всего бы овчарку.

— Со-ба-ку?.. Алексей Фомич, что с тобою? — не только удивилась такому неожиданному выводу Надя, но даже и встревожилась.— Зачем собаку?

— Видишь ли... как бы тебе сказать... Ты помнишь, как вела себя мадам Дюбарри на эшафоте,— метресса Людовика Пятнадцатого ? Не знаешь, так я скажу... Ее взвели на эшафот, и она увидела перед собою весь Париж и... произнесла знаменитые слова,— самые значительные за всю свою жизнь: «Одну минуту, господин палач!» И господин палач вынул часы и смотрел на их циферблат, чтобы не подарить ей как-нибудь больше одной минуты, она же, приговоренная к казни, смотрела в последний раз на толпу, на Париж, на небо над ним... Но прошла минута, господин палач спрятал часы, сгреб свою жертву и бросил ее на плаху... Момент,— и готово! И лети на небо, душа, если ты была в этом теле!.. Вот так и нам бы с тобою, Надя: хотя бы одну минуту жизни купить, когда придут сюда убивать нас!

Человек с собакой появился на дворе Сыромолотовых утром дня через два после этого разговора. Увидев его в окно, Алексей Фомич с одного взгляда,— взгляда художника,— вобрал в себя и продавца и собаку.

Продавец был не низок ростом, но что называется квелый. Он был в черной, но очень заношенной шляпе, в сильно выцветшем, когда-то синем пиджаке с обвисшими карманами, в сереньких узких брюках, выпяченных на коленях. Шляпа была надвинута низко, почти до самых глаз, и из-под нее более отчетливо видно было только бородку — черную с проседью.

А собака — овчарка с большими твердыми, прямо стоящими ушами, с желтой мордой и такими же лапами, но с темной шерстью на спине и хвосте. Собака была большая, но она сразу показалась Алексею Фомичу чем-то похожей на своего хозяина,— может быть, только голодным видом, худобой.

Так как день с утра оказался теплым, то окно, перед которым стоял Алексей Фомич, было отворено, и хозяин собаки, оглядевшись, подошел прямо к этому окну. В правой руке он держал цепь, а левой слегка приподнял шляпу и сказал словоохотливо:

— Вот, господин художник, привел вам своего я Джона!.. Илья Лаврентьич меня зовут. Я — садовник... И тоже домик свой имею, только что в видах войны нахожусь без места... Подошло одним словом так,— ни сам досыта не поешь, ни собака тоже. Вот какое дело, откровенно вам говоря.

Во все время разговора хозяина черные глаза его собаки, казавшиеся большими на светло-желтой морде, смотрели на незнакомого человека в окне так изучающе-внимательно, что Алексей Фомич счел нужным переспросить:

— Так что, значит, Джоном его зовете?

— Джон, Джон... Со щенят получил такое себе имя. Я его щенком из богатого дома взял. У отца его медаль была серебряная исключительно за одну породу,— бойко сообщал садовник.— Сила большая у отца его была: так что даже семипудовую свинью загрыз и ее тушу по земле волочил сколько-то там расстояния.

— Ну, уж подвиги папаши его мы оставим давайте в покое,— перебил Сыромолотов,— а я вот сейчас на крыльцо выйду, рассмотрю его хорошенько.

И крикнул в другую комнату:

— Надя! Иди-ка Джона смотреть! Мне он почему-то нравится.

— А он на меня не бросится? — на всякий случай вполне серьезно спросила садовника Надя, выйдя на крыльцо вместе с мужем.

Илья Лаврентьич снял перед нею шляпу, показав зализы на лбу, и ответил вполне рассудительно:

— Собака эта, она ведь ученая,— как же она может броситься? Это ей даже и в голову не придет. И понимает же она, конечно, что я вам сюда ее продавать привел. Кроме того, конечно, я ведь ее держу за цепочку.

— Вы говорите «ученая». Это в каком же смысле понимать надо? — спросил Алексей Фомич.

— А в том именно, что все решительно он знает, чему собак учат: что искать, что принесть вам, что получить в свои зубы или там корзинку принесть с базара и также вообще разные собачьи слова: «Нельзя!», «Не-

си!», «Подай!», «Пошел!» — это же он отлично все понимает... А кроме того, долго он может у вас прожить, как ему всего только три года считается.

— Ну вот, вы что-нибудь выньте из кармана, и пусть он мне подаст,— обратилась к нему Надя, но Илья Лаврентьич опустил было добросовестно руку в карман пиджака, однако тут же ее вынул и сказал сокрушенно:

— И рад бы что-нибудь вынуть из карманов, да только что из них можно вынуть, когда ничего в них нету?

Но тут он находчиво нагнулся, поднял с земли небольшую щепку, сунул ее в зубы Джону и приказал, кивнув головой на Надю:

— Подай!

Джон тут же потянул за собой хозяина к крыльцу, и Надя, слегка попятясь, увидела рядом с собой большую, ушастую, желтую, черноносую собачью морду со щепкой в белых зубах, и первое, что она сделала, проворно спрятала за спину обе руки.

— Ну вот! — пристыдил ее Алексей Фомич.— Нет, ты уж возьми, раз он принес!

— И не только возьмите,— добавил садовник,— а еще и скажите ему: — «Вот молодец, Джон!» И по голове его погладьте!

Набравшись смелости после этих слов, Надя протянула руку к щепке, а другую, теперь уже без особого страха, положила на широкий Джонов лоб. Увидев, что этой женщиной соблюден весь ритуал, Джон довольно завилял хвостом, и щепка очутилась у Нади в пальцах, а прямо в ее глаза смотрели очень умные глаза собаки, которую тут же захотелось ей назвать своею.

— Вот подержите теперь его вы сами, господин художник,— передал Алексею Фомичу цепь хозяин Джона,— а он сейчас вам покажет, как умеет искать.

И, взяв у Нади щепку, Илья Лаврентьич сунул ее к носу собаки и пошел за угол дома, выдвигая вперед колени при каждом шаге.

С минуту его не было, и Надя успела усомниться в Джоне:

— Неужели найдет эту? Мало ли у нас щепок валяется на дворе.

— Хозяину лучше знать,— отозвался Сыромолотов.

А Джон внимательно и серьезно разглядывал их обоих поочередно.

— Ну вот, теперь пустите его! — сказал садовник художнику и тут же кивнул собаке: — Джон, ищи!

Тут же кинулся за угол Джон, звякнув цепью о камень, а Илья Лаврентьич предупредительно пояснил:

— Я не кое-как, а очень даже хорошо спрятал, вы не думайте! Я к мошенству прибегать не намерен, как я знаю ведь, кому продаю.

Он хотел было, видимо, добавить что-то еще, но в этот момент прибежал Джон — в зубах щепка, и Надя радостно вскрикнула:

— Та самая! Алексей Фомич, смотри!

— Это, конечно, сущие пустяки,— скромно принял ее похвалу садовник.— Он и ключ может найти, если потеряете, и деньги, и все, что угодно. Собака, одним словом, вполне обученная, а не что-нибудь. А уж сторож какой,— лучше вам и искать не надо!

— И видишь, Алексей Фомич, какой он спокойный!

— Ну, а то разве же он не понимает, что я его, бедного, продавать привел! — обращаясь к Наде, объяснил спокойствие Джона Илья Лаврентьич.— Все он понимает, как все одно любой человек.

— Ну, как же ты думаешь, Надя? Возьмем его, а? Мне, я тебе скажу, он почему-то нравится.

— И мне он нравится тоже,— тут же согласилась Надя,— только вопрос, какая ему будет цена.

— Цена? Цена ровно будет сто рублей.

И, сказав это скороговоркой, садовник посмотрел не на художника, не на его жену, даже не на свою собаку, а куда-то вверх, на угол крыши.

— Сто-о рубле-ей! — протянула Надя.

— Порядочно хотите, Илья Лаврентьич,— поморщился и Сыромолотов.

— Неужели же считаете это много? — очень естественно сделал удивленное лицо садовник.

— А на базаре за пятьдесят продавал!.. И даже дешевле готов был, только что никто покупать не хотел! — укорила его Феня, высунув голову в форточку кухни.

Но на это степенно отозвался садовник:

— Голод всем этим главирует,— вот что! Голод может даже заставить и совсем даром его отдать, чтобы не кормить только, когда и самому нечего есть. Это тоже ведь понимать надо.

— Гм, да-а... Раз он все собачьи слова понимает, то его бы даже и в окопы можно,— сказал Алексей Фо-

мич.— Сто рублей, вполне возможно, ваш Джон и стоит, только я теперь не при деньгах,— в этом дело.

— Слыхал я, что у вас похороны были,— догадался Илья Лаврентьич,— а это уж, конечно, большой расход.

— Так вот, если хотите, восемьдесят дам,— поспешил перебить его Сыромолотов.

Садовник посмотрел на водосточную трубу, потом махнул рукой в знак согласия, но тут же спросил:

— А цепь как? Ведь она же на худой конец пять рублей стоит или нет?

Сыромолотов оставил за собой цепь. Получив бумажки, пересчитав их и даже разглядев на свет, садовник сунул их в карман и с чувством сказал наблюдавшему его Джону:

— Ну, прощай теперь, моя собака верная! Попал все-таки в хорошие ты руки и с голоду не околеешь!

Он протянул Джону руку,— Джон подал ему лапу,— так они простились.

— Цепь держи крепче, Алексей Фомич! А то еще убежит за хозяином, тогда как? — встревожилась Надя.

Но садовник, уходя, только покачал головой.

— Разве же он не видел, что я за него от вас деньги взял? Э-эх, как вы об нем плохо судите! Ну, до свиданья! — И ушел хозяин Джона в калитку.

А Джон, поглядев ему вслед, к удивлению Нади действительно никуда не рвался, а спокойно улегся у ее ног, очевидно вполне признав и ее и Алексея Фомича за своих новых хозяев и решительно ничего против этого не имея.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Дня через три после покупки Джона Надя получила письмо от Нюры. Сестра писала, что из больницы она может уже выйти и может теперь уже сама кормить ребенка, но деваться в Севастополе ей некуда, так как квартирная хозяйка сдала уже ее комнату какому-то пехотному офицеру, и ей остается теперь только приехать к матери в Симферополь. В конце письма Нюра просила Надю помочь ей во время этого переезда, и Надя на другой день рано утром уехала на вокзал, чтобы поспеть к поезду, снова оставив Алексея Фомича в одиночестве, которого он теперь уже начал несколько

опасаться: ведь две роковых телеграммы так недавно пришли в то время, когда она была в Севастополе.

Эти ничтожные с виду клочки бумаги таили в себе большую, как оказалось, взрывчатую силу, и эта сила выхватила сразу так много из привычного круга его личной жизни, что он чувствовал себя пришибленным, скрюченным, прижатым, и не только не мог, даже и не знал еще, как можно ему разогнуться и войти в обличье прежнего самого себя.

Сыромолотов всегда был строг к себе и чувствовал прочность свою на земле только потому, что жил именно так, как подсказывала ему убежденность в своей правоте. «Другие могут себе жить, как им будет угодно,— часто говорил он,— а что касается меня, то я живу так, как мне, художнику, надо! То, что заложено во мне, я должен сделать явным для всех; то, что могу и чего не могут другие,— я должен дать, а от того, что мне способно помешать, должен уметь отстраняться,— вот и все!»

Однако, что это еще не «все», показали ему последние дни, и вот теперь, оставшись один, Алексей Фомич упорно думал на свободе о том, когда и какие допустил он в своей жизни ошибки.

И именно вот теперь, в это утро, когда в саду все дорожки устланы были, как ковром, оранжевыми и желтыми и побуревшими уже палыми листьями, и тишина сада не нарушалась ничем, и небо было высокое, чистое, и не по-осеннему было тепло,— в первый раз за много лет припомнилось Алексею Фомичу, как он познакомился со своею первой женой, матерью Вани.

Тогда, уезжая в июне с Урала, где он был на этюдах, он оказался один в купе вагона второго класса, откуда вышел на какой-то станции старикашка-старообрядец, назвавший себя «жителем» и только. Человечек он был скупой на слова и до того скучный, что даже воспротивился, когда Сыромолотов начал было по привычке зарисовывать его в свой карманный альбомчик. Седенькая «еретица» его была подстрижена клинышком, выцветшие глаза без малейшей мысли, а ручки иконописно желтенькие и маленькие... Так он стал противен Алексею Фомичу, что вздохнул с большим облегчением влюбленный в жизнь художник, когда он вышел.

И вот вдруг ему на смену, уже после второго звонка, вошла к нему в купе рослая девица в коричневом гим-

назическом платье под черным фартучком и спросила певуче:

— Можно к вам сюда?

Он в это время все-таки зарисовывал «жителя» на память, поэтому взглянул на девицу мельком и сказал только:

— Отчего же нельзя!

При ней была только небольшая корзинка, и он полагал, что она в купе ненадолго. Без особого любопытства он спросил:

— А вам куда ехать?

И только когда она назвала город, до которого ехать было целые сутки, он присмотрелся к ней внимательно и увидел, что она вся какая-то пышущая, выпуклая: и глаза, и щеки, и губы, и округлости плеч. Поэтому он сказал:

— Вас кто-то будто послал сюда нарочно для пущего контраста: старикашка, знаете ли, тут сидел такой лядащий, и очень он мне надоел.

— Ого! «Лядащий»! — улыбнулась она.— Я видела, как он вышел из вагона... Это — наш воротила, купец Овчинников: его в миллионе считают!

— Во-от ка-ак! Целый миллионер!.. А не сектант ли он какой-нибудь, а?

— Да, есть за ним такой грех... Старообрядец.

— А вы... В какой же это класс перешли? В восьмой, если не ошибаюсь?

— В восьмой, да.— И тут же добавила, как будто затем, чтобы предупредить другие вопросы: — Еду по даровому билету: у меня отец — начальник станции.

— А цель этих ваших стремлений? — все-таки спросил он.

— Тетка,— улыбаясь, ответила она и показала все свои радостные зубы.— Я к ней каждый год на каникулы езжу.

— А зовут вас как... по имени-отчеству?

— Зачем вам еще и по отчеству,— удивилась она,— когда я просто Варя?

И тут же спросила сама, кивая на его альбомчик:

— А вы, наверно, художник?

— Так точно,— почему-то по-военному ответил он тогда,— и сейчас же приступлю к своим обязанностям.

Но едва он раскрыл сложенный было альбом, как она кинулась к окну: отходил поезд. Кому-то на перроне кивала она головой и махала платком: может быть,

отцу, начальнику станции. Но это тянулось всего с полминуты, и когда она снова села, он даже не спросил ее, с кем она прощалась,— сказал только:

— Глядите теперь куда хотите, только сидите спокойно: это надолго.

Неожиданно отозвалась она:

— А потом я вас буду рисовать,— идет?

— Отчего же не идет, если можете.

— Ого! У меня пять по рисованию — и... «не могу»!

— Эге-ге-с! — протянул он.— Так вы, стало быть, нашего поля ягода! Пять по рисованию! Скажите, пожалуйста! И кто же это там, в вашей гимназии, такой щедрый на пятерки по рисованию? Сам-то он художник?

— Разумеется,— а то кто же?

Она даже как будто обиделась, а он, поминутно взглядывая на нее и действуя карандашом, приговаривал:

— Вот это самое и называется в просторечьи: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь»... Или как многие добавляют в таких случаях: «На ловца и зверь бежит»... Впрочем, насчет зверя, чтобы он непременно на ловца бежал, я сильно сомневаюсь, а вот «рыбак рыбака видит издалека», это к данному случаю гораздо больше подходит...

Когда рисунок он окончил, она вполне непринужденно выхватила у него из рук альбомчик, пригляделась к рисунку и сказала непосредственно:

— Здорово!.. Знаете ли, я себя узнаю, а тем более всякий, кто меня знает, узнал бы с первого взгляда!

И тут же, не посмотрев даже всех других зарисовок в альбоме,— что его очень удивило,— потянулась за его карандашом, говоря:

— Давайте-ка я теперь вас!.. Ну, вас с такой шевелюрой нарисовать очень легко! Только вы, смотрите, не шевелитесь!

— Замру, как соляной столб! — отозвался на это он по-деловому. И действительно замер, наблюдая все ее движения, как могут наблюдать только художники.

Она же прищуривалась, «заостряя» глаза, когда на него взглядывала, и плотно сжимала губы, когда действовала карандашом, из чего он вывел тогда, что именно так, а не как-нибудь иначе, рисовал с натуры ее учитель рисования. Поэтому он и спросил тогда:

— Старичок он у вас, должно быть?

— Кто это «он»? — не поняла она.
— Да этот самый,— ваш учитель.
— А вы почем знаете?
— По вашим приемам.
— Угу... конечно, постарше вас.
— Никаких картин не писал, разумеется?
— Не знаю.
— А как ваше отчество?
— Ого, опять отчество? Я вам сказала, что я просто Варя.
— Варя так Варя... Мне же легче вас звать.
— Только не разговаривайте!
— Молчу, как пенек.

Впрочем, не прошло и минуты, как она разрешила ему говорить,— спросила:

— А ваше как имя-отчество?

Он сказал и добавил:

— Так меня и зовите — Алексей Фомич: я привык, чтобы меня так звали,— полностью.
— Вы еще, пожалуй, скажете, что вы известный?
— Да, вот именно,— известный,— подтвердил он.
— Это другое дело.

Она поглядела пристально на него, потом на свой рисунок, пожала плечами, несколько выпятив при этом губы, и, подавая ему альбомчик, сказала даже как бы виноватым тоном:

— Это все, на что я способна, Алексей Фомич!

Он только скользнул глазами по ее рисунку и тоже пожал плечами.

— Пять по рисованию вам ставили? Не верю, простите! Покажите-ка мне ваш дневник!
— Что? Очень плохо? — забеспокоилась она.— А вы бы сколько поставили?
— Двойку.
— Разумеется, если вы известный художник...
— Вот тебе на! «Если вы известный художник»! — передразнил ее он.

Но тут же, чтобы загладить это, вырвавшееся невольно, добавил:

— Я картины пишу, выставляю, их покупают для картинных галерей, а вы... За кого же вы меня приняли? За любителя сих упражнений?

И так как в это время поезд остановился на небольшой станции, по которой быстро ходили девочки с жа-

реными поросятами на широких деревянных мисках, он закончил как-то совсем неожиданно для себя:

— А может быть, нам с вами, Варя, поросенка купить, а? Сейчас-то голод нас не мучит, но имея в виду будущее...

— А в будущем там этих самых жареных поросят на всех станциях для всех пассажиров хватит! — с презрением ко всяким поросятам, и жареным и даже живым, махнула рукой Варя и даже от окна отвернулась.

Но тут очень громкий, хотя и старый голос пропел за открытым окном:

— Вот воро̀нии яйцы, воро̀-онии яй-цы-ы!

— Эге! Вы слышите, Варя! Вороньи яйца тут продают! Этим-то вы уж соблазнитесь, конечно,— живо обратился он к ней, сам удивленный.

Но она отозвалась не улыбнувшись:

— Это татарин-старик! И вовсе не вороньи яйца, а куриные, только ва́реные!

Места, по которым пришлось тогда ехать ему, действительно оказались очень сытные, а Варя скоро забыла свою неудачу; сказала только: «Ну, раз вы настоящий художник, то куда же мне с вами тягаться!» — и больше уж не прикасалась к его альбомчику.

Ему же, чем дальше он ехал с нею, все больше и больше нравилось быть вот так вместе, рядом и ехать куда-то и говорить о чем-то, что касалось только ее. Сам не понимая, почему, очень близко к сердцу принимал он все ее интересы.

Он узнал от нее, что мать ее умерла года два назад, заразившись дифтеритом от соседского мальчика, которого ей хотелось спасти, и что с мачехой, так как отец женился не так давно, она, Варя, как ни старается, никак поладить не может, почему и едет теперь к тетке, вдове, еле сводящей концы с концами, так что она, конечно, будет ей только в тягость. Тетка эта служила кассиршей в магазине и была занята целыми днями.

Вспоминая это в своем саду, Алексей Фомич отчетливо припомнил, как сказал он ей тогда, в вагоне:

— Выходит, Варя, что у вас ничего за душой: нет матери, нет и отца, потому что ему уж теперь не до вас: новая жена,— значит, новая семья... Да можно считать, что нет и тетки, раз она всего только кассирша в магазине и получает за это, конечно, гроши... Если бы вы вдруг оказались в большой беде, чем бы могла она вам помочь? И не на кого вам, значит, опереть-

ся, если бы вы вздумали после гимназии поступить, например, на курсы... А между тем вы жизнерадостны. Что значит молодость!

И теперь неотступно ярко припомнилось ему, что он увидел после этих своих слов слезы в ее глазах. Варя смотрела тогда в окно, пряча от него глаза, но слез спрятать она не могла, так как за первыми следом появились вторые, третьи, и она хмурила брови, недовольная этой своей слабостью, а слезы неудержимо катились по ее щекам.

Тогда-то именно он и сказал ей решенно:

— Ну, ничего, не плачь, Варя! Думай так, что твоя покойная мать вошла вместе с тобою в мое купе... Так тому и быть: не тетка твоя, а я о тебе позабочусь!

Говорить кому-нибудь «ты» было совсем не в привычках Алексея Фомича, и он сам не заметил, как это у него сказалось «ты».

Просто она показалась ему тогда вдруг маленькой девочкой, брошенной в водоворот жизни не на чью-нибудь заботу о ней, а только на его личную. Она же, Варя, как будто тоже в этот миг прониклась вся целиком его к ней участием и подняла на него совсем детские, хотя и в слезах еще, но такие сияющие глаза...

Этот долгий и благодарный взгляд, из всей самой сокровенной глубины ее идущий, как солнце, прянувшее на поля после летнего дождя, и притянул его, известного художника, к ней, еще гимназистке, только что перешедшей в последний, восьмой класс, где она должна была сменить свое коричневое платье на серенькое, неизвестно почему и зачем введенное для восьмиклассниц.

Носить это серенькое платье Варе уже не пришлось, и к тетке-кассирше она не заезжала: она поехала туда, куда направлялся он,— в Архангельск, где летом солнце как бы боится опуститься в слишком холодные зыби Белого моря: только прикоснется к ним и стремительно начинает подниматься опять в бледно-голубое небо, спасая свой пыл и свое сиянье.

Там, в Архангельске, и Варя обзавелась этюдником и, сидя рядом с ним и поминутно заглядывая в его холст, как школьница в тетрадь своей соседки по парте,— гораздо более способной соседки,— пыталась делать этюды маслом, а он говорил ей добродушнейшим тоном:

— Это меня в тебе поражает, Варя! У тебя совсем нет почему-то чувства тона. Даже и заглядывая все вре-

мя ко мне, ты все-таки кладешь гуммигут вместо золотистой охры, а вместо берлинской лазури кобальт!

— Не чувствую тона? — возражала она задорно.— Это просто потому, что меня эти здешние тона твои совсем не волнуют. Я к ним отношусь хладнокровно, если ты хочешь знать. А вот если бы вместо Белого было передо мною Черное море, тогда бы совсем другое дело.

— Черное море велико,— пытался он ее понять.— О какой именно местности ты думаешь, когда говоришь это?

— Да вот хотя бы Крым, например!

— Есть Крым, есть и Кавказ... Есть Тамань, Геленджик, Одесса... Все это на берегах Черного моря.

— Мне хотелось бы только в Крым! — пылко сказала она.

— Что же тут такого неисполнимого? Крым так Крым! Долго ли умеючи! Никто не помешает прямо отсюда взять да и двинуться в Крым.

— Правда? Поедем? В Крым? — И она бросила палитру свою и кисть на землю, довольно далеко от себя кинула неодобренный им этюд, и как же бурно тогда она его целовала!

И весь конец лета, и всю осень он провел с нею в Ялте, в Алупке, в Мисхоре, где она уже совсем не прикасалась к этюднику, говоря часто:

— Нет, куда уж мне покушаться на красоту такую! Это только тебе впору, Алексей Фомич, а у меня выйдет что называется покушение с негодными средствами!

В Ялте они и венчались, так как тогда она была уже беременной, а в декабре поехали в Петербург, где и родился Ваня...

Медленным своим шагом, который местные остряки прозвали «мертвым», Алексей Фомич двигался по аллейкам сада, и странно было ему самому наблюдать работу своего воображения, которое почему-то не захотело теперь отходить от купе вагона второго класса, в котором сидел он один... Вдруг отворяется дверь этого купе, и в его пустынность, в его анахоретство входит девушка в коричневом платье с черным передником и говорит улыбаясь: «К вам сюда можно?» — и он тоже улыбался ей в ответ и говорил, делая широкий пригласительный жест: «Отчего же нельзя?.. Входите, располагайтесь!»

«Была ли сделана тогда мною ошибка?» — думал он теперь, но, сколько ни думал, не находил ошибки.

Тогда он не был старик, как теперь; тогда он был еще молод; перед ним только еще открывалась широко жизнь, и входила в его купе та, с которой предстояло ему долго потом идти одной дорогой, как бы ухабиста она ни была.

Он никогда и раньше не приходил к мысли, что совершил ошибку, связав тогда судьбу свою с Варей, как не роптал в глубине души и на то, что в его купе вошла курсистка Надя, но... конечно, и в первом случае и во втором могли бы войти и другие...

И вот теперь, когда он был один в своей мастерской, к которой причислял и сад этот, он сузил игрою воображения мастерскую до тесных размеров вагонного купе, он отбросил самого себя лет на тридцать назад; он смотрел в причудливый переплет оголенных сучьев и веток,— не видя его, однако, так как с чрезвычайной яркостью отворялась перед ним дверь купе, входила новая для него с сиянием юных одаряющих глаз и спрашивала певуче: «Можно ли в этой пристани стать на якорь?» — и он делал свой широкий пригласительный жест и говорил улыбаясь: «Пожалуйте! Бросайте якорь!»

Они сменяли одна другую, их было много, они были разные, и говорили каждая по-своему и о своем, и женственное в них проявлялось у каждой по-своему, и одна как бы дополняла собою другую, только что, неприметно для его глаз покинувшую его купе.

То делая свои медленные шаги, то останавливаясь, то садясь на скамейку,— единственную и рассчитанную только на двух человек,— Алексей Фомич был поглощенно занят, как в каком-то спиритическом сеансе, вызыванием юных, очень много обещающих девичьих лиц и ведь не бессловесных, нет... Они так много, так горячо, так умно говорили, все эти входившие в его купе, что он едва успевал придумывать, что бы такое ответить на их вопросы.

Он понимал, он чувствовал, что творится с ним что-то странное, но из-под власти этого странного ему не хотелось уходить и не хотелось идти в дом и привычно браться за карандаш, уголь, кисти. Он даже и на часы не хотел смотреть... И где-то подспудно роились в нем мысли, что зачем-то нужны ему эти видения, что они таят в себе какой-то особый смысл...

И только громкий отрывистый лай новокупленного Джона оглушил его и заставил самого его очнуться,

а купе вагона исчезнуть: это Феня вздумала послать собаку сказать хозяину своему, что уже пора обедать.

Джон тыкался влажным черным носом в полу его осеннего пальто и, сбочив голову несколько на правый бок, так что левое ухо его оказалось гораздо выше правого, смотрел на него большими умными, явно говорящими глазами.

— Молодчина ты, Джонни,— вполне молодчина! — тронуто сказал Алексей Фомич, потрепав его по шее и погладив по лбу.— Непременно сегодня же напишу тебя именно так: голова направо и вниз... Очень ты мне нравишься в таком виде.— И все время, пока Сыромолотов говорил так, Джон, чуть-чуть изменяя наклон головы, внимательнейше глядел ему в глаза и следил за движением его губ, точно и в самом деле стремился понять каждое его слово.

Алексей Фомич вспомнил, что бывший хозяин говорил об его уменье искать, нашел в кармане давно уже валявшийся там гривенник, поднес его к самому носу собаки, отошел потом в сторону, положил монетку в середину кучи опавших листьев, возвратился снова на дорожку, где стоял Джон, отвернув голову в сторону дома, и сказал ему тихо:

— Ищи!

А не больше как через минуту Джон уже стоял перед ним с гривенником в зубах и вилял пухлым хвостом, но без особого оживления, точно хотел этим показать, что подобных детских задач неловко даже и решать собаке такого высокого класса, как он.

Когда Сыромолотов вошел в дом, он сказал ставившей на стол тарелки Фене:

— Ну, знаете ли, Феня, вам просто посчастливилось, а в результате мне, конечно, найти такую собаку, как этот Джон.

— Какое же тут может быть особенное счастье,— почему-то хмуро ответила на это Феня,— когда я этого человека уж дней пять на базаре видела. Ходит, всем говорит: «Купите собаку, сторожа верного!» А кому ни скажет, сколько за нее просит, все носы от него воротят. «Теперь, говорят, не только что за собаку такие средства платить, а хотя бы нам самим кто дал столько заработать, да еще и прокорми поди собаку такую, когда и самим кушать нечего!»

— Это кто же так говорил?

— Кто? А кто же, как не те, какие на базар ходят! Конечно, богатые люди на базар сами не ходят, а бедному, ему сторожа верного не требуется, как у него сторожить даже и нечего.

— Да, отчасти это так, разумеется: собака не кусок хлеба, ее не съешь... Хотя, читал я, какой-то из русских царей подарил китайскому богдыхану свору гончих собак для охоты, а потом посол русский спросил китайского придворного,— мандарина,— понравились ли гончие богдыхану. И что же на это придворный ответил? — «О-о! — говорит.— Они под кислым соусом изумительно оказались вкусны!»

— А может, и у нас время такое настанет, что и собачатине люди будут рады? — совсем неожиданно для Сыромолотова спросила Феня.

Он поглядел пристально на ее посуровевшее лицо, удивился ее какому-то новому прищуру глаз и занялся борщом, сказав:

— Чего не знаю, того не знаю... Будет такое время или нет,— поживем, увидим. А пока что вот борщ хорош.

Он думал этой похвалой смягчить Феню, но она не смягчилась.

— Как говядина в нем варилась, так чем же он должен быть плохой! Коров, конечно, режут несудом, потому как зима заходит, а бедным людям где для них сена взять? Покорми-ка их зиму,— с ними наплачешься... Так то же все ж таки корова, она для человека полезная, а не то что собака, какую только знай корми. Богатые, они, конечно, могут себе позволить собак покупать.

— Так вы, значит, недовольны этим, Феня? Так и запишем. Но что делать,— собака оказалась нужна, и она куплена.

— Богатые люди, конечно, они по своим достаткам живут,— буркнула Феня, уходя из комнаты, а когда она вернулась, внося жаркое, Сыромолотов спросил ее:

— Кажется, Феня, по-вашему, и я богатый?

— Ну, а то разве бедный, дом такой имея! — как бы даже удивилась такому вопросу Феня и добавила строго: — Бедные люди таких домов не имеют!

Это было новое в ней: прежде Сыромолотову не приходилось этого слышать.

— В таком случае, чтобы мне вас нечаянно не обидеть, скушайте сами эти котлеты, что вы мне принесли, а я уж так и быть обойдусь! — сказал он ей кротко и встал из-за стола.

Потом, усадив перед собою в мастерской Джона и взяв подходящего размера холст, палитру, кисти, он стал разговаривать с ним, как со всяким из своих натурщиков, чтобы вызвать сосредоточенность в глазах, и с изумлением увидел, что Джон слушал его, сбочив голову именно так, как ему хотелось.

И точно отлично привык уже он быть натурщиком, и точно двадцать — тридцать художников писали уже его портреты, Джон высидел весь сеанс с очевидным полным сознанием важности этого дела. Сыромолотов же, видя, что этюд получается у него очень удачным, время от времени произносил: «Браво, браво!.. Молодчина ты оказался!.. Брависсимо! Никак от тебя этого не ожидал!»

Однако, когда солнце, как заметил по своему холсту Сыромолотов, стало заходить, Джон повернул голову к окнам в сторону калитки и сначала зарычал тихо, потом грознее, наконец залаял во весь голос и кинулся в полуоткрытую дверь.

— Неужели приехали? — самого себя спросил Алексей Фомич и себе же ответил: — Вполне возможно.

И как был,— с палитрой и кистями, пошел вслед за своим натурщиком.

Что это действительно приехала Надя и привезла Нюру с ее младенцем, об этом нетрудно было догадаться, так как свирепый лай Джона вдруг оборвался: точно кто-то урезонил его, что не принято лаять на своих.

Когда Алексей Фомич положил на шкаф в прихожей палитру и кисти и вышел на крыльцо, Надя, с белым свертком в обеих руках, ребенком сестры, шла от калитки рядом с Нюрой, а за ними показалась, едва протискавшись в калитку, Феня, с чемоданами, хотя и не маленькими на вид, но как будто легкими и, обнюхивая один из этих чемоданов, подпрыгивал около нее возбужденный таким событием Джон.

И вот когда к крыльцу в первосумеречном свете и в запахе нагревшихся за день опавших листьев шла вместе с Надей Нюра, Алексею Фомичу стало вдруг понятным, почему это все утро до обеда представлялось ему назойливо купе вагона и те, кто входили в это купе.

Тогда только подходила еще, а теперь вошла Нюра, и без ребенка, точно и не была замужем. И ребенок был как будто и не ее совсем, а Нади, которая так бережно его и несла. Нюра же шла как бы девушкой, ищущей и пытливой, куда более молодой на вид и более красивой и одетой заботливей, и взгляд ее глаз, пойманный зорким глазом художника еще издали, показался ему более глубоким, чем Надин... Вот подойдет к нижней ступеньке крыльца и спросит певуче: «Можно мне расположиться тут у вас?» А у него уже готов для нее ответ:

— Пожалуйста, располагайтесь, как у себя дома!

Но первое, что он услышал, было не Нюры, а Нади:

— Понимаешь, Алексей Фомич, Алеша-то всю дорогу спал себе непробудно и сейчас спит! Посмотри, какой!

И она тихонько отвернула что-то белое, из-за которого показалось маленькое, кругленькое розовое личико с закрытыми глазками; и прежде чем поздороваться с Нюрой, Алексей Фомич наклонил свою большую голову над этим личиком и только после того, как на возбужденный вопрос Нади: «Правда, хорош?» — ответил: — «Очень хорош!» — повернулся к Нюре, смиренно стоявшей рядом, и, не сказав ей ни слова, обнял и поцеловал в открытый заломом синей осенней шляпки левый висок.

Через час, когда уже совсем смерклось, когда закрыли ставни, зажгли лампы и сели за стол, на котором приветственно пел самовар, Нюра подробно рассказала Алексею Фомичу о своей квартирной хозяйке, а когда рассказала все, что могла, перешла к тому, что занимало Сыромолотова гораздо больше,— к аресту мужа.

— Какие же все-таки обвинения предъявлены Мише? — спросил Сыромолотов.— Ведь не могли же так вот, здорово живешь, прийти и забрать его!

— Отчего же не могли, раз был такой приказ начальства? Именно так и сделали: пришли и приказали одеться и выходить вместе с ними. Называется это у них арест предварительный,— объяснила Нюра.— Миша мне и до этого говорил, чего хочется Колчаку: создать видимость того, то на «Марии» готовилось восстание матросов.

— Как на «Потемкине» в девятьсот пятом году,— подсказала Надя.

— И как на «Очакове»,— добавила Нюра.— А то еще было, он мне говорил, на Балтийском море ровно год назад... Там тоже маленькое волнение матросов было, совсем неважное, из-за какой-то каши, какую дали на ужин вместо макарон... Это на линкоре... сейчас вспомню... «Гангуте»... Ни до чего серьезного дело там не дошло, кашу выбросили за борт, а вместо нее дали матросам консервов, и никто из офицеров не был убит, и ни в кого из матросов офицеры не стреляли,— вообще обошлось без жертв, как говорится, а все-таки что же начальство сделало? Приказал командующий флотом окружить этот самый «Гангут» миноносцами и подводными лодками и самым варварским способом его взорвать, нисколько его не жалея, а ведь он огромный корабль!.. Так что, если бы только хоть один на нем выстрел услышали,— значит, бунт, конечно: взрывай его и топи!

— Чем же виноват этот самый линкор, чтобы его топить? — захотел узнать Сыромолотов.

— А чем виноваты офицеры на нем? Ведь если не все, то многие все-таки могли бы погибнуть при взрыве, как и на «Марии» погибли!

— Чем виноваты, говоришь? А вот именно тем, что не сумели держать команду в ежовых рукавицах! Вот за это и иди вместе с ней ко дну! — пылко объяснила Нюра.— Нам, дескать, такие офицеры не нужны! И не только какой-то один «Гангут»,— весь флот могли бы взорвать, лишь бы революция не началась! Вот как напугали правительство наши черноморцы в пятом году!

— Хорошо, что ты мне сказала насчет «Гангута», Нюра,— я ведь этого совсем не знал,— заговорил медленно Сыромолотов.— Ведь Колчак, он к нам в Севастополь из Балтийского флота и, кажется, там именно эскадрой миноносцев командовал... Никакой не будет натяжки, если допустить, что он-то и получил год назад приказ взорвать «Гангут» во избежание бунта матросов. Значит, практика в этом деле у него была. А почему бы не мог он вообразить и теперь у нас, что «Мария» — это тот же «Гангут», так как на ней матросы не были в восхищении от его похода на Варну? Не восхищаются командующим, значит, жди от них разных козней. Поэтому, дескать, лучше всего эту «Марию» взорвать... Что и было сделано по его приказу!

— А Миша зачем же в таком случае арестован? — спросила Нюра.

— Вот на! Зачем? Затем же, зачем вор кричит, когда убегает: «Держи во-ора!» Вот за этим самым. Надо найти козла отпущения.

— Все-таки тебе, Алексей Фомич, надо бы съездить в Севастополь, поговорить с Колчаком,— сказала Надя, но Сыромолотов только усмехнулся:

— О чем говорить? Я ему про Фому, а он мне про Ерему? Разве не знает кошка, чье мясо съела? Еще, пожалуй, подумает, что я добиваюсь чести его портрет написать! Эти всякие честолюбцы и карьеристы, они на том и стоят, что художники должны все гуртом, сколько их есть, писать их портреты, а поэты, все, сколько есть, в стихах их славословить! Ты знаешь, сколько поэтов во Франции написали стихи на рождение сына Наполеона?.. Не знаешь? Тысяча триста! Вон сколько нашлось тогда негодяев во Франции, найдет и Колчак для себя и поэтов и портретистов, только я не попаду в их число.

Нюра с полминуты смотрела на Алексея Фомича и выкрикнула для него неожиданно:

— Так вы, значит, ничего... ничего не хотите сделать для нас с Мишей?

И как тогда, давно, в купе вагона, у Вари, глаза ее стали набухать слезами, отчего Сыромолотов поморщился, говоря:

— Не «не хочу», а «не могу», что ведь совсем не одно и то же!.. А добавить к этому я могу то, что, помоему, ни мне, ни кому-либо другому даже и хлопотать о Мише не стоит,— вот что!

— Почему?

— Потому что я художник и мыслю образами, а не силлогизмами,— вот почему!

— А что это значит «мыслить образами»?

Сыромолотов поглядел на Нюру строго,— не придирается ли просто к его словам, но увидел откровенно непонимающее молодое лицо и заговорил, подбирая слова, как бы объясняя и себе тоже:

— Мыслят люди обыкновенно как? Из опытов делают предпосылки и посылки, а из них уже выводы, заключения... Сорок или сто выводов дают в сумме общий вывод, и тогда говорят: «Незнанием законов не отговаривайся!..» А у нас, у художников, не силлогизмы, а картины... Одна, другая, двадцатая, сотая, и вот художник через эти картины делает прыжок в будущее,— львиный прыжок, поэтому безошибочный... Логически

мыслящие вычисляют, а мы, художники, постигаем... «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?..» Это логически мыслящий Олег сказал кудеснику, то есть чудеснику, то есть художнику... И художник ответил ему картиной: «Примешь ты смерть от коня своего». А ведь Олег этот тоже был «Вещий», а не то чтобы густомысл какой! Однако «любимцем богов» оказался чудесник,— художник.

— Ну, хорошо, вы «мыслите образами», а дальше что? — вырвалось у Нюры.

— А дальше вот что. Книга грядущего для меня, художника, ясна, и я в ней читаю, что... Пройдет каких-нибудь несколько месяцев, и... начнется кавардак со стихиями! И Миша-то твой уцелеет, благо под замком сидит, а вот уцелеет ли Колчак, это еще бабушка надвое сказала!.. У матросов на «Гангуте» не в каше, конечно, было дело, а в том, что им не за что было воевать, и они это пытались громко сказать, но... поторопились: не назрел еще нарыв, не пришло время для взрыва общего. А теперь мне, художнику, видно: назревает взрыв! Не на «Марии» только, а всероссийский!.. И не матросы только, а и солдаты на фронте, и все, кто не может теперь даже собаку свою прокормить здесь в тылу, все будут кричать весьма в тон, как под култышку здешнего безрукого регента Крайнюкова: «Долой войну!..» А «Долой войну!» — это значит долой и всех, кто эту войну затеял и кто, как Колчак, стремится в ней проявить так называемые военные таланты!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Был уже конец октября.

Нюра с неестественно появившимся на свет младенцем Алексеем переселилась в дом к матери. Надя, недружелюбно смотревшая на Алексея Фомича после его отказа ехать к Колчаку хлопотать об освобождении Калугина, начала бо́льшую часть каждого дня проводить у сестры, и Сыромолотов начал было уж думать, не съездить ли ему для восстановления спокойствия Нади в Севастополь, как вдруг, совершенно неожиданно, он из мастерской своей услышал чей-то знакомый мужской голос; кто-то спрашивал о нем, знакомо называя его по имени-отчеству. Силясь догадаться, кто бы это мог быть, Сыромолотов отворил дверь и увидел Калугина.

— Свят, свят, свят! — вскрикнул он невольно.— Какими судьбами? А я уж собирался было ехать вас выручать!

И он расцеловался на радостях со свояком своим, как не делал этого раньше даже при появлении у него родного сына.

Михаил Петрович вид имел усталый, осунулся с лица, но глаза его были с живыми искорками и улыбались губы. Повязки на голове уже не было. Появились коротенькие пока еще волосы, но заметны стали и небольшие плешины от ожогов.

— Кто же вас освободил? Сам Колчак? — не терпелось узнать Алексею Фомичу, но Калугин ответил несколько таинственно:

— Следственная комиссия из Петрограда.

— Вот как! Комиссия?.. Постарше, должно быть, самого Колчака?

— Именно, постарше!.. Только это ведь очень долго рассказывать, Алексей Фомич. А где же Нюра?

— Нюра не у меня уж теперь,— у Дарьи Семеновны... Там теперь и Надя... И знаете ли что, Михаил Петрович? Поедемте-ка и мы с вами туда,— быстро решил Сыромолотов,— обрадуете всех там, обрадуете! И Надя, наконец, перестанет смотреть на меня косо. Без моего вмешательства все устроилось как нельзя лучше!

Минут через двадцать оба они подходили к дому Невредимовых, и Алексей Фомич не только не расспрашивал свояка о подробностях его освобождения, но старался сам поподробнее рассказать ему о Нюре, как она наблюдает своего «Цезаря», хотя тот предпочитает сон всем другим проявлениям жизни.

Когда у человека круто ломается налаженная за долгие годы жизнь, то он теряется, он ошеломлен, он подавлен нахлынувшей на него бедой. Потеряв в один день и Петра Афанасьевича и Петю, Дарья Семеновна потеряла и уверенность в нужности всех своих ежедневных дел по хозяйству. И незнакомый ей раньше страх смерти охватил ее со всех сторон. Поэтому приезд Нюры с ребенком стал для нее возрождающим: в опустелый дом вошла новая жизнь.

Именно она, поставившая на ноги своих восьмерых детей, могла теперь взять в опытные старые руки пер-

вого своего внука: жизнь продолжалась. На ее руках и был маленький Калугин, когда вошли в комнату его отец, а вместе с ним Алексей Фомич. И это была вторая ее радость, от которой она просияла вся изнутри. Она не видела никогда раньше своего зятя, но не столько узнала его по фотографии, бывшей у Нюры, сколько почувствовала, что это и не может быть никто другой, раз привел его сам Алексей Фомич.

— Нюра! — тут же крикнула она в другую комнату.— Нюрочка! Скорей!

И Алексей Фомич увидел картину огромной человеческой радости, которую так же трудно было бы передать на холсте, как радугу в последождевом небе.

Нюра вбежала в комнату вместе с Надей, и Алексей Фомич хотел было шутливо сказать жене: «Ну вот я и вымолил у Колчака Мишу!» — но такая шутка только понизила бы торжественность минуты. Не только Нюра, и Надя тоже в одно время с нею обняла Калугина, как самого родного из людей, и Алексей Фомич был растроган этим.

И когда после первых отрывочных фраз, уже известных ему, Калугин, сев за стол, спокойным уже и ровным голосом начал рассказывать, как его освободили, глаза художника делали свое привычное: остро ловили выражения лиц и прятали пойманное в неисчерпаемую память.

— Представьте себе севастопольский вокзал,— говорил Калугин.— К нему подходит поезд, и из вагона на перрон выходят два толстых человека в форме адмирала, и один из них говорит другому: «Я все-таки совершенно не понимаю, зачем нас командировали сюда из Петербурга и что такое мы можем узнать здесь у Колчака!..» — А в это время некто в штатском говорит громко другому тоже в штатском: «Ну вот и явилась в Севастополь комиссия расследовать дело о гибели «Марии»!»

Так, я слышал, рассказывал один из членов комиссии конструктор военных судов Крылов. А другой член комиссии был адмирал Яковлев. Из этого можете понять, до какой степени было засекречено наше несчастье: правительство посылает из Петрограда в Севастополь не кого-нибудь, а высокопоставленных, однако и им не говорит, зачем именно их посылает, а коренные севастопольцы, болея о гибели «Марии», сразу догадываются, что эти двое новых в высоких чинах слезли с поезда не так себе, а с казенными печатями на бумагах в своих карманах. Словом, это были своего рода

Бобчинский и Добчинский и сказали: «Э-э!..» Конечно, тут же с приезда явились Яковлев и Крылов к адмиралу Колчаку и развернули свои действия в соответствии с «секретным предписанием...» Разумеется, явление из ряду вон выходящее: не в бою, а в своей же родной бухте погибла краса и сила Черноморского флота! Причины гибели этой должны быть выяснены не домашними средствами... Не какой-то там следователь Остроухов или Лопоухов, а лица гораздо повыше его рангом должны этим заняться и привести тут все в ясность... А также наветы на людей, совершенно не причастных к делу, как я и матросы, чтобы были сняты, потому что со всех точек зрения это — совершенно идиотский произвол местной власти.

— А Колчак тоже был членом этой следственной комиссии? — спросила Надя.

— Когда вызван был я, его не было, но, конечно, вполне возможно, что он появлялся там, когда не был занят по службе,— почему бы могли его не допустить? — раздумывая, сказал Калугин.— Ведь следствие касалось не его личных действий, хотя... «Мария» была затоплена по его приказу: он приказал это одному своему адъютанту, старшему лейтенанту,— опасался взрывов более страшных от детонации... Словом, я-то лично не видал Колчака, когда меня вызывали, но кто же мог запретить ему быть на допросе других. Опрошено было всего, говорят, человек триста — офицеров и матросов — работа большая. Исписали много бумаги.

— Ну, хорошо... А тебя о чем спрашивали? О чем следователь или другие? — полюбопытствовала Нюра.

— Показания свои, следователю какие я написал, я видел на столе перед адмиралом Яковлевым, но так как,— предполагаю это,— ему уже надоела версия — свои матросы взорвали «Марию», он в бумажку эту и не глядел даже. Он только спросил, какой институт я окончил и когда я был в крюйт-камере... Вообще из его вопросов,— а другой член комиссии, Крылов, задал мне всего один только вопрос,— я убедился, что мнение у них уже составилось и я им, в сущности, был уже не нужен. У них уже было решено, что и я и другие, кто был арестован, должны быть освобождены немедленно... Так мне и сказали: «Вы свободны!»

— А что же все-таки нашла эта комиссия? Какая причина взрыва? — захотел узнать теперь уже Алексей Фомич.

— Насколько я сам понял,— чей-то злой умысел, только не со стороны своих, а со стороны тех, кто с нами воюет... Версия о самовозгорании бездымного пороха отброшена комиссией, так я слышал; небрежность матросов тоже... Злой умысел врага,— вот что удалось мне слышать, но хорошо и то, что хоть с экипажа «Марии» снят навет. Как проник враг на военный корабль,— это строй какие хочешь догадки, но хоть нелепейшее обвинение своих же матросов теперь должно быть снято.

— Может быть, подводная лодка? — сказала Надя, но Калугин отмахнулся рукой.

— Нет, это отпало еще до приезда комиссии... А что касается поведения матросов при тушении пожара на «Марии», то оно, как теперь выясняется, было прямо геройским!.. Я ведь что же мог видеть сам лично, когда в самом начале катастрофы сброшен был тентом в море? А комиссия именно на это обратила внимание, сколько матросов пострадало во время борьбы их с огнем!.. По материалам этой комиссии картина получилась совершенно обратная: не то, как преступно и подло губили свой корабль матросы, а то, как они его отстоять пытались! Вели себя, как им полагается вести себя в бою с противником, а из них преступников хотели сделать!

— И что же все-таки,— перегрелся порох или вообще там какие-то химические процессы, как вы говорили, от чего и взрывы? — спросил Сыромолотов.

— Нет, я слышал, что эту версию совершенно отбросили... Порох будто бы был лучшего качества, новейшего производства,— прошлогодний,— испортиться не мог... И перегреться не мог, так как там температура, в крюйт-камере, не была такой уж очень высокой. У нас на Сухарной балке лаборатория есть, там занимаются этим делом,— порох исследуют, когда его получают,— должен, впрочем, сказать, что я там никогда не был и как там исследуют,— этого не знаю. Знаю только, что подозрение с пороха комиссией снято: порох, дескать, безгрешен. Но вот газы в крюйт-камере, легко воспламеняющиеся газы,— эфир, спирт, ведь они были же... Ведь зачем-нибудь соблюдалась там вентиляция... Так что если, например, вздумалось закурить там матросам, без всякого злого умысла, зажечь спичку, закурить, горящую спичку бросить, как это делается, на пол,— мог ли от этого,— называется это «неосторожное обращение с огнем»,— мог ли произойти взрыв,— да

ведь чего взрыв? — Снарядов!.. Решила комиссия, что не мог... Большого количества газов скопиться не могло, и от спички они бы не воспламенились. Оставалась, значит, только одна причина: злой умысел.

— Чей? — спросила Надя.

— В этом-то и был весь вопрос для комиссии: чей именно? Опрошено было триста с чем-то человек и ведь не только нашего экипажа, и с «Екатерины», и с «Евстафия», и даже из портовых рабочих,— все этот злой умысел искали. Если он умысел, если он вдобавок еще и злой, то кому же он мог прийти в голову? Своим, которые воюют, отечество и в частности Севастополь защищают, или чужим, которые с нами воюют, нам хотят нанести как можно больше урона,— то есть зла,— так как для следствия послали из Петрограда все-таки умных людей, а не чиновных болванов, то они и пришли, очевидно, к единственно умной мысли: гибель сильнейшего линейного корабля могла быть на руку только нашим врагам; они, враги, с какими мы воюем, и подослали своего шпиона,— или как хотите его называйте,— человека, конечно, и смелого, и ловкого, который сам лично каким-то образом проник в крюйт-камеру...

— Как же он мог проникнуть внутрь «Марии»? А вахты ваши на что тогда сдались? — спросила Нюра.

— Вахты?.. А если, например, ремонт на корабле и приходит партия портовых ремонтных рабочих. Вот между ними, этими рабочими, и мог проникнуть к нам шпион... который, разумеется, уже несколько месяцев, может быть, тому назад залез в портовые рабочие и, конечно же, был он отличный рабочий и на лучшем счету у своего портового начальства. И ему могли вполне доверить всю партию, какую он привел на «Марию», и как же было его не пропустить вахтенным? А у нас недавно был именно такой случай,— портовые рабочие на «Марии» были и что-то чинили.

— Вот видите! — вставил Сыромолотов.— Чинили!.. И при-чинили!

— И один из них, действительно, мог при-чинить... величайшее зло,— поправил его Калугин.

Однако Нюра, как наиболее знающая порядки на военных судах из всех, кто теперь слушал ее мужа, задала ему недоуменный вопрос:

— Как же все-таки он мог проникнуть туда, где снаряды были? Ведь там должен же был стоять матрос на вахте? И дверь-то туда заперта, я думаю, или нет?

— Тут есть что-то и для меня не совсем понятное, но я слышал, будто комиссия, каким-то образом побывав на «Екатерине»,— «Мария» была ведь одного типа с «Екатериной»,— сделала там открытие, что можно было проникнуть через орудийную башню. Для меня лично это — дело темное, я — моряк, как говорится, не серебряный, а мельхиоровый, но вот почему на это не обратили внимания дальнего плавания, настоящие моряки? Теперь, конечно, когда «Мария» лежит уже на дне, поздно изучать ее устройство, но главное, что хоть клевета на экипаж самой «Марии» развеяна, и я, как видите, на свободе. Что касается числа взрывов в крюйт-камере, то их было не три, не четыре, а больше, только те были слабые. Время их было записано на «Екатерине» в вахтенном журнале; эти записи велись, пока командир «Екатерины» по своему почину или по приказу Колчака не отбуксировал свой корабль на катере подальше от «Марии». Нашему командиру Кузнецову и старшему офицеру Городысскому Колчак приказал оставить «Марию». Теперь по Севастополю везде ходят патрули, и туда новому человеку лучше не показываться, но почему же прежде было такое благодушие? Ведь несомненно, что тот мерзавец, который взорвал «Марию», действовал не один. Несомненно, что и в Кронштадте живут себе такие же типы и даже связи блюдут с немецким флотом... Крейсер «Паллада» погиб от немецкой подводной лодки буквально в минуту: только что шел и вдруг — одни только деревяшки плавают, а «Паллады» нет... Можно думать, что теперь уж и в нашем флоте такой катастрофы в своей же бухте больше уж не будет, однако цену за науку взяли с нас дорогую. Раз имеешь дело с таким врагом, который все твои секреты отлично знает, то...

— Кстати, «секреты» вы сказали,— перебил Сыромолотов.— Что же теперь, после этой следственной комиссии, будут писать что-нибудь в газетах?

— Едва ли... Едва ли разрешат это,— поморщился Калугин.— И какой смысл писать о таком своем поражении? Ведь это поражение без боя, притом же совершенно бесславное. Зачем писать об этом? Для пущего торжества нашего противника? Чтобы во всех немецких и австрийских газетах поднялся трезвон, чтобы еще тысяча человек там, в Берлине и Вене, записалась в шпионы ради совершения таких геройских поступков? Конечно, лучше будет с нашей стороны об этом промолчать.

Навели тоску на Севастополь, так хотя бы не на всю Россию. Прошляпили дредноут и молчите, и смотрите во все глаза, чтобы опять чего-нибудь не прошляпить.

— Ну, кое-что сво-бод-но могли бы прошляпить, как вы выразились! — пылко сказала на это Надя, и Калугин ее понял.

— Кое-что прошляпить — это совсем другая материя!.. Да это и никто не назовет «прошляпить»,— разве только махровые черносотенцы, которых сколько же по сравнению с людьми здравого рассудка? Горсть!

— Пусть даже и не горсть, а целый миллион! — поправила Надя.

— Даже, скажем, пять миллионов,— поправил жену Алексей Фомич.

— Пусть десять даже! — поправила художника Нюра.

— Хорошо, пусть миллион, пусть пять миллионов, пусть десять,— со всеми тремя согласился Калугин,— все-таки это незаметное меньшинство.

— Гм... Меньшинство, вы говорите? — оживился вдруг Сыромолотов.— А если это меньшинство будет состоять из таких, как злоумышленник, погубивший и дредноут, и несколько сот человек? Ведь у этого меньшинства будут в распоряжении и умы, и таланты, и даже, пожалуй... пожалуй, как бы сказать,— пожалуй, даже помощь со стороны тех, с кем мы сейчас воюем, а?

— О чем вы это, Алексей Фомич? — встревоженно обратилась к нему Дарья Семеновна.

— Да тут, Дарья Семеновна, ничего нет страшного,— успокоил ее Алексей Фомич.— Только как говорилось в старину: с одной стороны нельзя не признаться, а с другой нельзя не сознаться.

А Калугин, отвечая ему, заговорил:

— Пришлось мне как-то слышать на эту тему: «Нас все равно, как мурашей,— куда же с нами справиться? Поди-ка передави всех мурашей в лесу! С ума сойдешь, не передавишь!» — говорил это один матрос другим, а я шел мимо и слышал. Вот что такое огромное большинство, Алексей Фомич! Дредноут «Мария» — он ведь был народное достояние, а не чье-либо личное, и экипаж на нем был кто же как не народ? А в меньшинство кто же попадет? Какая-нибудь дюжина... пусть даже две... пусть три всяких кранихов. Вам приходилось, конечно, как художнику, видеть муравьиные кучи

в лесу, а мне тем более они знакомы, поскольку я — лесничий. Вот у меня и вертится все в мозгу. Нас, как мурашей: всех не передавишь. На то, что передавить могут многих, оказалось, вполне готовы, и это не пугает — война как война! Необходимые издержки.

— Так же, как и при взрыве «Марии»,— вставил Алексей Фомич,— много погибло, но... гораздо больше все-таки осталось.

— И кто остался, те стали гораздо умнее,— поддержала мужа Надя.

— Да уж смерти посмотреть в глаза,— поумнеть можно,— согласился Калугин.— И мне представляется весь наш фронт от Черного моря до Белого моря. По полукружью сколько людей там поумнело! Ведь это не десятки, не сотни тысяч, а все те же миллионы. Войны тем и любопытны для постороннего наблюдателя, конечно, что благодаря им люди быстрее все-таки движутся вперед...

— К новым войнам? — досказал по-своему Сыромолотов.

— Если хотите,— да, к новым войнам, пока...

— Что «пока»? — очень живо спросила Надя.

— Пока не упрутся в стенку, за которой войн уже предвидеться не будет.

— Я вас понимаю, Михаил Петрович,— улыбнулся, глядя в это время в возмущенные глаза Нади, Алексей Фомич.— Упрутся в стенку потому, что увидят: черт возьми, какой же убыточный путь прогресса эта самая война! Где-то я читал о двух шотландских кошках, которые дрались между собой до того, представьте, яростно, что от них остались всего-навсего одни хвосты! Так вот чтобы такого грустного пейзажа не получилось на полотне Земли, начнут грядущие поколения думать: а нельзя ли как-нибудь обойтись друг с другом поделикатней, чтобы не вспоминали историки с сокрушением сердечным: «Эх, был когда-то девятнадцатый век! До чего же необыкновенно золотой был этот покойничек!»

И так горячо вырвалось это у Сыромолотова, что все, включая и Дарью Семеновну, улыбнулись.

<1951—1956>

ЗАУРЯД-ПОЛК

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИЛЛИОНЫ

I

Только что кончился первый месяц мировой войны, когда в канцелярии одной из ополченских дружин, расположенных в Севастополе, с утра сошлись: заведующий хозяйством подполковник Мазанка, командир роты, поручик Кароли, адвокат из Мариуполя, грек, и недавно прибывший в дружину, назначенный начальником команды разведчиков, прапорщик Ливенцев, призывом в ополчение оторванный от работы над диссертацией по теории функций.

В приказе по дружине было сказано, что они трое в этот день должны были, как члены комиссии, обревизовать месячную отчетность эскадрона, хотя и причисленного к дружине, но стоящего где-то в отделе, а где именно — этого не мог объяснить им командир дружины полковник Полѐтика. Впрочем, этот странный человек редко что мог объяснить, и теперь он, коротенький, бородатый, голубоглазый, близкий к шестидесяти годам, но больше рыжий, нежели седой, сидя у себя за столом в кабинете, говорил им:

— Так вот, красавцы, вы уж там смотрите, наведите порядок у этого ротмистра... вот черт,— совсем забыл, как его фамилия!.. Лукоянов, а? Или Лукьянов? С усами такими он черными.

— Лихачев, кажется,— сказал Мазанка.

— Ну вот — конечно... конечно, Лихачев!.. Вы там хорошенько... Кстати вот тут у вас один красавец — математик. Он сосчитает, что надо. На Северной стороне это... эскадрон этот... Туда поедете...

— На Северной? Я что-то не видал на Северной кавалерии...— качнул серой от проседи головой долгоно-

сый Кароли, очень загорелый, почти оливковый, приземистый и излишне полный.

— На Северной артиллерия,— сказал Мазанка,— а кавалерия наша, кажется, в Балаклаве...

— Вот, черт знает, «кажется». Заведующий хозяйством должен знать, а не то чтобы «кажется»! В Балаклаве же, конечно, а не... не на этой, как ее называют?.. На Северной! Не на Северной, нет, а, разумеется, в Балаклаве.

И даже как будто рассердился немного Полетика, а Ливенцев, еще не привыкший к нему и удивленно его наблюдавший, с наивностью кабинетного человека, имеющего дело с точными и строгими рядами формул и цифр, поднял брови, присмотрелся внимательно к своему командиру и сказал весело:

— Вообще, господин полковник, этот таинственный эскадрон надо во что бы то ни стало разыскать и... распечь за то, чтобы он не прятался!

Высокий, с подстриженной бородкой, еще не старый, темноволосый, говоривший певучим тенором, единственный из трех, красавец Мазанка посмотрел на Ливенцева неодобрительно, но Полетика думал, видимо, о другом и даже не расслышал того, что сказал этот худощавый, но крепкий, со стремительным профилем прапорщик, он копался в это время в бумагах и бормотал:

— Шоссе... шессо... шессó... Сколько там шессо? Двенадцать верст?.. До Северной... то есть до Балаклавы... Возьмите линейку, кучер вас довезет.

— А когда вернемся — вам доложить? — спросил Мазанка.

— Доложить? Гм... Доложить-доложить,— а что тут такое докладывать? Напишите рапорт по форме,— там посмотрите, как это пишется, по какой форме... Доложить!.. Будто там вы у него обнаружите что-нибудь, у этого ротмистра... Лоскутова... Я его видел, пóмню... Усы такие длинные, черные... Ну, идите, черт возьми, что же вы стоите?.. Куда-то девал пенсне, а без пенсне я как... как баба без юбки...

— Вот пенсне! Под бумагами,— подал ему пропавшее пенсне поручик Кароли, и все вышли из кабинета, а прапорщик Ливенцев, выходя, любопытно обернулся на этого командира тысячи человек ополченцев и шепотом спросил Кароли:

— У него что такое? Размягчение мозга?

На что Кароли,— он был тоже веселый человек,— ответил:

— Накажи меня бог,— его надо сделать начальником штаба при верховном главнокомандующем на место генерала Янушкевича!

Канцелярия была унылая, насквозь прокуренная комната, дощатой перегородкой отгороженная от остального длиннейшего каменного сарая, принадлежавшего порту. И столы и скамейки в канцелярии были кое-как сколочены из плохо оструганных досок, причем больше всего привлекла внимание Ливенцева в первый день, как он здесь появился, надпись крупными, старательными готическими буквами на деревянной перегородке: «Приказист», и под этой надписью другая, на спинке какого-то подобия стула: «Стул приказист». Это странное слово очень смешило Ливенцева.

Ополченцы за перегородкой размещались просто на полу, на соломе. Ходили они в своей одежде; винтовок им не выдавали: были только учебные, служащие для практики в разборке и сборке, и то не трехлинейки, а берданки. Впрочем, усиленно говорили в штабе крепости, что скоро прибудут откуда-то японские винтовки времен русско-японской войны. Ввиду строжайшего запрещения каких бы то ни было отпусков по три-четыре человека из роты пропадали ежедневно в самовольных отлучках, и Ливенцеву приходилось производить каждый день по нескольку дознаний и изобретать для провинившихся ополченцев обстоятельства, смягчающие их тяжкую вину, так как уходили отцы семейств, больше чем сорокадвухлетние степенные дяди, схваченные мобилизацией на полях и не успевшие распорядиться по хозяйству. Они оборачивались за несколько дней, сами понимая, что уж раз запрещено, надо спешить, и умоляюще глядели в глаза Ливенцеву, давая свои показания.

С крутого берега над портовыми сараями видна была вся бухта с боевыми судами и внешний рейд с тральщиками и сторожевым крейсером. В первый день, как приехал сюда Ливенцев, все боевые суда были густо обвешаны матросскими рубахами и подштанниками, так как был день мойки белья, и смешливый Ливенцев долго хохотал над таким преувеличенно мирным видом грозных судов.

Стоял золотой сентябрь. Погода была великолепная. Всюду валялись арбузные и дынные корки. И хотя прапорщика Ливенцева стесняла шашка, которая все съез-

жала наперед и норовила попасть между ногами, и хотя очень надоедало то, что все время надо было подносить руку к козырьку, принимать или отдавать честь, все же куча свалившихся на него обязанностей, самых неожиданных и большей частью для него непостижимых, занимала его чрезвычайно; с непривычки к такой суете он к вечеру очень уставал и тупел. Главное, его, до призыва имевшего дело только с безмолвными рядами математических выкладок и с очень молчаливой старухой-матерью, вдруг бросило в людской водоворот, причем одни люди зависели от него, от других зависел он сам, а третьи, ничего не понимавшие в теории функций, вдруг почему-то оказались его товарищами.

Он не успел еще отвыкнуть от того, что считал важнейшим своим делом, и привыкнуть к мысли, что самое важное теперь, даже и в его жизни, как и в жизни всех кругом, вот эта самая, месяц назад начавшаяся война. Его еще не прищемило войной даже до боли, в то время как для миллионов кругом война была уже смерть. И хотя каждый день читал он газеты и телеграммы с театра военных действий, все-таки он представлял себе то, что там делается, только так, как это писалось в донесениях: наши войска победоносно наступали в Галиции, брали один за другим города, и десятки тысяч пленных, и огромные стога снарядов, стоявшие на австрийских полях, и как будто ничего не теряли сами,— прогулка, феерия!.. Как и всем кругом, читавшим только русские газеты, ему казалось, что война для Австрии дальше уже немыслима, остается только просить пардону, что месяца через два немецкие державы заговорят о мире, а он снимет эту чрезвычайно неудобную шашку и снова засядет за диссертацию вплотную и закончит ее в назначенный себе самому срок, если начнет работать усерднее и наверстает потерянное время.

Походка у него была с неверным постановом ног и ныряющая — всем корпусом и особенно правым плечом — вперед.

Так как теперь, когда они трое шли к ожидавшей их линейке, было еще утро и он не успел устать, то все кругом было ярким для его глаз: и блеск солнца на отшлифованных подковами и железными шинами булыжниках мостовой, и пара сытых, но секущихся серых лошадей в линейке, и зеленый овод, вившийся над лошадьми, и даже то, что фамилия кучера-ополченца оказалась Блощаница.

И когда они уже ехали, выбираясь из провалья к базару, чтобы попасть оттуда на Балаклавское шоссе, немолодой уже, долговязый белобрысый офицер верхом на прекрасном гнедом, белоногом коне попался им навстречу, и Мазанка крикнул ему:

— Корнет Зубенко! А мы к вам!

Корнет остановил коня. Блощаница придержал свою пару серых, и Ливенцев тоже узнал корнета,— они познакомились дня два тому назад на Нахимовской просто потому, что одни и те же буквы — инициалы названия дружины — и цифры были на их погонах, но Ливенцев думал, что он артиллерист. Мазанка певучим своим тенором говорил Зубенко:

— Про вас я совсем забыл! Ведь вы в эскадроне у Лихачева!

Гарцуя около линейки, Зубенко, человек очень скромного вида, даже как будто застенчивый, вообще не потерявший еще способности краснеть, толстощекий и красногубый, пожал всем троим руки широкой в запястье рукой и спрашивал удивленно:

— К нам? Зачем к нам? Ревизовать отчетность! Вот как!

— Правда, это больше касается ротмистра Лихачева, чем вас... А конек у вас славный! — говорил Мазанка.

— Горячится... Но я все-таки приеду,— у меня тут сегодня немного дел... Фураж замучил... Вот только узнаю насчет сена, и назад... Конечно, ведь вы и обедать будете там у нас? Я к обеду поспею приехать... Всех благ!

И они разъехались, и, следя за его посадкой, Кароли сказал презрительно:

— Э-э, корнет тоже, а сидит — как собака на заборе!.. Накажи меня бог, все эти, из отставных которые, ни к чертовой матери не годятся.

А Ливенцев заговорил оживленно:

— Господа! Вот какая штука! Я было забыл совсем: наш доктор Моняков что́ сказал мне об этом корнете... Дело было на Нахимовской, дня два назад. Стремлюсь зайти в магазин, купить колбасы. Попадается на улице вот этот, как оказалось, корнет Зубенко. Вижу по погонам — наш брат! Сказали друг другу по два теплых словца. «Давайте, говорю, в магазин зайдем, по фунту колбасы купим». Как шарахнется от меня мой корнет Зубенко! «Что вы, говорит, колбасы! Теперь колбаса

уже стала восемь гривен фунт. То есть, я о чайной говорю, о двадцатикопеечной, а к другим сортам и приступу нет!..» И от меня тягу! Я смотрю,— тужурка на локте заплатана, и так весь вид какой-то потертый, хотя и не голодающий отнюдь. Думаю: может быть, семейство большое,— нуждается... А тут сзади наш доктор подходит, Моняков, говорит: «Это кто такой от меня помчался?» — и вслед корнету смотрит. «Почему, спрашиваю, от вас, а не от меня?» — «Потому что вы его не знаете, а я знаю!» — «Если даже он вас обокрал, доктор, простите ему, говорю, ради его бедности!» Доктор мой даже рот разинул. «Как так «бедности»! — кричит.— Да у него шестьдесят тысяч чистого дохода с одних только недр! Французы ему аренды за антрацит платят! А имение-то три тысячи десятин,— дает оно что-нибудь или один убыток?»

— Как три тысячи десятин? — спросил Мазанка.

— Как шестьдесят тысяч доходу? — одновременно спросил Кароли.

— Не знаю уж как! Оставляю это на совести доктора.

— Это миллионное состояние, что вы!..— возмутился Кароли.— У такого чтобы миллионное состояние? Не может быть! Шестьдесят тысяч, считайте даже по шесть процентов,— вы математик, не будете спорить, надеюсь, что в земле у этого Зубенко миллион!

— А три тысячи десятин земли,— если черноземной, под пшеницей... И не заложена... А какой ему смысл ее закладывать, шестьдесят тысяч получая?.. Как вы эту землю считаете? По триста пятьдесят, меньше продать нельзя... Вот вам еще миллион! — подсчитал Мазанка.

— Выходит, два миллиона! Вот поди же! — удивился теперь и Ливенцев.

— Накажи меня бог, я бы такого и в письмоводители к себе не взял! А у него состояния два миллиона!

— Да ведь, может быть, все пустое,— счел нужным утихомирить Кароли Ливенцев.— Доктор наш ведь земец, поэтому радикал... И чуть что — кричит: «Это вы прочитаете во «Враче»! Корреспондент, видите ли, журнальчика «Врач»... Наверное, он здорово преувеличил.

— А ротмистр Лихачев не из тех ли мест, где станция «Лихачево»? — спросил Кароли Мазанку.

Но на этот вопрос ответил не Мазанка, а кучер — Блощаница. Он сидел на передке, устроив ноги по сторонам дышла, но при вопросе Кароли обернул рябое

бородатое лицо к нему в упор и сказал с радостной ухмылкой:

— Это же, вашбродь, ихнее имение там и есть, а как же!.. И даже там у них при воротах две пушки стоят...

— Пушки даже? Вот как? Очаковских времен?.. А именье богатое?..

— Именье выдающее!.. Я эти места хорошо знаю... Я у господ Подгаецких, поблизу, служил в кучерах, и сколько разов я их к Лихачевым в гости возил!..

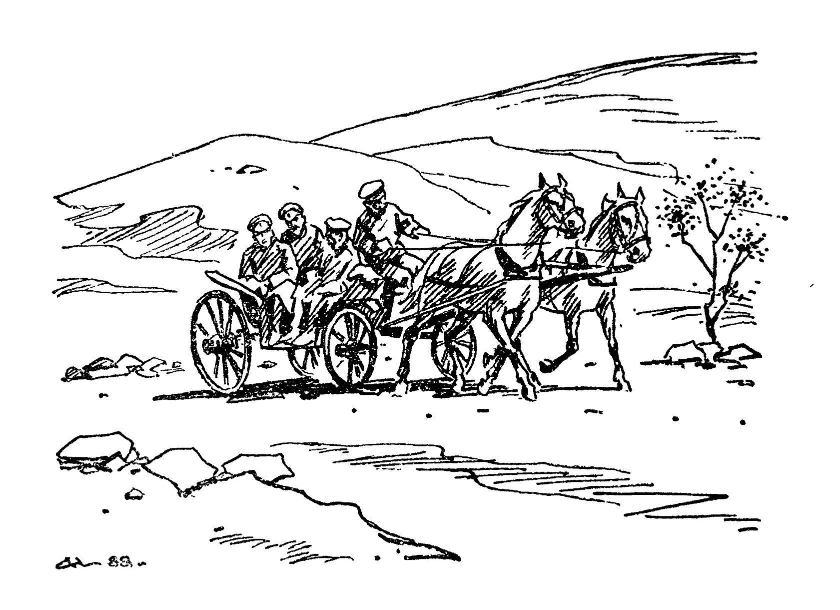
Выехали, наконец, на шоссе. Зажимая носы, проехали мимо свалок. Потом стали попадаться по обеим сторонам шоссе какие-то небольшие усадебки с виноградничками, садами и даже небольшими клочками стерни по известковому овражистому плато.

— Вот где люди пшеницу сеют,— где самая крейда, або алебастр,— кивнул на эти клочки стерни Блощаница.— А что касается Лихачева-помещика, то у него с десятины если не полтораста пудов снимают, то бывало даже и так, что все двести!

И пока ехали до Балаклавы,— Ливенцев это видел,— никак не могли успокоиться ни подполковник Мазанка, ни бывший адвокат, поручик Кароли, ни даже кучер Блощаница.

В имениях и десятинах,— много ли их или мало,— ничего не понимал Ливенцев. Ему было тридцать семь лет, но он как-то так расположил свою жизнь, что ничего не пытался сделать в сторону десятин, имений, угольных копей, миллионов, даже просто сколько-нибудь прочных условий жизни. Он даже и не служил нигде в последнее время, а жил случайными уроками, и меньше всего в жизни понимал он то, что было предметом внимания многих: богатство.

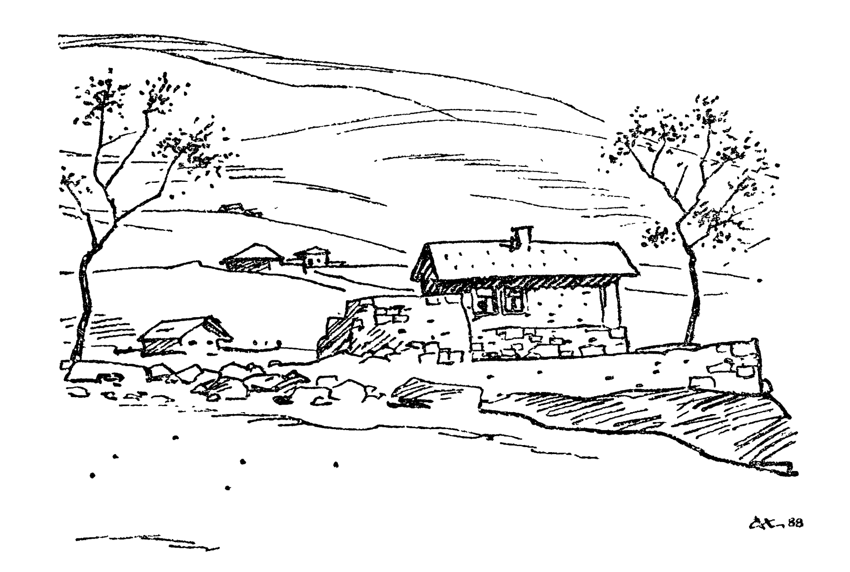
Он вышел из семьи, в которой никогда не было того, что называется достатком, и в то же время никто не говорил ни о бедности, ни о богатстве. Отец его был пианист, он тоже в молодости неплохо играл и даже колебался, когда окончил гимназию, куда ему поступить — в университет или консерваторию, и, среди колебаний этих, поступил вольноопределяющимся в пехотный полк, чтобы отбыть повинность. Потом затянул он и студенческие годы, так как три раза менял факультеты. Он был холост. Мать-старуха нуждалась уже не во многом. Он, как говорится, легко относился к жизни. И в то же время, как многие кабинетные люди, любил вплотную наблюдать людей, то есть буквально вплот-



ную, очень приближая свое лицо к каждому новому лицу, хотя близоруким он не был.

У него было большое любопытство к человеку, как совершенно неповторимому среди других человеческих особей существу. Возможно, что это было в нем просто пифагорейство, но он как-то про себя вычислял задачи человеческих лиц и составлял невнятные еще, зыбкие еще в своих основаниях, но возможные по идее формулы человеческих лиц в состоянии покоя, человеческих жестов, походок, манер говорить, глядеть, улыбаться, смеяться, сердиться, негодовать, приходить в ярость. Он был больше человекоиспытатель, чем соучастник жизни тех, с кем приходилось ему жить вместе, и теперь, на пути к Балаклаве, приближая свое отнюдь не близорукое лицо то к лицу Мазанки, то к лицу Кароли, он был доволен, что вот расшевелил их тем, чему сам не придал никакого значения,— рассказом о корнете Зубенко, который был возмущен дороговизной колбасы до того, что не хотел ее покупать, и наглыми накидками военных портных до того, что стоически продолжал носить старую, заплатанную кадровую тужурку...

И широколицему рябому Блощанице он был благодарен за его вовремя вставленные пушки у лихачевских ворот и полтораста-двести пудов пшеницы на баснословном лихачевском черноземе.



II

Балаклавские греки, смуглые Кости и Юры, были очень недовольны войной. Все они были рыбаки и жили морем; теперь их не пускали в море ни днем, ни ночью. Теперь на берегах расположились батареи, в их домишках — солдаты-артиллеристы. Им оставили бухту для мережек, но в мережки попадала несчастная рыбья мелочь — барабульки и карасики, величиной в пятак, и Кости и Юры ходили похудевшие, почерневшие, мрачные. Напрасно они жаловались военному начальству и спрашивали, чем же теперь им жить. Начальство коротко отвечало: «Война!» Так было в Балаклаве только тогда, когда заняли ее англичане шестьдесят лет назад, но это помнили только очень старые люди, и от тех времен остался в полной неприкосновенности только один небольшой дом, комнатки в котором были в два аршина высотою. И уходить за рыбой по ночам, оставлять своих жен на произвол солдат тоже боялись Кости и Юры. И когда линейка въехала в Балаклаву, на все вопросы Блощаницы, где здесь квартирует эскадрон ополченцев, Кости и Юры мрачно отвечали: «Почем знаем?» — и отворачивались хмуро. И только когда Кароли весело заговорил с ними по-гречески, очень удивленные, они показали, как проехать к эскадрону.

Но по-гречески же спросили они Кароли: если нельзя ловить рыбы в море, то чем же им жить? И по-русски ответил им Кароли: «По́чем знаем?»

Это был дом какого-то немца, выселенного на Урал, вместительный дом с большими табачными сараями: у немца были табачные плантации. Теперь в этих сараях устроили конюшни, поблизости расквартировали людей, а сам Лихачев и Зубенко и небольшая канцелярия эскадрона разместились в доме.

В тужурке, расстегнутой на все пуговицы, в синих рейтузах старого образца, в вышитой тонкой рубахе, с сигарой во рту, ротмистр Лихачев сидел на веранде и читал «Русское слово». Приезд ревизионной комиссии очень его удивил, и он, улыбаясь приветливо, все-таки широко раскрывал выпуклые черные глаза. У него был прекрасный открытый лоб без морщин, пухлые щеки, безукоризненно выбритый круглый подбородок, и усы, так запомнившиеся полковнику Полетике, действительно были из таких, которые запоминаются: холеные, завитые обдуманными кольцами, черные породистые усы... В то же время Ливенцеву подумалось, что из него, по внешности, мог бы выйти хороший дирижер румынского оркестра.

Когда Мазанка объяснил ему, что вся эта ревизия — простая проформа, что она назначена командиром бригады по обеим дружинам, что он, ротмистр, отнюдь не является каким-то преступным исключением, Лихачев сделался исключительно приветлив, тут же крикнул писаря, а писарь тут же достал нужные книги и счета, и ревизия началась без проволочек и закончилась в какие-нибудь полчаса.

Комиссия нашла все в полнейшем порядке, и Лихачев, как хороший хозяин, вполне довольный неожиданными, но любезнейшими гостями, повел их по конюшням показывать лошадей своего эскадрона, так как ученье уже кончилось и люди были распущены на обед.

Посмотрели лошадей. И Мазанка и Кароли оказались любителями этого вида животных и большими его знатоками, Ливенцев же смотрел на лошадей сначала с любопытством, ему присущим, потом однообразие их форм начало его утомлять. Безусловно гораздо больше, чем все лошади эскадрона, занимал его сам ротмистр Лихачев.

Он держал себя так, как будто дело было не в какой-

то там Балаклаве, а в его имении, где у ворот исторические пушки, а на воротах, может быть, даже и львы, где, конечно, старинный липовый парк и объемистые амбары, способные вместить баснословные урожаи пшеницы.

Когда дошли до последней лошади и показывать больше уж было некого и нечего, Лихачев сделал широкий пригласительный жест и сказал:

— А теперь, господа, прошу ко мне, закусить! Познакомлю вас с моею женой...

Упоминание о жене ротмистра заставило всех наклонить головы с особым почтением, почиститься щеткой, у медного рукомойника тут же на веранде вымыть руки и пригладить волосы.

Мебель в столовой, конечно, была оставлена сосланным немцем, но прекрасное столовое белье с красиво вышитыми метками на салфетках, свернутых в трубочки, серебряные ножи, вилки и ложки, несомненно, были привезены ротмистром из его Лихачевки. Ливенцев подумал даже, что и две бутылки вина были добыты не здесь и не в Севастополе, из каких-то тайников, доступных сведущим людям, а из старинного запаса лихаческого погреба, так как вино оказалось старых годов и дорогих цен.

Очень искусно, и, конечно, не эскадронным поваром, а домашним, из Лихачевки, был сделан соус для закуски под водку, стоявшую в граненом графинчике.

За стол не садились, конечно, ожидая, когда выйдет жена Лихачева, и она вошла, наконец, с густо-коричневой, совершенно голой, лупоглазой собачкой на руках, и по сторонам ее важно вошли еще две лохматых болонки и издали, при виде незнакомых людей, какой-то однообразный, придушенный звук, непохожий на лай, непохожий даже и на урчанье: по-видимому это было приветствие, по крайней мере так понял Ливенцев, сейчас же про себя окрестивший жену Лихачева Цирцеей.

Она была высокого для женщины роста, но не из полных и не из молодых,— лет сорока. Лицо ее казалось желтоватым даже под пудрой, под глазами заметные круги, глаза невнимательные, скользящие, значительно уже выцветшие; на обеих тонких руках браслеты с розетками камней, брошка-камея, на плечах пуховый светло-синий платок... Оттого, может быть, что все время дрожала своим коричневым голым тельцем собачка на ее руках, у Ливенцева получилось впечатление, что зябкой была сама эта Цирцея, следом за которой денщик

внес осторожно за ушки большую фаянсовую миску с супом.

— Накажи меня бог, если я когда-нибудь видел таких собачек! — искренне сказал Кароли, когда представил их всех жене своей Лихачев и усадил за стол.— Что это за порода такая?

— Это африканка,— и Цирцея укутала ее своим пуховым платком.— Наступает осень, и ей, бедняжке, становится уж холодно...

— Она имеет способность лаять или совсем безмолвна? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Попискивает, как цыпленок,— ответил за жену Лихачев.— Вообще же она тут испытывает большие неудобства, как и мы с женой... Надеемся, впрочем, что неудобства эти кончатся месяца через два... на худой конец — три... И мы опять домой — в имение.

— Вашими устами бы мед пить! Я уж тоже соскучился по имению,— сказал Мазанка и объяснил Лихачеву, в каком уезде находится его имение и кто там у них предводитель дворянства.

— Потревожили нас в наших родительских гнездах, а зачем? — раскатисто и веско говорил Лихачев, наливая по рюмке водки.— И какие огромные затраты государства на эти «апольченьские» дружины, до которых дело, разумеется, не дойдет! В декабре мы, конечно, подпишем мир!

— Это было бы гениально! — подхватил Ливенцев.— Но почему все-таки вы думаете, что в декабре мир?

Лихачеву, видимо, не понравился не самый этот вопрос, а тон вопроса, и он ответил снисходительно:

— А потому я так думаю, что война ведется в спешном порядке, что и понятно при современных э-э... вооружениях. Об австрийской армии можно сказать, что она уже почти не существует. Она совершенно де-морализована и бежит... или сдается массами... вот-вот мы обойдем Германию с левого фланга. А с юга — французы, а с запада — англичане. Не беспокойтесь! Вильгельм весьма неглуп и на карту всего ставить не станет. Платить по счетам придется Австрии, и она заплатит по-ря-дочно!

— Так что нам, вы думаете, она заплатит Галицией? — спросил Ливенцев.

— Галиция уже наша! — сказал Лихачев.

— Выпьем за Галицию, что же, а? Галиция так Галиция! — предложил веселый Кароли.

А когда выпили за Галицию, Лихачев добавил:

— Кроме Галиции мы, может быть, и Буковину получим. Но самое важное, что мы получим, это — Константинополь и проливы!

— Послушайте, что же это вы! — удивился Ливенцев.— Откуда это вдруг Константинополь? И почему проливы?

— Как почему проливы? Вот это мне нравится! — удивился и Лихачев.— Из-за чего же мы с вами призваны, как это называется, кровь проливать? Конечно же из-за проливов! Что нам за корысть в Галиции? Галиция что нам такое даст? Это — земля бедная... Мы вон на владения в Средней Азии ежегодно огромные деньги тратим, и на Галицию, может быть, придется тратить, а вот проливы заполучить — это большой будет плюс.

— Почему большой плюс? — не понял Ливенцев и присмотрелся к Лихачеву, вытянув тонкую шею, и снова нашел, что если его разоблачить из тужурки и рейтуз и нарядить соответственно, то какой бы внушительный и типичный вышел из него дирижер румынского оркестра!

Но Кароли не дал ответить Лихачеву, он сказал горячо и с обидой:

— Если война и к новому году окончится, все-таки я на ней потерял уж тысяч двадцать!.. Накажи меня бог, не меньше двадцати тысяч!

— А каким образом потеряли? — спросила жена Лихачева, причем за обедом она действовала только одной правой рукой, а левая все как-то порхала по дрожащему тельцу лупоглазой африканской собачки.

— Мой старинный клиент умер один — грек Родоканаки, экспортер-хлебник, и нужно было трех оболтусов в наследство вводить... Считанные деньги были! — выпятил толстые губы Кароли.— Теперь уж эти денежки другой получит, а ведь я за ним как ухаживал! Как за родным отцом! Перед самым объявлением войны справлялся у докторов,— трое его лечили: «Ну что, как?» — «Две-три недели протянет, и готово!» — говорят. Рак желудка был... Смотрю теперь на все, а у меня тоска, у меня тоска!

— Эх, я, может, еще и больше вас потеряю! — тоскливо сказал Мазанка.— Остались в имении только жена с сынишкой, а она ведь никогда в хозяйство не вмешивалась... Начнет продавать хлеб,— ее, конечно, на-

кроют. Непременно накроют! Еще может и так быть, что никаких денег не заплатят, а рубль уже стал полтинник!

— На колбасе — и того меньше,— улыбнулся Ливенцев.

— Хлеба сейчас не продавайте,— веско сказал Лихачев.— Явный убыток!

— И не продавать нельзя: деньги нужны.

— Продавайте нагульный скот в таком случае. Потому что скот на зиму оставлять, конечно, абсурд, а хлеб ваш пускай лежит: он ни сена, ни барды не просит... Я своему управляющему категорически запретил продавать хлеб: пусть лежит до окончания войны!

И Лихачев вытянул энергично левый ус и старательно закрутил его снова, а Ливенцев обратился к нему:

— Все-таки проливы... Я об этом знаю теоретически, так сказать, что вот существуют политики столичные, и они говорят что-то там такое, со времен Каткова, а пожалуй, даже и со времен матушки Екатерины, о Константинополе — втором Риме — и о проливах... Но ведь, представьте, так и думал, что все это нужно политикам, а нам с вами зачем проливы?

— Вам лично? Не знаю. Вам это лучше знать,— вежливо усмехнулся Лихачев.— Что же касается меня, помещика, производителя пше-ни-цы, которую от нас вывозят за границу всякие Дрейфусы,— то это уж я, конечно, знаю, так как за провоз через Дарданеллы своего же хлеба я же и плачу Турции!

— Вы? Не понимаю!

— Очень просто! Таможенный сбор существует одинаково как у нас, так и везде,— так же и в Турции. Вы ведь, э-э... не думаете, надеюсь, что у турок все очень просто: руки к сердцу, поклон в пояс, и поезжайте, пожалуйста, провозите хлеб, господа Дрейфусы! Нет, Дрейфусы платят, а с нас, помещиков, берут! То есть нам они недодают на хлеб, сколько они теряют, чтобы Дарданеллы пройти... А когда Дарданеллы будут наши, то за хлеб свой мы будем получать больше,— ясно? Не говоря уж о том, что мы там десять Кронштадтов устроим, и черта с два к нам в Черное море кто-нибудь продерется! И никаких нам тогда балаклавских береговых батарей не надо строить! И Севастополь тогда будет просто торговый город...

— Вы редкостно-счастливый человек: знаете, зачем и к чему вся эта война...— начал было Ливенцев, думая выяснить для себя еще кое-что благодаря этому ротми-

стру, который внимательно так читал «Русское слово», но тут вошел корнет Зубенко, в комнате показавшийся гораздо выше ростом, чем на Нахимовской улице, извинился, что несколько запоздал к обеду, сказал Лихачеву что-то такое о сене, которое — наконец-то! — получено там, в Севастополе, и вопрос теперь только в том, чтобы его доставить в Балаклаву.

Он сел за стол привычно,— видно было, что каждый день он так же точно садился за этот стол. Ливенцев пригляделся к рукаву его тужурки, не переменил ли на другую,— нет, он был постоянен: это была та самая, заплатанная на локте.

Теперь, когда Ливенцев окончательно убедился, что Зубенко — человек с какими-то странностями, он, по своему обыкновению, весьма приблизил к нему глаза, но ничего странного в его лице все-таки не находил. Напротив, это было вполне обычное, размашистых линий, степное лицо с белесыми ресницами, от которых веяло добродушием и недалекостью; из своих наблюдений над людьми Ливенцев выводил, что подобные белесые ресницы бывают только у недалеких людей. И так как он пришелся с ним рядом, то спросил Зубенко, как будто между прочим:

— Почему вам так не понравилась военная служба, что вышли в отставку корнетом? Мне кажется, что вы именно и рождены для геройских подвигов.

— Разве я корнетом в отставку вышел? — улыбнулся Зубенко.— Я, конечно, поручиком, только теперь надел свои прежние погоны, как и полагается по закону: раз ты мобилизован из отставки, чин твой — какой был на действительной...

— Знаю, знаю... но уверен я, что вы погон поручичьих даже и не покупали.

— А зачем же мне их было покупать? — удивился как будто Зубенко, которому денщик поставил в это время тарелку супа.

— Лишняя трата денег? — подсказал Ливенцев.

— Совершенно лишняя,— согласился Зубенко.

— Что такое два с полтиной за погоны с тремя звездочками заплатить! — вмешался в разговор Кароли.— Накажи меня бог, пустяк полнейший, а все-таки три звездочки, а не две! Да, наконец, купили бы еще пару звездочек за двугривенный, и все! И пока мне не прикажут снять мои погоны с тремя звездочками, а надеть

подпоручичьи с двумя, я их все-таки носить буду. Но ведь у меня миллионного состояния нету, как у вас!

— Какого миллионного? — повернулся к нему встревоженно Зубенко и замигал ресницами.

— А с какого же капитала можно получать по шестьдесят тысяч дохода? — причмокнул даже как-то Кароли.— Шестьдесят тысяч в год! Ого! И палец о палец не ударить! Меня, например, взять, так мне ведь сколько приходится ра-бо-тать, батенька! Родоканаки тоже не каждый год умирают! Мне сорок четыре монеты всего, а я вот — седой! — похлопал он по коротко стриженной голове, сидящей на короткой шее.

Ливенцев заметил, как густо покраснел Зубенко и с каким недоумением глядел на него Лихачев, выкатив свои румынские глаза. Даже Цирцея перестала порхать пальцами по спинке африканской собачки.

— Каких шестьдесят тысяч? — придушенно спросил Зубенко.

— Откуда у него шестьдесят тысяч дохода? — раскатисто сказал Лихачев, готовый захохотать, так как принял это за несколько странную между мало знакомыми людьми, но все-таки шутку, конечно.

— Будто бы дает французская компания какая-то за одни только недра, а имение остается имением,— три тысячи десятин! — ответил Лихачеву за Кароли Мазанка, тоже уставивший в несчастного корнета красивые, с поволокой, карие глаза.

— Вранье!.. Клевета!..— энергично выкрикнул Зубенко.— Вообще меня, должно быть, смешали с кем-то другим.

— Вот странный человек! Не хочет даже, чтобы его считали богатым! Накажи меня бог, в первый раз такого вижу! — искренне удивился Кароли.

А Ливенцев даже пожал своими не узкими, но выдвинутыми как-то вперед плечами:

— Непостижимо!.. Я, конечно, не знал бы, что именно мне делать с миллионом, если бы он свалился мне с неба, но всякий миллион все-таки факт, как же можно его отрицать.

— Не понимаю, господа, что вы такое говорите! — как будто даже возмущенно немного поглядела на всех поочередно Цирцея.— Ведь это называется шутить над человеком, который отшучиваться совсем не умеет.

И под ее взглядом командирши, заступившейся за

своего субалтерна, первым смутился вежливый Мазанка и тут же выдал Ливенцева:

— Сведения о миллионах идут вот от нашего прапорщика... Мы сами это только сегодня от него услыхали...

И так как на Ливенцева теперь обратилось сразу несколько пар глаз и белесые глаза Зубенко глядели неприкрыто враждебно, то Ливенцев тоже поколебался было и уж хотел как-нибудь замять разговор, но спросил на всякий случай корнета:

— А вы доктора нашего Монякова знаете?

— Монякова? — переспросил Зубенко и отвернулся.

— Да, того самого Монякова, с которым вы, правда, не захотели говорить дня два назад, но ведь когда-нибудь придется же вам с ним встретиться, не так ли?.. Так вот, это именно он мне о вас наговорил, представьте!.. Он вас очень хорошо знает... и ваше имение... и ваши дела с французской компанией «Унион».

— Он так вам и сказал: французской компанией? — пусто и глухо спросил после томительного молчания Зубенко.

— С французской или бельгийской... Да, кажется, именно с бельгийской, но мне показалось, что это — все равно.

— Угу... Нет, это — не все равно,— пробормотал Зубенко.

— Может быть... Он мне сказал еще, будто вы недовольны ими, этими французами или бельгийцами, что они плохо выполняют условия договора, то есть, попросту говоря, вас грабят...

— Он так и сказал вам: грабят? — живо обернулся к Ливенцеву Зубенко.

— Да, в этом роде... и будто вы начали с ними процесс.

— А он не сказал вам, кто посредничает бельгийцам этим, прохвостам? — с большою яростью в хриповатом голосе спросил вдруг Зубенко, и глаза у него стали заметно розовыми от прилившей к ним крови.

— Однако факт, значит, все-таки налицо! — торжествуя, перебил по-адвокатски Кароли Ливенцева, начавшего было что-то говорить Зубенко насчет Монякова.— Есть угольные копи, взятые в аренду бельгийцами, которые платят вам шестьдесят тысяч, но должны платить, по-вашему, гораздо больше.

Лихачев коротко кашлянул. Ливенцев взглянул на него пристально. У Лихачева был явно оскорбленный вид. Он покраснел, как от натуги, и нервно накручивал правый ус на палец.

Так как Зубенко упорно молчал, делая вид, что и ответить не может так вот сразу,— очень занят едой,— то Цирцея обратилась к нему негодующая:

— Значит, вы действительно получаете по шестьдесят тысяч в год доходу?.. А я-то думала, что над вами шутят! — и она сильно сощурила глаза.

Ливенцев заметил, что у Зубенко как-то сразу набряк, явно распух и без того объемистый нос, однако ответ его поразил еще больше наивного математика, чем его нос:

— Вы думаете, что шестьдесят тысяч за угольный пласт, как на нашей земле, это много? В том-то и дело, что мало! Очень мало!.. За подобный пласт Парамонов по три миллиона в год получает!.. Три миллиона! В год! Это вам не какие-нибудь несчастные шестьдесят тысяч! — с неожиданной выразительностью и силой сказал Зубенко.

Мазанку же, видимо, мучила другая сторона дела — размер имения Зубенко, и он спросил почему-то даже не певуче, как привык слышать от него Ливенцев, а тоже несколько хрипло:

— Это на всех трех тысячах десятин у вас угольный пласт оказался?

— Именно в этом и вопрос, что бельгийцы шурфуют землю везде, где им вздумается, а по договору они этого делать не смеют,— помолчав, ответил Зубенко.

Убедившись в том, что у этого немудрого на вид корнета действительно три тысячи десятин, Мазанка оглядел всех округлившимися и от этого ставшими гораздо менее красивыми глазами и проговорил:

— Однако! Три тысячи десятин! Степной земли!

— Что же тут такого? — зло отозвался Зубенко.— Вон у Фальцфейна триста тысяч десятин степной земли,— это я понимаю,— богатство, а то три тысячи!.. По сравнению с тремястами — так, клочок жалкий!

— Не-ет-с, это уж вы меня извините,— это не клочок жалкий — три тысячи десятин,— как-то выдавил из себя скорее, чем сказал, Мазанка.

— Да-да! Смотря, конечно, как хозяйство поставить, а то три тысячи десятин вполне могут давать те же шестьдесят тысяч,— поддержал его Лихачев, покачав при

этом как-то многозначительно из стороны в сторону лысеющей спереди головой, а Цирцея добавила:

— И мы ведь тоже бурили у себя, мы столько денег ухлопали на бурение, однако у нас вот в недрах ничего такого не оказалось.

— Как? Вы тоже искали уголь? Или руду железную? — полюбопытствовал Кароли.

— Нет. Не руду и не уголь... Об этом-то мы уж знали, что нет... Мы за доломитом охотились,— объяснил Лихачев.— Доломит — он ведь для доменных печей требуется... И нашелся такой специалист, сбил нас с женою с толку: «У вас доломит! Бурите!» Вот и бурили... Денег, правда, пробурили достаточно, а доломит обманул... Ну, одним словом, он хотя и нашелся, только не того процентного отношения, какое требуется. Низкого качества. Годится, конечно, как бутовый камень, только не в домны... Да! На этом я, просто говоря, прогорел... А у вас, стало быть, целая Голконда? — обратился он к Зубенко не улыбаясь.— А я и не знал! Вы как-то ни разу не заикнулись даже... об этом своем альянсе с бельгийцами.

— Не дай бог иметь дела с этими негодяями! — уверенно, очень убежденно и горячо отозвался Зубенко, накладывая себе гарниру к жаркому.

— Наши союзники,— напомнил ему Ливенцев.

— Я о тех там, которые у себя дома сидят, не говорю,— поправился корнет.— Я говорю о тех пройдохах, какие к нам сюда приехали и нас сосут, как пауки.

— Однако миллион они для вас на вашей земле нашли же,— пытался склонить его на милость даже к приезжим бельгийцам Кароли.

— Какой миллион?

— Шесть рублей со ста, шестьдесят тысяч с миллиона!

— Ну, знаете, так считать если, тогда у Парамонова пятьдесят миллионов в земле лежат! А пятьдесят миллионов и один — это большая разница... Также надо принять во внимание, какое у меня семейство.

— Неужели вы женаты? — удивилась Цирцея и почему-то даже опустила при этом свою африканскую собачку на пол.

— Я не женат, положим, но ведь еще сколько нас — сестер и братьев... Это я считаю только родных, а ведь еще сколько двоюродных!.. Нас очень большая семья.

— Ну, ваши доходы тоже оказались не маленькие! Это на какую угодно семью хватит,— сказал Лихачев.

А Цирцея, безжалостно глядя на заплатанную на локте тужурку Зубенко, добавила язвительно:

— Тем более при ваших скромных привычках.

— Привычки зависят от воспитания,— буркнул Зубенко, не поднимая глаз.

Ливенцеву стало даже как-то жаль его, точно его травили со всех сторон, и виноватым в этой травле оказался не кто иной, как он же сам, Ливенцев, сболтнувший сказанное Моняковым,— мог бы ведь и промолчать. И, желая отвести разговор в сторону, он спросил Зубенко:

— Что же, пшеницу сеете на своей земле?

— Сеем и пшеницу,— подумав, ответил Зубенко.

— Ага! Вот видите! Значит, вам тоже необходимы проливы?

— Почему такое? Проливы? Мне? — несколько удивился, но и насторожился, как перед новой издевкой, Зубенко.

— Мы только что пришли к выводу, что всем помещикам России, у которых на полях пшеница, Дарданеллы необходимы, как воздух... Давайте же выпьем с вами за Дарданеллы! — поднял недопитую рюмку Ливенцев.

— Я не пью,— с достоинством ответил Зубенко.

— Как? Совсем никогда не пили? — изумленно поглядел на него Мазанка.

— Никогда не пил. И не курил также.

— Много потеряли!— сказал Мазанка, а Кароли ошарашенно выпятил губы:

— Накажи меня бог, первый раз такого человека вижу! Куда же вы свои миллионы намерены девать?

— Что не пьет и не курит — это верно,— сказал Лихачев.— И очень хороший службист,— рекомендую! У него все и всегда в порядке. При таком субалтерне эскадронный командир может быть спокойным перед любым смотром и перед любой ревизией.

Ливенцев принял эту рекомендацию как желание Лихачева вывести своего корнета из неловкого положения, хотя и не понимал как следует, в чем же именно тут неловкость. И только когда пригляделся к Цирцее вплотную, как привык приглядываться к людям, понял, что Лихачев говорил это не для них трех, а для нее одной, для той, которую теперь перестали уж совсем занимать голая коричневая собачка и две белых болонки. Она дала им каждой в свою мисочку по куску рагу из

баранины, и около нее теперь шло деловитое чавканье и урчанье, как около подлинной Цирцеи на ее острове, и она была теперь явно разгневана тем, что тот, который носил около нее, ею как будто и данный ему, облик простеца и бедняка, оказался вдруг перевоплотившимся самовольно во что-то другое, вдруг как-то неожиданно сделался далеко не так прост и, главное, совсем не беден, даже очень богат!

Да, у нее было явно негодующее лицо. На Зубенко она смотрела не отрываясь. Ливенцев понял, что это — женщина властная.

И вот еще что он понял: что он сам как будто человек с другой планеты среди остальных; что здесь, в Балаклаве, за одним столом с ним, получающим только свое полуторасторублевое жалованье прапорщика и больше ниоткуда ничего, сидят всё богатые люди. Об адвокате Кароли он знал, что у него прекрасный дом в Мариуполе, что сюда, в Севастополь, он взял свой выезд — красивый кабриолет и пару дышловых лошадей, неизвестно почему уцелевших пока от мобилизации; трое остальных были помещики, из которых самым богатым оказался самый незаметный на вид и преувеличенно скромный в своих привычках, не захотевший тратить даже двугривенного на третьи звездочки себе на погоны, хотя и мог бы носить погоны поручика так же незаконно, как и Кароли.

Над тем, что говорил ему о Зубенко дня два назад этот радикал, земец, доктор Моняков, он пытался думать только теперь — и удивленно видел, что молодой еще степной помещик этот, обладатель миллионов, захлестнут как-то до потери самого себя своими богатствами, что как-нибудь пользоваться ими он совсем не умеет, даже боится, что он умеет их только стеречь, может стремиться их увеличить, но совершенно лишен способности их тратить,— и в нем появилась какая-то не то что отчужденность, а даже брезгливость к этим всем, чересчур связанным с землею, преувеличенно земным людям и к Цирцее с ее африканскими и прочими собачками, и он сказал, улыбаясь, как всегда, когда чувствовал брезгливость:

— Господа! У меня нет ни имения, ни дома, ничего вообще, кроме знания математики, и то приблизительного конечно. Но математика не нуждается в защите при помощи кавалерии, а также штыков и пулеметов... Да на нее никто и не нападает: какая корысть нападать на ка-

кую-нибудь теорию парабол и гипербол? А вот напасть на имения с их пшеницей или на угольные копи — тут есть так называемый казус белли. Говорят уже, что теперешняя война — война угля и железа... и доломита, конечно, поскольку он необходим для железа. (Тут Ливенцев улыбнулся в сторону Цирцеи.) Вопрос теперь, значит, только в том, чтобы нам всем,— и мне тоже, представьте, как это ни странно! — суметь защитить все наши пшеничные поля и угольные копи.

— Как защитить? — глянул на него непонимающе Лихачев.

— От кого защитить? — спросил Мазанка.— Кто на них покушается?

— Вот тебе на! Разве немцы не заняли у нас часть Польши? — удивился Ливенцев.

— А мы разве не заняли часть Пруссии? — спросил Лихачев.— Линия фронта может, конечно, колебаться то здесь, то там, но-о до наших коренных русских земель куда же добраться немцам? Ни-ко-гда этого не будет! Да и вообще пустяки... Наше военное министерство урок японской войны учло — это теперь для всех очевидно... Нет, война кончится месяца через два-три...

— А вы как думаете? — обратился Ливенцев к Зубенко.

Зубенко подумал, помял хлебный мякиш между толстыми пальцами и сказал решительно:

— К новому году кончат войну!

Кароли же горячо добавил:

— И как только Вильгельм попадется в плен,— накажи меня бог, об него готов тогда буду целый день спички тушить! Так он мне с этой войной надоел, проклятый!

Ливенцев поглядел на него и расхохотался вдруг.

— А если... если не через два месяца, а и через два года не кончат войну? — еле проговорил он сквозь хохот.

— Абсурд! — махнул рукою Лихачев.

— Чепуха! — сказал Мазанка.

— Мне надо насчет сена распорядиться,— вдруг поднялся из-за стола, наклоняя голову в сторону Цирцеи, Зубенко.— Сейчас же надо послать подводы, а то ведь на сено много охотников... Не успеешь оглянуться — артиллеристы заберут, а потом ищи-свищи!

— Да-да! Вот именно: ищи-свищи! Идите, идите,— забеспокоился и Лихачев, а Мазанка кивнул Кароли:

— Надо бы и нам ехать...

Но хотя Зубенко и ушел, простившись с ними, их остановил Лихачев, так как подавали еще чай (на серебряном подносе, и стаканы в подстаканниках старого серебра), ликерные узенькие рюмочки и пузатую черную бутылку бенедиктина.

— Ка-ков оказался скромник наш Зубенко! — сказала Цирцея, снова усаживая на колени африканку и укутывая ее платком.— Ведь если бы вы не сказали нам, то откуда бы мы могли узнать, что это — богач? Если бы мы имели хотя бы половину его состояния! А ведь он...

Она остановилась, не договорив, но Ливенцев понял ее так, будто хотела она добавить: «...каждый день обедает на наш счет!»

И ему стало весело, когда добавил он про себя именно это.

А когда, простившись с Лихачевым, выходили они трое к своей линейке, Ливенцев заметил на верхней филенке верандной двери размашистую надпись химическим карандашом: «Прошю оставит сей дом внеприкосновенности допребытие хозяина».

Ливенцев понял, что писал это высланный на Урал немец, надеясь, как и они все, что война скоро окончится и еще скорее — забудется, и он, честный владелец табачных плантаций, снова будет командовать целой армией русских девок из Мелитопольского уезда, которые будут ему цапать землю, высаживать из парников рассаду, срывать спелые листья, сушить их на суруках и проделывать с ними вообще все эти сложные трудоемкие процедуры, пока не получится товар, готовый для отправки на табачную фабрику.

И даже вообразил вполне ясно и определенно именно такого, каким только он мог бы быть, балаклавского немца-табачника Ливенцев и представил, как на этой вот веранде, кейфуя в послеобеденный час, мечтает он, честный немец, о своей табачной фабрике, о конкуренции с Месаксуди и какими-нибудь братьями Лаферм и непременно о миллионах...

А кучер Кирилл Блощаница, заметив, что привезенные им офицеры вышли навеселе и с завидно-покрасневшими лицами, подмигнул Ливенцеву как-то сразу всем своим широким загорелым рябым лицом и сказал, облаживая сбрую:

— Такое в прежнее время заведение у него, у Лихачева, было до чужих кучеров, какие, конечно, гостей привозили: стаканчик водки чтобы и, само собою, обед в

людской... Думка такая у меня и теперь была, ну, однако, не вышло. А денатурату того когда-сь случилось выпить стакан, так от него аж каганцы в глазах!.. Конечно, пьют люди за неимением, только же его, говорят, через хлеб пропускать треба...

Кирилл Блощаница явно был недоволен ротмистром Лихачевым.

III

На обратном пути говорили опять о том же корнете Зубенко, причем Кароли высказывал догадку, что разбогател он случайно, что три тысячи десятин эти у него не родовые, а приобретенные, что он не дворянин, конечно, а, вероятно, из зажиточных хуторян, которым вдруг подвезло с этим углем на их земле. Втихомолку Зубенко-отец скупал по дешевке земли себе под межу, втихомолку же завязал и эти политичные сношения с бельгийцами, но нечаянно как-нибудь умер, «если не от рака в желудке, как наш мариупольский Родоканаки, то от какой-нибудь еще стервочки», и вот корнет Зубенко, как старший, вполне естественно, выходит в запас, а потом в отставку, чтобы вести хозяйство и сражаться с бельгийским «Унионом».

— Мужичок он, разумеется, прижимистый,— сказал Мазанка,— и в больших капиталах со временем будет, но вот для меня, как отца,— я ведь тоже сына-гимназиста имею,— вопрос в чем: сам ли он такой уродился, этот корнет Зубенко, или его так отец воспитал? А если воспитал отец, то каким же образом мог он этого добиться? Мытьем или катаньем? Ведь жмот сверхъестественный!

— Накажи меня бог,— музейная редкость! За деньги можно показывать.

Ливенцев молчал, потому что в голове его вертелись миллионы всех мастей: русские, бельгийские, немецкие, французские, английские... Эти миллионы принимали в его мозгу, несколько разгоряченном лихачевским вином, странно-уродливые, однако вполне реальные формы. И они сражались — эти разнонародные миллионы, а Кирилл Блощаница, который пока возится с серыми, секущимися на лопатках конями и мечтает о стаканчике водки, потом когда-нибудь пойдет вместе с ним, математи-

ком Ливенцевым, оборонять русские миллионы против миллионов немецких... А зачем это им обоим?

Сердит ли был Блощаница, или серые рвались домой к кормушкам, только они бежали бойко. На седьмой-восьмой версте от Балаклавы они догнали три мажары, в которых сидело по нескольку человек солдат-ополченцев, у которых солдатского было только — медные кресты на вольных картузах. Несколько впереди их, верхом на гнедом дончаке, но уже не на белоногом, а на другом рысил Зубенко.

— За сеном? — крикнул ему Мазанка, поравнявшись.

— За сеном! — ответно крикнул Зубенко, явно не пожелавший ни ехать с ними рядом дальше, до Севастополя, ни вступать в какие-либо разговоры еще, после того что говорилось за обедом у Лихачева.

Он даже не улыбнулся, он только чинно поднял руку к козырьку своей потертой фуражки. А Мазанка сказал Кароли:

— Если фураж на целый эскадрон через руки этого Зубенко будет идти, то чем это пахнет, а?..— и подтолкнул его локтем.

Энергически, как всегда, Кароли отозвался:

— Накажи меня бог, наживет еще миллион за время войны!..

При этом добавил он весьма сложное и выразительное ругательство, какого никак не ожидал математик Ливенцев от поручика с университетским значком.

Когда проезжали уже окраиной Севастополя, Кароли заметил свой кабриолет, в котором каталась его жена, и пересел к ней, а Мазанка и Ливенцев слезли с линейки у остановки трамвая. Кирилл Блощаница один поехал в дружину, где офицерам жить было негде.

Толстая, сырая, обветренная, красная, с облупившимся носом, старая торговка с двумя корзинами помидор и дынь спешила, грузная, к тому же вагону трамвая, в который сели Мазанка и Ливенцев, и уже занесла было она обрубковатую ногу в пыльном башмаке на подножку, но чахлого и сонного вида кондуктор дал свисток, вагон тронулся.

— Та куды же ты, нэгодяй, подлец?! — пронзительно завопила торговка.

Между тем в вагоне было всего несколько человек, и Ливенцев сказал кондуктору:

— Там еще какая-то старуха осталась,— посадить надо.

Сощуренными мутными глазками глянул на него кондуктор и дернул за веревку: вагон стал.

Втискиваясь в узкую дверь вагона со своими корзинищами, свирепо орала на кондуктора баба:

— Сви-сти-ит!.. А чтоб у тебя в животе так свистело!.. Куды ж ты свистишь, нэгодяй, когда я садюсь?

Она уселась как раз против Ливенцева, тяжело дышащая, с росинками пота на широком носу, и, время от времени обращаясь то к нему, то к Мазанке, полновесным грудным голосом воинственно кричала:

— Вот нэгодяй,— ну, что вы скажете, а!.. Сви-стит, когда человек сидае! Он знай свое — сви-стит!.. Вот так они и людей давлють!

Смешливый Ливенцев не выдержал, наконец, и захохотал; заулыбался весело и Мазанка, а старуха ворчала:

— Смийтесь, смийтесь себе, а мне начхать!.. Я садюсь, а вин себе свистит, нэгодяй!..

Даже и полусонного кондуктора развеселила свирепая старуха. А Ливенцев говорил Мазанке сквозь смех:

— Вот она — матушка Россия! Попробуйте ее в вагон культуры не взять — какого она крику наделает! Не-ет, она свое место под солнцем знает и ото всех отобьется.

И с тою наивностью, которая его отличала, обратился он вдруг к старухе:

— А ну-ка, послушаем глас народа!.. Когда кончится война, о дщерь Беллоны?

Но дщерь Беллоны, остановив на нем серые, в набрякших веках, маленькие, но сердитые глазки, сказала вдруг для него неожиданно:

— А-а, як так будете вы воювать, как воюете, то и людей на вас не хвате!

Поджала презрительно губы и отвернулась к окну вагона.

— Что это значит? — вопросительно поглядел Ливенцев на Мазанку.— Что такое изрекла эта Сивилла?

Мазанка сделал жест левым плечом и левой стороной лица, означавший: «Охота была к такой обращаться!»

Но тут скоро остановился вагон, и на этой остановке бурно ворвался в него мальчишка-газетчик со свежими дневными телеграммами и звонким криком:

— По-те-ря двух наших корпусов в Восточной Пруссии!.. Генерал Самсонов убит!..

И через две-три минуты из радостно-розового по цвету широкого листа телеграммы Ливенцев узнал то, что гораздо раньше его узнала базарная торговка,— что под Танненбергом и Сольдау, в болотистых лесах, восьмая германская армия, пользуясь превосходством артиллерии и лучшим знанием местности, обошла армию Самсонова, что Самсонов и два других генерала с ним были убиты немецким снарядом, что мы потеряли два корпуса...

Телеграмма была запоздалая, очевидно задержанная в штабе крепости, не решавшемся опубликовать ее. Но из штаба крепости, конечно, через писарей, проникла она на базар.

Выходя из вагона вместе с Мазанкой близ Малой Офицерской, на которой они жили оба, говорил Ливенцев взволнованно:

— Меня это ударило страшно! Совершенно не думал, что это возможно. Самсонов! Опытный генерал! Участник японской войны... О нем писали как о военном таланте, о стратеге... Эх! Какая жалость! Два корпуса! Ведь это — восемьдесят тысяч человек!..

— А что же делал Ренненкампф? Осаждал Кенигсберг? Почему не было согласованности действий? Потому что он — Ренненкампф,— вот почему! — выкрикнул залпом Мазанка, и красивое лицо его стало бледным, только глаза горели.— Может быть, он миллион получил от Вильгельма за то, что не поддержал Самсонова, почем мы знаем? Немец с немцем всегда сговорятся за русской спиной. Это уж будьте покойны.

— Значит, вы полагаете, что дело не в каком-то генерале Гинденбурге, назначенном Вильгельмом на место Притвица, а исключительно в одном только немецком миллионе, предложенном Ренненкампфу?

— Непременно! — очень убежденно отозвался Мазанка.

И, внимательно глядя в его горячие на бледном лице глаза, Ливенцев проговорил, запинаясь:

— Вот подите же... Для меня, конечно, ясно, что я подхожу к людям совсем не с того конца, с какого надо... И знаете, что я теперь думаю после этого несчастного Танненберга?.. Что немцы не так скоро сдадутся, как мы все об этом мечтаем. Нет. Не так скоро.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОХОТНИК ЗА ЧЕРЕПАМИ

I

Артиллерия дружины — батарея трехдюймовок — стояла на Северной стороне, и туда комиссия, в том же составе: подполковник Мазанка, поручик Кароли и прапорщик Ливенцев, приехала на следующий день.

Там тоже было всего лишь два офицера: штабс-капитан Плевакин и поручик Макаренко; причем Плевакин был не женат, африканских собачек и повара у него не было, отчетность велась кое-как, на каких-то клочках линованной бумаги, под кроватью в его комнате виднелись пустые водочные бутылки, на столе стоял лобзик,— он выпиливал какую-то рамку сложного рисунка,— и так же с нескрываемым изумлением встретил он ревизионную комиссию, как и ротмистр Лихачев, хотя и должен был прочитать об этом в приказе по бригаде.

Но о приказах этих он сказал презрительно:

— Тоже еще — при-каз-зы пехотные!

К пехоте вообще он, видимо, привык относиться без всякого снисхождения, а к тому, что прикреплен к какой-то там ополченской дружине, даже и за месяц не успел привыкнуть.

Правда, вид у этого Плевакина был воинственный: нос — долбежка, зубы — как у лошади, и даже рыжие волосы надо лбом завивались кверху петушьим гребнем.

— Ре-ви-зии! — ворчал он, выбрасывая из своего стола поручику Кароли разные счета, им оплаченные и сваленные в столе в полнейшем беспорядке.— Какая-нибудь пехтура — и вот тебе, здравствуй! — ревизия!.. А война вся — артиллерийская.

Поручик же Макаренко, тяжелый черный одутловатый человек лет под сорок, у которого за годы отставки ничего не осталось военного ни внешне, ни внутренне, рассказывал между делом Ливенцеву:

— Собрався это я себе на охоту ехать, собак накормил...

— Как же вы это: на охоту ехать, и вдруг собак кормить? — перебил Ливенцев.

— Та го̀ди уж... Накормил собак, только собрався ехать, аж глядь — урядник иде́!.. Гм, думаю себе, что ему надо от ме́не, уряднику? Аж подает бумагу: «При-

зываетесь прибыть в дружину такую-то». Вот черт! А зачем — неизвестно! «Прибыть-прибыть, а зачем прибыть?» — спрашиваю того урядника. «Так война ж»,— говорит. «Туда к черту!.. Да с кем, бодай тебе лиха година,— с кем нам война? Какая война? Когда это?» — «Так с немцем же»,— кажет. «М-м,— с немцем!.. А я-то думаю, с кем же это нам война?»

— Да вы газеты-то читали? — поглядел на него удивленно Ливенцев.

— Ну да, еще чего — га-зе-ты!.. И на черта мне голову морочить, газеты читать? Что я, у-чи-тель? Или же поп? Или пысарь сельский?.. У мене ж хозяйство!

Смешливый Ливенцев весело расхохотался.

Подполковник Мазанка посоветовал все-таки Плевакину завести книгу отчетности, чтобы на следующий месяц не так долго сидеть комиссии за его клочками бумажек, и все вышли посмотреть батарею.

Очень удивило Ливенцева, что на всех орудиях было аккуратное клеймо: «Made in Germany», а Плевакин сказал:

— Какое же это имеет значение? Что, они постесняются бить немцев, что ли?.. А вот если их мало купили в свое время, денег пожалели,— вот это будет свинство! Войну затеваешь — денег не жалей,— первое правило! Война денежки любит... А ревизию после войны назначай!

Около орудий увидел Ливенцев тощего, с зеленым острым лицом, хотя и не такого уж маленького мальчишку, лет тринадцати на вид, беспечно одетого в какую-то рвань. Он неотступно ходил за ними, пока они осматривали батарею.

— Здешний? — спросил о нем Ливенцев Плевакина.

— Какой черт здешний! Беглый. Из Мариуполя с ополченцами приехал... Ой, Демка, смотри, я тебя по этапу отправлю!

— Ну да! По этапу!.. Дурак я, что ли, вам дался? — независимо ответил Демка.

— А вот прикажу, чтоб тебя не кормили на кухне и хлеба чтоб не давали,— сам, черт, уйдешь!

— Хлеба! Очень я нуждался! Что мне, хлеба никто не даст?

Голос у Демки был мрачный.

— Кто же твой отец, Демка? — спросил его Кароли.— Я в Мариуполе кое-кого знаю.

— Не знаете вы его...— отозвался Демка, глядя на Кароли исподлобья.— Он грязным ремеслом занимается.

— Каким же это грязным? Шпион он, что ли?

— Нет, не шпион... Он позолотчик. Иконостасы золотит.

— Вот тебе на! Какое же это — грязное ремесло? — сказал Ливенцев.

— Да, вы еще не знаете, какое... Грязное, и все! А теперь и вовсе все православные в шалопуты переходят,— никакой выгоды нет заниматься...

— Видно, что у тебя этот вопрос решен — насчет ремесла твоего папаши... А что же ты здесь делаешь? — спросил Кароли.

— Отправки жду,—что!.. На войну когда отправят — вот чего.

Картуз у Демки был синий когда-то, теперь — розово-лиловый, а козырек болтался на одной нитке посередине, отчего лицо его менялось в освещении, но выражение его оставалось одно и то же — упрямое, недоверчивое, осторожное, но самостоятельное, потому что весь он был отдан во власть одному, захватившему его целиком, стремлению: попасть на позиции.

— От-прав-ки! — покачал головой Мазанка.— Куда тебя, такого зеленого, отправлять? На кладбище?

— Ну да! На кладбище!.. Почище ваших ополченцев буду! — качнул козырьком Демка, однако из осторожности отошел.

Ливенцев отметил, какие тонкие были его босые ноги, и какие узкие, несильные плечи, и какие слабые, темного цвета, косицы спускались ему на шею из-под фуражки. Даже старый и лопнувший под мышками нанковый пиджачишка — и тот был какой-то подбитый ветром, под стать всей его бестелесной фигуре.

И он сказал Плевакину:

— Ополченцев ваших он авось не объест,— подкормили бы его немного, а потом можно отправить его домой.

— Гложет же он мослы на кухне! — отозвался Плевакин, а Макаренко добавил:

— То уж такая худородная порода... Жеребята вот тоже иногда такие бывают шершавые. Ну, те, правда, долго и не живут — подыхают.

Местность кругом была унылая: песок под ногами, чахлые низкорослые акации кое-где, с листьями наполовину желтыми, повисшими, сожженными жарою, и казармы со всех сторон. Даже голубая бухта, а за нею море не давали простора глазу. В бухте торчали паро-

ходы, когда-то служившие для каботажного плавания, ныне ставшие тральщиками, а море... море стало совершенной пустыней, холодной, враждебной, растерявшей все веселые белые паруса и все заботливые мирные дымки на горизонте, а вместе с ними потеряло и всю свою ласковость, всю поэтичность.

II

С ополченцами дружины трудно было наладить занятия военной подготовкой. Поручик Кароли объяснял это тем, что они не имели необходимого солдатского вида.

— Ты ему разъясняешь всякие его там солдатские обязанности, за неимением прав, а у него на голове бриль соломенный, а на ногах — постолы из рыжего телка!.. Спросишь его: «Да ты откуда такой взялся, что стоишь и десятый сон видишь и глаз расплющить не можешь?» — «А я из экономии, говорит, волів пас».— «А добрые ж были волы?» — «А вже ж добрые... У богатого пана уся худоба добрая...» Ну, вот и говори с ним о волах, да о баранах, да почем у них там сало свиное... А какой же из него, к черту, солдат? Накажи меня бог,— насмешка над здравым смыслом с ними чертовщиной всякой заниматься! Пускай лучше песни орут.

И ополченцы маршировали в своих брилях и постолах из свежих шкур телят своего убоя и орали песни. Песен этих было всего четыре. Если шли неторопливым шагом, как идут люди на серьезный, но отдаленный все-таки подвиг, то пели:

Пише, пише царь германский,
Пише русскому царю:
«Разорю твою я землю,
Сам в Расею жить пойду!»
Зажурився царь великий,
Смутный ходит по Москве...
Не журися, царь великий,—
Мы Расею не дадим!

Если шаг мог быть просторнее и вольнее, как у косцов, когда возвращаются они с сенокоса, то пели про благодушное, домашнее:

Ехал купчик из Бер-дян-ки,—
Пол-то-раста рублей сан-ки!
Пятьдесят рублей ду-га,—
Ах, цена ей дорога!

Если шагу придавали некоторую торопливость, неразлучную с представлением о какой-нибудь деревенской трагедии, например, о пожаре, требующем общенародного действия, то пели:

Как у нашей у деревни
Нова новина:
Не поймали щуки-рыбы,
Поймали линя.
Раздивилысь, рассмотрилысь,
Аж воно — дитя!
Аж мало дитя!

Наконец, если идти надо было побыстрее и повеселей, тем шагом, какой на военном языке называется форсированным, то пели «Ухаря-купца». Эту песню пели с особыми вывертами и высвистами, по-своему переиначивая слова:

Ехал на ярморок юхорь-купец,
Юхорь-купец, д'юдалой молодец!
В красной рубахе, в серых штанах,
Ходит по вулице весел и пьян...
Девок и бабов ен поит вином:
Эх, пей, пропивай, все равно пропадем!

Песню эту пели с особым одушевлением: должно быть, настроениям ополченцев она отвечала больше, чем другие.

Впрочем, была еще песня, которую пели ополченцы только в присутствии начальства,— например, командира дружины или командира бригады, генерала Баснина, который поначалу, по новости дела, раза три приезжал в дружину, пока не надоело. В этой песне были такие боевые строки:

Дружно мы станем стеной на германца,
Докажем, что есть ополченцы в бою!
Смело пойдем воевать со врагами,
Положим живот свой за веру-царя!

Во всех этих песнях, и боевых и разгульных, Ливенцев все-таки не слышал ничего боевого, ничего разгульного, и больше понимал он базарных торговок, когда приходилось с ратниками из своих амбаров-казарм проходить мимо базара в поле, где только и можно было развернуть как следует огромную ополченскую роту.

Торговки говорили сожалеюще: «Апольченцев гонють!» — и это была правда.

Дружина была собрана в Екатеринославщине, но не только украинцы в нее попали: были и греки из-под Мариуполя, были немцы из колоний; были русские, рабочие и шахтеры, захваченные мобилизацией на местах работы; были евреи, были татары, были армяне... И у всех замечалась эта ошеломленность, какая бывает у мыши, оглушенной захлопнувшейся внезапно железной дверцей мышеловки; кроме того, у всех была затаенная обида на эту нелепую мобилизацию потому даже, что никто не хотел верить, будто их могут погнать на фронт. Все думали, что война кончится и без них: «Мало ли солдат было в полках? Мало ли было казаков? И разве в японскую войну брали ополченцев? Почему же вдруг теперь?..» И были такие, что не только верили сами, что вот-вот распустят их по домам, как забранных по ошибке и бестолковости властей, но пробовали убеждать и других. Больше всего сбивало с толку то, что долго не выдавали гимнастерок и шинелей. Не хотели думать, что нет этих шинелей, и рубах, и сапог, и фуражек, и даже поясов с железными бляхами. А не выдают — значит сами сомневаются, нужно ли выдавать их, не будет ли это совершенно зря, а новые вещи ополченцы в какой-нибудь месяц приведут в негодный хлам.

В ротах особенно угрюмые лица были у хозяйственных многосемейных степняков старых сроков службы, а среди молодежи, склонной вообще к артельной жизни, попадалось достаточно беспечных и веселых — плясунов, гармонистов, балалаечников... Были даже сказочники, вменившие себе как бы в обязанность рассказывать по вечерам сказки, и чем эти сказки были длиннее, тем они казались занятнее: коротких слушать не любили. Даже и анекдоты требовались подлиннее и позакрученней.

И в то же время покупали много газет и сходились кучками слушать последние новости с «театра военных действий». И сразу обозначались среди ратников яростные политики, зараженные газетной одноголосицей о задачах и целях войны и не допускавшие мысли, что война не окончится через два-три месяца.

Но во всей дружине, насколько мог наблюдать ее всю Ливенцев, не было никого, кто бы стремился как можно скорее «положить свой живот за веру-царя», торопился бы получить солдатскую обмундировку и щеголять в ней себе на радость и кому-то на утешение,— никого, кроме вот этого самого тринадцатилетнего Демки, бежавшего от своего отца, позолотчика иконостасов.

Он был уже теперь здесь. Выгнал ли его Плевакин из артиллерийской казармы, или он решил, что скорее отправят на фронт пехоту, и перешел сюда сам,— только его встретил уже в своих казармах Ливенцев дней через пять после ревизии. На тонких ногах его были чьи-то доброхотные опорки; козырек плотно пришит кем-то к картузу; пиджак нанковый тоже починен.

— Демка, Демка, и охота тебе тут околачиваться без дела! — сказал ему Ливенцев.— Ехал бы ты домой, а?

— Не поеду! — твердо ответил Демка.— Домой!.. Тут я, может, подводную лодку увижу, а дома что?

— Где же ты ее тут увидишь?

— На берегу,— где!.. Она ведь по дну морскому ходит, а на берег должна же когда вылезать.

— Гм... как же она по дну может ходить?

— Как! Очень просто: на колесах катится.

Демка смотрел на Ливенцева исподлобья и, пожалуй, даже презрительно: не знает таких простых вещей, а еще офицер!

— Кто ж тебе это сказал, Демка?

— Кто! Я сам знаю... А то тут тоже начальник дружины кричит: «Горниста мне сюда! Горнист где?..» Горнист этот самый прибегает с трубой, а он ему: «Послушай, горнист! Что бы нам такое сыграть?» Ей-богу! Не знает, что горнист играть должен!

— Гм... Демка, Демка! Разве так можно о начальнике дружины говорить? Он начальник дружины, полковник, а ты что такое?

— Я?.. Мне бы только до фронта доехать, я бы им показал! — мрачно пропустил сквозь зубы Демка, и костлявые кулаки его воинственно сжались.

— Кому бы ты показал! Немцам?

— А то кому же!.. А то идут, поют: «Пойдем резать москалей!» Как это стерпеть можно?

— А почем же ты знаешь, что они там поют?

— В газете вон — люди читали... «Мо-ска-лей резать!..» Это они нас москалями зовут... А я бы их прямо, как «Охотник за черепами»! Э-эх! — Демка тут до того свирепо поглядел на Ливенцева, что тот расхохотался.

— Демка, Демка! Вот они у нас где — охотники за черепами таятся! А я и не знал.

— Пускай мне винтовку дадут,— попросил вдруг Демка.— Я и в строю буду ходить тоже... с винтовкой.

— Тяжела тебе винтовка будет. Кабы трехлинейка — та полегче, а то — берданка. А в берданке одиннадцать фунтов.

— Ну что ж, одиннадцать! Не донесу, что ли? Я уж пробовал, носил.

— Такие Гавроши, как ты, брат Демка, хороши бывают во время уличной войны — патроны на баррикады таскать. А на этой войне чтобы тебе охотником за черепами быть — ничего не выйдет! Там тебя снарядом за пять верст ухлопают, и никто этого даже и не увидит, может быть. И ты сам и не успеешь даже подумать, что это с тобой случилось, как от тебя уж тогда одни брызги останутся. Брось о немецких черепах думать и поезжай в свой Мариуполь. Денег на дорогу я тебе, так и быть, дам, Демка.

Ливенцев говорил это как можно серьезнее, чтобы подозрительный мальчуган не усмотрел в его лице или в оттенке голоса и тени шутки, но Демка вызывающе качнул головой:

— Брыз-ги!.. Тоже еще... брызги! — и пошел от него проворно, больше недовольно, чем испуганно, удивив его тем, что не попросил денег на проезд, как мог бы сделать это другой: ведь деньги на то на се бывают и мальчишкам нужны. Еще заметил Ливенцев, когда он повернулся от него круто, что глаза у Демки раскосые. Он подумал, что вот как хитрил этот охотник за черепами, глядя исподлобья и в упор, когда говорил с ним: он боялся, должно быть, что косоглазие его заметят и за это его забракуют и не возьмут на фронт.

III

На другой день, когда Ливенцев был в канцелярии дружины, получилось, вместе с другою почтою, письмо на имя полковника Полетики. Тот начал было читать его, но безграмотность письма, и серая бумага, и расплывшиеся местами чернила не расположили его к чтению до конца.

— Чепуха какая-то! Мальчишка какой-то у нас будто... Ерунда! — и бросил письмо в плетеную корзину под стол.

— Позвольте! Мальчишка? У нас действительно есть мальчишка... Демка. Охотник за черепами...— сказал Ливенцев и вытащил из корзины письмо.

Вот что это было за письмо:

«Ваше высокородие!

У вас ходится мальчик убижавши вместе с поездом военый и сейчас увашей друшины имя его Димян Семенов Лабунский глаза раскосия то все покорнейше прошу вас умоляю припроводить его в город Мариуполь дом Краснянского улица Фонтальная а вам и всему воинству жалаю быть счастливы в своем деле родители его *Семен Михайлыч и Васелиса Никитечно»*.

Письмо это Ливенцев спрятал в карман, так как Полетика был занят важным делом: пришла из штаба бригады бумага, что дружина получает фуражки, шинели и сапоги, за которыми надо будет явиться заведующему хозяйством с каптенармусами и подводами от каждой роты.

Когда Ливенцев сказал в своей роте, что наконец-то выдают дружине шинели, сапоги и прочее, он усиленно следил за лицами и не верил глазам: ни одного опечаленного этим лица он не заметил.

Даже те, которые уверяли других, как он знал, что совсем не думает начальство гнать их на фронт, потому-то и не выдает им обмундировки,— и те спрашивали его только о том, подарят ли им за службу шинели и сапоги, когда кончится война.

Он отвечал убежденно:

— Ну еще бы не подарят! Непременно должны подарить... как солдатам, уходящим в запас.

И они становились вполне довольными и хлопали друг друга по спинам: все-таки шинель, сапоги, суконные рубахи, шаровары,— все это кое-каких денег стоит и ноское, хватит надолго.

И несколько дней потом прошло не в бестолковой, а вполне осмысленной суматохе: в четырех огромных ротах дружины пригоняли, ввиду наступающей осени, теплую казенную обмундировку, в которой люди, распущенные зимою, по окончании войны, разъедутся по домам,— это было похоже на дело.

Но, получив обмундировку, дружина стала назначаться комендантом города в наряды на гарнизонную службу. И однажды Ливенцев был отправлен с восемьюдесятью ратниками в распоряжение градоначальника.

Помещение для назначенных в наряд отвели на паровой мельнице грека Ичаджика, где на дворе кишели утки, пожирая отруби из кормушек и разводя кругом вонючую грязь. В длинном подвальном этаже мельницы

поставлены были нары и висел телефон для связи с градоначальством, но до сумерек никто не звонил. А когда стемнело, явился городовой, чтобы отвести двадцать пять человек при старшем унтер-офицере на сторожевую службу. Через два часа он же пришел за сменой.

Отлучаться с мельницы сам Ливенцев не имел права: могло быть передано по телефону из градоначальства какое-нибудь важное распоряжение. А пришедшая на отдых первая смена чувствовала себя заметно сконфуженной.

— Что вы там делали полезного для отечества? — спросил своих ратников Ливенцев.

Ратники фыркнули и закрутили головами, а унтер-офицер Старосила, человек бородатый, степенный, старше сорока лет, ответил, подумав:

— Ну, одним словом вам сказать, ваше благородие, ащеульничали!

— Как? Ащеульничали?.. Гм... Слово весьма малопонятное и требует объяснения,— сказал Ливенцев, пытаясь сам догадаться, что̀ значит и это слово и сконфуженность ратников.

— Дома́ эти самые нехорошие тут поблизу,— пояснил Старосила.— И вот, одним словом...

— Какие нехорошие дома? Терпимости, что ли?

— Так точно!.. И вот, стало быть, по одной улице дома̀ — к этим девкам матросня ходит, а на другой улице рядом — там для артиллерии девки...

— Хорошо, а вы были при чем? Для ополченцев, что ли, дома там отводились?

— Никак нет. Ополченцам пока нет такого положения.

Ратники прыснули.

— Не понимаю, что вы могли там делать! — сказал Ливенцев, испытующе глядя в бороду Старосилы.

— Мы, ваше благородие, вроде бы патрулями ходили, чтобы скандалу где не было, а также вредной драки. Через то это могло быть, что матросня, она, конечно... ей, одним словом, получше девки пришлись, а что касается артиллерии — той похуже.

— Ну?

— Ну, а всякому, ваше благородие, хотится, чтобы получше, вот через что артиллерия к матросне на улицу лезет, и начинается тут у них свалка на улице: артиллерия лезет, а матросня не дозволяет.

— А вы что должны были делать?

— А мы вроде бы должны их разводить, ваше благородие.

— Вот так раз-во-дя-щие!

Ратники хохотали кругом.

— Известно, на военной службе всего насмотришься,— коротко закончил Старосила.

— Хорошо,— сказал Ливенцев.— Вот вернемся в дружину, я подам командиру рапорт, что̀ это за наряд такой и нельзя ли этот наряд на будущее время похерить... А теперь пока ложись, хлопцы, спать!

Но долго не спали ратники, а заливисто хохотали по углам; действительно, наряд был не совсем обыкновенный. И кто-то просил ротного сказочника Дудку рассказать сказку.

Дудка был очень толстогубый, молодой еще малый, угрюмого вида, так что предположить в нем сказочника никак не мог Ливенцев, и он начал, проворно шлепая губами, длинную, что было важно, сказку о трех Иванах: коровьем, кобыльем и овечьем, и каком-то Лиходее, который держит под замком на высоченном дубу красавицу. Эту красавицу и хотят освободить Иваны и взять себе в жены.

Сначала едет к Лиходею Иван Овечий, а Лиходей говорит:

— Ты приихав до мене биться, чи мириться?

Иван Овечий тому Лиходею ответ:

— Я приихав до тёбе совсим не мириться,— хай ты сгоришь, а приихав я до тёбе биться!

— Да как-ак вшкварит ему! — замахивается кулаком Дудка, а слушатели хохочут от удовольствия.

Лиходей оказался сильнее все-таки Ивана Овечьего и его одолел. Но пока они бились, вертелась тут же поблизости сорока. «Они бьются себе, они бьются, а сорока стрекочет-регочет...» И когда убил Лиходей Ивана Овечьего, сорока полетела за мертвой и живой водой. А Иван Коровий, не дождавшись Ивана Овечьего, поехал к Лиходею и натыкается на убитого, который «лежит себе ни мур-мур...».

Покуривая толстую кручонку и то и дело сплевывая на пол и затирая сапогом, Дудка рассказывал однообразно, но складно, как Лиходей убил и Ивана Коровьего и потом Ивана Кобыльего, но сорока оживила тем временем Ивана Овечьего, и только что управился Ли-

ходей с Иваном Кобыльим, снова идет на него биться, а не мириться Иван Овечий, а потом — воскрешенный сорокой Иван Коровий, а там — Иван Кобылий... Конечно, Лиходею ничего не остается делать, как бежать от этих бессмертных и уступить им красавицу на дубу.

Как раз когда кончил свою сказку Дудка, пришла, также фыркающая от смеха, вторая смена, а с нею вместе неожиданно для Ливенцева пришел Демка. Оказалось, что он встретил эту смену недалеко от мельницы Ичаджика и кого-то узнал из ратников.

— А-а! Демка! Где же ты пропадал последнее время? — спросил Ливенцев.— Кажется, с неделю я тебя не видал.

— Я-то?.. Я в Балаклаве был,— пытался улыбнуться Демка, но улыбка ему вообще не удавалась.

— В Балаклаве? У кого же ты там был? У ротмистра Лихачева?

— Ага!.. В эскадроне.

— Ты что же думал, что эскадрон наш на своих лошадях скорее до фронта доскачет, чем мы пешие дойдем?

— Ага! Верхом ездить учился,— буркнул Демка.

— Гм... Засела в тебе эта скверная идея — охотиться за черепами немцев. Ах, Демка, Демка!

— А что же им — спустить это? — при электрической лампочке сверкнул раскосыми глазами Демка.— Никогда не спущу!

— Чего же ты именно не спустишь?

— Того!.. Как это они наших солдат пленных живыми в землю закапывают? Хорошо это? Спустить это можно?

— Откуда ты это знаешь?

— Знаю! Ребята в газетах читали!

— Может, это и выдумка: немцы — народ культурный.

— Выдумка! Пальцы нашим пленным отрезают, чтоб они больше стрелять не могли. А каких прямо в землю...

— А немецкие газеты про наших солдат то же самое пишут.

— Не-ет! Наши этого не сделают. Пускай не брешут!

— Давай с тобой лучше думать, что все это — одна брехня на человека, кто бы он ни был... И потом вот что,

Демка... Ты ел что-нибудь сегодня? Может, это ты с голодухи такой свирепый?

— А то не ел? — подозрительно поглядел Демка.

— А что же ты так поздно по улицам ходишь?

— Да я ведь прямо из Балаклавы сюда.

— Тебя, что же, погнали оттуда?

— Ну, да, «погнали»! Я сам ушел... Когда они на войну даже не собираются. А вам уж шинеля повыдавали.

— Шинеля и там будут получать не сегодня-завтра. Только там шинеля другого образца — с длинным раструбом... А домой тебе не хочется ехать?

— Чего я там забыл? — насупился Демка.

— Отца с матерью забыл... Семена Михайловича и Василису Никитичну.

Демка, услышав это, оглянулся кругом, ища глазами, кто мог тут сказать этому прапорщику, как зовут его отца и мать, но, не найдя такого, уставился, усиленно мигая, на Ливенцева.

— Думаешь, откуда я мог взять Семена Михайловича и Василису Никитичну? Добрые люди сказали... Нехорошо, брат Демка! Даже если ты и кровавым мстителем хочешь быть — не советую. Без тебя у нас в России народу хватит. Чего другого, а народу— сколько угодно... Ехал бы ты лучше к своим старикам, право.

— Они разве старики? Вот, значит, вы и не знаете! — повеселел Демка.— Вовсе они не старики еще.

— Чем же тебе они надоели? Бьют, что ли, тебя?

— Ну да! Еще чего! Бьют-ут! — И Демка поглядел с вызовом.

— Я тоже слыхал о них, что люди они хорошие... И будто они о тебе беспокоятся, что ты здесь зря погибаешь. Что зря, то зря — это правда. Ехал бы ты лучше домой.

— Уж вы мне один раз это говорили... Домой! — презрительно протянул Демка и вдруг пошел проворно к двери.

— Куда ты? Заблудишься в темноте! Уж так и быть,— пришел, так ложись спать в нашей гостинице! — кричал ему Ливенцев, но он все-таки ушел.

А Старосила говорил Ливенцеву:

— Его, ваше благородие, теперь уж на путь не наставишь. Теперь отец-мать без него живи; этот малый погибший.

IV

Получен был приказ докупить для надобностей дружины к тем, какие стояли уже на конюшне, еще десятка четыре лошадей — обозных, ротных и ординарческих, и так как на покупку выдавались из полевого казначейства довольно большие деньги, то естественно, что это взволновало офицерский состав дружины.

Попасть в полковые ремонтеры издавна в русской армии считалось большой удачей жизни, хотя и требовало известного знания лошадиных статей и повадок коннозаводчиков и барышников. Теперь, после мобилизации лошадей, многое из трудностей этого дела было упрощено, а денежный соблазн остался тот же самый.

Поэтому все в дружине яростно стремились попасть в ремонтеры, а так как дружина сформирована была в Мариуполе, то всем предлагалось ехать за лошадьми не куда-нибудь еще, а непременно в Мариуполь.

Командир дружины, Полетика, выслушивал всех довольно добродушно, потому что не имел привычки когонибудь слушать внимательно, а всегда думал о чем-нибудь своем или ни о чем не думал, но, наконец, сказал он с чувством:

— Красавцы, черт вас возьми! Ведь это — вопрос... как его называют... ну?

— Восточный? — подсказал было Ливенцев.

— Да не восточный, а... какой там, к черту, восточный!.. Одним словом, серьезный вопрос. И лучше, кажется, я уж поеду сам, да... А чтобы торговаться там крепче, то я возьму вот адвоката нашего,— кивнул он на Кароли.

— А лошадей кто будет выбирать? — живо отозвался Кароли.— Это дело тонкое — лошадь выбрать... Разве для этого фельдфебеля нестроевой роты, Ашлу, взять?

— Ашла-шашла... гм... Шашла... это что такое? — спросил его Полетика.

— Виноград есть такой десертный.

— Да-да... Помню...— несколько раз поднялся на цыпочки полковник, вздохнув.— Душистая такая?

— Есть душистая,— та называется мускатная шашла.

— Шашла-шашлык... Будто из этой... как ее?.. из шашлы шашлык делается? Гм... шашлык, ведь он из баранины?..— взял за пуговицу капитана Урфалова Полетика.

Приземистый капитан Урфалов сильно потянул коричневым изогнутым носом, точно перед ним был свежезажаренный шашлык, а не Полетика, и сказал уверенно:

— Первая, изволите видеть, закуска под водку, господин полковник!

— Надо бы здесь когда-нибудь заказать, а? Вот вы это можете... А за шашлой... гм... зачем же за шашлой нам ехать в этот... как его?.. в Мариуполь?

— Насколько я понял, за лошадьми будто бы в Мариуполь,— не удержался, чтобы самым серьезным тоном не вставить, прапорщик Ливенцев, и Полетика, помигав несколько секунд мечтательными голубыми глазами, счел нужным рассердиться вдруг:

— А, конечно, за лошадьми! За коим же еще чертом мы в эту Ашлу? И вы никуда не поедете, вы останетесь здесь, в дружине!

— Да я и не собираюсь никуда — ни в Ашлу, ни в Ош, ни в Оршу!

Подполковник Мазанка очень поморщился, поглядев в его сторону, а Кароли постарался взять точное направление на Мариуполь и на лошадей, и деловая беседа о том, кого взять и как ехать, затянулась еще на целый час, причем Ливенцев все не мог понять, зачем хочет ехать в Мариуполь сам Полетика, когда ему гораздо спокойней было бы сидеть здесь в канцелярии и подписывать, что поднесет на подпись адъютант, а потом зайти в кондитерскую, спросить стакан кофе и пирожных, сесть за мраморный столик и дожидаться, когда девицы в белых фартуках поднесут то и другое. А через минуту уже по-детски заскучать от бездействия и погрозить девицам пальцем:

— Вы что же это не несете мне этого... что я заказывал?.. Смо-три-те! А то сейчас придет сюда еще один полковник, с большими-большими усами, очень строгий! Он вам тогда задаст!

Девицы начнут хихикать, а Полетике будет казаться, что действительно обещал зайти и действительно зайдет сейчас подполковник Мазанка, и он будет нетерпеливо ждать его, поглядывая на дверь, наконец скажет сердито:

— Черт знает что! Нет и нет его до сих пор! — и пойдет из кондитерской на улицу как раз в то время, когда одна из девиц уже нальет стакан кофе и положит на тарелочку пирожных.

На улице он встретит ратника не своей дружины, а другой, которой командует генерал Михайлов и которая разбросана от Балаклавы вдоль берега до Фороса — охраняет берег.

— А-а! — скажет он ратнику.— Здравствуй, братец!

— Здравия желаю, вашескородье! — грянет во весь голос ратник.

— Ты откуда сюда?

— Из Фороса, вашескородь!

— Что же, командир ваш там как? Жив?

— Так точно, жив!

— Ну, ступай!

— Я так что артельщика дожидаю, он в магазин пошел, вашескородь!

— А! Ну, тогда стой.

Потом увидит другую кондитерскую, вспомнит о кофе и пирожных и зайдет сюда.

Конечно, это гораздо спокойнее, чем ехать куда-то в Мариуполь, возиться с лошадьми, считать казенные деньги, заниматься сложением и вычитанием, не высыпаться в гостиницах...

Но, слушая бестолковщину в канцелярии дружины, Ливенцев нащупал случайно письмо Семена Михайлыча и Василисы Никитичны Лабунских, которое он несколько дней уже носил в боковом кармане тужурки, и у него возникла простая и убедительная мысль — отправить вместе с Кароли в этот поход за лошадьми в Мариуполь и Демку, потому что другого подобного случая может и не быть, и вернее всего, что не будет.

Когда Ливенцев улучил время сказать об этом Кароли и показал ему при этом письмо с адресом: «Фонтальная улица, дом Краснянского», Кароли даже просиял:

— Как же! Фонтальная улица!.. Я на Фонтальной улице детство свое провел!.. Помню, как по ней греки с говяжьими костями бегали... Ведь у греков кость дорого стоит: он ее сам в своем супу часа два варит, потом на улицу с ней выбежит и кричит: «Кре! Кре! Кре-е-е!» — бегут гречанки, по копейке платят, чтобы в своем супу подержать для вкуса пять минут... Больше пяти минут держать не полагалось, а ему доход: одна пять минут подержит — копейку дает, да другая, да третья,— вот ему три копейки остается. А потом уж кость эту на вес продает тем, кто кости собирает,— еще копейку за нее получит...

Увлекшись приятными воспоминаниями детства, Демку он обещал непременно взять.

Ливенцев хотя и видел Демку в этот день около бухты, не решился раньше времени говорить ему ничего, и только в день, когда стало известно, что вечером выезжают на пароходе Полетика, Кароли и несколько заядлых лошадятников из ополченцев во главе с фельдфебелем Ашлою, он сказал ему:

— Слушай, Демка! Тебе, брат, везет, как дай бог, чтоб целую жизнь везло! Только не прозевай. Иди вечером на пароходную пристань: отправляются в Одессу, а оттуда на фронт... понимаешь? — на фронт, куда ты так стремишься,— сам командир дружины, поручик Кароли и еще несколько человек ратников. Вот и ты там устроишься с ними.

Ливенцев сказал это как мог таинственней и вполголоса, и Демка вздернул узенькие плечи и как-то боком, криво открыл рот, а глаза глянули на прапорщика и подозрительно и бешено-радостно в одно и то же время.

— Вы... это правду говорите? — прошептал Демка.

— Чистейшую! — не улыбнувшись и не моргнув, отвечал Ливенцев, чувствуя себя врачом у постели смертельно больного.— Я ведь говорил тебе, что надо бы тебе домой ехать, а теперь вижу, что ты этим военным ядом отравлен до неизлечимости,— значит, все равно. Хочешь погибнуть там,— погибай, твое дело!

— Я не погибну, не таковский! — сжал кулаки Демка и даже челюстями заскрипел.

— Может быть, и не погибнешь... Так вот — фронт так фронт. Только не прозевай парохода.

— Как же они одни едут? А дружина вся?

— Дружина пойдет за ними следом... они квартирьерами едут. Будут смотреть, куда там, на позициях, всю дружину поставить... Это всегда так делается,— вот почему сам командир и поедет... Одним словом, дело твое. Мне уж отговаривать тебя надоело,— попытайся, посмотри что за позиции такие. Я думаю, что ты и сам сбежишь и что уж больше тебя тянуть на смерть не будет.

— На смерть! Я не пропаду, небось!.. Я... А шинель и винтовку мне дадут?

— Там, до Одессы доедешь, дадут. От Одессы до фронта там уж близко. Пятьсот тысяч войск там стоит.

— Ого! Пятьсот тысяч!.. Больше, чем всего народу в Севастополе!

— Ну еще бы!.. Так вот, не зевай...

И так как Ливенцев подумал вдруг, что Демка будет теперь спрашивать всех в дружине насчет этой скорой

отправки и кто-нибудь скажет ему, что едут совсем не в Одессу, то он добавил:

— Если хочешь ехать, то здесь уж не околачивайся, а иди прямо туда, где пароходы отходят. Поручика Кароли ты ведь знаешь в лицо?

— Ну да, знаю.

— Вот! И командира, конечно, знаешь... Как только увидишь, что они на пароход садятся, ты сейчас же к ним.

— А не прогонят? — прошептал Демка.

— Я их упросил,— так же шепотом и таинственно ответил Ливенцев.

Демка снял благодарно свой лиловый картуз, а потом, когда надел его снова, по-солдатски поднес руку к козырьку и отошел, и следивший за ним глазами Ливенцев видел, что он не желал даже ждать здесь до вечера, а прямо пошел на пароходную пристань. Так как он знал, что этим же вечером отходит пароход и на Одессу, то не боялся вполне понятного любопытства Демки. Ашлу же он предупредил, чтобы так именно и говорили воинственному мальчугану, что едут сначала в Одессу, а оттуда немедленно на фронт.

Прошло дней десять.

Приказы по дружине подписывал вместо Полетики Мазанка, в ротах занимались все теми же ружейными приемами и сборкой-разборкой винтовок (выдали всем винтовки), ратники читали «Русское слово» и гадали, к новому году распустят их по домам или так на месяц, может быть, раньше? Они уже знали, что командир дружины уехал докупать лошадей, но лошади лошадьми, а роспуск ополченских дружин роспуском, одно другому не должно было мешать. Наконец, появились в канцелярии дружины и Полетика и Кароли; Ашлу с другими ратниками оставили около купленных лошадей, которых не так просто оказалось доставить.

Как всегда у людей, только что купивших лошадей для хозяйства, у Полетики и Кароли был приятно возбужденный вид. Особенно расхваливал Полетика какого-то буланого в яблоках, с черной гривой, которого удалось купить очень дешево, хотя, разумеется, значительно дороже, чем остальных.

— Но уж зато картинка! Это прямо поразительно, до чего... Буквально заглядеться можно! — восхищался несколько как будто даже помолодевший за эту хлопотливую поездку Полетика.— Этого коня я уж никому, не-ет!

Я его себе возьму под седло... Я уж ему и имя дал... как, а? — обратился он вдруг к Кароли за помощью.

— Десять имен вы ему за день надавали! И я уж не помню последнее,— пожал плечами Кароли и выпятил губы.

— Вот! Вот видите: «Не помню»! А на меня все говорят, что я не помню!.. Сарданапал?

— Мазепа, кажется?

— Мазепа, да! Мазепа! Пусть так и будет — Мазепа!

— Если брать исторические имена,— сказал Ливенцев,— то, по-моему, лучше уж современные... Франц-Иосиф, например,— чем плохо? Все-таки верхом на Франце-Иосифе приятнее ехать, чем на каком-то мифическом Сарданапале... даже и на Мазепе.

— Постойте, а вы... вы что же это, прапорщик? — вскинулся вдруг на него Полетика и лицо сделал строгим.— Вы кого это, кого нам подкинули?

— А, да! Кстати, как он? Доехал до Мариуполя? — с живейшим интересом спросил Ливенцев.

— Послушайте, он,— накажи меня бог,— одержимый какой-то, его в смирительный дом надо,— ответил Кароли за Полетику, который только разевал рот и смотрел оскорбленно.— Если б я знал, я бы его на выстрел не подпустил. Я ведь ему билет купил на ваши деньги, честь честью, и только что мы отчалили, он и пошел выкаблучивать! Буквально какой-то ирокезский танец на палубе поднял и орет: «На фронт! На фронт едем! Немцев бить!» Прыгает, на руках ходит... Что же это такое за военный припадок? Люди кругом хохочут, а у него шахсей-вахсей какой-то... ей-богу, он чуть за борт не полетел, вот как разбесновался.

— Ну, хорошо,— а дальше?

— Дальше? До Ялты доехал ничего,— спал, должно быть, что ли, а уж вот как к Феодосии подъезжали, тут с ним и началось! Лезет к нам в каюту второго класса, понимаете, напролом лезет! Его гонят, а он... Понятно, нашелся какой-то дурак, сказал ему, что не на фронт, а в Мариуполь едем... Такого крику наделал, что его, видите ли, обманули, боже ж мой! В Феодосии он и остался, мерзавец этот.

— Я вам, прапорщик, выговор в приказе объявлю завтра! — нашел, наконец, нужные слова Полетика.

— Может быть, и следует,— кротко отозвался Ливенцев.— Но ведь не думал же я, что до такой степени

опротивело ему ремесло позолотчика иконостасов, что он заболеет адской любовью к войне. Вот до чего иногда иконостасы доводят!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ИДИОТСКИЙ УСТАВ

I

Этого не было в приказе по дружине, чтобы офицерам собраться к восьми часам вечера для тактических занятий под руководством самого командира дружины, полковника Полетики; прапорщик Ливенцев получил записочку об этом от адъютанта дружины Татаринова, через одного из писарей канцелярии штаба дружины, когда было уже часов шесть.

Он спросил писаря:

— Почему такая экстренность? Что случилось?

Писарь улыбнулся и ответил:

— Не могу знать.

Ливенцев ведал охраной туннелей и мостов под Севастополем, и в его распоряжении было до полутораста ополченцев, стоявших постами около охраняемых мест. Они там жили в нарочно для этого устроенных землянках, на каждом посту свой унтер-офицер за старшего; на постах стояли с винтовками и при проходе поезда вели себя так, как полагалось часовым по гарнизонному уставу.

Ливенцев объезжал сначала ежедневно, потом раз в два-три дня посты на дрезине, которую давали ему на станции «Севастополь», принимал рапорты унтер-офицеров, что на таком-то посту никаких происшествий не случилось, раздавал кормовые деньги, так как люди на охране пути довольствовались сами, как хотели и могли, привозя только хлеб из роты.

Это давало Ливенцеву кое-какой досуг, и он мог бы даже иногда урывками продолжать свою работу над диссертацией, прерванную мобилизацией, но жуть великой войны не давала возможности сосредоточиться на чем-нибудь другом, кроме газет и телеграмм с театров военных действий.

Он хотел было не идти на эти тактические занятия, пользуясь своим положением командира части, стоящей

в отделе. Но так как в штабе дружины всем было известно, что живет он отнюдь не на каком-либо из постов у туннелей, а в Севастополе, на той же Малой Офицерской улице, на которой жил и прежде, то неудобным показалось не пойти.

А уж декабрь мерно отсчитывал свои тяжелые дни. Истекали все сроки конца войны, которые намечал и про себя и вслух Ливенцев. Война продолжалась.

Дружина помещалась уже теперь не в портовых сараях, а в бывших казармах Белостокского полка, ушедшего на фронт в самом начале войны. Временно занимал потом эти казармы другой полк, из запасных, но и его зацепил крючок войны и потянул на тот же фронт, и, доживая последние дни в Севастополе, полк этот сдавал теперь дружине кое-какое имущество, которое считалось излишним там, в окопах.

Для «принятия имущества» этого и была командиром бригады ополченцев назначена комиссия из трех лиц от двух дружин: от одной — начальник дружины, генерал-майор Михайлов, от другой — командир роты, капитан Урфалов, а третьим был назначен прапорщик Ливенцев, должно быть потому, что он — математик и хорошо сумеет сосчитать все эти старые хомуты, вещевые мешки, шинели второго срока, подсумки, набрюшники...

Теперь, когда с последней остановки трамвая Ливенцев шел на тактические занятия и засияли в темноте желтыми огнями окна верхних этажей казармы, он вспомнил, как при этой приемке пропахших мышами и плесенью вещей,— причем генерал Михайлов, чтобы дышать свежим воздухом, расположился со всей комиссией на балконе цейхгауза, высоко, под чердаком,— он, Ливенцев, всегда казавшийся всем веселым и спокойным, в первый раз за время службы в дружине совершенно вышел из себя.

Было время обеда, и запасные обедали, окружив котелки, тут же на дворе казарм, но какой-то молодой и ретивый штабс-капитан гонял свою роту из конца в конец по двору и кричал:

— По-ка не прой-дете как следует, сукины дети, не пущу обедать, не-ет!

И одиннадцать раз эта несчастная рота прошла перед ним туда и сюда, пока, наконец, возмутился Ливенцев и, возмутившись, прямо в широкое, серобородое, красное, угреватое лицо генерала крикнул:

— Что он гоняет их, этот стервец?! Ведь ему, идиоту, первая же пуля в затылок будет за это от своих же солдат!.. Остановите этого болвана, ваше превосходительство!

Генерал снял очки, встал, взял под козырек и сказал:

— Слушаю, господин прапорщик!

Потом оперся на перила балкона и очень зычно, как-то нутром, закричал:

— Эй, вы там! Штабс-капитан такой-то, имярек!.. Сейчас же распустить нижних чинов обедать!

Штабс-капитан недоуменно пригляделся к балкону, заметил, конечно, красные генеральские лампасы на брюках Михайлова и широкие погоны без просветов, удивленно отдал честь и махнул левой рукой своей роте:

— О-бе-дать!

Рота побежала составлять винтовки, топоча по булыжнику радостными сапогами.

— Ну, вот и хорошо! — сказал Ливенцев, благодарно поглядев на генерала.

— Рад стараться, господин прапорщик! — по-фронтовому отчеканил генерал, не мигая глазами, потом сел как ни в чем не бывало, протер платком и надел очки и спросил деловым тоном:

— Так сколько там вещевых мешков насчитали годных, сколько никуда не годных, чтобы нам не сбиться с панталыку?

А Ливенцев, выясняя насчет мешков, говорил, чтобы оправдать для себя же самого свою горячность:

— Люди идут на фронт, и недели через две, может, от них и четверти не уцелеет, а он их тут шагистикой какой-то паршивой морит!.. И какому черту она, спрашивается, теперь нужна?

— Понятно-с... Понятно-с... Очень-с все понятно-с...— отзывался генерал и спрашивал: — Теперь как там выясняется дело с подсумками?

Ливенцев решил тогда об этом генерале Михайлове, что он — человек, должно быть, со странностями, но невредный.

И еще, подходя к казарме, вспоминал он, как здесь переживал обстрел, первый раз в своей жизни, настоящий обстрел настоящими снарядами.

Это случилось в середине октября, часов около семи утра, когда он брился, готовясь, напившись чаю, идти в

дружину, где как раз в этот день должны были приводить к присяге молодых ратников.

Он брился не спеша, как обычно, когда вдруг загремело страшно вверху где-то и кругом и чуть не вылетели рамы в его комнате. Потом еще и еще, раз за разом... Он вскочил было, но так как обрил только правую щеку, сел добриться и чуть не порезался — до того волновались руки. Он не сомневался, что это — настоящее, такое же самое, как и там, на фронте.

Денщика у него не было,— не хотел брать,— и в дверь к нему, не постучав, вбежала квартирная хозяйка Марья Тимофеевна, непричесанная, полуодетая, растерянная.

— Что это? Николай Иваныч? Кто это может?

Орудийные выстрелы раздавались один за другим так часто, рамы так крупно вздрагивали, что едва слышно было ее, хотя она кричала.

— Обстрел! — крикнул ей Ливенцев.— Десант, должно быть, немецкий... Вообще непонятно...

Она помогла ему надеть боевые ремни поверх шинели. Он переставил предохранитель своего браунинга на feu [1].

Марья Тимофеевна была старая дева, жившая квартирантами; по годам, пожалуй, немногим моложе его. Но теперь, непричесанная, неумытая, полуодетая, растерянная, испуганная, она показалась ему гораздо старше. Она как-то вся посерела от испуга; даже волосы ее, распущенные по плечам, обыкновенные русые волосы, какие могли бы быть у всякой Марьи Тимофеевны, стали как будто светлее.

Она бормотала:

— Вы же поберегитесь, Николай Иваныч!.. Вы же поосторожней, пожалуйста!.. Не дай бог несчастья!.. Вы же смотрите!

И он обещал ей, усмехаясь:

— Буду, буду смотреть!.. Изо всех сил буду...

И выскочил на улицу.

А на улицах, на балконах, стояли такие же, как Марья Тимофеевна, полуодетые, иные и совсем в одних рубашках, с накинутыми на плечи одеялами, женщины, непонимающе жались одна к другой и слушали — слушали зычный разговор своих крепостных орудий с чужими пушками.

---

[1] Огонь *(фр.)*.

Когда проходил мимо Ливенцев, они кричали ему:
— Послушайте! Кто это? Что это такое?
Он отвечал уверенно:
— Это — немцы! Это всё немцы!
И быстро шел дальше, думая: «А может быть, и не немцы? Может быть, это бунт какой-нибудь, например во флоте, как было в девятьсот пятом году...»
Трамвай не действовал. Не было видно ни одного вагона.
Из переулка вырвался извозчик, испуганно хлеставший лошадей.
— Эй, дядя! — крикнул Ливенцев.— В казармы Белостокского полка!
Извозчик отозвался, не остановившись:
— Рублевку! Скорее только!
Ливенцев добежал и сел, а извозчик кричал ему:
— И то это потому я только, что в ту сторону мне домой ехать!
И, продолжая хлестать вожжами лошадей, оборачиваясь, поблескивал откровенно злыми глазами в диких зарослях лица:
— Эх, штаны белые, черти! Вот спать какие здоровые!.. То Порт-Артур они проспали, то теперь Севастополь!.. Разворочают все к чертям! Одессу уж разворочали этой ночью, теперь — нас!
— Да кто это? Что это ты? О ком?
— Как так «кто это»? Немецкий флот это, какой у турков оказался, вот кто! «Уральца» утопили. «Донцу» тоже сделали конец. Половину Одессы разворочали этой ночью... А наши все только спят!.. Вот штаны белые!
Поскольку Ливенцев не носил белых штанов, то есть не был моряком, он не должен был обижаться,— так решал это дело извозчик. По крайней мере Ливенцеву теперь было ясно: обстреливали Севастополь немецкие крейсера, проскочившие в Константинополь в начале войны,— «Гебен» и «Бреслау».
К себе в роту Ливенцев приехал раньше ротного, подполковника Пернатого, и тут ему пришлось самостоятельно решать очень важный, конечно в смысле сохранения людей, вопрос: держать ли ратников в казарме, или вывести их на двор.
Канонада продолжалась. Куда летели неприятельские снаряды — было неизвестно. Ливенцев представил, как снаряд большого калибра, уже окрещенный в те времена «чемоданом», разрывается над крышей казармы и

убивает и калечит половину из доверчиво глядящих на него, стоящих вздвоенными рядами людей, и скомандовал:

— На двор! Марш!

А когда все выскочили на двор, скомандовал снова:

— Рас-сыпсь! — и, показав руками, что это значит, добавил: — Стадом не стой! Распылись по два, по три!.. Увидишь — летит снаряд,— ложись!

Вообще в этот день он старался говорить суворовским языком.

Снаряды в их сторону, правда, не летели, но ополченцы рассыпались, как ему хотелось, и так усердно глядели в небо, что не заметили, как появился среди них их ротный Пернатый.

Впрочем, ввиду такой боевой оказии он не потребовал, чтобы его встречали командой «смирно». Напротив, он сам в это утро был очень смирен и далеко не так речист, как обыкновенно. А когда ушли подбитые «Гебен» и «Бреслау» и молодые ратники были приведены к присяге, с молодою пылкостью он ходил подбирать осколки немецких снарядов вместе со своим прапорщиком.

Он появился в дружине в сентябре, вместе с двумя другими подполковниками из немцев — Эльшем и Генкелем. Он был высокий, сухой, тощий, весьма изможденный на вид. Руки и ноги — как палки, на длинном узком морщинистом лице хоть бы кровинка: мертвый пергамент. Череп начисто лысый. Нижняя челюсть сильно вперед; зубы вставные.

Говорил он с ратниками своей роты так:

— Ребята, старайсь!.. Старайсь, ребята, и за то к Рождеству я вас всех женю на таких красивых девках, что а-ах!.. И кто если женат, ни черта не значит, ребята: второй раз женю!.. Главное, старайсь! За царем нашим служба не пропадает! Вот я служил верой-правдой двадцать пять лет, вышел в отставку, дали пенсию... Ну, думаю, значит я уж больше не годен! Однако вот понадобился батюшке-царю опять! И теперь я грести буду, родная моя фея, по триста рубликов в месяц!.. Вот так-то, отцы мои хорошие, ратники-ополченцы! Вот так и вы старайсь!

А в офицерской компании Пернатый любил декламировать «Энеиду», перелицованную Котляревским, особенно торжественно начиная:

Эней був парубок моторный
И хлопец хочь куды казак!

а также окончание пушкинского «Царя Никиты», которое написано было совсем не для дам и по этой причине не могло не презреть цензуры.

И когда заканчивал чтение, он, как артист, ожидал похвалы или за то, что у него отличная дикция или за то, что у него хорошая память, а когда хвалили, говорил с чувством:

— Да! Был!.. Был конь, да изъездился! А был!.. Был, отцы мои хорошие, был конек горячий, а не так себе, какой-нибудь, абы что!

С ним в дружине примирились в первые же дни все, за исключением, конечно, поручика Миткалева, который до него командовал второю ротой и получал по триста рублей, а теперь должен был перейти на полтораста; но к подполковникам из немцев отнеслись подозрительно все, начиная с самого Полетики.

Однако приземистый Эльш оказался очень добродушен, да в первые дни осторожно и очень уступчиво держался и Генкель. Но чем дальше, тем больше развертывался и показывал свою многогранность этот синеголовый и пышущекрасный лицом, толстый и тяжелый, не легче шести пудов, в дымчатых очках, скрывавших косоглазие, и с сизым носом.

Служил он, как оказалось из его послужного списка, в жандармах, о чем, многозначительно подмигивая, сообщил всем адъютант, зауряд-прапорщик Татаринов.

В дружине привыкли к тому, что полковник Полетика ничего совершенно не знал, все и вся путал и ничего не хотел знать, а заведующий хозяйством, подполковник Мазанка, во многом сомневался и обращался к другим за советами.

Генкель, как оказалось уже недели через две после появления его в дружине, все знал, ничего не путал и ни в чем решительно не сомневался. Когда, после обстрела Севастополя, ввязалась в войну Турция и стали поговаривать о том, что Персия тоже готовится выступить на стороне Германии, то Генкель, попыхивая сигарой, говорил с большой серьезностью:

— Это для нас очень была бы неприятная история, господа! Персия — большая страна. Там двадцать восемь миллионов населения!

— Вот туда, к черту! — удивлялся Полетика.— Двадцать восемь? Гм... Откуда же могло их набраться столько, этих... этих, как их... Скажите, пожалуйста, как их оказалось много!..

— Да. Двадцать восемь миллионов... Считайте десять процентов на армию,— получается почти три миллиона человек — армия! И нам с нею придется иметь дело, господа.

— Но ведь три-то эти миллиона, они ведь необучённые! — пытался возражать Мазанка.

— Ничего! Немецкие инструкторы обучат... Да, наконец, они ведь просто могут влиться в турецкую армию, а она-то уж обучена Гольц-пашой...

Так же авторитетно говорил он и о всем другом, о чем угодно. Он оказался крымский помещик: под Курманом, где плотно осели с давних пор немцы, было его имение.

Он был полная противоположность не только Пернатому, но буквально каждому из офицеров дружины, так как единственный из всех он ретиво начал вводить всюду порядок, строго придерживаясь уставов и внеуставных распоряжений высшего начальства.

Он неукоснительно следил за тем, чтобы ратники, как и другие «нижние чины», не занимали мест внутри вагонов трамвая, а только на задней площадке, чтобы они были застегнуты на все пуговицы, чтобы они отдавали ему честь, как штаб-офицеру, становясь во фронт, хотя по закону о призванных из отставки он должен был носить капитанские погоны, и другие подполковники дружины иногда забывали на улице о том, что им должны становиться во фронт.

По настоянию Генкеля заведена была дружинная лавка в одном из подвалов казармы, а в этой лавке должно было продаваться все, что было необходимо ратникам, начиная с чая и сахара и кончая ваксой. В лавку Генкель устроил продавцом бывшего бакалейного торговца из ратников своей роты, а главное, заведование лавкой великодушно взял на себя. Так были им лишены заработка многочисленные бабы, продававшие ратникам около казармы своего печенья коржики, бублики и пирожки.

Но другие бабы проникали во двор казармы за кусками хлеба и помоями, сливавшимися в бочки.

Генкель заявил как-то Полетике, очень вежливо, правда:

— Как хотите, господин полковник, но ведь это же совсем невозможная какая-то вещь, хе-хе!.. Бабы... вполне свободно... как к себе домой, заходят в казармы, нагружают до отказа свои ведра и, представьте, на коро-

мыслах у всех на виду разносят помои по своим хозяйствам!.. Но ведь они же вносят в казарму разврат!

— Ну, ну! Разврат!.. Что вы там говорите,— разврат! — слабо защищался Полетика.

— Как хотите, конечно, но... меня это, признаюсь, ошеломило!.. Мне кажется,— позвольте просто высказать мне свое мнение, господин полковник,— что это надо бы прекратить. Начальство может об этом узнать, и тогда, знаете ли... Гм... Мне просто хотелось бы указать на это... на этот маленький непорядок, хе-хе... А ведь здесь недалеко свалки. Можно просто вывозить помои на свалки, и будет хорошо.

— Помои, да... Они, конечно, воняют тут... А бабы, они вроде... вроде... как это называется, а?

— Проституток?

— Ну вот,— сказали тоже! Каких там проституток, когда они просто бабы! Они идут с помоями, и от них воняет, а вы... Как они называются, черт их знает!.. Вот эти, в лазаретах... в белых халатах...

— Сестры милосердия?

— Да не сестры, а... также они и в санитарных вагонах... Санитарки, да, вот что я хотел сказать... убирают всякую вообще сволочь в помойную яму, горшки там ночные и прочее... Так вот и эти бабы... И вечером у нас во дворе все бочки чистые, я сам видал А тут вдруг... что вы такое сказали? Выносить бочки? Куда выносить?.. То есть вывозить! Куда?.. Послушайте, с вонючими такими бочками, кто же с ними будет возиться? Что вы мне тут такое... Вильгельм... как? Аполлоныч?

— Я? Оскар Карлович, господин полковник.

— Ага! Вы — Оскар, а это, стало быть, Эльш — Аполлон?

— Он, насколько мне известно, Ипполит Вильгельмович... Но вопрос о помоях я мог бы взять на себя лично. Прикажите это делать артёлке моей роты, и она их будет вывозить каждый день, эти помои. Заведем для этого бочку такую, лежачую, вроде водовозной, и всё. Ведь лошадь ротная все равно ничего не делает целый день, только жрет и жиреет.

— Ну, как знаете! — отмахнулся от него, как от надоевшего овода, Полетика.

И вот артёлка третьей роты, которой командовал Генкель, начала ежедневно вывозить из казарменного двора помои.

До назначения в дружину Генкеля третьей ротой командовал поручик Кароли, а субалтерном его был длиннорыжебородый зауряд-прапорщик Шнайдеров, бывший учитель. Этого рыжего Шнайдерова совершенно не переваривал Кароли, прозвавший его за бороду Метелкиным.

— Да ведь это — сплошной дурак,— накажи меня бог правда! — говорил он о нем Ливенцеву, отходя на ученье к нему от своей роты.— Что он мне ратников мучает? Ведь я же им дал «оправиться», а он им начал замогильным своим голосом устав гарнизонный читать! Обязанности дежурного по полку офицера им читает... Накажи меня бог, из этих учителей никогда я ни одного умного человека не видал! Ну, на кой им черт обязанности дежурного офицера? Тебя если сделали зауряд-прапором, так ты, покорнейше благодарим твою мамашу, и учи себе эти обязанности наизусть, а им зачем? Вот проклятая мельница пустая! И гудит, и гудит, и гудит, в печенку, в селезенку, в корень!.. Гудит замогильно, а у меня аж тоска, у меня тоска!.. Ну, дали им оправиться, и пусть оправляются, а чего же ты гудишь? На какую такую пользу веры-царя-отечества, чтоб тебя разорвало на три части!..

Теперь Кароли, передав роту Генкелю, стал ведать, как юрист, исключительно дознаниями по части самовольных отлучек; он же должен был, по приказу Полетики, находить необходимые справки в «Своде военных постановлений» за 1869-й и прочие годы. А Шнайдеров пришелся под стать новому командиру и ревностно, вполне поощряемый к этому Генкелем, проходил с ратниками из устава «обязанности дворцовых часовых» и «порядок зари с церемонией в присутствии их императорских величеств».

Генкель оказался так строг к ратникам, что дружинный карцер, прежде почти пустовавший, теперь был битком набит ратниками его роты. Он часто писал рапорты Полетике то на того, то на другого из своих ратников, добавляя на докладе, что такого-то и такого-то надо бы отправить на гарнизонную гауптвахту. И добивался того, что Полетика объявлял в приказе об аресте на гауптвахте то того, то другого из третьей роты.

Генкель явно выслуживался своей заботой о благочинии и порядке перед каким-то высшим начальством, и скоро все увидели, что он выслужился.

На имя командира ополченской бригады, генерал-лейтенанта Баснина, человека массивного, сутулого, об-

рюзгшего, с желтым обвисшим неподвижным лицом, хрипучим голосом и какими-то моськиными глазами, из которых один, левый, был гораздо у́же правого, может быть, как следствие первого паралича,— поступил обстоятельный донос ревнителя пользы службы, подполковника Генкеля, возмущенного явной бесхозяйственностью подполковника Мазанки. И вот совершенно неожиданно весьма тяжелый на подъем генерал явился в дружину. Конечно, все, что указано было в доносе, он нашел и жестоко наорал на Мазанку, а покидая дружину, предложил Полетике Мазанку сместить, Генкеля же, «как весьма расторопного штаб-офицера», сделать заведующим хозяйством.

И на следующий же день в приказе по дружине появилось, что подполковник Генкель назначается заведующим хозяйством, а Мазанка — командиром третьей роты. Но это было еще не все, не прошло и трех дней, как в том же приказе было объявлено: «В случае отлучки или болезни командира дружины, полковника Полетики, командование дружиной переходит к подполковнику Генкелю».

Тут-то и развернулся вовсю Генкель!

Дружинная нестроевая рота оказалась теперь завалена работой: шорники чинили усердно бесчисленные хомуты, шлеи, уздечки и прочую сбрую; столяры чинили старую и делали новую мебель; слесаря и кузнецы возились с частями сельскохозяйственных машин — лобогреек, молотилок... Все это привозилось из имения Генкеля и, исправленное, увозилось туда же, причем лошади Генкеля размещались на несколько дней как бы на отдых в дружинной конюшне, а люди его питались вместе с нестроевою ротою в ожидании конца ремонта всего этого сельскохозяйственного инвентаря. Наконец, оказалось, что и помои со двора казармы отнюдь не вывозились на свалки: Генкель нанял не так далеко от казармы небольшой домишко с сараем и доставил туда из своего имения дюжины три породистых поросят с матками и свинарем; дружинные помои шли на откорм поросят. Генкель оказался весьма деловым человеком, что и говорить! Он и дружине стремился всячески принести пользу. Он говорил, например, почтительно Полетике:

— Господин полковник! Для конюшни нашей нужна солома. Я знаю одно такое место, где можно купить сколько угодно соломы, и всего по пятнадцать копеек за пуд.

— Гм... Солома-масо̀ла... Мосола, да...— задумчиво говорил Полетика.— Ну что ж, знаете и... какого же черта? Конечно, покупайте, что ж...

— Но придется ведь заплатить кое-что и за провоз, господин полковник. Ведь эта солома, конечно, не в Севастополе, хе-хе... В Севастополе, в первоклассной крепости, какая же может быть солома?

Полетика соглашался, что в Севастополе, в самом деле, откуда же взяться соломе? Солому, конечно, надобно привезти откуда-нибудь из деревни, и, само собою, придется накинуть к пятнадцати копейкам что-нибудь на провоз.

Солома и прибыла вскорости целым обозом из имения Генкеля, который получал, кроме пятнадцати копеек за пуд, еще и за провоз.

Голова Генкеля без устали работала над тем, как бы вообще слить воедино дружину в Севастополе и имение под станцией Курман. Во всяком случае, он уже отобрал из лошадей дружины дюжину голов, приказав конюхам кормить их лучше и следить усерднее за их здоровьем, рассчитывая непременно их приобрести для имения, чуть только окончится война и начнут их распродавать с торгов.

Заботы о своем имении часто мешали Генкелю вовремя расплачиваться с подрядчиками дружины. Но выходило как-то так, что Генкель всегда подыскивал оправдания и изворачивался с такою ловкостью, которой никак даже и предположить было нельзя в его жирном, шестипудовом теле. А потом как-то случилось даже и так, что он непосредственно сносился с самим комендантом города, полковником Оллонгреном, минуя Полетику, и выходило временами, что даже и Полетика как будто зависел от Генкеля: ведь он все, что ему угодно, мог наговорить о нем коменданту города, а тот передать коменданту крепости... и мало ли что могло из этого выйти!

И в то время как Эльш неумеренно много пил, найдя себе в этом занятии доброго товарища в лице своего субалтерна, поручика Миткалева, до войны служившего где-то по земскому страхованию, низенького человечка с рыженькими, вечно мокрыми усиками, неудачно старавшегося говорить глухим басом; в то время как командир первой роты, капитан Урфалов, человек преувеличенно турецкого обличья, большой любитель серебряных портсигаров с золотыми монограммами, устроил в своей квартире постоянные и приманчивые для иных

ужины с преферансом до часу, до двух ночи,— Генкель был весь в густых деловых облаках сигарного дыма, в тонких соображениях, выкладках и расчетах.

И величественно заседал он в кабинете командира за его столом, когда случалось заболеть чем-нибудь Полетике.

II

Все это припомнил прапорщик Ливенцев, пока подходил к казарме. Но вспомнилось и еще одно.

Он был дежурным по дружине и выполнил уже все обязанности дежурного,— минут двадцать оставалось до смены.

В это дежурство как-то особенно тошной показалась канцелярия штаба дружины со «стулом приказиста», казначеем, военным зауряд-чиновником Аврамиди и часовым, стоявшим у денежного ящика, пожилым, седоватым, наводящим уныние всем своим видом: по-домашнему как-то держал он винтовку и сосредоточенно смотрел на свои сапоги, облепленные последними уже осенними мухами. Должно быть, он удивленно думал над тем, что могли найти в его сапогах сладкого эти десятки мух.

Ливенцев вышел из казармы к воротам и там, на улице, поразился роскошью очень пышных хризантем, белых и розовых, которые несла в корзине на продажу в город девочка лет двенадцати. Он купил у нее несколько штук и с ними вернулся снова в канцелярию, чтобы новому дежурному, зауряду Шнайдерову, сдать дежурство, но, оказалось, там уже кричал Генкель:

— Куда же он мог деваться, этот Ливенцев? Сейчас нужны деньги! Сию минуту нужно мне взять деньги и ехать платить, а как же без дежурного? Безо-бразие!.. Черт знает что у нас делается такое!..

— Послушайте, вы, черт возьми, как вас звать,— красавец!.. Вы что же это, а?.. Где же могли вы запропасть вообще... э-э... когда вы же дежурный, а? — встретил Ливенцева сам Полетика.

— Посмотрите, какие цветы! — с наивностью кабинетного человека поднес к самому его лицу свои хризантемы Ливенцев, и Полетика сразу же забыл, что этого прапорщика надо за что-то такое распечь.

— Гм... Цветы, цветы... Действительно ведь, а? Это какие такие?

— Хри-зан-темы! — нарочно расчленил это музыкальное слово Ливенцев.— Давайте, я вам в петлицу вот эту прелесть!

И Полетика не без видимого удовольствия следил за раскидистым сочным розовым цветком, появившимся вдруг у него на груди, как раз под бородою; но в это время разъяренно подошел Генкель.

— Вы... вы что же это, прапорщик, уходите куда-то с дежурства?.. Вы... вы за цветами какими-то, а тут... тут... денежный ящик... часовой...— Он положительно задыхался.— Под суд! Под суд можете угодить за это!

Он был багровый, его щеки тряслись, и Ливенцев, заметив это, сказал то, что подумалось:

— Вредно вам волноваться при такой тяжелой комплекции. И совершенно лишнее из-за таких пустяков...

— Прошу... Прошу меня не учить, не учить! — совершенно бешено крикнул Генкель.

— А почему это вы на меня так кричите, а? Почему? — очень удивился, больше удивился, чем обиделся, Ливенцев.— Как смеете вы на меня кричать? Вам нужны деньги из ящика? Так и скажите. Пойдемте к денежному ящику, я допущу вас к нему.

Сознательно на слове «я» сделал он сильное ударение.

— Да, вот... вот, в самом деле... Прапорщик дежурный теперь налицо, теперь пойдемте за деньгами,— бормотал торопливо-примирительно, может, чувствуя неловкость перед писарями, Полетика и первый пошел к тому самому часовому со сладкими для мух сапогами; за ним двинулся Ливенцев, а только сзади него, как будто раздумывая еще, доставать ли деньги, или идти писать рапорт, подошел к ящику сам Генкель.

Необходимый по гарнизонному уставу ритуал вскрытия денежного ящика был соблюден, Генкель взял нужные ему деньги, но, отходя, сказал Ливенцеву:

— Нет, этого дела я так не оставлю,— нет!

А Ливенцев, намеренно стараясь не обращать на него внимания, говорил Полетике:

— Эти хризантемы почти не пахнут, но есть индийские хризантемы: те имеют запах чрезвычайно сильный и приятный. А ведь большинство духов,— дамы этого не знают,— делаются искусственно из такой вонючей штуковины, как нефть, или даже из каменного угля.

— Ну, вы тут мне черт знает что! Из какой там нефти! — не знал, как это принять, просто за шутку или за непристойную шутку, Полетика, а Ливенцев убеждал его:

— Уверяю вас, сущая правда! Даже могу вам принести книгу об этом и показать, что это за химия.

Вскоре после этого Ливенцев и был назначен на охрану туннелей и мостов. Для него ясно было тогда, что это — дело Генкеля, который хотел упечь его на беспокойную, как он думал, должность, а может быть, имел в виду и то, что, будучи в отделе, прапорщик реже будет появляться в штабе дружины, меньше будет вмешиваться в ее распорядки и меньше будет замечать из того, что делается в ее мастерских для имения Генкеля, так как Ливенцев был единственный в дружине, не дороживший жалованьем, не нуждавшийся в службе, поэтому не считавшийся и с Генкелем, у которого, как все уже убедились, была наверху сильная рука.

Кароли продал уже свой выезд и отправил в Мариуполь жену, и теперь и он и Мазанка большую часть жалованья отправляли домой и так же, как Пернатый, или Урфалов, или Миткалев, высматривали в «Своде военных постановлений» основания для каких-нибудь надбавок содержания, набивались на командировки, обеды брали с солдатской кухни, лицемерно находя их очень здоровыми для своих желудков; заняли даже под квартиры какие-то домики, расположенные около казармы и принадлежавшие тоже военному ведомству, чтобы сэкономить что-нибудь и на этом, потому что все дорожало, не одна только колбаса.

Когда случилось как-то зайти Ливенцеву к поручику Кароли и, угощаясь у него чаем, положить по привычке три куска сахару в стакан, грек пришел в неподдельный ужас:

— Накажи меня бог, я не знал, что вы такой кислый, что целых три куска сахару кладете в стакан!.. Я этот сахар еле нашел в одной лавчонке на базаре, а в порядочных магазинах — ни шиша нигде!.. Вот как теперь стало!.. Спрашиваю там одну стервочку в лавке: «Почему же сахар какой-то грязный?» — «А это, говорит, кошка наша как раз на мешке с сахаром окотилась». И вот, видите, взял и за такой спасибо сказал!

Конечно, Ливенцев с таким сахаром чаю пить не стал и потом у себя подозрительно присматривался к каждо-

му куску в сахарнице: не в той ли лавочке на базаре купила сахар и Марья Тимофеевна?

Генкель тоже занял целый домик, хотя он был бездетен и, кроме жены, под стать ему тяжелой женщины, у него никого не было, и, кроме сигар, не замечалось слабостей, требовавших больших расходов, однако оттяжка расплаты с подрядчиками вызывалась, конечно, тем, что деньги из денежного ящика часто попадали совсем не туда, куда нужно им было идти. Были ли на имении большие долги, прикупал ли он к своей земле еще земли, вводил ли какие-нибудь дорогие новшества, но деньги явно для всех в дружине шли куда-то не по назначению, и однажды, когда Генкель шел по улице, сопровождаемый фельдфебелем Ашлою, человеком значительной силы, его встретил поставщик мяса Ашкинази и неотступно требовал денег за истекший месяц за мясо.

Дело было на улице, и Генкель, рассвирепев, крикнул Ашле:

— Бей его, сукина сына!

Ашла советовал Ашкинази отойти от греха, но тот не отходил.

— Бей, тебе говорят! — толкнул Ашлу Генкель.

— Делай все, что начальник прикажет! — сказал Ашла, ударил Ашкинази и свалил его с ног.

Ашкинази подал жалобу Полетике, но Генкель представил дело так, что избитый подрядчик оказался виноват чуть ли не в оскорблении всей русской армии. Полетика посоветовал Ашкинази удовольствоваться тем, что деньги ему непременно на днях уплатят, и дело прекратить, чтобы для него не вышло хуже.

Между тем всех ротных командиров Генкель связал тем, что за каждым у него числились кое-какие грешки, так как все ротные получали на руки деньги на довольствие своих ратников. Однажды он не постеснялся сам пойти в баню, чтобы проверить, действительно ли то количество человек ходило в баню от каждой роты, на которое выдана была известная сумма денег, считая по гривеннику на человека, и обнаружил, что людей ходило меньше, чем было показано, а неизрасходованных денег никто из ротных не возвратил. Даже и Полетике он сказал как-то, копаясь в старых расходных ведомостях:

— Вот, господин полковник, вы подписали, хе-хе, наградные зауряд-чиновнику Аврамиди, казначею, и другому зауряд-чиновнику, Пенькову, оружейному мастеру,— наградные по шестьдесят рублей каждому,

а ведь по точному смыслу устава о ведении полкового хозяйства никаких наградных денег получать они не должны. И по-настоящему надо бы эти деньги с них стребовать, хе-хе...

Так что даже и Полетика видел, что без Генкеля он делал бы по своему неведению и забывчивости ошибку за ошибкой, и говорил о нем другим своим офицерам:

— Он, этот Генкель... как его... Вильгельм Вильгельмыч... он до́ка, не то что мы с вами!.. Раз мы воюем с немцами, господа, то нам для порядка свой немец нужен. Необходим. Без него мы погибнем. И ну его к чертовой матери, конечно, этого Генкеля, а все-таки. Вот видите, докопался, что мы и наградных никому не имеем права давать.

Поручика же Миткалева Генкель накрыл на совсем уж некрасивом деле,— на подлоге.

Стремясь как-нибудь достать водку, без которой существовать не мог, Миткалев часто надоедал Полетике. Дело в том, что без подписи командира отдельной части на соответственных бумажках водки в казенных винных лавках не давали уж теперь даже и офицерам. По доброте душевной Полетика подписывал такие бумажки, но Генкель внушил ему, что этим он способствует пьянству в дружине, распутству и всем порокам, и однажды Полетика своей подписи на представленную Миткалевым бумажку не дал и даже пытался что-то такое нравоучительное сказать Миткалеву. Тот, долго над этим не думая, улучил время, когда отвернулся куда-то Полетика, и стукнул по своей бумажке дружинной печатью, а подписался за Полетику сам, и довольно похоже.

Получив две бутылки водки, он попался Генкелю пьяным на улице, а тот не поленился побывать в трех винных лавках, пока не нашел злополучное подложное разрешение, взял его у сидельца лавки и начал дело, которое едва удалось затушить самому Полетике.

III

Когда Ливенцев пришел в казарму, он нашел уже всех в сборе в кабинете Полетики. Однако говорили не о тактических задачах.

То и дело затягиваясь сигарой и пуская дым кверху, Генкель продолжал, едва взглянув на вошедшего Ливенцева:

— И вот, поручик Миткалев звонит с гарнизонной гауптвахты куда же? Прямо в штаб крепости: «Неприятельский аэроплан над Севастополем!» Это — в двенадцать ночи!.. Понятно, в штабе крепости переполох. Звонят туда, сюда. Будят людей... Полчаса была тревога, пока что же, наконец, выяснилось? Просто это была моторная лодка... или катер моторный... Шел в бухте катер моторный с флотскими офицерами. И только. А Миткалеву с пьяных глаз показалось: аэроплан, да еще непременно неприятельский! И кто же произвел ложную тревогу во всей крепости? Офицер нашей дружины! И разве его это дело в конце-то концов за аэропланами ночью следить? Его прямые обязанности, как рунда, были какие? Следить за исправностью часовых — вот только это. Обходить посты...

— Да... так... На земле, а не на небе,— уточнил Полетика.

— Совершенно верно,— потому что за небом наблюдают и без поручика Миткалева — это раз! А второе, господа, как же это: рунд, на главной гарнизонной крепостной гауптвахте — и вдруг пьяный?.. И настолько пьяный, что уж не может расслышать, моторный ли это в бухте катер идет, или аэроплан неприятельский.

— А откуда же вам известно, что Миткалев был пьян тогда? — тяжело глядя на Генкеля, спросил Мазанка.— У вас наблюдение было, что ли, за поручиком Миткалевым?

Генкель совершенно уничтожающе посмотрел на Мазанку, глубоко затянулся, слегка кашлянул и вдруг усмехнулся, по-своему, коротко, в два приема:

— Хе-хе... Мне гораздо больше известно, чем вы думаете! И даже, чем знает полковник Эльш, хотя он и был дежурным по караулам.

Ливенцев поглядел на Эльша. Тот, насупясь, водил по столу пальцем и молчал. В то же время Ливенцев поискал глазами Миткалева, но его не было. Рядом со Шнайдеровым сидели еще два зауряд-прапорщика — Значков и Легонько, молодые, державшиеся вместе; лысый пергаментный Пернатый устало сидел, плотно прижавшись серединой спины к спинке стула и выставив вперед плечи; Полетика запускал пальцы левой руки в кудрявую бороду, что служило признаком некоторого волнения перед тем, что еще скажет Генкель.

И Генкель сказал:

— На какие же деньги напился поручик Миткалев,

будучи вчера рундом,— вот в чем вопрос!.. О-ка-за-лось...— тут Генкель обвел всех кругом почти испуганным взглядом,— что он... ээ... истратил на покупку водки не свои деньги, которых у него не было, а... деньги арестованных нижних чинов! — Он выждал несколько моментов и добавил: — Двенадцать рублей двадцать пять копеек денег арестованных он принял от предыдущего рунда, в чем и расписался, а когда пришлось ему сегодня их сдавать, ока-за-лось, что... сдавать не пришлось: денег не было в столе! Денег не было и у него тоже. Была только пустая бутылка от водки!

Только теперь понял Ливенцев, что бумажка, полученная им от адъютанта Татаринова, касалась как будто этого вот дела о Миткалеве, а совсем не тактических задач, и что дело это, пожалуй, не легче любой тактической задачи. Он видел, какими озадаченными глазами глядел добродушный Полетика на Кароли, наконец сказавший:

— Ну вот, вы, юрист наш... как вы вообще? Гм... черт знает, а?

— Господин полковник! — поднялся Кароли и обхватил пальцами бронзовое, в виде лежачего медведя, пресс-папье, которое перед тем придвинул к себе, внимательно его разглядывая, пока говорил Генкель.— Я прежде всего не вижу связи между исчезновением денег арестованных из стола и этой самой бутылкой водки в дежурной при гауптвахте. Вот! Деньги могли быть кем-нибудь украдены — раз, бутылка могла валяться там с каких-нибудь прошлых времен,— зачем же приписывать и то и другое поручику Миткалеву? Я даже и предполагать не хочу, что офицер нашей дружины, поручик, который, кроме того, сохраняет свой земский оклад, значит в деньгах отнюдь не нуждается, украл эти несчастные двенадцать рублей! Дико и глупо! Прежде всего — глупо!

— В пьяном виде всякая глупость может прийти в голову,— вставил Генкель.

— Но ведь Миткалев не был пьян перед тем, как напился? — быстро обернулся к нему Кароли.— Если только напился,— чего мы не знаем, конечно.

— Я вам говорю это! — весь вздернулся и чмыхнул сизым носом Генкель.

— Вас кто-нибудь аккредитовал вести дознание по этому делу? — быстро спросил Кароли.

— В видах и целях пользы службы...— начал было торжественно Генкель, но Полетика перебил его, обращаясь к Эльшу:

— Аполлон... э-э... Оскарович! Вот вы были дежурным по караулам... гм... что же вы молчите? Пьян был поручик Миткалев или... или он на ногах держался?

Эльш слегка приподнялся и как-то по-кабаньи повернул обрубковатую голову к Полетике, неопределенно пробормотав:

— Я ничего за ним не заметил такого, господин полковник. Он службу нес...

— А себя-то самого... э-э... службу, службу... Что службу?.. Себя-то самого он нес или его несли?

— При сдаче им караула новому я не присутствовал.

— Ну вот... Присутствовал при этом прежде всего новый рунд из другой дружины, поручик Шлезингер.

При этой фамилии Мазанка поглядел выразительно на Ливенцева и горячо на Генкеля и сказал:

— А почему мы должны верить этому вашему Шлезингеру... или как его там? Почему нам не верить своему офицеру, а непременно какому-то...

— Этот какой-то, как вы изволили выразиться, свои двенадцать рублей двадцать пять копеек тут же вынул из кошелька и положил в стол,— с большим презрением в голосе и во всей своей непрошибаемой фигуре отозвался Генкель,— но вот записка его, какую он прислал мне, как заведующему хозяйством.

Не спеша он вынул из бокового кармана бумажник и из него записку, которую протянул Полетике, чуть приподнявшись.

Полетика надел пенсне и сказал начальственно:

— Вот слушайте, а я прочитаю!.. «Заведующему хозяйством, подполковнику Генкелю. Принимая, как рунд, от поручика Миткалева,— вашей дружины,— арестованных и имущество гарнизонной гауптвахты, не нашел в столе числящихся по описи денег арестованных в сумме двенадцати рублей двадцати пяти копеек. Поручик Миткалев был настолько пьян, что никаких объяснений мне дать не мог. Под столом валялась пустая бутылка из-под водки. Деньги в стол пока положил свои, но прошу мне их вернуть, если дело не будет передано по начальству. *Поручик Шлезингер*».

Лампа-молния с большим зеленым абажуром висела над столом, зеленя все лица, кроме пышущего лица Ген-

келя, который смотрел на Мазанку неприкрыто-вызывающе. Полетика, прочитав записку, по обыкновению попытался дать свое объяснение к ней:

— Вот, господа, в каком виде это... Одним словом, были деньги... мм... столько-то там... двадцать пять рублей... и вдруг их нет... куда-то они там исчезли. Ну, уж раз человек напился пьян, то, понимаете сами, господа, даже и из карманов могли вытащить, а не то что из стола... Ведь он же не запирается, этот стол! Или он запирается?.. Я не помню, черт знает,— запирается или нет? — обратился он к Кароли.

— Нет, не запирается,— ответил тот.— Конечно, могли вытащить кто угодно. Но почему в краже, не в чем-нибудь ином, а в явной краже, обвиняется подполковником Генкелем один из офицеров дружины,— это непостижимо! Накажи меня бог, если я понимаю, какая надобность была офицеру совершать подобную кражу! Надобность-то, надобность какая была? Что он, клептоманией, что ли, страдает?

— А вы уверены, что ал-ко-голизм и клепто-мания, они что, как? Взаимно исключающие... ээ... болезни, хе-хе? — свысока поглядел на Кароли Генкель.

— Если же это — болезнь, пристрастие такое к спиртному, то мы не судить должны, а...— начал было, отчетливо выговаривая каждое слово, Пернатый, но Полетика замахал на него руками:

— После, после вы скажете! После!.. А сейчас мы судим, господа!

— Кого же мы судим? Где же обвиняемый? — спросил Ливенцев, хотя и понимал, что пока обвиняемый не нужен; но Генкель ответил ему, прищурясь:

— Поручик Миткалев сейчас невменяем. Он спит у себя на квартире.

— После наряда он и имеет полное право спать,— отозвался на это Мазанка.

— Однако вот полковник Эльш явился, хотя тоже был он в наряде,— качнул головой на Эльша Генкель.

— Господа! Черт возьми, так нельзя... э-э... отклоняться в спор! Что вы! Вот мы сейчас соберем мнения... Адъютант! А вы запишите!

— Слушаю! — вежливо поднялся и деловито уселся снова, выправив лист бумаги перед собою, Татаринов.

Это был скромный человек, до призыва где-то в присутственном месте служивший мелким чиновником. Он привык к тому, что все кругом него были старше его

в чинах, и очень умел подчиняться и понимать с полуслова начальство. Благодаря этому уменью он как-то приспособился даже к такому путанику, как Полетика. Внешне он был благообразен, круглоголов, круглолик, с круглыми маслянистыми карими глазами, с приятной улыбкой круглых губ. Даже и руками, хотя и худыми на вид, он умел разводить как-то округло, и в силу своей природной, очевидно, склонности к таким круглым жестам, прямо по-строевому стоять он совсем не мог: держался он грудью внутрь, с наклоном головы неизменно вперед. Аксельбанты адъютанта и шпоры носил он с немалым достоинством и все порывался учиться ездить верхом, но времени для этого положительно не имел. Иногда либеральничал, например генерала Баснина как-то вполголоса назвал «кувшинным рылом». Ливенцеву был явно признателен за то, что тот не отнял у него адъютантства, когда был назначен в дружину, но подозревал, что человек он богатый, почему в лишних тридцати с чем-то рублях в месяц, какие полагались адъютанту на содержание лошади, он не нуждается, и это подозрение свое, кругло и ласково улыбаясь, высказывал не раз Ливенцеву; а когда тот однажды, сидя с ним рядом в трамвае и беря у кондуктора билет, уронил на пол пятачок сдачи и не поднял его, сказав: «Черт с ним, с пятачком! Не хочется нагибаться!» — Татаринов решил проникновенно: «Теперь я окончательно убедился, что вы очень состоятельный человек!» С ним жили в Севастополе жена и двое маленьких детей. Жена его страдала нервами и имела трагический вид.

— Вот начните с себя самого и запишите свое мнение об этом... как его?.. Миткалеве-поручике,— обратился к нему Полетика.

— Мое мнение? — очень удивился Татаринов.

— Да, вот, мнение... Украл он, то есть, или не он украл эти деньги... двадцать один рубль... а кто-нибудь еще украл...

Татаринов посмотрел, улыбаясь, на Полетику, потом на Генкеля и сказал нетвердо:

— Этого я допустить не решаюсь, чтобы он украл.

— Запишите!.. Ваше мнение, поручик? — обратился Полетика к Шнайдерову.

— Я — зауряд-прапорщик, господин полковник! — вскочил рыжебородый.

— Э-э! Ну, черт,— зауряд там, и вообще! Вот скажите ваше мнение, и все!

Наблюдая, как сидевший с ним рядом Татаринов писал против своей фамилии: «не допускает»,— Шнайдеров ответил поспешно:

— Не допускает тоже!

— Что такое? Кто такой не допускает? — не понял Полетика.

— Зауряд-прапорщик Шнайдеров, господин полковник.

— Ну, вот еще один не допускает... Садитесь вы, что же стоите! Ну вот, по порядку,— кто там дальше сидит,— говорите!

Дальше сидели два молодых зауряда, оба худые и бледные и глядевшие сконфуженно, так как в одно время заболели предосудительною болезнью, которую старший врач дружины Моняков игриво называл «насморком, захваченным на Приморском бульваре», и не вполне еще от этого «насморка» вылечились.

— Я думаю,— сказал белокурый Значков,— что не поручик Миткалев, конечно, изъял эти деньги из стола...

— Я тоже так думаю,— поспешил согласиться с этим чернявый Легонько.

— Ну вот... адъютант, пишите!

Ливенцев, присматриваясь к Полетике, замечал, что он как будто стал веселее, во всяком случае оживленнее, когда услышал четыре эти мнения, будто именно эти или подобные мнения ему и хотелось услышать.

Кароли сказал решительно:

— Совершенно необоснованное обвинение!

Эльш, с видимым трудом подыскивая слова, пробубнил:

— Когда я проверял посты, поручик Миткалев был трезвым. По крайней мере я ничего такого не заметил. Насчет аэроплана неприятельского я от него не слыхал... Значит, это уж после моего приезда было.

— Вы там, стало быть, не ночевали на гауптвахте? — спросил Полетика.

— Нет, не то что не ночевал,— угрюмо ответил Эльш,— а... не все время там я был, не всю ночь...

— Ну, вот видите! Вот потому, что вы там не ночевали, все и случилось.

— Я там был, то есть в караульном помещении, не все время, так как ходил проверять посты,— поднял было угловатую голову с двумя дикими вихрами жестких пепельных волос Эльш.

— Там, кажется, поблизости где-то от гауптвахты бывшая квартира полковника Эльша,— сказал и вздохнул как-то игриво Генкель.

Ливенцев пригляделся к нему и к Эльшу и понял, что щекотливый вопрос о поручике Миткалеве есть в то же время вопрос и об его ротном командире — Эльше, а Полетика сделал вдруг вполне осмысленное лицо, какого как-то не приходилось у него видеть раньше Ливенцеву, и спросил брезгливо:

— Да вы с рапортом о сдаче караулов у коменданта города были?

— Был, а как же! Разумеется, был,— поспешно ответил Эльш.

— А при самой сдаче караулов были?

Эльш помедлил ответом, будто припоминая, был или не был он при сдаче караулов, и наконец, сказал:

— Вместе с новым дежурным по караулам мы и поехали к коменданту с рапортом.

— А он, этот новый дежурный, ничего вам не сказал о деньгах арестованных, какие пропали?

— Если бы он сказал, то... Однако я ничего от него не слышал.

— Черт возьми, а!.. Да вы что в самом деле? Да разве так можно нести караульную службу, как вы ее там несете?.. Хорошо, хорошо, господа! Я теперь сам буду проверять дежурных по караулам!.. Вы там что такое записали, прапорщик? Ничего не пишите!.. Вот вы, Урфалов,— капитан! Вот вы скажите, как...

Ливенцев начал следить за капитаном Урфаловым, медленным, восточного склада старым человеком, который, что бы ни говорил, начинал неизменно со слов: «Изволите видеть».

— Изволите видеть, господин полковник,— начал обстоятельно Урфалов,— двенадцать рублей — деньги, конечно, небольшие, и всякий другой заведующий хозяйством, если бы такую записку он получил, он бы, чтобы разговоров лишних не было, взял бы даже из своего кармана, тут же отослал бы их этому самому... Шельминзеру в конвертике, в закрытом-запечатанном, а с него бы расписочку взял, что получил, и тоже бы в конвертике,— вот и все дело! И потом уж мог бы поговорить с этим, Миткалевым, да не при людях, конечно, поговорить, а с глазу на глаз: «Так и так, мол,— заплатил свои деньги, при вашем дежурстве пропавшие, должны вы мне их вернуть, потому что за всех ротозе-

ев если я буду платить, жалованья моего не хватит!» Вот бы и все! А не то чтобы раззванивать и всех людей булгачить. Нехорошо это!

Он был всегда очень серьезен, этот Урфалов, и какой бы заведомо смешной анекдот ни вздумал рассказывать, получалось обстоятельно, весьма детально, вполне обоснованно, только ни капли не смешно.

— Так что же все-таки, а?.. Может быть, кто-нибудь понял, только я не понял... Украл или не украл? — недоумевал после его рассуждений Полетика и поднял шерстистые брови.

— Изволите видеть, я уж докладывал: офицер может, конечно, сделать упущение какое-нибудь по службе; упущение, так это и называется. А что это значит: упущение? Значит это недосмотр, вот что это значит. За всем не всегда усмотришь, вот и недосмотрел поручик Миткалев. Были деньги арестованных? Были, потому что ведь он их принимал, расписался,— это все по форме. А вот как они исчезли — недосмотрел...

— Хорошо. Значит, по-вашему — недосмотр? — перебил его Полетика и кивнул Татаринову: — Запишите! Недосмотр... Ну, а теперь вы, подполковник... Э-э... Пернатов.

Может быть, Пернатый таил небольшую обиду на Полетику за то, что он оборвал уж его однажды, только он с усилием раза два шевельнул губами, глядя не на него, а на адъютанта, прежде чем начал:

— Говорится: полк — одна семья, а в семье, господа, говорится, не без урода. Бывает иногда — урод! Однако, господа, его ведь не убивают. Если он, скажем, глухой и немой, и тогда его все-таки азбуке учат. А так, ни с того ни с сего вдруг кричать: «Разбой!» — и чтоб непременно вешать,— этого в семье не принято делать, господа. А может, поручик Миткалев просто человек больной? Хороший человек, господа, а вот — больной, что поделаешь? Тогда ведь у нас врачи есть: старший врач Моняков, младший врач Адриянов, вот к ним его и адресовать,— что они скажут. Может, его в какой-нибудь госпиталь лечить отправят, и тогда он нам спасибо всем скажет, что мы об нем позаботились, а не то чтобы по голове его колотить из-за двенадцати рублей пропавших! Вот мое мнение, господин полковник!

Он сказал это с большим выражением, но Полетика поморщился и поглядел на Татаринова:

— Как же вы это запишете? Что он такое сказал? Украдены эти деньги там или...

Татаринов вопросительно посмотрел на Пернатого, но тот ответил решительно:

— О краже я не говорил, нет! Чтобы украл поручик Миткалев — этой мысли не допускаю!

При таком ясном ответе повеселел Полетика, сказал Татаринову:

— Вот и запишите! — и кивнул головою в сторону Ливенцева: — Теперь вы, прапорщик!

Ливенцев мало приглядывался к поручику Миткалеву. Раза два он пробовал с ним разговориться, но Миткалев, пытавшийся говорить басом, занимался только тщательным вычислением того, что может произойти, если он перевезет свою жену с какими-то еще родственниками из Мелитополя в Севастополь, в котором одни продукты, правда, дешевле, другие, напротив, дороже, чем в Мелитополе, и кто тогда будет получать его земский оклад, если сюда переедет жена, и нужна ли тут, в Севастополе, жена, когда тут целые табуны девок? Не все ли равно это будет, что, например, ехать в Тулу со своим самоваром?

Поговорив с ним так, Ливенцев решил, что для страхового земского агента, очевидно, больших умственных способностей не требуется, и больше уж не пытался с ним говорить. Но он видел теперь, что обвинение Миткалева в краже или даже во временном присвоении денег арестованных — обвинение, конечно, очень серьезное, и он сказал:

— Я допускаю, что этих двенадцати рублей при сдаче караула не оказалось, но, может быть, Миткалев просто не в состоянии был припомнить и объяснить поручику Шлезингеру, что, например, один из арестованных, которому принадлежали эти небольшие деньги, был освобожден при нем и он же сам возвратил ему его деньги, почему их, вполне естественно, в столе и не оказалось. Разве не могло быть именно так? По-видимому, поручик Шлезингер обратился с запиской к подполковнику Генкелю в силу личного с ним знакомства, но я не думаю, конечно, чтобы он предвидел именно такой оборот дела, что вопрос будет обсуждаться в обществе офицеров дружины. Окажется, может быть, что он необдуманно это сделал, погорячился...

— Постойте! Вы что-то такое вполне правильно, пра-

порщик!.. А вдруг этот самый... как его?.. вдруг он там ошибся, а не этот... не наш поручик! — облегченно взмахнул обеими руками Полетика.— Вот именно! И сейчас мы сделаем так... командируем адъютанта на главную гауптвахту к этому самому... ну черт!.. и пусть хорошенько поищет деньги эти. Потому что если наш поручик пьян напился, то мы его за это вообще взгреем, а уж если деньги арестованных украл — это уж... это, знаете, дело совсем паскудное, и за это судить уж не мы его будем! — И он развел руками и подал бороду вперед.

— Может быть, мне по телефону поговорить, а не ездить, господин полковник? — вежливенько спросил Татаринов, но Полетика вздернул плечи и брови:

— Ну вот, пожалуйте! По телефону!.. А вдруг кто-нибудь другой, а? Кто-нибудь другой подслушает, кому... как это говорится?.. Кому, одним словом, совсем не надо? Нет, уж вы... не вздумайте, в самом деле, черт те что!.. Вот те раз — по телефону!.. Сейчас же одевайтесь и поезжайте на трамвае... Боитесь, что часовой не допустит? Допустит, раз вы офицер... Идите же!..

И Татаринов, не разгибая спины, вышел из кабинета, держа перед собой исписанный лист бумаги, а Генкель усмехнулся тонко:

— Хе-хе... Это, конечно, только проволочка. Поручик Шлезингер неосмотрительно поступить не мог. Он даже, уверен я, пока и дежурному по караулам своему об этом не доносил. Но вообще, конечно, мое дело было сказать, потому что я помню слова присяги: «Об ущербе же его величества интересов, вреде и убытке, как скоро о том уведомлюсь, не токмо благовременно объявить, но и всякими мерами отвращать и не допущать потщуся»... Ну так вот, значит... тактические занятия...

— Для тактических задач, я думаю, надобно разложить на столе карту-верстовку,— сказал Урфалов.— А вот, что касается нашей дружинной лавочки, то она, мне кажется так,— не знаю, как кому другому,— цели совсем не достигает. Изволите видеть, ополченцев много, а лавочка одна. Сколько там народу толпится по утрам, чтобы булку какую себе достать, и так и уходят ни с чем...

— Почему опять и появились у казармы бабы,— досказал за медлительного Урфалова нетерпеливый Кароли.

— Я уж об этих бабах докладывал коменданту,— посмотрел тяжело на него Генкель.— Приказано опрокидывать бабьи корзинки и баб от казармы гнать!

— Так, я видел, делают ингуши из комендантского правления, только не знал, что это по вашему предложению,— по обыкновению отчетливо проговорил Пернатый.— А потом, должен я сказать, ведь и мы, офицеры, еще живем около казарм, а казармы не в городе ведь, и вот я посылаю денщика за булкой к чаю, а он мне: «Так что, ваше высокобродие, ингуши конные баб арапниками лупят, а булки лошадьми топчут!»

— Да, вот, в самом деле, как же так можно, а? Баб арапниками! И... и булок нет... даже и для господ офицеров! — устремил на Генкеля голубые глаза Полетика.

Ливенцев не знал этого. В последнее время он оторвался от общей жизни дружины. Но когда он представил конных ингушей, которые бьют арапниками баб, он вспомнил Казанскую площадь в Петербурге, толпу студентов, в которой был и он сам, и казаков с нагайками.

И, припомнив это, сказал взволнованно:

— Это черт знает что!

— Что вы сказали, прапорщик? — вдруг всей своей тушей быстро повернулся к нему Генкель.

— Я сказал: черт знает что! — раздельно повторил Ливенцев.

— Приказание коменданта города по-вашему — черт знает что? — воинственно выпятил бритый подбородок, подпертый еще тремя подбородками, Генкель.

Ливенцев почувствовал, как у него начало давать сбои сердце и зашумело в ушах, и он заговорил так же раздельно, как уже начал говорить:

— Я не знаю, под каким именно предлогом вызываете вы ингушей против простых и обыкновенных русских баб, которые находят себе честные средства к жизни,— раз, и несомненно полезны для жизни нашей казармы — два, так как обслуживают ее насущные нужды, но что я о-очень хорошо знаю — это то, что лавочка, заведенная вами, маленькая лавочка в подвале, не-до-ста-точ-на для населения наших казарм,— раз, и не-вы-год-на для этого населения, потому что не имеет выбора и повышает цены на все немудреные товары,— два!

— Значит, у баб дешевле, а? — спросил Полетика не Ливенцева, а капитана Урфалова.

— Изволите видеть, господин полковник, и дешевле,— так ратники находят,— и лучше будто бы...

— Тогда что же... тогда, значит, надо составить комиссию... гм... да, для этого, как ее... ну обследовать на месте, что там такое. А то, что в самом деле, лавочка-лавочка, а может быть, она никуда не годится! — решил Полетика.

— Я спрашивал лавочника нашего, сколько дает прибыли лавка,— он говорит: «Рубля три-четыре в день, вот и вся наша прибыль»,— сказал Пернатый.— А между тем...

— Разве лавка наша из-за прибыли торгует? — перебил Генкель.

— Дайте договорить!.. А между тем цены там оказываются выше бабьих!

— Что же вы хотите сказать этим? — засопел Генкель, но Пернатый отозвался спокойно:

— Ничего, кроме того, что сказал.

— Я вижу, господа, что... э-э... как бы сказать... бабы... бабы — они необходимы... Но, впрочем, вот мы составим комиссию. Завтра уж в приказ это не попадет,— адъютант ушел по делу этого... поручика нашего... а вот послезавтра объявлю в приказе... Конечно, ведь ратников много,— куда же, к черту, одной лавочке справиться! Это правда. А теперь, господа...

— Господин полковник! Позвольте мне еще одно соображение в пользу баб,— перебил Полетику, сам того не заметив, Ливенцев.— Ведь эти бабы — кто же такие? Все — жены взятых на фронт наших солдат или вдовы уже убитых... Ведь идет война, колоссальнейшая из всех войн, известных истории. Не одно войско принимает в ней участие, а весь народ в целом! И бабы! Бабы тоже!.. Бабам надобно как-то жить, раз их мужья на фронте, или убиты, или в плену. У баб этих — дети. Бабы трудятся, пекут бублики или коржи, сидят с ними тут во всякую погоду,— зачем? Чтобы как-нибудь прокормить семьи тех самых, может быть, ратников, которых взяли отсюда и угнали в другие города! А мы почему-то их избиваем нагайками, топчем лошадьми их труд. А мы почему-то вывозим помои на свалки, а им не даем,— совсем как собаки на сене.

— Бабы вносят в казарму разврат! — крикнул, багровея, Генкель.

— Разве был хоть один случай такого разврата? — спросил Ливенцев.

— Сыпной тиф заносят в казарму бабы!

— Разве был хоть один случай сыпного тифа?

— Довольно о бабах! — крикнул Генкель.

— Когда командир дружины скажет, что довольно, тогда мы прекратим этот разговор, столь для вас неприятный почему-то! — вызывающе сказал Ливенцев.

— Бабы!.. Бабы таскаются еще сюда к нам за бельем! Прекратить это надо! — почти задыхаясь, выкрикнул Генкель.

Ливенцев мгновенно представил так насмешившие его однажды боевые суда на внутреннем рейде, все увешанные матросским бельем, и сказал быстро:

— Устройте прачечную для ратников, как вы устроили лавочку,— тогда ратники будут мыть свое белье сами, как матросы во флоте.

— В самом деле, где же им мыть рубахи, нашим ополченцам? — поглядел на Ливенцева Полетика, а Мазанка, как будто это соображение только теперь пришло ему в голову, певучим своим голосом проговорил негромко:

— А каких свиней могли бы мы выкормить своими помоями, если бы наняли где-нибудь домик с сараем, отрядили бы свинаря туда, сделали бы большие корыта...

Он даже и руки расставил как мог широко — для того, должно быть, чтобы показать, какой величины сделать корыта, когда Генкель обратился к Полетике, весь кипя и щелкнув крышкой золотых массивных часов:

— Может быть, уже займемся тактическими задачами, господин полковник? Уже половина десятого.

— Да, в самом деле, черт возьми,— что же мы все бабами? Бабы, конечно... Насчет баб я назначу комиссию из трех офицеров, и пусть все выяснят. И какой там разврат и тиф... И тогда я сам буду говорить с комендантом. Потому что лавочка — лавочкой, а я вижу, что бабы тоже необходимы... А вот во флоте, мне говорили, будто перемена какая-то будет... Вот тут прапорщик мне напомнил насчет флота... Недовольны будто бы высшим командованием... э-э... да. Но это не наше дело, конечно... А насчет баб — комиссию... То есть это я насчет лавочки сказал, чтобы комиссию, ну и насчет баб в том числе,— одна комиссия будет назначена... Прапорщик! — кивнул он Ливенцеву.— Запишите же, чтобы я не забыл, а то адъютанта нет, а я, конечно, забуду, черт возьми.

— Хорошо, я не забуду,— сказал Ливенцев,— а записать мне даже и не на чем.

— Да вот, все, господа, вот тут налицо... вот, и какого же нам черта думать, в самом деле! — воодушевился вдруг Полетика.— Вот, подполковник Пернатый — он будет за старшего члена комиссии, а вы, прапорщик, за младшего. А за среднего... вот поручик у нас есть, юрист. Он все это дело проведет сообразно... как это называется...

— «Своду военных постановлений»? — подсказал Кароли.

— Одним словом, в законном порядке... А вот что-то я хотел... Тефтели, тефтели... Нет, не тефтели... Что это такое, черт их, какие-то тефтели?

— Кушанье какое-то,— буркнул Эльш.

— Как кушанье? Вы что это такое,— кушанье?.. Башня есть такая, а на ней телеграф... ну, этот, беспроводный.

— Эйфеля башня? — пытался догадаться Ливенцев.

— Эйфеля, Эйфеля,— ну, разумеется! И вот... Мне говорили сегодня в штабе бригады, будто шестьдесят три тысячи немцев взяли в плен... Оттуда сообщение, от Эфтеля... Из Парижа.

— Кто же именно взял, если это не роковая тайна?— спросил Ливенцев.

— Кто-кто! Конечно, не австрийцы же, а мы!

— Французы, что ли? Где же именно?

— Ну, черт их знает, где именно!.. Нам через две недели будто бы выступать, а я тут буду о французах думать!

— Как выступать? Куда выступать? — спросили Мазанка, Кароли, Урфалов.

— В этот, как его... Он исторический... Вот прапорщик его, наверно, знает... Кто-то кого-то побил там, из истории он должен это помнить,— кивнул бородой на Ливенцева Полетика.

— Мало ли при каких городах людей били! Всех не запомнишь,— философски заметил Ливенцев.

— Турецкий... в Малой Азии. Морем к нему нас повезут, в виде десанта...

— Синоп, что ли?

— Ну, разумеется, Синоп! Вот именно! Синоп!.. Будто бы через две недели погружать нас будут на пароход...

— Вот тебе раз! Как же так это? Вдруг ни с того ни с сего в Синоп! Накажи меня бог, если это не утка! — поглядел вопросительно и с надеждой на Ливенцева Кароли, как будто от этого математика в форме прапорщика ожидал разоблачения этого явного вздора.

Но не успел еще что-нибудь утешительное по этому поводу сказать Ливенцев, как Полетика закричал:

— Утка, вы сказали? Вот именно об этом мерзавце, пьянице я хотел, об Утке-поваре! Как же вы, черт возьми, Константин Павлович...

— Павел Константиныч,— поправил Мазанка.

— Ну, все равно... Как же вы мне подсунули такого повара? «Вот Утка, Утка! Вот повар, повар!..» Прожужжали мне уши этим Уткой, а он оказался запойный пьяница, этот мерзавец-подлец!.. Из-за него сегодня у меня и обеда даже не было! Я уж не помню, где я обедал сегодня, или даже я совсем не обедал! Вот я вам выговор в приказе объявлю за этого Утку! Тогда вы будете знать!

— Что же он такое пьет, и где он достает? — очень удивился Мазанка.— В роте он был, не замечалось за ним...

— Черт его знает, что он такое пьет! Денатурат, что ли... или там какую-то политуру... А может, он женин одеколон выпил?.. Жена, когда уезжала, оставила два флакона... И правда, ведь от негодяя одеколоном и пахло!..

Генкель щелкнул крышкой часов и просопел мрачно:

— Одиннадцатый час в начале, господин полковник! Может быть, тактические занятия отложить?

— Нет, отчего же отложить? — встрепенулся Полетика.— Ничего не отложишь, а сейчас же начнем... Значит, он весь одеколон выпил, этот Утка проклятый! А где у нас карта-верстовка?

— Адъютант должен знать это. А поскольку нет адъютанта... Надобно поискать,— поднялся было Урфалов и посмотрел на шкаф, массивный, трехстворчатый, оставшийся в наследство от кадрового полка.

— Может быть, просто «Полевой устав» подчитать для начала занятия? — широко зевнул Генкель, из кучи уставов, лежавших на столе, выискивая «Наставление к ведению боя пехотой».

— Пожалуй, что же!.. Пожалуй, и «Полевой устав», что ли...— зараженный генкелевой зевотою, пробормотал Полетика.— Хотя, конечно, господа офицеры обязаны все уставы назубок знать... и «Полевой» тоже...

А Генкель между тем протягивал уже книжечку в черном клеенчатом переплетце Пернатому, благосклонно осклабляясь:

— Вот вы хорошо как-то можете читать. Начните! У вас выходит очень отчетливо всегда.

Пернатый, видимо, был польщен. Он взял устав, как артист специально для него написанную роль. Он приосанился, придвинул стул ближе к столу, прокашлялся, обвел всех кругом торжественным взглядом и начал:

— «Пехота — главный род оружия».

— Что такое? — удивился Ливенцев.— Как это — «пехота», и вдруг «род оружия»? Вы сочиняете?

— Извините-с, господин прапорщик! Я не сочинитель, а штаб-офицер! — с комической важностью отозвался Пернатый.— «Пехота — главный род оружия»... Как напечатано, так я и читаю.

Он был, видимо, недоволен на своего субалтерна, так невежливо перебившего его в самом начале чтения.

— А что такое? Я не понял!.. Как же, по-вашему, надо было сказать? — воззрился на Ливенцева Полетика.

— Если уж «главный род», то во всяком случае не «оружия», а «войска», вот как, мне кажется, надо было сказать.

— Но все-таки вы поняли, что тут такое сказано? — язвительно обратился к Ливенцеву Генкель.

— Нет, все-таки не понял!

— Ну, после когда-нибудь поймете... Читайте, пожалуйста, дальше! — кивнул Генкель Пернатому, и тот продолжал:

— «Она ведет бой совместно с артиллерией и, при помощи ее огня, сбивает противника».

— Как это «при помощи ее огня сбивает противника»? — изумленно спросил Ливенцев.— Что это за фраза такая?

Не отвечая и только выставив в сторону Ливенцева тощую ладонь, Пернатый читал дальше:

— «Боевой опыт подчеркивает завидное преимущество наступательного образа действий, но наряду с этим также указывает на неизбежность и на выгоды обороны».

— Так что же рекомендуется: наступать или обороняться? — опять непонимающе спросил Ливенцев, но, не отвечая, продолжал Пернатый:

— «Суть действий наступающего сводится к сближению с противником вплотную и затем истреблению его. Решение атаковать противника должно быть бесповоротно и доведено до конца: тот, кто решил победить или погибнуть, всегда победит».

Конечно, то, что происходило в Ливенцеве, было сложно. Множество предпосылок столпилось в его мозгу прежде, чем вышел он из себя во второй раз за время своей службы в дружине.

Тут на общее недовольство дикой бестолочью каждого дня тяжело лег этот нелепый случай с поручиком Миткалевым, который, конечно же, с легким сердцем вытащил из стола на гауптвахте деньги арестованных, может быть в надежде, что придет Эльш и положит в стол снова эти двенадцать с чем-то рублей; который, конечно же, сам лично пошел, под видом проверки постов, куда-то за водкой и потом нарезался до потери сознания... И вот только что все-таки все до одного в этом кабинете, и даже он сам, всячески стремились выгородить этого Миткалева только потому, что дело против него поднял Генкель, который всеми понят и разъяснен, как несравненно более вредный для дела человек, чем просто пьяница Миткалев. А дело это по существу — дело жизни или смерти всех этих людей около и бесчисленных миллионов людей кругом, тех, которые уже погибают там где-то, на далеких фронтах, и тех, которые признаны кем-то вполне готовыми к тому, чтобы «победить или погибнуть», а за что именно погибнуть или во имя чего победить — совершенно непонятно, непостижимо... Оповещает свет о победе и десятках тысяч пленных кто-то с башни не то Тефтели, не то Эйфеля; готовится кто-то погружать через две недели их, всю дружину, на пароходы, чтобы высадить в каком-то Синопе, а тут в Севастополе пока что посланцы градоначальника опрокидывают корзины с бубликами и топчут их лошадьми, и бьют нагайками баб, выполняя приказ начальства. И вот уже почти одиннадцать часов, а завтра чем свет вставать, чтобы объезжать посты у туннелей на дрезине, и от зеленого абажура лица у всех кругом — как у мертвецов, но все силятся понять что-нибудь из того, что старается как можно отчетливее прочитать самый безжизненный из всех — подполковник Пернатый, которому подсунул эту книжонку в клеенке... кто же, как не тот же Генкель, вполне искренне ненавидимый всеми: подсунул — и ведется мирное

чтение и затянется оно, может быть, до полночи, а зачем? Какой смысл? Чья это чертова насмешка?..

— Довольно уж этот идиотский устав читать! — выкрикнул вдруг Ливенцев и стукнул кулаком по столу.

И все еще смотрели вопросительно на Ливенцева, не зная, как отнестись к его неожиданному протесту, даже и Полетика только еще поднял непонимающе брови и открыл рот, а Генкель уже вскочил из-за стола, загремел отставляемым стулом. Он как-то перекосился весь: тройной подбородок его трясся, как потревоженный студень. Каким-то придушенно-испуганным голосом он закричал вдруг:

— Господин полковник!.. Прошу меня извинить, но я, я... Я не могу этого! Я не могу допустить, чтобы устав... чтобы в моем присутствии устав, подписанный самим его императорским величеством, называли идиотским!.. Я не могу! И я ухожу!

И он буквально вылетел из кабинета. Он положительно как-то сразу потерял бóльшую часть своего шестипудового веса, точно погруженный в густую жидкость, и даже не хлопнул дверью, вылетая,— пронесся, как некий дух, и исчез. И с полминуты после его вылета все молчали, даже Ливенцев, который все-таки не ожидал от Генкеля такой способности к полету.

Первым пришел в себя Кароли.

— Накажи меня бог,— это какой-то цирковой клоун,— сказал он с чувством.

— Ну и вы тоже!.. Разве можно так? — укоризненно, однако добродушно, покачал головой Полетика, взяв за плечо Ливенцева, так как все уже встали из-за стола и столпились перед дверями кабинета.

— А почему нельзя? — спросил Ливенцев.

— Да он черт знает что теперь может сделать, этот Генкель! Подумайте только: «высочайше одобрено» — и вдруг оно «идиотское»! Как же так в самом вы деле?

— Постойте-ка! А есть там действительно «высочайше одобрено» на этом «Уставе»? — потянулся Мазанка к черненькой книжечке, которую все еще держал в своей полумертвой руке Пернатый, может быть единственный из всех несколько недовольный на Ливенцева за то, что он то мешал его чтению, то, наконец, совсем его сорвал, и ему не удалось развернуться как следует как прекрасному чтецу.

— Я когда-то был начальником учебной команды и все уставы, и «Полевой службы» в том числе, отлично помню, а это что-то для меня новое,— бормотал Мазанка, перелистывая книжечку.

— Вы смотрите не в середину, а в начало. В начале должно быть это «высочайшее»,— торопил его Кароли.

— Ничего нет в начале! Написано: «Проект»,— и больше ничего! Тысяча девятьсот десятого года.

— Ну, вот видите! Даже и «высочайшей подписи» нет,— обратился к Полетике Ливенцев.— Он просто разыграл комедию, и все! Нож в сердце, что ему придется проститься с помоями! И с лавочкой, откуда он загребал деньги лопатою! Вот мы его обревизуем завтра как следует!

— Не-ет уж, вы — нет! Вас теперь в комиссию назначать нельзя,— решил вдруг Полетика.— Кого-нибудь другого, только не вас!.. Вы думаете, он о вас не сочинит кляузы? Сочинит, будьте уверены!

— Черт с ним!.. Устав действительно идиотский, высочайшего одобрения на нем нет, разыгрался Генкель не к месту и времени, и очень он мне нужен, подумаешь.

— Теперь вы уж за своими туннелями и мостами смотрите в оба! — шутливо уже и даже улыбаясь, посоветовал ему Полетика, успокоенный тем, что «Устав» без подписи и одобрения его величества и что его лично обвинить Генкель перед своей «рукою» оснований не имеет,— напротив, сам он ему завтра скажет кое-что теплое.

— А что такое мосты и туннели? Не подошлет же он фельдфебеля нестроевой роты их взрывать?

— Дело ваше, конечно... А я бы... я бы сейчас, пожалуй, в преферанс... а, капитан? Как у вас насчет преферанса? — взял под локоть Полетика Урфалова.

— У меня все готово,— пожалуйте! Я, изволите видеть, даже жене своей, когда еще шел сюда, сказал: «К бою готовься!..»

И попутно захватил он рукою за талию Кароли, а Кароли Мазанку.

Когда все одевались, явился адъютант Татаринов. Он подошел прямо к Полетике, а по встревоженному лицу его тот увидел, что надо с ним уединиться, и, тщетно пытаясь попасть левой рукой в рукав шинели, вернулся в кабинет.

Ливенцев слышал, как, неосторожно повысив голос, спросил полковник:

— Но деньги-то эти, черт их совсем, вы внесли или с вами этого не случилось?

Должно быть, вполголоса говоривший Татаринов сказал, что внес, потому что Полетика заговорил потом более добродушно:

— Ну, черт с ними, как-нибудь вообще... Лишь бы он рапорта не писал, а поручика этого, пьяницу, откомандируем куда-нибудь в другую дружину... или, или... черт его, куда его девать такого?.. Хоть бы уж заболел чем-нибудь, отправили в госпиталь или... или, может быть, в этот вот, недавно тут без вас вспоминали... в Синоп, а?

Ночь была темная, моросила какая-то игольчатая изморозь; скользили ноги. Только одному Ливенцеву приходилось идти далеко пешком на свою Малую Офицерскую: остальные жили около казарм, и трамвай действовал только до одиннадцати.

— Что же это, неужели через две недели в Синоп? — спросил Ливенцев Пернатого, прощаясь.

— Гм... Воображаю турецких дам в этих самых гаремах! — отвечал Пернатый.— Небось, бедные, ждут они нас, не дождутся... Но я уж пас! Ваше дело еще молодое, а я уж касательно турецких дам — «атанде, сказал Липранди»!

И как будто действительно какие-то грустные нотки прозвучали в голосе этого тощего старика с холодными руками.

IV

Прошло дня четыре.

Ливенцев искал в приказах по дружине назначения комиссии, о которой говорил Полетика, однако ничего о комиссии не было. Он решил, что комиссия, конечно, зачем же, если через две недели всю дружину отвезут в Синоп? Но на общительной Нахимовской улице встретился Кароли и весело сказал:

— Накажи меня бог, если Франц-Иосиф пьет теперь свою слабительную воду «Гунияди-Янос»! Достаточно для него телеграмм из Перемышля!

— А что такое с Перемышлем?

— Как что? Не сегодня-завтра генерал Кузманек перейдет на харчи к генералу Селиванову, а Селиванов этот — такой старый мухомор, как наш Баснин, и тоже бывший командир бригады ополченцев. Вот где скрыва-

лись военные гении!.. Теперь Баснин спит и каждую ночь во сне видит,— в печенку, в селезенку, в корень! — что он уже Синоп взял, а Константинополь через день возьмет.

— Так что же мы, едем в самом деле в Синоп или не едем? — полюбопытствовал Ливенцев, догадываясь, впрочем, что Синоп почему-то отложен.

— Как же мы поедем, чудак-человек вы, когда походные кухни у нас не в исправности?.. На другой же день после вашего «идиотского устава» явился Баснин — и прямо к кухням. А кухни оказались ни к черту! То есть там в общем-то пустяки какие-то, и минутное дело поправить в нашей кузне, однако наш Полетика получил разнос.

— Вот что случилось! А я и не знал.

— Еще бы! При мне было! Я дежурил по дружине — с двенадцати сменил Метелкина,— и, конечно, по обязанности дежурного, хвостом за Басниным вилял, а впереди меня заведующий хозяйством, у которого под началом обоз, знаменитый ваш «приятель» — Генкель. Брюхо подтянул, рука все время у фуражки, и, конечно: «Я, ваше превосходительство, своевременно докладывал командиру дружины... Я даже писал и рапорт о неисправности командиру дружины...» Полетика же хлопает глазками, как младенец: «Когда докладывали? Кухни были в исправности. Это вы о лазаретных линейках писали рапорт, что на них кресты красные плохо нарисованы!» А клоун наш с серьезнейшим видом (вот накажи меня бог, по нем веревка плачет!..): «Никак нет, господин полковник, вы изволили забыть: писал я именно о кухнях, но вы, однако, рапорту моему не дали ходу». Баснин, разумеется, явный хомутник. «Да уж при вашей памяти смехотворной, говорит, вам бы, полковник, спасибо надо сказать, что у вас такой расторопный заведующий хозяйством, а вы...» Вообще черт знает что получилось с этими кухнями, и, откровенно вам скажу, у меня сильнейшее подозрение на этого мерзавца: не сам ли он их испортил? Ведь их испортить, конечно, ничего не стоит, раз они якобы машины: вывинтил какой-нибудь винтик, вот и привел к негодность.

— Изумительно!.. Выходит, что он может делать, что хочет!.. А как же теперь комиссия насчет лавочки и баб?

— Что вы, что вы с лавочками и бабочками! Теперь уж о комиссии никто и не заикается. Полетика убедился, с кем он имеет дело! Как бы Генкель не добился ко-

миссии врачебной на предмет отправки самого Полетики в госпиталь, а оттуда опять — в отставку!.. Накажи меня бог, если он сам в командиры дружины не метит.

— Скверно! Очень гнусно!.. Ну, а Синоп, Синоп?.. Как же все-таки с Синопом?

— Собственноручная выдумка Баснина! Утка кустарного производства! У меня есть один знакомый капитан в штабе крепости... сказал я ему, тот хохочет. «Уж поверьте, говорит, что мы больше вашего Баснина знаем, однако насчет Синопа я только от вас услыхал. И зачем нам так, ни с того ни с сего, брать Синоп? И что нам делать с ним дальше, если и возьмем? Вообще очевидная чушь!» Но тревогу ночную, конечно, он сделать может и примерную посадку на транспорт, если хочет людей проверить,— это ему могут, конечно, разрешить, буде он этого захочет. Вот и весь Синоп... А вы счастливый человек с вашими постами, накажи меня бог, счастливый!

Ливенцев и сам считал, что туннели — это гораздо лучше, чем казарма, где младшие офицеры дежурили через три дня в четвертый, а с ополченцами не занимались ничем, кроме всем опостылевших ружейных приемов и пресловутой «словесности», во время которой у ратников сами собой сонно слипались глаза.

После столкновения с Генкелем на чтении «Наставления к ведению боя пехотой» Ливенцев достал несколько разных уставов и вздумал внимательно их прочесть от параграфа к параграфу, не с тою целью, чтобы буквально запомнить эти наставления, как приходилось запоминать их давно, еще перед войной с Японией, когда держал он при штабе 4-й пехотной дивизии экзамены на прапорщика запаса, а просто в видах проверки их простым и незатемненным здравым смыслом. И какая все оказывалась жалкая и тошная чепуха, годная, может быть, только для игры с оловянными солдатиками! Но люди, живые люди, как могут они там, на фронте, в окопах, под «чемоданами», смотреть на все эти уставы? Когда он занимался в первое время своей службы в дружине с командой разведчиков, то в книжечке, ему данной в штабе для этих занятий, единственная примета привлекла его внимание: «Когда отхожие места начинают пахнуть сильнее обыкновенного, это значит, что собирается дождь».

Жизнь на постах текла так завидно-спокойно, освобождая в то же время ротного командира от заботы

о большой части ротного состава, что капитан Урфалов начал подкапываться под Пернатого, однообразно жужжа Полетике во время преферанса:

— Изволите видеть, господин полковник, ратники ведь во всех ротах одинаковы, почему же третья рота может службу нести на постах на железной дороге, а моя — нет? Испытали бы все ж таки,— может быть, и моя может... Кроме того, хотел я доложить, что вот, например, есть там один пост при Черной речке. Речка, она, как ее видишь, вполне пустяковая, а ратники там без раков даже и обедать не садятся. Также и Пернатому через день по корзиночке привозят, а он хотя бы ради такого случая нас у себя собрал: жмот! А мои бы если ратники там стояли, они бы уж, разумеется, мне, своему ротному, по корзиночке, может, и каждый день привозили, тогда бы мне и вас было чем новеньким угостить.

— Раки? Да-а, что ж... Это тоже хорошо ведь — раки, а? — задумчиво отзывался Полетика.— Хо-тя-я я больше люблю эту, как ее... вот ее на Волге много ловят... и этак как-то... вялят, что ли? Очень хорошая под водку рыба, если не сухая только... Икра особенно хороша под водку... с зеленым луком...

— Тарань, что ли? — напрягал весь свой ум на догадку Урфалов.

— Тарань, тарань! Вот именно! Тарань!

— Ну, тарани, разумеется в Черной речке нет, одни раки... Устрицы вот действительно в бухте водятся, только они в тех местах, где из лазарета всякую гадость спускают в воду, и вот, изволите видеть, заболели, говорят, всякими заразными солдатскими болезнями, так что их в пищу употреблять нельзя. А раки, если их хорошо приготовить, то есть к ним разное добавочное, они будут тоже не хуже устриц, а также и тарани.

Этими чернореченскими раками Урфалов, наконец, соблазнил Полетику, и люди третьей роты были заменены на постах людьми первой, но Ливенцева не заменили никем, и он по-прежнему через день объезжал свои посты на дрезине, для чего управлением дороги командировался неизменно один и тот же артельный староста Есаков, разбитной человек, несколько обезьяньей внешности, речистый и большой знаток анекдотов, правда, нескромных, но веселых. Вертели дрезину двое рабочих с путей, но на нее часто наседали поезда, и если пост

был далеко, приходилось проворно стаскивать ее с путей в сторону, а перед тремя большими туннелями бойкий Есаков всегда останавливал дрезину и слушал встревоженно, не идет ли встречный, неизменно повторяя при этом:

— Если в дыре встретимся, там нам всем каюк, и поезду тоже будет не сладко!

И подмигивал весело, как после забористого анекдота.

С людьми на постах, как и вообще со всеми ратниками, Ливенцев не умел говорить начальственно. Для начальственности нужна была серьезность, а от Ливенцева как-то отскакивало все, чем заняты были кругом него тысячи людей. Ливенцев думал даже, что если бы и в самом деле посадили всю дружину на транспорты и повезли к Синопу, а там началась бы артиллерийская перестрелка русского боевого флота с турецкими береговыми батареями, и огнем с берега был бы, например, потоплен транспорт с их дружиной,— он тонул бы вместе со всеми вполне безропотно, но даже и близкую смерть свою не считал бы серьезным для себя самого событием: глупо — да, дико — да, но все-таки несерьезно, потому что бессмысленно и совершенно бесцельно, а серьезность предполагает прежде всего точную и ясную мысль.

Поэтому он сворачивал куда попало в сторону, если унтер-офицер вел команду по улице, и при виде его, идущего навстречу, начинал подсчитывать шаг и готовиться зычно прокричать: «Смирно!»

Служба на постах шла сама собою, без всякого его вмешательства. Обязанности часовых были несложны, поэтому Ливенцев очень был изумлен, когда однажды Полетика сказал ему:

— Получил за вас благодарность от коменданта. Проверял, говорит, посты на туннелях — все нашел в блестящем порядке... Да, вот так прямо и сказал: «В блестящем порядке!» И люди, говорит, стоят на постах бравыми молодцами.

— Гм... Понятно, люди стоят молодцами... Только я-то тут при чем? — удивился Ливенцев.

— Ну, а как же — при чем, при чем! Ведь это же ваша команда!

— Исполняют они свои обязанности, а я — свои. А о том, чтобы проверял комендант посты наши, я даже и не слыхал. Когда это было?

— Ну, уж когда и как он там проверял — это... это черт его знает, это ж его дело! Однако же вот передал благодарность за службу.

— Конечно, лучше уж пусть хвалят, чем ругают,— согласился Ливенцев.

— Разумеется, лучше!.. Только что же это: у вас комендант посты проверяет, а вы и не знаете?

— Не доложил никто... А может быть, просто из окна вагона на посты он смотрел, когда проезжал мимо?

— Ну, как бы там ни было! Он благодарил меня, я благодарю вас,— и усмешливо-церемонно Полетика пожал ему руку, а Ливенцев подумал тогда, что из всех своих содружинников более всего понимает он, пожалуй, вот этого вечного путаника, для которого тоже не было ничего серьезного в серьезных будто бы делах кругом, поэтому-то все и можно было перепутать, переставить, переиначить, перемешать и, наконец, позабыть совершенно.

После встречи с Кароли на Нахимовской Ливенцев встретился и с Генкелем. Тот стоял, ожидая вагона трамвая. Ливенцев прошел мимо него, едва дотронувшись двумя пальцами до козырька фуражки и стараясь на него не взглянуть.

— Прапорщик Ливенцев! — вдогонку ему крикнул Генкель, но он только ускорил шаг, сделав вид, что не слышит. А когда дня через два они встретились снова, то так же точно Ливенцев взял под козырек, как любой младший в чине старшему в чине, и не глядя на него, давая тем самым понять, что этим и ограничиваются между ним теперь все отношения. И Генкель понял это и крикнул:

— Почему считаете вы вежливым не отдавать мне чести?

Теперь Ливенцев уже не сделал вида, что не расслышал, теперь не ушел он. Он вспомнил, что говорил ему Кароли об истории с походными кухнями, быстро обернулся и сказал:

— Какой такой чести еще вы требуете? Фронта что ли?.. И как смеете вы делать мне замечания на улице?.. Не вздумайте проделать это когда-нибудь еще,— смотрите!

Должно быть, Генкель заметил, как задрожали у Ливенцева веки правого глаза и как он весь побледнел вдруг, что ничего доброго не предвещало. Он счел за лучшее уйти поспешно, а Ливенцев остро подумал, не-

сколько мгновений следя пристально за его круглой спиной, что если есть на земле человек, которого он возненавидел смертельно, то это — Генкель, и если бы тысячи моралистов всех сортов и оттенков сейчас вот сошлись бы перед ним и стали убеждать его, что ненависть к человеку — тягчайший грех, он заткнул бы уши и послал бы их к черту, а возможно даже, что, вспомнив сложную ругательную вязь поручика Кароли, он пустил бы в дело его тугую спираль из печенки, селезенки, корня и прочих подобных вещей.

V

Страшное дело войны между тем двигалось безостановочно, хотя римский папа и был убежден, что ради праздника Рождества должны бы были воюющие стороны разрешить себе перемирие.

В разноцветных листах телеграмм, выпускавшихся местной газетой «Крымский вестник», и в газетах обеих столиц мелькали названия галицийских, и французских, и аджарских, и польских городов, рек, даже отдельных фольварков, за обладание которыми шли жесточайшие бои.

Был ли это Сарыкамыш, или знакомый по прежним войнам с турками Ардаган в Зачорохском крае, или была это река Бзура, или река Равка на австрийском фронте, или речка Млава — на германском,— Ливенцев представлял себе там несметные массы в таких же шинелях, как у него самого, и массы людей этих творили историю. Это было совершенно непостижимо, зачем люди шли и на эту войну, как шли они когда-то на осаду Трои, или с Александром на Индию, как шли с Наполеоном на Москву, или как ездили на байдарках из Запорожья через все Черное море «пошарпать берега Анатолии».

Ливенцев не понимал главной движущей пружины всех войн — грабежа, потому что не понимал, что такое богатство и зачем оно нужно.

И когда капитан Урфалов, идя как-то с ним вместе, почтительно кивнул на промчавшегося мимо них в великолепной машине адмирала Маниковского и покрутил задумчиво головой, Ливенцев спросил его весело:

— Почему у вас к этому адмиралу такое почтение в глазах и даже во всей вашей фигуре?

Урфалов ответил недоуменно:

— Как это почему? Ведь это же сам начальник порта!

— Что из этого, что он начальник порта?

— Как так «что из этого»? Да он, изволите видеть, двадцать пять тысяч в год получает!.. Да сколько тысяч еще может получить с того, с другого под благовидными предлогами! Мало тут подрядчиков требуется для такого огромного дела?.. Если будете считать еще тридцать пять тысяч, то, ей-богу, не ошибетесь! Вот вам и шестьдесят тысяч в год!

— Все равно, что миллион в банке из шести процентов,— вспомнил Ливенцев корнета Зубенко.

— Ну да... Все равно, что миллион в банке!.. Да ведь тридцать пять тысяч в год в военное время — это я посчитал вам, изволите видеть, очень скромно ведь! Поняли, что это за должность такая — начальник порта?

— Как не понять? И шестьдесят тысяч, и ничем не рискует, и на убой не пошлют,— досказал за него Ливенцев и на момент представил себе сотни тысяч Урфаловых, и ротмистров Лихачевых, и подполковников Генкелей, и генералов Басниных, и адмиралов Маниковских и увидел: вот она для кого — война!

А Урфалов продолжал думать вслух, сколько именно мог нажить, кроме жалованья, адмирал Маниковский.

— Пустяки я вам сказал, изволите видеть! Тридцать пять тысяч — да это что же такое? Да в японскую войну, когда я в обозе служил поручиком, у нас простой капитан пехотный в Россию своей невесте из Маньчжурии по две, по три тысячи в месяц переводил, и восемь месяцев он так делал, пока, наконец, дураку не написали: «Кому, дурак, посылаешь? Она уж давно с другим любовь крутит, и не венчается если, то потому только и не венчается с ним, что фамилию свою на его менять боится: как тогда ей деньги твои получать?» Стало быть, выходит, что простой капитан за год мог тридцать пять тысяч нажить! Да на чем нажить? На полковом обозе! А тут целый порт для всего флота!.. Нет, нет, тут не тридцатью пятью тысячами пахнет!

И Урфалов поглядел на Ливенцева так многозначительно, что тот поспешил с ним проститься.

Как-то вечером зашел неожиданно к Ливенцеву мрачный поручик Миткалев, очень удивив его этим: никогда не заходил раньше.

Войдя, он прогудел басом:

— Вот вы где живете!.. Что ж, берлога сносная... А я иду мимо, вспомнил: здесь где-то наш прапор живет... Вот и зашел.

Ливенцев смотрел на него вопросительно. В его комнате было всего два стула, и оба они стояли возле стола, причем на одном из них, как и на столе, в беспорядке навалены были книги, журналы, газеты.

— Читаете все? — кивнул на эту груду книг и журналов Миткалев.

— Д-да, есть у меня такая привычка скверная,— улыбнулся Ливенцев, очищая стул и усаживая гостя.— А вы спрашиваете об этом так, как будто никогда сами и не читаете.

На это мрачно и свысока отозвался Миткалев:

— Зачем мне читать? Что я — гимназист, что ли?

И отодвинул презрительно подальше от себя книги, какие пришлись на столе прямо перед ним.

— Будто бы только одним гимназистам полагается читать книги!

— А на черта они кому еще?.. Экзамен по ним сдавать или как?

Миткалев помолчал немного и добавил, смягчив бурчащий голос:

— Денщик ваш знает, где смородинной воды достать?

— Смородинной?.. Вы что, пить хотите? Простой воды стакан я вам могу дать, конечно, а смородинной...

— Что вы, как младенец все равно! — криво усмехнулся Миткалев.— Не знаете, что так в ресторанах водку зовут? Ее в таких бутылках от фруктовой воды и подают, а иначе — протокол!

— А-а, вон что!.. Нет, денщика у меня вообще никакого нет.

— Ка-ак так нет? — очень удивился Миткалев.— А что же вы — девку, что ли, держите?

— У хозяйки моей есть женщина-помощница... Только насчет вашей смородинной она едва ли знает, и лучше ее этим поручением не беспокоить,— сказал Ливенцев, думая, что после такого его ответа Миткалев скоро уйдет.

Но он только насупился, тяжко задышал и забарабанил пальцами по столу, грязными пальцами с необрезанными черными ногтями.

— Та-ак-с! — сказал он наконец, отбарабанив.—

Ну, может, дадите рублишек двадцать до жалованья... а то, понимаете, у меня все вышли...

— Недавно послал матери,— твердо сказал Ливенцев,— и теперь сам — лишь бы дотянуть как-нибудь до получки.

Миткалев мрачно-весело подмигнул.

— Гм... Рассказывайте! Богатый человек, а для товарища каких-то там двадцать рублей жалеет. Не ожидал!

— Вот тебе раз! Богатый?.. Какой же я богатый? — удивился Ливенцев.

— Однако все говорят, что богатый... А иначе зачем бы вы адъютантство Татаринову-зауряду уступили?.. А он, зауряд, теперь куда больше вас получает!

— И пусть его получает, он человек семейный,— попробовал сослаться на понятное для него Ливенцев, но Миткалев пробасил:

— Я тоже семейный...

— Что ж, если вы считаете себя более достойным, чем Татаринов, предложите Полетике,— может, он вас возьмет в адъютанты.

— Я, может, еще и ротного командира опять дождусь, чего мне в адъютанты лезть?.. Поменяйтесь вы со мною, вот это так!

— В каком смысле именно?

— В таком... Вы идите в субалтерны к Эльшу, а я — на ваше место, на посты. А то выходит, если хотите знать, неловко даже с вашей стороны: вы все-таки считаетесь ниже меня на два чина и у меня же субалтерном сначала были, а права у вас теперь, как у ротного командира, а мне вместе с заурядами приходится по дружине дежурить.

— Ну, хорошо... Что же вам мешает сказать все это Полетике?

— Как же что? Надо, чтобы вы раньше сказали Эльшу.

— Ни малейшего желания я не имею идти к Эльшу. И зачем мне подобную чепуху говорить? — улыбнулся Ливенцев.

— То-то и есть! А это — совсем не по-товарищески, должен я вам сказать.

И Миткалев поглядел на него уже не мрачно, а зло.

— А что же именно не по-товарищески? — ожидая, что он встанет, наконец, и уйдет все-таки, спросил Ливенцев.

— Раз вы видите, что товарищ нуждается, а вам, как состоятельному человеку, все равно, что, например, на довольствии нижних чинов сэкономить в свою пользу можно, то вы бы ему уступить должны,— наставительно пробубнил Миткалев.

— А-а! Так вот в чем дело! То есть, говоря проще, привлекают вас деньги, какие я получаю для раздачи на посты? Так бы вы и сказали сразу! А то я уж подумал было, что вы о пользе службы радеете.

— Так что же — будем, что ли, меняться?

— Нет, считаю для себя это неудобным,— сказал Ливенцев, подымаясь.

— То-то и есть,— усмехнулся зло Миткалев.— А думаете небось, что вы не такой, как все... Ну, тогда дайте хоть десять рублей...

— Не найдется у меня и десяти рублей,— твердо сказал Ливенцев.

Но Миткалев все-таки не ушел и после такого ответа; он спросил хотя и искательно, но по-прежнему басом:

— Десяти не найдется,— ну, а пять?

Ливенцев молча вынул пятирублевую бумажку и подал ему. Так же молча взял ее Миткалев, небрежно сунул в карман шинели (он не раздевался) и вышел из комнаты.

Но выходя, он попал не в ту дверь, и Марья Тимофеевна вышла сама в коридор отворить ему выходные двери, а потом из коридора услышал Ливенцев ее возмущенное:

— А-ай!.. Что же это вы так нахально себя ведете? А еще офицер!

— Что такое? — спросил ее Ливенцев потом.

— Да как же так можно? Щипаться вздумал, будто я ему прислуга какая! — возмущалась, вся пунцовая, Марья Тимофеевна.

— Извините ему, он пьян.

— Ну, как же так пьян, когда вином от него ни капли не пахнет даже!

— Все равно, через час будет пьян в стельку.

— А-а! Так он такой, стало быть,— пьянчужка? Ну, тогда пускай он до вас больше уж не приходит. Я его заметила, какой он из себя, и как ежели придет еще, сейчас же скажу: «Напрасно вы явились, их дома нету».

Марья Тимофеевна говорила всегда несколько витиевато, но делала это только затем, чтобы закруглять фразы. Она считалась незамужней, однако жила с ка-

ким-то счетоводом из портовой конторы, и счетовод этот скромно помещался в ее комнате за ширмой, но был он человек настолько тихий и как бы совсем бестелесный, что Ливенцев за те пять месяцев, какие прожил у Марьи Тимофеевны, видел его всего два раза, и то мельком, в сумерки, и ни за что не мог бы описать его внешность, если бы в этом случилась нужда.

А прислугу Марьи Тимофеевны звали Марусей, хотя она была тоже уж немолода, низенькая, неуклюжая, некрасивая. И все-таки к этой Марусе очень часто приходил какой-то матрос с «Евстафия», постоянство которого удивляло Ливенцева. Еще более удивляло его то, что этого матроса, сожителя Маруси, не в пример прочим хозяйкам, уважала и Марья Тимофеевна,— должно быть, тоже за это его постоянство.

Дом, в котором жил Ливенцев, был четырехэтажный, принадлежавший богатому греку Думитраки, который при встрече с ним любезно раскланивался и неизменно называл его поручиком, из чего выводил Ливенцев, что этот пожилой уже, но еще стройный и прямой, фатовато одевавшийся человек когда-то тоже служил в полку и не забыл еще обычных правил старовоенной вежливости в разговоре с военными повышать их в чинах.

Этажом выше Ливенцева в том же доме жил старший врач дружины — Моняков, любивший говорить о себе так:

— В сущности я ведь мог бы освободиться от службы по одной своей хронической болезни кишечника, но поскольку я получаю здесь вполне приличный оклад, да еще сохраняю за собой свой оклад земский,— посудите сами, какой же мне смысл освобождаться из серой шинели?

Действительно, цвет лица у него был какой-то нездоровый, и был весь он фарфорово-прозрачен и худ, но борода, веселого светлого оттенка, хотя слегка и клочковатая, несколько скрашивала его.

Кроме болезни кишечника, у него была еще одна особенность, если не болезнь, замеченная Ливенцевым в первую же прогулку с ним по улице: шагов через двадцать — тридцать каждый раз он приостанавливался и внимательно глядел себе под ноги и оглядывал около себя тротуар. Объяснял он эту странность тем, что года два назад потерял с пальца золотой перстень с дорогим бриллиантом, и случилось это с ним на улице в Мариуполе.

— Я, знаете, очень похудел тогда, и пальцы стали тощие, вот перстень и свалился, а я не заметил сразу... Заявлял, конечно, в полицию, и так вообще, обещал награду тому, кто найдет,— ничего не вышло.

— Да ведь это случилось с вами не в Севастополе, а вы...

— Я все это отлично сознаю, но вот как привык там, в Мариуполе, искать перстень этот глазами на тротуаре, так и не могу отвыкнуть. Конечно, со временем это у меня пройдет... Главное, очень дорогой был камень, и досада была, знаете: зачем, дурак, носил еще перстень, когда он уж на пальце держаться не мог!

Во всем же остальном это был человек деловитый, очень уважающий себя и за то, что он земец, и за то, что журнал «Врач» помещает его корреспонденции. Правда, отсюда, из Севастополя, ему вряд ли что приходилось писать в свой журнал, но Ливенцеву нравилось, когда, заметив кое-какие непорядки в дружинном околотке, он и об этом говорил с деловым азартом:

— Вот погодите! Все это вы прочитаете во «Враче»!

VI

Однажды, направляясь в штаб дружины к казначею Аврамиди за деньгами для своих постов, Ливенцев около самых казарм встретился с Полетикой.

Командир побывал уже в дружине и теперь шел домой. Оказалось, что к нему приехала жена, и этой своей семейной радостью Полетика не замедлил поделиться с прапорщиком после того, как узнал от него, что он идет к казначею.

— А у меня, представьте себе, такое событие... сегодня, утром,— взял он за рукав Ливенцева.— Утром, чем свет, слышу — что такое? — звонок... Думаю, что эта самая... ну как ее... баба такая...

Он поглядел на Ливенцева ожидающими немедленного подсказа, нетерпеливыми голубыми глазами, но Ливенцев ответил задумчиво:

— Бабы вообще всякие бывают.

— Ну, черт же, эта самая... с бидонами она приходит... Не молочник... молочник — это который на стол ставят...

— Молочница, что ли?

— Ну, конечно, конечно, молочница!.. Разумеется, не какая-нибудь там баба... Осерчал я на нее, что рано, выругался как следует, отворил ей дверь. Разумеется, денщик ей дверь отворил, а не я сам, я в постели был еще. И вот... что же оказалось? Оказалось, это — совсем не баба, а моя жена! И вы представьте себе, она ждала еще целый час на вокзале! Поезд должен был прийти... когда же это, а?.. Но вы там на железной дороге все знаете, должно быть... Когда же это должен был поезд ее прийти, а?.. Она мне говорила, а я забыл!

— В девять вечера приходит какой-то поезд.

— В девять, да... Должен был прийти в девять... Так и жена говорила... А он пришел в четыре, да. В четыре утра! Черт знает, безобразие какое! От девяти часов и до четырех утра — ведь вот насколько он опоздал!.. Безобразно как стало теперь с поездами!.. А измученная какая приехала, бедная! Гм... не знаю уж, не больна ли... Теперь спит... Ну, может быть, встала уж, пока я здесь. Пойду... А вам что-то такое причитается... Или что там такое?.. Вот в штабе узнаете... Командировка какая-то.

— А-а! Это бы неплохо — командировку куда-нибудь.

— А, разумеется! Что же на одном месте торчать!

— Я бы не прочь... в Москву, например... или в Питер,— оживился Ливенцев.— Только кому бы понадежнее мне посты передать? — вспомнил он Миткалева.

— Посты передать? Кому? Зачем?

— Да ведь раз командировка, то, само собою...

— Куда командировка? Да нет, это совсем не вам командировка, это тот, как его, капитан этот... Урфалов в командировку едет... А вам... не помню, телефоны какие-то, кажется, получать.

— Вот как! Телефоном посты мои связаны будут? Это чудесно!

— Да нет же, что вы — телефоны! Не телефоны совсем, постойте!.. Вам еще что-то такое...

— Если что-нибудь ужасное — забудьте, пожалуйста,— посоветовал, улыбнувшись, Ливенцев.

— Я и так забыл... Гм... Ну, идите в канцелярию, там вам скажут. А я уж к жене... Она ведь ненадолго приехала. Скоро опять ей, бедной, ехать в вагоне... До свиданья!

Ливенцев пошел, думая, что́ еще такое новое могло ожидать его в штабе дружины, когда услышал сзади себя:

— Эй! Красавец!.. Стойте-ка!

Оглянулся. Полетика, приставив руки рупором ко рту, кричал:

— Вспомнил я! Деньги вам добавочные кормовые получать! Там, у заведующего хозяйством! Для нижних чинов!

— Понял! — крикнул в ответ Ливенцев, взял под козырек и пошел туда, где уж ничего загадочного не было: ни командировки, ни телефона, ни чего-нибудь такого еще, но неприятно было, что деньги получать почему-то не у казначея, а у самого Генкеля.

Впрочем, он думал, что это только такой оборот речи: говорится — «у заведующего хозяйством», а получается — «у казначея».

Зауряд-чиновник из мариупольских греков Аврамиди, прозванный Ливенцевым за огромный нос зауряд-Багратионом, был всегда почтителен к офицерам и точен в своих расчетах. У него была особенность: он говорил очень тихо, «по секрету», и совершенно без нажимов на то или иное слово. Лицо у него было белое, сытое, но черные маслины-глаза глядели всегда грустно, отчего печальным казался даже и его не по лицу дюжий нос. И даже совсем новенькие кредитки как-то очень печально, как осенние листья осин, шелестели под его белыми пальцами. Так же шелестели они и теперь, когда он отсчитывал их Ливенцеву как основные кормовые деньги, но насчет добавочных он сказал по-своему монотонно и тихо:

— Мне ничего не известно. Никаких приказов по поводу этого я не получал.

— А может, командир наш, по обыкновению, что-то такое напутал? — спросил Ливенцев.

Аврамиди развел политично-неопределенно руками и вздохнул протяжно одним только носом, похожим на хобот тапира. Но писарь-«приказист» Гладышев, с луноообразным веселым лицом, подойдя к ним, сказал:

— При мне было. Заведующий хозяйством сам говорил: «Надо выдать добавочные кормовые тем, которые на железной дороге».

— Ну вот, так мне и командир сказал... А заведующий хозяйством здесь? — спросил Ливенцев.

Гладышев только что успел сказать: «Так точно, здесь»,— как из кабинета командира вышел с какими-то бумагами сам Генкель.

— Господин подполковник! Командир дружины послал меня к вам получить от вас добавочные кормовые

деньги для людей на постах,— брезгливо, однако без запинки сказал ему, подойдя, Ливенцев.

— Здравствуйте! — протянул ему руку Генкель.

Ливенцев удивленно глянул на эту мясистую руку, еще удивленнее — на самого Генкеля и продолжал:

— Так вот, эти добавочные кормовые деньги я и прошу мне выдать.

— Здравствуйте! — повысил голос и сильно покраснел Генкель, поднимая выше, делая заметнее для Ливенцева свою тяжелую руку.

И Ливенцев быстро спрятал свою правую руку за спину и сказал, точно не слышал:

— Сколько именно этих кормовых денег приходится на каждого нижнего чина — этого мне не передавал командир дружины...

— Здравствуйте же! — закричал Генкель, совершенно багровея и поднося руку к самому почти лицу Ливенцева, так что, отступая на шаг, прапорщик сказал подполковнику:

— Я пришел к вам по делу службы, насчет кормовых денег, но подавать вам руку я не же-ла-ю!

Человек пятнадцать писарей было в это время в канцелярии, кроме казначея Аврамиди, и как-то случилось так, что они не сидели уж на своих местах, а стояли, пораженно следя за бурной сценой, так неожиданно разыгравшейся перед ними.

— А-а! Вы не желаете! Хорошо! Вы арестованы! — совершенно вне себя кричал Генкель.

— Аресто-вать меня не имеете вы права! — крикнул, начиная уже тоже дрожать от волнения, Ливенцев.

— Нет-с! Имею! Имею право! Имею... И вы... вы арестованы! — кричал Генкель, задыхаясь.

— Только командир дружины имеет такое право, а не вы! — кричал Ливенцев.

— Я заменяю командира дружины в его отсутствие! Я!.. Вы арестованы! Ни с места!

И, крича это, Генкель метался по канцелярии, с бумагами в левой руке, как-то полусогнувшись и растопыря зад. Ливенцев, следя за ним, прежде всего был удивлен тем, что он мечется так совершенно впустую, непостижимо зачем, поэтому он ничего не отвечал уже Генкелю; казалось ему, что этого багрового сейчас вот разобьет паралич, и он уже начал заранее обвинять себя в его преждевременной смерти, но Генкель закричал вдруг писарям:

— Шашку мою сюда!

Этот грозный окрик заставил Ливенцева положить руку на эфес своей шашки и приготовиться мгновенно выхватить ее из ножен в случае нападения.

Писаря шумно кинулись вперебой снимать с вешалки шашку Генкеля и помогать ему подсовывать под погон и застегивать ремни портупеи, а Генкель кричал так же неистово-командно:

— Шинель!

Ливенцев стоял и смотрел, теперь уж совершенно не понимая, что намерен предпринять Генкель.

— Фу-раж-ку! — прохрипел тот, когда помогли ему писаря натянуть шинель.

И, укрепив фуражку на голубой голове, обернулся он к Ливенцеву:

— Теперь пойдемте!

— Ку-да это «пойдемте»? — очень удивился Ливенцев.

— Куда? Вы хотите знать, куда?.. К командиру бригады!

— Зачем это к командиру бригады?

— Зачем?.. Затем, чтобы он вам объяснил... внушил вам!.. Извольте идти со мной! Вы арестованы!

— Я нисколько не арестован! Вы мне не начальник, чтобы меня арестовать! И порете вы ерунду и чушь! — закричал Ливенцев.— Но к командиру бригады я все-таки пойду, чтобы спросить его наконец, знает ли он, что вы из себя представляете!

— Спросите, спросите! Он вам скажет! Он скажет! — выдохнул каким-то шипом змеиным Генкель и выскочил в дверь.

Перед тем как выйти следом за ним, Ливенцев оглянулся на писарей и увидел, какие у них у всех, и у зауряд-Багратиона тоже, ошеломленные лица. И при виде этого общего ошеломления он, если бы даже и захотел, никак не мог подавить своей обычной, неизвестно где таившейся, но теперь внезапно раздвинувшей ему губы спокойно-веселой улыбки. И, выйдя из штаба дружины, он пошел действительно следом за тушей Генкеля, решив, что если тот без него побывает у Баснина, то может наговорить на него такого, что способен наговорить только бывший жандарм.

Но надо было идти вместе с ним довольно далеко: и по длинному двору казарм до ворот, и потом пустым полем до остановки трамвая. И вот при этом случилось

то, чего никак не ожидал Ливенцев: они, не говорившие друг с другом месяц, разговорились. Это было удивительно, но это было так, и всякий, кто их встретил бы, мог подумать, что вот идут два офицера одной, судя по погонам, части и мирно беседуют. Эта беседа была начата все-таки Генкелем, который подавленно как-то вдруг сказал:

— При писарях... при нижних чинах.. разыграли вы такую историю, что... я даже не знаю, чем это для вас может окончиться. Вот командир бригады пусть решит...

— При писарях... при нижних чинах...— в тон ему отозвался Ливенцев,— вы де-мон-стра-тивно лезете на явный скандал! Протягиваете мне руку, да еще говорите: «Здравствуйте!»

— Я забыл... Разве я не мог забыть? — как бы даже оправдывался Генкель.

— Забывать у нас позволяется только командиру дружины, а не вам. И хотя вы являетесь его заместителем, как это я читал в приказе, но только на время его болезни или отъезда, это — раз... и притом, совсем не в том заместителем, чтобы забывать.

— Хорошо, я передам ваши слова командиру дружины,— пообещал Генкель.

— Это будет напрасный труд! Я могу и сам ему сказать это, тем более что новостью для него это не будет. Наконец, вы могли забыть, и не подражая Полетике,— допустим и это,— но не тянуть мне руку, не говорить: «Здравствуйте же!» Это «же» совершенно было излишне.

— Однако, когда штаб-офицер протягивает вам, прапорщику, руку...

— Ого! — перебил его Ливенцев.— «То какая это честь для прапорщика!» — вы хотели сказать? Нет, чести тут ни малейшей... Притом вы очень преувеличенного мнения о своем чине: вы просто капитан, и напрасно носите после мобилизации свои отставные погоны.

— Вот командир бригады скажет вам, в каком я чине!

— И отлично! Так что наконец-то и я узнаю это! Что ж, всякое знание полезно, я всегда был такого мнения.

Так они разговаривали идя, причем Ливенцев шел не рядом с Генкелем, а старался держаться на полшага сзади: слишком противно было бы идти с ним рядом.

Он представлял стеклянные моськины глаза на обрюзгшем кувшинном рыле генерала Баснина, и в ушах его уже начал дребезжать хрипучий голос, тот голос, которым когда-то разносил этот «синопец» безмолвного перед ним Полетику.

«Ну, я таким безмолвным не буду!» — решил про себя Ливенцев и в то же время думал, как именно будет он говорить, если тот сразу же начнет на него орать хрипуче. Ведь Генкель в его глазах является «расторопным штаб-офицером», то есть вполне достойным заступничества и поощрения, и, может быть, генерал-майор Рейс, начальник штаба Баснина, является как раз «рукою» Генкеля?..

Однажды видел Ливенцев этого сухощавого седоусого немца, который вел себя при Баснине, точно ученая комнатная собачка, и «делал стойку» всякий раз, как только появлялся в канцелярии штаба из своего кабинета Баснин, то есть вскакивал и замирал руки по швам. Но в то же время известно было всем, что именно он ведет все дела бригады по своей линии, так как Баснин ленив, притом часто объедается и оттого болеет желудком и не всегда бывает в штабе.

Кое-какая надежда на то, что Баснина не будет в штабе и теперь, появилась у Ливенцева, когда они дошли до трамвайной остановки, но на всякий случай он все-таки перебирал в уме все, что мог бы сказать в оправданье, если бы Баснин захотел его выслушать. И пока ехал в трамвае, составил что-то вроде речи из целого ряда его недоуменных вопросов о Генкеле, а Генкель сидел в это время у окна, наполовину открытого ввиду теплого дня, и курил, дым выпуская в окно.

В штабе бригады оказался один только адъютант, пожилой поручик, ходивший по канцелярии. На вопрос Генкеля, можно ли по весьма серьезному делу видеть командира бригады, адъютант ответил бесстрастно, как судьба:

— Генерал Баснин дома, болен... Генерал Рейс поехал к нему с докладом.

Генкель обернулся к Ливенцеву:

— Хорошо, прапорщик... Мы можем в таком случае поехать на дом к генералу Баснину.

— Была охота ехать к больному генералу с полнейшими пустяками! — отозвался Ливенцев.

— Нет-с! Это не пустяки! — повысил было голос Генкель.

— С вашей точки зрения?.. Только не с моей.

— Тогда поедем сейчас же к командиру дружины!

— Вот что: вы можете ехать, конечно, куда вам будет угодно, а мне это все надоело, и я пойду домой. Кормовые деньги я все-таки надеюсь от вас получить сегодня: их можно прислать с кем-нибудь из писарей ко мне на квартиру.

— Нет! Уходить вы не имеете права! — попробовал было начальственно прикрикнуть Генкель, но Ливенцев усмехнулся:

— Е-рун-да! Как это так не имею права?.. Вот взял и ушел!

И быстро двинулся к выходу.

— Я сейчас же еду к командиру дружины! — кричал ему в спину Генкель.

— Можете! Не запрещаю! — отозвался Ливенцев от дверей и, не обернувшись, пошел домой обедать.

А дома ждал его ратник с одного из постов Степан Малаха, который передал ему словесное приказание зайти на вокзал вечером.

— От кого приказание? — спросил Ливенцев.

— Жандарм с седой бородой переказывал, ваше благородие.

— Вахмистр? Гончаренко?

— Не могу знать, как фамилия. А медаль он имеет золотую.

— Значит, вахмистр передал тебе... А от кого приказание?

— От якого-сь полковника.

Ливенцев понял, что приказание идет от жандармского полковника Черокóва, и подумал, что, может быть, Генкель успел поговорить с ним по телефону, с этим Чероковым, может, они были когда-нибудь сослуживцами...

Черокова он видел всего только раз, когда принимал посты на железной дороге, так как посты эти каким-то образом были в ведении жандармской власти и дежурный по вокзалу жандарм обыкновенно добывал ему дрезину для объезда постов и рабочих, чтобы вертеть дрезину.

Вечером Ливенцев поехал на вокзал, где старый вахмистр Гончаренко, по своей представительности годившийся в генерал-губернаторы, нагнувшись к нему, сказал ему тихо и таинственно:

— Дня через два ожидаем его величество.

— Вот как! — очень удивился Ливенцев.— Отчего же нигде об этом ничего не говорят?

— То есть, где же это нигде? — осведомился Гончаренко.

— Да вот я был сегодня в штабе дружины и в штабе бригады — нигде ничего не слыхал.

Жандарм стал совсем таинственным и сказал почти шепотом:

— Секретная депеша, только в обед получена.

— Ну, у меня на постах все в порядке. А завтра поеду — кормовые деньги раздам.

— Завтра я распоряжусь, значит, насчет дрезины... А ко скольким часам дрезину заказать?

— Часам так к одиннадцати, я думаю.

— Слушаю,— сказал Гончаренко.— А теперь пойдемте, я вас проведу к начальнику.

И когда шел за огромным вахмистром Ливенцев по плохо замощенному вокзальному двору к двухэтажному дому жандармского управления, он смутно представлял себе Черокова, как человека незначительной внешности, но с какими-то странными, аспидно-сине-молочными, холодными и совершенно неподвижными, как у амфибии, глазами. Конечно, покушений на железной дороге ждали не от внешних врагов, а от внутренних, почему и ведал постами начальник жандармского управления.

В кабинете Черокова горела электрическая лампочка, но окна были наглухо, как везде в Севастополе, задернуты черными занавесками. В такой обстановке аспидно-сине-молочные глаза его стали еще более загадочны, и когда вошел сопровождаемый вахмистром Ливенцев, Чероков, подавая ему руку, так долго и пристально и совершенно не мигая глядел на него, что Ливенцеву стало не по себе и он передернул плечами.

Наконец, тихо, но отчетливо сказал Чероков, когда Гончаренко вышел:

— Его величество ожидается здесь на днях, но сегодня пока никому не говорите об этом.

Он помолчал немного и добавил уже более громко:

— Скажите, за всех людей ваших вы можете поручиться?

— Гм... Безусловно за всех,— уверенно сказал Ливенцев.

— Но ведь вы... Вам хорошо известно, что заводских рабочих между ними нет?

Ливенцев вспомнил, что говорилось что-то о заводских рабочих, когда Урфалов отбирал на посты людей, и сказал:

— Выбирали исключительно сельчан.

— Угу... Сельчан...

Неподвижные глаза Черокова не выдавали ни малейшей работы его мозга, и Ливенцев не мог уловить, когда появилось в нем соображение о немцах-колонистах, но он сказал вдруг:

— Немцы-колонисты ведь тоже сельчане, а у вас они в ротах имеются.

— И на постах есть немцы-колонисты,— сказал Ливенцев, вспоминая, что пост на одном из мостов подобрался исключительно из немцев.

— Ка-ак?! Есть? На постах?..

Глаза Черокова не замигали и не стали шире, они только как будто осветились откуда-то изнутри и побелели.

— Каким же это образом?.. И много их?

— Один пост.

— Це-лый по-ст? Исключительно из немцев?

Чероков даже хлопнул по столу руками.

— Да, целый пост: восемь человек.

— Как же это вы мне ничего об этом не донесли?

— Да ведь это не Вильгельмовы немцы,— улыбнулся его тревоге Ливенцев,— это самые лояльные, наши немцы. Тем более что они не полковники, не генералы, не адмиралы...

— А вы почем знаете, что они лояльные, эти ваши немцы? Нет, уж пожалуйста, ни за кого не ручайтесь! Скажите, чтобы завтра же их в роту, а на их место — русских. Чтобы ни одного немца и ни одного заводского рабочего не было на охране пути! Непременно!

— Заводские рабочие у нас в роте ведь только старые, свыше сорока лет...— сказал Ливенцев.

— Все равно! Чтобы никаких не было! А главное — немцев!

— Хорошо. Завтра же немцев заменят другими: людей хватит.

— Непременно!.. Потом вот что...— И долго и так же неподвижно глядел Чероков, пока заговорил связно: — Порядок охраны пути будет таков, что ваши люди поедут на другие посты вдоль пути, перед туннелями, по направлению к Бахчисараю, а на туннели мы других поставим. Так вот вы своим людям внушите, как они

должны стоять на охране пути при следовании его величества: лицом в поле, и чести не отдавать, потому что их обязанность зорко смотреть за местностью и никого к пути не подпускать, а в случае чего подозрительного...

Так как Чероков остановился тут, то Ливенцев за него докончил:

— Открывать огонь?

— Разумеется, если только кто-нибудь будет не слушаться окриков и подходить к пути с явными намерениями...

Ливенцев не понял, что это за явные намерения, но сказал:

— Понимаю. Думаю, что люди наши свои обязанности твердо знают.

Странные глаза Черокова все-таки стремились вползти к нему в душу, должно быть, чтобы обнаружить, не слишком ли он легкомыслен, и прицелившаяся неподвижность этих сине-аспидных глаз начала уже надоедать Ливенцеву, почему он поднялся, откланялся Черокову, еще раз сказал, что немцев заменит русскими и обязанности часовых им всем напомнит, и вышел.

Спал в эту ночь он скверно, снились какие-то сумбурные сны. Особенно назойлив был во сне какой-то, весь с ног до головы покрытый устричными раковинами человек, который неторопливо совался всюду.

— Что ты вообще за черт такой? — спрашивал его будто бы он, Ливенцев, а устричный этот отвечал беспечно:

— Я-то?.. Обыкновенно, я — настоящий русский человек, а то кто же!..

VII

Утром Марья Тимофеевна передала ему бумажку, присланную адъютантом, и в бумажке этой были слова: «Непременно к 9 часам утра явиться в штаб дружины».

Ливенцев подумал, что если есть в бумажке эти «явиться» и «непременно», а кроме того, точно указано время, то это, конечно, касается приезда царя, поэтому на бумажке внизу он записал для памяти, хотя и не надеялся это забыть: «Приказано переменить немцев на русских», и поспешил на трамвай; а когда подходил уже к казармам дружины, нагнал задумчиво идущего

Полетику, который по случаю мелкого, правда, дождя был в плаще.

Обернувшись на его спешащие шаги, тот, не поздоровавшись с ним, почти выкрикнул:

— Вы что это такое позволяете себе, прапорщик?.. Нет, я больше этого терпеть не намерен!

— Что такое не намерены? — удивился Ливенцев тому, что полковник Чероков поднял такую тревогу из-за восьмерых немцев на посту у речки, и так и спросил: — Ведь вы, конечно, о немцах, но это...

— Немец он, или грек, или русский — это вас не касается! Но он — штаб-офицер, а вы всего-навсего прапорщик! — отчетливо и почему-то без всяких запинок проговорил Полетика, и Ливенцеву стало ясно, что вызван он для разбора вчерашнего случая с Генкелем.

— Все зависит от того,— сказал он,— как вам передал это Генкель, господин полковник.

— Как это так — «как передал»! Что же, он мне врал, что ли? Он говорил, что вы ему руки не подали. Это правда?

— Правда, не подал.

— Ну вот! А говорите тоже: «зависит»! Что зависит? Что такое зависит? Идите в штаб и скажите там, что я сейчас же приду.

Ливенцев пошел вперед, но, оглянувшись, увидел, что командир никуда не заходит по дороге, а идет за ним следом, намеренно не спеша и отставая. Нетрудно было понять, что он не хочет входить в штаб дружины с ним вместе. Ливенцев припомнил, что не поздоровался радушно, как всегда, с ним Полетика,— значит, в деле его с Генкелем он на стороне Генкеля, а не его, значит, пьяница поручик Миткалев, пропивший в карауле деньги арестованных, для него, Полетики, ближе и дороже, чем он, Ливенцев, который исправно несет свою службу, не пьяница и не вор. Миткалева всячески выгораживал он, Полетика, а его приготовился утопить.

И Ливенцев подобрался весь, как это бывало с ним всегда при оскорблении, на которое надо было ответить оскорблением же, но уничтожающим, а не царапающим поверхностно, иначе перестанешь уважать себя как человека.

Это было основное в Ливенцеве. Раскидчивый и мягкий, временами просто наивный до детскости, способный приглядываться к человеку, чуть не вплотную придви-

нув к нему лицо, Ливенцев очень быстро сжимался весь до большой твердости, костенел, как кошка перед прыжком на добычу, и в то же время находил в себе ясные, четкие, резкие слова и очень звонкий, металлического тембра голос. Главное же, тогда он совсем забывал о себе как о физическом теле: исчезала его личная вещественность, та именно часть его существа, которая чувствовала боль от удара и была всегда недовольна тем, что человек смертен. Так чувствуют себя люди, которые под огнем противника — штыки наперевес или шашки наголо — идут в атаку.

И когда вошел он в канцелярию, очень твердо, преувеличенно по-строевому, как на параде, ставя ноги и стискивая зубы, он удивился тому, что приказист Гладышев, стоя около вешалки, сказал ему вполголоса и будто встревоженно:

— Офицерский суд над вами будет, ваше благородие.

Ливенцев усмехнулся, слегка ударил пальцами приказиста по плечу и сказал уверенно:

— Ну, какой там суд! Пустяки! Глупости!

И только что отворил он дверь командирского кабинета, сзади его раздалась совсем невоенная команда писарям унылым голосом зауряд-Багратиона:

— Встать! Смирно!

Ливенцев понял, что это вошел Полетика, но обернуться поглядеть на него не захотел.

И как когда-то судили поручика Миткалева за то, что считалось настоящим и подлинным преступлением, даже и с гражданской точки зрения, не только со стороны строгого устава гарнизонной службы, так теперь собрались судить прапорщика Ливенцева за то, что отказался подать руку явному мерзавцу.

Ливенцеву не было тоскливо при этом, совсем нет; беспокойства он также не чувствовал. Было только понятное любопытство, как именно проведет этот суд путаник Полетика, к которому приехала жена и, конечно, окончательно перепутала, должно быть, все мысли в его трудно постигающей и малопонятливой голове.

В кабинете командира дружины собрались все те, кто был и на суде над Миткалевым, был, наконец, и этот самый Миткалев, и Ливенцеву стало смешно при мысли, что вот теперь у него, Миткалева, будет Полетика отбирать мнение о мятежном прапорщике, осмелившемся на совершенно непредвиденный поступок.

Пропитое лицо Миткалева казалось даже тут, в кабинете, задумчивым, но это просто очень запухли его глаза. Кароли улыбнулся Ливенцеву как-то одним левым углом губ; Мазанка качнул головою и чмыхнул носом, что перевел Ливенцев, как: «Ну-ну! Вот это так штука!», а Шнайдеров, он же Метелкин, даже как-то неодобрительно глянул на Ливенцева и тут же отвернулся. Зато круглое лицо Татаринова показалось Ливенцеву слишком уж участливым, что очень его удивило. Пернатый и Эльш стояли к нему спиной и заслоняли собою Урфалова, ведя какой-то разговор по поводу ротного хозяйства. Других он даже не успел разглядеть, потому что вошел Полетика и сразу от двери прошел к конторке, почему-то имевшей вид обыкновенной классной кафедры, на ступеньку выше пола, а следом за ним вошел Генкель и, отдуваясь, устроился около окна.

Став у конторки, как на кафедре, и одним этим сразу как-то отъединившись на высоте, Полетика незнакомо для Ливенцева весь подтянулся, приосанился, встопорщил плечи, вскинул голову. Одно это уж заставило всех тоже подтянуться, стать по-строевому, плотно составить каблуки и развернуть груди.

— Господа штаб- и обер-офицеры! — совершенно неожиданно торжественно начал Полетика.— Произошел вчера здесь, в штабе дружины, случай в высшей степени неприятный: прапорщик Ливенцев не принял руки подполковника Генкеля, и тем самым он сделал что? Оскорбил чин штаб-офицерский, данный подполковнику Генкелю кем же? Самим его императорским величеством!

«Эге! Да ты, оказывается, умеешь говорить, когда захочешь!» — совершенно изумленно подумал Ливенцев, глядя на путаника-полковника, а тот продолжал вдохновенно:

— Это — тягчайшее преступление против военной дисциплины, господа! Можно совершить преступление, например, в пьяном виде (он поглядел на Миткалева), однако прапорщик Ливенцев вообще пьяным не напивается, и, три раза протягивая ему руку, подполковник Генкель говорил: «Здравствуйте!», но прапорщик не принял руки подполковника, штаб-офицера, господа! Он не в пьяном виде совершил проступок такой, а совершенно трезвый, притом, господа, при исполнении им служебных обязанностей, в канцелярии, при нижних чинах, писарях!

«Здорово! Как по-писаному!» — не столько следя за тем, что именно говорил Полетика, сколько за этой неожиданной плавностью его речи, удивленно думал Ливенцев, а поглядев на Кароли, единственного здесь, кроме него, с университетским значком, даже прикивнул ему бровями, дескать: «Каков наш путаник!»

— Конечно, прапорщик Ливенцев, он в юнкерском или военном, как он имел возможность, училище курса не проходил, поэтому о военной дисциплине понятия он никакого не имеет, но ведь он, конечно, как человек хорошо образованный, и без училища военного мог бы это... э-э... усвоить, то есть военную дисциплину. А дисциплина — это что такое? Это — чин чина почитай! Он же, прапорщик, даже и чести не хочет отдавать штаб-офицеру!.. Начинают читать устав господа офицеры, а он устав, одобренный его величеством, вдруг идиотским называет, а? Да мы, то есть войска наши русские, с этим уставом в голове сколько побед уже в эту войну одержали, а он, видите ли, называет его идиотским! А почему же это? Потому что никто его не учил дисциплине. Это вам не университет, чтобы бунтовать тут, прапорщик, это — военная служба, да еще в военное время,— блеснул Полетика голубыми глазами в глаза Ливенцева, и Ливенцев улыбнулся невольно, на что тот повысил голос: — А вы извольте слушать, когда с вами говорит командир! Глаза на начальство, и смирно!

— Вы кончили, господин полковник? — спросил Ливенцев.

— Нет, я не кончил, и не смейте меня перебивать, черт возьми! — совсем уже сердито и начальственно крикнул Полетика.— И стойте как следует! К вам обращается штаб-офицер, а не кто-нибудь там, с протянутой рукой, а вы... вы вместо того чтобы уставы воинские идиотскими называть, вы бы их лучше подучили, чтобы их знать!.. Пойдите и сейчас же попросите извинения у подполковника Генкеля!

— Я? Извинения? Ни в коем случае! — крикнул Ливенцев настолько громко и вызывающе, что Полетика опешил и опустил плечи.— Ни за что! Ни-ка-ких извинений! — продолжал кричать Ливенцев, чувствуя, как начало давать перебои сердце.— Если я его оскорбил, он может меня вызвать на дуэль. Дуэль — пожалуйста, во всякое время, на каких угодно условиях!.. Но руку ему подать никто, и никогда, и ничем меня не заставит!.. А если этот мой отказ подать ему руку считается тяг-

чайшим из преступлений, пусть меня расстреляют, но извиниться перед ним? В чем?.. В том, что руки не подал?.. Настолько уставы я все-таки знаю, господин полковник, чтобы отличить отдание чести на улице от подачи руки! Отдавать честь старшему в чине я обязан, и я это делаю! Но ни в каком уставе вы не укажете мне, что обя-зан подавать ему руку. Он еще целоваться бы со мной захотел, а вдруг у него сифилис?!

— Господин полковник! Вы слышите? Меня... меня оскорбляют! — едва выдавил из себя, задохнувшись, Генкель и расставил толстые руки, как будто хотел броситься и задушить Ливенцева.

— Оскорбляю? Отлично! Дуэль! — кричал Ливенцев.

— Позвольте!.. Постойте же, черт возьми! — совершенно уж растерялся Полетика.— Но ведь подполковник Генкель... он... он сколько служил, лямку какую тянул, пока, наконец, получил свой чин... по приказу его величества, а вы...

— Я тоже получил свой чин по приказу его величества! Я его не сам для себя выдумал! Я оскорбил? Хорошо! Значит, дуэль!

— Да никто вам никаких дуэлей не разрешит в военное время, что вы, что вы! — уже испуганным каким-то голосом заговорил Полетика, не начальственным, а убеждающим, и вдруг спустился со своей кафедры, и Ливенцев заметил вскользь, что все, стоявшие до этого напряженно, руки по швам, начали разминаться и принимать более естественные позы.

— Вот что, прапорщик...— взял вдруг под локоть Ливенцева Полетика.— Подайте руку, и надо вам все это кончить. Что вы, в самом деле, а? Образованный человек, а... а простых вещей не понимает!

— Господин полковник! Я сказал, что не подам,— и не подам!

Генкель как-то обмяк и осел почему-то,— так показалось Ливенцеву, когда он услышал его бормотанье:

— У себя в имении... я руку подаю... садовнику какому-нибудь... или там... машинисту при молотилке... а вы...

— Любому машинисту, и любому штукатуру, и любому садовнику, если они порядочные люди, я тоже охотно подавал и подам руку, а вам — нет. И считаю, что на эту тему дальше нам говорить незачем!.. Кроме

того, господин полковник, я хотел сейчас объехать посты свои ввиду того, что послезавтра ожидается приезд царя в Севастополь.

Это заставило всех поглядеть на него с недоумением: не шутка ли? не искусственный ли какой выпад, придуманный нарочно, чтобы сорвать суд?

— Как так царь?.. Послезавтра?.. Это вы... откуда узнали? — засуетился он.

Полетика поднял брови, открыл рот.

— На железной дороге знают. Вчера еще нельзя было говорить об этом, сегодня уж разрешается,— несколько небрежно к остальным здесь, не знающим такой новости, проговорил Ливенцев.

— Вот видите, господа! — обратился ко всем ставший совсем прежним путаником Полетика.— Приезжает государь, а у нас в казармах что? Во всех ли ротах у нас «Боже, царя храни» есть?.. Можно из красной бумаги вырезать буквы и на картонку наклеить... или из золотой даже... Послезавтра?.. Отчего же мне из штаба бригады ничего?

— Но ведь давно уж известно, что приедет царь в Севастополь,— разрешил себе сказать Мазанка.

— «Приедет, приедет»!.. Что из того, что приедет когда-то такое там? Надо знать, когда именно приедет!.. Улита едет, когда-то будет... Как же так, господа? Ведь царь может и в казармы к нам зайти... Послезавтра! Вот видите, как подкатилось! Надо же, чтобы хоть бляхи наворонили как следует и... и это, как его... чтоб отвечать умели согласно: «Здравия желаем, ваше величество!..» Поезжайте же, что ж вы стоите, какого черта! — обычно, как всегда, обратился Полетика к Ливенцеву.— Там мой экипаж стоит, он мне сейчас не нужен, вот садитесь и поезжайте.

— До свидания! — сказал было Ливенцев и повернулся.

— Погодите же, куда вы? Там дождь идет, а вы... Верх на экипаже не поднимается, винты какие-то испорчены... и черт ее знает, зачем у нас нестроевая рота!.. Потом кучеру скажете, чтобы прямо с вокзала чинить что там нужно ехал...

— Хорошо... Но что-то такое мне еще нужно сделать, прежде чем ехать...— усиленно начал вспоминать Ливенцев, что он такое записал на адъютантской записке.

— Плащ мой возьмите! Разве я не сказал вам? Плащ, вот что!.. А я сейчас по ротным помещениям с

осмотром, мне плащ не нужен. А когда доедете, положите его, плащ мой, на сиденье... Ну, до свиданья!

— Спасибо за плащ, господин полковник, но вот в чем дело,— вспомнил, наконец, что было надо, Ливенцев.— Дело в немцах, которые стоят у нас на постах... Капитан Урфалов! Приказ строжайший от жандармского полковника Черокова немецкий пост наш на Черной речке весь снять ввиду того, что на немцев-ратников полковник Чероков не надеется... Снять и заменить русскими.

Говоря это, Ливенцев не столько смотрел на Урфалова, сколько на Генкеля, наблюдая, как к этому отнесся он. Генкель стоял насупясь и глаза в пол.

— Вы что же это в самом деле немцев на посты напихали? — накинулся на Урфалова Полетика.— Вот видите, правильно! Его величество едет, а на постах черт знает что — немцы!

— Изволите видеть, господин полковник...— начал было Урфалов, выступая вперед, но Полетика перебил нетерпеливо:

— Ну, что там видеть! Нечего видеть! Убрать всех немцев к чертовой матери, и все. И нечего больше видеть!

— Замену на посты надо послать сегодня же, восемь человек,— сказал Урфалову Ливенцев.— Я бы отобрал их сам, но сейчас мне некогда, ждет дрезина... До свиданья!

И, простившись только с одним Полетикой, не взглянув больше ни на кого из остальных, Ливенцев поспешно вышел из кабинета в канцелярию, и первое, что там бросилось ему в глаза, была сияющая луна приказиста Гладышева, снимавшего уже с вешалки командирский плащ.

— Здорово вы его, ваше благородие, отчитали! — вполголоса, но восторженно говорил Гладышев, накидывая плащ на его плечи, и как будто даже слезы восхищения выступили на серые выпуклые сияющие глаза приказиста.

Приказист Гладышев совсем не обязан был накидывать на его плечи плащ, приказист Гладышев должен был сидеть себе на своем стуле приказиста и переписывать то, что ему давал адъютант Татаринов, как материал для завтрашнего приказа по дружине, чтобы размножить это потом на литографском камне, а если

не было этого материала, он мог читать «Ната Пинкертона».

Ливенцев понял, что он, один из всей писарской команды, с риском для себя стоял у дверей в кабинет, изогнувшись, прислонив вплотную ухо к замочной скважине, чтобы не пропустить ни одного слова, и когда дошло дело до плаща, бросился подавать ему плащ, именно затем, чтобы и он, Ливенцев, знал, что писарям будет известно все его окончательное объяснение с ненавистным для всех Генкелем.

Он оглядел писарей,— все ему улыбались и даже как будто подкивывали и подмаргивали, хотя ведь не сказал же им ничего еще пока, не успел сказать Гладышев.

Однако сам Ливенцев, выходя из штаба на двор в командирском плаще, под мелкий, но частый дождик, был недоволен собою. Он не понимал сам, как это у него вырвалось насчет дуэли, точно так же не понимал и того, зачем сказал насчет необходимости ехать проверять посты ввиду скорого приезда царя.

Он смотрел на то, что произошло только что в штабе дружины, как на решение математической задачи громоздкими и не совсем убедительными приемами, между тем как приготовил он другой путь решения, стройную цепь силлогизмов, и задача была бы решена этим путем красиво, логично и без всякого нажима на голосовые связки.

Однако, с другой стороны, для него становилось ясно и то, что генкелиаду эту закончить вообще нельзя никакими методами воздействия на нее, пока существует в дружине Генкель, и что Генкель таков, как он есть, именно потому только, что такова вся обстановка в дружине.

Кроме того, очень досадно ему было, что не сказал он Полетике о добавочных кормовых деньгах, так и не выданных ведь ему Генкелем, что являлось уже проступком с его стороны.

Перебои сердца не прекращались все-таки,—нет-нет да и подпрыгнет сердце. Ливенцев думал, что на вокзале, может быть, успеет он выпить холодной воды бутылку.

Кучер Кирилл Блощаница недоуменно поглядел на Ливенцева всем своим широким рябым лицом сразу, когда он поставил ногу на мокрую подножку командирского экипажа.

— На вокзал! — коротко приказал ему Ливенцев, заметив это недоумение.

— На вокзал?

Блощаница ждал еще каких-нибудь объяснений, почему именно прапорщик садится в командирский экипаж, а не сам полковник Полетика, но Ливенцев сказал только, не улыбнувшись и усаживаясь на мокрое темно-зеленое сукно подушки:

— Делай, брат, что начальник прикажет, и трогай, а думать будешь потом.

— Но-о, дру-ги! — грудью выдохнул Блощаница и шевельнул вожжами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАУРЯД-ЛЮДИ

I

Когда говорить о приезде царя в Севастополь стало уж можно, кто-то пустил слух, может быть и правдивый, что особенно занимает царя боевая готовность ополченских дружин,— и вот все ополченские дружины неистово, неусыпно, свирепо, самозабвенно начали готовиться к царскому смотру: чистили и мыли все в казармах, вырезывали из красной бумаги и наклеивали на картон «Боже, царя храни!», воронили бляхи поясов до лилово-розовых отливов, пригоняли ратникам в спешном порядке шинели второго срока, проверяли по сто раз чистоту ружейного приема: «Слуша-ай, на кра-а-ул!», гоняли по двору роты в развернутом строе и в колоннах, делали захождения правым и левым плечом, предполагали те или иные вопросы царя и внушали ратникам ответы на них, а главное — добивались безукоризненно согласного ответа на царское: «Здорово, молодцы!» — зычного, преданного, радостного и безусловно как из единой груди: «Здравия желаем, ваше велич'ство!»

Прапорщик Ливенцев снял своих людей с постов (на которых появились царские егеря), и двое рослых жандармов повезли их по направлению к Бахчисараю для расстановки по пути. Он спрашивал у полковника Черокова, где следует находиться ему самому, так как он сразу на всех постах быть не может и центрального поста на путях нет.

Чероков долго глядел на него неподвижными аспидно-сине-молочными глазами и сказал наконец:

— Вы будете на вокзале в Севастополе.

— Обязанности мои?

— Охранять священную особу монарха! — торжественно по сочетанию слов, но совершенно бесстрастным тоном ответил Чероков.

— Как же именно? — не мог не улыбнуться слегка Ливенцев.

— Прежде всего — вокзал. На вокзале не должно быть никого,— ни-ко-го решительно посторонних. Понимаете? Ни-ко-го!

— А буфетчик?

— Только буфетчик и двое официантов... там есть такие два старика, я им разрешил, только двум... и буфетчику — быть на вокзале.

— Хорошо. А народ? Встреча ведь будет?

— Из исключительно проверенных людей. Вам в помощь будут жандармы, они знают. Но, видите ли, вы... У вас, как офицера, будет особая миссия... Ведь в случае покушения,— чего боже сохрани, конечно,— как будет одет злоумышленник? Офицером, конечно! Жандармы же — нижние чины,— вы понимаете?

— Понимаю это так, что я должен буду следить, чтобы не подходили, куда не следует, офицеры, которых... которые мне покажутся подозрительными,— неуверенно ответил Ливенцев и добавил: — Говоря откровенно, это обязанность трудная.

— Трудная?

— Чрезвычайно ответственная.

— Однако же я ее несу! — с достоинством отозвался Чероков, не спуская неподвижных глаз с Ливенцева.

— Судя по тому, что официантов буфета вы оставили только двух стариков, я должен обращать внимание исключительно на молодых офицеров,— старался уточнить Ливенцев.— А если подойдут седоусые полковники, например, то для меня должно быть ясно, что-о...

— Что седые усы их не наклеены на безусые губы,— быстро, как и не ожидал Ливенцев, перебил его Чероков.

— Вот видите!.. И это я должен заметить с одного взгляда?.. Не лучше ли будет, если более опытный станет на мое место? А я бы уж к себе в дружину, в строй...

— Нет, вы должны дежурить на вокзале. Я вам тогда скажу, что вам делать,— милостиво кивнул ему Чероков.

И Ливенцев с утра того дня, в который предполагался приезд, был на вокзале, так как царский поезд ожидали часам к одиннадцати дня.

Последние дни января обычно в Севастополе бывают по-настоящему зимние, и теперь было холодно,— вокзальный Реомюр показывал — 10°, но сильный бора, как здесь называют северный ветер, заставлял всех ожидавших царя то хвататься за уши, то тереть нос. Трепались уныло плохо прибитые и сорванные ветром кипарисовые ветки на арке все с теми же старыми, испытанными, магическими словами «Боже, царя храни!» — по крутому хребту.

Приглядываясь к этим веткам, сказал Ливенцев стоявшему около начальнику дистанции с тою наивностью, которая его отличала:

— Порядочно все-таки кипарисов оболванили для этой арки!

Несколько удивленно поглядел на него чернобородый начальник дистанции и, подумав, отозвался знающе:

— Да ведь государь всей этой пышности и не любит.

«Пышности», впрочем, только и было, что эта арка.

Часто все, ожидавшие на перроне, забегали в буфет выпить стакан горячего чаю. Тут был и комендант крепости генерал Ананьин, старец довольно древний, в свое время получивший высочайшую благодарность за отбитие нападения турецкой эскадры и даже какой-то орден высоких степеней. Вид у старичка был необычайно мирный: верх фуражки от ветра встопорщился горбом, голова наклонилась вперед и повисла как-то между искусственно взбитых плеч, красные глаза слезились, и он то и дело сморкался: можно было подумать, глядя издали, что он безутешно плакал.

Чероков, вглядевшись пристальными своими, даже и здесь, на холодном ветру, немигающими глазами в очень знакомые ему линии и пятна путей, первый заметил подходящий поезд, и все подтянулись, и генерал Ананьин высморкался старательно, в несколько обдуманных приемов, потом вытер глаза и спрятал платок, который держал в руках все время.

Поезд в несколько синих вагонов подошел тихо, без свистков и гудков, но был это только свитский поезд, из которого вышел в некотором роде жертвовавший собою в случае злостной неисправности путей великий князь Петр Николаевич, длинный и тонкий, как хлыст,

с лошадиным лицом, в серой, обычного солдатского сукна, шинели и фуражке защитного цвета.

Здороваясь с Ананьиным и другими генералами и адмиралами, он сказал негромко:

— Поезд его величества — через четверть часа, господа.

Чероков обратился к Ливенцеву торжественно и таинственно:

— Вот теперь смотрите в оба! Главное — около самого входа на вокзал. Там, конечно, есть жандармы, но... я вам говорил: чем больше глаз, тем лучше.

И Ливенцев пошел к подъезду, около которого собралась уже, правда, не очень большая, толпа «проверенных людей», окруженная цепью царских егерей и жандармов.

И как раз, только он подошел к толпе, он оказался необходимо нужен: два молодых, то есть самого опасного возраста, офицера 514-й дружины в караульной форме пытались пробиться на другую сторону вокзала, и знакомый Ливенцеву жандарм показывал им на него рукою.

— Что такое? — спросил Ливенцев.

— Безобразие! Нам надо в караул на главную гауптвахту, а нас задержали,— отчетливо ответил бравого вида поручик.

— Вы из какой же части? — спросил, настораживаясь против своей воли, Ливенцев.

— Вот у нас есть на погонах, какой мы части,— нагнул голову к левому своему погону прапорщик.

— Гм... Я вам, конечно, верю, господа... но видите ли, такое дело: почему вам нужно непременно через вокзал?

— Потому что уже поздно, а здесь короче! — раздраженно ответил поручик.

— Вы — рунд?

— Нет, я — командир роты, и потому я дежурный по караулам, а это рунд... Не задерживайте, пожалуйста, иначе вы ответите!

— Очень грозно! — улыбнулся Ливенцев.— Перед кем это я отвечу?.. Если бы я вас когда-нибудь видел раньше, а то никогда не приходилось... Впрочем, вот что: можете идти.

Он подозвал к себе тут же знакомого жандарма и сказал:

— Они в караул, пусть идут, конечно, только надо последить, куда они пойдут.

— Слушаю,— понятливо кивнул жандарм, отходя.

Ливенцев думал, что этим все и кончится, но подошел совершенно возмущенный артиллерист-подпоручик с самым молодым, первокурсно-студенческим лицом и начал сразу:

— Черт знает что, прапорщик! Не пропускают к жене!

— К какой жене? Где у вас тут жена? — очень удивился и насторожился Ливенцев.

— Здесь жена, в железнодорожной больнице...

— Гм... Вот поди же! Почему же она очутилась здесь? — пристально, как Чероков, начал вглядываться в подпоручика Ливенцев.

— Очень просто — как! Ехала ко мне и родила в поезде. Ночью было это... Вот почему очутилась.

— А вы как узнали об этом? — совершенно убеждаясь, что перед ним злоумышленник, плохо умеющий врать, поспешил спросить Ливенцев.

— Получил бумажку из больницы,— как узнал! Вот бумажка!

Подпоручик вынул из бокового кармана шинели измятую бумажку со штемпелем железнодорожной больницы: подпоручик крепостной артиллерии Ломакин извещался, что жена его, только что родившая в поезде, находится в больнице.

— Все правильно,— сказал решительно Ливенцев,— но на вокзальную территорию я вас во время приезда царя пропустить не могу.

— Как так не пропустите? — вскинулся подпоручик.— А если она сейчас вот... там... умирает?!

— От какой причины? Что вы! Успокойтесь и станьте со мною рядом. Сейчас проедет царь, и вы пойдете...

— Это черт знает что! — горячился артиллерист.

— Нет, это только порядок, не нами с вами заведенный.

У вокзала стояли уже автомобили, приготовленные для царя и свиты.

Машины были новенькие, военного ведомства, и, глядя на эти машины и представляя, как будет под «ура» толпы садиться в одну из них царь, Ливенцев совершенно непроизвольно на глазомер определял расстояние до них, чтобы сообразить, действителен ли будет выстрел этого сомнительного подпоручика, если он начнет палить из браунинга. Выстрел, а не выстрелы, потому что

двух выстрелов он не успеет сделать,— его схватят. А предполагаемый цареубийца ворчал около:

— Черт знает что! Возмутительно!.. Да, наконец, какое вы право имеете мне не верить и меня не пропускать?

— Вполне верю,— отвечал не совсем правдиво Ливенцев.— Но никаких посторонних людей, кроме высшего генералитета, на вокзальной территории сейчас быть не должно,— поняли? Таков приказ коменданта крепости, который как раз там.

— Генерал Ананьин там? — настолько оживленно спросил артиллерист, что Ливенцев подумал, не хочет ли он укокошить Ананьина, а не царя, и вполне искренне ответил ему:

— Ведь вы же знали, что приезжает царь, и что бы уж вам подождать сюда приходить до его приезда!

— Ну, уж этому вы меня можете не учить! — надулся артиллерист.

— Еще бы, такого матерого я стал учить! — усмехнулся Ливенцев.— Однако ваше место сейчас около своей батареи... Вдруг проедет царь прямо отсюда в крепость, а вас как раз и не будет!

— Это уж мое дело! — огрызнулся подпоручик.

— Ваше, ваше. Вот и стойте и ждите.

Царский поезд подошел так же бесшумно, как и первый, свитский, и Ливенцев, заметив его приход, очень заволновался.

В первый раз в жизни пришлось ему охранять того, чье существование он считал безусловно излишним и вредным. И подпоручику артиллерии с лицом возмущенного первокурсника-студента, время от времени повторявшему: «Какая нелепость!» — он отвечал про себя: «Совершенная нелепость!» Он вспоминал, как сказал своему ротному Пернатому на другой день после суда в штабе дружины и удивившей его своею связностью речи Полетики:

— Знаете, в первый раз в жизни попадаю в такое положение: охраняю особу монарха!

И Пернатый вдруг со свойственной ему театральностью перекрестил его и сказал с подъемом:

— Дай бог, чтобы все у вас обошлось благополучно, потому что человек вы хороший, и я вас вполне уважаю! И отнюдь не желаю я вашей смерти поэтому! Так как, отец мой родной, если вдруг что-нибудь случится с царем по вашей вине, то ведь это что же такое, подумай-

те!.. Ведь на вас сейчас вся Россия смотрит с надеждой и упованием!.. А если... если, чего не дай бог... ведь тогда вам и жить нельзя будет от стыда перед целой Росси-ей, отец мой хороший!.. Тогда пулю себе в лоб, и конец!

Здесь, на площадке перед вокзалом в Севастополе, отнюдь не вся Россия смотрела на Ливенцева с упованием; смотрел на него один только подпоручик Ломакин, притом с явной ненавистью, исподлобья, представляя, может быть, неотвязно, как вот сейчас благодаря этому формалисту-прапорщику, человеку явно безмозглому, он стоит в двадцати шагах от своей, может быть, умирающей жены.

Наконец, появился из выходной двери вокзала царь, такой маленький и невзрачный рядом с длинным Петром Николаевичем и министром двора — старым, седоусым Фредериксом. Проверенная толпа и жандармы нестройно и как-то незвонко на холоде закричали «ура». Крикнул было один раз и Ливенцев, но тут же осекся, наблюдая за подпоручиком: именно этот момент был самый опасный,— именно теперь нужно было оправдать упования и надежды Черокова, и Пернатого, и Полетики...

Подпоручик держал руки по швам, и он не кричал «ура». Вот что смутило Ливенцева и наполнило его острой тоской ожидания. И, сам не зная, как это у него получилось, Ливенцев обнял правой рукой подпоручика за талию, обнял как бы вполне дружески, потому что не хотел, чтобы он глядел на него так сердито исподлобья, но, конечно, только затем, чтобы тут же схватить его правую руку, если ей вздумается выхватить браунинг из кармана шинели.

Он понимал, конечно, что должен был задержать эту правую свою руку у козырька, но помнил и обязанности своих людей, охранявших путь: смотри зорко в поле и чести не отдавай.

Это чувство острой тоски тянулось несколько минут, пока машины с царем и свитой одна за другой не обогнули площадку и не скрылись при криках «ура» толпы, хотя и проверенной, но совсем не скричавшейся.

— Теперь можете идти к своей жене, подпоручик,— сказал Ливенцев, свободно вздохнув и улыбнувшись.

— А может быть, и вы пойдете со мной? — вызывающе предложил тот.

— Зачем же идти мне с вами?

— А так, убедиться, что я — Ломакин и что у меня жена умирает!

— Ну что вы, что вы,— «умирает!»... Вы сейчас почувствуете себя счастливым отцом... До свиданья!

И Ливенцев пошел от него, но все-таки оглянулся посмотреть, идет ли он действительно к больнице. Никем уж теперь не останавливаемый, Ломакин шел именно в том направлении. Ливенцеву не было стыдно за свою излишнюю подозрительность: он знал, что если бы они поменялись местами с Ломакиным, то Ломакин сделал бы то же самое, что и он, а может быть, даже отправил бы его в жандармскую комнату для обыска.

Когда Ливенцев шел к себе на Малую Офицерскую, он шел во флагах и звоне колоколов. Холодный бора неистово трепал появившиеся всюду на домах флаги, звонили во всех церквах, как на Пасху. «Красный звон, малиновый звон,— думал Ливенцев.— И потому только этот звон, что приехал какой-то маленький, рыженький, хлипкого вида человечек, один из виновников бойни, невиданной и неслыханной в мире,— приехал, чтобы посмотреть на наших ратников ополчения и сказать им:

«Молодцы! Я вижу, что вы годитесь уж к тому, чтобы умереть за меня, за отечество и за веру... каждый за свою веру, разумеется, потому что не у всех у вас медные кресты на фуражках, есть кое у кого и шестиугольные медяшки вместо крестов... Итак, вы — готовое блюдо войны, и вы будете съедены там, в окопах!» Не этими словами, как-нибудь иначе, но по смыслу будет сказано именно это, и ратники в ответ должны будут прокричать «от сердца» согласно: «Рады ст'ратс, ваше величество!..» Главное, чтобы у всех ударение приходилось на «ство» и чтобы никто не отстал в этом крике.

Теперь, когда Ливенцев шел в толпе по Нахимовской, он пытался даже представить себе, что было бы, если бы подпоручик Ломакин был совсем не подпоручик и не Ломакин, а какой-нибудь Принцип-второй, гимназист восьмого класса, террорист, выполняющий приказ других террористов, постарше, меткий стрелок и фанатик, с твердыми руками и сердцем, и вот ему действительно удалось сделать два-три выстрела один за другим,— что было бы тогда?..

Ливенцев не был художником, но запас его воображения, необходимый ему как математику, был достаточен, чтобы представить на освободившемся престоле кого-либо другого из весьма многочисленной царской семьи,— может быть, гораздо более умного, более способного править и потому еще более опасного, чем этот царь. И пока он шел и перебирал в уме того и другого из великих князей, хоть сколько-нибудь ему известных, начиная с верховного главнокомандующего и кончая только что виденным на вокзале длинным и тонким его братом с лошадиным лицом, он приходил к одной прочной мысли: «Не стоит!.. Не нужно!..»

Ему вспомнился старик плотник, на Корабельной имевший небольшой дом, в котором он поселился было, прежде чем попал на Малую Офицерскую к Марье Тимофеевне. Этот костистый старик за два дня, что пробыл в его доме Ливенцев, совершенно извел его длинным рассказом о том, как он «сколько разов яво видал, великого князя Миколай Миколаича...»

— Да, господи, я ж яво — вот все одно как вас теперь вижу, так яво!.. Высо-кай, страсть!.. Ку-да-а! Прямо столб мачтовый!.. А я же яму, Миколай Миколаичу, сказать бы так, псарню делал в яво имении. Огромадное такое помещение, на целых на триста собак! Там и борзые, там и гончаки, там и меделяны,— ну, решительно всяких сортов собаки. И он, Миколай Миколаич, придет, бывалыча, и стоит и смотрит,— ну, прямо сказать, как простой какой помещик, придет и станет. Ты себе топором орудуешь, балку тешешь, а он глядит, прямо как простой. Эх! Это ж и князь! Прямо надо всеми князьями князь!..

Домишко старика был тихий, и комнаты наверху в нем (он был двухэтажный) глядели в сад с абрикосами, но сам старик до того надоел Ливенцеву за два дня своими рассказами все о той же псарне и трехстах собаках великокняжеских, что он не выдержал и пошел искать другую квартиру.

И теперь, подходя к дому, где жил, он думал: «У того «Миколая Миколаича» есть хоть это внешнее качество, способное поражать толпу,— высокий рост. А этот и ростом не взял — не за что ухватиться жаждущему обожания рабскому глазу. Так, замухрышка какой-то, царишка, зауряд-царь!»

II

В «Положениях о дружинах ополчения» (конечно, подписанных его величеством) поручик Кароли отыскал, что он имеет право именоваться зауряд-капитаном, если, скажем, внезапно умрет подполковник Пернатый, и ему, Кароли, вновь придется командовать ротой. А при случае он мог бы попасть на такую должность, которая произвела бы его сразу и в зауряд-подполковники.

Это открытие развеселило больше всех в дружине прапорщика Ливенцева, так как гораздо больше других он был склонен к игре мысли и шуткам.

— Все мы знаем слово «заурядный»,— говорил он как-то,— значит это слово — рядовой, обыкновенный, встречающийся сплошь и рядом, на каждом шагу. Вообще, в этом именно роде... Но нужно же было какому-то военному в главном штабе перевернуть это слово так, чтобы «зауряд» значило повышение человека в глазах общества, а значит, и в его собственных глазах! Вот это фокус!.. Кстати, правда ли, я слышал, будто мой ротный, Пернатый, завел себе зауряд-жену?

Это говорилось перед приездом царя в канцелярии дружины, и Урфалов, который почему-то все и обо всех знал, неторопливо стал объяснять ему:

— Изволите видеть, это была горняшка в одном шляпном доме, потом попала она к капитану Бородину Бахчисарайского полка, а как полк ушел отсюда на позиции, то, стало быть, Настя осталась ни в тех, ни в сех... Вот наш старик ее и подцепил... Действительно, зауряд-жена!

И когда по вечерам по людным улицам — Нахимовской, Большой Морской, Екатерининской — гуляли подполковники Мазанка и Эльш, с предательской уже сединою в усах, но с горячими еще сердцами, и, разглядывая встречных женщин, мечтали о бескорыстной, как в поэтических сказках, любви, более молодой Мазанка говорил увальню Эльшу:

— Вы на этих всяких приличного вида и под зонтиками — не зритесь! Черт их знает, кто они такие! Пристанешь к ней, а она тебе вдруг публично по роже даст — и что тогда будешь делать?.. Мы уж лучше за этими вот шары будем гонять, какие в белых горжетках ходят и с одними ридикюльчиками, а зонтиков никаких не признают. Тут уж ошибки не будет. Эти уж действи-

тельно наши дамы, зауряд-дамы, и бешено ищут они себе кавалеров на ночь — зауряд-кавалеров.

Зауряд-Багратион, Аврамиди, отнюдь и никогда не служил ни в каком присутственном месте, он был торговцем; но вот его сделали зауряд-чиновником военного ведомства, и он стал носить погоны чиновника на тужурке из очень дорогой материи защитного цвета; и те наградные, какие он получил в первый месяц своей службы в дружине, были тоже, так сказать, зауряд-наградные, то есть как бы наградные, а на самом деле деньги, ассигнованные для веселой пирушки с преферансом, любителем которого был полковник Полетика.

О том же, что сам Полетика был вовсе не командир дружины, а тоже какой-то зауряд-командир, сплошное «вроде», «как бы», «будто бы» командир, а на самом деле туман, рамоли, мистификация,— знали, конечно, все в дружине.

Часто можно было слышать в канцелярии:

— Адъютант! Послушайте! Что же это вы, в самом деле?

— Господин полковник, ведь вы же мне сами сказали, что...

— Что же, что я сказал? Раз я сказал, то-о...

— Вы мне даже записку прислали.

— А? Записку?.. Постойте! Что я такое говорил?.. Не перебивайте же меня, черт вас возьми!.. «Сказал»... Раз я что-нибудь сказал... или написал, все равно... Сказал или написал — все равно я перепутал!.. А нужно было справиться. Нужно было узнать в штабе бригады! А на меня как же так можете вы полагаться?.. Записку!.. Ведь вы меня, кажется, уж должны знать,— пора! И без отговорок всяких этих,— прошу!

При этом он даже топал коротенькой ножкой в лакированном сапожке, и голубые глаза его были, как у пятилетнего капризы-ребенка.

Но такого же зауряд-командира бригады видел Ливенцев и в этом вечно объедающемся и редко бывающем в штабе генерале Баснине, а начальник другой дружины той же баснинской бригады, генерал Михайлов, был тоже как бы генерал, вроде-генерал, зауряд-генерал. О нем рассказывали, что он ест из одного котла с ратниками — не по каким-либо героическим соображениям, конечно, а исключительно ввиду умопомрачительной жадности к деньгам, хотя человек он совер-

шенно одинокий. Говорили, что на него был даже веселый донос Баснину, что он, обладающий редкостным аппетитом, объедает несчастных ратников своей дружины. И комендант крепости, генерал Ананьин, которого видел на вокзале Ливенцев, показался ему тоже зауряд-комендантом, комендантом в шутку, вроде-комендантом. Однако и самая эта крепость Севастополь, так обрадованная однажды тем, что ее обстреляла (наконец-то!) немецко-турецкая эскадра,— и обстреляла совершенно безбоязненно почти среди бела дня,— теперь она безмятежно заснула снова... Впрочем, в последнее время, как слышал Ливенцев, начали уж потихоньку разоружать ее, и орудия, и снаряды, и людей при орудиях отправлять на австрийский фронт.

Но и весь этот город Севастополь, свидетель когда-то, шестьдесят лет назад, беспрерывно гремевшей здесь одиннадцатимесячной канонады, истощившей силы всей тогдашней России,— он теперь был переполнен отставными военными всех видов оружия, поселявшимися здесь ввиду дешевизны квартир и продуктов, с одной стороны, и теплого южного климата, обещавшего им долгую и безмятежную старость,— с другой.

И самым почтенным лицом в городе был отставной полный генерал Кононович, получавший семьсот рублей пенсии в месяц, имевший обширный дом с флигелями на Чесменской улице. Его дочь, старая дева, все сидела за книгами французских писателей прошлого века, со всеми говорила свысока и очень редко выходила из дому. Один флигель в восемь комнат занимала вдова генерала Норова, которая жила в нем одна, с тремя прислугами и десятью кошками, спала днем, но бодрствовала ночами, раскладывая пасьянсы. Другой флигель, в шесть комнат, нанимала другая генеральша с пожилою дочерью; но для того чтобы пользоваться бесплатной прислугой, отчасти же радея о дочери, она сдавала две комнаты непременно одиноким военным, имевшим денщиков. И теперь у нее на квартире жил младший врач дружины, зауряд-врач Адриянов, студент военно-медицинской академии. Когда зашел к нему как-то Ливенцев,— это было еще осенью,— он был удивлен отставной тишиной большого генеральского сада, в котором оказались громадные, каких не видал никогда раньше, деревья махрового боярышника — розового и белого, бассейны с золотыми рыбками и три увитые хмелем беседки — для каждой генеральши своя.

— Послушайте, зауряд-врач! — сказал тогда удивленный Ливенцев Адриянову.— Ведь у вас тут какая-то сказка, какая-то тихая фантастика, восточная мелодия под тугую сурдинку,— зауряд-жизнь!

Адриянов же, молодой, но уже заплывающий, всегда «под ноль» стриженный круглоголовый блондин, с отвисающей нижней губою, соглашался, что жизнь в этом доме действительно несколько слишком тихая, но в то же время говорил:

— Моя мать, чуть случится ей заболеть, сейчас же пьет можжевеловую настойку,— знаете, из можжевеловых ягод; правда, это очень хорошее мочегонное средство. А отец, чуть что-нибудь у него, сейчас же берется за графинчик с полыновкой,— это тоже хорошее желудочное, вообще тоническое. И вот им уже теперь почти по семидесяти лет каждому... Вот что значит постоянство привычек!

— А вы чем будете лечить своих больных, когда станете врачом?

— Я? Я ведь буду военным врачом,— скромно отозвался Адриянов, и Ливенцев понял, что он собирается остаться зауряд-врачом до самой смерти.

Однако и во флоте тут, неизвестно зачем, торчали на внутреннем рейде такие зауряд-броненосцы, как «Синоп», служивший, по-видимому, для наводки орудий (так решил Ливенцев), почему и раскрашенный во всевозможные цвета, и «Георгий Победоносец», не мечтающий уже ни о каких победах и ни при каких боевых заданиях флота никуда не двигавшийся с места. Была еще древность — «Екатерина Великая», но это судно освободили, наконец, от брони и от всего сколько-нибудь ценного, что на нем было, вытащили на буксире в открытое море, открыли по нем учебную стрельбу с дальних дистанций, и хотя зауряд-судно это несколько покачивалось на волнах, а не стояло совершенно неподвижно, все-таки затонуло оно от двух попавших в него снарядов, а не само по себе.

Но и те броненосцы, крейсера и миноносцы, которые могли и двигаться, и стрелять, и выпускать из минных аппаратов мины, и ставить минные заграждения в своих водах, и устраивать всякие каверзы из мин в чужих,— если и делали все это, то делали это без заметного увлечения, очень редко видя перед собой противника. Однажды только, после озорничества «Гебена», которого турки перекрестили в «Селима», слышен был по морю но-

чью гул отдаленной канонады, и потом говорили, что это наш крейсерский отряд столкнулся с турецкими крейсерами и обратил их в бегство. Иногда наши миноносцы отправлялись «пошарпать берега Анатолии», и потом объявлялось, что потопили столько-то фелюг. Но всю эту морскую войну, которую вел севастопольский флот, нельзя было назвать иначе, как зауряд-войной.

И теперь, отбывший свое дежурство на вокзале и подходивший в свисте боры, радостном колокольном звоне и плеске трехцветных флагов к дому Думитраки на Малой Офицерской, где он жил, прапорщик Ливенцев шутливо, но, как ему казалось, очень близко к истине думал, что вот в этот город смотреть зауряд-полки, приготовленные к доблестному убою, приехал зауряд-царь.

III

Едва Ливенцев пришел домой, как его встретила Марья Тимофеевна, вся — восторг и сияние:

— Я тоже только сейчас пришла! Ну, совсем, совсем шагах в пяти от меня государь в автомобиле проехал!.. Хотя не сказать бы (тут она понизила голос), что очень он красивый... Только вы, пожалуйста, никому не говорите, что вам скажу сейчас! Не скажете?

— Буду молчать, как могила,— обещал Ливенцев.

— Вы знаете, оказался он совсем рыжий!.. Рыжий! — повторила она почти шепотом.— А я таких рыжих вот до чего не люблю!.. Вы никому не скажете?

— Ну, зачем же мне говорить кому-нибудь, что вы рыжих не любите? — удивился Ливенцев.— Наконец, это ведь ваше частное дело.

— Нет, все-таки, не дай бог, полиция узнает, ведь мне что́ за это быть может!.. И потом оказался у него нос совсем маленький какой-то... Что же это за мужчина такой, когда нос маленький? И даже будто бы, мне так показалось, курносый...

— Одним словом, я вижу, царь вам не понравился.

— Николай Иваныч! Что же это вы так громко? — зашептала совсем испуганно Марья Тимофеевна.— Ну, я вовсе не буду говорить в таком случае ничего польше!

По-видимому, из кокетства,— так по крайней мере казалось Ливенцеву,— она иногда коверкала самые

обыкновенные слова, и теперь тоже вместо слова «больше» у нее вышло «польше».

Ливенцев счел нужным ее успокоить:

— Уверяю вас, Марья Тимофеевна, нас не подслушивает теперь ни один полицейский.. Прежде всего им теперь совсем не до нас,— не так ли?

— Конечно, это — ваша правда, что они теперь все государем заняты, а все-таки... Потом же еще показалось мне, что у царя борода сюда вот, к вискам, пошла уж седая,— хотя и шепотом, но поделилась все-таки этим важным открытием хозяйка с жильцом-прапорщиком, но тут же и испугалась такой своей откровенности: — Это, конечно, снегом его запорошило, государя, а я-то дура...

— А разве снег шел?.. Царь, я знаю, ехал, но чтобы снег шел — этого я не видел. Снегу не было.

— Да-а?.. Ваша правда, Николай Иваныч, а я... Ну, тогда, значит, я ошиблась. Показалось мне просто, а седины у него никакой не было.

— Почему же не было? Я тоже видел царя сейчас на вокзале, и, по-моему, седина в бороде есть... а насчет беса в ребре точно не знаю.

Марья Тимофеевна даже всплеснула руками перед раскрасневшимся лицом.

— Николай Иваныч! Что же это вы так? Или это вы все надо мной надсмехаетесь? И правда ведь, что же это я, дура, вздумала! Что же, государю нашему краски, что ли, не могут достать, бородку ему подправить, в случае если даже, чего боже избави!..

— Даже целого брю-не-та из него могли бы сделать. Эх, не догадаются там никак о наших с вами вкусах!

— Ой! Что это вы!.. Не буду говорить польше!

Испуганная Марья Тимофеевна кинулась в дверь.

Ливенцев рад был, что на смотр мог он совсем не являться, и блаженно разлегся на койке с книгой в руках. А вечером спустился к нему со второго этажа старший врач Моняков и сказал, морщась и держась за шею и поясницу:

— Просвистало меня наскозь на этом ветру окаянном! Шесть стаканов горячего чая выдул подряд, а все-таки прострел неизбежен. Шутка ли, на таком ветру людей два часа держать, и никакого прикрытия!

— Неужели два часа смотр был? Вот так штука!

— Ждали два часа... А смотр что? Смотр в каких-нибудь двадцать минут свертели. Они ведь тоже не ду-

раки на холоде стыть, когда сразу все видно. Вид у ратников геройский? — Геройский! — Отвечают на приветствие согласно? — Согласно! — Сапоги чищеные? — Чищеные! — Бляхи вороненые? — Вороненые! — Начальство глазами едят? — Едят!.. Ну и все. Какие еще могут быть разговоры? Пообещал царь за все наши отличные качества знамена нам прислать. А то как же — мы кровь свою проливать вполне собрались, а знамен не имеем! Потом царь со всей своей свитой — в машины, а мы — по казармам шагом марш... Впрочем, был один маленький инцидентик со штабс-капитаном не нашей дружины.

— Да у нас и совсем нет штабс-капитанов, бог миловал.

— Из дружины он оказался генерала Михайлова... Очень у него физия скособочена, вообще вид очень иронический такой и от губы кверху шрам идет. Ну, ясное дело, видит царь — обработанный кем-то человечек, и надежда, должно быть, у него такая была, что на войне этой или японской угораздило его так себе косметику испортить... Может быть, даже к награде его хотел представить, аллах ведает! Спрашивает его: «Где получили это увечье?» Другой бы сообразил бы и сказал бы: «На войне с Японией...» Или там: «Защищая веру, царя, отечество от коварного и наглого врага!» — как в те времена в газетах писалось. А этот дурак — Переведёнов его фамилия — возьми да и брякни: «В Екатеринославе, во время революции девятьсот пятого года, ваше величество!» Не знал, конечно, что самое слово «революция» при царе и упоминать нельзя! Царь его поправляет сдержанно: «Во время беспорядков». А потом видит, что у него и уха нет. «А ухо, говорит, свое вы где потеряли?» То есть буквально в рот ему вкладывает: «В сражении под Мукденом, например, или под Ляояном, что ли...» А тот по-своему, иронически глядит на царя и опять свое: «И ухо то же самое во время все той же революции!» Тут его величество как будто даже искренне огорчился: «Я вам сказал уже: беспорядков!» И отошел. И надо было видеть, как все потом, иже с ним были, вся свита,— а их человек десять было,— на этого штабс-капитана глядели, когда мимо него проходили!.. Конечно, придворного воспитания штабс-капитан не получал, но и откуда ему было знать, как надо ответить? Теперь генерал Михайлов, должно быть, последние волосы рвет...

— На себе или на штабс-капитане? — перебил весело Ливенцев.

— Да уж на себе, конечно, что сам этого штабс-капитана своего не разглядел перед смотром как следует. Ведь явно выигрышным номер был, доставил бы царю удовольствие и себе кое-какой почет. «Вот, дескать, ваше величество, штабс-капитан, раненный под Мукденом, снова жаждет лечь всеми своими костьми за...»

— За Распутина и компанию? — подсказал Ливенцев.

— Хотя бы... И вдруг дурак испортил всю музыку! Теперь, я полагаю, он этого Переведёнова со свету сживет, дурака такого!

— Ах, любопытно бы было поглядеть на этого дурака! Признаться, очень люблю дураков,— с чувством сказал Ливенцев.

— Гм... А кто же у нас их не любит? Я однажды, помню, с другим земским врачом и на земской же тройке ехал по делу, а ямщик был пьян, дорога скверная, грязь, ночь... Говорю ямщику: «Смотри в грязь нас не вывали». А он: «Это я-то, да чтобы в грязь вывалить! На сухом месте может, конечно, всякое случиться,— кто без греха? Ну, чтобы уж в грязь,— нет! Этого никоим манером не допущу!» И что же он, мерзавец? Конечно, с пьяных глаз погнал с какого-то косогора в провал, экипаж набок, да еще проволочило нас спинами сколько-то шагов, пока, наконец, лошади стали. Освободились мы кое-как с товарищем из-под экипажа, грязнее свиней вылезли, и давай спички зажигать, посмотреть, в каком положении дело. А ямщик наш — он тоже слетел — подымается, и видим мы при спичке — на бороде у него кровь: губу он себе обо что-то порезал. Мы к нему, конечно, как оба врачи: «Давай пощупаем, челюстная кость у тебя цела ли?» И, конечно, усердно мы спички зажигаем все ради этого случая. А ямщик нам: «Эх, спицы бы хоть пожалели, а то потом и закурить не будет!.. Вот и сразу видать — ненастоящие господа вы!..»

— Зауряд-господа,— вставил Ливенцев.

— «...Потому что настоящие — они бы спиц тратить не стали да искать, кость у меня там какая-то цела ль. Они бы мне за такое дело, как я их в грязь вывалил, вон бы какую прибавку к губе должны бы мне сделать, а не то чтоб меня лечить! Ну, в таком разе помогайте экипаж подымать,— берись, где кому сподручней... Эх,

род-димые! Дураками наша земля только и процветает!..» Вот афоризм! Можно сказать — глас народа.

Ливенцев улыбнулся.

— Погодите, пойдем и мы с вами дурака валять: дайте-ка только получить знамена!

Моняков поерошил бороду тонкой просвечивающей рукой и сказал уверенно:

— Нет! Я убежден все-таки, что до нас дело не дойдет. Войну должны закончить к весне, а то некому будет ни пахать, ни сеять, и все равно тогда армии с голоду должны подохнуть. Нас, паразитов, кормить тоже не шутка!

— Земские замашки в вас вопят — «пахать, сеять некому»! А бабы на что? И у нас, и у немцев, и у французов — и запашут и посеют.

— А у турок? Тоже бабы пахать пойдут? — уязвил Моняков.— Живал я в краях Магомета,— бабы там только по домашности, а пашут мужики какими-то колчужками. Эх, никогда не забуду, как из Казалинска в Кара-Кумы, верст за четыреста, на мертвое тело мы с фельдшером и следователем ехали один раз. Вот было путешествие! А совсем ведь и не путешествие, просто по делам службы: ирригационное убийство, частый очень случай,— из-за воды там готовы глотку кому угодно перервать. На восьми верблюдах мы ехали: на одном — я, на другом — фельдшер, на третьем — следователь, на четвертом — проводник-киргиз, а на четырех еще верблюдах турсуки с водой везли. Днем нельзя было ехать — жара шестьдесят градусов, ехали ночью. Четыреста верст — туда, четыреста — оттуда. Экспедиция если какая научная, это бы еще куда ни шло, а то — мертвое тело!.. Убили и убили, при чем же тут врач? Я ведь его не воскрешу! Зачем же я должен целый месяц мучиться и население без медицинской помощи оставлять? Вот он, чиновничий формализм! Погодите! Я когда-нибудь на досуге опишу этот эпизод как следует. Вы это прочитаете со временем во «Враче».

— Гм... Буду ждать этого удовольствия... А как наш Полетика на смотру держался?

— Очень звонко скомандовал: «Смирно!», и прочее. И ни в одном слове не сбился. Баснин тоже был очень приличен. Вообще я думаю, что смотры — это омолаживающее средство... А вот что для вас будет, кажется, особенно интересно: ваш «приятель» Генкель получает, как он мне сам говорил,— правда, по секрету,— здесь,

в Севастополе, штатную должность, так что может на ней остаться и после войны...

— Это — ужасная новость! — даже вскочил со стула и начал в волнении ходить по комнате Ливенцев.— Неужели штатную должность? Какую же? Где?

— Этого не сказал, где именно, но будто бы вполне самостоятельная. И повышение по службе.

— Даже повышение? Такому подлецу? За что?

Моняков сказал наставительно:

— Не волнуйтесь зря, а то опять перебои будут, и придется ландышевые капли вам пить.

— Как у нас везет мерзавцам!

— Мерзавцы энергичны — в этом вся штука. Где сопляки разводят свой соплизм, там мерзавцы действуют во все стороны локтями — и преуспевают, конечно.

— Но почему же все-таки? Почему преуспевают?

— Потому что надоедают соплякам, и они на них машут, наконец, руками.

— У вас выходит так, что есть только две категории людей: сопляки и мерзавцы.

— Может быть, только и есть, что эти две категории.

— Так что если кто протестует, когда видит мерзавца, то это непременно сопляк?

— А знаете, что я вам на это скажу? — Тут Моняков сильно задрал кверху свою клочковатую бороду.— Если только протестует он, а зубы выбить мерзавцу не может или не смеет, то, конечно же, он сущий сопляк!

— А если может и смеет зубы выбить, то такой же мерзавец с локтями?

— Что тогда? — Глаза Монякова начали бегать от усилия мысли.— Тогда он ни то, ни другое просто потому, что выполняет функцию не частного лица, а власти предержащей, потому что только она, предержащая власть, выбивает зубы на законном основании.

— Проще говоря, тогда он прибегает к самосуду?.. Вы извернулись неплохо. Вы сейчас вспомнили, с одной стороны, об японской войне, с другой — об ямщике, который вас вывернул, да еще и дураками за интеллигентские ваши замашки обозвал... Видите ли, это да еще Генкель этот проклятый мне напомнили тоже один со мною случай... Ведь я во время японской войны тоже призывался, как прапорщик, в Очаковский полк. Полк этот и стоял в Очакове. Очаков же — это очень глухое местечко. Бычков там можно было ловить удочками, даже скумбрию, даже осетров небольших, но больше там

ни-че-го! А тут один батальон наш переходит в Херсон для несения караульной службы. И как раз не тот батальон, в котором был я, а другой. Завидно, а ничего не поделаешь. Херсон все-таки губернский город, не Очакову чета. И вдруг, на мое счастье, приходит ко мне другой прапорщик, такой же, как я, со странной просьбой: «Не хотите ли поменяться со мной ротами: вы бы тогда в Херсон, а я бы здесь остался». Я, конечно, ему: «Ах, отец-благодетель! Да это как и нельзя лучше!» Пошли мы к командиру полка и устроили замену. А когда устроили уж, я его спрашиваю, почему все-таки он не хочет в Херсон. «Да из-за ротного командира,— говорит.— Бывают среди них звери, но такого я не предполагал даже».— «Та-ак! — говорю.— Значит, это вы меня к зверю пихнули?» — «Ничего, вы,— говорит,— человек смелый, а я— робкого десятка, только смотрю на него да глазами моргаю». Ну, словом, эшелон ушел уж в Херсон, а я дня на два задержался в Очакове, потом туда пароходом в одиночном порядке. Прибыл туда утром, да надо было найти, где расположился наш эшелон,— все-таки около восьми часов я уже входил в помещение роты своей новой. Приглядываюсь, где ротный, вижу капитана,— фамилия его была Абрамов, борода ярко-рыжая, и так же с сединой, как сегодня я у царя видел, только немного длиннее, сухощавый, но очень жилистый, а главное — вида действительно свирепого. В Очакове я его среди массы офицерства просто не разглядел, да и быть пришлось мне там всего недели две-три. Хорошо-с... Подхожу прямо к нему: «Господин капитан, честь имею явиться. Назначенный в вашу роту прапорщик Ливенцев». Смотрю, очень медленно тянет мне руку и этак в нос как-то: «Очень поздно изволили явиться! Занятия начинаются в восемь часов, а теперь уже десять минут девятого». Меня и вздернуло сразу. Выхватываю я свои часы, говорю: «Господин капитан, на моих часах без пяти восемь. Так как ваших часов я еще не видал и поставить по ним свои не успел, и так как я только что приехал на пароходе...» Он меня перебивает совсем по-хамски: «Проверьте вторую шеренгу». Оглядываюсь я кругом: солдаты стоят — винтовки «на плечо»,— значит, ружейными приемами занимаются. Это — во время такой войны, когда нас бьют и бьют японцы. Насмешка над здравым смыслом! Смотрю, еще незаметный и серенький, с черной бородкой, прапорщик, бывший кандидат на судебные должности, юрист, я его

только по фамилии знал, Гуссов,— стоит окаменелость какая-то, мне хотя бы головой кивнул. Эге, думаю, так вот тут какая атмосфера! Не зря прапорщик Серафимов отсюда сбежал и в Очакове решил остаться... Все-таки я сейчас же ко второй шеренге, всех обошел, прием у всех проверил, кому что нужно было сказать — сказал. А полк этот, нужно заметить, густо был пополнен призванными из запаса, как и я. Особой чистоты отделки в ружейных приемах у них быть не могло. Кроме того, долго держали их на одном приеме... Дошел я до последнего и из шеренг выхожу на открытое место. Абрамов мне противным таким, козлиным голосом дребезжащим: «Проверили?» — «Проверил»,— отвечаю. Он идет ко второй шеренге сам,— вижу, солдаты задергали винтовки, глаза на него выпучили, стоят в страхе. Остановился он перед правофланговым. «Штык выше! Приклад доверни!.. Да «доверни» я тебе сказал, а не «в поле»! И вдруг — хлоп его кулаком по скуле! Посмотрел я на Гуссова,— стоит, как статуя. А Абрамов уже около следующего. «Антабку в выем плеча! Выше!.. Ниже!.. Да в выем плеча, тебе говорят!» Хлоп — и этого тоже. И так пять человек он «проверил» и всех хлопал по скулам. А я с каждым разом взвиваюсь, и даже на цыпочки поднимался от омерзения. Наконец, к шестому он, бородатому такому дяде: «Штык выше! В поле штык!.. Много!.. В поле!.. Много!.. Еще в поле!..» Потом опять — хлоп! — и даже хряснуло во рту у того,— должно быть, зуб сломал. Вот тут я и взвился, наконец, как следовало взвиться! «Ка-пи-та-а-ан!.. Солдат не би-ить!» — закричал я прямо не своим голосом и даже, помню, шашку почему-то наполовину вытащил из ножен.

— Что вы! Да ведь за это вам крепость могли дать! — удивился Моняков.

— Два года крепости — я потом справлялся. Но это расценка мирного времени, а не военного.

— Значит, вы и тогда дисциплины не знали?

— Всегда я о ней забывал, не только тогда... Ну вот, прокричал я и глазами в него впился, а он — в меня. И до такой степени для него неожиданно это было, должно быть, до того его поразило это, что, вижу, позеленел он весь, и борода даже потускнела. Стоит, смотрит на меня, глаза белые! И в казарме страшная тишина... И так тянулось с минуту, если не больше. Оказалось потом, что он уже много лет командует ротой и к производству в подполковники представлен... Тиши-

на продолжается — и вдруг в тишине этой совсем загробный какой-то голос: «Вы сказали: не бить солдат? Кого же я бил?» — «Как кого? Шестерых вы били!» — кричу, но уже озадачен я его ходом: не понимаю, к чему этот ход. «Кого же это шестерых?» — опять он тем же загробным тоном. А фамилий этих битых я, естественно, не знаю, поэтому командую: «Битые, выходи вперед! Шагом... марш!» Жду, стою, но битые — ни с места. Начинаю понимать маневр капитана: они его, как огня, боятся. А он уже с некоторым апломбом: «Так кого это я бил, прапорщик?» Я опять командую: «Шесть человек, считая с правого фланга второй шеренги, напра-во!» Смотрю, повернулись направо, командую дальше: «Правое плечо вперед, шагом... марш!» Идут. Вышли на чистое место перед фронтом. «Стой!.. Нале-во!.. Вот они,— говорю,— битые!» Тут и началась комедия! Подходит он к правофланговому, смотрит на него в упор, наконец, чрезвычайно начальственно: «Калибèрда! Теббя я ббил?» Очень хорошо помню и эту фамилию польскую и это «теббя я ббил?» «Никак нет, вышескобродие, не били». Вот тебе, думаю, раз! Капитан же Абрамов к следующему: «Такой-то... (Звездогляд, что ли,— не помню), теббя я ббил?» — «Никак нет, ваше благородие».— «Что-о?! Благородие?!» — кричит уже капитан по-козлиному. «Ваше высокоблагородие, никак нет, не били».

— Вот запугал людей!

— Довел до степени заводных кукол... И так подходил он поочередно, примыкая направо, к третьему, к четвертому, к пятому — и ото всех один и тот же ответ: «Никак нет, не били». Не верю ушам, не верю глазам... «Что же это,— бормочу,— за подлецы такие?..» Остается шестой, последний, тот самый, с бородой, а по бороде из носа кровь как текла, так на волосах и заклякла. «Лы-ко-шин, теббя я ббил?» Смотрю я на этого Лыкошина и глаза сделал положительно, должно быть, зверские, а рукою за эфес шашки держусь, да еще и прикачнул головою я, чтобы он понял, что и я шутить тоже не намерен, если только он скажет, как другие. Лыкошин переводит буркалы свои лесные с капитана Абрамова на меня, с меня на капитана и молчит. Вообразите мое положение!

— Любопытное!.. А сам бы я быть в таком положении не хотел,— сказал Моняков.

— Положение было острое, даже страшное, если хотите. Тут, с одной стороны, положена была на карты

или на весы эта самая пресловутая военная дисциплина, в которой я оказался недавно еще несведущ, так же как и тогда, а с другой — права человека на то, чтобы его не били, потому что такое право было и у солдат того времени. От Лыкошина этого зависело теперь все. Если скажет: «Не били»,— кончено! Тогда я выхватываю шашку, а капитан Абрамов пусть выхватывает свою. Вообще в голове у меня тогда был один только горячечный бред... Тишина. Ворочаются буркалы Лыкошина, дышит он тяжко... Наконец, опять козлиный начальственный голос: «Отве-чай, когда тебя ротный командир спрашивает, а не стой болваном!.. Теббя я ббил?» Я замер, впился в Лыкошина глазами и вдруг слышу: «Так точно, ваше высокобродие, били».— «Что-о-о?! Как?!» Очень глубокий вздох Лыкошина, и мой тоже — и опять тот же ответ: «Так точно, били». Называется это, как вам должно быть известно, «заявить претензию». Значит, претензия была заявлена, что и требовалось доказать. И мой капитан Абрамов повернулся и согнувшись пошел в канцелярию. Буквально — согнувшись! А я шашку вдвинул в ножны поглубже и жду, что будет дальше. И все солдаты стоят, не шелохнутся,— ждут. Вдруг слышу оттуда, из канцелярии, слабый голос: «Фельдфебель!» Бежит туда фельдфебель на цыпочках. «Фельдфебель! Передай новому прапорщику, что я прошу его заниматься с ротой». Буквально так: «прошу». Я, конечно, вывел всех сейчас же в поле, устроил там двусторонние маневры по атаке и защите какого-то кладбища, так сказать, тактические задачи на местности, и привел их назад с песнями. А прапорщик Гуссов мне все время бубнил: «Он этого так не оставит. Он вам отомстит жестоко».— «Подождем, говорю, увидим...» На другой день являюсь на занятия нарочно раньше, чем надо. Ротного нет еще. Солдатам ни слова насчет него не говорю. Наконец, является. Я подравнял шеренги, скомандовал: «Смирно!» Идет согнувшись, и лица на нем нет. Издалека еще руку под козырек взял и очень тихо: «Здравствуйте, братцы!» А «братцы» как воды в рот набрали,— молчат! Вот, думаю, история! Ведь это уж выходит не мой бунт личный, а бунт солдат! Вчера-то где же вы были, вы, пятеро битых, которые сказали: «Никак нет, не били»? Отчего сейчас вы не орете: «Здравия желаем!» Ведь если бы не Лыкошин, что бы мне нужно было делать вчера? Почему же вчера вы струсили до того, что отрицали явный факт? И кто же вну-

шил вам сегодня идти на бунт, потому что это уж бунт, за который вас уже не бить будут, а раскассируют кого куда, а зачинщиков, которыми сделают вас же, битых,— зачинщиков в дисциплинарный батальон загонят!.. Надо было их спасать снова. Вышел я из шеренги, кивнул им головой,— дескать, не выдумывай, чего не надо! — и скомандовал: «Смирно! Равнение на середину!» А капитан Абрамов как держал руку у козырька, так и держит: прилипла. После моей команды он опять замогильно: «Здорово, братцы!» И «братцы» грянули: «Здравия желаем!» А потом капитан ушел в канцелярию, а я вывел их в поле для маневров. Кстати сказал, что претензию свою на ротного они могут заявить на смотру при опросе претензий, и это бунтом считаться не будет, а то, что они проделали, называется бунт, и если бы я не повернул дела так, как повернул, то их бы взгрели за милую душу. А что ротный их драться уж больше не будет — в этом пусть не сомневаются: урока моего он не забудет... И знаете ли, две недели занимался я так с ротой, а капитан только являлся в канцелярию и был тише воды ниже травы. Но, конечно, командир эшелона подполковник Околов и другие ротные командиры про инцидент этот узнали и пустились выручать собрата своими средствами, а именно: чуть только появилась бумажка о назначении субалтерн-офицера в один запасной батальон в Одессу, так сейчас же назначили туда меня. Поскольку Одесса все-таки далеко не Херсон, я ничего не имел против этого, Абрамов же скоро был произведен в подполковники и из роты, конечно, тоже ушел принимать батальон, я же, грешный, делал в Одессе преступление за преступлением. Всех их вам перечислять не буду, но наиболее преступное было то, когда я прочитал в роте, в отсутствие ротного, из газет о «девятом января», Гапоне, о расстреле рабочих у Зимнего дворца — и сделал, конечно, необходимые комментарии. Наивные люди там — командир батальона и другие — думали, что с этого моего разъяснения январских событий солдатам и началось падение дисциплины, но ведь это уж носилось в воздухе и очень скоро стало повсеместным. Вот была служба в запасном батальоне этом — ку-рьез-ная в высшей степени! Помню, дают мне команду в двести человек — сборную, по пятидесяти от роты — отвести на вокзал и усадить их там в поезд, а дальше уж там за ними старший из фельдфебелей наблюдать будет. Фельдфебелей же было в команде не-

сколько. Выхожу я к команде,— картина! Все — пьяным-пьяно, каких-то баб с ними полсотни — не меньше, да еще и на дорогу у каждого бутылка водки в шинели. Говорю командиру батальона: «Не пойду с такими никуда». Тот не то что приказывает, а этак: «Авось да небось... как-нибудь доведете». Выхожу я к команде опять — черт их знает, не разберешь, где тут солдаты, где бабы. Кричу: «Бабы, про-очь!» А бабы как захохочут, ей-богу! Согнулись, руки на животы, и в хохот: «Бабочки, нами офицер командует!» Фельдфебеля меня утешают: «Черт с ними, нехай идут! Все равно с ними ничего не сделаешь — они не отстанут».— «Ну, ладно,— говорю,— вы сами их и ведите, а я пойду стороной, вроде бы меня и нету». Тронулись. А ведь к вокзалу через всю Одессу пришлось идти... Половину дороги сделали уж, гляжу — генерал какой-то на лошади верхом,— картина! И прямо навстречу нам. Я присмотрелся — помощник Каульбарса, командующего войсками Одесского округа, генерал-лейтенант... Радзиевский, кажется, точно не вспомню. Старший фельдфебель вышел вперед, ищет меня глазами, а я ему рукой махнул: дескать, без меня! Он командует: «Смирно!» Генерал остановил лошадь. Смотрю я на него из-за деревьев, сам на тротуаре стою, и вижу буквально испуг у него в глазах. «Кто ведет эту команду?» — кричит. Фельдфебель видит, что дело плохо, кивает в мою сторону головой: «Их благородие, прапорщик Ливенцев». Я из засады своей выхожу. Подошел. «Вы ведете?» — «Мне поручено,— говорю,— доставить это войско на вокзал».— «Что же это,— говорит,— за сволочь Петра Амьенского?» — «Что на сволочь Петра Амьенского похоже — это,— говорю,— правда, ваше превосходительство... Главное, бабы меня убивают...» — «Вы бы их погнали к черту!» — «Пытался,— говорю,— очень упорные». Он поднялся на стременах и как крикнет с раскатом, по-кавалерийски: «Бабы, про-о-очь!» Бабы — руки на животы: «Ха-ха-ха! Генерал нами теперь командует!» А я генералу скромно: «Это самое — «бабы, прочь!» — я тоже командовал, но, представьте себе, успех был тот же самый. Прилипли — не отдерешь!» Генерал, конечно: «Черт знает что такое! Какой вы части?» Я сказал. «Ваша фамилия?» — «Ливенцев». Он коня шенкелями, дернул уздечку и поскакал. А я до вокзала своих амьенцев все-таки довел, и вот поднялась там, на вокзале, кутерьма. Тут в поезд надо садиться, а они кричат: «Пока все, до одного, с нашим

прапорщиком Ливенцевым не простимся — не сядем!» И вот, кадушки-папахи свои снимают и лезут ко мне целоваться на прощанье. А там, смотрю, и бабы лезут прощаться. «Как вы,— говорят,— нашим мужьям заместо отца родного были!» А начальство железнодорожное рвет и мечет: в самом деле, ведь расписание поездов ломается... Насилу я вырвался и бежал без оглядки.

— Куда же их отправляли все-таки? На Дальний Восток?

— Да, нет, куда их там на Дальний Восток! Кажется, в Варшаву, в кадровый полк, на пополнение убыли... А скоро после этого и меня сплавили из Одессы, теперь уже в Симферополь, тоже с командой, и тоже на пополнение в полк. Может быть, благодаря этому самому генералу Радзиевскому... Словом, двести с чем-то человек я доставил, начинают их сортировать и растасовывать по ротам, а они: «От своего прапорщика ни к кому уходить не желаем!» Им, конечно, внушили, что попали они в кадровый полк, что блажить им не позволят и все прочее. А меня, чтобы дурного влияния на солдат я не оказывал, вдруг назначают в одну роту, выходящую в Мелитополь, на случай рабочих там волнений и беспорядков. Было это уж в мае девятьсот пятого года. Прочитал я приказ и остолбенел: «Я — и вдруг для усмирения рабочих!» Говорю своему новому ротному: «Ни за что не пойду!» — «И за пять рублей в день не пойдете? — спрашивает.— Ведь вы четверное свое жалованье тогда будете в Мелитополе получать».— «Что вы,— говорю,— смеетесь надо мной, что ли? Что вы мне тут с четверным жалованьем!» — «Ну, когда вы такой богатый, охотников много найдется. Есть у нас тоже прапорщик, Шван,— тот сам просился ко мне в субалтерны...» — «Вот пусть и едет с вами этот самый Шван, а я — ни в коем случае».— «А как же вы командиру полка об этом скажете?» — «Так и скажу, что не хочу!» — «Напрасно,— говорит.— Этого не советую делать... Ну, вы скажете: не хочу усмирять рабочих! — а ему что прикажете делать? Ведь он вас должен арестовать за это и делу ход дать. Запрут вас куда-нибудь — и только. А зачем вам это? Шваны все равно найдутся, и за пятеркой в день погонятся, и ради пятерки этой скомандуют, если придется: «Рота, пли!» — а вы будете бесполезно сидеть под замком. Не советую, знаете...» — «А что же вы советуете?» — говорю. «Скажите командиру полка, что больны, и он поймет вас отлично. Он не такой ду-

рак, чтобы не понять, и даже еще отпуск вам на лечение может дать». Увидел я, что человек мне попался не из глупых, так и сделал. И должен вам сказать, что командир полка,— он был человек видный, с большой бородой черной,— только я сказал ему, что ехать в Мелитополь не могу, сейчас же сам мне: «Что? Больны? Отпуск получить хотите?.. На два месяца могу вам дать отпуск, если только врачебная комиссия выскажется соответственно...» Я увидел, что все уже было подготовлено без моих стараний, и, знаете, получил двухмесячный отпуск.

— А какую же болезнь у вас нашли? — с живейшим интересом спросил Моняков.

— Помню, что явились ко мне два полковых врача, старший и младший, и меня выстукивали и давили под ложечкой, а какую такую болезнь нашли, не знаю,— мне они не сказали... Конечно, им нужно было что-нибудь написать в своей бумажке... Отпуск я получил и уехал. А когда приехал, тут уж вскорости разыгрались большие события, те самые, которые царь наш революцией называть не хочет, а называет «беспорядками». Объявлены были свободы, и начались еврейские погромы. Вот один из этих погромов и произошел на моих глазах в Симферополе... Как убивали несколько десятков человек на бульваре кольями, этого я не видел: за мной прислали из полка, когда уж эта часть программы была окончена и начался грабеж еврейских магазинов. Полк наш стоял везде по улицам на охране, в помощь полиции, то есть в помощь тем самым господам, которые и сочинили и разыграли, как по нотам, весь этот погром. Ну, в этот день я всего насмотрелся и отлично видел, как все было организовано... Нужно вам сказать, что, когда я вернулся из отпуска, зазвал меня к себе мой командир батальона, подполковник Канаров, и говорит: «У меня комната свободная есть, недорого с вас возьму, также и полный вам пансион могу дать». Я, конечно, согласился, раз мне никуда не ходить обедать,— я и тогда был домосед. И вот раз слышу крик адский. Выскочил,— мой Канаров лупит своего денщика, Петра, рукояткой нагана по голове! Я, конечно, подскочил, наган у него вырвал, его отшвырнул прочь, а избитому кричу: «Сейчас же иди жаловаться в канцелярию самому командиру полка, а меня свидетелем выставляй!» Голова у этого Петра в крови вся, щеки кровью забрызганы... «Не умывайся! — кричу.—

Так и иди, как ты есть!» Пошел он, а я к себе в комнату, укладывать свой чемодан и из дому — по улице, смотреть билетики на окнах: «Отдается комната». Комнату я часа через два нашел. Прихожу или на извозчике приезжаю за чемоданом, гляжу — Петр стоит. «Ходил?» — спрашиваю. «Никак нет. Их высокбродь отпуск мне дали домой на две недели». Вот чем купил — отпуском на две недели, когда Петру этому месяц всего оставался до конца службы!

— Да-а-а...—с чувством протянул Моняков.

— Понять можно, а простить нельзя... И Петра этого и тех пятерых, которые: «Никак нет, не били»,— до сего времени я не простил... Нашлись прогрессивные элементы, мобилизовали своих юристов, и вот комиссия юристов начала работать дня через три после погрома — выяснять все обстоятельства этого гнусного дела. Вывесили писанные от руки объявления кое-где, что-де кто имеет что-нибудь показать, просят зайти туда-то. Я и написал показания — листа два мелким почерком уписал, и одни только факты наблюденные, наблюденные мною лично. А факты были жуткие, вспоминать их уж не буду... Проходит дня два-три после этого, вдруг ко мне в комнату вваливается сразу несколько человек офицеров, и во главе их этот самый мой батальонный Канаров. А мы уж с ним, конечно, не говорим, и вообще отношения наши стали...

— Как с Генкелем?

— Вот именно... Думаю, зачем он ко мне столько народу привел? И никто не здоровается. А Канаров вынимает газету из кармана,— местную газету, забыл ее название,— и мне: «Вот это вы, прапорщик, писали?» Читаю: «В комиссию юристов от одного из офицеров, Ливенцева, поступило пространное показание о погроме, из которого явствует, что полк к погрому относился совершенно пассивно и совершенно ничего не сделал для прекращения погрома...» И дальше в этом роде. «Прочитали?» — «Прочитал».— «Вы это писали?» — «Заметку эту, конечно, не я писал и читаю ее впервые, а показания свои я дал».— «Ка-ак же вы смели давать показания каким-то там штатским?» — «Прошу,— говорю,— полковник, таким тоном со мною не говорить, а копию показания я для себя сделал и могу вам ее показать, если хотите».— «Давайте!» Даю. Читает он, читает. «Быть этого не может! Вранье —все ваше показание! Вы... я вижу, кто вы такой! Вы — социал... социал...

Какой социал?» — обращается к одному из своей свиты. А там, в свите его, были два капитана и один поручик, ведавший юридической частью в полку. Так он к этому поручику. Тот отвечает: «Социал-демократ, что ли?» — «Да нет,— кричит,— не демократ! Демократы эти — они, кажется дозволенные... А вот есть еще социал... социал...» — «Революционеры?» — подсказываю ему уже я сам. «Ага! Вот! Революционеры! Так вы, значит, этой партии?» — «Нет,— говорю,— я принадлежу к партии просто порядочных людей».—«Ага! А мы, стало быть, по-вашему, люди непорядочные, и поэтому вы тут расписали всякое про нас вранье...» — «Не смейте,— кричу я,— говорить: вранье!» — «Ах, вот как! Не сметь нам уж и говорить, господа! Тогда пусть говорит с самим командиром полка, а мы уйдем. Пойдемте!» Показания мои бросил на подоконник, а сам ушел со всей свитой. Я оделся, как полагается для представления начальству, иду в штаб полка, а там — все шестьдесят человек полкового офицерства, и страшный шум стоит, и говорят обо мне... Вошел я,— ну, буквально, как по команде,— одни повернулись от меня направо, другие — налево, и я между шпалерами спин своих полковых товарищей прохожу в кабинет командира. Вхожу в кабинет, командир говорит мне очень натянуто, как никогда он со мной не говорил: «Здравствуйте! Вы что это такое натворили, что я получил о вас две телеграммы — запросы от генерала Каульбарса и от главного штаба?» — «Неужели даже до главного штаба дошло так быстро?» — говорю. А полковник, фамилия его была Черепахин, большого роста, большая черная борода: «Вот,— говорит,— полюбуйтесь!» — показывает на две телеграммы у себя на столе. Я их, конечно, читать не стал, но думаю, что ему не было надобности выдумывать: человек он был неплохой по существу. «Вы показания там каким-то юристам давали действительно?» — «Давал,— говорю,— действительно».— «Как же вы так даете кому-то там, штатским, свои показания, будучи в мундире?» — «Позвольте мне, господин полковник, быть честным человеком, хотя я и в мундире».— «Я сам,— говорит он,— тоже честный человек, хотя я тоже в мундире».— «Тем лучше для нас обоих!» — говорю. «Что же вы такое показали?» — «Я могу вам рассказать свои показания детально, только дело это довольно длинное,— говорю,— поэтому разрешите мне сесть».— «Пожалуйста,— говорит,— вот вам стул, садитесь». По-

ставил к столу для меня стул, я сел и начал с коварного вопроса: «Позвольте спросить вас, где были вы лично?— так как я целый день почти провел на улицах со своим взводом, но вас я нигде не видал».— «Я где был?» И тут случилось нечто странное — он как-то смешался, засуетился, взял зачем-то лист белой бумаги и карандаш и начал чертить какие-то квадратики и бормотать при этом: «Где я был?.. А вот... вот тут, предположим, гауптвахта... Мне сказали, что выпущены толпой арестованные,— я поехал к гауптвахте... Это было часов в одиннадцать утра... Потом, тюрьма... Вот это будет тюрьма... Из тюрьмы толпа выпустила арестантов, и я от гауптвахты поехал к тюрьме... Это было так, например, около половины двенадцатого...» Я вижу, что он совершенно смешался и даже квадратиков уж больше не чертит, а только водит карандашом по бумаге вполне бессистемно. Заминаю это, говорю сам: «Погром тянулся до шести вечера, когда появился на улицах экипаж, а в нем чиновник особых поручений губернатора, довольно молодой человек, делавший какие-то пассы в сторону толпы, и толпа, о которой пристава говорили нам, что она совершенно непреоборима, отлично разошлась себе по домам. А видел и слышал я вот что...» И начал я ему, как записал в показаньи... Слушал он, слушал — и все больше поникал головою. Право, он был неплохой человек, этот полковник Черепахин. Наконец, говорит: «Я вам верю, прапорщик, но что же я должен отвечать на эти телеграммы?» — «Что отвечать?.. Отвечайте,— говорю,— что расследование ведете. Ведь вы же его и ведете, конечно. А затем предоставьте всему идти так, как оно будет идти... Вы меня можете, конечно, арестовать, но ведь смысла в этом не будет никакого, и вы это сами понимаете».— «Арестовывать вас я не буду, но я сделаю вот что: в наряды вас я прикажу не назначать совсем».— «Это будет чудесно!» — говорю. «Это будет как бы домашний арест».— «Может быть, и шашку вам отдать под образа?» — «Нет, шашка пусть при вас же и останется, потому что...» — «Вы думаете, господин полковник, что на меня может напасть черная сотня, и шашка мне понадобится?..» Погладил он бороду. «Заварили вы,— говорит,— кашу, как-то ее расхлебаете?» — «Поверьте,— говорю,— что ничего особенного со мной не случится».— «Ну, дай бог,— говорит.— Можете идти». И вышел он из кабинета провожать меня сам, и все, кто были тогда в штабе и показали мне свои спины, должны

были повернуться ко мне лицом и стать смирно, потому что полковник довел меня до самых входных дверей и только тут простился со мной.

— Как же все-таки вы вылезли из этого дела? — полюбопытствовал Моняков.

— Прежде всего я, как находившийся под негласным домашним арестом, не был даже и извещен о том, что полк вызван для подавления восстания во флоте,— знаете, броненосец «Потемкин» и прочее... Полк ушел, а я от участия в этом был избавлен. А затем, ведь война-то была уж закончена, и Витте в Портсмуте мир заключил, так что скоро меня выпустили в запас. Но через год была комедия суда над погромщиками, и меня, уже штатского человека, вызывали как свидетеля по делу о погроме в Симферополе. Тут я имел некую пикировку с известным черносотенцем, адвокатом Булацелем, защищавшим погромщиков. И тут я был кем-то предупрежден, что мне нужно тут же после дачи показаний скрыться. Я и скрылся, конечно. А погромщиков условно приговорили к одиннадцати месяцам тюрьмы, и тут же они были помилованы высочайше... А сегодня, через восемь с лишком лет, я этого высочайше милующего погромщиков встречал и заботился о том, чтобы некто в офицерском платье не вздумал пустить в него такую же меткую пулю, как какой-то серб Принцип в Сараеве в эрцгерцога австрийского... Впрочем, я думаю, что делал я так, как надо, и это совсем не компромисс. А вот как вы, зная, кто таков Генкель, говорили сегодня с ним,— этого я, признаться, не понимаю!

— Ага! Задело за живое? — засмеялся весело Моняков.

— Ведь это — негодяй! А вы в один и тот же день говорите одинаково и с негодяем Генкелем и со мною, как будто бы порядочным пока еще человеком. Не понимаю!

— Вас не продуло там, на вокзале? Жару нет?.. А нуте, дайте-ка лапу...— протянул ему руку Моняков.

— Что там «жару»! Виляете, сударь! Вас и всего-то только два интеллигента на дружину — вы да Кароли, и с третьим интеллигентом, со мною, вы все-таки одного мнения об одном негодяе быть не желаете.

— Но ведь мы же с ним не ссорились.

— Но ведь он же негодяй!.. И я бы с ним тоже не ссорился, если бы не был он негодяем.

— Негодяйство — это понятие относительное. Всякий из нас в чем-нибудь да негодяй.

— Значит, что же это? Круговая порука? Взаимное покрывательство? Рука руку моет?.. Но ведь нас собрали идти за смертью так, чтобы до нее не дойти, не правда ли? Все-таки заинтересовано же наше правительство, чтобы было у нас в войсках как можно меньше потерь, а этот Генкель ради своих личных выгод всю дружину при случае пустит в трубу, и поминай ее как звали! Может быть, и вам на перевязочном пункте вашем — будущем, будущем! — не все равно будет, принесут ли вам сорок человек раненых или четыреста... Не знаю, как вы и как Кароли, а я с таким начальником, как Генкель, идти на фронт не желаю!

— Опять все «не желаю»!.. Сказано вам: «Не бунтуйте, это вам не университет», а вы все не унимаетесь!.. Впрочем, вы, может быть, думаете, что его командиром нашей дружины назначают?

— А кем же? Сделают зауряд-полковником — и готов командир.

— В том-то и дело, что нет. Какая-то штатная должность, а не командир дружины. Война что! Война к лету кончится, а он может остаться на службе.

— Николай Иваныч! Вам, может быть, самовар подогреть? — высунула голову в дверь Марья Тимофеевна.

— Будете еще чай пить? — спросил Монякова Ливенцев.

— Признаться, уважаю я чай,— прекрасное средство от прострела,— уверенно сказал Моняков, и Марья Тимофеевна вошла, перебирая плечами, ловко, как это умели делать только горничные, сняла самовар со стола, сказала: «Батюшки, да он совсем, совсем бустой!» — и уплыла уточкой.

Моняков внимательно посмотрел ей вслед и проговорил задумчиво и вполголоса, как будто про себя, точно не сидел он в гостях у Ливенцева:

— Невредная бабенка!.. Окончится война, не попробовать ли переманить ее к себе в Мариуполь в экономки... Право, она не из вредных!

— У вас есть жена? — спросил его Ливенцев, и Моняков, как бы очнувшись, посмотрел на него недоуменно:

— Жена? Да, жена, настоящая, то есть венчанная, была, конечно, но-о... не удержалась. Ездить, знаете ли, приходилось много по уезду... Я ее не обвиняю, что ж... Жена любит, чтобы муж был тут же вот, около, а не то чтоб он по целым неделям в разъездах. Не удержалась... А экономка, и не таких уж молодых лет, ей что? Будет

себе в чулок деньжонки копить на старость, вот и вся забота. И ей даже приятней будет, когда ты надолго уедешь: будет себе чай дуть по восемь раз в сутки с вишневым вареньем и жиры наживать на свободе... Эх, когда я студентом был и в разных девиц влюблялся, очень я тогда толстел, потому что ел я тогда зверски много, как удав, а чаю сколько пил — этого вы себе и представить не можете!

IV

Бóра утих к вечеру того же дня, и в ночь царь уехал из Севастополя на крейсере «Кагул»,— так сказал Марусе ее, отличавшийся непостижимым постоянством, матрос с «Евстафия».

— Куда же все-таки уехал?.. Можно уехать в Батум, например, можно совсем в обратную сторону — в Херсон или Николаев... Куда именно? — пытался узнать у Маруси Ливенцев.

Но Маруся раздвинула очень широкий рот в улыбку крайнего изумления перед городами с такими необыкновенными названиями, как Батум и Херсон, подняла до ушей острия плеч, сложила руки лодочкой и сказала:

— Ну почем же я знаю!

Хорошо, конечно, было и то, что царь уехал, хотя и не морем, как оказалось, а по железной дороге ночью, и не нужно уж было снова дежурить на вокзале, а на постах по-прежнему расположились в землянках люди урфаловской роты.

Но слух о том, что Генкеля кто-то — все та же, конечно, таинственная его «рука» — сажает на прочное штатное и уж неотъемлемое и после войны штаб-офицерское место, слух, пущенный самим же Генкелем в день смотра, переполошил всех ротных в дружине, так как ясно было, что от всяких десантных операций на берегах Анатолии, так или иначе все-таки угрожающих здоровью и даже жизни, этот всюду поспевающий при своей одышке «расторопный» Генкель уходит, а с другой стороны, освобождается заманчивая должность заведующего хозяйством.

Как-то даже с Ливенцевым, своим бывшим субалтерном, поделился Пернатый и его тоже обуявшей мечтой занять эту должность. Он говорил с подъемом:

— Ка-ку-ю я им штуку при-го-товил! А-ах! Вот это штука!.. Убью! Наповал убью всю нашу дружинную канцелярию!

При этом он потрясал мелко и четко, видимо с большим старанием написанной бумажкой.

— Чем таким убьете? Прочитать можно? — потянулся Ливенцев к бумажке.

— Читайте! Читайте, отец мой хороший,— и вы увидите!

Пернатый ликовал вполне непритворно, а Ливенцев читал что-то ненужно-пространное о возвращаемых двух рублях и шести копейках нерозданного ратникам жалованья, причем была и ссылка на такой-то параграф такой-то статьи «Свода военных постановлений» издания 1869 года.

— Не понимаю, что здесь убийственного! — удивился Ливенцев.

А Пернатый перевернулся на одной ноге и хлопнул себя по копьевидному колену все от той же обуявшей его радости удачного замысла.

— Возвращаю нерозданные деньги обратно, а? Когда и с кем из ротных командиров это бывало?.. Прочитает это наш командир дружины и скажет: «Будьте-ка вы у меня заведующим хозяйством! Я вижу теперь, что вы-ы... что к вам не прилипнет ни одна копейка, а к этому немцу Генкелю — к нему сотни рублей прилипали». Так и скажет, ей-богу, отец мой родной!.. И вот тогда вы можете просить мою роту себе...

— Что вы, что вы! Еще чего мне недоставало,— роту! — испуганно махал рукою Ливенцев.

Но в то, что он не хочет быть ротным, зауряд-капитаном,— в это как мог бы поверить Пернатый? Он обнимал его понимающе-нежно и шептал:

— Думаете, что поручику Кароли отдадут мою роту? Не-ет!.. Генкель, когда принимал от него роту, таку-ю ведомость на него командиру преподнес, что-о, отец мой родной, будьте покойны!

Ливенцев начал было говорить о Миткалеве, который тоже поручик ведь и тоже жаждет роты, но Пернатый захихикал и схватился за виски от удовольствия слышать такую веселую шутку.

Однако и Мазанка тоже стал питать страстную надежду с уходом Генкеля сесть на свое прежнее место, и однажды в канцелярии дружины Ливенцев услышал, как Мазанка, возмущенно глядя на Пернатого, говорил ему:

— Я знаю, конечно, что есть такие господа, которые под меня подкапываются!

— Вот как!.. А как же все-таки они подкапываются? — спрашивал Пернатый, вздымая высоко на морщинистый лоб седые подстриженные брови.

— Так и подкапываются. Подводят под меня всякие мины гнусные!

— Гм... Это не иначе как негодяи какие-нибудь! — деланно возмущался Пернатый.

— Да уж там как хотите их называйте, а они есть!

И смотрел на него при этом Мазанка так красноречиво, что Ливенцев понял, какая идет между двумя подполковниками тайная, но упорная борьба за сытное место.

Третий же подполковник, Эльш, занят был более низменными интересами: он пил теперь уже без Миткалева, и когда однажды с ним рядом прошелся вечером по Нахимовской Ливенцев, то оказалось, что решительно все «зауряд-дамы» в белых горжетках и с ридикюльчиками, плотною стеной шедшие навстречу, улыбались, как хорошему знакомому, этому бурдастому, красному, с заплывшими глазами подполковнику.

Обещанные знамена между тем прибыли, и Баснин решил, что по этому случаю надо бы молебствие. Бригадный священник, иеромонах отец Иона Сироштан, отыскал в требнике подходящие к случаю словосплетения и включил их в общий чин молитв о даровании победы над врагами. Потом обрызганное кропилом знамя торжественно внесли в штаб дружины и немедленно приставили к нему часового.

Думали было отпраздновать прибытие знамен еще и другим способом, но хозяйственному Урфалову удалось достать всего только одну бутылку коньяку, кроме того, трудно было подыскать помещение для всех офицеров бригады. Ограничились только тем, что несколько человек, пригласив двух командиров дружин — Полетику и генерала Михайлова,— собрались на преферанс у того же Урфалова, где Михайлов, пока другие набирали и считали взятки, усидел всю бутылку коньяку, потом улегся, как был, на диване спать и так уснул, что ничем и никак не могли его добудиться до полудня следующего дня.

Но, прежде чем пристроиться к коньяку и потом уснуть, этот простоватый с виду человек с рябым красным носом вздумал перехитрить Полетику. Полетика

же очень охотно пошел на его приманку, потому что про себя лукаво думал перехитрить Михайлова, и они поменялись младшими офицерами: Полетика согласился взять штабс-капитана Переведенова, Михайлов же — поручика Миткалева. Так между молебном по поводу прибытия знамен и преферансом в чаянии бутылки коньяку определилась будущая участь двух людей.

Через день в приказе по бригаде говорилось, что Переведенов и Миткалев перемещаются для пользы службы один на место другого, и Ливенцев имел уж теперь возможность познакомиться со странным человеком, который оказался в состоянии рассердить даже «нашего обожаемого», как тогда писали в газетах, монарха своим упоминанием о революции.

Зайдя как-то в канцелярию дружины, Ливенцев заметил там новое лицо,— лицо, правда, не то чтобы сосредоточенное в себе, но чрезвычайно хмурое, недовольное, с тяжелым выражением мутных серых небольших глаз, с землистым цветом кожи, с прихотливо изогнутым шрамом от левого угла плоских губ до ушной мочки, причем только и была эта мочка, остальной же части уха не было совсем.

Голова держалась вперед, будто с намерением боднуть, но грудь была впалая, и все тело какое-то хлипкое, явно слабосильное, болезненное.

Это и был переведенный для пользы службы Переведенов. Он посмотрел на Ливенцева по-своему, то есть очень как-то хмуро и подозрительно и обидно-презрительно в то же время, как смотрел он, должно быть, и на царя, и, когда Ливенцев назвал свою фамилию, дернул слегка головою с торчащими неприглаженно косицами и сказал:

— Слыхал про такого.

— А что вы именно слыхали? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Да вот то, что мне бы надо на ваше место...

Ливенцев понял, что слыхал он об этом не от другого кого, как все от того же поручика Миткалева, и усмехнулся:

— Не стоит вам мечтать об этом: ведь прибавки к жалованью никакой вы не получите.

— Как это не получу? Я-то? Я получу, если захочу! Вона, прибавки не получу!.. Чтобы я?.. Сказал тоже... один такой!

Говорил он отрывисто, будто не хватало воздуху ему на длинную фразу, и очень был при этом серьезен.

— Гм... Как же именно получите? — удивился немного Ливенцев.

— Так! Это уж мое дело, как... Скажи вам если, так вы и сами кинетесь требовать. А тут нужно требовать, а совсем не просить.

Голос у него был очень похож на голос Миткалева, и Ливенцев спросил его непосредственно:

— А водочку вы, должно быть, ненавидите?

— Водку?.. А?.. Угостите, а? — очень как-то сразу оживился Переведенов и даже двумя пальцами взял его за рукав, правда, осторожно, испытующе.

— Нет, что вы! Я спросил только...

— Спро-сил!.. Об чем спрашивает! — по-прежнему презрительно глянул Переведенов.— Штабс-капитан так чтобы вертелся, вроде собачки возле стола, а прапорщик чтоб на правах ротного командира?.. Это не модель, нет! Я это командиру дружины сегодня доложу.

— Чудак! Сам себе беспокойство накачать хочет, а зачем? — сказал Ливенцев, усмехнувшись, и отошел. Но на другой же день услышал, что Переведенов действительно обращался к Полетике и сказал даже, что это не по закону, чтобы штабс-капитан был младшим офицером, а прапорщик занимал самостоятельную должность. И на это будто бы Полетика ответил:

— Младший офицер из вас действительно ни к черту! Проситесь сразу в командиры дружины: это вам подойдет больше.

Когда в другой раз встретил Ливенцев Переведенова, тот уже не говорил ни о должностях, ни о законностях, а только о водке.

— Угостите, а?.. Ну что вам стоит?.. Вы, говорят, человек богатый! — и преданно смотрел в глаза.

— Ну как это угостить? Что, у меня запас водки, что ли? — пробовал уйти от него (дело было на улице) Ливенцев.

Но Переведенов положил свою руку в карман его шинели и бубнил около:

— Я вам песню тогда спою... Вот такую песню:

За речкой, за быстрой
Становой едет пристав...
Ой, горюшко-горе,
Становой едет пристав!

— Ну зачем мне такие песни? — пытался освободить свой карман от его руки Ливенцев.

А Переведенов продолжал самозабвенно:

Утя-ток, гуся-ток,
Да деся-ток поросяток...
Ой, горюшко-горе,
Да десяток поросяток...

Между тем пьян он не был: он только жаждал напиться.

Когда сказал о нем Ливенцев Кароли, темпераментный грек выразительно выпучил глаза и выставил губы:

— Накажи меня бог, променял наш цыган кобылку с запалом на меринка с норовом! Это же, если ему с мозга рентгеновский снимок сделать, там шишка на шишке сидит, шишкой погоняет. Да по нем все сумасшедшие дома плачут — в корень, в кокарду, в Распутина!.. Миткалев хотя и пьяница был, так ведь не такой же дурак, а этот и пьяница и сумасшедший. Да он нам когда-нибудь ночью казарму керосином обольет и подожжет,— накажи меня бог, правда! К нему нужно человека приставить, чтобы за ним наблюдал. Он по своей невменяемости на любую уголовщину способен,— в печенку, в селезенку, в корень!

Ливенцев и сам видел, что из двух хитрецов командиров дружин перехитрил все-таки старший в чине.

Но ему было суждено вскоре вздохнуть свободно: уходил теперь уже действительно, а не гадательно, подполковник Генкель, и не на должность командира дружины, а почему-то в заведующие имуществом авиационного парка в том же Севастополе. И еще думал только Ливенцев, кто же теперь кого осилит — Мазанка ли Пернатого, или вкрадчивый Пернатый несколько вспыльчивого Мазанку, как в приказе появилось, что на место Генкеля заведующим хозяйством назначается с переводом из дружины генерала Михайлова какой-то подполковник Гусликов.

Это возмутило всех в дружине, даже и Кароли, который думал с назначением на хозяйство Мазанки или Пернатого опять получить роту, но Ливенцев был совершенно удручен тем, что Генкелю устроили прощальный обед все в том же гостеприимном домике Урфалова и кое-кто, пусть даже и выпивши, даже поцеловался с ним на прощанье.

Ливенцев почти испуганно говорил, когда узнал об этом, Монякову:

— Что же это за подлость такая, а? Уходит, и черт с ним, и на радостях можно даже выпить по рюмке, так и быть уж, куда ни шло! Но чтобы целоваться с таким мерзавцем... Это уж последняя степень падения!

— Русский человек — он, знаете, и забывчив и отходчив,— пытался объяснить ему Моняков, здоровье которого в последнее время становилось заметно хуже.

— Нет-с, дело тут не в русском, нет! Я ведь тоже русский человек, однако...

— Вы — другое дело: вы с ним были в ссоре.

— Нет, это не объяснение, но... не будем говорить о том, что нам обоим и без разговоров понятно. Хорошо хоть и то, что вас не было на этом позорище.

— Мне одна сестра милосердия писала из Сербии... Вот ведь куда ее занесло: в Сербию!.. Писала, что сцена, то есть театральная сцена, по-сербски «позорище»,— сказал Моняков, не улыбнувшись.— А ведь мы с вами ничего позорного в подмостках не видим, не так ли? Так и все вообще... относительно, приблизительно и условно. И сколько вот умирает людей на фронте — и так и не знают, что они делают такое: не то это подвиг, не то это глупость, не то это даже подлость, и сам черт этого не разберет!

— Эти золотые ваши слова я тоже когда-нибудь прочитаю во «Враче»? — оживленно спросил Ливенцев.

Но Моняков только усмехнулся криво.

Подполковник Гусликов появился в дружине в тот же день, как было объявлено об его переводе, и все сразу увидели: вот кто по-настоящему расторопный штаб-офицер! Невысокий, с аккуратно подстриженной бородкой чалого цвета, с серебром в усах, сероглазый сангвиник, он говорил бойко, хотя и не всегда ясно, вследствие недостачи зубов, стремился даже говорить и за своих собеседников, прибегая часто к таким оборотам, как: «Вы мне на это, конечно, скажете, что... Но я вам на это скажу...» При этом он делал самые сложные жесты, точно занимался в течение разговора кстати и шведской гимнастикой, чтобы использовать время всесторонне и с наибольшими для себя результатами. На одном месте он тоже долго усидеть не мог, он весь был — движение и нисколько не утомлялся этим. Словом, в первый же день всем ясно стало, почему, любящий в штаб-офицерах больше всего расторопность, назначил его заведующим хозяйством на место Генкеля генерал Баснин. И только молчаливый и неисправимо-

печальный зауряд-Багратион все время делал изумленное лицо, когда он обращался к нему с теми или иными вопросами, но объяснялось это только новостью для Гусликова его положения: в дружине генерала Михайлова он был только ротным командиром. Кроме того, говоря с Аврамиди, он, по-видимому, не вполне вслушивался в его ответы и объяснения, так как набрасывал пером, притом на какой-то деловой бумаге, его, зауряд-Багратионов, профиль, действительно очень приманчивый для художников. Кароли он сказал между прочим, что учится действовать и акварельной кистью и что у него «выходит недурно»; кроме того, он будто бы изобрел способ вылавливать мины совершенно безопасно для тральщиков и не сегодня-завтра начнет хлопотать о патенте на это изобретение.

— А вы знаете, какая это опасная теперь штука — тралить мины? Малейший какой пустяк, так, знаете, ма-а-ленький такой недосмотр — и конец! Мина взрывается, и тралер к черту, на дно, и тральщики — в мелкие кусочки. Хлоп — и готово! Только дым, и паленым мясом пахнет... А у меня — мальчишек посади, и они отлично тралить будут!

Так же точно он будто бы нашел способ делать иод из морских водорослей, какие валяются здесь на берегу после прибоя.

— Иод — прямо как деготь течь будет! Только пузырьки подставляй и рассылай по госпиталям на фронт... А вы знаете, какой недостаток у нас иода теперь! То он к нам из Германии шел, а теперь откуда придет? Доставляют, конечно, союзники, да очень мало,— им и самим надо.

Кароли послушал-послушал его и сказал о нем Ливенцеву при первой встрече:

— Ну и заведующий хозяйством наш новый! Накажи меня бог, это тоже какой-то шут гороховый. Говорит с тобой, а сам все штаны подтягивает! Я уж ему посоветовал купить подтяжки — новейшее изобретение человеческого ума. «А то что же вы,— говорю,— Европу и Америку удивить хотите, а штаны с вас падают? Падшими штанами Америки не удивишь...» Накажи меня бог, если это не форменный осел!

Однако Гусликов как завел это с первого же дня своей службы в дружине, так заведенного и держался: придя утром в казарму, не уходил из нее целый день

до вечера, обедая вместе с писарями. Главной заботой его были мастерские, где этот, по-своему все-таки деятельный человек сам хватался за все инструменты и что-то такое мастерил около станков. Возможно, что из него действительно вышел бы неплохой механик, если бы не вышел плохой военный. Оказалось, что он с увлечением может чинить и дамские ботинки, но объяснялось это тем, что с ним вместе жили здесь, в Севастополе, жена и две взрослых дочери.

Знакомить с ними Гусликов и потащил Ливенцева, когда он вечером как-то зашел в оружейную мастерскую поправить что-то в своем револьвере.

Гусликов оказался как раз там и действовал напильником над какою-то железкой. Увидев Ливенцева, он тут же засыпал его проектами выделки иода, безопасного тральщика и, кажется, даже неизносимых солдатских сапог, потому что весьма пространно начал толковать ему что-то о флотской и елецкой коже.

— На фронт пойдем если с вами, заказывайте себе сапоги тогда из елецкой кожи, а не из флотской. Флотскую вытяжку вам могут и за тринадцать рублей поставить, только разве можно флотскую выделку с елецкой сравнить? За елецкие сапоги вы восемнадцать заплатите, дешевле вам не сделают, так зато же насчет воды с елецким товаром вы будете спокойны, а уж флотский...

— Вот тебе раз! Кажется, должно быть именно наоборот,— перебил его Ливенцев.— Флотский не должен бы воды пропускать, иначе какой же он флотский? А елецкий — сухопутный, елецкий уж пусть, так и быть, пропускает...

— Нет-с, этого не должно быть, чтобы елецкий пропускал воду, разумеется, если только он хорошо прожирован. Я вот свои сапожонки восемнадцать лет назад заказывал,— правда, несколько лет я их не носил, когда в отставке был... Жировать тоже надо знать, чем именно, а то она, елецкая юфть, плохого жиру тоже не любит... Тогда меня возьмите с собой, когда сапоги себе на фронт будете заказывать, потому что вы, раз вы этого не знаете, елецкой юфти от флотской ни за что по виду не отличите, а сапожник вас, конечно, надует.

Такая осведомленность в сапожном товаре и такая заботливость со стороны этого нового заведующего хозяйством об его будущих сапогах привела Ливенцева

к тому, что он не отказался пойти с ним вместе к нему на квартиру, познакомиться с его женой и дочерьми.

Бывают семьи, в которых все торчит и ершится и идет вразброд, как непричесанные вихры на голове забияки, уличного мальчишки. Оно и не то чтобы все в этой семье были между собою на ножах,— совсем нет, но ссорятся в ней очень быстро, с двух-трех слов; потом, правда, начинают вдруг говорить как ни в чем не бывало, вместе чему-нибудь обрадуются, вместе даже и сделают что-нибудь, но чуть что,— сейчас же крик, и что-нибудь летит в стену, и хлопает, как ружейный выстрел, дверь, и звякает разбитое стекло, и потом все сидят по разным углам и дуются.

Вот такая именно семья была и у Гусликова.

Когда денщик отворил им дверь, а это было уже в сумерки, из освещенной комнаты в темную переднюю выглянула лохматая женская голова, равнодушно сказала:

— Папка пришел,— и скрылась.

Гусликов бормотнул Ливенцеву:

— Вот это — Фомка.

И тут же спросил денщика:

— А Яшка дома?

— Так точно, дома,— деловито отозвался денщик.

И когда вошел Ливенцев в небольшую гостиную, он увидел двух девиц в разных углах ее,— одна быстро листала книгу, чтобы посмотреть, каков конец ее, другая что-то строчила на машинке.

— Вот эта — Фомка, а та — Яшка,— кивнул на вторую Гусликов.

Увидев Ливенцева, Фомка бросила книжку в угол, вскрикнула: «Ну, папка, это черт знает что!» — и выбежала из комнаты, а Яшка встала из-за машинки, протянула Ливенцеву руку и сказала:

— Папа как звал нас маленькими, так и теперь зовет,— и очень ласково улыбнулась.

Сам же Гусликов, суетясь, по обыкновению, и поддергивая шаровары, говорил с чувством:

— Мечта!.. Мечта жизни была иметь двух сыновей — Фомку и Яшку, а не таких ослиц! Теперь они бы уж подпоручиками были оба, жалованья бы получали по полтораста в месяц...

— Вот поступим в сестры милосердия, и мы будем жалованье получать,— сказала Яшка, а Гусликов подхватил, обращаясь к Ливенцеву:

— Ах, с каким я сегодня симпомпончиком-сестрой из второго госпиталя познакомился,— пальчики оближешь!

Тут из другой комнаты выскочила взбившая себе наскоро прическу Фомка, бойко сунула руку Ливенцеву и накинулась на отца:

— А-а, так ты опять симпомпончиков заводишь! Хорошо, вот мать придет, я ей непременно скажу!

— Не говори! — умоляюще поглядел на нее Гусликов.

— Скажу! — и ногой топнула.

— Я ведь только познакомился, больше ничего, дура ты!

— Знаем мы, как ты «только знакомишься»! Будешь потом пропадать в этом своем госпитале и мои блузки туда ей таскать.

Ливенцев смотрел, ничего не понимая. Он думал даже, что Гусликов нарочно хочет показать ему своих дочерей, как невест. Вот — младшая, Яшка, лет девятнадцати, с нежными щечками и скромными взорами, она же и рукодельница, и может при случае сама кроить и шить чепчики твоим будущим младенцам. А эта, Фомка — постарше, побойчее; она, конечно, не так нежна, как Яшка, и не настолько миловидна, хотя тоже очень недурна собой, но зато с нею уж не пропадешь; эта ни тебя самого, ни всего своего семейства в обиду не даст, и сама строгих правил, на нее уж можно надеяться! Только бы сам ты не завел каких-нибудь амуров на стороне, а заведешь — берегись: такая тебе не спустит!

Глазки у Фомки были карие, огневые, у Яшки — голубовато-зеленые,— впрочем, так казалось при лампе; и на плечах у Яшки накинута была мантилька, у Фомки — теплая, из козьего пуха, серая косынка: в комнате было прохладно.

Не успел еще Ливенцев придумать, что бы такое сказать этим двум девицам, как Гусликов уже тащил его к себе в кабинет:

— Пойдемте, покажу вам, какое я себе освещение сам сделал. Сухие элементы, и вот... Ма-а-ленький, правда, свет, а все-таки электрический!

Завел Ливенцева в какой-то темный закоулок, пошарил по стене, и вдруг загорелся действительно ма-аленький розовый фонарик, при котором все-таки можно было найти койку у стены, сесть на нее, раздеться и лечь спать, а вставши, кое-как можно было одеть-

ся; больше при таком фонарике ничего нельзя было делать.

Но чтобы сказать Гусликову что-нибудь приятное, Ливенцев говорил, подбирая с усилием слова:

— Да, у вас, конечно, были практические наклонности в молодости, и вам бы надо пойти по технической части...

— Женился я рано, вот что! Я только что окончил юнкерское, тут же и женился. Пошел в фотографию сниматься, смотрю — ретуширует там один тип карточку,— прелесть девица! Объедение!.. Я сейчас: «Кто такая? Здешняя? Познакомьте!..» Ну, меня на другой же день познакомили, а на третий я — бух! — предложение сделал. Видите ли, очень много совпадений у нас оказалось: первое — родились в один день, двадцать четвертого сентября, потом отцы оказались тоже одних лет, затем — службу начали и мой и ее отец в одном полку, потом... мать свою я спросил, как ее имя, и что же вы думаете? Я загадал, когда спрашивал: если угадает с первого раза, значит женюсь. А мать мне и говорит: «Анюта!» Никакого ведь понятия о ней раньше не имела!.. Даже еще я одно пропустил: выигрышные билеты, какие на нее и на меня были положены, оказались, представьте вы себе, одной и той же серии!.. Ясно, что тут уж думать много нечего было... Да ведь что еще, совпадение какое было: я жил в доме двадцать три по одной улице, а она — в доме двадцать три по другой улице!

Ливенцев согласился, что этого всего вполне было достаточно, чтобы сочетаться браком, но спросил все-таки:

— Она где же сейчас? Ее нету дома?

— Ее уж и на свете нет, а дома нет это моей второй жены. Я женился на ней всего только года два назад, в Ахалцыхе... Яшка! — крикнул он в гостиную.— Мать куда ушла?

— В магазины куда-то... Я почем знаю, куда! — недовольно ответила Яшка.

— Ничего, она скоро придет, и я вас с нею познакомлю,— успокоил Ливенцева Гусликов.— Это я, знаете ли, на Кавказе был по какому случаю? Представительство взял у фирмы велосипедной Герике и вояжерствовал по всему Кавказу на велосипеде. Это после смерти жены... первой жены... Все-таки мы с нею больше два-

дцати лет прожили, так что, с одной стороны, тоска меня гнала, а с другой — понимаете, что это значит возрастный ценз? Куда ни ткнешься просить должности,— это когда попросили из полка в отставку,— куда ни сунешься, везде вопрос: «Сорок лет имеете уж?» — «Больше имею»,— говоришь. «Ну, таких старых нам не надо!» И ступай. Так что я за фирму Герике и за велосипед, какой от нее получил, зубами схватился! И ничего, я все-таки года два от велосипедов ел хлеб, и семья моя тоже. Вот тогда в Ахалцыхе и с теперешней женой познакомился... А в Адлере тюльпанное дерево видел, большая редкость! Таких только два и есть на всем земном шаре, другое в Алжире где-то... Только наше — это мужского рода, а в Алжире дерево — то женского рода. Бывает же такое несчастье, чтобы мужское от женского на таком расстоянии! Ведь Алжир — это где? В Африке, кажется?.. В Африке? Ну вот! А Адлер в России. Вот и извольте теперь... через целый океан или там в этом роде!

Пожалев тюльпанные деревья, Гусликов вполголоса пообещал все-таки познакомить Ливенцева с тою сестрою из госпиталя, которую он называл «симпомпончиком», а кроме того, у него оказалась еще хорошая знакомая, вдова жандармского ротмистра, с которою тоже, по его мнению, было бы невредно познакомиться Ливенцеву, потому что хотя он и математик, «но, знаете ли, нынче математика, завтра математика, так и жизнь пройдет,— что же это такое за абсурд и чепуха с маслом?..»

— Позвольте, что же вы так легкомысленно, сударь! — отозвался на это Ливенцев.— А война? Идет она или нет? Вы о ней как будто совсем забыли.

— Ну, что там война! Война — в порядке вещей: одних убивают, другие нарождаются... К лету войне этой будет конец, и тогда иди, Гусликов, опять ищи, чем бы тебе заняться!.. Может быть, мне тогда фотографию открыть, а? Как вы думаете насчет фотографии?

Своих соображений насчет выгодности фотографии не успел сообщить Гусликову Ливенцев, так как в это время в передней, а затем в гостиной раздались крикливые женские голоса: это явилась с покупками жена Гусликова, и тот стремительно потащил гостя знакомить с женой, о которой сказал:

— Ну вот! Сейчас вы ее и увидите — даму из Ахалцыха.

Она была еще молодая, может быть года на три, не больше, старше Фомки, высокая, стройная, подчеркнуто-кавказского типа: узкое лицо, тонкий с горбинкой нос, прямые черные волосы, голова небольшая, брови почти срослись,— это делало лицо строгим, но только тогда, когда она не улыбалась.

Улыбалась же она часто, потому что зубы у нее были белые, ровные, и потому еще, что она малопонятно говорила по-русски, немилосердно калеча слова, однако выходило как-то так, что Ливенцев не совсем был уверен, что она калечила слова бессознательно. Когда, например, за чаем, она прочла кусок из оды «Бог» Державина по-своему, то у нее вышло это так:

О, мунхрутушки-мунхрудзень,
Кому не тендзе напрудзень,
Кому никто постричь не мог,
Все называет это — бог!

Давно уж не случалось этого с Ливенцевым, чтобы он сидел за чаем в компании молодых девиц и молодой дамы, которым наперебой хотелось его занять, от которых пахло разнообразными духами, у которых были по локоть обнаженные руки, из которых одна спрашивала его, стоит ли поступать на курсы сестер милосердия, когда война, может быть, скоро окончится, как многие говорят и даже пишут; другая спрашивала, каких он видел на столичной сцене знаменитых артистов и слышал ли он Шаляпина; а третья так мило перевирала русские слова, что это к ней очень шло и казалось нарочно придуманным приемом кокетства.

Гусликов рассказал, как он когда-то в зеленой юности, еще будучи юнкером, влюблен был в одну даму, очень красивую, молодую, не старше лет тридцати, «ну, может быть, тридцати двух...» и «пользовался ее взаимностью...».

— И вот... вы только представьте себе мой ужас!.. не так давно встречаю ее здесь в Севастополе. Случайно ехали рядом в трамвае и разговорились. Старуха и старуха, а кто она такая — на что мне?.. Она же смотрит-смотрит на меня пристально, да вдруг как вскрикнет: «Петя! Пе-тичка!» — и мне на шею, и ну меня целовать!.. А у нее во рту всего только два зуба — один клык вверху, другой клык внизу, и худющая, и страшная, и глаза красные!.. Я из вагона на ходу выскочил да бежать! После этого не спал целую ночь...

Эх, когда счастье на вас валиться будет, не отстраняйтесь, вот мой вам совет. А то в старости и вспомнить нечего будет, и будете себя кулаком по лысине бить, да уж не воротишь, нет!

Это было зловеще, а неистовая Фомка подмигивала отцу:

— Ох, ты только о том и думаешь, чтобы тебе было вспомнить приятно!

На что обеспокоенно отозвалась, глядя на нее, дама из Ахалцыха:

— А что? А чего? А кто еще ему там завел такой? — и грозила мужу тонким розовым пальцем, сдвигая черные брови.

В ответ на это Гусликов пытался хохотать заливисто, но ему это плохо удавалось.

Яшка же в это время умильно спрашивала Ливенцева:

— Вам еще налить чаю? Скажите! — и щедро накладывала на его блюдечко сахар, наколотый мелкими кусочками, так как здесь принято было пить чай вприкуску.

Она же, украдкой улучив удобную минутку, кивнула на коврик из цветных лоскутков, висевший на стене, и спросила:

— Вам это нравится?

Ливенцев оглянулся на этот коврик,— Иван-царевич или кто-то другой подобный, в красном, синем и пепельном, с русыми кудрями, летел там среди голубых облаков на белом лебеде,— улыбнулся Яшке и сказал:

— О да, очень мило!

— Это я делала,— вся закраснелась Яшка.

Гусликов же, который за всеми кругом следил зорко, подтолкнул локтем Ливенцева и сказал, кивая на Яшку:

— У нее есть вкус. В этом отношении она вышла вся в меня... И тоже акварелью рисовать пробует.

Ливенцев перевел эти слова так: «Познакомьтесь с ней покороче,— может быть, сойдетесь характерами». Поэтому стал он упорно смотреть на Фомку, а та, поймав этот его взгляд, явно захотела показаться ему спокойно-расчетливой и по-мужски дальновидной и заговорила исключительно для него:

— Мне начхать на все эти телеграммы с театров военных действий,— это, конечно, все сплошное вранье! А вот, когда немцы издают приказ, чтобы кухарки кар-

тошки не чистили, а варили бы ее в мундире,— это уж для меня не чепуха. Это уж кое-что значит! Или пишут вот, что в Германии муку из соломы начали делать.. Соломенный хлеб чтобы был,— это не шутка?

— Вроде соломенной вдовы,— сказал Ливенцев.

— Нет, гораздо хуже! На этом хлебе долго не протянешь. Да еще и такого хлеба приказано не давать на неделю больше чем два кило. А два кило — это пять фунтов, а в неделе семь дней!..

— Что так, то так,— должен был согласиться Ливенцев.— Но, может быть, это злостная выдумка?

— Нет, не выдумка, а очень на правду похоже. И вот выходит, что война к лету кончится, потому что жрать немцам нечего будет, и на кой черт нам тогда эти курсы сестер милосердия?

От волнения матовые щеки ее зарозовели, и глаза стали еще огнистее.

Гусликов подтолкнул локтем Ливенцева и кивнул теперь на Фомку, сделав глазами и губами знак удивления:

— Какова, а? Министр! Все расписала по своим графам.

И Ливенцев перевел это: «С такою ты ни за что не пропадешь!» Поэтому он встал и начал прощаться. И хотя Гусликов сделал вид, что очень обижен, и все отбрасывал его руку и твердил, что это черт знает что — уходить так рано, и хотя Фомка поводила укоризненно лохматой головой и раздувала ноздри, Яшка же пожимала плечами, излучая из голубых глаз короткие, но могучие призывы, а дама из Ахалцыха, схватив его за обе кисти рук и сдвинув брови, сделала при этом очень страшное, кавказское лицо,— он все-таки ушел, так и не спросив, каковы были настоящие имена Фомки, Яшки и дамы из Ахалцыха.

Зато дня через два Ливенцев, гуляя на Приморском бульваре, встретил Пернатого с женой и свояченицей.

Сюда очень любил заходить Ливенцев днем, когда был свободен, или даже вечерами, когда бульвар был многолюден, правда, но люди двигались в нем неясными тенями,— ведь зажигать огни воспрещалось ввиду возможности обстрела с неприятельских судов или даже нападения аэропланов, и чуть только кончался день, все поспешно погружалось во тьму.

Днем здесь был тот уют, которого не хватало Ливенцеву, и он гулял тут так, как будто и не носил

шинели, и был свободен по-прежнему, и подолгу мог простаивать у парапета, облокотясь на чугунные перила.

Тут было тихо,— только шептала внизу, у камней, вода в бухте, точно только что пойманные раки в большой корзине, да иногда кричали чайки, усаживаясь на боны. Отсюда видны были до мелочей все суда эскадры и даже одинокое сторожевое судно на внешнем рейде.

И здание курзала, не вполне выдержанное в мавританском стиле, если только не входить в него, а смотреть издали, было как-то под стать высоким тополям, похожим на кипарисы ночью, плакучим шелковицам и ясеням и нишам из непроницаемо густых, подстриженных ровными стенами буксусов и японских бересклетов, зеленых и зимою и скрывающих таинственные, много видевшие всего зеленые же скамейки.

Желтыми, веселого вида, ракушками были густо усыпаны дорожки аллей, и садовник Иван Мартыныч, хлопотливый длинный эстонец с рыжими усами, с которым свел знакомство Ливенцев, охотно посвящал его в тайны своей оранжерейной магии и был доволен, что Ливенцев понимал латинские названия цветов

Все отставные флотские, будь они адмиралы или гораздо ниже чинами, очень любили, как наблюдал Ливенцев, смотреть на бухту, впиваться не мигая в суда, слушать склянки на мирном «Георгии». А недавно родившиеся, приходившие сюда с няньками, будущие флотские, отлично знали, как убеждался в этом Ливенцев, названия всех крупных броненосцев и крейсеров и с презрением относились к неподвижным «Георгию» и «Синопу».

Днем было чинно на этом бульваре и тихо. Бесчинства начинались вечером, когда наступала темнота, когда собиралась сюда едва ли не половина всех севастопольских зауряд-дам, с ридикюльчиками, в белых горжетках, и едва ли не половина зауряд-офицеров разных рангов, и тогда Приморский бульвар был похож на огромный лупанарий, в котором потушены огни.

Однако Ливенцев заходил сюда иногда лунными вечерами, когда от полной луны было свету столько же, как в сумерки, и можно было разглядеть в густой толпе не только зауряд-дам и зауряд-офицеров, но еще и гимназистов и гимназисток старших классов в круглых форменных шапочках с металлическими значками.

От них — издали, со стороны — хотелось услышать что-нибудь такое, что можно им было говорить именно в такие вот лунные вечера, когда тихо, тепло, когда чуть слышно шепчется море с камнями да чуть рокочет вдали между судов моторный катер, а сверху над скамейками нависают мягко и густо, как косы, переплетенные ветки плакучих шелковиц.

Ливенцев садился тогда куда-нибудь в тень, в укромный угол, или медленно двигался в толпе и жадно прислушивался к тому, что говорили эти юные.

Но слышать приходилось такое:

— Ах, как приятно прижаться к тепленькой девочке!

— Что ты так давишь мою руку, дурак?.. Хочешь, чтоб я заплакала?

— «Не плачь, дитя, не плачь напра-а-асно!!!»

Или такое:

— Ты космографию помнишь? У вас учили?.. С какой стороны луна растет?

— Не знаю... Кажется, с правой?

— Гм... Та-ак! А восходит луна откуда?

— Ну, не знаю! Чего ты пристал с глупостями?

— Ага! Не знаешь? То-то!.. Вот я тебя как поймал!

— Болван ты! Очень мне это нужно!

И вот еще была какая странность, подмеченная Ливенцевым в лунные тихие вечера на Приморском бульваре: о том, что волновало весь мир, о том, что потрясало весь мир, о том, что преображало весь мир,— о чудовищной войне не говорил тут ничего никто.

Пернатый по случаю теплой погоды надел шинель внакидку; так, окруженный женой, свояченицей да еще маленькой, лет четырех девочкой, дочкой жены не то от капитана Бородина, не то от кого другого,— он имел совсем домашний, отставной вид.

— Вот моя Анастасия Георгиевна,—очень тщательно выговорил он, знакомя Ливенцева.— А это Галочка, ее сестрица.

Сестры были мало похожи друг на друга; Анастасия усвоила уже себе кое-какие городские манеры, была повыше сестры, несколько пригляднее, а главное, нервнее: на все морщилась, ахала, вздергивала плечи. Галочка держалась по-деревенски — корпусом вперед, ходила носками внутрь и лицо имела свежее, деревенское, но лишенное способности как-нибудь менять выражение.

Неизвестно, из каких именно побуждений Пернатый, после нескольких слов, сказанных из приличия, вдруг

заторопился куда-то идти по делу и действительно ушел, оставив Ливенцева на произвол Анастасии Георгиевны.

И та сказала ему:

— Ах, как здесь солнце пекет! Так даже загореть можно, очень нужно тоже!.. Пойдемте, в тень сядем.

Сели в тени на зеленой скамейке, но оказалось, что тут холодно, ветер дует,— нужно было вскочить и вознегодовать на ветер:

— Ах, какой противный! Можно простудить горло... Пойдемте, лучше на солнце сядем.

Уселись на солнечной стороне — не понравился костюм проходившей мимо под руку с лейтенантом молодой дамы.

— Ах, мерзость какая! Видали, какая юбка с вырезом сбоку?.. Это чтобы ножку свою дивную показать!

Но через минуту она уже тянула Ливенцева посмотреть эту юбку с вырезом сбоку поближе, чтобы заметить фасон, и говорила:

— Я себе тоже могу заказать такую... Это только при красивой ноге можно такие юбки носить, а у меня тоже ведь красивая нога.

Чтобы чем-нибудь занять Галочку и дочку, она сорвала им по цветочку желтофиоли, только что высаженной в клумбы, и маленькая сейчас же старательно начала обрывать желтые пахучие лепестки, а Галочка нюхала-нюхала цветок да как-то нечаянно охватила его налитыми красными губами и уж, видимо, не могла придумать, что можно с ним еще сделать, а старшая сестра показывала пальцем на нее Ливенцеву.

— Вот! Посмотрите на дуру! Цветок жует... Ведь она еще месяц назад кнутиком волов погоняла: «Цоб-цобе!» А тут волов как раз и нету, вот она и не знает, что ей делать...

Галочка улыбалась смущенно, а кривоногая девочка в красной шапочке и зеленом костюмчике то копалась в желтом песочке на дорожке, то подбегала к матери с отсыревшим носиком.

— Ах, как я тебя ненавижу! — говорила ей мать.

— Нет, любис,— отзывалась девочка.

— И нос какой-то длинный! Ф-фу!.. Найди где-нибудь пилу, я тебе его подпилю... До чего же я тебя ненавижу!

— Ну-у? — недоверчиво тянула черноглазая девочка.— Любис?

— Ах, если б у меня был мальчик!

— Вам, значит, больше нравятся мальчики? — спрашивал, чтобы не сидеть молча, Ливенцев.

— Ну, конечно! Мальчика всегда можно хорошо одеть, а вы посмотрите на девчонок, как они все паршиво одеты!

— В таком случае вам и женщины не нравятся?

— Ну, конечно! Я так жалею, что я — женщина!

— Пожалуй, будь вы мужчина, из вас вышел бы недурной подпоручик,— сказал Ливенцев.

— О-о! Еще бы!.. И я бы так командовала всеми: «Эй, вы там! Смирно, вы там, у меня!..»

— Гм... Так никто не командует.

— Мало ли что — никто! А я бы стала так.

— Да таких и команд нет.

— Мало ли что!.. Ну, Галочка,— что же ты сидишь и все молчишь? Ты бы что-нибудь говорила! Ты думаешь, не скучно с тобой так вот сидеть?

— Очень скучно! — искренне согласился Ливенцев.

— Вот! Вот видишь, что говорят мужчины... Скучно с тобой очень!.. Ну, пойди хоть с Ленькой погулять по дорожкам.

Галочка, все так же улыбаясь виновато-смущенно, безмолвно поднялась, вздохнула и пошла к девочке, а Анастасия Георгиевна, подождав немного, когда они завернут за угол дорожки, очень общительно схватила вдруг за локоть Ливенцева, приблизила к нему узкое, несколько долгоносое лицо и заговорила придушенно:

— Ах, он мне опротивел очень! Ведь он меня за триста рублей купил... Положил на мое имя месячное жалованье в кассу и книжку мне принес.

Ливенцев догадался, конечно, что она говорит о Пернатом, но ничего не нашелся сказать ей, а она продолжала:

— Ну, я ему зато такие вот наставляю! — и раздвинула, как могла шире, указательный и средний пальцы на правой руке.

Не зная, как отнестись к такой неожиданной откровенности, Ливенцев сказал: «Гм...» и, поглядев прямо перед собою, удивленно увидел между безлистых хотя, но очень густо сплетенных веток плакучего ясеня подполковника Пернатого: он приставил руку к левому уху, и очень пристально глядели на них обоих его побелевшие от усилий глаза.

— Оказалось, ваш муж на вас смотрит,— тихо сказал ей Ливенцев.

— Ну-у?! Где? Что вы такое говорите!

Однако она тут же отшатнулась от него и стала смотреть по сторонам.

Увидев, что он открыт, Пернатый вышел как ни в чем не бывало и, улыбаясь неверно, заговорил, как всегда декламируя с чувством:

— Дети мои! Представьте, что это не я совсем, а только тень моя явилась взглянуть, что вы тут без меня делаете вдвоем.

На Анастасии Георгиевне была темно-синяя шапочка с раструбами, наподобие конфедератки; она лихо сдвинула ее назад и покачала головой вызывающе:

— По-ду-ма-ешь, что мы тут можем делать вдвоем! Что теперь — ночь, что ли? У тебя все только одни ревности ко всем, без ревности ты не можешь!

— Ну, тише, тише, что ты! Нельзя же так в публичном месте! — испугался Пернатый.

Ливенцев счел за лучшее откланяться и уйти.

Но, выходя из ворот бульвара, он почти натолкнулся на спешащего и ничего не способного замечать кругом Полетику. Однако, когда Ливенцев сказал обычное: «Здравия желаю!», Полетика вскинул на него какие-то отсутствующие глаза и остановился.

— Что с вами? — спросил Ливенцев, так как полковник только смотрел на него, не говоря ни слова, и голубые глаза его потухли и запали.

— Да вот... не спал две ночи... Дочь привезли ко мне, чтобы в этот, как его, черт!.. Ну, вы, должно быть, знаете,— вы все знаете... ну, этот... курорт какой-то тут есть в Крыму... Ну, черт с ним!.. Понимаете, была такая здоровая — вы бы с ней поборолись... А теперь — лежит... Что же это такое?.. Жена моя тоже приехала... Сорок градусов ежедневно...

— И жена больна тоже?

— Да нет, какое больна! Разве я вам сказал — больна? Сорок ежедневно — это по утрам, а к вечеру тридцать восемь... К доктору я теперь к этому... на Большой Морской он... Дурасов, кажется, а?.. Или Дубасов?.. Или это генерал какой-то был Дубасов?.. Так вот... что я такое говорил?

— Насчет дочери вы говорили.

— Да, вот... Впрыскивания уж начали делать... этой, как ее... ну, вот она еще такая вонючая...

— Камфоры, что ли?
— Камфоры, да...
— Неужели так уж серьезно?
— Сухой плеврит был... Говорят, с него началось... И вот теперь... Как же так, а?.. А там дорого, на этом курорте, не знаете?
— Смотря где и как...
— Сто восемьдесят в месяц, вы сказали?
— Нет, я ничего не говорил.
— Да нет, это не вы... Это мне брат писал... Это на кумысе там, в Самаре, на кумысе... А она говорит, дочь, чтобы миропомазание. Она у меня религиозна... А что же оно, это самое... помазание может помочь? Ведь это — не лекарство же в самом деле, а только так... вера одна... Я пригласил, конечно, что же... Пусть делают... А все-таки я хочу еще к Дурылину... Как же так? Неужели средств никаких нет?.. Ну вот вы все знаете...

Полетика смотрел на Ливенцева по-детски, с какою-то надеждой и ожиданием, и полная растерянность его совершенно смутила прапорщика.

— Нет, что же я знаю...— забормотал он.— Вам, конечно, надо к хорошему врачу по легочным болезням.

— Вот, иду же! Ведь я иду же вот! — визгливо как-то, точно бранился с женой, выкрикнул Полетика и пошел, чуть подбросив к фуражке руку.

А в вечерней телеграмме, которую купил Ливенцев, идя домой, смутно, но довольно зловеще говорилось о каких-то двух полках двадцатого корпуса, которые пробились в Августовских лесах сквозь обошедшие корпус германские войска и присоединились к десятой армии, отступающей на «заранее заготовленные позиции». Этим давалось понять, конечно, что двадцатый корпус или истреблен, или взят целиком в плен, а между тем именно в него, в этот корпус, входил Бахчисарайский полк — тот самый, который занимал до их дружины казармы Белостокского полка.

И Ливенцев отчетливо припомнил того штабс-капитана, который гонял роту во время обеда по двору казармы, чтобы добиться от нее «шага». Взят ли он в плен, ранен ли, или убит немцами, или в ночном сражении убили его свои? И уцелел ли кто-нибудь теперь из людей его роты, распустить которых на обед он просил когда-то генерала Михайлова?

Еще он припомнил, что в том же Бахчисарайском полку он видел двух знакомых со времен японской войны прапорщиков — Серафимова, которого согласился он заменить когда-то в роте капитана Абрамова, и Швана, который заместил его самого в роте, назначенной на «усмирение» в Мелитополь.

Огромная страна выкинула куда-то в пространство и их, к которым не подошел он даже, встретив их мельком на улице, и вот теперь неизвестно, что случилось с ними в каких-то Августовских лесах или где-нибудь раньше...

Списки убитых и раненных в боях офицеров, хотя и урезанные, конечно, весьма неполные, только намеки на действительные потери в командном составе, еще печатаются иногда в газетах, а миллионы погибших солдат — они безвестны. И, может быть, только через год, через два узнает какая-нибудь Федосья Кокунько из деревни Звенячки, что муж ее убит или умер от ран или сыпного тифа, но где именно умер — этого она не узнает никогда, да едва ли будет ей это и нужно.

Но этот день оказался днем встреч: еще и адъютанта Татаринова встретил Ливенцев в нескольких шагах от дома Думитраки.

По обыкновению кругло улыбаясь, тот передал ему тщательно сложенную бумажку:

— Вот прочитайте на сон грядущий.

— Что такое? Приглашение на тактические занятия?

— Нет, нет, успокойтесь! Это — последний след вашего врага... Несколько дней храню специально для вас.

И, улыбаясь, торопливо пошел он дальше, а Ливенцев прочитал бумажку, адресованную на имя командира дружины:

«Не застав Вас в штабе дружины, довожу до сведения Вашего, что я являлся сегодня с представлением по случаю отбытия на вновь назначенную должность.
Подполковник *Генкель*».

Невольно улыбнулся Ливенцев, увидя эту «вновь назначенную должность», и изорвал бумажку в клочки.

V

Денщик Монякова Александр,— молодой малый, вскруживший голову шестнадцатилетней Фене, прислуге хозяйки дома, до того, что она вздумала травиться ук-

сусной эссенцией, когда узнала, что он женат, и Моняков едва ее выходил,— стоял теперь вечером, в этот день встреч, в дверях комнаты Ливенцева и говорил ему негромко:

— Просили вас до себя зайти: так что больные лежат.

— Чем болен таким? Что такое, что все вдруг разболелись?

— Не могу знать... Как передать им прикажете?

— Скажи: сейчас, мол, зайдет.

Александр вышел, мелькнув в дверях красной кумачовой рубахой и блестяще-черным затылком, а Марья Тимофеевна обеспокоенно сказала, появясь внезапно:

— Как же это вы так, Николай Иваныч, идти рискуете? А вдруг тиф у него, и вот вы тогда заразитесь?

— Тиф? Почему тиф?

— А что же вы думаете, мало сейчас в Севастополе тифу?

— Вы думаете, что больше, чем сахару?.. Гм... Тиф? Какой же именно вы предполагаете тиф?

— Да ведь он — Александр говорил — на желудок жалуется.

— Значит, брюшной тиф?.. Тогда бы его в госпиталь взяли, что вы! Ведь он должен же знать, что с тифом ему дома лежать нельзя. Нет, это вы зря меня пугаете.

— А что вы так уверены? Они оба с Александром этим хороши! У самого жена в деревне, а он тут девчонку несчастную с ума сводит... до чего ее довел, что уж травилась! Да я его, такого, и пускать сюда не хотела к себе, только ради вас это!

— Это вы об Александре. А доктор тут при чем?

— Небось у хорошего человека и денщик бы хороший был, а то он сам такой, что с прачкой связался! Тоже нашел с кем,— порядочных для него не было.

Марья Тимофеевна решительно негодовала — и лицо сделала очень строгое, и ноздри раздула, так что Ливенцев сказал, удивясь:

— Если даже и с прачкой спутался, ради тифа простите уж ему это.

— Может, и не тиф, я так говорю только, а насчет прачки очень даже прискорбно это! Образованный человек, а того не знает, что в Севастополе каждая женщина по военному с ума сходит, чтобы ему пуговицы мелом чистить, а он прачку нашел!

— Гм... Почем же вы знаете, что прачку?.. Впрочем, не все ли вам равно?

— Ну как может быть все равно? Что это вы такое говорите, Николай Иваныч! Порядочная женщина должна без мужчины сидеть, а прачка, которая шляется по улицам ночью...

— Почем же вы это знаете?.. Ну, хорошо, хорошо, я ему скажу насчет того, что вы возмущаетесь и очень обижены.

— Николай Иваныч, что вы это! Как можно такое говорить человеку, да когда еще он больной? У него от этого только расстройство будет... Я вот раз в монастыре Георгиевском была, там схимник в церковь входил, и то я на него не смотрела, чтобы его на какую грешную мысль не навесть. Другие женщины стоят со мной рядом, так на него глаза и лупят, а я отвернулась. И что на него смотреть? Некрасивый он очень и уж старый... Это бы ничего, что старый, он не особенно и старый, только лицо уж очень некрасивое.

— Позвольте, как же это? Ведь вы же на него не глядели, на этого схимника? Откуда же вы знаете, что он некрасивый?

— Так издали один раз посмотрела, конечно... А иеромонах, какой там обедню служил, он, говорят, и ученый, и все, а говорить проповедь не может. Начал говорить, а дара слова у него нет. Послушал народ, и все выходить стали... А то у нас тут в церкви, в Севастополе, был один батюшка, прямо как актер: начнет говорить проповедь, он и руками так и этак, он и по амвону бегает,— что же это такое! Или вот судья был в нашем участке, рыжий, с усами рыжими,— ну куда же он! Горячится, голос повышает, ногами топает!.. А другой на его место поступил — брюнет, красивый из себя, спокойный,— вот это был судья!

— Постойте-ка, вы отклонились от темы. И хотя я вижу из ваших слов, что брюнеты вам гораздо больше нравятся, чем рыжие...

— Николай Иваныч! Ну я совсем не буду в таком случае...

И Марья Тимофеевна повернулась уходить, но Ливенцев остановил ее:

— Постойте же! Ведь мы начали о докторе нашем, который кстати не рыжий, хотя и не брюнет. Скорее, он блондин, как и вы. Так вот, вам не нравится его роман

с прачкой... Допустим, что такой роман есть в действительности,— всякое в жизни может случиться. Но вот, например, если бы он вас пригласил к себе в экономки, ведь вы бы к нему не пошли бы, пожалуй, а?

— Куда же это к нему в экономки? — вся сразу насторожилась Марья Тимофеевна.

— Он из Мариуполя, там он врачом в земстве.

— Это чтобы к нему туда я поехала, а свой Севастополь бросила? Что вы, Николай Иваныч!

Однако особенного негодования не обозначилось на ее полном лице, и Ливенцев продолжал:

— А если бы он в Севастополь перевелся ради вас?

— А он разве неженатый? — уже с видимым любопытством спросила Марья Тимофеевна.

— В том-то и дело, что вдовец!

— А дети есть?

— Никого. Совершенно одинокий... В том-то и дело!

— Да пусть он не рассказывает, что неженатый! Мне так один брюнет красивый, его Владимир Алексеич звали, тоже говорил, что неженатый, а на проверку оказалось, даже на третьей уже был женат, а две первые жены будто бы умерли... А может, он их отравил! Я его пятнадцатого июля со днем ангела поздравляю, а он мне: «Я таких поздравлений не принимаю!» И гордо так! «А какие же, говорю, вы принимаете? Вы бы должны нам визитные карточки послать, чтобы на карточках было напечатано, а мы бы прочитали, какие вы поздравления принимаете».— «Я, говорит, от девиц принимаю только поцелуи!» — «Ну уж это вы меня извините, говорю, Владимир Алексеич, а только я с такими, какие мне мало знакомы, не целуюсь!»

— Гм... Опять вы отклонились в сторону какого-то брюнета... Словом, я вижу, что дела нашего бедного доктора плохи. И прачка — единственный его удел. А вы еще его осуждаете!

— Я потому осуждаю, что... как же так: прачка какая-нибудь — и вдруг... Хотя бы она красивая какая-нибудь была, а то простая совсем!.. У нас флотский один, мичман богатый, на певице женился, какая в театре пела, так он ей дворянство купил, а свадьбу играли закрыто, потому что мичман этот с порядочной девицей перед этим путался и очень от нее скандалу боялся... Ну зато же эта певица — она красивая из себя была.

Когда бы и о чем бы ни начинал говорить с Марьей Тимофеевной Ливенцев, она всегда, как заведенная,

съезжала на всевозможные истории подобного рода: лейтенанты и мичманы, поручики и штабс-капитаны, чиновники разных ведомств и даже лица духовные — все они оказывались у нее одержимыми страстью к самым неожиданным любовным приключениям, которые неизменно, как в хороших английских романах, заканчивались браками. При этом не похоже было и на то, чтобы она сочиняла сама все эти истории, нет,— просто, так, должно быть, была устроена ее память, что она впитывала и бережно хранила, как святыню, каждую слышанную быль и расцвечивала, насколько могла, то, что случалось с нею самой.

Иногда Ливенцев ее слушал без досады, замечая с улыбкой:

— Да вы, Марья Тимофеевна, прямо «Декамерон» какой-то!

Но в этот вечер не до подобных рассказов было: скопилось много неприятного за день, и беспокоило то, что вот слабый, но бодрый всегда человек, доктор Моняков свалился. А если тиф в самом деле?..

— Ну что вы, какой там тиф! — говорил ему Моняков, когда он сел у его постели.— Просто расшалилась моя старая язва двенадцатиперстной кишки... Болезнь эта считается в медицине загадочной. Происхождение ее толкуют и так и этак, но от всех этих толкований больным не легче. Лечить ее в сущности нечем. Только режим. Соблюдаем режим, а иногда вот лежим...

Он пытался шутить даже, этот бородатый худой человек очень усталого вида, но это ему плохо удавалось. Все-таки он был явно доволен, что Ливенцев зашел и сидел около.

— Послушайте, но ведь вы могли бы подать на комиссию, и вас бы освободили от службы,— сказал Ливенцев.

— Америку открыл! А какой же мне смысл? Тут я могу вот лежать, у меня есть помощник, младший врач,— он зайдет вместо меня в околоток, в котором, кстати сказать, ни мне, ни ему нечего делать. А вернись я опять на земскую службу, там разве имеешь когда-нибудь отдых? Там надо лечить от всех болезней, да еще и операции делать, и акушером быть...

— Да, здесь вам, разумеется, легче,— не придумал что бы такое сказать ему еще Ливенцев.

Но Моняков, хотя и слабый, и с закрывающимися иногда глазами, и с какою-то легчайшей на вид рукою,

на которой и синие вены казались усталыми донельзя, рукою, застывшею на кончике бессильной бороды, видимо хотел не столько слушать его, сколько говорить сам.

— И все-таки перемена места — это много значит... Севастополь — город хороший. И трамвай в нем есть. Все-таки это большое удобство... А главное, конечно,— это что ты от всяких людей надоевших ушел, хотя бы на время... Правда, и здесь люди от тех людей тоже недалеко ушли сами, а все-таки присматриваешься то к тому, то к другому, как бабы с базару идут: «Где купила? Почем аршин платила? Да не линючее ли?.. Нука, дай, пожую кончик — не сбежит краска?..»

— Вам, может, говорить трудно, Иван Михайлыч, так вы бы...— Ливенцев заметил, что он закрывает глаза и тяжело дышит.

— Нет, ничего... Это не касается... «Тярпеть можно!..» Была у меня такая на операции старуха: я ей гангренозную челюсть вынимал без наркоза,— ничего не было под рукой, а вынимать надо. Вынимаю, а сам ужасаюсь: как же это она терпит? Сделал все, что надо. Спрашиваю: «Ну как? Больно было?» — «Ничаво, говорит, тярпеть можно...» Вот так и я теперь... Чуть меня начнет припекать, я эту старуху вспоминаю — и проходит. Ведь в конце концов все у нас сводится к чему же — донесут нервы наши до нашего командира-мозга непорядки в нашем организме или не донесут... Донесут — начнется известная катавасия, а не донесут — и так обойдется.

Моняков даже слегка улыбнулся при этом и потом шире открыл глаза.

Комната у него была оклеена веселенькими обоями цвета незабудок, и под стать им мебель тоже была обита голубым штофом. От сильной лампы-«молнии», спускавшейся с потолка, света было много, и под серым клетчатым байковым одеялом прощупывали глаза Ливенцева костлявое тело Монякова, которое «тярпело» боль, идущую из середины, из глубины его во все концы. Эту боль он представлял, как зубную,— единственную, с которой был знаком он сам,— но разница была в том, что о зубной заранее известно, что она пройдет — не сейчас, так позже, а эта? Ливенцев хотел спросить, бывают ли, замечены ли медициной случаи окончательного выздоровления от такой, как у него, болезни, или в таком состоянии она считается уже не-

излечимой, но счел жестоким такой вопрос. И он спросил другое:

— Может быть, и вообще лучше, когда доносят как можно меньше?

— В большинстве случаев лучше,— уверенно сказал Моняков.

— Хотя это и называется укрывательством.

— А иногда приходится просто врать, когда ложь во спасение... Нам, врачам, сплошь и рядом приходится.

— Конечно, не доносят всего и с фронта, и мы в сущности очень мало знаем из того, что там делается на самом деле.

— Ложь во спасение! А что мы могли бы сделать здесь, если бы знали всю правду? Головой об стены стукаться? Не нами начато, и не нами ведется...

— Но мы можем кончить! — вдруг сказал Ливенцев.

— Как же именно кончить?

— Забастовать!

— Это вам не университет! — улыбнулся Моняков и закрыл глаза.

— Однако университет призван на войну,— ведь мы-то с вами — университет, и таких, как мы, много в армии, и такие, как мы, вполне могут кончить войну! — горячо вдруг сказал Ливенцев.

Но Моняков спросил, не открывая глаз:

— Это вы мне тоже ложь во спасение? Нет, мне уж не нужно... потому что мне все равно.

Ливенцев постарался сделать вид, что не заметил тона, каким это сказано, и продолжал:

— Вам кажется, что война кончится только тогда, когда Вильгельма положат на обе лопатки, а это будет еще не скоро, потому что он весьма силен. Потому что в Германии стали в тринадцатом году было выработано девятнадцать миллионов тонн, в то время как в Англии — шесть, во Франции — четыре, а у нас — всего-навсего два с половиной миллиона... И как его, Вильгельма, засыплешь сталью, когда у него ее больше, чем у всех союзников? Значит, победить его хотят не количеством стали, а количеством людей. А людей у союзников гораздо больше. И люди Германии, прошедшие университеты, должны будут первые сказать: «Мы воевать не хотим!»

— Да разве эта война в человеческих масштабах затеяна? — устало сказал Моняков.— Устроена катастрофа в размерах всемирного потопа. Предприятие

грандиозное, что и говорить! И как так можно ее остановить, когда есть хозяева предприятия?.. Я когда-то в цирке был. Гимнасты там свои штуки показывали, да ведь не внизу, а под самым куполом, на подвижных трапециях... Были, конечно, нервные люди среди зрителей. Кричат в голос: «Довольно! Прекратить!» Гимнасты приостановились было, ждут, когда их опустят вниз... и вдруг зычный очень голос, хозяйский: «Ра-ботай!..» То есть вертись, как вьюн, на такой высоте. А в случае чего, ломай кости... И гимнасты опять замелькали... Так и война эта. Что могут с нею гуманисты сделать?

— Это, конечно, так, что война затеяна в размерах, для отдельного человека непостижимых, даже для главнокомандующих, расчеты которых ведь никогда полностью не оправдываются, а иногда совсем идут прахом. Но они и не могут представить себе отдельных людей — это не их задача даже. Они имеют дело с армиями, пожалуй с корпусами: армия номер такой-то, корпус номер такой... Они даже и до дивизии не снисходят! Этими мелочами, какими-то там отрядиками в двадцать тысяч человек, должны ведать командиры корпусов, а не верховные главнокомандующие. Вот как дешево стала цениться человеческая жизнь! Даже и к смерти людей стали гнать десятками и сотнями тысяч. Не задерживайся! Иди в ногу!.. В этом весь смысл этой войны, на мой личный взгляд: гонят в пасть миллионами, и в ногу... И все почему-то идут! Идут сами! В смертную пасть! Самое изумительное для меня лично во всей этой войне только вот это: идут сами! Во имя чего — никто не понимает, но все идут!.. Меня, признаться, всегда интересовала смерть сама по себе, но я представлял ее идущею на человека откуда-то извне. Самоубийства не в счет, и даже не в исключение из правила: беспричинных самоубийств не бывает, тоже идет на тебя откуда-то смерть — в виде бациллы, что ли, увеличенной в миллион раз... Но чтобы миллионы смертей на миллионы людей шли от других миллионов людей теперь, в двадцатом веке,— это что за нелепость такая! И разве у меня, человека, не могут найтись слова, понятные всем людям?

— В моей комнате? — чуть улыбнулся Моняков, не открывая глаз.

— Ничего! Я когда-нибудь скажу такие слова, когда будет для этого побольше слушателей, чем в вашей

комнате! Я найду для этого подходящий случай... И попробую сказать их громко!

— А какой выйдет толк?.. Может быть, вы и скажете, но это уж будут ваши последние слова.

— Все равно!

— Я от кого-то слышал, что попадались нашим иногда обозы германские, и вот в них бидоны с консервами: гуси! По три гуся в бидоне. «Положить их, говорит, в котел — настоящие свежие гуси!» А вопрос: чьи эти гуси были раньше?—Наши, русские гуси. И вот, спасают они теперь не Рим и не Москву, а Берлин. А наша пшеница шла куда через всякие эти Гумбинены? А наш ячмень? А наше сало свиное? А наши яйца?.. Для чего работал наш мужик, а сам жил впроголодь?

— Чтобы немец из нашего сырья себе консервы готовил на случай войны с нами! А сказки о хлебе из соломы — чепуха, конечно: немцы кое-как кушать не привыкли. А нитриту для бризантных снарядов они заготовили сколько! А цинку? Почти все мировые запасы цинка оказались у них! Что мировая история движется пушечными заводами — это мы только теперь поняли как следует: немцы нам это показали. И ведь безумие войны стало уж нормальнейшим строем жизни. Войну, как недоразумение временное, теперь трактуют только очень недалекие люди. А Китченер вот заявил, что раньше чем через четыре года войну не кончат. Раньше чем через четыре года, а позже — пожалуйста, сколько угодно! Хоть и двадцать лет! Перестроили всю жизнь на лад Запорожья какого-то, и я сам даже на человека в штатском смотрю как на живой анахронизм: что это, дескать, за ископаемое такое?.. Пережили уже все ту фазу, когда казалось немыслимым воевать больше полугода, и до того уж настроились все в тылу, да, пожалуй, и на фронте, воинственно, что отними сейчас войну, попробуй заключи-ка мир — и куда полетят тогда все наши мирные установки! Неслыханнейший может быть взрыв, у нас в особенности. Девятьсот пятого года не забывайте! Угол падения равен углу отражения — физический закон. Мобилизовать народ для войны было легко, как мы это видим, но вот демобилизовать гораздо труднее будет, вы это увидите!

— Я увижу?..

Моняков улыбнулся как-то одним только левым усом, чуть задравшимся кверху, и сказал совершенно спокойно, без всякой горечи:

— Нет, я уж навряд ли это увижу.

— Это вы по поводу язвы? — почувствовал большую неловкость за свое личное здоровье Ливенцев.— Но ведь с подобными язвами люди живут и по двадцать лет, насколько я знаю.

— Двенадцать лет и я с нею живу... то есть жил с одной язвой. Теперь по соседству с этой, первой, появилась другая... Так говорит медицина. А две язвы рядом — это уж хуже, чем одна. Два полка рядом — это уж бригада. А бригада вдвое сильнее, чем один полк.

— Вы шутите — значит, дела у вас не так плохи,— попробовал обнадежить Монякова Ливенцев; но тот отозвался:

— А?.. Шучу?.. Не шучу, а только перевожу на военный язык. А к возможности смерти скорой, хотя и неправой и немилостливой, я уж привык ведь... Кому же больше приходится чужих смертей видеть, как не нам, врачам? Мы ведь со смертью всегда воюем. Привычка.

Ливенцеву было очень тяжело сидеть и смотреть на человека, так говорившего о смерти, и он сказал неуверенно:

— За ухудшениями следуют улучшения,— так у вас и раньше было, так и будет, конечно. И дня через три-четыре мы с вами будем гулять по Нахимовской... Но у вас какая же, собственно, боль: сосущая, сверлящая, тупая или какая-нибудь еще?

— Всякая,— ответил доктор и добавил: — Вы хорошо говорите о войне. Этот вопрос у вас продуман.

Ливенцев понял это так, что доктору тяжело говорить о своей болезни.

— Война, — сказал он, — сюжет неисчерпаемый: о ней можно болтать сколько угодно, но от этого она не перестанет идти, как идет. У нее есть свои законы инерции, и вот именно это-то и досадно. Мы с вами пока еще питаемся мирными старыми мотивами, но солдат там, на войне, на фронте, кто бы он ни был, в нижних или высших чинах,— он прежде всего должен убивать. И это меняет его психику в корне... Возьмем самый простой случай,— это я от одного инвалида слышал, он теперь на железной дороге служит,— однажды со мной на дрезине ехал, рассказывал: «Наш окоп и немецкий окоп — четыреста шагов расстояния. Начинаем мы немца дразнить: нацепили на штык хлеб и поднимаем, а зачем это мы? У тебя, дескать, жрать

нечего, а у нас хлеба сколько угодно,— хочешь, и тебе дадим? Иди! Немец, конечно, в хлеб лупит, сразу пуль пятнадцать в него влепит, в кусочки разобьет. А наши стрелки за тем следят, где какая голова покажется или плечо хотя: ведь стрелять из окопа если, надо же хоть чуточку себя показать. Вот немцы в хлеб, а наши — в немцев. И был такой рядом со мной стрелок, мордвин Рыбаков. Он на воле жил — охотой занимался, летом уток стрелял, зимой зайцев... Этому только чуть там что у немцев покажись, он уж не пропустит. Выстрел дает, а сам говорит: «Есть!» Он такой был, Рыбаков этот, что промаху не знал. Хорошо... Мы им хлеб на штыке, а немцы нам колбасу на свой тесак нанижут, толстую колбасу: на, зрись! У вас хлеб только жрут и чего лучшего не знают, а у нас колбаса!.. Ну, конечно, наши не вытерпят, по колбасе жарят. А немец — по нашим тогда... Вот, смотрю раз, что это Рыбаков около меня голову свернул и сон его одолел вроде бы, а тут у немцев на трех штыках по колбасе поднято. «Эй, Рыбаков, говорю, чего же ты спать вздумал?» Толкаю его, а он уж неживой: как раз ему в висок пуля пришлась. Нашелся и супроти его стрелок»... Вот вам рассказ безыскусственный. Рыбаков-мордвин охотился на зайцев, теперь он охотится на немцев. Из немцев тоже были такие — охотились раньше на дроздов или на тех же зайцев, иногда браконьерствовали, потому что охота не везде разрешалась, но вот теперь валяй, дядя Михель, лупи русских Рыбаковых сколько влезет! Вот, представьте, кончилась война — и как же будет чувствовать себя такой Рыбаков или Фишер у себя в Тамбовской губернии или в Баварии? Не слишком ли ужасной станет потом и мирная жизнь?

— Мирная жизнь?..— Доктор, который слушал Ливенцева с открытыми глазами, снова закрыл их, и только ресницы заметно дрожали у него, когда он говорил.— Мирная жизнь отличается от военной только тем, что убивают, правда, меньше и не по одной линии фронтовой, а в разных местах... И со многими это случалось — в мирной жизни убивать... гм... да. Бывает иногда... Со мною тоже однажды было...

— Неудачная операция? — попробовал догадаться Ливенцев.

— Операция?.. Да. В военном смысле... Операция,— да, неудачная, конечно. Операция с чужим «я»... У всякого свое «я». И Гиппократ за две с лишком тысячи

лет до нас говорил так: «Ты мне не толкуй, какая у тебя болезнь, это я и без тебя вижу. Ты мне скажи, кто ты таков, тогда я знать буду, как тебя лечить...». Кто ты таков — вот что знать надо. А мы не знаем. Живем иногда и по двадцать лет друг с другом, а все не знаем. А между тем характер человека — ведь он не меняется: каков в колыбельке, таков и в могилку. Это о характере сказано... Но вот такая вещь... Человека и знаешь ведь, а как случится затмение мозга, начинаешь его мерить на свой аршин. Так со мною было... Это я о жене говорю, о покойной. Я ее третью уж ночь все во сне вижу... И как гроб ей плотник Гаврила Собачкин сколачивал... У меня, конечно, в сердце стуки, и частые очень — тахикардия, а мне представляется, когда забудусь, что это Гаврила Собачкин молотком по гробу колотит... Вот такая вещь...

Моняков вдруг открыл глаза и посмотрел на Ливенцева пристально.

— Вы сидите? А мне показалось — ушли уж вы.

— Может, мне и в самом деле пойти, а вы бы уснули? — поднялся было Ливенцев, но Моняков протянул к нему испуганную руку:

— Нет, нет! Что вы, что вы!.. Нет, вы посидите еще немного... Я вам о Софье Никифоровне хотел... Она у меня тоже была с медицинским образованием. Она — фельдшерица и акушерка, из фельдшерской школы... Вот мы и поженились. И ведь мы, нельзя сказать... Мы хорошо с нею жили. Было это самое... как оно называется?.. Понимание взаимное. И на почве общей работы в больнице земской. И так вообще. У нее смолоду волосы поседели, а лицо очень свежее и привлекательное. Брови черные, глаза серые... И талант был артистический. В любительских спектаклях, бывало, всегда она — первая скрипка. Но вот такая вещь... Земский ли врач, или председатель земской управы Кожин? Тот прежде всего помещик богатый, потом бывший гвардеец, с лоском. Артистические таланты поощрял... Ну, одним словом, он зачастил к нам с визитами. А у меня уж вот эта самая болезнь тогда определилась во всей красе. У Кожина же все в порядке и здоровье — как у быка. Это, конечно, тоже имело значение... Одним словом, сомнений больше не оставалось... Но скажи мне она просто: «Так и так...», я бы, может быть, сказал бы на это: «Дело твое». Но ведь я спрашивал сам: «Есть такое? Было?» Она на меня с криком: «Как ты смеешь

меня подозревать?» И негодование в глазах... И я говорю: «Прости!» И вот теперь такая штука... Я уехал в район свой, как часто ездил. И со мной револьвер был, как я его всегда брал в дорогу... Возвращаюсь — у нас во дворе экипаж кожинский. Я — в комнаты, а там, конечно... ведь они меня не ждали. И вот такая вещь... Кожин в окно выскочил на двор, и сейчас же в свой экипаж, и кучера в затылок, со двора — и по дороге... А Софья Никифоровна моя — в другое окно, в сад больничный. Небольшой был сад с беседкой. И вот... вот как бывает иногда в жизни мирной... я тоже прыгаю в окно, в сад, за нею, а в руках... в руке у меня револьвер... И я кричу: «Убью!.. Убью, мерзавка!..»

Тут Моняков открыл глаза, и они показались очень страшными Ливенцеву, однако он не знал, что с больным, не бред ли.

Моняков же продолжал, не закрывая уж глаз,— напротив, неподвижно на него глядя:

— ...А между тем я — врач, и я отнюдь не убивать должен, а вырывать из рук смерти... А я бежал за нею, чтобы убить!

— Аффект,— вставил Ливенцев, все-таки думая, что он бредит.

— А как же смел я, врач, допускать себя до состояния аффекта? Но вот так случилось... Она — в беседку, я — туда за нею. Добегаю... Она лежит на полу, на заплеванном полу, грязном, и окурки около нее... и на меня смотрит... а губы почему-то синие... А у нее яркие, красные были губы... И мне говорит: «Не трудись!» Вот и все! «Не трудись!..» Я над нею с револьвером, а она мне: «Не трудись!..» И я остолбенел сразу. И весь мой аффект упал. «Что такое?!» — кричу. «Ничего... Цианистый, говорит, калий...» Я револьвер бросил в кусты и сам упал с нею рядом... Так нас и нашли... ее — мертвую, а меня — без чувств... А Кожин уехал домой, в имение... А потом... потом Гаврила Собачкин... гроб ей делал...

Моняков жалко замигал вдруг глазами, потом закрыл их и повернулся головой и левым плечом к стене.

Ливенцев поверил наконец, что он не бредил, а вспоминал, что может быть, затем только и просил его зайти, чтобы об этом вспомнить не про себя, как вспоминал тысячу раз, а вслух.

— Может быть, вы бы выпили чаю, Иван Михайлыч? — спросил Ливенцев, когда уже достаточно времени прошло в молчании.

— Нет, не хочу...

— Тогда... Тогда позвольте вам дать лекарство... какое именно? — оглядел Ливенцев пузырьки с белыми и желтыми сигнатурками и цветные коробочки с лекарствами, стоявшие в беспорядке на тумбочке около кровати.

— Нет, не нужно...

Ливенцев посидел еще, рассматривая рисунок обоев и рисунок одеяла на больном, и когда показалось ему, что Моняков забылся и не услышит его ухода, тихо, стараясь ступать на цыпочки, вышел.

Александр, малый лет двадцати пяти, сытый и с ленивыми, как у всех денщиков, движениями, одернул подпоясанную ремешком красную рубаху, подошел к Ливенцеву и поглядел на него искательно, когда он выходил из квартиры на лестницу.

— Ваше благородие, может, в аптеку сходить мне?

— Лекарств у больного и так много... Сходить если, так уж за нашим зауряд-врачом Адрияновым.

— Они недавно были.

— Что же он сказал, Адриянов?

— Сказали, что может быть и так, и сяк...

— Что же это значит — «и так, и сяк»?

— Не могу знать. Так и сказали: «И так может быть, и сяк...»

— Гм... Это неутешительно... А как Фени здоровье?

— Фени?.. Феня... так что поправилась, ваше благородие.

— Это ее Иван Михайлыч спас. Ты это помни! Могло бы быть с нею гораздо хуже. Не «так», а вот именно «сяк»!

Стоявший у стены Александр смотрел в пол и колупал пальцем штукатурку.

VI

Они умерли в один день — старший врач дружины Иван Михайлович Моняков и дочь полковника Полетики, девица Ксения, и под неослабным наблюдением Гусликова в мастерских дружины старательно делали по меркам два гроба и обивали их глазетом; в музыкант-

ской команде репетировали траурный марш, и собранные со всей дружины певчие под руководством не какого-либо любителя, а настоящего суб-регента одной из мариупольских церквей, ратника второй роты, Дударенко, устраивали спевки, чтобы выходило как следует и «Святый боже», и «Со святыми упокой», и все, что полагалось петь по чину погребения.

Сделавшийся сразу после смерти Монякова как-то необыкновенно важным, зауряд-врач Адриянов на вопрос Ливенцева, была ли вторая язва двенадцатиперстной непосредственной причиной смерти, ответил снисходительно:

— Я написал в рапорте на имя командира дружины, что врач Моняков умер от стеноза кишечника. Это мое мнение.

— Но ведь стеноз — значит сужение, спадение стенок...

— Ну да, конечно, сужение. Вот от этого именно он и умер.

— А дочь Полетики?

— Галопирующий туберкулез.

— А как вы думаете, не повредила ли Ивану Михайлычу вот эта история с отравившейся Феней?

— Каким образом?

— Может быть, он... очень волновался при этом, когда очень деятельно, как мне говорили, ее спасал? Может быть, это волнение излишнее ему повредило так?

— Совсем не медицинская постановка вопроса! Что может повредить умирающему человеку? — опять важно спросил Адриянов.— В конечном итоге — решительно ничто!

За те две-три недели, как не видал его Ливенцев, он очень пополнел, у него появился двойной подбородок, набрякли веки,— он уже смотрел старшим врачом дружины, этот студент четвертого курса, живущий на квартире у генеральши, и пуговицы его шинели и медный крест на фуражке так нестерпимо для глаз блестели, что Ливенцев вспомнил Марью Тимофеевну и отказался приписать этот блеск заботам денщика Адриянова.

А Марью Тимофеевну очень обеспокоила смерть Монякова.

Мало исследованы особенности старых дев — квартирных хозяек, особенно таких, которые по существу

совсем и не так стары и в то же время отнюдь и не девы, а только считаются девами. Она казалась убитой. Раза два она говорила Ливенцеву:

— Вот как вышло это,— умирал человек, а я у него и прощенья не попросила, что об нем плохо с вами рассказывала... Ведь это грех-то какой!

— Вот видите! Не было у него никакой прачки, а вы ее сочинили экспромтом,— вздумал укорить ее Ливенцев.

Но Марья Тимофеевна так и вскинулась сразу:

— Как же так не было, когда она же его и обмывать приходила и все белье, какое у него оказалось, в большой узел связала и с собой взяла?.. Она-то, конечно, говорит: «Помою и принесу»,— покойник будто ей так приказывал перед смертью. А кому же она его понесет? Александру, что ли? Теперь у ней этого белья цепная собака ни одна зубами не выдерет, а там рублей, может, на двести белья разного было!.. Она видит, конечно, что Александр не в себе ходит,— опять ему в роту идти,— вот она и командовала, как хотела.

Ливенцеву показалось, что Марье Тимофеевне просто жаль этого моняковского белья, которое могло попасть ведь и к ней, если бы она раньше познакомилась с доктором настолько, чтобы иметь право хлопотать около его тела, и он сказал ей грустно-шутливо:

— Погодите, Марья Тимофеевна... Может быть, когда буду я ехать на своей дрезине по постам, меня в туннеле задавит поезд... тогда мое белье останется непременно вам...

— Николай Иваныч! Как это вы так говорите! — притворно испугалась и как будто обиделась даже Марья Тимофеевна и выскочила из его комнаты.

Как раз в это время согласилась она взять к себе на квартиру и уход очень беспокойную, но денежно выгодную жилицу, старуху лет семидесяти, у которой руки и ноги были немилосердно скрючены злыми подагрой и хирагрой и которую не хотела держать у себя дочь, бывшая замужем за видным чиновником в Москве. Эта старуха, Дарья Алексеевна, была устроена в Москве в приюте для старух, где служила старшая сестра Марьи Тимофеевны, но в приюте ее колотили другие старухи за очень вздорный характер и в видах развлечения, так как Дарья Алексеевна не могла защищаться. Тогда сестра Марьи Тимофеевны предложила устроить ее в Севастополе. И вот ее привезли и уст-

роили в той маленькой комнатке, где жила Маруся, а Маруся перешла на кухню, чем был недоволен степенный ее сожитель, матрос с «Евстафия», как ни доказывала ему Маруся, что для нее старуха эта — прямой доход.

Ливенцев мельком видел старуху, когда ее вносили в квартиру. Она была какого-то странного шафранного цвета — лицо и култышки-руки. Над провалившимся ртом целовались неотрывно огромный крючковатый нос с острой костью подбородка. Глазки — белые и неожиданно бойкие. Она была похожа на бабу-ягу, разбитую параличом. Вспоминались Ливенцеву при виде ее и те, окрашенные в желтое, сидячие костяки из доисторических гробниц, которые видел он как-то в одном из южных музеев.

Но этот окрашенный шафраном костяк, который вносился в квартиру Марьи Тимофеевны, был, как бы на смех, возвращен к жизни по крайней мере настолько, чтобы пещерным, глухим голосом прикрикнуть на тех, кто ее вносил и застрял с нею в узком коридорчике:

— Ну вот, здравствуйте! Взяли и стали тут в темноте кромешной! На-ро-од ужас-ный!.. Ведь мне же стра-а-ашно тут в темноте!..

Даже немного подвыла она на слове «стра-ашно».

Тумбочка, стоявшая перед диваном, на котором спал Ливенцев, была покрыта для пущей красоты широким суровым полотенцем, на котором была вышита разноцветными шелками тройка, и под нею надпись: «Свететь месиць серебристо мчица парачка вь двоемь».

Месяц был желтый, как свежий желток, а тройкой, в которой коренник был почему-то малиновый, правил меланхолического вида боярин в красной шапке и зеленой шубе; парочка же, розоволицая, как и полагалось ей быть морозной ночью, сидела, круто отвернувшись друг от друга. В стороне торчала одинокая елка, похожая на этажерку.

Ливенцев догадывался, что Марья Тимофеевна сама вышивала это и, как свойственно всем художникам вообще, высоко ценила свою работу, поэтому он терпел это полотенце на тумбочке, не желая ее огорчать. Теперь, когда появилась шафрановая старуха, он радовался случаю избавиться от этой красоты безболезненно для Марьи Тимофеевны: ведь нужно же было убрать цветисто маленькую комнатку — последнюю комнату этой новой жилицы, откуда поедет она только на клад-

бище,— и не в гробу, конечно, а в каком-нибудь ящике, так как даже и смерть не вытянет ей ни ног, ни рук, как уложила она спокойно Монякова и девицу Ксению Полетику.

Умерших в один день, их в один день и хоронили, и первая рота с капитаном Урфаловым и зауряд-прапорщиком Легонько была назначена в наряд на погребение.

На двух катафалках везли два открытых гроба, но перед этим был спор между Мазанкой и Гусликовым, какой катафалк надо пустить первым: с гробом ли девицы Ксении, которая в сущности какое же отношение имела к дружине? или с гробом Монякова, которому ведь и собралась дружина отдавать последнюю почесть?

Запальчиво говорил Мазанка:

— По-настоящему, Полетика должен был хоронить свою дочь особо! Это — его частное дело. Всяк хорони своих покойников,— так и в Писании сказано.

— Мало ли что в Писании сказано! — тоже запальчиво отзывался Гусликов.— В Писании сказано, если вы хотите знать, что врачу полагается всего только взвод при одном офицере, и никаких залпов. Вон что в Писании сказано! А приказано совсем другое: чтобы целую роту и чтобы всем выдать холостые патроны.

— А кто же приказал это?

— Командир дружины-с!

— А вы бы его слушали больше! Мало ли что он может вам наприказать в таком состоянии! Он и вообще-то был... как вам известно. А уж теперь и подавно.

— За превышение власти он отвечает.

— Нет, вы, а не он. Вы — его заместитель на случай болезни, если вы хотите знать!.. Ну, одним словом, делайте, как хотите!

И Гусликов решил катафалк с телом Монякова пустить вперед, тем более что был гроб старшего врача дружины покрыт всего лишь одним строгим металлическим венком, а гроб девицы Ксении не по-военному изукрашен пышными живыми цветами.

Необыкновенно солнечный выдался этот февральский — второй половины февраля — день.

Улицы будто пылали все белыми огнями, пылала медь оркестра, сверкало серебро на черной парчовой ризе отца Ионы Сироштана и золото в его истово расчесанных, чрезмерно густых русых волосах, и все вре-

мя порывались кверху, вспыхивая и сверкая, звуки траурного марша, но тут же падали вниз, тяжелея тоской.

А когда умолкал оркестр и певчие уставали петь «Святый боже», тогда на шаг перед ротой выдвигался длинноусый фельдфебель Шевич, поляк, ополченец, старых сроков службы, и, делая страшные глаза, командовал вполголоса:

— Ко-рот-че нóга на зéмл-ля! — и покачивал арбузно-круглой головой.

Офицеры медленно шли за Полетикой, который поддерживал под локоть грузную, уткнувшую лицо в платок жену, у которой тряслась и вздрагивала спина.

Ливенцев все пытался, но за гирляндами и букетами цветов не мог как следует разглядеть лица покойной. Видел только, что лицо это молодое, спокойное и пока еще как будто не тронутое тлением.

На поворотах дороги на кладбище он видел и лицо Монякова — худое, желтое, с осевшим носом, и думал, идет ли здесь, в толпе, запрудившей улицу так, что остановились и автомобили и вагоны трамвая,— идет ли та самая прачка, против которой была так настроена Марья Тимофеевна.

Торжественность похорон заставляла, должно быть, думать, что хоронят каких-нибудь героев войны, поддержавших там, на фронте, былую, давнюю, севастопольскую, бородинскую славу русского оружия, а не простого мирного, хотя и одетого в военную тужурку земского врача и еще более мирную и не имевшую отношения к войне девицу Ксению, заставившую теперь Ливенцева вспомнить Софью Никифоровну, жену Монякова, с седыми волосами и молодой душой.

В одном из автомобилей, остановленных процессией, Ливенцев увидел начальника порта, адмирала Маниковского, который держал руку у козырька и тянулся головой к своему соседу, тоже флотскому, с явным вопросом: «Кого это хоронит ополченская дружина?»

Переведенов вполголоса бубнил сзади Ливенцева:

— Должен быть поминальный обед у нашего этого... командира, а? По-настоящему — так. Неужели не будет?.. Мы бы его утешили!

Из толпы прорвались вперед, обогнав роту, какие-то сгоравшие от любопытства две бабы, одна — со спящим ребенком на руках, другая — с эмалированной синей миской и задачником Киселева.

Они не спрашивали, кого именно ополченцы везут на кладбище, только всячески изловчались, подымаясь на цыпочки, разглядеть лица покойников.

Ливенцев думал, что Пернатый, который шел рядом с ним, будет говорить на тему к случаю, например о язвах желудка, так как и сам он иногда, прикладывая руку к тому месту, где у людей печень, жаловался:

— По-ба-ливает, знаете ли, отец мой хороший, желу-док, вот что скверно!

Но Пернатый, ёрнически осклабляясь, спрашивал его на ухо:

— Ну как вам показалась свояченица моя Галочка, а? Правда, ведь о-очень свеженькая девчонка? Хотите, вам ее подкину?

— Да ну, что вы это в самом деле! — досадливо отодвигался от него Ливенцев.

Но Пернатый продолжал, отнюдь не смущаясь:

— Что же вы-то пугаетесь? Ведь она вас к венцу не потащит... и кровать у вас не пролежит... Вы над этим подумайте, отец родной!

Кароли говорил Мазанке:

— Читали насчет Ионеску? Агитирует румынчик за то, чтоб присоединялись к Антанте... значит, конец войны близок.

— Как же ему не агитировать, когда уж в Дарданеллы флот союзный вошел? И наш крейсер «Аскольд» тоже,— отзывался Мазанка.

— Ну, да раз уж наш «Аскольд», так это-ж-ж, ах, картина!.. Накажи меня бог, лучших политиков, чем в Румынии, ни в одной стране нет!

Зауряд Шнайдеров вместе с певчими тянул тенором «Надгробное рыдание», высоко задирая бороду, а другой зауряд, Значков, крестился при этом конфузливыми мелкими крестиками.

Гусликов, который теперь, ввиду полной погруженности командира дружины в семейное горе, чувствовал на своих плечах бремя власти, а за плечами — возможную ответственность перед генералом Басниным за то, что похороны обставлены так торжественно, совсем не согласно с уставом,— посматривал на всех кругом озабоченными глазами и говорил Татаринову:

— Уж роту вывели, так и быть,— назад не пошлешь. А насчет залпов на кладбище надобно воздержаться.

— Да ведь Полетика и сам, я думаю, забудет,— обнадеживал его Татаринов.— Какие же там залпы! Еще мать покойницы испугаешь.

— Да ее паралич хватит от залпов, ей-богу! Шутка ли, вся рота как ахнет залп! Так с могилы и не встанет... Нет, этого я не допущу, чтобы залпы!

На кладбище вслед за катафалками и ротой ополченцев, по численности равной батальону мирного времени, вошла такая огромная толпа публики, что Ливенцев удивился прежде всего тому, как много оказалось свободного времени у людей теперь, во время чудовищной войны. Но толпа ведь всегда любила зрелища, а военная музыка и покойники во все времена пользовались у нее неизменным успехом.

Могилы были выкопаны близко одна от другой, но какая могила предназначалась для тела врача Монякова, какая — для девицы Ксении Полетики,— никто толком не знал, и ратники, снимавшие гробы с катафалков, подъехавших очень близко к могилам, остановились в затруднении.

Полетика бегло оглядел запавшими красными глазами кипарисы около могил и выбрал было для дочери одну могилу, но жена его вдруг расторопно, как и не ожидал от нее Ливенцев, пошла к другой могиле, и оттуда послышался ее неприятный, жирный, придушенный, со сварливыми нотками голос:

— Вот эта — наша могила, эта вот, а совсем не та!.. Сюда, сюда вот гроб наш несите!

Ливенцев не мог понять, чем именно та могила могла показаться ей лучше первой, но перетащили снова гробы один на место другого.

Очень покорное, как теперь разглядел Ливенцев, было лицо у девицы Ксении и как будто удивленное даже, что болезнь, которая десятилетиями тянется у других, подкосила ее так рано.

А Моняков стал весь будто костяной или вылепленный из твердого желтого воска. И страшно стало Ливенцеву на момент, что так недавно еще он говорил шутливо: «Ничаво, тярпеть можно!..»

— Нужно кому-нибудь сказать слово о почившем товарище вашем,— строго обратился ко всем сразу иеромонах Иона, и все поглядели на Гусликова.

Гусликов же оглянулся на Полетику, пробубнив:

— Это, по-настоящему, командир дружины должен.

Но, кругло улыбнувшись, сказал ему на это Татаринов:

— Видно, придется уж вам... Неловко даже и обращаться к нему теперь, в таком состоянии.

Действительно, Полетика стоял на коленях перед гробом дочери рядом с женою и плакал.

Гусликов откашлялся, как-то беспомощно поглядел на отца Иону, пригладил волосы и начал вдруг:

— Господа! Покойный наш старший врач, он еще на школьной скамье страдал желудком, но, однако, он ревностно нес службу свою, не жалея, то есть не щадя сил своих, нес службу в области медицины... Пусть он всем нам послужит примером, как и нам надо служить царю-отечеству, а мы должны брать с него пример... тоже пренебрегая здоровьем своим и силами... Больше я ничего не имею сказать!

Тут он вынул платок, чтобы вытереть пот, и так неосторожно взмахнул им, что следивший за ним Урфалов понял это как знак к команде: «Рота, пли!» И соответственно построенной на дороге роте он действительно скомандовал это, и, как ожидал Гусликов, обессиленная горем жена Полетики ахнула, упала с колен навзничь на землю и забилась в нервном припадке.

— Не надо!.. Эй, там!.. Отставить! Отставить залпы! — кричал, круто вывернув голову из-под поднятой руки, Полетика, и Гусликов бросился к Урфалову, который, выждав необходимую для пущей траурности паузу, уже тянул протяжно команду второго залпа, твердо будучи уверен, что всего залпов должно быть три.

Он успел вытянуть только: «Рот-та-а...», но кто-то уже не выдержал ожидания и спустил курок до команды «пли!». Ливенцев видел, как искали потом по рядам фельдфебель Шевич и взводные и зауряд-прапорщик Легонько этого нервного ратника. Когда Гусликов прокричал: «Отставить!», и Урфалов недоуменно, но с достоинством ротного командира со старой спиртной хрипотой в голосе образцово скомандовал тоже: «А-ат-ставить!»

— Тоже дурак! — кивая на Гусликова, зло говорил Ливенцеву Мазанка.— Врачам полагается только взвод, и безоружных, то есть совсем без винтовок. Ведь это же только военные чиновники, а он... Он бы еще и нашего Багратиона с залпами... За-мес-ти-тель командира дружины!.. Хо-мут-ник! Нестроевщина!

В последнее время он ходил с коротко подстриженной бородою, отчего очень заметными стали его усы, напоминая Ливенцеву усы ротмистра Лихачева. Это его значительно меняло, хотя и не делало моложе на вид. И если Пернатый примирился уже с Гусликовым, то Мазанка все еще, видимо, не мог забыть того счастливого времени, когда сам он был заведующим хозяйством и заместителем Полетики.

Публика, сгрудившаяся около могил, которые засыпáли уже землею, очень гулко стучавшей о крышки гробов, смотрела тупо-внимательно. Это были все женщины, старики и небольшие ребята, страстные любители всего военного, в чем бы оно ни проявлялось.

И только что подумал было Ливенцев, что Марья Тимофеевна просто сочинила сама и подбросила Монякову неизвестно из каких таинственных побуждений какую-то прачку, как увидел он круглолицую средних лет мещанку в теплой синей шали, протискавшуюся к самому изголовью могилы врача. Она стала так близко к краю могилы, что мешала засыпать ее, и могильщики прикрикнули на нее: «Осади! Куда прилезла?» — но женщина эта плакала.

Она плакала, правда, не так крикливо, как плачут женщины, имеющие неотъемлемое право на публичный плач, она плакала сдержанно, про себя, но это были слезы не вообще по каком-то новом покойнике, хотя бы и военном, а по докторе Иване Михайловиче Монякове, жившем на Малой Офицерской улице, в доме Думитраки, и Ливенцев не столько понял, сколько почувствовал, что эта женщина в синей шали и есть прачка. И он за одни эти тихие, непоказные слезы сразу простил ей го белье, которое она взяла себе (он не сомневался в этом) из опустевшей комнаты Монякова.

Но появилась вдруг здесь, на кладбище, и другая женщина — длинная, очень худая, с горящими черными глазами, со сбитой набок черной шляпой, украшенной черным страусовым пером, и с траурной повязкой на левом рукаве коричневого осеннего пальто.

Прорывавшееся отовсюду сквозь кипарисы солнце очень ярко освещало ее, прорывавшуюся через толпу к могиле Ксении Полетики. Она отбивалась от всех с большою силою и ловкостью, а прорвавшись, наконец, к кучке офицеров, тяжело дышащая, с красными пятнами на впалых щеках, с жуткими до боли глазами, грянула вдруг, взмахнув по-дирижерски рукой:

Соло-вей, соло-вей,
пта-шеч-ка,
Кенарей, кенарей
громче поет!

Гусликов, который успел уже узнать весь Севастополь за полгода службы, сказал, когда сумасшедшую оттащили:

— Это — вдова Зарецкого, лейтенанта погибшего... Он после смерти Георгия получил, а она почему-то с ума сошла, дура!

Один мальчишка лет семи, бойко прыгая на одной ножке, дразнил другого, такого же:

— Отсечка-отражатель! Отсечка-отражатель!.. Эй, ты, отсечка-отражатель! — и старался столкнуть его в могилу Монякова.

Полетика успокаивал свою жену тем, что безостановочно гладил и целовал ее полную белую руку.

Переведенов бубнил вполголоса Ливенцеву:

— Должен пригласить на обед... Неужели не пригласит, а?

Солнце деятельно золотило кругом рыжие, как всегда зимою, ветки кипарисов.

И пахло смолою.

VII

Отброшенная от прусских границ войсками немецких генералов Эйхгорна и Бюлова, десятая армия, даже и по русским сводкам, понесла огромные потери, но, укрепившись под городом Праснышем, будто бы разгромила два немецких корпуса. В то же время германские войска заставили наши отряды поспешно очистить Буковину и некоторые перевалы в Карпатах. За все эти неудачи на фронте было особенно неловко перед Румынией, которая готова уж была пристать к России, нарушить свой мудрый нейтралитет в погоне за призрачными прирезками к своей территории со стороны Австрии и Турции, так как занятие Антантой Константинополя казалось делом ближайших недель.

Уже появились в газетах известия о панике в столице Турции, о покушениях на руководителей турецкой политики, немцефилов — Энвера-пашу и Талаат-бея, и будто бы манифестанты на улицах Стамбула кричали: «Долой немцев! Они погубили Турцию!..» Сообща-

лось также и о том, что австрийские солдаты забрасывают русские окопы листовками за подписью царя, что надо кончать бесчеловечную бойню и мириться, по поводу чего верховный главнокомандующий приказывал судить полевым судом тех, у кого будут обнаружены «гнусные прокламации бесчестного врага».

Сообщалось, что Германия уже потеряла за семь месяцев войны два с половиной миллиона людей, что там мобилизованы уже последние резервы, даже инвалиды, даже пятнадцатилетние, даже каторжники! Последнее звучало особенно убийственно для немцев: раз дело дошло до каторжников, то, значит, конец! Кроме того, писали, что в Германии иссякли все запасы меди, необходимой для снарядов и патронов. Ввиду возможного и близкого раздела Турции зашевелились политики Греции, и Венизелос настаивал на немедленном присоединении к Антанте, надеясь за пятнадцать тысяч войска и предоставление стоянок для союзного флота приобрести целый Смирнский вилайет. Зашевелились политики Болгарии, надеясь прирезать к себе «под межу» турецкие земли к югу от Адрианополя до Эноса, так как русский флот начал обстрел босфорских укреплений и в Царьграде будто бы уже готовились к сдаче. Маленькая крепость в Польше, Осовец, все еще деятельно сопротивлялась осадившей ее германской армии, а большая австрийская крепость Перемышль доживала, как писали, последние дни...

И все-таки, несмотря на целые кучи доказательств в пользу того, что война может окончиться к лету, прапорщик Ливенцев приходил к бесспорным почти выводам, что война затянется надолго.

Но когда говорил он это в конце февраля поручику Кароли, тот замахал на него руками:

— Не хочу и слушать! Вы — тыловик, и все. Это — пессимизм собачий! Вы киснете там на своих постах паршивых, вот и все!

— Ну, это еще надо сначала исследовать, кто из нас кислее,— пробовал шутить Ливенцев, однако Кароли, хватая его за локоть, очень живо отшучивался:

— Да уж кислее меня наверное! Накажи меня бог, если у меня не началась уж сахарная болезнь от всей этой окаянной войны,— в печенку, в селезенку, в шестнадцатидюймовую «Берту»!.. И если нас к лету не отпустят, я благополучно издохну!

И хотя он был по-прежнему коренаст и успел уже загореть, но в углах губ появились у него действительно какие-то брезгливо-скорбные складки.

А дни уже стояли вполне весенние, цвели золотые одуванчики, и над ними вились индигово-синие шмели. Ратники на постах подрабатывали поблизости от постов на полях и огородах и благодаря этому имели счастливо-занятой, хозяйственный вид.

В обиход же маленькой жизни квартиры Марьи Тимофеевны шумно вошло это новое странное семидесятилетнее существо с четырьмя култышками вместо рук и ног, и как в зоологических садах наблюдают зоологи и праздная публика повадки зверей, живущих в неволе, так Марья Тимофеевна и Маруся с живейшим интересом, мало понятным Ливенцеву, наблюдали за всем, что делала старуха, как она действовала своими култышками, как она жевала беззубым ртом, как пила чай, и слушали внимательно и запоминали даже, что такое она говорила им про себя, когда оставалась в комнате своей одна в том самом широком мягком кожаном кресле, какое привезли из Москвы вместе с нею.

Старуха оказалась нескучная, говорила все какими-то присказками и поговорками, каких в Севастополе не приходилось слышать ни Марье Тимофеевне, ни Марусе, а то вдруг после этих простонародных русских поговорок и присказок начинала тонно говорить по-французски и требовать, чтобы ей непременно нашли какую-нибудь тихую воспитанную старушку для бесед хотя бы по вечерам, а то она боится, что здесь совсем забудет французский язык.

С привезенными из Москвы цукатами пила она чай, нагибаясь для этого к самому блюдечку, а так как нос и подбородок ее были похожи на неприступные форты, защищающие проход в Гибралтар или Дарданеллы, то выхлебав кое-как блюдечко, она забрызгивалась чаем до глаз и тогда басила:

— Да Маруся! Да где же ты там? Вы-ытри же мне полотенцем лицо-о!

И не будучи в состоянии обходиться без услуг Маруси, она в то же время постоянно жаловалась на нее Марье Тимофеевне:

— Она... вы представьте себе, нахальство-то какое!.. пи-ро-ожные у меня обкусывает! Ах, ах, ах! До чего нонче самовластный народ пошел!..

Или от скуки она сама, уморительно работая култышками, стаскивала с себя платье, потом жаловалась Марье Тимофеевне, что это ее Маруся раздела.

Старушку, говорящую по-французски, ей нашла было Марья Тимофеевна и привела сама, но в первый же вечер она «таких от этой калеки наслышалась неслыханных дерзостей, таких наглостей, что больше уж к ней и ногой не ступит!».

А Дарья Алексеевна после ухода гостьи так и тряслась от хохота:

— Ой, не могу! Вот уморила меня эта дурища!.. И какой про-нонс! Какой невозможный про-но-онс! Да такую ни один француз ни за что не поймет!

В то же время оказалась эта Дарья Алексеевна совершенной бесстыдницей, и когда рассказывала о своих любовных похождениях Марье Тимофеевне, та всплескивала руками и убегала, не дослушав, а потом говорила Ливенцеву:

— Ну, Николай Иваныч, много я всяких бесстыдных видала, а такой, как эта, не приходилось! Вообразите себе, что тринадцать человек детей у нее было, и все, все от разных любовников, а от мужа ни одного не было, и она, конечно, всех тринадцать человек на него одного записала! И с кем только она не жила! И вот же стыда никакого нет промолчать-то об этом!

Потом ей вздумалось писать свои мемуары, а чтобы диктовать их вполне грамотному писцу, Марье Тимофеевне опять были хлопоты — найти такого писца. Нашла было какого-то бедного реалиста пятого класса, но тот, просидев у нее всего час, больше уже не приходил, солидно говоря в объяснение:

— Это, черт ее знает, эротоманка какая-то! Мемуары!.. Кто же такие мемуары будет читать?

А между тем этот реалист был очень доволен сначала, когда его пригласили. Он говорил Марье Тимофеевне: «Предчувствую, что будет богатый для меня материал!» Мечтая со временем стать великим писателем, он отнесся к делу с мемуарами вполне серьезно. Он вообще был серьезен. Несколько заикаясь, он говорил о Льве Толстом: «Н-ничего, что же, с-с-старичок все-таки п-писал неплохо!..» Так же снисходительно относился он и к Тургеневу, но более молодых он уж не признавал. И вот даже и такого самоуверенного сумела поставить в тупик эта прихотливая старуха.

В один превосходнейший день на Малой Офицерской встретил Ливенцев Гусликова с совсем молоденькой и невысокой, почти девочкой на вид, сестрой милосердия и почему-то сразу понял, что это и есть та самая «симпомпончик», о которой он говорил.

Впрочем, и Гусликов, как только поравнялся с ним Ливенцев, придержал его и сказал торжественно:

— Ну вот, знакомьтесь теперь!.. Это — счастливый случай в вашей жизни!

Только подав руку сестре, но еще не присмотревшись к ней внимательно, Ливенцев спросил его шутливо:

— Почему же именно счастливый случай?

— Видите ли, счастье, конечно, не вполне еще известно, что оно такое,— отдаленно начал объяснять Гусликов,— но должен вам сказать из своего опыта, что вот, например, говорят, веревка от повешенного приносит счастье... Вы это слыхали?

— Слыхал,— отозвался Ливенцев, разглядывая яркий большой новенький красный крест на белом переднике сестры.

— Хорошо, слыхали... но знайте, что это — полнейшая чушь! У нас в полку, я еще тогда поручиком был, повесился солдат один на своем мотузке — ремень такой для шаровар. А я в то время сильно играл в карты и был в проигрыше большом... Смотрю на мотузок этот во время следствия — военный следователь приходил — и думаю: «Вот случай! Все мое счастье в этом мотузке».

— Ха-ха-ха! — звонко засмеялась вдруг сестра.

— Чего вы? — обиделся как бы даже Гусликов.

— Мотузке! — повторила, смеясь, сестра.

— Что? Слово смешное?.. Известно, солдатское слово... Одним словом, я этот мотузок во время следствия подменил другим мотузком, у другого солдата взял, а тому обещал купить новый, и вот, значит, уголовный мотузок спрятал в боковой карман, а сам думаю: «Тут мое счастье!» В боковом кармане рядом с бумажником. Пошел играть в тот же вечер — и что же вы думаете? Ни одной карты мне не дали, все били! Последние свои деньги я проиграл в тот вечер... Однако думаю: «Нeет!! Это испытание моей воли, а мотузок — он должен бо-ольшущий выигрыш мне дать!» Взял казенные деньги,— тогда у меня были,— и что же? И казенные деньги ухнул, да еще должен остался... Ну, тут уж нечего делать,— говорю все жене. Схватила жена этот мотузок

да скорее в печку... Может быть, если бы я до третьего раза дошел, я бы все выручил, да вот...

— Веревка от повешенного, а не повесившегося, и, кроме того, не мотузок там какой-то! — весело ударила его пальцами по груди сестра.— Вот потому-то вы и проиграли, что моту-зок! — и она опять залилась хохотом, повторяя: — Ну, может же быть такое смешное слово: мо-ту-зок!

Ливенцев хотя и не понял, какое отношение имел этот случай с мотузком к его знакомству с очень юной сестрой, но спрашивать не стал, тем более что Гусликов начал прощаться, говоря:

— Ну вот, не упускайте своего счастья, и всего вам хорошего!

Когда отошел Гусликов и он остался вдвоем с новой знакомой, только тут он рассмотрел ее внимательно и сказал:

— Такой молоденькой сестры мне еще ни разу не приходилось видеть.

— И хорошенькой? — вдруг бойко спросила она и посмотрела на него лукаво, выжидательно, самоуверенно, робко, смущенно, по-женски, по-детски, требовательно и грустно.

Вообще это был очень сложный взгляд темных и под узкими, правильно лежавшими темными бровями матово, но не тускло, блестевших глаз. Впрочем, сложным он мог показаться Ливенцеву и потому, что был продолжителен и несколько настроений переменилось в нем. Также оказалась странно неустойчивой и каждая черточка ее небольшого лица: вот лицо девушки, вот через момент — подростка, вот — совсем детское лицо, а вот как будто женщина, многое уже испытавшая в жизни и со страдальческой складкой между бровями.

И удивленный этим и желая сказать ей об этом, Ливенцев спросил:

— Ваше имя-отчество?

— Отчество? — будто поразилась она.— Я просто Еля.

— Еля?.. Это как же будет по-большому? Елена?

— Только так меня и зовите — Еля. А иначе я не хочу и не люблю.

— Мне кажется, вы как будто слишком юны для сестры, а?

— Ну вот, юна! Ничуть не юна, а как раз... А если б была юна, меня бы не приняли... Хотя я, конечно, сказа-

ла, что мне больше лет, чем есть... чуть-чуть больше... Но ведь вы же об этом не расскажете?

— Зачем же мне об этом говорить? И кому именно?

— А то, ведь вы знаете, сестер теперь стало много-много, очень много... Пожалуй, столько же почти, как солдат... Ну пусть бы уж какие-нибудь старые девы шли в сестры, им простительно,— ну куда ж им больше, бедным, правда?.. Только в сестры!.. А то ведь все, все, решительно все идут в сестры: молодые, старые, средние,— все! Раз все мужчины теперь в армии, значит надо и всем женщинам тоже быть в армии!.. Обезьянство это, вы думаете?

— Я ничего не думаю на этот счет,— поспешил сказать Ливенцев.

— Нет, это не обезьянство. Это просто погоня за мужчиной: куда все мужчины, туда и они! Вообще у женщин нет ни своей жизни, ни своего мнения, и будто бы жили когда-то какие-то а-ма-зонки... Че-пу-ха! Ни за что не поверю, чтоб они могли жить одни!

— Кажется, разговор об амазонках у древних историков был такой, что они будто бы только и делали, что воевали с мужчинами,— улыбнулся Ливенцев.

— Это другое дело! Это, конечно, похоже на правду... Воевать с мужчинами — это прямое женское назначение. Так, в общем, и получается равновесие.

— Неустойчивое?

— А зачем же нужно устойчивое? Устойчивое — это было бы очень скучно, и было бы неинтересно жить... Вы думаете, мне легко было попасть сюда в госпиталь? Я попала только потому, что просилась сама в заразное отделение. В заразное мало кто идет из сестер, даже если им приказывают, а я сама просилась.

— Вы и теперь в заразном?

— Не бойтесь, я уж теперь в общей палате. Только я у нижних чинов. А то офицеры любят, чтобы сестры около них все время сидели и глупости бы им разные говорили, а они чтобы им ручки нежные жали... Терпеть не могу!

— Ну кто бы, глядя на вас, подумал, что вы этого терпеть не можете? — весело сказал Ливенцев. Но она глядела на него снизу вверх так умоляюще-грустно, что как-то неловко стало ему за свое восклицание, и он спросил:

— А ваша фамилия, Еля?

— Худолей... Немного странная, да? Но это просто украинская фамилия. Отец мой — военный врач. Он сейчас на фронте с полком. И полковник Ревашов тоже на фронте...

Ливенцев заметил, что, говоря это, она как-то уронила голову, стала сутулой и совсем маленькой и опустила углы губ. Совсем тихо, как-то почти шепотом добавила:

— Ну, мне надо идти на дежурство. До свиданья!

И пошла в свой госпиталь, который помещался недалеко от дома Думитраки.

Не понял Ливенцев, о каком полковнике Ревашове она сказала ему, совершенно не нужно для него, но отчетливо подумал о ней: «Еще одна жертва войны!»

Представил почему-то ее отца, полкового врача, таким, каким был Моняков в гробу (может быть, убит уже или умер от тифа, а письма об этом не от кого получить ей),— и ее, маленькую, с опущенными плечами и тихим голосом, с кровавым крестом на груди, стало жаль Ливенцеву, и жалость эта временами возникала в нем потом беспричинно весь этот день, между тем как день этот мало был пригоден для жалости.

Ратники с ближних постов у туннелей ходили в город пешком, полем, прямо на Корабельную, а с дальних постов приходилось ездить в товарных вагонах. В этот день с одного из дальних постов приехал сам начальник караула, унтер-офицер Тахтаров, и просил дать ему позволение выгнать из их землянки фельдшера Пароконного, который занялся в землянке выгонкой ханжи и продает ее ратникам и хуторянам поблизости.

— И вполне может он этим споить мне людей, и какие же из них тогда часовые, ваше благородие? Как пьяного человека ставить на пост? Да он с пьяных глаз еще и проходящего человека какого убить может, тогда не разделаться!

Невысокий, с черной бородкой, южного обличья, Тахтаров добавлял, волнуясь:

— Зачем нам его прислали? Люди у нас ничем не болеют... А если заболеет кто случайно, сейчас мы его на дрезине или на поезде отправить можем, и прямо в дружину, в околоток.

Ливенцев спросил:

— А отчего мне не доложил, когда я был на посту?

— Переказывал же я ему, чтоб это дело неподходящее оставить, он мне свое обещание сделал при всех, а чуть вы только проехали в город — опять за свое. Да

еще говорит: «Что ты мне начальник, что ли? Я только в твоей землянке жительство имею, а что ты унтер, то и я унтер,— цена одна».

Этого Пароконного навязал на посты, «заботясь о здоровье нижних чинов», не кто иной, как зауряд-врач Адриянов, исполняющий пока обязанности старшего врача. Предстояло иметь дело со штабом дружины, и уже это одно было неприятно Ливенцеву, так как не хотелось говорить о ханже на постах с человеком, недавно похоронившим дочь.

Но Полетики, к счастью, совсем не было в дружине, а Гусликов сказал просто:

— Гоните его к черту с поста, и весь разговор! А здесь мы его под арест посадим... у себя, в карцер, на двадцать суток. Или можем и на гарнизонную отправить.

Это был первый случай за всю службу Ливенцева, когда приходилось ему прибегать к наказанию, однако немаловажным считалось и преступление — гнать спирт, да еще на постах. Покрывать Пароконного было нельзя, но его могли отдать и под суд и наказать серьезнее, чем карцером или гауптвахтой. Вообще это была неприятность, беспокоившая Ливенцева весь этот день.

А на другой день на постах оказалось и, кроме Пароконного с его ханжой, кое-что новое.

На одном посту увидел Ливенцев бабу, хозяйственно чистившую картошку в котел для обеда: оказалось, приехала жена к одному ратнику, и бойкий унтер Вяхирев сказал, улыбаясь:

— Дозвольте доложить, я говорил, что это — непорядок, ну что же будешь делать, когда приехала? Гнать ее — этого приказа я тоже от вас не получал. А хлопцы какие,— конечно, всякого завидки берут,— хотят уж сюда тоже баб из деревни повыписывать. Вот и будет тогда, как в Юзовке, в казармах, шахтеры в одной комнате живут: на столе — муж с женой спят, под столом — муж с женой спят, а по бокам — холостые нахлебники.

Пришлось Ливенцеву объяснять, что землянки — все равно что караульные помещения при гарнизонной гауптвахте, и уж ни в коем случае нельзя в них жить бабам; что солдаты на караульной службе — совсем не артель плотников, и стряпух им никаких не полагается.

Но весна вообще брала свое. На другом посту ему передали письмо в запечатанном конверте, и хотя очень безграмотен был адрес, но письмо было на его имя и пе-

редано старшему поста одним из местных хуторских парней.

Ливенцев прочитал в нем:

«Ваш ополченец Мартыненков гуляет с барышней, которая занята мною, и ночным временем преследовал за мною с железными припасами, но то оказался не я, а Ванька Сивоконь. За сим остаюсь неизвестный вам Боровик Иван и буду жаловаться еще выше».

Пришлось посоветовать Мартыненкову с железными припасами за парнями не гоняться, так как железные припасы могут оказаться и у них.

Приехав с постов, откуда вывез он и фельдшера Пароконного с его аппаратом для ханжи, Ливенцев встретился с Елей Худолей совсем недалеко от дома Думитраки: она только что вышла из госпиталя.

И первое, что она сказала, очень ласково улыбнувшись, было:

— Вы меня ждали? Да? Как это мило!

Усталый от поездки, еще со стуком дрезиновых колес в ушах, он поднял было удивленно брови, но не решился ее, такую маленькую и радостную, обидеть правдой. Он улыбнулся тоже и ответил:

— Ждал или нет, но вот — встретились.

И она повторила:

— Вот встретились!.. А я с дежурства и устала до чертиков!

Ему, который вчера весь день жалел почему-то эту странно-юную сестру, теперь приятно было видеть ее веселой, несмотря даже на усталость «до чертиков». Очень по-мальчишечьи ширились и искрились карие глаза, и грудь под кровавым крестом уже не казалась впалой, плечи не обвисали,— будто взбрызнуло ее сразу живой водой. Выходило так, что обрадовалась она ему, Ливенцеву, которого видела всего один раз. Но радовать людей иногда бывает приятно, если это не твои враги, и Ливенцев отозвался:

— Я тоже. немного устал, а главное — хочу чаю

— Но?.. Договаривайте же! «Но мне далеко идти домой, поэтому»,— бойко подхватила она.

— Что именно «поэтому»?

— Поэтому вы можете пойти к нам, и мы вас, бедного, усталого прапора, напоим чаем!

— Гм... Вы, значит, живете здесь в своем семействе?

— Нет. Нисколько. Я тут одна... Но мы живем на одной квартире еще с одной сестрой из нашего госпиталя.

— Понимаю... А это далеко отсюда?

— Ну-у!.. Что же это вы так? Вот уж и далеко-о! — опечаленно протянула Еля.— Наверное, это гораздо ближе, чем до вас, потому что всего через четыре дома.

Ливенцев поглядел на дом Думитраки, очень заметный отсюда, и, чтобы видеть ее снова веселой, сказал:

— Если у вас в самом деле есть чай и даже — что уже более неожиданно — са-хар, то...

Еля по-детски коротко хлопнула в ладоши и засияла вновь, а когда пошли они рядом в сторону, противоположную от дома Думитраки, Ливенцев спросил:

— А этот полковник кто?.. Вот вы мне говорили вчера о своем отце и полковнике... Ревунове, кажется?

— Ревашове,— поправила она, чуть отвернув голову.

— Ах, Рева-шов... Это кто же? Командир того полка, где ваш папа врачом?

— О-он?.. Да, он командир полка был... А теперь я не знаю... теперь... он, может быть, уже командир бригады.

Говоря это, она вновь потускнела, и плечи ее обвисли, и Ливенцев почувствовал, что совсем не нужно было спрашивать ее о каком-то полковнике, что лучше бы было говорить о хорошей погоде, о дружной весне этого года, о том, что скоро будут летать и курлыкать журавли. И вот-то они удивятся, бедные, всему тому, что делают теперь на земле люди! И, может быть, даже не один косяк их попадет под ночной обстрел... И вообще дикие звери и птицы — что они должны думать теперь о человеке?..

— Кончено! — говорят они.— Взбесились люди. Сошли с ума! Никакой временный госпиталь на Малой Офицерской улице в Севастополе им не поможет! Спасайся от них все, кто и как может, а их положение безнадежно! — так отвлекал Ливенцев Елю от вредных мыслей о каком-то неведомом ему Ревашове, и они дошли быстро до двухэтажного дома старой стройки, о котором сказала Еля: «Вот и наш дом».

В низковатой небольшой и довольно затхлой, плохо обставленной комнате, которую Еля называла столовой, потому что была у них с другою сестрою, Квецинской, еще одна комната — спальня, Ливенцев пил чай с дешевыми карамельками вместо сахара и слушал, как Квецинская, женщина уже лет под тридцать, с каштановыми волосами, подстриженными в кружок, в коричневой блузе, подпоясанной широким кожаным поясом, отчетливо ставя слова, говорила:

— Ведь наш госпиталь испытательный, вот к нам и посылают или таких, какие сами от службы хотят освободиться, или от которых желают освободиться.

— Кто же именно желает этого последнего? — не сразу понял Ливенцев.

— Как же кто именно? Ясно, что начальство! Кто аб-со-лют-но ни к черту не годится, а на службе между тем числится и жалованье получает, на черта он нужен?

Ливенцев отмечал, наблюдая и слушая ее, что она — женщина решительных суждений, размашистых движений и яростной походки, но вспомнил Миткалева и сказал:

— Да, алкоголики, например...

— Неисправимые алкоголики, которые все готовы лакать даже спирт из-под зародышей в музее,— зачем их держать на службе? Явный вред от них! А то бывают даже эпилептики, но скрывают... Или у него, например, грыжа, и ходит он — как через заборы все время лазает, а тоже туда же: слу-жить хочу отечеству!

— Вы, надеюсь, это только об офицерах говорите?

— Ну уж, разумеется, не о нижних чинах, которые членовредительством занимаются и сулему пьют, чтобы их отпустили.

— Маня — в офицерской палате,— скромно вставила Еля.

Она вообще держалась очень скромно при своей старшей подруге, которая собиралась уходить на службу в госпиталь, хотя и не отдохнула еще как следует от продолжительной поездки, приехав только в этот день утром.

— Проездила двенадцать дней,— рассказывала она,— сколько ночей не спала! Вы представьте: получаю телеграмму от брата, поручика: «Ранен, лежу в Варшаве». Взяла отпуск, тут же помчалась в Варшаву. Примчалась, ищу везде, бегаю высуня язык по всем лазаретам... Кое-как нашла след наконец, но только один след, а не брата: «Третьего дня отправлен в Двинск». Я немедленно в Двинск... В Двинске на вокзале телеграмма до востребования: «Отправлен Новгород». Я в Новгород тут же, без отдыха. А там уж по залу первого класса ходит почтальон железнодорожный: «Госпоже Квецинской телеграмма!» — «Мне, говорю, мне! Давай! Что там такое?» Читаю: «Отправлен Петроград». Я тут же в Петроград. Там его и нашла наконец,— слава богу, дальше не успели еще отправить. И представь-

те! — легко ранен в руку шрапнелью и контужен — вот так, правый бок... и только всего! А я-то что передумала за это время, потому что нигде не могла добиться, как ранен! Думала уж — без ног лежит, обрубок, а он легко! Даже досадно мне стало! Теперь посылают его в Крым, нашли неврастению... А я побыла у него всего один день — и назад... На двенадцатый день вернулась, хотя отпуск получила на три недели... Вот, вступаю в исполнение обязанностей.

— Почему же вы так спешили?

— Не могу иначе! Это мое призвание.

— Вот как! С каких же это пор?

— Как с каких? Я еще и в болгарско-турецкую войну сестрой была в Болгарии. Это два года назад... И теперь я вот уже почти семь месяцев...

И, говоря это, она все время металась по двум комнатам, находя нужные ей вещи, и ботинки ее на высоких, но крепких каблуках стучали, как солдатские сапоги. Держалась она грудью вперед, голос у нее был резкий, рука тоже неслабая и широкая в кисти.

— Военная косточка! — сказал о ней Ливенцев, когда она ушла наконец.

— Вы угадали,— улыбнулась Еля.— Ее отец в полковничьем чине, заведует какими-то военными складами, на Днепре где-то... Как она вам понравилась?

— Дама строгая,— неопределенно ответил Ливенцев.

— Она девица, а не дама.

— Гм... А замашки у нее на большую семью, так человек на пятнадцать.

— Хорошо-хорошо, вот я ей передам, что вы про нее думаете! — погрозила Еля пальцем.

— Это меня пугает!.. А вы как? Быть сестрой — это и ваше призвание?

— Нет... О нет!.. Сейчас просто нечего больше делать, вот почему я...

— Вы могли бы учиться. Как же так нечего делать?

Еля вздохнула, но спросила устало:

— Учиться... а зачем?.. Разве не все равно что учиться, что не учиться? И чему я такому могла бы научиться? Зубы рвать? Благодарю покорно! Мне один зуб тоже вытащили... вот! — тут она подняла губу и, как самому близкому человеку, показала ему, какого именно зуба у нее не хватает.— А зуб этот можно было отлично замазать этой самой штуковинкой, «пломбой»... И я бы не проклинала зубной врачихи.

— Как будто, кроме этой зубной профессии никакой и нет? — улыбнулся Ливенцев.— Вы бы пошли по своему призванию.

— А какое же у меня призвание? — удивленно глянула Еля.— Решительно никакого нет у меня призвания. Я — без призвания. А кроме того... кроме того, у меня ведь совершенно растоптанная душа!

И опять появилась у нее та самая, вчерашняя понурость, и Ливенцев сказал шутливо:

— Ну вот,— кто это вам успел уже растоптать душу? Вы еще ребенок, у вас...

— Еще и души нет! — закончила за него и в тон ему Еля.— И вообще, есть ли у женщины душа — это находится у мужчин под большим сомнением.

— Вот как вы нас трактуете! — улыбнулся Ливенцев.

— Однако скажите мне, кто выдумал вот этот самый сестризм? — провела она пальцем по своему кресту.

— Насколько я знаю, в нашей армии до севастопольской кампании его не было...

— А-а! После севастопольской кампании пошли всякие реформы, и это у нас тоже, значит, была реформа?.. А милосердие тут при чем? Ни у кого из сестер, сколько я их видела, никакого милосердия ни к кому нет, а просто... у одних — служба: надо же где-нибудь жалованье получать, а у других — еще проще и еще хуже... Достаточно сказать, что все актрисы без ангажемента в сестры пошли... Я еще и так где-то читала, что вот, дескать, война — это, конечно, зло, но зато какой взрыв добра,— так и написал кто-то: «взрыв добра!» — она порождает вот этот самый сестризм! Что вот, подобно там каким-то лейкоцитам, как они к ране в теле сбегаются со всех сторон и начинают ее, рану эту, затягивать, так и белые сестры милосердия мчатся отовсюду залечивать раны войны... Че-пу-ха злостная! Эти белые сестры, подумаешь, дуры, что ли? И как будто от них действительно какая-нибудь польза! Все, что они делают,— пустяки это все!.. А Вейнингер на этом самом сестризме споткнулся и брякнулся в грязь носом! Что он там написал о сестрах милосердия!.. Эх! Маль-чиш-ка!.. А Достоевский какую чушь писал о войне! «В иное время трешницы не выпросишь, а во время войны пожертвования так и льются рекой...» Почему он так писал? Разве он не знал, что эти пожертвования — капля в море, а война-а...

— Постойте-ка! Вы такая маленькая — и так расправляетесь с разными большими людьми! — удивился Ливенцев.— Это вы чьи-нибудь чужие слова повторяете?

— Почему чужие? — посмотрела она на него, нахмурясь.— Я, по-вашему, совсем не умею ни капельки думать? И ничего не умею видеть?.. Нет, я отлично вижу и знаю, как Мане Квецинской хочется найти себе мужа. Только прочного мужа, понимаете, настоящего, а не кого-нибудь... Ведь она не-кра-си-ва, бедняжка, и вот ей хочется взять чем-нибудь другим... Вдруг он ей скажет: «Ты меня выходила! Ты меня спасла!» Ты меня воскресила к жизни... Без тебя я бы погиб!..» И вдруг он женится. И потом он будет ей всю жизнь покупать шляпки по сезону и ребят ее нянчить...

— Однако вы — язвочка!— покачал головою Ливенцев.

— Я не люблю, когда притворяются.

— Будто вы сами никогда не притворяетесь?

— Всегда!.. Я не досказала, вы меня перебили... Я не люблю, когда притворяются и всякий расчет свой за какой-то там подвиг выдают! Охотник, когда в болоте охотится, он тоже во всякой грязи побывает. Так ведь это же принималось во внимание, на то у него высокие сапоги. Придет домой, снимет, а чистые ботинки наденет. Зато же он дичь принесет...

— Что и требовалось доказать! — усмехнулся Ливенцев.

— Так только наш учитель математики говорил.

— Я тоже был учителем математики.

— Вот ка-ак! — весьма разочарованно протянула Еля.

— Вижу, что мне не следовало сознаваться в этом, но-о... что делать: истина для меня дороже даже Платона... Знаете вы, конечно, кто был Платон?.. Не понимаю я только одного: как вы, с таким здравым взглядом на этот самый сестризм, все-таки сестра?

— Я очень добивалась быть именно сестрою... Почему? Я вам уже сказала почему: потому что полковник Ревашов теперь на фронте.

— Но ведь в том же полку и ваш отец врачом... Теперь я кое-что понимаю.

— Что вы понимаете?.. Не-ет! — покачала головой Еля.— Нет, вы не понимаете! Полковник Ревашов... может быть, он уже генерал теперь; я не всегда газеты читаю... это тот самый человек, который растоптал мою душу.

— А-а!..

Ливенцев посмотрел на нее пристально, но у нее были только грустные, а не возмущенные глаза; они округлели, стали больше, заметнее на ее лице, даже половину всего этого небольшого лица заняли теперь глаза, но глаза сосредоточенно-грустные.

Перевалившее за полдень солнце било теперь в верхнюю часть окна, под которым сидела Еля, и Ливенцев замечал, как мелко дергались ее полные, почти детские губы, но тоска глаз была сухая.

— Он, этот Ревашов, несомненно как-то обидел вас? — с усилием спросил Ливенцев.

— Как-то? Почему «как-то»?.. Это всем известно, как именно! — подбросила вдруг голову Еля.

— Допустим, что известно и мне...— сказал Ливенцев, но почему-то сказал это с трудом.

Он сам себя ловил на том, что предпочел бы этого не знать; что если бы не было совсем какого-то полковника Ревашова у этой странной маленькой сестры, то ему было бы гораздо приятнее сидеть у нее за столом, делать вид, что нравятся мучнистые дешевые конфеты и жидкий чай, смотреть ей в капризно меняющие выражение глаза и слушать какие-то с чужих слов, а не ее собственные, конечно, рассуждения о сестризме.

— Допустим, что знаю и я, как растоптана ваша душа этим... боюсь ошибиться в чине и потому скажу — генералом. Но все-таки — он на фронте, вы здесь. Если вы даже задались целью найти его, чтобы сказать ему: «Ты — негодяй и подлец!», то... как же все-таки могли бы вы это сделать?

— Я чтобы сказала ему: «Негодяй и подлец!»?.. Почему? — очень удивилась Еля.

— А что еще хотите вы сказать ему? — удивился теперь уже Ливенцев.

— Я? Я просто хотела бы поступить отсюда в санитарный поезд... в санитарный поезд, который эвакуирует раненых с фронта в тыловые лазареты. Может быть, тогда...

Она запнулась было, лицо ее вдруг стало растерянным, губы дернулись, но, оправившись, она закончила:

— Может быть, будет ранен полковник Ревашов... вот так, например, как брат Мани Квецинской, осколком шрапнели в левую руку... и пусть даже контузия правого бока... а я тогда...

— Ах вы, Ярославна, Ярославна! — улыбнулся Ливенцев и покачал головой.— И тогда вы омочите бебрян рукав в Каяле-реке и утрете своему князю глубокие раны на теле?

— Не глубокие, нет!.. Я совсем не хочу, чтобы они были глубокие! — вдруг топнула ногой и закусила губу Еля.

— Так! Вы не хотите, чтобы глубокие... но почему же вы... почему вы мне говорите все это? Вы не считаете меня, значит, ни... как бы это сказать?.. Вообще я ни в какое сравнение не могу идти с этим вашим генералом, в свое время растоптавшим вам душу? — с какою-то даже ему самому незнакомой искренней горечью спросил Ливенцев.

И Еля поднялась со стула, поглядела на него вбок, совсем по-взрослому, и ответила:

— Что же вы меня за дуру принимаете? Будто я могу думать, что у вас нет своей сестры милосердия?

Это было сказано таким тоном и так смотрела в это время Еля, что Ливенцев звонко расхохотался.

Потом он поднялся, сказал:

— Ну, Еля, вы устали от дежурства,— отдыхайте, а я уж пойду.

Она не останавливала его, но глядела на него исподлобья очень почему-то серьезно, почти обиженно, а когда он уходил, сказала:

— Вы все-таки заходите к нам как-нибудь. Если меня не будет, то Маня... Она — умная. Она не будет вам говорить того, чего не надо... Зайдете? Обещайте!

Ливенцев обещал.

VIII

10 марта звонили во все колокола и служили молебны в церквах: Перемышль сдался.

Правда, слухи о взятии этой крепости появлялись часто, но теперь уже официально сообщалось, что генерал Кусманек, комендант Перемышля, согласился на сдачу без всяких условий, и армия, осаждавшая Перемышль, освобождалась, таким образом, «для борьбы с коварным и сильным врагом на других участках борьбы».

Но главное, что поражало воображение при этом, это огромный гарнизон крепости, взятый в плен: сто

двадцать тысяч человек,— целое войско! — из них девять генералов и две с половиной тысячи офицеров.

Заколыхались всюду на улицах флаги, как в царские дни, как в недавний приезд царя, да это и был, конечно, царский праздник,— праздник того, кто был одним из зачинателей ужаснейшей бойни и хладнокровно, и планомерно, и всеми средствами проводил ее, выйдя уже из своего царскосельского покоя и появляясь то в Зачорохском крае, в Саракамыше, то в Севастополе, то в Гельсингфорсе, везде принимая однообразные парады бесчисленных «молодцов», «орлов» и «братцев», отправляемых на убой.

В телеграммах сообщалось, что теперь был он в ставке верховного главнокомандующего, где «радостная весть о победе застала верховного вождя русской земли, и в общей молитве благодарения богу сил и правды слились и царь и полководец его со своими сподвижниками».

Если молились в ставке, то должны были молиться и в Петрограде, и в Москве, причем сообщалось в телеграммах, что «в рабочих районах известие о взятии Перемышля было встречено рабочим населением не менее радостно, чем в центральных частях столицы».

Зашевелились славянские организации, и вновь и вновь заговорили на разрешенных манифестациях о священных общеславянских задачах, о великих последствиях для славянства этой войны, о близости решения русских задач в Дарданеллах и о православном кресте на святой Софии.

В то же время где-то в конце телеграмм мелким шрифтом сообщалось, что «под августейшим председательством великой княгини Марии Павловны состоялось совещание для обсуждения мер против участившихся за последнее время пожаров на фабриках и заводах, преимущественно изготовляющих предметы военного снаряжения».

Кроме того, опубликовывался высочайший указ от 8 марта, которым возлагалось на министра путей сообщения «объединение деятельности военных и гражданских властей по снабжению топливом соответственных учреждений и предприятий»,— указ, из которого видно было, что даже учреждения и предприятия остались без дров и угля, нечего говорить просто о «населении», а прошло всего только семь с половиной месяцев войны, рассчитанной лордом Китченером на четыре года.

Был парад войскам севастопольского гарнизона: около собора перед стареньким комендантом крепости генералом Ананьиным прошла церемониалом и дружина. Генерал проверещал по-козлиному: «Спасибо, молодцы-ратники!» — и ратники ретиво ответили: «Рады стараться!»

Потом у того же собора прошлась процессия с духовенством и хоругвями впереди. Несли царский портрет и пели «Спаси, господи, люди твоя...», но не было стройности в этом пении, выручали только громкоголосые дьяконы и отчасти дисканты и альты из певчих, и получалось как-то так, что полная и незыблемая уверенность в том, что господь непременно услышит и спасет и даст победу царю над немцами, была у одних только дьяконов, а самая прочная, твердокаменная — у протодьякона Критского, обладателя здоровеннейшей, всепокрывающей октавы, похожей на разговор пушек.

Через день после этого празднования победы под Перемышлем, в воскресенье, офицерство дружины вздумало устроить свой праздник, для чего ввиду теплой погоды была выбрана местность, достаточно удаленная от города и в то же время вполне уютная — Французское кладбище.

Многие исторические города — это города развалин и огромнейших кладбищ. Так как Севастополь тоже был признан когда-то удобным для того, чтобы убить здесь не одну сотню тысяч человек железом, свинцом и холерой, то несколько братских кладбищ расположилось в его окрестностях, и после Русского кладбища — Французское второе по величине. Все памятники на нем заботливо охранялись; в просторном доме там прекрасно жил сторож с большим семейством и даже разводил павлинов.

Чтобы добраться туда, взяли трех парных извозчиков, причем хитроумный Гусликов, затеявший этот пикник, посадил Ливенцева вместе с Фомкой и Яшкой, а сам со своей дамой из Ахалцыха уселся против Пернатого и Анастасии Георгиевны. В экипаж к Мазанке, Урфалову и Кароли втиснулся никем не прошенный Переведенов. Впрочем, не были приглашены и кое-кто еще из дружины: сам Полетика по причине его семейного горя, трое зауряд-прапорщиков по причине их маленького, как теперь уже вследствие дороговизны оказалось, жалованья (хотя Ливенцев получал столько же, сколько они, но его

упорно продолжали считать богатым); наконец, Эльша не приглашали потому, что близкое знакомство со всеми зауряд-дамами Севастополя очень гибельно отозвалось на его здоровье, и в последние дни он ходил мрачный и трезвый и значительно похудевший,— бычьего подгрудка как не бывало, вместо него жались одна к другой многочисленные желтые складки. Лечился он у местного специалиста по секретным болезням и при встречах сам уныло просил не подавать ему руки.

Ливенцев, сидя против Фомки и Яшки на переднем сиденье экипажа, отлично понимал, конечно, что он должен был говорить всякие смешные вещи, рассказывать анекдоты или даже показывать какие-нибудь фокусы, как это отлично умеют делать признанные дамские кавалеры, молодые подпоручики или даже поручики, если они не женаты. Но он вообще плох был насчет анекдотов, и легкие разговоры ему далеко не всегда удавались,— он больше любил слушать, что говорят другие, и теперь надеялся больше на бойкую Фомку, чем на ее сестру.

Они принарядились обе: на них были задорные шляпки, с красной розой у Фомки и с синей у Яшки, новенькие модные, должно быть, жакеты и коричневые лайковые перчатки, и они так ожидающе смотрели на него, когда тронулись лошади, что он понял их: с ними можно было говорить о чем угодно, только не о взятии Перемышля, и он сказал вдруг:

— Вы бывали в Москве?

— А что? В детстве один раз были,— ответила Фомка.

— Там есть одна улица, называется Коровий Брод. Красивенькое название, не так ли?

— О, очень!

— Изволь-ка жить на такой улице! — засмеялась Яшка.

— Даже и сказать кому-нибудь неловко, а? «Живу на Коровьем Броде»,— черт знает что! Но если когда-нибудь вам придется все-таки жить на этой улице, говорите: «Живу на Босфоре». Это, представьте, одно и то же!

— Рас-ска-зы-вайте! — вознегодовала Фомка, а Яшка рассмеялась звонко.

— Вот видите, как бывает с правдой: ее всегда принимают за обиду или за шутку, смотря по темпераменту. Между тем Босфор по-гречески значит — Коровий

Брод. Это совершенно буквально! Зато красота-то какая: Бо-сфор!

— Нет, вы в самом деле это? Вы не шутите? — спросила Яшка, между тем как Фомка смотрела испытующе.

— Совершенно серьезно! Так иногда можно красиво сказать что-нибудь не совсем даже и удобное для разговора.

— О-о, вы — хитрый! — подняла палец Фомка.

— Если бы я был хитрый, я догадался бы, поступаете вы на курсы сестер милосердия или нет.

— Нет! Теперь во всяком случае нет! — решительно сказала Фомка.— Ведь курсы теперь уже стали длиннее, чем раньше,— несколько месяцев, а война теперь уже скоро окончится.

— Вот как! Почему?

— Ну, конечно,— раз взят Перемышль! — пожала плечами Яшка.

— Так что и вашу будущую судьбу делают события на фронте? — как бы удивился Ливенцев.— Вот как печально! Совсем бы другое дело, если бы вы занялись математикой.

— Ффу! — сказали разом обе сестры.— Женщины — и вдруг... математика!

— Не скажите, иногда бывают женщины-математики.

— Ну, одна там какая-нибудь на сто пятьдесят миллионов! — бурно, как и не ждал Ливенцев, вознегодовала Яшка.

— Просто выродок какой-нибудь, монстр! — скрепила Фомка.— И первостатейный урод при этом!

— Гм... Я вижу, что вас на такой мякине, как математика, не проведешь,— улыбнулся Ливенцев.— Это напоминает мне одни старые стихи... Пришел, видите ли, с двумя девицами молодой человек в зоологический сад, а там, между прочим, огромная клетка с огромными птицами. Естественно, девицам хочется узнать, что за птицы такие.

Желая отличным познаньем блеснуть,
«Орлы!» — отвечает им франтик
И, вздохом волнуя тщедушную грудь,
Поправил на галстуке бантик.

И как настоящий злодей-сердцеед,
Он к клетке подвел их с поклоном,
Но девы, приняв за насмешку ответ,
Вещают торжественным тоном:

«Все ваши насмешки нисколько не злы,
Вы нас не морочьте словами.
Мы знаем отлично без вас, что орлы
Бывают с двумя головами!»

Ливенцев, окончив чтение стихов, думал, что Фомка и Яшка обидятся, но они довольно весело рассмеялись над явной глупостью каких-то двух девиц, живших в старинное время. Конечно, они-то сами знали, что орлы...

— Орлы бывают даже ручные, если их маленькими поймают,— сказал Фомка.

— Да, папа рассказывал, что на Кавказе где-то, где он в полку служил, были на одном дворе ручной орел и ручной медвежонок,— добавила Яшка.

— Только орел стал все-таки потом драть кур,— припомнила Фомка.

— А медвежонок таскал всякую еду из буфета и все в саду обнес,— припомнила Яшка.

— И орла потом продали персам...

— А медвежонка продали цыганам...

— Ага! Персам, должно быть, для охоты? — думал догадаться Ливенцев.— Хотя охотятся, кажется, только с кречетами, соколами, ястребами, а орлы к этому не так способны.

— Не знаю уж, зачем его персы купили,— не помню... А медвежонка цыгане научат всяким штукам,— сказала Фомка.

— А потом им деньги зарабатывают,— добавила Яшка.

Тема эта насчет орлов, медвежат, собак, на которых потом перешли, и кошек, и даже кроликов оказалась очень богатой, и ее хватило вполне, чтобы нескучно провели время девицы Гусликовы с прапорщиком Ливенцевым, пока доехали, наконец, до Французского кладбища. И Ливенцев провел время не без пользы для себя, потому что узнал, что крольчата бывают очень забавны, а когда сосут свою мамашу, то прибегают ко всяким хитростям и даже опрокидываются очень проворно на спину и подсовываются под нее мордочками, если она лежит на животе. Но больше всего их занимали собаки, особенно фоксы и таксы.

— У меня был фоксик Тилька — белый; пятна коричневые,— с увлечением рассказывала Яшка.— До чего был умный, необыкновенно! В трамвае ездить с собаками не полагается, но только я в вагон, он за мной —

скок! и сел рядом. Кондуктор его гонит, конечно, на остановке его вон выкидывает... Тилька сидит себе на панели. А чуть только трамвай пошел, Тилька стрелой за ним... Скок — и опять он в вагоне. Так еще до одной остановки доедет. Опять его кондуктор выкидывает. Опять он на панели сидит и ждет... Кондуктор звонок дает, трамвай пошел, он — скок! И опять со мной рядом. Так всегда и доедет до места.

И очень лучилась Яшка, вспоминая своего Тильку. Но не хотела отстать от нее Фомка: ей тоже хотелось рассказать о своей таксе Пике.

— У меня была такса Пик, а рядом — Коммерческий сад. И вот раз там пускали ракеты по случаю царского дня. Смотрю, Пик пропал! Искала я его, искала, а он под кровать забился от страха, в самый угол, и там дрожит. «А-а, так ты такой, говорю, трусишка! Хорошо! Я тебя выучу!» И вот я его стала нарочно пугать огнем всяким. Спичку вдруг чиркну в темноте, а сама его злю. «Куси, куси, Пик! Куси!» Он и выучился... Один раз гроза такая была, что мы все глаза зажмуривали, а Пик, чуть только молния блеснет, он сейчас же на окно и ну лаять!.. Пока, конечно, гром не тарарахнет...

— А то вот был еще у меня пудель Джек — черный, стриженый,— спешила рассказать и перебивала Яшка.— Я его часто в угол ставила. Скажешь: «Джек, иди в угол!» Он пойдет, а тут вдруг муха мимо летит. Надо же ее поймать! Он клац зубами — поймал, смотрит, нет ли еще где поблизости мухи, и только потом уж пойдет и станет... А раз колбасы кусок фунта два съел... Была колбаса куплена, на стол положили, пошли, а потом смотрят — нет колбасы. Я к нему: «Ты съел? А ну, признавайся!» А он — никакого внимания, как будто святой какой и отроду ничего скоромного не ел, а только мух одних... Смотрю потом — лужа была на дворе после дождя, и вдруг ее уж нет, высохла... А Джек только усы себе облизывает... Вот только когда мы догадались, что это он колбасу съел, иначе зачем бы ему всю лужу до дна выпивать?

Ливенцев видел по восторженным лицам обеих девиц, что это были приятнейшие воспоминания из всей их жизни, и старался слушать их с самым горячим сочувствием, так что плохо заметил, было ли что-нибудь примечательное по дороге. Впрочем, он уже знал из частых своих поездок на дрезине, что окрестности Севастополя вообще довольно безотрадны на вид.

А Французское кладбище оказалось очень уютным, и, оглянувшись туда и сюда, когда уже вошли в ограду, поручик Кароли сказал, покрутив серой, как волчья шерсть, головой:

— О-очень недурно устроились тут на вечный покой господа французы! Даже завидки берут, накажи меня бог!.. Ведь подумать надо — в чужой стране и таких памятников понаставили и таких деревьев понасадили! Что это, например, за дерево такое? — постучал он по толстому и гладкому стальному стволу исполинского дерева.

— Павлония,— сказал Ливенцев.— Смотрите-ка, уж набухают почки, а листья будут в лопух.

— Вот, видите как! Павлония! В первый раз слышу такое название. Это, значит, непосредственно из какой-нибудь Ниццы и сюда, родным покойничкам сувенир из родных палестин. Э-эх! Где-то нас, господа, похоронят!.. А что над нами таких памятников никто ставить не будет, никакой паршивой бузины даже не посадят, это уж та-ак! Это уж будьте уверены! Вобьет снарядом в трясину куда-нибудь аршин на десять в глубину, и ни один сукин сын не узнает даже, где там твои кости и на какую потребу они пошли!

— Прочь мрачные мысли! Гоните их прочь! — продекламировал Пернатый.— И ищите местечко, где бы нам расположиться, чтобы дамы наши не запачкали платьев... и прочего.

У самого же у него отнюдь не веселое было лицо: оно оживлялось на моменты только, потом тускнело и очень казалось дряхлым. Не омолодила его женитьба, нет. Был желт, глаза запали. Зато Анастасия Георгиевна выступала, как львица, вышедшая на ловлю добычи. Ливенцев увидел на ней такое же самое платье с разрезом на боку, каким она возмущалась тогда, на Приморском бульваре; она слегка пошевеливала плечами и горделиво оглядывала всех кругом. И видно было, что кладбище и французские памятники с витиеватыми надписями, выбитыми на них, и все это обилие огромных деревьев, заставлявших представлять тут густейшую тень повсюду летом,— это ее не занимало нисколько. Она очень критически оглядывала с ног до головы двух девиц Гусликовых, и наблюдавшему это Ливенцеву живо вспомнилось замечание Шопенгауэра: «Когда встречаются на улице женщины, они глядят друг на друга, как гвельфы на гибеллинов». Наглядевшись на трех жен-

щин и по-своему решив, конечно, что они для нее совсем не опасные соперницы, она стала пристально приглядываться к Мазанке, у которого в этот день особенно лихой вид имели усы и довольно озорно играли глаза, теперь уже потерявшие былую поволоку.

С дамой из Ахалцыха, по-видимому, успела уж наговориться за дорогу Анастасия Георгиевна, тем более что дама эта, как знал Ливенцев, была не из особенно говорливых. Кроме того, модного выреза сбоку на платье у нее не было, так же как у девиц Гусликовых, и не было такого ухарского, сдвинутого на правый бок, синего берета с раструбами, похожего на польскую конфедератку.

Правда, она была жена заведующего хозяйством, а не ротного командира, но ведь чины у них одинаковы.

— Ну, живо, живо, господа мужчины, ищите место, где! — распоряжалась Анастасия Георгиевна.— Что же вы все памятники смотрите, на каких и прочитать ничего нельзя?

И так как прапорщика Ливенцева она уж считала своим хорошим знакомым, то подхватила его под руку и скомандовала ему:

— Ну-ка, в ногу! Раз! Два! Левой, правой! — и потащила его по дорожке вперед.

— Куда же это вы меня? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Мы с вами сейчас же найдем самое лучшее место, где! — ответила она, повернув вызывающе голову в сторону Мазанки.

Однако ни Фомка, ни Яшка отнюдь не хотели так вот сразу, здорово живешь, уступить его какой-то наглой особе и сейчас же пристроились сбоку. Анастасия Георгиевна побежала было, увлекая Ливенцева, но они побежали тоже. Ливенцев вспомнил, что он — единственный холостяк здесь из всех мужчин, и очень пожалел, что не пригласили Значкова и Легонько.

— Ах, эта война! — сказал он.— Подумать страшно, сколько перебьют нашего брата — мужчин!.. И как будут потом женщины!

— Поступят в телеграфистки,— сказала Фомка.

— И в телефонистки,— добавила Яшка.

Анастасия Георгиевна вдруг начала хватать Ливенцева за рукава и воротник шинели, приговаривая:

— Вот так они тогда будут! Вот так!.. Они на вас всю одежду оборвут тогда, за вас цепляться будут.

— Постойте-ка! Вы-то хоть не рвите,— пятился Ливенцев.

— Как же не рвать, когда вас останется, может, один мужчина на двадцать женщин!

— Ну, все-таки пленных берут много,— неожиданно хозяйственно сказала Фомка.— Вон в одном Перемышле захватили больше ста тысяч.

После этого Ливенцеву уж ничего не оставалось сказать больше, как только это:

— Вот когда по-настоящему онемечится Россия!

— А Германия обрусеет! — безбоязненно подхватила Фомка.

Яшка же посмотрела на Ливенцева мечтательно и добавила:

— Вообще произойдет переливание крови.

— А женщине это совершенно даже без-раз-лично, русские ли какие, или же они немцы,— пожала плечами Анастасия Георгиевна.— Я одну девушку знала, она за китайца вышла. Только он с косой ходил, так она ему косу эту ножницами у сонного днем отрезала и сейчас же в парикмахерскую за четыре рубля продала: «Довольно, говорит, с нас двух одной моей косы». Китайчик поплакал по косе по своей, а потом отлично себе привык,— как так и надо.

Нашли удобное место, точно нарочно приготовленное для пикника,— две широкие скамейки друг против друга,— и сошлись сюда все, и Урфалов торжественно вынул из свертка и установил где-то добытые им две бутылки водки и две бутылки красного вина для дам.

— Изволите видеть,— говорил он не спеша,— в военных операциях самое важное что? Самое важное — провиант! Будь бы в Перемышле провианту больше, не было бы у нас радостного такого события. А то там уж довоевались до ручки, изволите видеть, и за фунт хлеба офицеры платили такие деньги, что-о... уму непостижимо! Хорошую лошадь можно у нас за такие деньги купить.

— Я читал, что прокламаций там множество ходило за сдачу,— вставил было Кароли, но Урфалов весьма решительно объяснил:

— Прокламации всякие эти роли играть не могут, ежели офицер и солдат сыты. Вот что, изволите знать... Прокламации — это одни слова, а вот была бы у них там, в Перемышле, каждый день на братию бутылочка водочки, да вот вяленая таранка, да вот анчоусы, всякая

такая закуска,— кто бы их и за уши потянул сдаваться, нипочем бы они не пошли!

— Верно! — подмигнул ему Переведенов.

— Зато от очень сытой жизни войны и бывают, вот что! — азартно накинулся на Урфалова Кароли.— Какого им черта нужно было, этим немцам? Голодали они, что ли? А сербам какого черта было в эрцгерцога стрелять? Свинины у них мало было? Сколько угодно!.. И вот потому-то, черт их дери, что сколько угодно всего, войну начали! Как стекольщики делают, когда работы нет? Посылают мальчишек окна в домах поблизости от себя бить,— ясно и просто. А потом хозяева за стекольщиками посылают,— вот тебе мало-мало доход! Понаделали пушек и снарядов чертову уйму, пулеметов, патронов, дирижаблей, дредноутов и черт их знает чего,— надо же их как-то истребить, чтобы новые делать.

— И гораздо лучших систем,— добавил Ливенцев.

— Отцы мои хорошие, дайте и мне сказать по этому поводу,— торжественно посмотрел направо и налево Пернатый, но Переведенов, впившийся глазами в бутылку, из которой пробку выбивал об ладонь Урфалов, разрешающе махнул рукой:

— Поводы-поводы! Что там поводы? Без поводов говори! — и дернулся на месте от нетерпения.

— Кажется мне, насколько я помню, конечно, на «ты» с вами мы не пили,— заметил Пернатый.

— Вот важность какая: не пили! Не пили — сейчас выпьем! — цепко схватил со скамейки первую налитую рюмку Переведенов и хотел было чокнуться с Пернатым, но не был в состоянии дождаться, когда Урфалов нальет его рюмку, широко открыл рот и плеснул в него водку, как в пропасть, а на Пернатого потом только глянул значительно, пожевал слегка губами и потянулся за второй рюмкой.

— Постойте-ка, теперь водка счет любит,— заметил Урфалов.— Этак вы никому не дадите ее и понюхать.

— А что ее нюхать? Нюхать!.. Водку — ее пить, а не нюхать,— успел все-таки схватить еще рюмку штабс-капитан, попорченный «беспорядками» девятьсот пятого года.

— Почему не закусал? — удивилась, глядя на него, дама из Ахалцыха, резавшая в это время длинную вяленую тарань на куски.

— Такие, матушка, не закусывают, а только пьют,— объяснил жене Гусликов.— Пить же он думает

на шереметьевский счет, а я по общей раскладке у него из жалованья вычту.

— На-пу-гал!.. Гм... Вот как на-пугал! — закачал одноухой головой Переведенов и нацелился уже было на третью рюмку, но ее перехватил Мазанка и кивнул Кароли:

— А ну-ка, адвокат,— речь!

— Отцы мои добрые, позвольте мне сказать речь...

— Куда тебе против адвоката?! — прикрикнула на Пернатого жена.— Чтобы только меня конфузить!

Но Ливенцеву жаль стало обескураженного старика и хотелось все-таки узнать, что такое не терпится ему сказать, и он крикнул:

— Говорите! Ждем!

Пернатый благодарно наклонил голову в его сторону, слегка поднял рюмку и начал:

— Говорилось тут о войнах, от сытости они или от голода? А по-моему, отцы хорошие, войны заводятся от скуки. Да, от зеленой скуки! Одному если человеку скучно станет, он другому в ухо заехал — вот как будто и поразмялся, а когда миллионам скольким-то там, или даже пусть нескольким десяткам миллионов скучно станет, то уж тут, отцы мои, не иначе как должна начаться война. Так и казаки наши запорожские — сидели-сидели на своих островах за порогами днепровскими, и пили, и ели ничего, да скука одолевала, вот и шли в поход. Многие ведь и не возвращались назад, в гирла днепровские, а головы свои клали где попало, в Туретчине или в Польше, вот почему, отцы хорошие, и говорится: скука смертельная! Вот так и Вильгельма одолевала скука, и поднял Вильгельм войну... И придумал я вот ему какую казнь, отцы родные, когда попадется он нам в плен... Чтобы ему простили войну такую, этой я даже не допускаю мысли. Чтоб его на какой-нибудь остров, подлеца, заточить — это вполне для него были бы пустяки. Нет, его в клетку золотую посадить,— непременно чтоб для него сделать золотую клетку,— и возить по всей России показывать. Вот что с ним надо сделать, отцы хорошие! Пей и ешь, проклятый, а мы на тебя только смотреть будем — вот!

— Загрозил ты ему этим, как же! — выкрикнул Переведенов.

— Мы с вами на «ты» еще не пили,— повернулся к нему Пернатый.

— Вот и выпьем сейчас! Где моя рюмка? — кивнул тот Урфалову, но Урфалов хотел все-таки уяснить, за что же предлагает выпить Пернатый, так и спросил:

— За что же подымаете вы тост?

— За здоровье его императорского величества первый тост! Ура! — приосанясь, крикнул Пернатый.

И под это «ура» выпили по первой, но Вильгельм в золотой клетке — это показалось Кароли очень мечтательным.

— У нас и казанскую богородицу украли, а то чтоб беспрепятственно золотой клетки дали по России прогуливаться! Какой же конвой при этой клетке прикажете держать? Роту при поручике Миткалеве — нельзя: и Вильгельма выпустит и клетку пропьет. Батальон при подполковнике Генкеле — тоже нельзя: Вильгельма своим родственником подменит, и вместо золотой в одну ночь медная клетка появится и будет еще лучше золотой гореть. А золотая очутится в имении под Курманом... Полк с полковником Полетикой тоже нельзя: через день, накажи меня бог, он забудет, при чем и при ком он с полком состоит и какие такие обязанности несет: не то ему походную кухню дали, не то дюжину поросят, — и уж через день у него ни Вильгельма, ни клетки не будет, и стоит ему сказать, что полк за малиной в лес командирован, он скажет: «Разумеется, за малиной... Конечно же, за малиной! А только это я и без вас, красавцы, знаю, черт вас дери, и прошу меня не учить!»

Очень похоже передразнил Кароли Полетику, так что все засмеялись, а дамы захлопали.

Переведенов же сказал:

— Наговорено много, а за что же пить? А пить не за что... А надо уж по третьей... Ну, на-род!

В то же время не нравилось ему, зачем налили стаканчики вина девицам, которые в нем только обмочили губы, и он пробубнил:

— Гм... порча вина, и больше ничего! — и передернулся презрительно раза четыре.

По второй выпили за взятие Перемышля. Переведенов потер липкие ладони и заторопил Урфалова наливать по третьей.

— Вот кому бы с Вильгельмом-то ездить! — кивнул на него поручику Кароли Урфалов и спрятал от него бутылки подальше.

— Гм... чудаки какие! Я тост придумал какой, а они...

— Говорите!

Даже и даме из Ахалцыха захотелось послушать, какой такой тост может сказать этот достаточно странный человек, и она прокричала:

— Пожалост! Пожалост! Мы вам слушали!

— А слушали, так чего вам еще? — вполне невежливо отозвался Переведенов.— Значит, ваше счастье!

— Приличия! Приличия соблюдайте! — покачал головой, глядя на него пристально, Гусликов.

— А в чем же вы тут видите неприличие? — спросил за Переведенова почему-то Мазанка.

В то же время, непонятно для Ливенцева, собрал в какую-то предостерегающую гримасу все свое загорелое долгоносое лицо Кароли; глядя на Мазанку, он вздернул плечами и тут же выкрикнул:

— Желающие сказать третий тост, подымите руки!

Рук, правда, не поднял никто, но Анастасия Георгиевна напомнила:

— Приличные кавалеры, раз если они и за царя выпили и за Перемышль выпили, должны теперь выпить за дам.

— Ясно, как ананас! — одобрил Переведенов и толкнул Урфалова: — Ну-ка, за дам!

— Кто кому! — отозвался Урфалов, но по третьей рюмке всем все-таки налил, и за дам, чокнувшись с их стаканчиками, все выпили.

Даже Фомка и Яшка осушили стаканчики, и обе возбужденно зарозовели и наперебой закричали Ливенцеву:

— Теперь вы скажите речь, вы!

— Что вы, что вы! Совсем не умею я никаких речей говорить! — махал обеими руками Ливенцев.

— Рассказывайте, что не умеете!

— Ну, какие-нибудь стихи смешные прочитайте!

— Стихи? — подхватил Пернатый, приосанясь, но, оглядев поочередно девиц, вздохнул и померк, и Ливенцев догадался, что ему хотелось бы прочитать окончание «Царя Никиты», но неловко было бы просить девиц пойти прогуляться по кладбищу, пока он будет читать стихи, презревшие цензуру. О дамах, как о своей жене, так и о жене Гусликова, он беспокоился, конечно, гораздо меньше.

— Помилуйте, какие там смешные стихи! — сказал девицам Ливенцев.— Этак вы и до песен можете дойти... на кладбище-то!

— Что же, что кладбище? Это кладбище давнишнее. Теперь уж на нем никого не хоронят. Здесь вполне можно песни петь,— решила Фомка.

— А французы тем более наши союзники, они на нас в претензии не будут,— поддержала Яшка.

— Можно? Споем! Хором споем! — воодушевился вдруг Переведенов.— Я начну, вы — подхватывай!

И, сам себе дирижируя, он начал жужжащим горловым баском:

За речкой, за быстрой
Становой едет пристав...

— Подхватывай все!

Ой, горюшко-горе,
Становой едет пристав!

Никто не подхватил, конечно, но это не смутило штабс-капитана, он продолжал, входя в раж:

С ним письмо-водитель,
Страшенный грабитель...
Ой, горюшко-горе,
Страшенный грабитель...

— Ну вас к черту, слушайте, с такими песнями! — прикрикнул на него Кароли, но он успел пропеть еще один куплетец:

Рас-сыльный на паре
За ним следом жаре,
Ой, горюшко-горе,
За ним следом жаре...

И только когда все кругом зашикали на него и замахали руками, замолчал, но спросил все-таки:

— Не нравится? Неужели не нравится?.. Странно!.. Почему же?

Анастасия Георгиевна совершенно беззастенчиво подсела вдруг к Мазанке и обняла его, заглядывая ему в глаза и говоря:

— Вот вы, должно быть, хорошо поете: у вас очень-очень красивый голос!

Мазанка, отвернувшись от нее к Ливенцеву, сделал такое ошеломленно-уморительное лицо, что Ливенцев не мог не расхохотаться, и Пернатый спросил его тихо:

— Что такое смешное насчет моей жены сказал вам этот Мазанка?

Пришлось успокаивать как-то Пернатого, но дама из Ахалцыха почему-то упрямо решила вдруг не уступать этой горняшке самого красивого тут мужчину с такими великолепными усами и, решительно отодвинув Урфалова, подсела к Мазанке с другой стороны и тоже попросила его умиленно.

— Спейте!.. Спей, цветик, и студися.

— Что тако-ое? — вдруг отшатнулся от нее с явным возмущением в глазах Мазанка.— Что это значит такое, что вы сказали?

— Это значит: «Спой, светик, не стыдись!» Это из басни Крылова,— объяснил ему Гусликов, глаза у которого вдруг стали сухие и колкие.

Он тянул за руку свою жену от Мазанки, а у той дрожали тонкие губы не столько, может быть, от обид, сколько от досады за то, что ей этот красивый подполковник явно предпочел горняшку. Она встала и отошла, прижавшись к мужу, но Ливенцев увидел во всем этом что-то очень непонятное, что мог бы объяснить ему только Кароли, и Кароли объяснил быстрым шепотом на ухо:

— Ведь они крупно поссорились, Гусликов с Мазанкой, мы их сюда мирить привезли.

— Отчего же не мирите?

— Да вот черт его знает, кто должен начать мирить... Одним словом, надо еще пропустить рюмки по две и тогда мирить.

Он отшатнулся от Ливенцева и крикнул:

— Господа! Выпьем за наши войска, а?.. За наши войска,— продолжал он, приподнявшись,— которые там, в о-ко-пах, в грязи, одичавшие, завшивевшие, позабывшие о том, что они люди, подставляют себя под пули из пулеметов, под целые реки пуль, которые заливают буквально, от которых нет и не может быть спасенья вне окопов... или воронки от снарядов... Это надо только представить, что такое современный бой... Чемоданы из каких-то шестнадцатидюймовых, которых и представить невозможно! Реки пуль из пулеметов! Бомбы с аэропланов! Ядовитые какие-то появились газы!.. О винтовках наших и штыках я уж не говорю!.. Ручные гранаты! Огнеметы! И черт знает что еще!.. И все это — на несчастного человека. Вот такого же самого, как и каждый из нас,— щипнул он себя за руку.— Как же все это наши войска выносят, не понимаю? Ведь наш солдат — серый мужик. Что он видел на своем поле? Ворону и галку,

и весною — грача... Еще заводские рабочие, как в армиях западных, те хоть сколько-нибудь понимают, что такое грохот и что такое адская жара на заводах чугунолитейных. А наш мужик привык к тишине, и вот на него, несчастного, сваливается целый ад кромешный. И он не бежит от этого ада, он еще даже наступает и крепости берет!.. Думаю я: чем же победы наши могут достигаться? Для меня ясно: ценою огромных потерь! Потому что техника вся — она где? Она, конечно, у немцев, а у нас если и есть орудия, и то на них надпись: «Мэд ин Жермэн»! Думал я в самом начале войны, что будут нас за отсталость гнать и гнать немцы, однако же вот не гонят, и мы еще ихние Перемышли берем... Кто же взял Перемышль? Ополченские дружины! Ура!..

Тост понравился. Выпили за ополченские дружины. После этой рюмки развязался язык у мрачного Переведенова. Он вытер слабо растущие усы ладонью и сказал с подъемом:

— Господа! Был у меня враг. Этот враг подох... Отчего же он подох — вопрос? От икоты! Начал икать ежеминутно. Икал, икал, все икал. Недели две икал... и подох! А почему он икать начал — вопрос? Потому что я его вспоминал ежеминутно! Вот по этому самому!.. Тут говорилось насчет того, чтоб Вильгельма — в клетку... Ерунда, конечно! Эту птицу поймать сначала надо, а потом уж... как-нибудь вообще... А я такой придумал проект: хочу на высочайшее имя подать. Чтобы всех кобелей, какие в России есть, издан был приказ называть Вильгельмами. Вот! «Вильгельм! Вильгельм! Вильгельм!.. Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Вот кобель и прибежит, и хвостом завиляет... А кобелей в России сколько есть? Миллионы! А сколько раз на день их звать будут?.. Вот вы и подумайте, сколько раз придется ему, Вильгельму германскому, икать! Это уж будет явная смерть тогда. А раз Вильгельм подохнет, войне будет скорый конец. Так вот, это самое... Виночерпий! — обратился он к Урфалову.— Где моя рюмка? Выпьем сейчас поэтому за успех... это самое... моего проекта в высших сферах!

Очень смешной оказался Переведенов, вошедший в экстаз, и все расхохотались, и Кароли нашел, что это лучший момент для того, чтобы попробовать помирить двух подполковников.

Он сказал возбужденно:

— Мировую надо пить, господа!.. Вильгельм назначал когда-то премию тому ученому, который найдет

причину рака и способ лечения, конечно. Начинал он войну не зря: он силы своих противников знал до точки, и не боялся он ни нашей армии, ни французской, а рака он боялся, и сейчас, конечно, боится, потому что от рака умерли и отец его и дед. Да если бы и подох он от рака, на его место уже есть кронпринц, и — война продолжаться будет... Но вот в нашей дружине, господа, печальное явление: два уважаемых штаб-офицера наши поссорились. Конечно, ссора пустяшная, но все-таки...

— Почему пустяшная? — резко перебил вдруг Мазанка, и Ливенцев даже не узнал его, сразу взглянув: до того горели у него глаза и дрожала нижняя челюсть.

Гусликов тоже преобразился: несмотря на несколько рюмок выпитой водки, у него вдруг как-то заострилось лицо, подсохло, и забилась какая-то жила на правой скуле. Он тоже как будто хотел что-то сказать, но Кароли продолжал:

— Я не берусь, конечно, быть между вами судьей. Избави бог судить своих же товарищей по службе: непременно кого-нибудь обидишь. Я предлагаю только вот от лица всех однодружинников наших — помириться!.. Там, на фронте, господа, другие ополченские дружины Перемышли берут, подвиги совершают геройские, а мы тут... накажи меня бог, я даже не понимаю, как это можно так ссориться, что даже и смотрят друг на друга, как неприятели на фронте!.. Ну, поругался — это куда ни шло, бывает иногда с нашим братом, запустишь сгоряча на пользу службе. Но чтобы так вот, принципиальность какую-то... не стоит, господа, перед лицом великих исторических событий! Поэтому я и предлагаю... и прошу...

— Все просим! — сказал Урфалов.

— Просим, просим! — сказал и Ливенцев, хотя и не знал, из-за чего так крупно могли поссориться подполковники.

— Конечно! Какого черта, в сам-деле! — пробубнил Переведенов, пристально глядя на ту часть скамейки, на которой стояли в полном ведении Урфалова бутылки и рюмки.

И уже наполовину приподнялся было с места Гусликов с явным намерением подойти к Мазанке, но Мазанка возбужденно дергал себя то за правый, то за левый ус и чмыхал носом. И вдруг он заговорил, глядя почему-то в землю:

— Посмотреть кому-нибудь со стороны, свежему какому-нибудь человеку, то, конечно, рассудить можно...

Оставил человек, призванный в первый же день мобилизации, жену, детей на глухом хуторе, в имении, от железной дороги в тридцати верстах, и хозяйство свое все. А жена ничего не понимает в хозяйстве. Она людям верит, а люди ее надувают, конечно. Потому что кругом мошенники... сколько я уж потерял на этом! И вот был случай... представился случай такой — командировка. Отлично я мог бы домой заехать и все там наладить! Но Гусликов берет эту командировку сам...

— Ваше имение в Екатеринославской губернии,— перебил его Гусликов.

— Дайте ему высказаться, нельзя так! — поморщился Кароли.

— ...а командировка была в Новороссийск,— успел все-таки докончить Гусликов.

— Я успе-ел бы и в Новороссийск. Не беспокойтесь! — поднял на него злые глаза Мазанка.— И все бы сделал по службе, что надо, но Гус-ли-кову...

— Павел Константинович! — остановил его Кароли.— Перед лицом исторического события — взятия Перемышля — все пустяки по сравнению с вечностью, накажи меня бог!

И Пернатый торжественно подошел к Мазанке:

— Будем мириться, отец мой дорогой, и-и... запьем! А горе свое завьем веревочкой!

Потому ли, что Пернатый одно время тоже мечтал стать заведующим хозяйством, или почему еще, только Ливенцев увидел, что Мазанка поглядел на него насмешливо и прикачнул головой. Ливенцев перевел этот насмешливый взгляд так: «А что, не удалось и тебе, что не удалось мне! Так-то, брат!» Но Пернатый сказал еще:

— Наконец, кто же мешает вам просить отпуск на две недели?

— Просить я могу и чин генерала от инфантерии! — отозвался на это Мазанка.— Если захочу только, чтоб меня в сумасшедший дом посадили на испытание...

— А в самом деле, если бы отпуск? — спросил Гусликова Ливенцев.

— Вполне могли бы дать теперь,— только именно теперь, после Перемышля,— ответил Гусликов.

— Тогда за чем же дело стало? Значит, все можно отлично поправить... Миритесь-ка, Павел Константинович!

— Вы тоже так думаете? — спросил Ливенцева Мазанка.

— Разумеется, думаю так, как говорю.

— Ну, хорошо. А рапорт мой об отпуске кто же поддержит? — спросил Мазанка Кароли, но так, чтобы ответил на это Гусликов, и тот это понял и сказал:

— Я же и поддержу... на правах заместителя командира дружины.

— Кончено! Берем свои так называемые бокалы! — провозгласил Кароли, и началось общее оживление.

Главное, оживились девицы Гусликовы, которые сидели примолкши, но еще больше их — дама из Ахалцыха. Она поняла теперь, почему был так груб с нею этот красивый подполковник, и она ему сразу простила,— это видел Ливенцев по ее зардевшим продолговатым глазам под сросшимися черными бровями. Она очень бойко схватила узкой и маленькой рукой свой стаканчик вина, и когда чокались, запивая мировую, ее муж с Мазанкой, она стукнулась стаканчиком о рюмку Мазанки тоже, притом так темпераментно, что несколько капель вина брызнуло на ее жакет.

— Нич-чево! — сказала она, лихо вбросила все вино сразу в яркий мелкозубый рот и только после этого вытерла жакет надушенным маленьким платочком.

Подействовала ли, наконец, водка, или дамское красное вино, было ли это следствием удачно проведенного примирения между двумя штаб-офицерами, но все стали развязнее, крикливее, веселее.

Весенние тени резки. Но переплет темно-синих теней от веток огромного японского клена, под которым стояли гостеприимные скамейки, был мягок, ласков и както необходим, как и теплый солнечный день, и тишина, и весенний воздух, и запах начинающих лопаться почек на деревьях, и запах отовсюду вылезшей, уже некороткой травы и одуванчиков в ней,— необходим для того, чтобы еще сильнее зарделись глаза у этой узколицей дамы из Ахалцыха, с тонкими ноздрями слегка горбатого носа.

И когда зеленой змеей проскользнуло между деревьями и памятниками что-то живое, вдали, она цепко ухватила за руку Мазанку и спросила быстро, кивая в ту сторону головой:

— Это... там... что?

— Как будто бы хвост павлина,— ответил Мазанка.

— Пошел! Смотрел! — решительно потянула она его, и он поглядел ей в горячие глаза и сказал:

— Что же, пойдемте, посмотрим.

Между толстых стволов деревьев и памятников, ве-

личавых и важных, они скрылись незаметно для Гусликова, увлеченного в это время беседой с Кароли, и даже для девиц Фомки и Яшки, осаждавших в это время Ливенцева. Востроглазая Анастасия Георгиевна могла бы заметить это, но как раз занимал ее очень Переведенов, которому она говорила:

— Ну, вы, знаете, такой урод, такой уродище, что я даже и не знаю, как это вы живете на свете!.. Да-а-авно бы я на вашем месте повесилась!

А Переведенов, рассолодевший блаженно, бормотал ей:

— Гм!.. Че-пу-ха! Вешаться чтоб... Черт те что! Лучше я вам песню спою:

Ут-тя-я-ток, гус-ся-ток,
Да деся-ток порося-ток...
Ой, горюшко-горе,
Да десяток... поросяток...

Теперь это выходило у него протяжно, по-бабьи, и очень жалобно, и необыкновенно горестный имел он при этом вид, так что Анастасия Георгиевна вскрикивала: «Ой, я не могу!», хлопала себя по коленям и хохотала, как только могла звонко.

И прошло минут десять, а может быть, и четверть часа, пока вспомнил, наконец, Гусликов о своей жене, но в это время Мазанка уже возвращался с ней из таинственной весенней дали Французского кладбища и, прищуривая глаза, говорил с подходу Ливенцеву:

— Не хотите ли вы посмотреть хвост павлина? Заме-ча-тельный, очень! Советую! — и кивал бровью на Анастасию Георгиевну.

А у дамы из Ахалцыха был нисколько не сконфуженный,— напротив, победный вид, какой мог быть только у генерала Селиванова, взявшего Перемышль.

Водки было не так много выпито, чтоб от нее опьянели привычные люди; они были только веселее и откровеннее, чем обычно, но какая ничтожная и совсем невеселая получалась эта радость под весенними ультрамариновыми легкими тенями от могучих деревьев на старом историческом кладбище!

Ливенцев воспринимал все, что видел и слышал кругом, как обиду. Даже боль какую-то остро-щемящую чувствовал он, бегло скользя по всем лицам кругом обеспокоенно-внимательными глазами. Выходило неопровержимо так, что вот на нескольких тысячеверстных фронтах погибают миллионы людей и какие-то нечелове-

ские подвиги совершают миллионы других людей только для того, чтобы этот вот седоусый, темнокожий, турецкого облика капитан Урфалов имел повод достать где-то две бутылки водки и две бутылки вина, а потом в компании нескольких своих сослуживцев с их Фомками и Яшками и зауряд-женами распить эти бутылки на зеленой травке, на свежем воздухе, вдали от городского шума, на кладбище, где мелькают между деревьями хвосты павлинов и имеются вполне укромные места для усатых подполковников, желающих приятно провести хотя и короткое время с дамами из Ахалцыха... Правда, дамы эти совсем не умеют говорить, но это даже и лучше,— во всяком случае экзотичнее...

Гусликов только взглянул на свою жену и Мазанку через плечо и продолжал рассказывать Кароли, Урфалову и Пернатому, как он, когда ездил на велосипеде фирмы Герике как вояжер, между Батумом и Ардаганом встретил стражника Кадыр-агу, бывшего абрека.

— Замечательный, понимаете, стрелок: из пистолета стрелял на пятьсот шагов без промаха, а на всем скаку — на двести шагов. Застал, понимаете, жену свою в объятиях соседа, убил и его и ее, а потом, конечно,— ведь там кровная месть,— стал кровником, за ним начали охотиться родственники этого самого черта... ну, одним словом, соседа убитого... он еще четырех убил. Потом вообще из своей местности ушел, стал абреком. И неуловим был, как черт какой... Или вот еще там был Зелим-хан... Тот Зелим-хан, а этот — Кадыр-ага. Конечно, уж русские власти стали за ним охотиться. Он из русских никого не убивал, а когда пришлось ему круто, со всех сторон обложили,— сам сдался, только с таким условием: принять на службу в стражники. Ну, там русские власти, конечно, не дураки: лучше ты будь за нас, чем против нас. Приняли. А тут абреки затеяли на казначейство напасть. Он, конечно, это узнал, засаду устроил, и всех четырех — как ку-ро-паток! Так что с этого времени его и абреки боятся, и от русских ему почет. А уж женщин ненавидит этот Кадыр-ага — близко не подходи! Так и живет один.

— Настоящий человек на настоящем месте,— усмехнулся Ливенцев.

— Настоящий! — подхватил Гусликов.— И всей округи гроза. Только лаваш с чесноком ест, а сила какая. Как у тигра!

— Зато мы тут все ка-ки-е бесподобные зауряд-люди! — разглядывая и Гусликова и других, медленно и с испугом в голосе проговорил Ливенцев.

— Значит, и вы тоже? — кивнул ему, полусонно улыбаясь, Кароли.

— Ну, а как же! Разумеется! — ответно улыбнулся ему Ливенцев.— Разумеется, я тоже — зауряд-люд!

ГЛАВА ПЯТАЯ

КОНЕЦ ДРУЖИНЫ

I

Огромные дни таились еще впереди. Перемышль и его падение волновало недолго. Пленение неслыханной в прежние войны живой силы врага до ста тридцати тысяч человек, считая с ранеными и больными, лежавшими в госпиталях Перемышля, ничего не изменило в общем ходе войны. Так же, как и прежде, упорно обороняли австрийцы перевалы на Карпатах, к которым были стянуты двадцать четыре корпуса их войск и шесть корпусов германских. И стратеги мировой прессы гадали, в каком именно направлении с наступлением весны главное командование германской армии думает нанести русской армии сокрушительный удар.

В том, что этот сокрушительный удар готовится, никто из газетных стратегов не сомневался, так как в мировую прессу поступали сведения о спешной переброске по железным дорогам германских войск, орудий и снарядов и в Венгрию, где уже возводились укрепления вокруг Будапешта, и в направлении на Варшаву, на Северо-западный русский фронт, в главном командовании которого к началу апреля произошла перемена: на место заболевшего и назначенного в Государственный совет генерала Рузского был назначен генерал Алексеев.

Можно было гадать, кто из этих генералов лучше знает дело войны и стоит ли Алексеев Рузского, или оба они вместе не стоят одного Гинденбурга, принявшего теперь на себя главное командование на русском фронте, но стоило только поглядеть на карту железных дорог наших и австро-германских, чтобы вспомнить времена осады Севастополя, когда снаряды к несчастной крепости подвозились на волах: на каждой паре волов по снаряду!

Теперь крепость Севастополь усиленно разоружалась: часто бывая на железной дороге, прапорщик Ливенцев видел, как орудия на площадках товарных поездов шли на север, в Брест-Литовск и Ковну,— так ему говорили,— но, может быть, и туда, в краковском направлении.

Черноморский флот начал долбить укрепления Босфора и даже Чаталджи, не на шутку уже пугая Стамбул. А когда 21 марта турецкие крейсера вышли из Босфора попугать Одессу, то, напоровшись на мину, остался в одесском заливе крейсер «Меджидие».

Правда, в Дарданеллах погибло тоже несколько крупных судов французских и английских, и это заставляло румын и греков оставаться пока в спокойном состоянии и выжидать, но очень заволновались правящие круги Италии, которым казался несомненным близкий конец лоскутной монархии, которые боялись опоздать к дележу. Правда, Италия была в союзе с Германией и Австрией, но получить вожделенные восточные берега Адриатики она могла, только выйдя из союза и объявив Австрии войну. И русские газеты, учитывая силы нового возможного союзника, писали, что Италия в состоянии выставить два миллиона солдат.

В то же время в Севастополе глухо говорили о какой-то измене в десятой армии и о германском золоте, купившем разгром двадцатого корпуса в Августовских лесах, остававшегося без единого снаряда и без единого патрона перед ураганным огнем обошедших его немцев. Выяснилось, что немцы просто расстреливали безоружных, так как, по их же сводкам, на пространстве всего лишь двух квадратных километров они насчитали семь тысяч трупов.

Теперь, когда выяснились подробности разгрома, Ливенцев особенно ясно вспоминал одного молоденького белокурого прапорщика Бахчисарайского полка, с которым он говорил накануне отправки полка на фронт. Прапорщик этот, невысокий, но плечистый, видимо хороший гимнаст, говорил озабоченно:

— Ружейные приемы мы прошли, стрельбу — несколько упражнений успели пройти, колку чучел с разбегу прошли, обращаться с пулеметами обучили двойной состав людей пулеметной команды. Трудились мы, правда, как лошади, но, кажется, мы сделали все, что могли. Теперь — что будет! А совесть наша чиста.

Он был жизнерадостный, почти сияющий, этот пра-

порщик, фамилия которого осталась неизвестна Ливенцеву, когда говорил: «Теперь — что будет!» А было — семь тысяч трупов на пространстве двух квадратных километров, не считая трупов, оставленных в лесах, на пути к этим двум километрам. Правда, и немцы тоже трудились, как лошади, чтобы превратить в трупы двадцатый корпус: они прошли в целях обхода форсированным маршем по глубокому снегу шестьдесят два километра в один день и провезли с собой орудия и снаряды. Так спешили они, чтобы непременно окружить и перебить злополучный корпус!

А полковник Полетика никак не мог понять, зачем умерла у него дочь от галопирующей чахотки, и никак не мог прийти в себя после этой потери. Несколько дней он совсем не приходил в дружину, а когда, наконец, явился, то генерал Баснин, в этот день тоже вздумавший посетить своих «молодцов», был очень удивлен его ответами совершенно не по существу вопросов и полным безразличием ко всем делам дружины.

Через два дня после этого в штабе дружины получилась бумажка от Баснина, предлагающая полковнику Полетике явиться во второй временный госпиталь «на предмет испытания годности к дальнейшему прохождению службы его императорского величества в должности командира дружины».

Знакомые Ливенцеву сестры этого госпиталя — Еля Худолей и Маня Квецинская — передавали ему потом, что, наверное, Полетику совсем освободят от службы, так как он даже и не доказывает никому из врачей, как это делают другие подобные, что вполне здоров и к службе пригоден,— напротив, говорит, что очень устал и ничего не понимает, что делается кругом.

Однажды в госпиталь к нему зашел Ливенцев вместе с поручиком Кароли. Они думали, что вот он оживится, назовет их по обыкновению красавцами, скажет, что это черт знает какое безобразие, что его здесь зачем-то держат, между тем как он...

О своем желании повидаться с больным полковником они заявили дежурному врачу, а тот послал фельдшера справиться, может ли больной принять посетителей, но фельдшер, возвратясь, сказал:

— Полковник Полетика просили передать, что он никаких посетителей видеть не желает.

Может быть, Полетика был огорчен тем, что на его место в дружину был назначен другой полковник, взя-

тый из отставки, Добычин, который и сидел уже на его месте в кабинете или стоял за конторкой, имеющей вид школьной кафедры.

Полковник Добычин был большой любитель стрельбы, чем вовсе не занимался с дружиной Полетика, бывший сапер.

Этот хозяйственный, хлопотливый старик большого роста, сутулый, горбоносый и с твердым кадыком на жилистой шее, когда узнал, что дружина ни разу еще не ходила на стрельбу по мишеням, открыл рот, страшно выпучил глаза, серые, с воспаленными веками, ударил себя крупными руками по сухим бедрам и пророкотал:

— Р-разбойники-крокодилы! Хлеб дарром жррали! Др-рать за это!

И тут же начал хлопотать об отводе дружине стрельбища и в разном хламе, оставшемся дружине в наследство от ушедших и погибших полков, разыскивать мишени.

Несколько раз дружина ходила на стрельбу в марте. И когда стреляли на четыреста шагов офицеры, Добычин очень торжественно обошел их фронт и церемонно благодарил тех, кому махальные у мишеней показали красными флажками четыре попадания, а Мазанке, у которого в мишени оказались все пять пуль, он жал руку особенно долго, добавив к «благодарю, полковник!» еще и уверенность в том, что он в своей роте «стрельбу поставит на должную высоту». Однако Мазанка смотрел на него недружелюбно: рапорт его об отпуске Добычин положил под сукно, кряхтя и рокоча жестким кадыком:

— Не время теперь разъезжать в отпуска! Не время!

Ливенцев тоже получил бумажку из штаба дружины, чтобы «все нижние чины, стоящие на постах у туннелей, прошли первые четыре упражнения в стрельбе по мишеням», и Ливенцеву долго пришлось доказывать Добычину, что люди, рассчитанные на смены для точного и неуклонного несения караульной службы, проходить в то же время и курс стрельбы никак не могут.

— Не могут, не могут!.. Как это не могут? — горячился Добычин.— Проходите там с ними стрельбу в таком случае! Отвезите мишени туда и проходите! Ведь они там в чистом поле стоят у вас, вот и...

— А оцепление?.. Надо же, чтобы хоть проезжих и проходящих людей не перестреляли, как зайцев! На-

конец, мы и не имеем права открывать стрельбища в любом месте: пуля на три версты летит.

— А вы что меня тут учите, на сколько летит пуля? — осерчал Добычин, видя, что прапорщик прав.— И... и вообще, на будущее время, прошу меня не учить! Не учить, да! Ступайте!

Словом, Добычин оказался не только хозяйственным, еще и воинственным, и это скоро почувствовали все в дружине.

— Эх, потеряно время! Во-семь месяцев потеря-но! Господа, господа! Надо наверстывать, да, да, да! На-вер-сты-вать надо!

Он и колку чучел с разбегу проводил в дружине так же торжественно, как стрельбу, и хлопотал даже о том, чтобы дали в дружину хотя бы один пулемет для упражнений, но этого так и не добился.

Однажды Ливенцев, получив за его подписью бумажку о «неукоснительном проведении на постах упражнений по рытью окопов», явился в штаб дружины, чтобы уточнить этот вопрос, так как почва около постов была каменистая, твердый известняк, а на более удобных для рытья окопов участках расположены были небольшие кусочки полей или огороды местных хуторян; с известняком же саперными лопатками справиться было нельзя, а кроме этих лопаток у ратников ничего не было.

Добычина как раз не застал в дружине Ливенцев. Гусликов же сказал ему:

— Я не в курсе этого дела... Окопы-окопы, а зачем?.. И сам не спит, и людям мешает... Идите к нему на дом, пусть вам сам объясняет, чего он хочет.

— А удобно ли на дом идти?

— Отчего же? Ведь вы — в отделе. Сейчас приехали с постов — и сейчас же, дескать, вам опять туда ехать. По-моему, даже вполне удобно.

И Ливенцев зашел в один из домиков перед казармами, который прежде занимал подполковник Генкель и куда теперь перебрался Добычин.

Командирский денщик, низенький бородатый ратник старых годов службы и явно ошалелого вида, сидел в дыму в прихожей на корточках перед самоваром и раздувал его голенищем сапога. Так — одна нога в портянке, другая в сапоге — он и поднялся перед Ливенцевым, но сказал решительно:

— Нету барина дома.

— Досада! В дружине нет и дома нет... А когда же он будет? Я ведь по делу к нему.

— По делу ежель, тогда как же?.. Может, мне узнать пойтить?

— Узнай-ка, братец.

И низенький бородатый человечек без всяких заметных для глаз усилий, как это делают только дети, вновь очутился на полу, подвернул портянку и мигом натянул весьма разношенный сапог, и вот уж отворил дверь в комнаты и исчез, а Ливенцев вышел на двор, чтобы не дышать самоварным дымом, и сел на скамейке.

Прошло минуты три, пока что-то и кому-то докладывал маленький денщик, но вот вышел из домика кто-то в штатском, хорошего роста, с лысым высоким лбом, со светлой, клином, бородкой, с усталыми впавшими глазами и бледной кожей лица и, поглядев на него, подошел к скамейке.

— Вы к полковнику Добычину по служебному делу? — спросил он негромко, но очень внятно.

— Вот именно,— с недоумением поглядел на него Ливенцев, не зная, за кого принять этого штатского.— Его нет дома?

А штатский ответил:

— Вам придется немного подождать, он скоро приедет: поехал в штаб бригады.

— Что же, пройдусь по Историческому бульвару,— поднялся Ливенцев,— а потом зайду.

— Может быть, зайдете к нам, посидите...

— Вы — сын нашего командира? — наугад спросил Ливенцев; но штатский ответил поспешно:

— Нет, нет, я — не сын, нет! Я совсем не сын. И уже не отец...

И вдруг протянул ему руку:

— Дивеев!

И так же быстро, как протянул, вдруг отдернул ее, сказав:

— Вам, может быть, неприятно будет касаться моей руки? Я этой самой рукой стрелял в одного человека... в любовника моей покойной жены... Впрочем, я его не убил, только ранил. И суд уже был... и по суду я оправдан.

Ливенцев смотрел на странного человека с недоумением. Для него ясно было, что этот человек, не умеющий прятать в себе самом то, что отлично прячут другие люди, не совсем нормален, и в то же время он внушал ему полнейшее доверие.

Было тепло и сухо, Дивеев вышел к Ливенцеву в одном пиджаке и с непокрытой головою. Самоварный дым, валивший из передней клубами, чуть поголубев в воздухе, тут же расплывался, а в дверях стоял маленький человечек в рыжей жилетке, денщик Добычина, и глядел на Ливенцева ошалелыми глазами.

— Почему ты ставишь самовар не на дворе? — спросил его Ливенцев.

— Привычка у него такая,— ответил за него Дивеев очень серьезно, и денщик проворно вытащил самовар на двор; а из окна женский голос позвал Дивеева в форточку.

— Алексей Иваныч! Идите в комнаты!

— Просят в комнаты,— торопливо сказал Дивеев Ливенцеву.— Зайдете?

— Командира мне, конечно, надо дождаться,— отозвался Ливенцев, стараясь разглядеть в окно неясную женскую фигуру, и двинулся к двери, а денщик пошел следом, чтобы снять шинель.

Комнаты в домике были небольшие, и во второй от передней, в гостиной, Ливенцев увидел женщину, позвавшую Дивеева. Она сбрасывала в пепельницу пепел с папиросы, и Дивеев представил ее Ливенцеву так:

— Это... э-э... дочь... дочь полковника Добычина.

Ливенцев назвал себя. Женщина разглядывала его неторопливо, потом сказала:

— Садитесь, поболтаем немного, пока папа подъедет... а то у нас что-то совсем и не бывают офицеры. А я выросла среди военных, и хотя денщик наш, Фома, очень глуп, но именно это-то мне в нем и нравится: он напоминает мне детство, когда был у нас такой же точно денщик Филат, также глупый.

Она говорила без всяких усилий. Из черной атласной кофточки белой ровной колонной выходила ее длинная шея; очень большими, от длинных ресниц, казались темного цвета глаза, и похожим на отцовский был открытый лоб. И все-таки лицо с таким мужским лбом и несколько неправильным, слегка ноздреватым носом и с лихо зажатой полными губами папиросой показалось Ливенцеву с первого же взгляда капризным, и усталым, и склонным к тысяче изменений на день. И он не нашел еще, что бы ей такое сказать, как она уже продолжала:

— Ужасная вещь быть нижним чином, когда война,— не правда ли? Война нижнему чину зачем? Совсем

она ему не нужна. Но его-то меньше всего и спрашивают об этом и гонят, и гонят, и гонят с одного фронта на другой, пока его где-нибудь не укокошат благополучно. И вот меня угораздило, представьте, перед самой войной выйти замуж за одного... небедного, конечно, человека, а о-он оказался нижний чин, да еще не в ополчении, а в запасе! И вот, его угнали... и, может быть, уж убили где-нибудь там, на этих ужасных Карпатах, которые нам страшно как нужны, будто у нас и без Карпат мало гор! Во-об-ще — чтобы не сказать мне чего-нибудь, что не принято теперь печатать в газетах,— войну-то ведут, конечно, умные люди, но почему у дураков принято класть на полях всяких там свои животы и прочие части тела, это уж, как говорится, покрыто мраком неизвестности!

Тут она разбросала по столу, около которого сидела, пальцы, как будто собралась взять бурный аккорд на рояле, но можно было понять ее и так, что вот подобно этим ее десяти пальцам, брошенным на столе, брошены там, где-то на Карпатах, трупы убитых... между ними, может быть, ее муж, нижний чин.

И Ливенцев еще только присматривался к ней и ее пальцам, не зная, что ей сказать, как Алексей Иваныч глухо и медленно отозвался на ее слова:

— Вы забываете, Наталья Львовна, что есть биологические законы. Они трудно поддаются объяснению... Точнее сказать, они пока необъяснимы. Появится вдруг откуда-то эпидемия и пойдет гулять... Конечно, вы скажете: санитария была плоха, вот и эпидемия! Однако санитария всегда бывает плоха, эпидемия же далеко не всегда бывает. Так и война.

— Со временем не будет никаких эпидемий,— улыбнулся его словам Ливенцев.

— Еще бы! Я думаю тоже, что не будет,— согласился Алексей Иваныч.— Это будет тогда, когда не будет и войн. Но тогда эти законы будут упразднены, и появятся новые. Только и всего. Все равно, как дилювиальный период — и теперь. Тогда были свои животные, свои растения, и человек тоже своего склада. Все было приспособлено одно к другому — и потом вдруг переворот, и почти все погибло, и появилось много нового, и свои биологические законы. Эта война — она похожа на ледовый период,— она очень много уничтожит из тех законов, по каким мы сейчас живем, и появится много нового. И кто ее переживет, тому будет интересно

жить... хотя, может быть, и тяжелее, чем теперь. Потому что начнется новый биологический период,— верно, верно!

Ливенцев не понимал, кто такой этот Алексей Иваныч. Видно было ему только, что он — хороший знакомый Добычиных. Может быть, даже брат того самого нижнего чина, мужа Натальи Львовны, только старший, конечно, брат, так как было ему на вид за сорок уже лет.

— Вы — биолог? — спросил он Дивеева.

— Нет, я — архитектор,— скромно ответил тот.

— То-то вы так храбро говорите о биологических законах,— усмехнулся Ливенцев,— как настоящий биолог храбро будет говорить о ваших архитектурных законах... Все несчастье наше в том, что мы с вами или совсем не военные люди, или очень мало военные, поэтому нам ясны законы этой войны. А каким-нибудь мастерам войны, вроде маршала Жоффра,— им даже и задаваться этими мыслями о законах войны в голову не приходит: у них просто статистика, и передвигаются флажки по карте в их кабинетах.

— Папа говорит, что ваша дружина совсем ни к черту... с этой самой жоффровой точки,— и постучала папиросой над пепельницей Наталья Львовна.— Что никуда не годный вы там все боевой материал, кроме одного только ротного командира, который на стрельбе все пять пуль в мишень всадил.

— А-а! Мазанка! — улыбнулся Ливенцев.— Он — бывший начальник учебной команды в одном образцовом полку... конечно, он неплохой ротный командир... А в сестры милосердия вас не тянет? — спросил он вдруг, вспомнив Фомку и Яшку Гусликовых.

— Ни ма-лей-шего желания не имею! — повела она в стороны головой.— Чтобы всякие там рваные раны перевязывать? Бррр!..— Она расставила перед собой пальцы.— Этого еще недоставало!

И очень брезгливое стало у нее лицо, как будто только что нечаянно раздавила она ногой таракана. Но при этом она повысила голос, и вот из другой комнаты сюда донесся еще голос — грубый, низкий, но несомненно все-таки женский:

— На-та-ша! Ты с кем это там разговариваешь?

— Спите, спите, мама! Это вас совсем не касается! — отозвалась Наталья Львовна.— А мы будем говорить тише.

— Фома!.. А, Фома! — позвал голос оттуда, и Фома, обдувая пепел с крышки, внес бурлящий самовар и потащил его в ту таинственную комнату, откуда доносился голос, очень похожий на мужской, однако женский.

Голос этот потом, как слышно было через дверь, бубнил там что-то, спрашивая Фому, а тот в ответ прожужжал что-то весенним шмелем и вышел, поглядывая на Ливенцева подобострастно.

— Вмешаться так ли, сяк ли в войну эту все-таки тянет всех, тянет неудержимо,— сказал задумчиво Алексей Иваныч.— Результатом этой войны может быть даже порабощение, да! Горе побежденным! Ведь миллионами уже берут в плен. Я не знаю точно, сколько у нас в плену австрийцев, но что больше миллиона — это не подлежит сомнению. Так могут и целый народ какой-нибудь перетащить в плен, и останется на его территории одно только место пусто!.. Что же это? Ассирия? Или великое переселение народов?.. А ведь война только еще началась. Она и пять лет может протянуться.

— Статистика, только статистика могла бы сказать, на сколько хватит выдержки, терпения и металлов,— на пять лет или меньше,— сказал Ливенцев.— Металлов и угля, конечно. Это война угля и железа... Вы о солдатах только думаете, а рабочие? Рабочих вы в счет не ставите?.. Кто готовит снаряды, и патроны, и винтовки, и орудия? — Рабочие! Кто роет руду и уголь для тех же заводов и поездов, чтобы перевозить войска и снаряжение? — Рабочие!.. Говорите еще и об их терпении и выдержке. Они ведь тоже могут вдруг не выдержать, и тогда войне будет конец, так как воевать будет нечем. Разве что просто «на кулаки», как бились Тарас Бульба с Остапом.

В это время отворилась дверь из той комнаты, в которую внес самовар Фома, и на пороге ее появилась, заняв собой всю дверь, очень раскидистая полноликая старуха с белыми волосами и глазами. Продвигаясь потом вперед, держа перед собою обрубковатую руку, она заговорила густым мужским голосом:

— А где это у нас тут офицер сидит?

— Это — мама,— кивнула на нее Ливенцеву Наталья Львовна.

Ливенцев поспешно встал и подошел к старухе, которая была слепа и облизывала языком сухие, должно быть, губы.

— В преферанс играете? — спросила она, задержав руку Ливенцева в своей руке.

— Нет, никогда не играл,— удивясь несколько, ответил Ливенцев.

— А в какие же вы игры играете?

— Ни в какие не приходилось,— разглядывая слепую, говорил Ливенцев.

— Что же вы такое? Схимник, что ли, какой?

— Нет, я больше по части математики.

— Гм... Мате-матики... Вот оно что-о!.. А пиво вы где достаете теперь? Погибаю без пива я!

— Не знаю, где его теперь можно достать. А я пива и прежде не пил, когда можно было.

— Плю-хо-ой! — покачала головой старуха и сразу выпустила его руку из своей.— То-то и муж мой говорит: плохие офицеры!.. Те-перь я ви-жу, что действительно!..

— А вот и папа приехал! — сказала Наталья Львовна.

Ливенцев оглянулся,— входил полковник Добычин, почему-то в шинели, как слез с экипажа, и не снимая фуражки.

У него был явно рассерженный почему-то вид: и кусты полуседых бровей, и нахлобученный над подстриженными седыми усами нос, и красновекие серые глаза — все выглядело напыщенно и сердито.

— Вы ко мне, прапорщик? Что вам угодно? — сразу спросил он, подавая ему руку.

Ливенцев как мог короче сказал о твердом известняке и шанцевом инструменте.

— Так это вот за этим вы ко мне? За этим вы к ротному командиру своему должны были адресоваться, а не ко мне. Грунт твердый? На это мотыги есть и выкидные лопаты есть. Вот надо их взять в своей роте и отвезти на посты. Только и всего-с!

Ливенцев поспешил проститься с Натальей Львовной и слепою, а Дивеев вышел его провожать.

— Что-то очень сердит приехал,— сказал Ливенцев Дивееву.— Вы, может быть, тоже домой пойдете? Пошли бы вместе.

— Я домой? Куда домой? — удивился Алексей Иваныч.— Нет, я тут... У меня никакого «дома» нет больше. Я тут...

И, прощаясь с ним, Ливенцев понял, что он, должно быть, заменяет того «нижнего чина», мужа Натальи

Львовны, а Добычин, пожалуй, и возмутился-то только тем, что он, Ливенцев, проник в его квартиру и увидал то, что ему, командиру дружины, хотелось бы скрыть от своих подчиненных.

А дня через три Ливенцев случайно встретил Алексея Иваныча на улице и спросил его, не брат ли ему тот самый нижний чин, муж Натальи Львовны.

— Что вы, что вы! Какой брат! Что вы!..— Он — Макухин, да, а я — Дивеев. Он арендовал одно имение тут, в Крыму... вдруг мобилизация! И урожая не успел собрать — угнали. А через три дня уже в Польше был... Давно все-таки не было писем, недели три или даже почти четыре,— верно, верно... Может быть, убит или остался на поле сражения, как пишут, то есть в плену. Он — старший унтер-офицер, и Георгия ему дали за что-то там... А Георгия этого не любят солдаты, простите!.. Я с несколькими говорил, которые с фронта. «Чуть только заблестит у тебя здесь, на грудях, говорят, сейчас немецкую пулю в это место и получишь!»

— Вы, кажется, сказали, что вы — архитектор...? Строите что-нибудь здесь?— полюбопытствовал Ливенцев.

— Я? Строю? Что вы, что вы! Кто же теперь строит? Теперь и крыш даже никто не красит,— видите, какие ржавые! Дожидаются все конца войны, когда олифа подешевле будет. А сейчас за деньги цепляются, которые падают с каждым днем!.. Да покупай же ты на эти деньги все, что попало, что тебе и не надо совсем,— не береги их только! И вот, простой такой вещи никто не хочет понять!

— Так что вы на свои деньги покупаете олифу? — улыбнулся Ливенцев, но странный человек этот, Дивеев Алексей Иваныч, поглядел на него удивленными глазами.

— Я? Покупаю?.. Я ничего не покупаю. У меня нет денег. Совершенно нет у меня никаких денег... Прощайте!

И пошел какою-то летучей походкой, на ходу приподняв и опустив серую шляпу с черной лентой, а Ливенцев после его замечания о некрашеных крышах внимательнее, чем обыкновенно, пригляделся к домам и увидел много такого, чего как-то не замечал раньше: действительно, крыши нигде не красились и дали рыжие полосы и пятна, стены не белились, и как-то всего лишь

за восемь месяцев войны неожиданно постарели, облупились, побледнели на вид...

И в первый раз именно в этот день Ливенцев осязательно понял, что окрашенная крыша и побеленная стена — признак политического спокойствия, полного доверия к существующей власти, мира и тишины.

II

В конце марта объявлен был царский указ о призыве ратников ополчения первого разряда для пополнения запасных батальонов и формирования дружин: война требовала новых и новых жертв; олифа подорожала, человек страшно подешевел.

С теплого, но голодного юга к холодным, но сытым северным озерам тянули и тянули косяками водяные птицы. В весеннее движение пришли соки деревьев и сбросили жесткие колпачки с почек; всюду запахло молодой травой, устремившейся жить, зеленеть и цвести — цвести во что бы то ни стало, а люди деятельно собирались в запасные батальоны и обучались стрельбе из винтовок в спешном порядке.

И там где-то, за стеною Карпат,— это очень отчетливо представлял каждый день бывавший на железнодорожных путях Ливенцев,— идут и идут один за другим безостановочно поезда, грохоча и свистя и неуклонно, однообразно и жутко стуча тяжелыми колесами по рельсам, блестящим маслянистым блеском на весеннем солнце: везут солдат в касках и полевые орудия в чехлах — батальон за батальоном, полк за полком, дивизию за дивизией, корпус за корпусом... Страна стали (девятнадцать миллионов тонн в 1913 году!) подвозит к Карпатам свои корпуса стального, серо-голубого цвета в стальном порядке.

И однажды в начале апреля, застряв на станции Мекензиевы Горы, последней перед станцией Севастополь, Ливенцев увидел — подходил товарный поезд с обыкновенными вагонами на сорок человек или восемь лошадей, подходил тихо, и из вагонов визгливые гармошки и песни: дикие-дикие бабьи голоса, покрывающие дикие и хриплые голоса мужские. И Ливенцев еще только хотел догадаться, что это такое, кого везут в этом поезде в Севастополь, когда увидел на платфор-

мах горные орудия, полузатянутые брезентом. А когда остановился поезд на станции и кто-то крикнул: «Вылеза-ай, эй, вылазь! Дальше не поедем!» — Ливенцев увидел, что это приехала воинская часть: из вагонов стали спрыгивать на перрон солдаты в рыжих кубанках, с кинжалами спереди, кто в шинели обыкновенного образца, кто в черкеске с газырями... Ясно было, что это — кавказская часть, и Ливенцев подумал было, что кто-то из этих ребят в кубанках нарочно запускал в бабий тон, просто для пущей красы, иначе и песня не в песню,— но нет: из вагонов, как мешки, стали падать вниз самые подлинные бабы, с подсолнечной скорлупой, прилипшей к губам, и бессмысленными от недосыпу глазами.

И Ливенцев очень ярко вспомнил ту маршевую команду, которую довелось ему вести на вокзал через всю Одессу в 1905 году и которую помощник командующего войсками Радзиевский, сидевший на прекраснейшем гнедом, в белых чулочках, коне, презрительно назвал «сволочью Петра Амьенского».

Так же, как и тогда, все здесь были почему-то пьяны. Неизвестно, что они такое пили, но они едва держались на ногах.

— Что это за часть такая? — спросил Ливенцев старичка начальника станции, и тот, кивая удивленно головою, отвечал вполголоса:

— Будто бы кавказская горная артиллерия, по бумагам так... да вон и пушки стоят... Ну как же это теперь воевать нам с такими солдатами?

Махнул ручкой и ушел, «чтобы глаза не глядели на них», и уже помощник его, суровый человек, потерявший левую руку в одном из первых боев с австрийцами, бывший фельдфебель, объяснял приехавшим, что здесь они будут погружать орудия прямо на транспорты — 24-й и 39-й, и что им самим тоже не будет других квартир, как эти транспорты, которые их и повезут по морю, куда начальство прикажет.

В Северной бухте действительно стояли транспорты под номерами 24 и 39 — ошарпанные буксирные пароходы. И Ливенцев наблюдал, как, оставив пока орудия на площадках, кавказцы выгружались из вагонов...

До их приезда на маленькой станции было тихо, только станционная детвора — плоды довоенного досуга здешних служащих — играла в «поезд»: тихо и солидно бегали один за другим, ухватив передних за руба-

шонки. А старшая из ребятишек, девочка лет семи, бежала впереди и старательно дудела в кулак. Однако дудеть хотелось и остальным, и все начинали дудеть в кулаки, а девочка оборачивалась и кричала:

— Замол-чать, дурные!.. Три, что ли, паровоза в поезде?.. А кто же тогда вагоны?

Станционные ребятишки должны, конечно, знать, что такого поезда, чтобы в нем одни только паровозы и ни одного вагона,— не бывает в природе, и они после окрика умолкали. Но бежал к ним откуда-то еще один, лет четырех, на кривых ножках, в красной рубашонке. С затылка и вниз на голове у него ряды, как у овец, и на шее густо насыпаны состриженные волосы, и за ним из какого-то домика бабий крик:

— Колька!.. Колюшка!.. Коля!.. Куда же ты убежал от меня? Дай, достригу!

В руке у бабы сверкают ножницы. Колюшка видит их и бежит дальше.

— Ко-ля! Иди, я тебе что-то дам! — начинает хитрить мать.

Мальчуган остановился было, но только на момент.

— Ко-ля! Иди, мы сейчас на море поедем!

Эта хитрость удается как нельзя лучше. Кольке давно, верно, хочется на море, и он поворачивает назад, а мать прячет страшные ножницы под фартук.

Все шло прекрасно, словом, на этой маленькой станции, пока не появился этот воинский поезд с гармошками, качающимися на нетвердых ногах пластунами, горными пушками, полуприкрытыми брезентом, и густой руганью.

Грязные мешки и крашеные сундучки вытащили из вагонов на станцию, но под вагонами везде почему-то валялись обоймы с патронами, пачки патронов, наконец Ливенцев заметил целый ящик на триста обойм. Он толкнул его ногой, думая, что ящик пустой,— нет, оказался тяжелый, плотно набитый.

— Черт с ним, пусть валяется! — сказал ему совсем молодой еще, лет девятнадцати, прапорщик в кубанке и с шашкой казачьего образца.— Мы таких на турецком фронте столько оставили, что-о...

И запустил ругательство гораздо более сложное, чем мог бы придумать поручик Кароли, потом обнял какую-то бабу и закружился с ней, спьяну или чтобы показать свою лихость этому пехотному прапорщику-ополченцу средних лет, или просто от скуки.

У этого прапорщика сверх черкески была еще и епанча какого-то линюче-малинового цвета, очень странная на вид теперь, когда все цвета, кроме грязно-желтого, были изгнаны из обихода войск.

Дождавшись своей дрезины, Ливенцев уехал в Севастополь, а потом на Нахимовской, Офицерской, Большой Морской и на Приморском бульваре он видел этих прапорщиков под ручку с белогоржеточными зауряд-дамами.

В своих рыжих папахах, черкесках и епанчах носились они, подобно бедуинам. Малиновые епанчи их особенно кружили головы девицам.

Ливенцев подслушал как-то и то, о чем говорили с девицами два таких прапорщика.

— Ересь какую распустили про нас, что мы безо всякого образования... А мы все — военные училища покончали.

— И что из того, что мы сейчас прапорщики? Мы ведь прапорщики не запаса, а действительной службы. Нас тоже будут производить в следующие чины.

— А какой же у вас следующий чин? — любопытствовали девицы.

— Подхорунжий. Это соответствует мичману, если перевести на флот, или подпоручику, если просто в артиллерии.

— А потом нас в хорунжие, в сотники произведут. А потом — в подъесаулы...

— Да господи! Чины — ведь они у всех одинаковы, только что по-разному называются!

На Приморский бульвар «нижних чинов» не впускали, и казаки с бабами, гармониками и семечками заполнили Исторический бульвар, где не было для них запрета, где матово поблескивал бронзовый памятник Тотлебену, общедоступна была панорама Рубо, и садовник, с которым и здесь, любя цветы, познакомился Ливенцев, показывал ему место, на котором стояла батарея Льва Толстого.

На клумбы уже были высажены лакфиоли, маргаритки и анютины глазки, и зацвели оранжевыми, очень яркими цветами кусты пиркозии, но когда Ливенцев прошелся как-то днем по Историческому бульвару, он увидел, что все цветы на клумбах были оборваны, иные растоптаны и вдавлены в мягкую черную землю подкованными каблуками, а с ярко-оранжевыми ветками пиркозии, отмахиваясь ими от мух, уточками, вперевалку

ходили бабы с Кавказа, и развевались около них линюче-малиновые епанчи.

Известно уже было о казаках, что отправят их на транспортах в Одессу и уж оттуда — на галицийский фронт. Говорилось, из неизвестных, впрочем, источников, что германские таубе прилетели в Константинополь и уж готовятся бросить на эти транспорты бомбы, почему устанавливаются зенитные орудия на их конвоирах — контрминоносцах.

Но не одних только севастопольских девиц в горжетках и без горжеток увлекли эти бедуины в малиновых епанчах. Увлеченным ими оказался и подполковник Мазанка.

Известно, как иногда совершенно пустой повод приводит к катастрофе, если только налицо причина для катастрофы.

Ливенцев редко бывал в дружине и еще реже виделся с Мазанкой, поэтому не знал, что такое произошло раньше у Мазанки с Добычиным и почему вдруг Добычин объявил ему строгий выговор в приказе по дружине за то только, что не понравился ему борщ.

Рота Мазанки была в этот месяц довольствующей ротой, а с котла дружины «довольствовался» сам Добычин; борщ в этот день был рыбный, из кеты, кета была просолена на Дальнем Востоке, а здесь осмотрена зауряд-врачом, борщ ели все и хвалили; не понравился он одному только Добычину, а может быть, и не самому ему, а слепой его жене,— и Мазанка, получив строгий выговор в приказе, вдруг прорвался.

Но он сделал не так, как сделал бы Ливенцев,— он знал военную дисциплину, этот бывший начальник полковой учебной команды, выпускавшей унтеров; он поехал прямо к командиру явившегося с Кавказа казачьего полка и сказал ему:

— Я — тоже казак. Я служил, правда, в пехотном полку, но это уж так пришлось. Желал бы перейти в ваш полк и биться с немцами под вашим начальством!

Он был очень возбужден, когда говорил это, и командир казачьего полка принял это возбуждение за боевой азарт, за казачью прославленную лихость. На столе перед командиром стоял бочонок кавказского вина. Он налил стакан Мазанке. Чокнулись.

— А вам известно ли,— сказал он,— что раз вы из своей вонючей дружины в боевой полк перейдете, то бу-

дете аж на целый чин ниже,— стало быть, не штаб-офицер, а простой есаул?

Мазанке это было известно, и казак казака принял к себе в есаулы. Распив с ним еще по стакану вина, Мазанка поехал к Баснину и сказал ему:

— Или вы, ваше превосходительство, меня не задерживайте, или я и сам на тот свет пойду и с собой потащу кого-нибудь за компанию!

От казачьего вина он имел вид человека отчаянного решения.

Баснин, поглядев на его боевые усы, сказал было:

— Если вы хотите выслужиться поскорее, то ведь и ваша дружина в скором времени может отправиться в десантную операцию в Синоп.

Но Мазанка только головой пренебрежительно качнул:

— Знаем мы эти Синопы!

И Баснин согласился на его переход в казачьи есаулы, тем более что казаки вливались в ту же армию, в которой числилась и его бригада, а высшего начальства здесь не было ни у него, ни у войскового старшины пластунов.

Так в обстановке войны, в упрощенном порядке, сделался Мазанка вдруг есаулом, забыв о своем имении, о своей жене, о своей пшенице и своих волах, о своих малых детях и даже о своем штаб-офицерском чине.

Он добыл черкеску, рыжую папаху, кинжал и шашку казачьего образца и в таком виде явился в дружину сдавать роту.

Ливенцев был при этом. Он видел, как изумленно глядел на преображенного Мазанку Добычин, мигая красными веками и открыв рот, а Мазанка, откачнув голову в воинственной рыжей папахе, певучим своим голосом говорил:

— Прикажите, господин полковник, кто именно должен принять от меня роту, и я ее сдам сегодня.

— Роту... сдавать?

Два раза закрыл и два раза открыл рот Добычин, пока сказал наконец:

— Я ничего не знаю. И вас... вас в такой форме я тоже не знаю! У меня в дружине-е... ротного командира-есаула... не было-с!

— Ага! Не было?.. А под-пол-ков-ник Ма-зан-ка, которому вы строгий выговор за борщ, потому что у вас катар желудка... он у вас был в дружине?

Тот же самый командирский кабинет с висячей лампой «молнией», и конторкой, и шкафом со старыми томами «свода военных постановлений», кабинет, в котором когда-то судили прапорщика Ливенцева, видел теперь других горячо говоривших людей, и Ливенцев теперь только слушал и пристально смотрел, как весеннее солнце, врываясь в окна, сверкало на серебряной рукояти шашки Мазанки, на его белом погоне с одною уж теперь красной полоской и в его глазах, полных ненависти к этому старику с подстриженными седыми усами и носом внахлобучку.

Кроме Ливенцева, пришедшего по поводу денег «вверенным ему нижним чинам», тут были еще и адъютант Татаринов и Гусликов, принесший какую-то бумагу на подпись, и никто из них не сидел,— все стояли, так как стоял, облокотясь о стол костяшками пальцев, сам Добычин.

— Гос-подин ес-саул... потрудитесь под-твер-дить, да, соот-вет-ствую-щей бумажкой, да... что вы действительно бывший... подполковник Мазанка! — выдавил медленно и с большим выражением в рокочущем голосе Добычин.

Мазанка оглянулся на Ливенцева, на Татаринова, как бы их призывая в свидетели той чепухи, которую он только что услышал, и спросил адъютанта с издевкой:

— Вам известно, что я действительно Мазанка, а не... Добычин, например?

— Мне кажется, дело только в бумажке,— постарался смягчить положение Татаринов.

А Добычин загремел на высокой ноте:

— И про-шу ва-ас... про-шу вас... не говорить лишнего!

— Прошу вас... не кричать на меня! — в тон ему протянул Мазанка.— Я вам ни-сколько не подчине-ен теперь! У меня есть свое начальство, и ему я не позволю так на себя кричать!.. Бумажку вам нужно? Вот бумажка!

Мазанка с такой энергией при этом вздернул правой рукой, что Ливенцев подумал вдруг: «Кинжал! Или шашка!..»

Но не шашка и не кинжал, а самая обыкновенная мирная канцелярская бумажонка забелела в руке Мазанки, который шагнул с нею не к Добычину, а к Татаринову.

— Есть перевод, господин полковник,— полусогнувшись, вполголоса почему-то сказал Добычину Татаринов; но Добычин уже выходил из кабинета, говоря ему:

— Роту принять старшему из субалтерн-офицеров... а о поведении здесь... бывшего ротного командира — рапорт командиру бригады!

И ушел, хлопнув дверью.

Мазанка презрительно кивал ему вслед папахой, прочувственно говоря:

— Вот дурак-то!.. Полетика, может быть, и не всегда был глупым, а этот — сроду дурак!

— И неужели Переведенов получит роту? — ужаснулся, но вполголоса, Гусликов.

— Переведенову чтобы я роту сдавал? Психопату этому? Не-ет! Лучше я вообще никому ничего сдавать не буду! И пусть на меня валят всё, как на мертвого!

— Как же так? Нельзя же, Павел Константинович! — пробовал уговаривать его Татаринов.

— Отлично можно! Разве Полетика этому дураку сдавал дружину? Он и назначен-то сюда только заместителем, а разводит тут ерунду всякую, будто и в самом деле!.. На картошке с постным маслом сидел себе в отставке, и вдруг такая власть дана!.. О-сел старый!

Так Мазанка и не сдавал никому роты. Он только подписал составленную Татариновым бумажку, что роту сдал за переходом в другую часть.

С ратниками своей роты простился он перед тем, как явился к Добычину, и теперь вполне уже чувствовал себя есаулом. Выходя с ним вместе из штаба дружины, спросил его Ливенцев:

— Как же так все-таки, из-за какого-то выговора за борщ, круто очень повернули вы свою судьбу в сторону окопов и смерти... Зачем?

Мазанка поглядел на него мрачно.

— Вы думаете, не все равно?.. Я тоже думаю, что не все равно — идти ли в окопы с этим Добычиным, или с настоящим боевым полком. Вот потому-то я это и сделал.

— А что идти пришлось бы, в этом не сомневаетесь?

— Какие там, к черту, сомнения!.. Все пойдут, и вы пойдете. Теперь на войну будут гнать изо всех сил, чтобы к осени кончить.

Условились, когда сойтись для проводов у виночерпия — капитана Урфалова, и Мазанка браво пошел в свою сторону, держась в новенькой черкеске стройно и прямо.

III

Царь между тем жил деятельной военной жизнью. Телеграф приносил известия, что он знакомился со вновь завоеванной страной, населенной братьями-славянами,— Галицией, или Червонной Русью,— и даже, выйдя на балкон дворца во Львове, произнес короткую, правда, но содержательную речь: «Да будет единая, неделимая, могучая Русь! Ура!» И львовские горожане, конечно, ответили на это «ура» долго не смолкавшими криками «ура».

Перемышльские форты, правда, взорванные австрийцами перед самой сдачей и представлявшие груды бетонных обломков, тоже удостоились видеть на себе царя, с которым ездили две его сестры — Ольга и Ксения — и верховный главнокомандующий. В то же время в иллюстрированных еженедельниках в Петрограде появились торжествующие снимки с пленных перемышльских солдат, проходивших под конвоем ополченцев по широкому Невскому проспекту. Торжество победителей было полное, и каким-то невежливым выпадом со стороны германцев казалось то, что они выстроили перед Либавой семь крупных судов и свыше двадцати мелких и забавлялись иногда обстрелом вполне беззащитного города.

Газеты сообщали даже, что, продолжая свои забавы, немцы отправили на суда с русского берега много женщин. Газеты крайне возмущались таким «варварским поступком бесчеловечного врага», но когда сказал об этом Ливенцев Марье Тимофеевне, та, к удивлению его, отозвалась так:

— Что же тут такого? Они же ведь их не убьют, и не все ли равно?.. Мало, что ли, в нашем флоте офицеров немцев? Если не половина, то считайте третью часть, а я думаю, даже и больше!

— Конечно, и у германских лейтенантов тоже ясные пуговицы, и тоже можно их мелом чистить, но-о... гм... из-за чего же мы воюем-стараемся? — удивленно спросил Ливенцев.

— А я знаю, из-за чего вы там воюете! — пожала плечами Марья Тимофеевна.— По-моему, так совсем даже все это ни к чему!

— Так вот, значит, каков голос женской плоти! — шутливо нахмурил брови Ливенцев.— Так что, по-вашему, если бы был во всех государствах матриархат, то

кончено было бы с войнами?.. Откуда же брались всякие там амазонки Пентизелеи?.. Или гораздо больше, чем эти проклятые вопросы, улыбается вам дать мне самоварчик?

— Самовар — это я сейчас, а что вы говорите, Николай Иваныч, насчет амазонок, какие на лошадях ездят, то я одну знала такую: она через дом от нас жила и все с мичманом Сангине каталась, а он — итальянец был. И вот бы вот должна свадьба у них случиться, а Сангине с одной горничной путался. То она к нему бегала, а то хозяев ее дома не было, он к ней вздумал зайти, а у ней свой дружок сидит — приказчик из магазина. А итальянцы — они горячие люди. Он ему кортиком две раны дал, убил насмерть! А это вечером было. Он — что делать? Сейчас, как совсем стемнело, взял фаэтон, да к священнику: «Батюшка, обвенчайте!» Ну тот его за большие деньги, конечно, окрутил, а уж потом на другой день он заявил в полицию сам: «У своей жены застал любовника,— конечно, сдержать свою горячность не мог...» Ему наказания даже и не давали, а только из флота попросили. Кабы он ей успел дворянство купить, а то,— всего сразу не сделаешь,— не поспел. Ну, потом в порту получил должность, а она что же? Пить стала!.. Да как его конфузила-то пьяная! А он человек оказался очень хороший и все ей прощал... Вот вам и итальянец! — И Марья Тимофеевна победно поглядела на Ливенцева.

— Все доказательства в пользу немцев под Либавой налицо! — сказал Ливенцев.— А как думает по этому вопросу ваша Дарья Алексеевна?

— Ох, Дарья Алексеевна! Умора нам с ней! — очень оживилась Марья Тимофеевна.— Ей недавно цукатов всяких из Москвы прислали, вот она нас с Марусей надумала угостить. Мы и всего-то взяли по две цукатинки, и вон она своими култышками действует, действует, коробку чтобы к себе... «Зу-бы ведь от сластей всяких портятся, а вы — женщины еще молодые, вам зубы нужны да нужны, кавалеров обольщать... А я уж так и быть, у меня уж пускай портятся!» И кому же говорит так, а? На-ам! Будто мы не знаем, что у ней и совсем-то зубов ни одного нету! Вот она какая хитрая старуха,— о-ох, и хитрая!.. А насчет немцев, конечно, что же она может думать, если она уж и недвижимая сидит, и без зубов, и ей уж семьдесят лет скоро?

В этот день к Ливенцеву зашла Еля Худолей, радостная.

— Мимо шла и заскочила — радостью поделиться,— говорила она, сияя.— Такой у меня праздник — вы представьте! — берут меня на санитарный поезд. Ходить он будет в том направлении — на Броды, Самбор, на Львов... вообще, ура, наша взяла!.. Кричите же со мною вместе «ура». Что же вы молчите?

И Еля сделала такое удивленно-обиженное лицо, что Ливенцев улыбнулся, но сказал:

— Почему же я должен радоваться, что вы уедете на каком-то поезде?.. Я, впрочем, привык к тому, что все поезда теперь страшно опаздывают,— может быть, и ваш опоздает?

— Не опоздает, нет! И я поеду!.. Я буду много видеть всего — и плохого и хорошего. Много знать буду. Много всяких людей встречу... Может быть, я и его тоже... встречу!

— Ах, это все того же... полковника Ревашова, который, наверно, уже генерал? — недовольно сказал Ливенцев.

— До свиданья! — церемонно протянула руку Еля.

— Ну, ладно, ладно! Он — герой русского оружия... Сидите!.. Вдруг и я когда-нибудь попаду в ваш санитарный поезд... И у меня не будет ни рук, ни ног, ни других частей тела, но на моей геройской груди будет гореть четвертой степени Георгий. И тогда наконец-то вы меня полюбите бесконечной любовью...

Но Еля сказала на это, очень поморщившись:

— Нет! Без рук, без ног, и чтобы я вас полюбила,— фи! Пожалуйста не надо!

— А если только без одной руки и без одной ноги?

— Нет! — покачала головой Еля.

— Гм... Вам непременно нужно, чтобы только одну руку мне оторвало снарядом, и конечно — левую?

— Совсем мне это не нужно,— рассудительно заметила Еля.— Гораздо лучше будет, если совсем вы не будете ранены.

— Вот тебе на! Как же попаду я к вам тогда в поезд?

— Ну, мало ли как! Просто, вы можете заболеть... какой-нибудь легкой болезнью...

— А вы меня разве примете с легкой болезнью?

— Разумеется, приму.

— А если бы вдруг... я оказался немец? — сделал весьма загадочное лицо Ливенцев.

— Как немец? — не поняла Еля.

— Так, самый настоящий. И по отцу и по матери... Что тогда?

— Вот ерунда какая! Что же тут такого! Разве наш царь не немец и по отцу и по матери? — непонимающими глазами поглядела на него Еля.

— Ага! Та-ак? Кончено! Я должен, в таком случае, открыть вам эту великую тайну: я — немец! — сказал он как можно таинственнее и оглядываясь на дверь.— Я — немец, и ничто немецкое, великое немецкое мне не чуждо. Я люблю и Гете, и Шиллера, и Клейста, и Геббеля, и прочих, и прочих, и прочих, вплоть до самых новейших! Я люблю и Канта, и Шопенгауэра, и Гегеля, и прочих, и прочих, и даже Ницше! Я люблю Вагнера, и Бетховена, и Шуберта, и прочих, и прочих... Я люблю немецких художников, я люблю математиков-немцев,— я по ним учился!.. Я люблю людей науки немцев — они велики во многих и многих областях науки. Я уважаю Маркса и Энгельса — величайших социологов. И вот... я — немец по своему духу и телу, конечно, как я уж сказал вам,— я буду командовать своим людям, чтобы они стреляли по немцам!

— А вы это верно говорите, будто вы немец? Вы не врете? — спросила Еля.

— Ну вот, зачем же мне врать? — как мог серьезнее ответил Ливенцев.

— Тогда...

Еля задумалась было, но потом сказала так же таинственно и тихо:

— Тогда вы в первом же сражении должны бежать...

— Постойте! Что вы говорите!.. А как же я тогда попаду в ваш санитарный поезд, Марья Тимофе... то бишь, Еля?

— Может быть, вас возьмут в плен наши, и вот тогда...

Ливенцев захохотал так громко, что даже испугал Елю, но ему было грустно. И, когда уходила Еля, было так жаль и ее и себя, что он спросил ее только о полковнике Полетике.

— Ах, ваш полковник Полетика! Он получает четвертую категорию, но это, говорят, ничего не значит: его всегда могут опять потребовать на службу, так как

в офицерах страшный недостаток теперь — их очень много убивают на фронте...

И ушла так же бездумно, как заскочила, даже не сказав, когда же она уезжает на санитарный поезд.

А батарея, стоявшая на Северной стороне,— та самая, месячную отчетность которой ревизовал когда-то вместе с Мазанкой и Кароли Ливенцев,— уже ушла на фронт, оставив свою дружину. Об этом узнал он только теперь, месяц спустя после ее ухода. Представил себе поручика Макаренко, который когда-то, только что собравшись в своем медвежьем углу на охоту, был потревожен урядником по случаю войны, и подумал: «Где-то он теперь хлопочет около своих пушек?» Так как был он вполне безобидный, этот поручик Макаренко, то хотелось, чтобы попал он на какой-нибудь сравнительно тихий участок фронта, но трудно было решить, где этот тихий участок.

А корнета Зубенко Ливенцев встретил на улице. Тот или не узнал его, или сделал вид, что не узнал, будучи очень занят какою-то таинственной беседой с пожилым военным врачом, статским советником.

Этот врач, с одною пышною звездочкой на погоне без просветов, был на голову ниже длинного корнета и, слушая его, щипал, как это делают иногда в затруднении, свою седоватую небольшую бородку и морщился.

Ливенцев, который припомнил весь разговор у ротмистра Лихачева об угольных копях бельгийской компании «Унион» и шестидесяти тысячах годового дохода, хотел было подойти к корнету — узнать, как поживает эскадрон в Балаклаве, и ротмистр, и ротмистрша, и ее голая африканская собачка, но понял, что разговор у Зубенко с этим врачом, к которому он так подобострастен, должен быть для него особенно важным, и, может быть, даже касается он освобождения от службы и возвращения в свое имение, где три тысячи десятин пшеничных полей требуют теперь, весной, хозяина, а его нет.

13 апреля, так же как всегда, Ливенцев на трамвае приехал на вокзал, чтобы объехать на дрезине посты, но его уже поджидал, как оказалось, величественный вахмистр Гончаренко со своей огромной золотой медалью под курчавой седеющей бородой и сказал вполголоса, прикивнув значительно бровью:

— Опять прибыть к нам желают... его величество.

— А-а!.. Вот как! — удивился Ливенцев.— Он ведь сейчас в Галиции...

— Оттуда уж изволили выехать. Утром получилась депеша... в пять утра.

И опять, как зимою, пришлось идти к полковнику Черокову, смотреть в его инквизиторские, аспидно-сине-молочные глаза и слушать его голос, зажатый в горле где-то на средних регистрах.

Но теперь Чероков почему-то сказал еще:

— Пока служба постов у туннелей проходит вполне сносно. Как-то будет дальше?

— А что именно может случиться дальше? — с понятным любопытством спросил Ливенцев.

Чероков же только поглядел на него испытующе, но не ответил и заговорил о расстановке людей по линии.

Конечно, не преминул напомнить Чероков, что рассказывать о близком приезде царя пока не нужно; что все части войск, между ними и дружины бригады генерала Баснина, будут извещены об этом в свое время.

И Ливенцев, как всегда, объехал посты на дрезине и от всех старших на постах выслушал рапорты, что все обстоит благополучно. Но теперь он выяснял наличность каждого человека на постах и напоминал всем, как надо стоять на часах на линии железной дороги при проезде царя: смотреть в поле и чести не отдавать.

Потом произошло все так же, как и в первый приезд царя зимою: землянки заняли егеря, а людей с постов жандармы развезли по линии в направлении на Бахчисарай. Самому же Ливенцеву пришлось теперь дежурить с тыльной стороны вокзала, у шлагбаума, где было гораздо спокойнее, потому, что цепь жандармов и егерей дальше шлагбаума никого не пропускала, а покушений отсюда из небольшой толпы местных жителей ждать было нельзя. И опять волновались целый день колокола и флаги.

Царь приехал теперь с наследником, и мальчику, страдавшему гемофилией, пришлось, как и отцу, переодеваться несколько раз в этот день — 15 апреля: в морскую форму для смотра флотских, в казачью — для смотра пластунов и, наконец, в общеармейскую, с медным крестом на фуражке, для смотра ополченцев.

Вернувшись с вокзала, Ливенцев видел царя проезжавшим в автомобиле, именно в этой ополченской форме, и удивился, что на фуражке, какую ему дали, темнело большое масляное пятно. Можно было подумать,

что это пятно от потного затылка, но день был не жаркий. Царю как будто хотел кто-то придать этой фуражкой подчеркнуто боевой вид, какой бывает у военачальников на поле сражения, когда дорога каждая минута, потому что каждая минута может решить бой, и черт с ней, с фуражкой, какая она там, без пятна или с пятном! Мгновенно сунул ее на голову — и в машину, и мчись в самую гущу боя. Но в Севастополе не было боя, и фуражка царская могла бы быть приличней, так полагал Ливенцев.

Поздно придя домой, он увидел у себя на столе записку адъютанта, передававшего ему приказание Добычина явиться на смотр в караульной форме, а Марья Тимофеевна сообщила ему, что писарь, принесший записку, ждал его долго.

— Ладно! С одного вола две шкуры хочет содрать этот Добычин,— сказал ей Ливенцев.— Видно, что добычлив: фамилии иногда бывают метки.

Вечером он узнал, что Переведенова, который получил роту Мазанки как старший из субалтернов, Гусликов уговорил на смотр совсем не допускать, дабы царь не спросил его снова, в каком сражении получил он увечье, а он не заговорил бы опять о революции 1905 года. Поэтому ротой на смотру командовал Кароли, и боялись, что очень уж мало в дружине офицеров и на это обратит внимание царь.

Правда, генералов, военных и штатских, в свите царя было гораздо больше, чем офицеров в дружине Добычина, но царь, по-видимому, привык уже к тому, что офицеров в войсках вообще мало.

Казачий полк и горноартиллеристов он поздравил с отправкой на борьбу «с коварным и сильным врагом», и казаки, а между ними и новоиспеченный есаул Мазанка, ответили радостным криком:

— Покорнейше благодарим, ваше величество!

Дружины он не поздравлял с походом. Однако на другой же день после его отъезда Чероков вызвал к себе Ливенцева и, пристально, как всегда, глядя на него, сказал:

— Ну вот — ваша служба на постах кончена.

Ливенцев изумленно открыл рот, подыскивая слова для вопроса, что такое случилось. Он так и подумал, что что-то такое случилось с его ратниками там, на постах, и за это «что-то» надо отвечать ему. Но Чероков, слегка приподнявшись, протянул ему руку, говоря:

— Спасибо за службу! Вы хорошо поставили дело охраны туннелей, но-о... ваша дружина должна будет спешно готовиться к отправке на фронт, и ваших людей приказано снять с постов.

— Вот как! — тоном глубокого огорчения отозвался Ливенцев.— Кончились, значит, счастливые дни Аранжуэца! И куда же нас погонят? В Синоп?

— По-че-му в Си-ноп? — очень удивился Чероков.

— Были какие-то смутные слухи насчет Синопа.

— Не понимаю... Ведь ваша армия на Западном фронте,— при чем же тут Синоп?.. Нет, вы пойдете на запад.

— Что же, идти — так идти... Или, как говорил попугай: «Ехать — так ехать». Не мы первые, не мы, кажется, будем и последние.

— Как знать! — загадочно сощурил глаза Чероков.— Может быть, вы-то именно и решите все дело.

— О-о, непременно! — улыбнулся Ливенцев, вспомнив при этом почему-то штабс-капитана Переведенова и подполковника Пернатого, и простился с Чероковым, навсегда запрятав в свою емкую память немигающий взгляд этих редкостных, холодных, аспидно-сине-молочных глаз.

Тяжело было потом ездить в последний раз на дрезине по постам и объявлять, чтобы все, сдав посты другой дружине, возвращались к себе в роту командами. Все смотрели испуганно, непонимающе, и приходилось договаривать до конца — о близкой отправке на фронт.

— Конечно значит! Отжевались бычки, пора под обушок гнать! — сказал обычно веселый унтер-офицер Вяхирев и потемнел с лица.

— А ко мне грозилась баба приехать, меня проведать... как же теперь быть? — затужил Тахтаров.

— Я думаю, не сразу вот так и отправят,— постарался успокоить его Ливенцев.

Вечером в этот день к нему на квартиру явился тот самый прапорщик 514-й дружины, которого зимой во время приезда царя он задержал вместе с поручиком, а они — дежурный по караулам и рунд — спешили на гарнизонную гауптвахту. Этот, бывший тогда рундом, сидел теперь у него и спрашивал, в чем заключаются обязанности постов у туннелей, так как он явился его заместителем. Он смотрел на него, как счастливец на обреченного.

— Мы,— говорил он,— так и останемся здесь, в Севастополе, для несения караульной службы, а вот ваше дело плохо...

— Зато мы можем со временем стать генералами, а вы так и умрете в прапорщичьем чине! — пробовал шутить Ливенцев; но преемник его только откивнул головой, повторив в растяжку:

— Ге-не-ра-ла-ми!

С этим человеком ясного и трезвого ума Ливенцев ездил на следующий день по постам, и люди его по точным правилам гарнизонного устава сдавали посты смене из другой дружины.

Случилось так, что человек около ста с дальних постов скопились на полустанке ждать товарного поезда; но ждать пришлось бы долго, и Ливенцев, бывший с ними, сказал:

— Что же это, собираемся за тысячу верст куда-то там, а тут всего четыре версты до Корабельной слободки!.. Пойдем-ка походным порядком... Стройся!

Построились, вздвоили ряды и пошли, оставив несколько человек с сундучками, за которыми должна была приехать артелка первой роты.

Наперерез, полем, к Слободке шли молча, а когда показались первые домишки, Ливенцев остановил людей отдохнуть. Чувствовалось, что нужно было что-то сказать им, но первый раз в его жизни случилось это, что он или может совсем ничего не говорить — и это будет умно, или может сказать, но как раз то самое, что известно им самим, и это будет глупо. Он выбрал последнее, потому что ведь нужно же было их поблагодарить за ревностную службу на постах, как его благодарил Чероков.

И он начал:

— Вот что, братцы. Прежде всего за то, что вы на постах ничем и никак не подвели меня, который отвечал перед начальством за порядок на этих самых постах, спасибо вам!

— Рады стараться, ваше благородь! — согласно ответили ратники, от чего поморщился Ливенцев, но продолжал:

— Итак, дошел черед и до нас... Что делать! Живем мы с вами в государстве, а не в диком лесу, коекакими удобствами пользуемся в этом нашем государстве, за что оно нами и распоряжается, как ему будет угодно. На нас напали, мы защищаемся. А дальше —

там уже кто какой жребий вынет: кому жизнь, кому смерть, кому увечье... Может быть, случится и так, что только придем на позиции, объявят мир. А может быть, и еще не один год война протянется, тогда не мы — первые, не мы — последние. Тяжело, но пока что сделать ничего нельзя. Был такой в старину князь Святослав. Пошел он завоевывать этот самый Константинополь, который был тогда греческий, а не турецкий, но прижали его там греки — обложили большою силой, и говорил он своему войску: «Уже нам некуда деваться. Хотим или не хотим, а биться надо. И если ляжем костьми, то мертвым нам все равно не будет стыдно, что нас побили!» Кроме этого утешения, что мертвым не будет стыдно, очень трудно что-нибудь придумать. Но, во всяком случае, пойдем вместе и всё испытаем, что выпадет на нашу долю, а там, со временем, будет видно, что нам делать... Может быть, мы с вами сделаем кое-что и в пользу того, чтобы война эта, ужасная, бесчеловечная бойня эта, была последней на земле войной!.. А что это будут стремиться сделать все те, кто честнее, кто умнее, кто порядочней и у кого есть сердце в груди, а не кусок камня,— в этом не сомневайтесь! Что будет объявлена война войне — в это верьте! И кто из нас останется в живых, тот будет жить новой жизнью, так и знайте... «Рады стараться!» мне не кричите,— мне этого не надо. Над тем, что я вам сказал, подумайте про себя, и пойдем с вами вынимать свой жребий... Все!

Ратники не кричали «рады стараться!». Они стояли молча и смотрели на него во все глаза, и трудно было решить ему, что именно они поняли из его речи.

Он улыбнулся и скомандовал:

— Стройсь!

И потом довел их до остановки трамвая, где передал команду Тахтарову.

А проводы Мазанки так и не состоялись. Они были назначены на 16 апреля, но в этот день казаков грузили на транспорты для отправки, и только издали видел Ливенцев, как кишели палубы транспортов рыжими папахами, но разглядеть среди них папаху Мазанки было уж невозможно.

Запомнилась ему одна старуха, стоявшая на взгорье с ним рядом. Она долго присматривалась к транспортам, защищая подслеповатые глаза рукою от солнца,

и, наконец, разглядев, повернула к нему морщинистое крупное лицо и вскрикнула горестно:

— Как барашков!

Действительно, папахи из рыжих овчин давали возможность ей сказать это. Но почему же начала рыдать она вдруг, беспомощно осев наземь? Это была здешняя, севастопольская старуха, как определил наметавшийся глаз Ливенцева, никого из родных у нее, конечно, среди кавказцев не было, и пришла она сюда мимоходом, из простого бабьего любопытства, как приходила, может быть, и на кладбище, когда хоронили Монякова и девицу Ксению, но ее поразила, разумеется, только эта ее же мысль: так же грузят стада баранов, когда везут их, бессловесных, и кротких, и доверчивых к человеку, куда-то далеко, на убой. Так поражает иногда человека обыкновенная ходовая мысль, если она продумана до конца и воплощена в яркий образ.

В дружине же страшное известие о скором выступлении на фронт произвело переполох среди офицеров. Даже веселый обыкновенно Кароли глядел на Ливенцева пустыми, выпитыми до дна черными глазами, как приговоренный к смертной казни, и говорил глухо:

— Не спал сегодня всю ночь. Написал духовное завещание... Э-эх! Пропала жизнь!.. А будто совсем еще и не жил,— в печенку, в селезенку всех этих окаянных Вильгельмов, сколько их есть!.. Но уж, накажи меня бог... если после этой войны не полетят с них короны, то... то полетят они вместе с их головами, накажи меня бог!

— Свирепеете? — улыбнулся ему Ливенцев.

— Рассвирепел! — мрачно ответил Кароли.

Пернатый как-то совершенно неестественно осунулся и похудел за одни сутки и бормотал:

— Отцы мои хорошие, успехов вам и удач... и крестов георгиевских побольше, а я уж, должно быть, опять в отставку: все у меня точно отнялось внутри и сердце тоже.

Подполковник Эльш, который в последнее время был очень сосредоточен и молчалив, теперь, к удивлению Ливенцева, приосанился несколько и даже заговорил:

— Я уж, конечно, должен буду в лазарет лечь. А то это на дому леченье — оно мало достигает цели.

Кажется, он даже готов уже был простить ту, от которой заболел и которая назвалась румынкой.

Прежде он говорил о ней, скрежеща:

— Вешать таких кверху ногами надо!.. Ру-мын-ка!.. Такая же она румынка, как я — зулус!.. «У нас, говорит, по два раза в год виноград бывает!» — «Это где же у вас?» — «В Румынии».— «А в каком же месте?» — «Да в городе в Кишиневе!» У-ух, я бы ее сам повесил!

Теперь он сказал как-то:

— А румынка опять шляется, я ее на Приморском видал...— и сказал это без всякой злости.

Переведенов, так ликовавший, когда получил, с уходом Мазанки, роту, теперь вдруг уверенно убеждал Урфалова, что перед отправкой нагонят дружину врачей и будут те браковать каждого, кто не годен.

— Потому что как же иначе? А то наберут кáлечь всякую и вот просим покорно на фронт! А там что же — возиться с кáлечью будут? Там раненых хватит, чтобы возиться... На кой черт, скажут, набрали всякую сволочь? Вот!

Даже и Урфалов, всегда восточно-спокойный и рассудительный, начал что-то покряхтывать и припадать на левую ногу, и вдруг оказалось, что он знает турецкий язык и уже заходил в штаб крепости справляться, не нужно ли там переводчика, хотя и на меньшее жалованье, чем триста рублей.

А рыжебородый Шнайдеров, так ревностно стучавший в головы ратников обязанностями дворцовых часовых и правилами зари с церемонией, теперь задумался над своим будущим, и задумался до того, что уж не отвечал ни на чьи вопросы и глядел дико.

— Ишь Метелкин-то наш! Симулирует психическое расстройство! — удивлялся ему Кароли.

Заскучал Татаринов и совершенно перестал улыбаться, а в бумагах в два-три дня завел такую неразбериху, что на него накричал Добычин.

Зауряды Значков и Легонько, всегда державшиеся вместе и жившие в одной комнате, ходили уже по магазинам и покупали корзины, походные койки и прочие дорожные вещи, больше всего ценя в них выносливость и прочность, но и они, самые молодые в дружине, отнюдь не горели боевым огнем, как горел им тот белокурый прапорщик Бахчисарайского полка, фамилии которого не знал, но которого вспоминал Ливенцев.

Гусликов не падал духом, он был так же непоседлив, как всегда, но Фомка и Яшка, как-то встреченные Ливенцевым на улице, проболтались ему, что их отец на-

чал уже хлопотать о переводе в 514-ю дружину, где он, конечно, не будет уж заведующим хозяйством, потому что там крепко держится этого места один подполковник с самого начала войны.

— Присосался, как пиявка,— не оторвешь! — сказала Фомка.

— А в ротные командиры идти — понижение, и содержание гораздо меньше,— сказала Яшка.

Из этого понял Ливенцев, что Гусликов каким-то образом тоже думает отвертеться от похода и всяких случайностей боевой жизни, но каким именно — не мог представить.

Хмуро глядели и вяло двигались ратники даже и не старых годов службы... и, однако, среди общего этого уныния, охватившего дружину, мелькали два преувеличенно радостных лица.

«Охотник за черепами», Демка Лабунский, снова появился в дружине, бросив своего позолотчика-отца теперь уж окончательно. Но он появился не один: с ним пришел еще мальчуган его лет, Васька Кото́в, круглоликий, вечно улыбающийся, с сияющими, как звезды, серыми глазами.

— Вот тебе на! —сказал Ливенцев, увидя их в дружине.— Был один охотник за черепами, теперь уж два! Ты что, размножился почкованием, Демка?

Демка кивнул ему головой, как хорошему знакомому, и отозвался:

— Обманули меня тогда, что на войну пароход идет, а он и вовсе в Мариуполь. Теперь не обманете!

— А этого грешника ты соблазнил бежать? — кивнул Ливенцев на Ваську.

— Ого! Я!.. Он уж из пулемета стрелять знает!.. Он еще раньше моего бежал!

— Вот вы какие кровожадные! — и похлопал по спине Демку Ливенцев.— Все равно, ребята, не возьмут вас, оставят.

— Ну да, оставят! Мы и на буферах доедем! — сказал теперь уже Васька и до того нестерпимо засиял своими звездами, хоть зажмурься.

Полковник Добычин деятельно хлопотал обо всем, что было необходимо дружине для похода, но однажды вместе с генералом Басниным приехал в дружину новый командир, полка уже, не дружины, так как дружина переименовалась в полк, и полк этот получил название по

одному из городов Екатеринославской губернии и очень большой номер.

Новый командир полка был еще далеко не стар, лет сорока трех-четырех, но уже с Георгием, заработанным там, на этом страшном фронте. У него было бритое круглое лицо и бритая круглая голова («На фронте, господа,— говорил он, улыбаясь,— чем меньше волос, тем лучше!»). Щеки его горели неистребимым здоровьем. Был он коренаст и голосист. Фамилия его была Ковалевский.

— Нижние чины у нас будут ничего ребята: все-таки много молодых,— говорил он, когда Баснин после смотра уехал.— Офицерский состав, конечно, весьма хромает, но это ничего: нам подсыплют боевых офицеров — остаточки разгромленных полков... А вы, полковник, может быть, останетесь у меня заведующим хозяйством и помощником...

Добычин слегка наклонил голову, храня бесстрастный вид, а Ковалевский продолжал, обращаясь к Гусликову:

— Что же касается вас, капитан, то вам придется уж взять роту.

— То есть как роту? У вас в полку? — вдруг, неожиданно для Ливенцева, весьма задорно вскинулся Гусликов.— Нет! Я, может быть, и возьму роту, только не у вас!

— Как так? — даже опешил несколько Ковалевский.

— Как? Очень просто! — ответил Гусликов, и актерским жестом, несколько изогнувшись в талии, он выхватил изо рта одну и другую вставные челюсти и широко раскрыл рот, совершенно беззубый.

— Гм... Беззубых мне, конечно, не надо,— усмехнулся Ковалевский.— Хотя... со временем,— добавил он загадочно,— не спасет вас, может быть, и беззубость ваша от фронта. Так что на всякий случай вы запаситесь чем-нибудь еще.

— Постараюсь! — ничуть не смутившись, ответил Гусликов.

Так кончился зауряд-полк и начался полк, один из многих сотен полков русской многострадальной действующей армии.

Прибывали офицеры, которым уступили свои места и Пернатый, и Эльш, и Гусликов, перешедший в 514-ю дружину, и даже Переведенов.

Да, присмотревшись к раненному во время «беспорядков» штабс-капитану, Ковалевский решил, что его лучше не брать, а отправить во временный госпиталь на испытание, и Переведенов жаловался на него Ливенцеву:

— Вот! Прислали чертушку!.. А он себе подцепил шлюху с улицы... Вы думаете, он полком командует? Это она нами всеми командует, шлюха!.. Ну, она на меня и взъелась: и с ротой-то я не занимаюсь, и на охоту все хожу, пятое, десятое... Я говорю: «Болен был... поэтому... Могу же я заболеть на день, на два?» А он бумагу: «Не годен к службе по болезни, и прошу освидетельствовать». Хорошо, если только отпуск дадут, а если совсем со службы вон?.. Вот что проклятая баба сделала! Тогда пускай мне пенсию дают за семнадцать лет службы, да еще за этот год. А то куда я деваться буду?

— Постойте, о какой такой бабе вы говорите? — не понял Ливенцев.— Что-то я не видел никакой.

— А что вы видите?.. Есть у него такая. Шлюха захлюстанная... Знаете что, Ливенцев! Как война кончится, возьмите меня к себе в управляющие.

— Куда в управляющие?

— Куда? В имение, а то куда же!

— Да откуда вы взяли, что у меня есть имение?

— А то нет? Рассказывайте кому другому, а не мне! На охоту буду с вами ходить, песни вам петь...

Переведенов смотрел на него жалкими, собачьими, преданными глазами, и Ливенцев отошел почти в испуге.

27 апреля, как раз в тот день, когда немцы заняли десантным отрядом Либаву, пришел приказ об отправке их полка на фронт.

Уверенно говорилось в газетах о скором выступлении Италии на стороне Антанты, уверенно предсказывалась в связи с этим скорая гибель немецких армий, но почему-то более осязательно представлялось, как там, за завесой Карпат, поезд за поездом, безостановочно и гулко передвигаются серо-голубые корпуса, и «батареи медным строем скачут и гремят...»

Очень хотелось почему-то Ливенцеву увидеться перед отправкой с Елей Худолей, но оказалось, что она уже умчалась внезапно, в ночь накануне, туда, на свой санитарный поезд. Зато Марья Тимофеевна даже поплакала немного, прощаясь.

С полком вместе на те же самые транспорты, которые увезли в Одессу, «как барашков», пластунов и Ма-

занку, грузили и эскадрон, стоявший в отделе, в Балаклаве, но им командовал теперь какой-то молодой штабс-ротмистр, и вместо Зубенко был другой корнет.

— А как же этот... пышноусый был там ротмистр, помните?.. которому Дарданеллы были очень нужны... Лихачев, кажется? — спросил Кароли Ливенцев.

— Отсеялся,— не то презрительно, не то завистливо сказал Кароли.— Так же и миллионщик-корнет Зубенко остался в Севастополе.

— По какой же такой болезни остался?

— Были бы миллионы, а болезни найдутся.

Кароли провожала жена, приехавшая из Мариуполя. У нее был ошарашенный вид, и она время от времени говорила:

— Нет, как же это? Неужели вас дальше Одессы отправят? Ведь на днях, говорят, выступит Италия, и тогда будет мир... Ведь так? Так?

У нее были дряблые щеки, бесцветные глаза и распухшие веки, и нервно сжимала она в руке платок.

Ливенцев придумывал, что бы сказать ей в утешение, но раздалась зычная команда Ковалевского, который сам руководил погрузкой:

— Десятая рота, подходи-и!

Десятая рота была рота Ливенцева.

1934 г.

ЛЮТАЯ ЗИМА

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это так часто случается в жизни,— точнее, из этого только и состоит жизнь: возникает яркая и твердая, совершенно бесспорная мысль: «Надо сделать так!» — и тут же тысячи других мыслей,— подсобных, рабочих,— ретиво, как весенний рой пчел, начинают строить свой план действий.

Иногда на это уходит много времени и средств, но когда все построено и готово, окажется вдруг, что и мысль была вздорной и незрелой, и план нелеп, и средства затрачены напрасно, потому что не стоит на месте и не ждет жизнь, а движется бурно и на ходу перехватывает все яркие мысли, у кого бы они ни возникли, и строит свои планы, и приводит в действие свои силы...

Когда пехотному полку, в котором командовал десятой ротой прапорщик Ливенцев, приказано было в спешном порядке грузиться в вагоны, этот приказ шел совершенно вразрез всему, что знал о своем будущем полк.

Приказ был получен в самом конце ноября пятнадцатого года, но все время, с начала войны, полк неотрывно смотрел на юг, на Черное море; так было и в Севастополе, когда полк был еще в стадии гусеницы,— ополченской дружиной,— зауряд-полком; так было и долго потом — то в Одессе, то в Херсоне, где он стоял теперь. Особенно твердо в последнее время знал о себе полк, что будущее его таится где-то там, за морем, на берегах Турции или Болгарии, успевшей присоединиться не к державам Антанты, а к союзу центральных держав.

И вдруг одна бумажка с загадочной надписью в правом верхнем углу: «Весьма секретно» — круто повора-

чивала все его помыслы с юга на север, с синей зыби моря на прочную рыжую осеннюю землю, щедро изрезанную окопами.

— Позвольте,— как же это так и что это такое? Нет ли тут просто ошибки в адресе? — отнюдь не шутливо, хотя и с обычной для себя улыбкой, спрашивал Ливенцев полкового адъютанта, тоже прапорщика, но прошедшего через школу прапорщиков,— художника по своей штатской профессии,— Ваню Сыромолотова.

Массивный Сыромолотов, одно время имевший звание чемпиона мира по французской борьбе, отвечал на это не по-молодому, философски-спокойно:

— Начальство знает, что оно делает.

— Но ведь у нас с вами были такие прекрасные возможности, оккупация поэтического Стамбула, а? Или долгая стоянка в Казанлыкской «Долине роз»,— и вдруг... вдруг все идет прахом? — отнюдь не весело шутил Ливенцев.

— Нисколько не «вдруг» и не «прахом»... Отчего нам не приехать в ту же «Долину роз» по железной дороге, тем более что ведь и штормы зимой на море бывают,— пытался отшутиться Ваня. Но голос его не звучал успокоительно, и Ливенцев видел, что на этот раз адъютант полка так же мало понимал в намерениях высшего начальства, как и он.

Однако, не отходя от Вани, он продолжал думать вслух:

— Чтобы попасть в Болгарию по суше, надо проехать через Румынию, которая пока еще нейтральна и нас, конечно, не пропустит.

— Что же, что сегодня нейтральна? Завтра она может быть и за нас, и отлично мы через нее проскочим, да еще и румын с собою прихватим малую толику... ясно?

Ваня смотрел на Ливенцева, с которым в последнее время довольно близко сошелся, добродушными, хотя и усталыми от бесконечной канцелярской работы глазами, и Ливенцев отозвался:

— Ясно мне, что гадаете на кофейной гуще, как и я, грешный.

А бывший тут же, в канцелярии полка, и тоже ротный командир — двенадцатой роты — подпоручик Кароли подхватил оживленно:

— Кофейная гуща, вы сказали? Правильно,— накажи меня бог! Именно кофейная гуща и поможет нам

узнать, куда именно нас гонят. Если мы с вами зайдем в любую кофейню, то там любой котелок очень точно нам скажет, куда именно нас повезут на убой! Накажи меня бог, если мы от них не узнаем даже, в какой именно день нас с вами ухлопают... эти...

Определение «этих», то есть германцев, вышло у Кароли настолько витиевато и многокрасочно и до такой степени совершенно неудобно для печати, что появившийся как раз в это время в канцелярии из своего кабинета, с кучей бумаг в руке, командир полка, молодой полковник, генштабист Ковалевский, сказал ему, улыбаясь:

— Послушайте, поручик,— ведь вы же грек!

— Так точно,— ответил Кароли, не понимая, к чему вопрос.

— По отцу и по матери?

— И по матери тоже грек.

— Так откуда же это вы, грек, так здорово знаете русский язык? Ведь такое совершенное знание русского языка можно всосать только с молоком матери.

— А куда мы едем, господин полковник? — спросил Ливенцев, видя, что командир почему-то настроен не хмуро.

— Едем, я так думаю, в Одессу... Сначала в Одессу, а там,— куда прикажут,— быстро ответил Ковалевский.

— Почему же не морем, если в Одессу?

— Должно быть, ожидается шторм,— очень просто. А вот,— веером развернул он свои бумаги,— только что получены карты берегов Болгарии,— возьмите, будете изучать их в вагоне, а пока спрячьте, некогда.

И всем офицерам, которые оказались тогда в канцелярии и подошли к Ковалевскому, он весело роздал те же карты, добавив:

— Карты берегов Турции, господа, вы тоже получите. И кое-какую литературу по вопросам десанта. Но только, господа, теперь в особенности будьте начеку и языки держите за зубами! Полное сохранение тайны похода — вот что от вас требуется. Никому, даже из домашних, не только женщинам, ни слова! Едем, да,— а куда? Куда начальство прикажет. Шпионаж у наших противников поставлен великолепно,— на этом они собаку съели. Вы нищему калеке на улице подали, а он, может,— самый настоящий шпион на жалованье. Больше же всего, господа, бойтесь вы говорить с женщинами! Вы скажете, что это вы и без меня знаете отлично.

Не сомневаюсь, однако и самое лучшее знание не мешает освежать в памяти. Женщина устроена так, что и хотела бы, да положительно не в состоянии не разболтать того, что она узнает. А на фронте на каждую женщину смотрите как на шпионку... А насчет нашего полка я должен вам сказать, что он лицом в грязь не ударит. За эти несколько месяцев моего командования полком мы с вами проделали огромную работу, и поверьте мне, что полк наш подготовлен не хуже любого кадрового полка начала войны,— да, да! Но когда я говорю — «не хуже», то это просто излишняя и ненужная скромность. Он подготовлен гораздо лучше любого из кадровых полков, потому что усвоил годовой опыт войны. Я говорю это вам потому, что видал много кадровых полков начала войны и сам несколько месяцев провел на фронте. Наши люди только что не обстреляны, но это, господа, до первого боя, до первых потерь от огня. Что полк наш будет из лучших пехотных полков, а отнюдь не из худших, в этом уж поверьте моему опыту. А теперь касательно ближайшего, что нам предстоит: посадки нижних чинов в вагоны. Об этом вы прочитаете завтра в приказе по полку, но несколько слов я считаю нужным сказать вам сейчас...

Полковник Ковалевский говорил так довольно долго. Он вообще говорил охотно, без всяких видимых усилий находя нужные слова.

Это был человек большой энергии, сразу поставивший ротные, батальонные и полковые ученья так, что даже и прапорщик Ливенцев, вообще склонный очень взыскательно относиться и к себе и к людям, не мог найти в нем сколько-нибудь крупных недостатков.

Правда, полк при Ковалевском попал чуть ли не сразу на лагерную службу, которая и в полках мирного времени очень резко отличалась от казарменной, зимней, однако эта служба вся целиком была приурочена к идущей теперь войне и тем становилась осмысленней; даже во время стрельбы по мишеням введено было, как строгое правило, мишени называть «неприятелем». Очень часты были двусторонние маневры, ночные тревоги. Самим командиром полка муштровались команда связи и команды пеших и конных разведчиков, причем команда пеших разведчиков не уступала в числе конной,— до ста человек в каждой; набрана была и учебная команда, готовившая унтеров. Солдат учили многому: не только копать мелкие и глубокие окопы и зем-

лянки, метать ручные гранаты, резать колючую проволоку ножницами и рубить ее топорами, но и плести фашины из хвороста и маты из соломы и камыша.

Ковалевский не раз и вполне искренне жаловался, что стоянка полка неудачна, потому что кругом ровные поля, и нельзя было показать ни молодым офицерам, ни солдатам, как ведется бой в пересеченной местности и в лесу, днем и ночью.

Однако и выправкой, и строем, и ружейными приемами тоже занимались в полку, потому что, как объяснял Ковалевский, «солдат всегда должен чувствовать себя солдатом, а не каким-то буром-партизаном; только тогда он может выдержать современный бой».

И громоздкий Ваня Сыромолотов сделался адъютантом полка по его приказу.

Ливенцев попробовал было заметить тогда:

— Господин полковник! Ведь он — бывший чемпион мира, и вдруг вы его — в адъютанты! Это все равно что Геркулеса посадить за прялку.

Но Ковалевский ответил ему очень живо:

— Вот потому-то я его и назначаю адъютантом! Чтобы быть адъютантом в полку, на фронте, нужно быть именно чемпионом. А человек средней силы не вынесет адъютантства, не-ет! Адъютант полка на фронте должен быть чугунным.

А так как Ваня не умел ездить верхом, то Ковалевский сам иногда учил его этому искусству, выбрав для него из полкового конского состава наиболее прочную лошадь, кобылу Весталку, прозванную так за то, что не подпускала к себе жеребцов.

Ваня Сыромолотов сразу стал любимцем командира полка: не за то только, что он был несокрушимо могуч. Ковалевский, как оказалось, увлекался живописью, и иногда, между делом, в его кабинете вспоминались имена художников — французских, испанских, шведских.

Однажды летом, после сильных дождей, ротная повозка десятой роты по ступицы увязла на грязном проселке, так что пришлось самому Ливенцеву и полуротному его, прапорщику Малинке, помогать ее вытаскивать. Полковник Ковалевский, ехавший сзади верхом, заметил это.

— Николай Иваныч! — крикнул он Ливенцеву.— А, правда, ведь похоже на то место из «Ана́басиса» Ксенофонта, когда — помните?— колесница Кира завязла в степной грязи, и вельможи, в великолепных

своих одеждах, бросились ее вытаскивать,— хватались за колеса руками и, конечно, выпачкались, как черти!.. Вот то же с вами будет и на фронте,— это вам репетиция. Учитесь!

Ливенцев помнил это место в «Анабасисе», но удивился, что его знал и Ковалевский. Как-то в другой раз за общим обедом в офицерском собрании Ковалевский удивил его снова цитатой из весьма древнего греческого поэта, пессимиста Гиппонакта-эфесца:

Жена лишь два дня тебе может приятною быть:
В день свадьбы и в день, когда будут ее хоронить.

Сам он был холост.

Не раз приходилось слышать Ливенцеву от Ковалевского, что он доволен им, как доволен и всеми прапорщиками полка; что эта война — война прапорщиков, что если мы в конечном итоге проиграем войну, то это будет значить только одно: что интеллигенция наша вообще ни к черту не годится.

Ливенцев и сам видел, что прапорщики в полку Ковалевского служили ревностно, что создавался как бы культ этой не службы даже, а работы по военной подготовке полка, несмотря на то, что летом пятнадцатого года, когда велась эта работа, все они — прапорщики совсем молодые и прапорщики средних лет — день за днем пили из смертного кубка известий с фронтов — о разгроме наших галицийских армий Макензеном, о разгроме наших западных армий Людендорфом.

Полк был трехбатальонного состава. Батальонами командовали пожилые капитаны, животы которых, как они ни старались их подтягивать, коварно лезли вперед, когда они стояли в строю; однако и капитаны эти тоже тянулись, потому что Ковалевский не любил сидеть в канцелярии, и высокий и звонкий голос его слышен был во всех концах плаца.

Как-то Ливенцев сказал своему батальонному, капитану Струкову:

— Да, если уж идти на позиции, так идти с таким командиром, как наш: похоже на то, что он себя жалеть не будет.

— А нас с вами? — подмигнул Струков серым глазом и почесал коротким пальцем в редкой бородке.

— Нас с вами жалеть он, конечно, тоже не будет, но по крайней мере он не дурак и дело свое знает,— надо отдать ему справедливость.

— Мо-мен-тик! Стаж проходит... Мы с вами так и подохнем: я — капитаном, вы — прапором, а он на нас генеральство заработает! Карьеру себе сделает!

— Гм... А мне кажется, что если бы были у нас генералы молодые и сведущие и себя не жалеющие, все-таки с такими легче было бы умирать,— кротко заметил Ливенцев.

Струков посмотрел на него прищурясь, чмыхнул и потянул круглым носом, выпятил губы, качнул головой и сказал еще более кротко, чем он:

— Умирать что ж,— можно и умереть... не мы первые, не мы последние... Только бы перед смертью тебя по матушке не обругали... А такой, как наш командир, вполне и это может сделать.

Что Ковалевский был горяч, это и Ливенцеву приходилось наблюдать часто, но он видел в то же время, что в этом командире, как в капельмейстере огромного трехтысячного оркестра, живут все звуки полковой симфонии, и каждый неверный тон, откуда бы он к нему ни донесся, заставляет его вздрагивать, подымать плечи, быстро поворачиваться в сторону того, кто сфальшивил, и делать негодующие глаза.

Однажды Ливенцев спросил при случае Ковалевского: почему он, полковник генерального штаба, не добивался получить себе полк, уже имеющий военные традиции и заслуги, и, главное, опытный командный состав, а взял такой во всех отношениях зеленый полк, целиком состоящий из ратников ополчения.

Ковалевский не удивился вопросу, но ответил не сразу. Он спросил его в свою очередь:

— Вы собак для охоты дрессировали?

— Нет, я вообще не охотник.

— Значит, мое сравнение вам покажется, может быть, не относящимся к делу. Однако это так: хороший охотник дрессирует собаку сам, а если получит от кого-нибудь дрессированную, всегда найдет в ней много недостатков. А переучить ее уже нельзя. Но ведь это же только собака, а не полк, не тысячи людей, из которых я должен знать чуть ли не каждого,— на что он способен, чтобы мог я ручаться за всех. Это одно. Кроме того, я имел в виду и то, что попадаю в свежую армию, еще не истрепанную и которую решено было снабдить всем необходимым, даже тяжелой артиллерией и даже, что гораздо важнее, снарядами к ней. А еще, кроме того, я знаю, что командует нашей седьмой армией не

кто-нибудь, а Щербачев, бывший начальник академии генерального штаба, человек очень серьезный и знающий, был уже командармом одиннадцатой. Начальник штаба у него — Головин, прошел курс и французской академии, не только русской; кроме него, в штабе генерал Романовский — порт-артурец, Незнамов — профессор тактики... Такому штабу я верю. А армия должна строиться не на одной только голой дисциплине, а еще и на доверии младших к старшим, а старших к главнокомандующим. Наполеону верили? Верили. Потому-то за ним и шли на Москву. Аннибалу верили? Верили. Потому за ним и шли через Пиренеи и Альпы на Рим. Думаете ли вы, что я, например, способен сделать какую-нибудь крупную... как это выразиться... оплошность там, на фронте, где мы с вами в скором времени будем?

Ковалевский повернул к Ливенцеву голову и посмотрел на него очень внимательно. Так как они были одного роста (выше среднего), то глаза его, зеленоватые и несколько глубоко сидящие, пришлись вровень с глазами Ливенцева. Ливенцев изучающе смотрел на его тугое бритое лицо с римским носом, лицо очень моложавое, по которому нельзя было дать ему тридцати восьми лет, и медлил с ответом. Ковалевский поторопил его:

— Говорите прямо, не стесняясь.

— Я не умею говорить не прямо,— сказал Ливенцев,— думаю я, что оплошности вы не сделаете, хотя случайности могут быть всякие. Кроме того, мне почему-то кажется, что вы из тех, которым везет во всякой игре; повезет и в этой.

— Вам еще и это кажется? — довольно улыбнулся Ковалевский.— Что такое «везет», пытливая человеческая мысль пока еще не осветила, но кому везет, тому бывает приятно.

Ливенцев наблюдал своего командира и на смотрах, которые, как известно, способны иногда многое сокровенное делать явным. Но и на смотрах,— а их было несколько за лето,— Ковалевский держал себя очень уверенно, без малейшей тени суетливости, может быть, только заметней подчеркивая ту молодцеватость, которая вообще была ему свойственна.

После каждого смотра обыкновенно объявлялась благодарность полку в приказах по дивизии или по корпусу, но сам Ковалевский всегда находил, что было «из рук вон плохо» и на что надо было «приналечь».

Он совершенно изгнал из полка те песни, какие, бывало, певали ратники дружины. Песни теперь пелись только веселые, иногда даже озорные, и обучать этим песням призван был любимец Ковалевского — начальник связи, прапорщик Шаповалов, певец, балалаечник, остряк и записной анекдотист,— в прошлом студент-электротехник.

— Солдат должен быть веселым, когда он не в строю... Домашние мысли и в дорогу не годятся, а тем более в бой... Ротные командиры, имейте в виду, что веселая песня там, на фронте, гораздо больше значит, чем все ваши наставления и команды!

Это не раз приходилось слышать Ливенцеву от Ковалевского, и заметно было, что обилие в полку молодых и по самой натуре своей пока еще не способных унывать прапорщиков явно нравилось молодому командиру.

Но от старой дружины остался ему в наследство полковой священник, иеромонах о. Иона Сироштан, при виде которого Ковалевский хмурился, морщился, передергивал ноздрями и, если представлялась к тому возможность, всегда уходил поспешно. Находил ли он, что присутствие в боевом полку духовного лица, назначение которого беседовать с богом, совершенно излишне? Нет. Но от этого духовного лица обыкновенно исходил такой необычайно крепкий и густой чесночный запах, что Ковалевский не в состоянии был его вынести.

Он пробовал было как-то отдаленно намекнуть о. Ионе, что чеснок имеет такую гнусную, отнюдь не для всякого приятную особенность, что... Но, держась за наперсный серебряный крест свой левой рукой, а правой стыдливо прикрывая рот, бубнил о. Иона:

— Сознаю это, вполне сознаю я, господин полковник, но привычка к этому овощу велика... и даже непреодолима! Борюсь с нею, сколько могу, однако успеха в этом не имею.

Так как на фронте он должен был совершать переходы с полком неразлучно, а по сану своему от пешего хождения был избавлен, то его обучали верховой езде. Часто можно было видеть на заднем дворе казарм в вечерние часы, как по вытоптанному копытами кругу гарцевали один за другим: монументальный Ваня Сыромолотов, веселый прапорщик Шаповалов, кое-кто из ротных командиров и непременно о. Иона, которому доставалось больше всего ядовито-дружеских замечаний от обучавшего их начальника команды конных разведчи-

ков, поручика Гнедых, человека лет тридцати двух, калмыцкого облика, длиннорукого и длинноногого.

Гнедых был лихой наездник и держал свою команду строго в руках. Голос у него был с хрипотой, но безукоризненно начальственного тембра, какого не удавалось добиться у себя никому из прапорщиков, командиров рот. К ним Гнедых относился затаенно-презрительно, в споре с ними часто выходил из себя, и тогда маленькие черные глазки его становились розовыми, как у соболя или хорька, а губы белели, голова втягивалась в плечи, а корпус подавался вперед, точно он хотел сделать хищный прыжок, и видно было, каких усилий стоило ему бормотнуть сквозь зубы: «Если б вы не были в одном со мною полку»... и отойти в сторону.

По каким-то, ему одному известным, причинам Ковалевский считал поручика Гнедых отъявленным храбрецом, который на фронте и себя покажет и не один раз выручит полк.

Но особенно ценил полковник подпрапорщика Лукина, присланного в порядке укомплектования полка младшим командным составом, когда полк был еще в Севастополе. Кавалер всех четырех степеней солдатского Георгия, Лукин действительно был, что называется, бравого вида. Родом откуда-то из северных губерний, большелобый крепыш, с острыми глазами лесного охотника, он был в полку начальником команды пеших разведчиков, и в команде его были отборные люди, большей частью охотники, звероловы, рыбаки, люди, привыкшие промышлять по ночам, отличные стрелки. На смотрах команда разведчиков ставилась Ковалевским на правом фланге, как глаза и уши полка, а об ее начальнике он говорил неизменно:

— Самородок! Настоящий и подлинный военный талант! После первого же боя, уверен, придется мне представлять его к офицерскому чину!

В команде пеших разведчиков числились и двое ребят, увязавшихся с полком из Севастополя: раскосый и несколько мрачноватый Демка Лабунский и вечно сияющий и румяный Васька Котов. Уже неплохие пулеметчики и довольно приличные наездники, оба уже успевшие истрепать порядочно рубахи и шаровары защитного цвета, выданные им летом, они исправно несли нелегкую службу разведчиков.

Ковалевский на смотрах козырял ими, говоря генералам:

— А это наша полковая надежда — Демка и Васька: пулеметчики!

Лихой вид ребят вызывал у генералов неизменно снисходительные улыбки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У одного из прапорщиков, командира седьмой роты, Хрящева, бывшего землемера на земской службе, плотного, речистого, с лысиной во все темя, сошлись вечером в этот день пять прапорщиков, командиров рот,— между ними был и Ливенцев.

Хрящев жил здесь с женою, которая не могла обходиться без общества; кроме того, у него всегда водилось вино, которое считалось запретным, но исчезло из бакалейных и винных лавок только для тех, кто не делал и шагу, чтобы его найти.

Хрящева звали Иван Иваныч, его жену Анна Ивановна, и в полку говорили, что седьмой ротой командуют Иванычи. Анна Ивановна действительно вникала во все мелочи ротного хозяйства. Домашнее хозяйство ей давалось гораздо хуже, и она говорила о себе, что не умеет ни огурцов солить, ни яблоков мочить, ни грибов мариновать, и что вообще у нее «нет никакого аппетита возиться с кухней».

Она очень легко носила свое крупное тридцатилетнее тело, и походка у нее была «под музыку»; голос низкий, густой и громкий, лицо из размашистых линий, черные волосы — в кружок. Она была несколько моложе мужа, но держалась с ним так, как будто была гораздо старше его, даже и в чине и по службе, хотя по привычке говорила о себе: «Мы, прапорщики...», как на земской службе мужа говорила, должно быть: «Мы, землемеры...»

Прапорщикам это нравилось, и заходили они часто к Иванычам.

Теперь к тому представился совершенно исключительный случай: полк, наконец, решительно и бесповоротно срывался с насиженного места. Вопрос был только в том, как и куда его бросят.

— Куда бы ни бросили, господа, все равно,— сказал Ливенцев.— На Балканах мы так же будем иметь дело все с теми же немцами, как и где-нибудь под Ригой, или на Западном фронте, или даже в Персии: немцы везде!

— Оттого-то они и погибнут в конце концов,— живо подхватила Анна Ивановна.—Им приходится быть везде, потому что без них на фронтах все валится к черту! Вы что же думаете, их хватит на все фронты? Черта с два!

И она сделала правой рукой сильный жест, точно хотела проверить крепость бицепса, и выпила полстакана вина, ни с кем не чокаясь; а муж ее, собрав в горсть рыжеватую бородку, сказал задумчиво:

— Славянофилы, да, для меня это ясно,— вот кто виновники этой войны! Аксаковы, Хомяковы, Катковы,— вот чьи кости надо выкинуть из могил! Откуда они взяли, что Россия — сплошь славянская страна? С ветру! Даже и язык-то не только славянский, а всех мастей изо всех волостей... Чудь, мещеря и мордва, пермяки, вотяки, вогулы! А туда же — братьям славянам должны помочь! Помогли своими боками!

— Есть такая русская пословица: зачинщику — первый кнут. Верная пословица, ей-богу! — сверкнул восточными глазами коренастый прапорщик Кавтарадзе, студент-горняк.— Вот и смели зачинщиков с лица ихней земли! И король Петр теперь уже отправлен в Италию... Есть, есть, да,— есть смысл в этой пословице!.. Вообще история, я вам скажу... она не ошибается! Она вешает на своих весах, а весы у нее, как в аптеке!

— Что же такое она вешает? — улыбнулся студент-лесник Яблочкин,— сильно вытянутый и жилистый, но по-молодому еще узкий в плечах, командир шестой роты.

— Вешает что-о? Энергию, какая затрачена народом,— вот что она вешает на своих весах! Россия — огромная страна, конечно! Кто будет спорить,— а много энергии она вложила в это самое дело?

— В какое? Выражайся яснее!

— В то самое дело, чтобы стать такой огромной! Колониальные войны — это разве войны? Много на них энергии пошло, скажи?

— А из-за Грузии много воевали? Сама отдалась под высокую руку,— вставил Ливенцев.

— А что же вы хотели бы? Чтобы ее турки смели с лица земли?

— Зачем же мне этого хотеть?

— Хорошо, оставь свою Грузию, продолжай насчет мировой энергии! — крикнул Яблочкин.

— Закон сохранения энергии знаешь? Ну вот. Ничего не пропадает, а война, это... это, брат, бухгалтерский

отчет. Тут каждая копейка пищит своим голосом, а славянофилы — э-э — что там славянофилы какие-то! Идея там, в головах нескольких,— чушь! Дело в реальных фактах, а совсем не-е... Славянофилы!

— Кула́чки у нас проводятся так,— сказал Дороднов, ярославец, только что успевший окончить перед войною юридический лицей, неуклюжий еще, как породистый щенок-дог, но уже просторный,— сначала задирают мальчишки, и задирают довольно лихо, а потом уже подходят настоящие бойцы, такие, что раз ударит, и душа вон. Сербию, конечно, винить довольно близоруко: она бы не выступила, если бы не Россия. Дипломатия — дело темное. Только уж и с самого начала было видно, что вся война была расписана заранее, кому, куда и как. Когда игроки садятся играть в крупную игру, то каждый надеется выиграть, и шансы на выигрыш у всех есть, иначе бы и не сели. Приходится признать одно: из всех войн, какие велись, эта война наиболее обдуманная со всех сторон.

— Наименее! Наименее обдуманная,— решительно выступил до того времени молчавший пятый прапорщик из пришедших, учитель истории до войны, Аксютин. Человек с виду некрепкого здоровья, он, однако, ревностно нес службу, и роту его Ковалевский считал одною из лучших в полку. Он умел говорить с солдатами; должно быть, ему помогала в этом его привычка говорить с учениками. У него были впалые щеки и очень морщинистый лоб, и густые брови ездили по этому лбу, «то взлетая, то ныряя», как острили другие прапорщики. И шея у него была худая, длинная и с кадыком.

— Нет, здорово все было обдумано, особенно у германцев,— согласился с Дородновым Яблочкин.

— Скверно! Если даже посмотреть с их точки зрения, очень легкомысленно отнеслись! Свысока. С кондачка. Слишком много поставили на карту. А прежде всего Вильгельм свои династические интересы под очень сильный удар поставил. И ведь чем же пугали немцы все время русских царей, начиная с Екатерины, которой пришлось и Пугачевский бунт усмирять и Великой французской революции ужасаться? Только этим: революцией. Война, дескать, на Ближнем Востоке — это такая беременная особа, которая непременно родит милое бебе — революцию. Опасайтесь! Не лезьте к святой Софии и проливам, а то тут вам и будет крышка. Меттерних убедил же Александра Первого не поддерживать

греков против турок! А Николай Первый в тридцать втором году даже флот послал в Константинополь на защиту султана от египетского паши Мегмет-Али. На защиту идеи самодержавия от всяких там ре-во-лю-ционеров. А венгерская кампания при нем же! А вмешательство в дела Бельгии! И не он ли говорил: «Если Франция поставит революционную пьесу, я пошлю туда миллион зрителей в серых шинелях»? И из страха перед революцией послал бы. И страх перед революцией владеет после него всеми русскими царями, а нынешним в сильнейшей степени. И я склонен думать, что если наш царь ввязался в эту войну, то тоже со страха перед идущей революцией: ведь летом прошлого года были сильные волнения. Вот этого-то страха и недоучли Вильгельм и Франц-Иосиф,— не сообразили, что можно кинуться от страха из огня в полымя. А у нас все эти Сухомлиновы, если даже вообразить, что они невинны, аки агнцы, недоучли, что война затянется на несколько лет, а не месяцев. Словом, обдумано было с обеих сторон очень плохо.

— А карты уж были розданы, и надо было сесть и играть,— поддержал Аксютина Кавтарадзе.— Ффа! Не то же ли самое я говорю? История не ошибается. А люди... люди, конечно, никогда и ни черта предусмотреть как следует не могут, поэтому... получается такой ералаш, что нас вот всех ухлопают, как мух, а мы даже и знать не будем: за что же это нас, а?

— Ага! — торжествующе протянул в его сторону палец Аксютин.— Вот так же, как вы не знаете, так же точно и цари, которых уже ухлопывают сейчас понемногу ухло-опывают и вот-вот ухлопнут,— так же точно и они не знают. Но еще меньше, разумеется, знают об этом солдаты наших рот, которых мы же поведем на убой.

— Господа! — решительно ударила толстой рукой по столу Анна Ивановна.— К черту идите с этой кладбищенской философией в конце концов! Чему она поможет, хотела бы я знать? Разве вы не знаете, откуда и как война? Она — стихийное бедствие. Значит, надо идти затыкать собою всякие там бреши, и все. А вот зачем немцы ограбили в Вильне икону польскую, якобы чудотворную, Остробрамской божьей матери и к себе в Берлин повезли, этого я уж совсем не понимаю. Прочитала я это в газете и хохотала до упаду.

— Что же тут смешного? — удивился Аксютин.— Вы думаете, что на этой иконе не было ни золота, ни брил-

лиантов? Наконец, в Германии тоже ведь сколько угодно католиков. Не беспокойтесь, икона эта будет и там приносить кое-кому солидный доход. Как же было ее не вывезти к себе... вместе с зубрами из Беловежской пущи? Ведь Германия должна быть превыше всего?

— Скажите, а о зубрах наших вы не жалеете? — вдруг тяжело глянул на него Хрящев.

— Признаться, на что мне они? Мне было ни тепло, ни холодно оттого, что они где-то там бродят по Беловежской пуще... Буду я жалеть о каких-то там зубрах,— усмехнулся Аксютин.— Для чего они там береглись? Для царской охоты?

— Нет у нас патриотизма! Ни у кого из нас нет ни малейшего патриотизма, а воюем мы с величайшими патриотами,— горестно сказал Хрящев.— Я от кого-то слышал такой факт: три солдата немецких, простые рядовые, отрезаны были от своих и залегли в воронке. Залегли и стреляют по нашим, и все трое оказались меткие стрелки, целый день стреляли, пока патроны были, и человек двадцать наших убили, пока их, наконец, не окружили и не кинулись на них в штыки. Так воевать могут только те, которые...

— Страдают манией величия,— подсказал Яблочкин.

— А почему мания величия? Откуда она взялась у немцев? И почему ее нет у нас? Вот в этом-то и весь вопрос! Нет у нас почвы для патриотизма, а для народной гордости тем более! Как может победить такое государство? Как может победить государство, в котором полтораста народностей? Ассирия когда-то представляла такой потоп народностей, отчего и погибла; погибнет и Россия.

— Ни в коем случае не погибнет! — весело отозвался Аксютин.

— Пространство спасет? — полувопросительно сказал Кавтарадзе.

— Нет, вот эта самая разноплеменность! Россию есть за что уважать, гораздо больше, чем немцы уважают Германию... Уважать вот именно за «смесь племен, наречий, состояний»... У России после этой войны прекраснейшее может быть будущее. Превосходнейшее. Завиднейшее для всех!

Это было сказано с таким увлечением, что Анна Ивановна тут же предложила всем выпить за прекрасное будущее России, но после этого Ливенцев сказал, улыбаясь:

— Говорят, что история повторяется. Кое-какие основания так говорить имеются. Десять лет назад из этого же самого Херсона я уезжал, и тоже в Одессу, в запасной батальон, чтобы оттуда с маршевою ротою двинуться на Дальний Восток. Я не попал на Дальний Восток, но речь не о том. Десять лет назад мне устроили проводы мои однополчане, я был тогда в Очаковском полку. Проводы — в одном здешнем ресторане, в отдельной комнате. Пили и говорили речи. В этом смысле история повторилась: что-то такое же, как сегодня, говорилось и тогда. Но пили тогда водку, а не вино, поэтому у всех и выходило гораздо слезливее, и часто били себя кулаками в грудь и обнимались. Нужно было сказать что-нибудь и мне. Насколько помню, я сказал вот что: «Поведу я свою маршевую роту, вольюсь я с нею в какой-нибудь боевой полк, и меня благополучно ухлопают япоши. Но я осмеливаюсь думать, что это будет не бесполезно для дорогого отечества. Была страшная севастопольская война и принесла России эпоху великих реформ. Что может быть страшнее этой войны? Но я, уверен, что она принесет не реформы уже, то есть заплаты на государственном нашем обломовском халате, а настоящие и подлинные сво-бо-ды!» Конечно, отчасти под влиянием выпитого, но главное — от уверенности, что меня непременно убьют в Маньчжурии,— говорил я тогда с большим чувством, и никто из нас не заметил, как столпились в дверях официанты и слушали, и вдруг увидел я, как там один старичок такой бритый,— он ближе всех к дверям стоял,— утирает мокрые глаза своей салфеткой. Меня как электрическим током ударило. И начал я говорить о свободном человеке на свободной и прекрасной земле. И когда батальонный мой, очень меня не жаловавший, который собственно и сплавил меня в запасной батальон в видах собственного спокойствия,— когда и подполковник этот, с седыми усами, начал кивать головою и усиленно сморкаться от избытка сочувствия, только тогда я умолк. И меня качали. И официанты здешние, херсонские, аплодировали мне бешено... Но вот кончилась война, и были вырваны у правительства кое-какие свободы. И был введен парламент, о котором один министр метко сказал: «У нас, слава богу, нет парламента...» А сейчас — мировая война!.. Война, которая ведется якобы во имя будущего счастья человечества! В интересах прогресса колошматят люди друг друга, миллионами и миллионами уводят в рабство!

— Непременно,— подхватил кавказец.— В целях прогресса, да! Ничто в природе не пропадает! Ффа! Я пришел к какой мысли? Пароход изобретен когда, а? Во время наполеоновских войн? И паровоз в те же времена или несколько позже. Вот зачем Наполеон воевал, господа: чтобы появилась паровая тяга... Автомобиль появился когда? После русско-турецкой войны? Значит, вот из-за чего воевали русские с турками: из-за автомобиля... Аэропланы когда начали строиться на заводах? После японской войны? Значит, выходит, ухлопали миллион людей белых и желтых за что? За аэропланы! Факт. Анна Ивановна! Мне такие гениальные мысли приходят не каждый день! Какой такой будет новый двигатель после этой войны,— не знаю, конечно, только он будет очень за-ме-ча-тельный! Поэтому я хочу выпить еще вина за новый, еще неизвестный нам двигатель!

— А может быть, это будет совсем не двигатель, а бактериологи откроют, наконец, бактерию войны,— сказал Яблочкин.

— А вы не сомневаетесь в том, что подобная бактерия существует? — улыбнулся ему Ливенцев.

— Должна существовать. Иначе человек не был бы настолько драчлив. Что война заразительна, как зевота, в этом, я думаю, все убедились. Вот уже и Италия в нее втянулась; теперь очередь за Румынией. А там, может быть, и Швеция не утерпит. Нет, бактерия войны существует, только ее пока не нашли. А когда отыщут, вот это будет торжество прогресса! Тогда всем министрам в первую голову скажут: портфель получили? Пожалуйте на противовоенную прививочку! И чтобы без свидетельства о прививке никого в министры не сажать.

— Бактерии эти гнездятся, конечно, в мозгу? — осведомился Дороднов.

— Несомненно. Там же, где и микробы бешенства. Бешеные тоже бывают воинственны и на всех кидаются. Эх, бактериология после этой войны расцветет пышным цветом.

— Бактерия войны давно уже найдена,— сказал, вздернув брови, Аксютин.— И прививки, говоря вашим языком, уже делаются.

— Инте-ресно! Кем?.. И где?

— Читали, что Либкнехт внес в рейхстаг запрос: намерено ли германское правительство немедленно при-

ступить к переговорам о мире, отказавшись заранее от всяких аннексий?.. То есть и от Бельгии и от Сербии!

— Я читал, что Либкнехт при этом разошелся со своей фракцией,— заметил Ливенцев.— Что фракция его решила поддержать авантюру Вильгельма.

— Ну, это еще требует подтверждения,— нахмурился Аксютин.

— И что же ответило правительство на этот запрос? — спросил его Дороднов.

— Что может ответить правительство, опираясь на свои победы? Но ответить ему придется рано или поздно. И оно ответит. И оно очень серьезно ответит!

— А пока что бактерия войны питается мозгами немецких социал-демократов? — весело спросил лесник.— Это-то и удивительно!.. Но если после такой войны не перестроится совершенно жизнь,— поставьте тогда крест над человечеством.

— Хотя бы над нами кресты поставили, когда нас убьют,— хозяйственно сказала Анна Ивановна.— Все-таки привычка уж у нас, у русских, такая, чтоб на могилке нашей крестик торчал.

— Вам-то что же будет делаться в Одессе? И кто вас там убивать станет? — кивнул ей, улыбаясь, Кавтарадзе.

— Вот тебе раз! Чтоб я сидела в Одессе! Нет, мы уж решили ехать вместе! Но вот наш транспорт может потопить немецкая лодка,— и как же тогда кресты над нашими могилками? Этот случай нами не предусмотрен, Ваня!

Хрящев глянул на нее не совсем смело и пробубнил:

— Конечно, тебе лучше остаться. Я тебе все время говорю это.

— Нет, в самом деле вы хотите с нами? В качестве кого? И кто разрешит вам ехать? — отовсюду спрашивали Анну Ивановну.

Она улыбалась не без лукавства, но отвечала вполне спокойно:

— Высшему начальству не докладывать! Но что еду,— это решено. В каком виде? В обыкновенной шинели и шапке... в качестве, конечно, денщика ротного командира. Возьму с собою две колоды карт, будем играть от скуки в этих блиндажах и землянках.

— Конечно. Еще одна держава заразилась микробом войны,— с виду весьма горестно покачал головою Дороднов.

— Училась же я зачем-нибудь стрелять из пулемета? Мечтаю применить свои знания в этой области науки...

— Надеюсь, что ты сама убежишь после первого обстрела полка,— сказал Иван Иваныч.

— Ни в коем случае не надейся на это,— сказала Анна Ивановна и добавила совсем уже деловым тоном: — Ведь не все полковое имущество мы будем забирать с собою? Наверное, чучела для колки штыками и мишени оставим здесь на развод? Вообще вопрос — сколько и каких вещей мы можем взять с собою,— самый важный вопрос, а из вас, конечно, никто об этом и не подумает. Признавайтесь, у всех у вас есть походные кровати? А то завтра же пошлите купить! Не то придется вам спать на голой земле, и если вы не схватите пули, то насморк получите непременно. А благодаря насморку Наполеон проиграл битву при Ватерлоо!

— Ну, уж если вы едете, Анна Ивановна, то у нас будет самый геройский полк в дивизии,— решил Кавтарадзе.

— И будем мы вас звать Жанной в память многострадальной Жанны д'Арк,— добавил Яблочкин.

— Не противьтесь злу, Иван Иваныч,— сказал Ливенцев.— А то мы будем себя чувствовать в Болгарии очень уж сирыми. Вы читали, что в Рущуке — семитысячный гарнизон немцев, что на улицах полицейские — австрийцы; вот что такое современная Болгария. А Сербии уж нет, а Черногория доживает последние денечки, а дарданелльская экспедиция дышит на ладан, и турки уж сами готовят экспедицию на Суэц... Кроме того, переезд наш морем на транспортах затянется, говорят, месяца на два: всю седьмую армию, то есть тысяч под двести человек, переправить на наших малочисленных транспортах — это тоже задача не из Малинина и Буренина. Допустим даже, что переправили,— какие сюрпризы могут нас ожидать за эти два месяца,— когда Макензену было достаточно трех недель, чтобы вывести Сербию из строя!.. Говорят, что у нас теперь имеются снаряды. Слава тебе, господи! А у немцев их сколько? И странное дело! Ведь когда-то не кто-нибудь, не какой-нибудь штафирка-пацифист, а сам Бисмарк — «железный канцлер» — говорил и повторял не раз: «Все Балканы с Константинополем вместе не стоят костей и одного померанского гренадера!» А у нас из-за Балкан с Константинополем хотят уложить без малого двести тысяч! Неумно, как хотите,— нерасчетливо! Нужно, чтоб

были какие-нибудь шансы на выигрыш, если уж на то пошло, чтобы непременно передвинуть нашу армию на фронт, а так бросать ее, как хотят бросить, буквально на ветер, в трубу выпустить, что же это за жест отчаяния? И какое же терпеливое животное оказался в эту войну человек?.. Я читал как-то материалы о Разине. Его пытали по всем правилам этого жуткого ремесла, но он не сказал ни слова о своих так называемых «воровских» делах. А раз не признался, то по законам того времени судьи не могли приговорить его к смертной казни. Вот в какое затруднение судей поставил. Пришлось самому «тишайшему» царю приговор ему подписать. Легендарно терпелив оказался Разин. Однако современные войска побили этот рекорд терпения. Прогресс, что и говорить... Есть много определений человека. Я бы определил его так: человек — животное воинственное. Известно, что организованно воюет он с каменного века, но, несомненно, он воевал и раньше.

— И социал-демократы в Германии вотируют на войну кредиты,— живо вставил Аксютин.

— Я не читал. Я, впрочем, сегодня совсем не читал газет. Любопытно, что французские социалисты Альбер Тома, Гед, Самба и русские социал-демократы меньшевистской фракции тоже, конечно, за кредиты на продолжение войны!

— Так что в какое же положение ставится теперь социал-демократическая партия в целом? — улыбнулся Хрящев.

— То есть Второй Интернационал?

— Да, кажется... как же теперь «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», когда они должны воевать секция с секцией?

— Второй Интернационал взорван войной,— это ясно каждому. Но...

И Аксютин раза два высоко на морщинистый лоб вздернул и опустил на запавшие карие глаза свои летучие брови, готовясь сказать что-то, может быть, неясное еще ему самому, когда вошел в комнату денщик Хрящева, уже достаточно заспанный, и обратился к Анне Ивановне вполголоса:

— Дозвольте доложить... просят их благородие, прапорщика Аксютина, до своей роты.

— Кто просит? — встревожился сразу Аксютин.

— Мабуть, ротный писарь, вашебродь.

Аксютин вышел в переднюю, но через минуту снова вошел, встревоженный еще больше и побледневший, и начал прощаться.

— Что такое? Что случилось? — вслед за Анной Ивановной спрашивали его все.

— Так, пустяки какие-то... Не может быть...— бормотал Аксютин.

— Однако уж двенадцатый час,— поздно... Я пойду с вами,— начал прощаться также и Ливенцев, рота которого была соседняя с ротой Аксютина.

И они вышли вдвоем. Писарь одиннадцатой роты, Эскин, говорил Аксютину:

— Я заходил к вам на квартиру, там мне не сказали, куда вы пошли. А к прапорщику Хрящеву я уж на всякий случай зашел: вижу с улицы сквозь ставни свет и голоса слышны.

— А голоса были все-таки слышны на улице? — спросил Ливенцев.

— Отдельных слов чтобы, этого нельзя было разобрать, а только так,— голоса, одним словом,— ответил было осторожный Эскин, но добавил: — А что же вы хотите, ваше благородие, когда же здесь везде стены камышовые? Тута даже и сквозь одни стены на улице вполне может быть слышно, особенно у кого слух хороший.

Дома в этой части Херсона действительно строились из камыша, обмазанного глиной, и крыши кое-где были камышовые, и печи топили все тем же камышом, привозимым из щедрых днепровских плавней.

Аксютину хотелось узнать скорее, полнее и точнее, что именно случилось в его роте.

— Вся рота так и заявила, что никуда не пойдет? — спросил он вполголоса и с большою тревогой, и также вполголоса и оглядываясь в темноте, тихо отвечал Эскин:

— Чтобы вся решительно рота так заявила, то этого сказать, конечно, нельзя, ваше благородие... Отдельные голоса были «за». Тем более что это ведь все наделали двое пьяных. Они двое явились себе после поверки, как так и надо, и в доску пьяные и начали ругать фельдфебеля «продажной шкурой» и вообще себе буянить: «Никуда из Херсона мы не пойдем, как у нас здесь жены беременные и на этой неделе рожать должны»... Ну, одним словом, к этим двум умным другие дураки пристали, какие совсем даже ничего и не пили,

кроме как воду из бака... И они тоже кричать стали: «Не пойдем! Все не пойдем!»

— Гм... Вот так история!

— А в десятой роте? — спросил Ливенцев.

— Оттуда ничего не было слышно.

— А что же пьяные? Куда пьяных дели? Кто же именно? Как их фамилии? — быстро спрашивал Аксютин, делая при этом тощими ногами такие загребистые шаги, что Ливенцев, хотя и был выше его ростом, должен был идти форсированным маршем, а низенький Эскин почти бежал вприпрыжку.

— Фамилии — Погребняк и Бондаренко, вашебродь... Оба — золотце... В порту мариупольском грузчики были...

— Кто их пустил из роты?

— Пропусков я им не писал... Самовольные отлучники. Их пока в ротный карцер заперли до вашего распоряжения.

Казармы, к которым они подходили, были как раз те же самые казармы, в которых когда-то, лет десять назад, прапорщик Ливенцев кричал командиру роты, капитану Абрамову: «Ка-пи-та-ан! Солдат не би-ить!» Теперь он сам был командиром роты, и в его роте было втрое больше солдат, чем у Абрамова. Точно так же, как сохранилось это в памяти прошлых лет, по-старому выступили из темноты белые стены длинных, параллельно расположенных одноэтажных домов, крытых черепицей, больше похожих на конюшни или сараи. В одном из таких сараев помещались две роты — Ливенцева и Аксютина. Между ротами была только тонкая и бугристо смазанная глиной, побеленная известкой, но облупившаяся стена из камыша.

Входить в чужую роту вместе с Аксютиным Ливенцев счел неудобным. Когда же он обходил с надворья помещение одиннадцатой, то слышал сильные стуки подкованных сапог в дверь ротного карцера и пьяные хриплые крики Погребняка или Бондаренко:

— Чи я кого убив?.. Чи я кого зарізав?.. Чи я кого ограбив?.. За що вы мене запэрли, гадючьи души?

В десятой роте было тихо. Ливенцев поглядел в одно из окон,— солдаты спали. Поставив лампу на один табурет и расположив на нем четвертушку бумаги, на другом табурете сидел дежурный по роте унтер-офицер Жовмир и, сильно изогнувшись, писал, должно быть, письмо родным, что полк уходит на фронт. Дневальный стоял около двери.

Ливенцев видел, что заходить в свою роту ему незачем. Идти же домой было ему по дороге с Аксютиным, и он дождался, пока тот вышел, и спросил участливо:

— Ну что? Кажется, не так страшно, только пьяный орал.

— Не знаю — спят... А пьяный Погребняк орал, как сумасшедший... Ему я сказал, чтоб замолчал и спал. Теперь в карцере тихо... Как вы думаете, завтра это не повторится? — спросил Аксютин с явной надеждой в голосе, что Ливенцев его успокоит. И Ливенцев сказал уверенно:

— Пустяки! Пьяные всегда будут. Я думаю, на фронте их будет гораздо больше,— это неважно.

— Я полагаю, что рапорта командиру полка писать не стоит?

— О чем именно? Завтра же ведь все равно посадка в вагоны. Я думаю даже, что эти пьяные и не сбегут никуда. Если бы хотели сбежать, они бы и не пришли.

— Это верно.

— Я бы на вашем месте этих самых двух назначил бы в виде наказания дневальными у вагонов. Я уверен, они бы отлично несли этот наряд.

— Может быть, я так и сделаю...— Аксютин помолчал и добавил почти шепотом: — Вот видите, какая чепуха выходит, когда одна только рота загалдит... А вот если бы вся седьмая армия сразу так бы сказала?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день среди всеобщей полковой суматохи и сборов к отправке, в полдень, когда в последний раз в херсонских казармах обедали роты, Ливенцев улучил минутку съездить в публичную библиотеку проститься с Натальей Сергеевной Веригиной.

И библиотеку эту он знал десять лет назад — история повторилась: только тогда не работала в ней Наталья Сергеевна... впрочем, если бы и работала, он мог бы не приметить ее, не отличить от других,— это часто бывает в жизни.

Херсонская библиотека того времени связывалась в его памяти с «лекцией о творчестве знаменитого писателя Станислава Пшибышевского в присутствии самого писателя», как об этом сообщали афиши.

Вместе с двумя-тремя прапорщиками своего полка Ливенцев пошел посмотреть на знаменитость. В большом библиотечном зале, уставленном стульями, они долго ждали, когда начнется лекция. Ни в одной из трех таинственно закрытых дверей зала не показывался никто, а публики было много,— все места были заняты,— и публика теряла терпение и начала стучать в пол каблуками и кричать:

— Пши-бы-ше-евский!.. Вре-мя-я!.. Пши-бы-шевский!

Отворилась одна из дверей, в ней появился величественной внешности человек в черном сюртуке и с рыжей длинной бородою. Для всех было ясно, что это и есть Пшибышевский. Южная публика темпераментна. Все закричали:

— Браво, Пшибышевский! — и захлопали оглушительно.

Рыжий бородач раскланялся конфузливо и неожиданно тонким голосом заявил:

— Я помощник заведующего библиотекой, господа... А Пшибышевский сейчас, сейчас выйдет! — И скрылся, снова притворив дверь.

Ждали еще минут десять,— наконец, опять застучали каблуками в пол и начали кричать:

— Вре-мя!.. Пшибыше-евский!.. Время!.. Времеч-ко!..

Отворилась другая дверь, и еще более величественный чернобородый человек в рыжем пиджаке протянул вперед руку.

— Вот Пшибышевский! — крикнул кто-то на весь зал.

И опять закричали еще яростнее:

— Браво!.. Браво, Пшибышевский!

Раздосадованный новый этот бородач мощным басом сообщил, что он — заведующий библиотекой, а Пшибышевский сейчас появится. И еще ждали немало. Наконец, стали кричать:

— Деньги обратно!.. Вре-мя-я!.. Деньги обратно! — И каблуки застучали с удвоенной силой.

И тогда только отворилась совсем неожиданно третья, боковая дверь, и из нее выскочил небольшой, юркий, чернявый, бритый человек, белогрудый и в галстуке бабочкой. Теперь уже все усомнились, что это — Пшибышевский, и напряженно молчали, а юркий человек вежливо раскланялся, стал за приготовленный столик, вынул из бокового кармана несколько листочков, вытер носик платком и начал звонко:

— Станислава Пшибышевского критики всех культурных стран вполне справедливо называют гениальным писателем.

Он прочитал так, звонко и очень отчетливо выговаривая каждое слово, не меньше двух мелко исписанных листков, когда медленно и нерешительно отворилась та же боковая дверь, и какая-то костлявая мегера, зло сверкая выпуклыми серыми глазами, буквально втащила приземистого, растрепанного, в кургузом измятом сером пиджачишке, в ночной рубашке, в совершенно обвисших, видимо, без подтяжек, клетчатых брюках, полубезжизненного, рыжеватого, лет за сорок, с небольшой курчавой, свалявшейся бороденкой, явно пьяного и явно бесплатного слушателя лекции о Пшибышевском.

Лектор перестал читать, суетливо подхватил вошедшего под руку и провел его к креслу, в которое тот буквально упал и тут же сонно закрыл глаза. Лектор переглянулся с мегерой, усевшейся рядом с креслом на желтом венском стуле, и совсем уже не звонко, а даже как будто не доверяя сам себе, бросил в публику:

— Вот... Станислав Пшибышевский, господа!

Может быть, многие не расслышали даже, что он сказал, а те, кто расслышал, приняли за насмешку над собою и не поверили,— конечно, и не могли поверить, что это и есть знаменитый писатель Пшибышевский. Из обширного зала не раздалось ни одного хлопка. И во все время лекции Пшибышевский поминутно засыпал, открывая при этом рот и свешивая лысую на темени голову, а мегера взглядывала на него очень злыми серыми выпуклыми глазами и дергала его за рукав. Наконец, она подхватила его под локоть, сорвала с кресла и стремительно вытащила в ту же боковую дверь.

В этот новый свой приезд в Херсон Ливенцев в той же публичной библиотеке нашел уже не Пшибышевского в невменяемом виде, а Наталью Сергеевну.

Он вспомнил о Марке-Аврелии-Антонине, философе-стоике, который ненавидел войну, но воевал то с парфянами, то с маркоманами и квадами, то с сарматами бо́льшую часть своего двадцатилетнего правления Римской империей и умер от чумы на Дунае, в походе. Явилось желание узнать поближе, как чувствовал себя этот ненавистник войны и в то же время неутомимый воин. По каталогу нашлась книжка «Размышлений о том, что важно для себя самого», и когда Ливенцев

брал эту старую на вид, отпечатанную в тульской губернской типографии книжку в сером переплете, он удивился, какая красивая, крупная, белая рука ему подавала. Когда же библиотекарша сказала при этом бесстрастным тоном как бы современницы Марка-Аврелия,— не императора, нет, писателя: «Других книг этого автора у нас нет»,— он хотел было, улыбаясь, сказать ей, что других книг «этого автора» вообще не существует, поднял на нее глаза и был поражен мгновенно схваченным им сходством ее со своей умершей, от позднего дифтерита, лет восемь назад, сестрою. Сестре его было перед смертью восемнадцать лет, но показалось вдруг Ливенцеву, что проживи она еще восемь лет, она стала бы такою: высокой, с тяжелой темной косой, два раза обвитой вокруг головы, спокойным, точеным, красивым лицом и строгими глазами, которые только от длинных ресниц обманчиво кажутся черными, а на самом деле голубые. (У сестры его были карие, как у него, глаза.)

На улицах было жарко, пыльно, людно,— в библиотечном зале прохладно и просторно, поэтому Ливенцев не взял книжку с собою, а остался здесь и, не вставая с места, прочитал ее всю. Отметил про себя изречение, показавшееся ему более удачным, чем остальные: «Смерть сравняла Александра Великого с погонщиком его мулов: оба они разложились на одни и те же составные частицы», и другое навеянное греческими софистами: «Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться триста или даже три тысячи лет? Ведь ты живешь только в настоящем мгновении и, кто бы ты ни был, умирая, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять нашего прошлого, потому что его уже нет, ни нашего будущего, потому что мы его еще не имеем и даже не можем знать, каково оно будет».

Но, отрываясь от старой стоической мудрости, он часто искал глазами ту, для которой Марк-Аврелий оказался просто «этот автор» и которую он будто бы знал давно, с самого младенчества.

Возвращая ей книжку, он сказал, улыбаясь:

— Я буду приходить к вам сюда часто, пока не отправят на фронт.

— Приходите,— бесстрастно отозвалась она, что-то вписывая в толстую книгу дополнений к каталогу.

Она не сидела при этом, а стояла, опершись левой рукою о стол. Руки ее были голые до локтей, и ему

со странной для него самого навязчивостью представилось вдруг, что эти руки вот сейчас, с такою же легкостью и ловкостью и лаской, как у покойной сестры Кати, вспорхнут и обовьются около его шеи, что она его «узнает», так же, как «узнал» ее он.

— Философский отдел у вас, кажется, беден,— сказал он, чтобы послушать опять ее голос.

— Один шкап,— ответила она, не поднимая глаз и сделав твердый нажим на конечное «п».— Есть еще журнал «Вопросы философии и психологии» — в другом шкапу.

— Ваши имя-отчество? — спросил он намеренно без улыбки.

Она вскинула на него глаза недоумевающие, поэтому внимательные (только при этом он и разглядел, что они голубые), и ответила, не опуская их, но с недовольным как будто изломом губ:

— Наталья Сергеевна... А что?

— До свиданья, Наталья Сергеевна! — тут же очень почтительно поклонился он, и на этот раз намеренно не улыбнувшись.

По привычке, приобретенной уже за последний год, он повернулся по-строевому, точно выходил из кабинета высокого начальства, и, выходя, остро чувствовал на себе провожающий его, недоумевающий и внимательный взгляд.

Так они познакомились.

После этого Ливенцев заходил в библиотеку, лишь только выдавалось свободное время, однако далеко не так часто, как думалось ему вначале: боевая подготовка роты обыкновенно отнимала почти каждый день сплошь, с утра до вечера.

Неожиданно для самого себя Ливенцев начал пересматривать и даже продолжать свою диссертацию по теории функций, заброшенную им в августе прошлого года, сразу же по призыве его из отставки в дружину, стоявшую в Севастополе. Ощущение того, что мир кругом раскачивался, трещал, рассыпался по всем своим скрепам и рушился, осталось, но в то же время образовался около него небольшой, правда,— только сесть,— островок успокоенности и появилось равновесие в себе самом. Так во время кораблекрушения, когда огромнейшее судно, получив пробоину в подводной части, наполняется водою, накренивается, стряхивая с себя людей, как муравьев, и величественно поворачивается килем

кверху,— необходим бывает кусок дерева,— пусть обломок мачты,— чтобы за него ухватиться и поддерживаться на чуждой и страшной, холодной и бездонной воде, пока подоспеет человеческая помощь.

Для того чтобы появился этот спасительный обломок мачты, понадобилось — Ливенцев отчетливо отмечал это — несколько давностей: давно знакомый, просторный, прохладный зал публичной библиотеки, мудрость одного из древних стоиков и женщина около книг — Наталья Сергеевна, которую как будто он тоже знал очень давно.

Там, в казарме, крикливо лезло в глаза то новое, что требовалось данным моментом: пулеметы кольта, противогазы, тяжелые ножницы для резки колючей проволоки, ручные гранаты, адъютант полка — чемпион мира, прапорщики — командиры рот, солдаты с сильной проседью в бородах, полевые телефонисты... Здесь притаились как будто те самые «домашние мысли», которые «не годятся в дорогу», зато дают жизни устойчивость, цельность и осязаемый смысл.

И с Натальей Сергеевной, даже гуляя с нею иногда по вечерам по скромным херсонским улицам и в худосочном сквере, Ливенцев говорил, по крайней мере старался говорить, о том, что отжило, отошло, легло в фундамент жизни, было бесспорным, было признанным, не волновало уж никого до слез, не раздражало до ярости.

Оказалось, что Наталья Сергеевна раньше, чем получить место в здешней библиотеке, служила в одном из южных музеев, поэтому она с особым знанием музейного дела однажды рассказывала Ливенцеву о фибулах и серьгах древневизантийской работы, найденных в могильниках степных курганов, о лунницах и гривнах, о корсунских складных крестах-тельниках и церковных рукомойниках из бронзы в виде грифонов, львов, химер, кентавров... Ливенцев слушал ее внимательно, не улыбаясь: с одной стороны, все это очень шло к ее высокой, античных линий фигуре, к ее неторопливым жестам и точеному лицу, с другой — все эти химеры и кентавры были ведь куда древнее, чем его увлечение — теория функций. Иногда она казалась ему прекрасной античной статуей, какою-нибудь Галатеей — нимфой тихого голубого моря, одетой в современное платье, изменившей прическу, сошедшей с пьедестала, замешавшейся в жизнь пятнадцатого года двадцатого века. Всего только каких-нибудь пяти сотых настоящей подлинной жизни

не хватало ей, чтобы тряхнуть вдруг победно головою в тюрбане пышной косы, обжечь голубым огнем глаз и залиться будоражащим смехом.

Она же если невнятно и улыбалась иногда, бывая с ним вместе, то глядела при этом не на него, а в сторону, или кверху, или на свои туфли. Это была ее странность, леденившая в Ливенцеве то ощущение домашности, какое у него появилось было в первую их встречу. И чем больше он знакомился с нею, тем меньше и меньше она казалась ему похожей на сестру Катю, из которой ключом била молодая жизнь, которую нельзя было и представить без проказ и звонкого хохота.

Но странно было Ливенцеву наблюдать и себя самого, когда он говорил с нею: он как будто начинал играть, и довольно удачно, какую-то роль не по годам степенного, не по временам рассудительного, не к лицу и костюму чопорного человека, но еще страннее было то, что эта роль ему нравилась. И когда Наталья Сергеевна шла рядом с ним, испытанным женским жестом подобрав платье правой рукой, он не менее испытанным офицерским жестом придерживал левой рукой свою шашку и всем телом следил за тем, чтобы идти с нею в ногу, что, впрочем, было не так и трудно, потому что шаги она делала большие и точные.

Однажды,— это было уж в сентябре,— провожая Наталью Сергеевну до ее квартиры, он зашел к ней собственно больше по инерции, без ее приглашения и без особенного любопытства к тому, как она живет. Она снимала комнату в семье зажиточного зубного врача; в этой комнате на втором этаже, довольно большой и светлой, стояло пианино.

— А-а! — обрадованно направился было он к своему любимому инструменту и взял несколько аккордов, но поморщился: пианино было совсем расстроено.

— Вы играете? — спросила она и об этом так же бесстрастно, как и обо всем другом. От одного тона этого вопроса он тут же снова вошел в свою роль и ответил степенно:

— Ну что вы, что вы! Откуда такая благодать? Бренчу «чижика» одним пальцем,— и только.

Она же деловито, как действовала в библиотеке и, должно быть, в музее, села, достала из толстой папки нот сюиту Грига и до того деревянно передала эту темпераментную вещь, что Ливенцев не сказал даже «Замечательно!», как приготовился было сказать из вежливо-

сти, но только вздохнул, повел вправо и влево шеей и спросил:

— А не расстроен ли инструмент? Хотя слух у меня плохой и я полнейший профан в музыке, но кажется, что есть немного, а?

— Да, я думаю, что несколько расстроен,— серьезно согласилась она, прикачнула античной головою и опустила крышку.

Безукоризненной чистоты была накрахмаленная наволочка подушки на ее девственной постели за вычурными ширмами с японскими серебряными ибисами, стоявшими на берегу безукоризненного синего моря под сенью приятно цветущих вишен

На стене над пианино пришпилены были кнопками открытки с портретами нескольких композиторов и певцов, а на другой стене теми же кнопками прикреплены натюрморт — абрикосы и персики на блюде, чья-то акварель, такая же ученическая, как ее игра. Такой же отрывочный и неналаженный разговор, как всегда между ними, был и в этой ее комнате, хотя Ливенцев думал, входя сюда, что именно тут она разговорится, блеснет голубым взглядом, весело засмеется, закинув голову. Этого не было, но было как будто неясное желание и совершенное неумение сделать именно так. Она спросила вдруг Ливенцева, по обыкновению не улыбнувшись:

— Вы, может быть, думаете, что у меня привязная коса?

И он не успел еще успокоить ее подозрение, как она уж отшпилила что-то в своем пышном, как спелый подсолнечник, тюрбане, и коса ее, толстая и пушистая, мягко упала ей на спину и повисла упруго ниже пояса из светлой лаковой кожи, которым было перехвачено ее платье.

Ливенцев непроизвольно ахнул, но не оттого, что так длинна и пышна была коса,— это он предполагал и раньше,— а оттого, что обидно маленькой для ее высокого роста, змеино маленькой оказалась ее головка. Чтобы скрыть неловкость, он дотронулся губами до ее косы, пахнущей сильными духами, и спросил:

— Что это за духи такие?

— Не знаете? — снисходительно чуть-чуть улыбнулась она.— Это л'ориган. Самые модные.

Но смотреть на нее, такую новую с этой маленькой головкой, Ливенцеву почему-то жутко было, и он сказал почти просительно:

— А привести косу опять в прежнее положение вы можете так же скоро?

— Еще бы, конечно,— ничего не подозревая, отозвалась она и перед зеркалом действительно очень быстро восстановила свой восточный тюрбан. За это он благодарно поцеловал ее красивую руку выше запястья.

Она же, должно быть, придав этому его жесту совершенно другой смысл и желая особенно подчеркнуть торжественность минуты, сказала, не глядя на него и по-своему без ударения:

— Два прапорщика целовали мне руки в этом году, и оба ушли туда, на фронт.

История повторялась и тут, но это повторение было неприятно Ливенцеву. Он спросил ее:

— Что же они,— пишут вам оттуда?

— Нет, ничего не пишут.

— Может быть, убиты или в плену?

— Может быть, то или другое.

Спокойствие, с каким было сказано это, его поразило именно потому, что он был третьим и тоже может пойти на фронт, и вот здесь, в этой комнате с ибисами на ширмах, она будет бесстрастно говорить четвертому прапорщику: «Три прапорщика целовали мои руки в этом году и ушли на фронт...»

Таким третьим прапорщиком быть ему все-таки не хотелось. Он сказал поэтому:

— Меня-то, может быть, и не пошлют на фронт.

— Как не пошлют? Совсем не пошлют? Почему? — несколько оживилась она.

— Не меня лично, а весь наш полк могут никуда не послать,— поправился он.— Потому что мы ведь принадлежим к армии особого назначения.

— Что же это за «особое назначение»?

— Так зовется обыкновенно наша армия, а что это значит, неизвестно и нам,— уклончиво ответил Ливенцев и тут же начал прощаться, ссылаясь на то, что надо идти заниматься с ротой.

Вскоре после того она уехала в отпуск в Феодосию к своим родным, а когда приехала, ему не случалось уж больше бывать у нее, и всего раза два только они виделись на улице.

Теперь же, когда безотлагательно и бесповоротно все круто менялось в его судьбе, ему показалось необходимым сказать об этом Наталье Сергеевне: больше некому

было. Она сидела за картотеками, разбросав их по столу, как игральные карты для гаданья, и когда он вошел и увидел ее такою, то самому ему стало странно: больше, чем когда-либо раньше, она показалась ему именно теперь похожей на сестру Катю. И, подойдя, он сказал ей первое, что подумалось:

— От третьего прапорщика, уходящего на фронт, вы все-таки будете получать письма, Наталья Сергеевна.

— Как? Едете на фронт? — очень изумилась она. — Вот видите!.. А вы говорили...

— Все едем, не я один.

— Вот видите!

И — странно было еще раз Ливенцеву — голубые глаза ее, так антично на все глядевшие, вдруг наполнились крупными слезами.

Когда он выходил из библиотечного зала, простившись с нею, он шел несколько связанно, по-штатски и даже больше того: ему отчетливо вспомнилось, как какая-то крючконосая мегера с острыми локтями вытаскивала из этого же зала десять с лишком лет назад несчастного Станислава Пшибышевского, весьма приверженного к спиртному.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Остаток этого дня в роте, а потом на вокзале уже начисто оторвал прапорщика Ливенцева от «домашних мыслей» и с головой погрузил его в «дорогу», как и всех около него.

Ревнуя о помощи божьей уходящим на «брань», о. Иона приготовился было отслужить перед полком на плацу молебен и окропить всех святой водою, но Ковалевский сказал ему, что это пока преждевременно, что для этого будут более подходящие случаи, что, наконец, полк ведь только еще продвигается несколько ближе к фронту, но не идет на фронт, так что божья помощь пока излишня.

Он был уверен в себе, совершенно неутомим и поспевал везде и всюду, этот голосистый и пышущий здоровьем командир полка с академическим значком. Полк к вокзалу пошел рота за ротой, батальон за батальоном, в стройном порядке и строгом равнении, как на парад, хотя одетые в шинели солдаты тащили на себе все, что полагалось им тащить в походах, вплоть до положенного запаса сухарей.

На вокзале,— внутри его и на перроне,— выставлены были деревянные щиты с плакатами:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! МОЛЧИТЕ!
ПОЛЬЗА РОДИНЫ ЭТОГО ТРЕБУЕТ!
ПОМНИТЕ, ЧТО ПРОТИВНИК
ПОВСЮДУ ПОДСЛУШИВАЕТ ВАС...

Плакаты эти были за подписью генерал-адъютанта Иванова, главнокомандующего Юго-западного фронта.

Когда взводный первого взвода десятой роты старший унтер-офицер Старосила, бородатый и степенный степняк, застенчиво улыбаясь, вполголоса спросил Ливенцева: «Ваше благородие, а куды ж это погонят нас,— неизвестно?» — Ливенцев улыбнулся ему в ответ и сказал так же вполголоса:

— Столько же я знаю, сколько и ты,— и кивнул головой на один из плакатов.

О том, куда погонят, спрашивали его в роте и до Старосилы, и он сначала говорил, как Ковалевский, что в Одессу, но потом начал добавлять: «Впрочем, может быть, и подальше Одессы». Здесь же, на вокзале, он совсем был запутан этим приказом «остерегаться и молчать» и добросовестно отвечал своим подначальным, что не знает.

День стоял тихий, сухой и нехолодный. Полк хотя и трехбатальонный, но собранный здесь вместе и совершенно затопивший вокзал, представлялся внушительной военной силой. Под однообразными папахами из серой фабричной смушки очень отчетливо в прозрачном, как всегда в подобные осенние дни, воздухе очень отъединенно круглилось каждое лицо в роте Ливенцева. Эти лица — они были не только знакомы ему, как бывали знакомы лица учеников в классах, когда служил он учителем,— нет: здесь каждый в шеренгах был точно пришлифован к нему, своему ротному командиру,— так же, как и он к ним всем. Он несколько месяцев готовил их не решать какие-нибудь отвлеченные алгебраические задачи, а убивать людей. Эта задача была очень проста и ясна по своей сути. Вырастить корову из однодневного теленка — долгое и трудное дело, а зарезать ее — один момент. Но те, кого они готовились убивать, так же точно, а может быть, и гораздо успешнее готовились убивать их...

Эту мысль здесь, на вокзале, ловил на каждом из так знакомых лиц своих солдат прапорщик Ливенцев.

Та же мысль была, конечно, неотбойна и у его полуротного, прапорщика Малинки,— совсем еще зеленого — лет двадцати,— когда он, собрав в улыбку кругленькое, красненькое безусое личико, спросил его:

— Николай Иваныч, вы непробиваемый панцирь себе выписали?

— Какой панцирь? — очень удивился Ливенцев.

— Да о нем ведь часто публикуют в газетах: панцирь Савина... сто двадцать пять рублей, если только спереди, на грудь. А если с защитой спины,— то сто шестьдесят пять от шрапнельных пуль, а также от разрывных... А револьверная пуля ни за что не пробивает.

— Почем вы знаете, что не пробивает?

— Так в объявлениях пишут.

— А вы верите?

— Отчего же не верить? Вот же у немцев у всех каски, а у нас... Может быть, у них у всех и панцири такие есть,— они, конечно, заботятся о своих войсках, а о наших никакой заботы.

— Допустим, панцирь этот вполне чудесен. У вас он имеется? — полюбопытствовал Ливенцев, глядя на него с отеческой улыбкой.

— Я бы непременно выписал, да не мог все собрать денег. А теперь уже поздно,— эх, жалость! А может быть, его в Одессе, в магазине офицерских вещей, купить можно, как вы думаете?

— Я думаю, что все эти панцири — чепуха и жульничество... А каски — тоже защита слабая,— и больше от сабель, чем от пуль.

Подошел и командир второй полуроты, зауряд-прапорщик Значков, бывший еще в дружине; послушал, о чем говорит Малинка, и солидно, как старший годами, махнул рукой:

— Кто о чем, а он все о панцире! Револьверная пуля, из браунинга, на двадцать шагов вершковую доску пробивает, а чтобы ружейная на четыреста какого-то там панциря не пробила, то что же это за панцирь такой? Чугунный, что ли? Тогда в нем пять пудов весу, изволь-ка его таскать! И как будто на фронте одни только пули, а гранат нет!

Значков был человек хозяйственный, это знал за ним Ливенцев. В дружине в Севастополе он был незаметным, здесь в Херсоне возмужал, развернулся, разговорился. Однако теперь, перед отправкой, и он мог говорить только о неприятельских гранатах и пулях.

А в стороне от них грудастый и тугоусый, черный и лоснящийся, как хорошо начищенный сапог, фельдфебель десятой роты Титаренко, с двумя георгиевскими медалями еще за японскую войну, говорил солдатам:

— Как заходит у нас всеместная зима скрозь по фронту, то никаких особенных действий быть не должно, а будем мы сидеть у своих теплых окопах,— от... Также и противник до нас рипаться не станет, через то, что раненые, которые летом или, скажем, весной, осенью — они свободно пролежать могут час-другой, пока их санитары свои заберут, то зимой если,— враз они в снегу померзнут, как цуцики,— от! А весной замиренье может выйти.

Ливенцев послушал, что он говорит, и подумал, что говорит он неплохо; мог бы даже добавить, что о мире вносился запрос и в берлинскую «Государственную думу».

Прапорщика Аксютина Ливенцев спросил:

— Ну что ваши вчерашние буяны? Не сбежали?

Аксютин высоко взбросил брови, но тут же довольно опустил их:

— Отоспались. Идут в общем строю. Наказание им отложил до прибытия на место.

— Где мы все можем быть наказаны за все грехи наши и до полной потери сознания?

— Вот именно.

Жена подпоручика Кароли, жившая в последние месяцы с ним в Херсоне мечтами о скором мире, имела уже вид наказанной и прятала в ридикюль второй, сплошь измоченный щедрыми слезами платок и доставала третий.

Зато, когда мимо Ливенцева прошел мелкими шажками мешковатый невысокий и толстый рядовой без всякого снаряжения и неумело ему откозырял, лукаво при этом улыбаясь, он не сразу узнал в нем Анну Ивановну Хрящеву; узнав же, догнал ее и спросил вполголоса:

— Неужели в самом деле вы едете с нами?

— Я теперь совсем не «вы», что вы. Я теперь «ты»— вестовой своего ротного командира,— зачастила она.— Только, смотрите, не проболтайтесь Ковалевскому!

— А не напрасно ли вы это? Впрочем, вам виднее.

— Две колоды карт захватила, имейте это в виду,— шепнула она ему, отходя.

И он так и не понял, что это такое с ее стороны: завидная ли это любовь к мужу, страсть ли к риску

и приключениям или просто крайняя степень женского легкомыслия. Но когда он оглянулся кругом, то увидел, как с непостижимой быстротою просочились женщины всюду между рядами солдат. Они не считались ни с какой дисциплиной, они искали своих знакомых и близких, чтобы проститься с ними, может быть навсегда. Это было их законное право,— их никто и не думал останавливать. Даже и Ковалевского и стоявшего рядом с ним старого подполковника Добычина, заведующего хозяйством полка, тоже окружали дамы, между которыми Ливенцев узнал дочь Добычина, Наталью Львовну. Остальные были из местного дамского комитета и привезли два тюка теплого белья для раздачи солдатам.

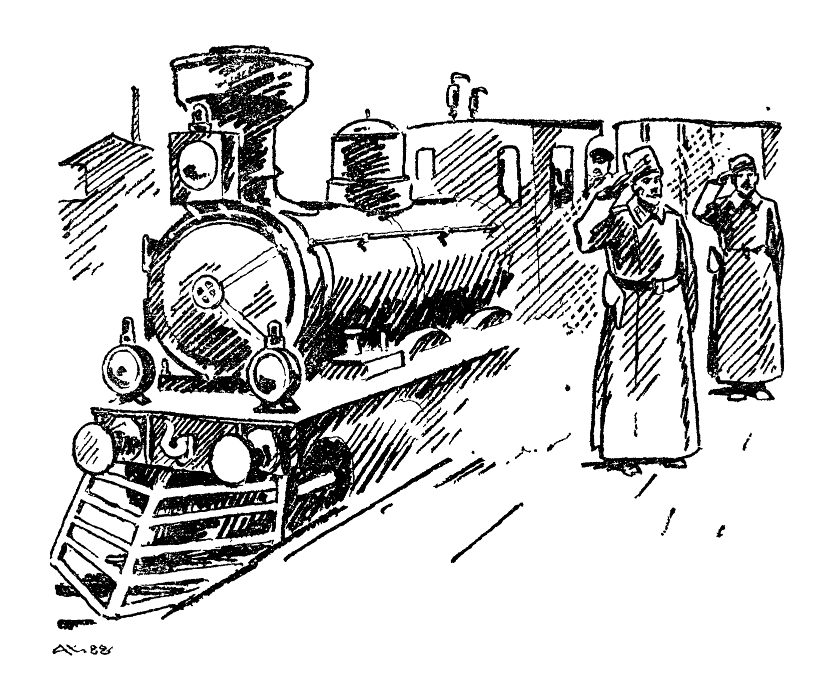
И когда прапорщик Ливенцев увидел издали Наталью Львовну, ему показалось так естественным, почти необходимым, что вот сейчас же он увидит и Наталью Сергеевну Веригину.

Это был как раз тот час, когда кончилась ее работа в библиотеке; наконец, ради того, чтобы еще раз проститься с ним здесь, на вокзале, она могла бы, казалось ему, уйти со службы несколько раньше. И он часто оглядывался кругом, ища ее глазами, раза два отходил от роты к подъезду вокзала и вглядывался в толпу: было много женщин кругом, но ее не было.

Ваня Сыромолотов, столкнувшись с ним на вокзале, передал, что сейчас приезжает медлительный по обыкновению командир бригады, генерал Баснин, производивший смотр второму полку бригады; потом начнется посадка их полка в вагоны. Ливенцев качнул головой, окончательно стряхивая домашние мысли, и пошел готовить роту ко встрече командира бригады.

Чрезвычайно грузный, с трясучими желтыми бабьими подгрудками и парализованным, как у старой моськи, одним глазом, Баснин, для которого у всех прапорщиков полка не было другого имени, как «кувшинное рыло», по привычке бывшего кавалериста все внимание свое отдал команде конных разведчиков и ординарцев, а мимо рот прошел только сопровождаемый Ковалевским, Добычиным и Ваней Сыромолотовым. Думали, что он скажет солдатам какое-нибудь напутственное слово, на что иногда в подобных случаях отваживался даже и сам царь, но Баснин не захотел себя утруждать.

Подали, наконец, длиннейший воинский состав, и началась погрузка первого эшелона. Когда же поезд дви-



нулся и все в нем и около него почему-то кричали «ура», Ливенцев увидел в окне офицерского вагона веселое лицо Анны Ивановны рядом с унылым лицом Ивана Ивановича и помахал им прощально рукою.

Эшелон, в который попала десятая рота, погрузился, когда начало уже смеркаться. Ливенцев жадно смотрел на перрон, но везде были незнакомые лица. Крикливо бросился в глаза висевший совсем на отлете все тот же плакат: «Молчите! Польза родины этого требует!..» И Ливенцев, мрачно поглядев в лицо бывшего рядом Аксютина, сказал:

— Домолчались до гнуснейшей и глупейшей бойни, а пользы родине от нее что-то не видим!

Аксютин сочувственно улыбнулся, переметнув брови; Малинка же, тоже глядевший в окно, поднял простонародным жестом, обеими руками, шапку, покивал немудрой головой и пробормотал жалостно:

— Прощай, город Херсон! Может, уж никогда не увижу тебя больше...

А с густо набитого людьми перрона, так же как из соседних солдатских вагонов, доносилось замирающее «ура», и трудно было понять, зачем оно, что именно хо-

тели выразить люди, зажатые в вагонах, и люди, стоящие на воле, этим воинственным криком.

Потом замелькали по сторонам вечерние лиловые, тягучие, втягивающие в жуткую даль, в притаившуюся темень судеб еще бесснежные поля, густые, безлюдные, совершенно безмолвные. Это удручающее безмолвие полей особенно чувствовалось, когда солдаты переставали орать спасительные по своей бессмысленности песни.

Еще не зажигали свечей, когда подполковник Добычин, который командовал вторым эшелоном,— потому что Ковалевский уехал с первым,— пригласил к себе всех офицеров эшелона.

Старик имел таинственный вид. Он чмыхнул раза три сильно нахлобученным на усы носом, синими жесткими пальцами покрутил усы, кашлянул, потом обратился к зауряд-прапорщику Татаринову, бывшему в дружине адъютантом и ставшему в полку казначеем:

— Ну-ка, вскройте пакет.

Круглоликий Татаринов, подчиняясь серьезности минуты, несколько дрогнувшими даже руками надорвал довольно объемистый широкий пакет, снабженный все

тою же весьма интригующей надписью «совершенно секретно», с какою поступали в полк в последнее время все пакеты от высшего начальства, и осторожно вынул пачку карт предстоявшего полку театра военных действий.

— Что, еще турецкие, или болгарские? — нетерпеливо спросил Кароли.— Вот, никогда не думал, что у нас в штабах такие ретивые топографы, накажи меня бог!

Но Татаринов уже успел определить, что это за карты, и, глядя остановившимися круглыми глазами в красноватые глаза Добычина, сказал негромко:

— Буковина!

— Вот тебе на! Почему Буковина? Зачем Буковина? — удивился Ливенцев.

— Буковина и Галиция,— перебирая между тем карты, дополнил Татаринов.

— Та-ак!

Сидевший несколько согбенно, Добычин счел нужным выпрямиться, даже приосаниться и еще раз вполне воинственным жестом оттянуть вправо и влево лезшие в рот усы. Наконец, внушительно поглядел кое на кого и, остановившись на Ливенцеве, заговорил важно:

— «Почему» и «зачем»,— это не вопросы офицера, господа! Этими вопросами, господа, ведают там, наверху, в ставке верховного главнокомандующего... А верховный главнокомандующий наш — государь-император,— вот что я вам должен напомнить. Я же лично получил приказание нашего командира полка. Какое? Сегодня же раздать вам то, что имеется в этом пакете. А что именно там имелось, этого я и сам не знал, как вы сами видите,— пакет был запечатан, вскрыт он при вас. Я ведь не спросил его: «А что тут, в этом пакете?» Я не мальчик... а также и не девочка. Я только сказал ему, как требует долг службы: «Слушаю!» И все.

— Хорошо, а как же все-таки мы должны понимать этот ребус с картами? — спросил уже не Ливенцев, а капитан Струков, как бы несколько обиженный за Ливенцева на Добычина.

Добычин встопорщил плечи и развел руками:

— Вот тебе на! Ребус... Почему же, спрашивается, ребус? Никакого тут ребуса нет.

— Как так нет? А что же означают эти карты?

— Означают они, что полк наш идет на галицийский фронт,— вот и весь ребус!

— Гм... Третьего дня он шел в Болгарию, вчера в Турцию... Сегодня он, по вашим словам, идет в Гали-

цию... Но завтра таким же образом мы можем получить карты окрестностей Риги! — отчетливо сказал Ливенцев, который с давних пор не переваривал Добычина.

— Тогда поедем в Ригу!—быстро подхватил Кароли.

— Совершенно верно! Тогда — в Ригу. Наше дело ехать, куда прикажут, а не рассуждать,— начальственно воззрился на Ливенцева Добычин, сильно повысив вдруг голос.

— Значит, Турция и Болгария отпадают окончательно? — спросил Струков и, не дожидаясь, что ответит Добычин, перекрестился мелкими крестиками около подбородка.— Признаться, вот где это сидело у меня,— указал он на шею.— Шутили, что ли, с десантной операцией? Да немцы все наши транспорты перетопили бы подводными лодками! А уж берега там небось укрепили не хуже Дарданелл, так что по-ка-тились бы мы алемарше — скумбрию кормить! Не-ет, это куда лучше — в Галицию! По крайней мере обжитые окопы — раз, австрийцы, а не германцы — два! И до нас австрийцы никому страшны не были, авось и мы от страху на стенку не полезем... Нет, это сюрприз неплохой нам приготовили, а? — И Струков весело ширнул большим пальцем в ребро сидевшему рядом с ним командиру девятой роты, старому поручику турецкого обличья Урфалову, с тугими усами из серебра с чернью.

Урфалов подумал и ответил обстоятельно, как говорил всегда:

— Изволите видеть, Галиция, конечно, нашими войсками измерена вдоль и поперек, и так уж много они там народу положили, что дальше некуда. Поэтому наши стали теперь умнее и на Карпаты не лезут, а сколько уж времени стоят на месте. А это, изволите видеть, самое важное на войне: чтобы противник знал, что ты стоишь на месте, и баста. Французы как делают? Так же само и делают: на месте стоят и с места ни шагу. Вот у них и армия цела. На худой конец выскочат из окопов пять человек, займут южную часть воронки от снаряда и окопаются, а немцы выскочат из своих окопов, займут северную часть воронки и окопаются тоже... А потом об этом донесение Жоффру... Потом это в газетах везде напечатают: «Заняли южную часть воронки и окопались»... Вот как, изволите видеть, умные нации, союзники воюют! Вот так и мы теперь воевать будем. А что касается землянок на позициях, то их

даже чистенько досками изнутри можно обить и даже обоями оклеить.

— Электричество можно провести,— дополнил Аксютин.

— Отчего же нет?

— Пианино поставить,— сказал Ливенцев.— Коровку завести; жену выписать.

— Зачем жену? Там Марусек сколько угодно своих, изволите видеть, и они уж, конечно, вполне к снарядам привыкли... Так и простоим зиму. А весною...

— Мир будет? — вспомнил своего фельдфебеля Ливенцев.

— Одним словом, до весны еще далеко,— уклонился от ответа Урфалов.— Мы-то пока что белый хлеб как ели, так и едим, а немцы что едят,— читали? — Мякину!

— Накажи меня бог, если Галиция не самый лучший выход из положения! — с подъемом сказал Кароли.— Конечно, надо быть олухом царя небесного, чтобы лезть в Болгарию десантом! Ей-богу, в штабах у нас оч-чень неглупые люди сидят.

— Если это так радостно, то, пожалуй, не мешает обрадовать нам и нижних чинов, а? — обратился к Струкову Ливенцев, но сидевший насупясь Добычин сразу вздернул плечи:

— Я получил приказание какое? Сообщить господам офицерам содержание этого вот пакета, только,— строго глядя на Ливенцева, ответил ему за Струкова он.— А вы тут вдруг с нижними чинами! Нижних чинов везут? Везут! И куда их привезут, туда их и привезут. И куда им прикажут идти, туда они и должны идти... Нет, уж вы, пожалуйста, господа, нижним чинам ни слова!

— Да они ведь географии все равно не знают,— примирительно заметил Струков.— Для них что Болгария, что Галиция — одна собачка. Ну, расскажете вы им, что вот, мол, в Галицию едем, а они вам могут сказать: «В Болгарии наших пока еще не били, а в Галиции колотили достаточно!» Вот вам получится совсем не тот результат, какого вы бы хотели. Лучше действительно ничего не говорить, пока не приедем на место. Какой смысл?

Добычин, начавший было сутулиться по-стариковски, снова выпрямил спину, оглядел всех поочередно и приказал веско:

— Карты просмотреть, а что касается нижних чинов, то на следующей станции сделать им поверку, и чтобы пропели «Спаси, господи» и спать ложились. В каждом

вагоне проверить обязанности дневальных,— чтобы двери на ходу поезда были на засовах, чтобы нижние чины один у другого денег или часов не сперли... Дежурным вменить в обязанность указывать, куда нижним чинам на остановках до ветру ходить... Вот что надо нижним чинам, а не то, куда их везут. Куда их везут, туда их и привезут в свое время... Вот и все, господа, что я должен был вам сказать.

Офицеры разошлись, разобрав карты, и Ливенцев, выбравший себе место в одном купе с Аксютиным и Кароли, сказал им:

— Все-таки хорошо, что у нас командиром Ковалевский, а не Добычин. Вполне мог бы этот папаша остаться в Херсоне, обучать новых ополченцев. Нет,— потащился зарабатывать себе чин полковника, чтобы в отставку выйти генерал-майором... Мечта жизни.

Аксютин отозвался на это, подумав:

— Черт их знает, кто из них был бы лучше для нас с вами там, на фронте! Во всяком случае этот будет исполнять в точности только предписания начальства, а тот, кроме того, и свои какие-нибудь комбинации придумает, потому что он — генштабист... И из-за этих своих комбинаций может уложить нас всех, как телят, за милую душу... А что везут нас в Галицию, а не в Болгарию, это, конечно, большая наша удача.

Кароли же добавил:

— Вполне могли бы мы до Одессы доехать лиманом на транспортах,— пустяк езды,— и лиман не замерз, и подводных лодок, конечно, никаких там не могло быть, все это явная чушь. Но уж раз вся седьмая армия двинулась по одному пути, то ведь там теперь непротолченая труба, и круговой маршрут наш вполне понятен! Однако вот что, почтеннейшие: зачем же Ковалевский нам соврал, что едем в Одессу, а оттуда в Болгарию? Нехорошо все-таки нам-то врать, накажи меня бог! Ведь мы не мальчишки и в войну не играем. Добычин — хомутник, это верно, господа, но у него тот плюс, что он ничего не в состоянии выдумать,— ни пороху, ни «Одессы», и вообще никакими мыслями не блещет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда иные, иронического склада, люди видят разбитую на все ноги клячу, то говорят о ней задушевно: «Хорошо, бы на такой лошадке за своею смертью

ехать!» Кляча подобным людям представляется совершенно безнадежной в смысле езды на ней, а смерть где-то за тридевять земель.

Когда утром на следующий день проспавший ночь довольно спокойно Ливенцев посмотрел в окно, чтобы узнать, на какой именно станции остановился поезд, он вспомнил и разбитую клячу и иронического склада людей: поезд стоял еще очень далеко от позиций Юго-западного фронта. Около вагонов бегали, сильно топая и крича, солдаты, те самые нижние чины, которые, по Добычину, совсем не должны были знать, куда их везут. Бабы с корзинками продавали какую-то снедь и молоко в бутылках.

Зима здесь была более заметна, чем в Херсоне. Станционные осокори красовались инеем; вороны на них сидели нахохлясь и вполне философски созерцали людскую суету. Эти утренние вороны на утренних декабрьских осокорях были индигово-лиловыми на нежно-розовом.

Ливенцев спросил проснувшегося Урфалова:

— Вы знаете, где мы сейчас с вами стоим?

— Ну? — снова закрыл глаза Урфалов.— Оглушайте?

— Черт знает что! Полтавская губерния. Станция Бобринская.

— По-вашему, значит, не на фронт мы едем? — открыл глаза Урфалов.

— Можем, конечно, и такой круг проделать, только когда же мы доберемся.

— Вона о чем тоскует!.. Хотя бы нас в Иркутск завезли... А если бы во Владивосток, то еще лучше.— И снова закрыл глаза и по-стариковски зажевал губами этот медлительный, турецкого обличья, человек.

Когда Ливенцев вышел из вагона, то первое, что ему попалось на глаза, был все тот же, знакомый по Херсону плакат, прибитый к стене вокзала:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ! МОЛЧИТЕ!
ПОЛЬЗА РОДИНЫ ЭТОГО ТРЕБУЕТ!

Он был сочинен в штабе генерал-адъютанта Иванова недавно, этот назойливый плакат,— его нельзя было встретить раньше и на херсонском вокзале,— это знал Ливенцев. Он появился только теперь, когда массы седьмой армии, собранной в Одессе и под Одессой, в Николаеве, в Херсоне и около большой станции Раз-

дельной, были приведены в движение и, как ни очевидно было для всех, кто жил при южных железнодорожных путях, это движение, но войскам, которые двигались, предписывалось об этом молчать.

Ливенцев прошел вдоль вагонов своей роты, здороваясь с людьми. Дежурный по роте унтер-офицер Лекаренко бойко подскочил к нему с рапортом. Никаких особенных «происшествий» Ливенцев не ожидал, они и не «случились», но на станции Знаменка почему-то отстали двое рядовых — Кравчук и Биндюжный.

— Как так отстали?

— Так точно, ваше благородие,— поезд пошел, а их в вагоне на перекличке не оказалось. А винтовки, амуниция — это все ихнее осталось на месте.

— На Знаменке поезд стоял очень долго, как же они могли отстать? Они откуда родом, не знаешь?

Лекаренко был не из молодых, но легок на ноги, и на его очень неправильном, скуластом, смуглом лице часто появлялись молодые, плутоватые улыбки, хотя был он надежный службист. Он улыбнулся по-своему и теперь, когда ответил своему ротному:

— Кто говорит, что они будто так — из этой самой Знаменки оба... Тогда должны они с другим поездом нас догнать, ваше благородие.

— Тогда чтобы мне доложить. Передашь это другому дежурному, когда сменяться будешь. А в других ротах есть отставшие, не знаешь?

Лекаренко снова улыбнулся:

— Я так слыхал, ваше благородие, что по нескольку человек есть в каждой: у нас против других самая малость.

Двое, конечно, меньше, чем «несколько»,— это был успех десятой роты, и Лекаренко мог приписать его своему ревностному дежурству, почему и добавил пытливо:

— Завезли нас, ваше благородие, уж порядочно от города Херсона, а все-таки никто не знает, куда же нас дальше отправят?

И он крепко впился глазами в глаза своего ротного, но Ливенцев ответил:

— Мне это тоже неизвестно,— и пошел дальше.

А дальше стояла кучка людей его роты, и среди них чей-то напряженный, хриплый голос кричал:

— Стреляйте, вашбродь! Я вас прошу — стреляйте, ей-богу, ничего! Меня пуля никакая не берет,— я уж сколько разов стрелянный!

Когда Ливенцев подошел, все расступились; прапорщик Малинка, бывший в середине, скомандовал «Смирно!». Поздоровался с Малинкой и солдатами, хотел было спросить, что тут такое, но когда увидел Митрофана Курбакина,— всегда как будто немного пьяного и дикого, с красножилыми глазами и ухарски подброшенной свалявшейся черной бородой,— сразу понял, что это он и кричал.

— Это тебя пуля не берет?

— Не берет, вашбродь,— нипочем не берет,— я уж стрелянный! Хотите спытать,— спытайте!

И Курбакин выставил над головою левую руку, широко распялив пальцы.

— А правую руку ты все-таки жалеешь? — спросил, не улыбаясь, Ливенцев.

— Я? Чтоб жалел? Вот правая в додачу,— стреляйте из двух леварвертов!

— Ты что тут дурака строишь? В лазарет захотел? Погоди, успеешь!

— Я чтобы в лазарет? Да нипочем меня никакая пуля не возьмет!

Ливенцев собрал все спокойствие, запас которого был в нем еще достаточно велик, и сказал ему негромко:

— Пошел и не ори глупостей!

— На станции Знаменка, Николай Иваныч, отстали двое,— тихо сообщил ему Малинка, когда они отходили вдвоем.

— Знаю. Этот дурак тоже, конечно, «отстанет»... если не здесь, то где-нибудь дальше.

— Буду сам следить за ним,— сказал Малинка.— Дежурному надо приказать за ним глядеть...

— Советую... Потому что болезнь эта заразительна: если отстал один, то почему не отстать другому, третьему, четвертому...

Ливенцев хотел было продолжать счет до последнего в роте, но Малинка не способен был понимать шуток,— он знал это; кроме того, подходил батальонный Струков.

На этой станции завтракали и пили чай. К полудню на станции Цветково нагнали первый эшелон, который успел уже приготовить обед. Во всех ротах, оказалось, были отставшие.

Стоять здесь и ждать отправки пришлось долго, но Ковалевский ликовал: ждали потому, что пропускали

тяжелые орудия. На соединенных платформах, укрытые брезентами, мощные, длинные и строгие, продвигались на фронт машины войны решающего значения.

— Я знавал одного врача по сердечным болезням,— пояснял свое ликование Ковалевский.— Он признавал только одно лекарство для своих больных — дигиталис, то есть наперстянку. «Ну какой,— говорил он,— я был бы врач, если бы не было в медицине такого могучего средства, как дигиталис?» Вот также и я скажу: я не взял бы командования полком, а остался бы в штабе, если бы не знал, что у нас будет тяжелая артиллерия! Тяжелая артиллерия в этой войне, господа,— все! И если немцы били нас до сих пор, то этим они обязаны только этому средству.

Наслушавшись Ковалевского, Ливенцев сказал Аксютину:

— Непростительную ошибку сделали мы с вами когда-то: отбывали воинскую повинность в пехоте. Были бы мы прапорами в тяжелом дивизионе,— вот от нас теперь и зависел бы исход боев. Приятно же, черт возьми, сознавать, что от тебя такая важная штука зависит: исход боя, а? Ты же сам никакого противника и в глаза не видишь, и никого шашкой по башке не колотишь, и ни в кого из револьвера не палишь... добро! Нет, дали мы с вами маху.

Аксютин поерзал бровями по лбу и отозвался:

— С лошадьми надо было дело иметь в артиллерии,— вот что меня, признаться, остановило тогда. Тут и с людьми тоска, а лошадь,— ведь она все-таки поглупее человека. Кроме того... кроме того, совсем уж неморальным мне казалось стрелять по людям из пушек.

— Вот по воробьям если — это бы совсем другое дело,— подхватил бывший тут же Кароли.— Нет, я тоже дурака свалял, что пошел в пехоту. Колоссальнейшего дурака, накажи меня бог!

— И он вас накажет,— пророчил ему Аксютин.

Пришел и второй полк бригады. Станция Цветково казалась захваченной сильным отрядом. Наконец, в том же порядке, как прибывали, пошли эшелоны дальше, на станцию Фастов, под Киев.

— А вы обратили внимание, Николай Иваныч, что никаких пассажирских поездов мы не встречаем? — сказал Кароли Ливенцеву.

— Да и на вокзалах, я заметил, никакого нет штатского народа, кроме торговок...

— Которых тут же гонят в три шеи.

— Неужели совсем прекращено пассажирское движение? Может быть, это и есть то самое «остерегайтесь, молчите»?

— Ага. Вот в том-то и дело! Нас перебрасывают на фронт совершенно секретно, как весьма важные пакеты.

— А цель этого?

— Ясно, что в порядке борьбы со шпионажем. Наконец-то взялись за ум!

— Поэтому вы и ликуете?

— Еще бы не ликовать, раз я чувствую, что начальство о нас заботится. Когда начальство обо мне заботится, должен же я цвести и благоухать? Кроме того, я счастлив оттого, что проникаю, наконец, в замысел начальства: вся седьмая армия должна появиться на фронте неожиданно и незаметно, как в шапках-невидимках.

— Как снег на голову?.. Сюрприз для австрийцев?.. Но зачем же все-таки этот сюрприз? И зачем эта новенькая тяжелая артиллерия? Не хотят ли нас двинуть прямо с подхода в бой?

— Ерунда-а! Не может этого быть зимой. Просто, знаете ли, хотят оттянуть кое-какие силы с западного, европейского то есть, фронта, на наш, как это всегда бывало. Ведь пять человек германцев заняли же северный край воронки девятидюймового снаряда и о-ко-пались! Ужас, ужас, ужас! Необходимо их вытянуть оттуда; иначе погибнут и Франция, и Италия, и Англия. Мы явимся просто хорошеньким вытяжным пластырем, и только. Вот поэтому я и ликую.

Ликования, конечно, никакого не было на загорелом долгоносом лице Кароли,— напротив, оно очень осунулось за два последних дня и постарело.

В Фастове Ливенцев заметил, что так же осунулось и лицо Хрящева.

— Что с вами? Не заболели? — участливо спросил Ливенцев.

— А разве заметно что-нибудь? Заболеть-то пока еще не заболел, а воевать уже начал... с женою, разумеется. Все время привожу ей резоны всякие, что ей надо на первой же остановке отстать и маскарадный костюм свой сдать в роту, а самой ехать обратно в Херсон. Ничего не могу с нею сделать: уперлась и твердит: «Рубикон перейден»... А ведь был же строжайший приказ не брать в воинские эшелоны членов семейств!

И без нее довольно всяких хлопот, а теперь еще всячески прячь ее от Ковалевского.

— Так вы чего же собственно боитесь: что Анну Ивановну Ковалевский увидит и тогда... что же страшного может быть тогда? — удивился Ливенцев.— Если только это, то я бы на вашем месте сам об этом сказал Ковалевскому.

— Ну что вы, что вы! — замахал руками Хрящев и отошел, а Ливенцев подумал, что надо ему, как он и обещал, написать письмо Наталье Сергеевне: ведь почему-то выступили крупные слезы на ее глаза, когда он в последний раз уходил из библиотеки.

И он действительно начал было писать ей письмо, но не докончил,— скомкал его и порвал: о чем было писать, если он еще не на позициях и его не ранили?

В Фастове он встретил прапорщиков Дороднова и Кавтарадзе, и Дороднов спросил его недоуменно:

— Как вы думаете, куда нас с вами везут?

— Вот тебе на! Разве вы не получили карты Волыни, Буковины, Галиции? — удивился Ливенцев.

Кавтарадзе рассмеялся и хлопнул его по плечу:

— Ффа, подумаешь,— карты Галиции! А почем вы знаете, что мы сейчас карты Виленского фронта не получим? Херсонщину, Екатеринославщину, Полтавщину проехали,— в Киевщине стоим... Дальше могут нас привезти в Киев, потом в Коростень, Овруч, Мозырь, Жлобин, Бобруйск,— и пожалуйте бриться к Эверту.

— Не может быть!

— Откуда у вас такая уверенность? Почему не может быть?

— А Ковалевский что говорит?

— Ффа! Ковалевский! Политичничает Ковалевский,— разве же это не видно?

Большая узловая станция Фастов была особенно тщательно очищена от всякой посторонней публики и от торговок. Это напомнило Ливенцеву, как встречали год назад царя на вокзале в Севастополе. Это делало особу каждого солдата царственно священной.

От гнетущей скуки эти царственно священные играли на гармошках, орали скоромные песни, кое-где плясали...

Когда снова приказано было садиться в вагоны, Ливенцев тревожно смотрел, направо или налево пойдет поезд. Поезд пошел налево, не на Киев, а на Казатин, и новых карт не раздавали. Однако еще двое суток, очень медленно спеша, хотя теперь уже бесспорно на

Юго-западный фронт, бродили поезда с воинскими эшелонами из Казатина на Бердичев, от Бердичева на Шепетовку, от Шепетовки на Староконстантинов, где солдаты обедали, потом на Никитовку... Когда же перед вечером остановились на станции Ярмолинцы, то оказалось, что это был конец их езды,— дальше начиналось походное движение на пять дневных переходов пеших войск.

Поджидавшие полк квартирьеры торопили очищать вагоны, так как солнце начинало уже склоняться к закату. Из низкой тучи, занявшей только половину неба, сеялся мелкий дождь. Под ногами хлюпала и вздувалась вонючая грязь. Поезд остановился, не доезжая станции, так как вдоль небольшой станционной платформы растянулся, видимо давно уж пришедший, артиллерийский эшелон и выгружал с уханьем, руганью и криками орудия на мостки, тонувшие в коричневой от конского навоза жиже.

— Это мы на своей, на русской земле стоим, господин фельдфебель? — спрашивали солдаты десятой роты фельдфебеля Титаренко.

— Ну, а як же жне на русськой, як треба пеши до хронту сто верстов гнать? — сердито отвечал Титаренко.— Звестно на русськой!

Ливенцев видел, что эта русская земля — Волынь она или Подолия, все равно,— совершенно не нравилась его фельдфебелю, хмуро глядевшему то на свои начищенные по форме, ловко сидевшие сапоги, то на эту бесконечную, растоптанную в сплошное месиво, золотистую, темно-рыжую и черную грязь кругом.

Село при станции было сплошь забито артиллерийским парком. Грызлись, визжа, вороные сытые жеребцы у коновязи в стороне от станции. Капитан Струков обстоятельно расспрашивал квартирьеров, что это за деревня в шести верстах, в которой должен был ночевать его батальон. Наконец, обогнув станцию, роты выбрались на шоссе, все искалеченное и разбитое тяжелыми грузовиками и орудиями, причем все выбоины предательски заволокла жидкая грязь, и пошли, ругаясь.

— Сорок лет готовились к войне с Австрией и даже железной дороги в сторону Австрии не могли построить, сукины дети! — с большим чувством говорил Ливенцеву, несколько отставшему от своей роты, Кароли, только что успевший выбраться из одной колдобины на шоссе и попавший в другую.

— Во-первых, везде и всюду железных дорог не настроишь,— утешал его Ливенцев.— Земля наша, как известно, очень велика; во-вторых, по календарю теперь, в декабре, полагается быть зиме, а не такой распутице; а в-третьих, мы с вами, как ротные командиры, могли бы ехать верхом, если бы под руками были лошади; наконец, в-четвертых, у нас будут еще с вами гораздо более серьезные причины, чтобы сердиться: поберегите сердце.

Сам он шагал по грязи довольно равнодушно. Он всячески старался отрешиться от самого себя еще с того часу, как сел в воинский поезд в Херсоне. Если слишком круто ломалась другими, кто был над ним, его жизнь, то он находил немалое облегчение в том, чтобы не замечать этого просто из упрямства.

Часто приходилось тесниться на этом узком, новой стройки, шоссе или соскакивать с него просто в грязь, чтобы только пропустить настойчиво сигналившие грузовые машины, мчавшиеся на фронт то с баками бензина, то с мясными тушами, то с мешками овса или ячменя. Машины обрызгивали грязью эти серые массы, идущие в окопы; массы неистово ругались.

Но неуклонно рвавшиеся вперед с полным сознанием важности того, что они делали, огромные тяжелые грузовики артиллерийского парка, питавшие фронт снарядами, свирепо рыча, все наседали и наседали сзади, а навстречу мчались машины оттуда, с таинственного фронта. Какой-то генерал в одной из них брюзгливо посоветовал Добычину свести свой эшелон на проселок, чтобы не загромождать шоссе, потому что шоссе устроено затем, чтобы по нему ездить, а не ходить; пехота же на то и пехота, чтобы пройти везде, где может пройти один человек, как это сказано в уставе.

Однако и проселок, на который перешли, чтобы идти спокойней, был на две пяди в глубину размешан, как тесто в дежке, многими тысячами солдатских сапог, и шесть верст до деревни эшелон тащился не менее трех часов.

— Для начала недурно! — словами из анекдота определил положение Аксютин, когда возникли, наконец, из мокрой темноты перед ним и Ливенцевым захудалые хаты деревни с соломенными крышами, укатанными глиной, и маленькими окошками, заткнутыми тряпками.

А Ливенцев, по пояс заляпанный грязью и с тяжелыми, как двухпудовые гири, ногами, отозвался спокойно, вспомнив при этом своего Титаренко:

— Вот это она именно и есть,— земля, которую мы с вами должны защищать до последней капли крови!

В стороне же капитан Струков кричал на квартирьеров:

— Где же здесь, у чертовой мамы, ночевать целому батальону? Смеются над нами, что ли?

Квартирьеры говорили, что, кроме этой деревни, тут ночевать негде, что им приказано привести эшелон на ночь сюда, что дальше по дороге есть местечко — Городок, но Городок весь занят войсками, и квартир там нет.

Однако то в той, то в другой хате гостеприимно растворялись двери; в красноватом свете каганцов показывались из дверей бабы, и призывно валил из хат на улицу густой, смешанный обжитой запах: печного дыма, хлеба, кислой капусты, сыромятной овчины, двухнедельных поросят...

Несколько чище других хаты выбраны были квартирьерами для офицеров эшелона, но когда, вместе с Малинкой и Значковым, Ливенцев входил в отведенную ему хату, он увидел совсем незнакомую для себя картину: посредине горницы с десятком икон в углу стоял пестрый, вильстермаршской породы, не больше как трехдневный бычок и флегматично мочился в подставленную ему черноглазой девчонкой глиняную миску. Переглянулись и расхохотались все трое, но бычок не смутился этим и продолжал свое дело.

Бычка увели потом в сарай; у хозяйки-солдатки средних лет, почему-то принаряженной и даже в монистах, появилась помощница девка, проворно поставившая самовар в сенцах.

Напившись чаю, Ливенцев скоро уснул на лавке, положив под голову тужурку и укрывшись влажной шинелью. Хотя в горнице стояли две деревянные кровати с кучей подушек в замасленных ситцевых наволочках, но он опасался клопов. И этот сон на голой лавке в душной избе был крепчайший сон, который сам Ливенцев, проснувшись утром, признал репетицией к смерти. И во время этого сна он не слышал, конечно, как ритмично скрипели рядом с ним деревянные кровати.

И только утром из несколько запутанных объяснений сокрушенного Титаренко, боящегося, что пошатнется дисциплина в роте, он понял, что такие же солдатки с монистами и их помощницы — проворные девки, ставящие и подающие на столы самовары, были тут в каждой хате.

Смутно представив это, озадаченный Ливенцев спросил своего фельдфебеля:

— Но ведь тут в каждой хате, должно быть, маленькие ребятишки есть, как в той, где я ночевал... Как же они так при маленьких детях?

— А что же им ребята, ваше благородие? Теперь же в деревнях скрозь мужиков черт мае,— теперь ихняя полная бабская воля,— сумрачно ответил фельдфебель, и Ливенцев не говорил уж с ним больше об этом: он знал, что у него самого в одной из деревень Мариупольского уезда осталась молодая еще жена и двое маленьких ребят.

Только часам к десяти утра, обчистившись от подсохшей на шинелях и сапогах грязи, выступили из бабьей деревни. Ливенцев, как и другие ротные, ехал уже теперь верхом. Дождя не было, но проселок оказался еще более грязным, чем вчерашний.

Жалкое местечко Городок прошли среди дня. Узнали, что именно здесь, в довольно почтенном расстоянии от фронта, устроился штаб седьмой армии; сначала, правда, он обосновался было верстах в пяти, в роскошном барском имении, но дорога оттуда до местечка была такова, что машины увязали по ступицы колес и не могли двигаться.

Однако, когда вышли из Городка, оказалось, что не могли двигаться и полевые кухни эшелона: даже пара сытых лошадей не в силах была тащить одну кухню. Пришлось ротным командирам уступить своих лошадей на пристяжки, и, следя изумленно за тем, как выбивалась из сил и взмыливалась уже четверка лошадей, чтобы несколько саженей протащить кухню, Ливенцев говорил Кароли:

— Вот это так «Анабасис».

— Со-рок лет готовились воевать с Австрией, сукины дети... в селезенку, в печенку, в андреевскую звезду, в камергерский ключ... и дорог не делали! — весь дрожал от ярости и тряс кулаками в сторону Петрограда Кароли.

И Ливенцеву приходилось успокаивать его:

— Сознательно не делали,— как же вы этого не знаете? В целях самозащиты не делали... Называется это — скифская стратегия: спасаться от иноземных вторжений за меотийскими болотами.

— Однако мы, мы топнем в этих болотах, а не австрийцы!

— Страстная любовь у нас к этому виду спорта.

Между тем местность кругом была совсем неровная — балочки и взгорья,— начинались увалы, отроги Карпат.

Проселок извивался невдали от шоссе, и с него было видно, как по шоссе тащили на взгорок орудия полные запряжки могучих с виду лошадей и не могли вывезти, спотыкались и падали на колени, парили, водили боками. Тогда к ним кидались артиллеристы, выпрягали их, ставили в сторону и вытаскивали орудия на своих мускулах.

— Вон что начальство приказывает делать! — бубнил соседу, хотя и не в полный голос, но так, что слышал и Ливенцев, Митрофан Курбакин, который, к общему удивлению, все-таки не сбежал, а шел со всеми.— Лошадей, конечно, начальство жалеет,— она денег стоит, лошадь, ее тоже ведь надо купить, а людей чего жалеть? Бабы людей нарожают сколько хочешь, им только волю на это дай...

Этот Курбакин после второй ночевки, в селе Янсовисто, подошел диковидный к Ливенцеву, как следует, рука под козырек,— и сказал хрипуче:

— Ваше благородие! Дозвольте доложить, я сон очень страшный видел!

— Что такое? Сон? — не понял удивленный Ливенцев.

— Так точно, сон страшный... Будто как сам Вильгельм германский за мною гнался, с таким вот ножом длинным... (вытянул левую руку и стукнул правой выше локтя) я от него, и прямо в баню попал... А в бане много народа полощется, а мыла ни у кого нету. Я сичас к банщику: «Отчего мыла для народу не припас?» А банщик тоже голый стоит и с веником,— смотрю я на него, а это же сам царь наш, Николай Александрович,— и на меня веник свой поднял таким манером: «Я, грит, если уж накажу, то я уж накажу!» Ей-богу, правда, ваше благородие! А тут, гляжу, сама царица к нам в мужицкую баню заходит и тоже вся как есть гол...

— Пошел к черту! — коротко перебил его Ливенцев.

— Слушаю, ваше благородие! — повернулся Курбакин по уставу и отошел.

Еще целый день тащились от села Янсовисто до села Кузьминчики, тоже Каменецкого уезда. На этой части пути в невылазной, тяжелой грязи сапоги у многих раз-

дрябли, раскисли,— отскочили подошвы. Ливенцев, как и другие ротные, приказывал подвязывать их проволокой или шпагатом. Потные от натуги, осовелые солдаты к вечеру имели вид загнанных лошадей. Много оказалось совсем выбившихся из сил. Их сажали на артелки, тащившие солдатские сундучки, но тогда лошади останавливались и не шли. Пришлось таких ослабевших просто оставлять на дороге, чтобы, отдохнув, догоняли они полк одиночным порядком. Здесь, около позиций, не было уже опасений, что они могут куда-то уйти: здесь некуда было уйти, здесь все живое держалось около полевых кухонь,— здесь кругом лежала пустынная земля, растоптанная сотнями тысяч войск, вконец ограбленная войною.

Попадались иногда по дороге сиротливые, как пожарища, следы бывших человеческих гнезд: остатки фундаментов в земле, кучи известки и глины с потолков и стен, пеньки росших около и обрубленных фруктовых деревьев. Жители деревень и сел объясняли, что это — места зажиточных до войны фольварков и хуторов, которые были начисто сметены войсками, так как фронт нуждался в кирпичах, и в бревнах, и в досках для окопов, а окопы нужно было чем-то топить зимою. И если большие села, местечки, деревни необходимы были для размещения в них войск, то на одиночные хуторские хозяйства смотрели просто как на «местные средства фронта».

Однако такими же «местными средствами» было и все хозяйство уцелевших от разрушения деревень: огромнейшее брюхо фронта пожирало все, что производили эти хозяйства, снисходительно оставив им в изобилии только воду для самоваров.

Фуражиры бесчисленных войсковых частей неустанно сновали везде, выискивая скот и фураж, однако нередко бывало и так, что собранное фуражирами одной части отбиралось отрядом другой. И очень короток был здесь век вильстермаршской породы бычков, с великолепным спокойствием мочившихся посреди горниц в глиняные миски, и молочных поросят, благоухающих под лавками.

Солдаты, набранные в Екатеринославщине, говорили с прифронтовыми подолянами на одном языке, и Ливенцев видел, что если они могли еще как-нибудь извинить начальству свой многоверстный поход по невылазно-грязным дорогам, то этого вот растаскивания по брев-

нышку хуторов, этой беспощадной реквизиции сена и картошки, овса и живности у своих же, у тех, которых защищают от неприятеля, они не могли понять и не хотели прощать.

В стороне от шоссе, гремевшего тяжелыми машинами, проходила полевая железная дорога, по которой лошади тянули груженые вагоны на фронт. Но мучительно было смотреть на этих лошадей даже издали: они выбивались из сил, чтобы вытаскивать свои ноги из разболтанной вязкой грязи по обочинам дороги.

Еле вытягивали из засасывающей грязи свои ноги и солдаты эшелона, когда подходили к селу Кузьминчики. Но они знали,— им сказали это с радостными лицами,— что в Кузьминчиках ждет их не только удобный, теплый ночлег,— еще и дневка, так как следующий день был «день царский,— тезоименитство государя-императора, верховного вождя всех русских воинских сил».

Однако село это оказалось сплошь забитым транспортом и строительным отрядом. Усталые люди остановились на улицах села, теснясь между подводами и лошадьми; был уже вечер; падал хлопьями мокрый снег...

Добычин послал телеграмму в Городок, непосредственно в штаб седьмой армии, прося распоряжений. Но транспорт оказался в девятой армии, и штаб седьмой бессилен был его выселить. После долгих переговоров начальник транспорта еле согласился очистить для всего эшелона двадцать хат. Люди спали вповалку, располагаясь где только можно было найти прикрытие от снега.

А утром мыли многострадальные сапоги в речке Мухе, впадающей в пограничную с Австрией реку Збруч, чистили винтовки, чинили амуницию и шинели. Около здешней церкви отстояли обедню и молебен. Парада не было,— негде было развернуться для церемониального марша, только прокричали несколько раз «ура» после короткой речи командира эшелона, а в обед получили праздничного сахару по шести кусков.

Снегу за ночь нападало много, днем же при солнце он быстро таял. Выехавший из села после обеда чужой транспорт оставил после себя на улицах такую грязь, что перед вечером снова пришлось ходить на речку Муху мыть сапоги, и Митрофан Курбакин кричал при этом занятии диким своим голосом с хрипотой:

— Отмывай, ребята, отмывай чище нашу родимую землицу! Завтрашний день австрийскую месить станем!

Утром перешли Збруч по деревянному мосту, а чтобы не провалить этого моста мерным солдатским шагом, Добычин приказал идти по нему не в ногу. Ливенцев удивленно наблюдал, как повеселели лица солдат его роты, когда он бросил им на ходу: «Вот вам и Галиция, ребята,— дошли, наконец».

Даже затянул было кто-то в передних рядах старую, еще дружинную, песню:

Ехал на ярморок юхорь купец,
Д'юхорь купец, д'юдалой молодец...

И много голосов подхватило ее весьма бодро и с большим чувством, но от ехавшего верхом впереди Добычина пришло приказание песню отставить.

— Почему отставить? — недоуменно спрашивал Ливенцев у своего соседа по роте Аксютина.

Аксютин поерзал по морщинистому лбу бровями, ища ответа, и сказал наконец, найденно улыбнувшись:

— Потому что вы-то забыли знаменитый плакат: «Остерегайтесь! Молчите!» Добычин же его отлично помнит.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Два дня еще шел эшелон галицийскими проселками, которые оказались ничуть не суше и не тверже своих, подольских; прошел деревню Ольховчики, ночевал в деревне Крагулевец, наконец пришел в большое село Звинячь, где разместились уже первые два батальона и разместились тесно, на одной половине села,— другую оставили для второго полка бригады.

Отсюда уже слышен был рокочущий разговор наших и австрийских пушек: до позиций считалось всего восемнадцать — двадцать верст.

— Це шо такѐ, га? Чуешь?

— Эге ж, чую. Регочуть, шо мы, дурные, сами до них прийшлы!

И, кивая друг другу на грозную линию холмов на горизонте, из-за которых доносился зычный боевой гул, солдаты застывали на месте с раскрытыми ртами. То, о чем они не хотели думать, но к чему их готовили больше года, то, чего они не хотели видеть, но к чему их неуклонно везли в товарных вагонах, как всякий другой

военный товар, к чему придвигали их несколько дней по невылазно грязным дорогам, оно было, наконец, здесь, вот оно,— рукой подать.

Но некогда было долго вслушиваться в канонаду. Ковалевский приказал выстроить прибывшие роты и осматривал каждого в них внимательным, оценивающим и тело и душу взглядом. Так, безмолвно проходя замедленным шагом, оценивает про себя на ярмарке покупатель выставленный у возов на продажу скот, прежде чем остановиться на одной из голов и начать торговаться.

А Ваня Сыромолотов, идя за ним, только записывал, у кого оказались совершенно разбитые сапоги, перевязанные бечевкой и проволокой, и вечером в тот же день выдавали тому новые сапоги.

При раздаче и примерке этих сапог Ливенцев с большим любопытством наблюдал за своими, будут ли они довольны: ведь новые сапоги эти были не более как дар данайцев. Но оказалось, все очень повеселели, только иные не верили тому, что сапоги эти — настоящие, прочные, сапоги, и долго щелкали пальцами по подметкам, стараясь определить на звук, из кожи ли они,— не из лубка ли, только для видимости оклеенного тонкой кожей.

Ливенцев боялся спросить об Анне Ивановне; ему казалось, что она лежит совершенно разбитая пешим путем и больная, но она сама отыскала его,— радостная и даже поздоровевшая на вид,— обветренная, немного похудевшая, с блестящими глазами.

Поздоровавшись с ним за руку, точно и не была в шинели рядового, она заговорила возбужденно:

— Можете теперь говорить мне опять «вы»,— я теперь доброволец, охотник, и имею право носить желто-белые шнурки на погонах. Ковалевский увидел меня в Ярмолинцах, когда мы вышли из вагонов, и узнал, и очень удивился, однако нисколько не рассердился и не кричал. Говорил мне «вы» и приказал внести меня в списки полка. Так что, ваше благородие, вот какая у меня новость за те дни, как мы с вами не видались!

— Вы героического типа женщина! Я вам искренне удивляюсь,— растроганно сказал Ливенцев.— И те чертушки, какие грохочут там, неужели вас не пугают? Признайтесь, все-таки есть немного?

— Помилуйте, что же я,— не знала, что ли, что их услышу?

— Все-таки лучше ведь было бы сидеть дома, пить чай с вареньем, хотя бы и засахаренным даже, а?

— Нет! — решительно покачала она головой.

— Ого! Да вы — второй Демка Лабунский! Но в окопах с нами вы, конечно, не будете сидеть?

— Вот тебе на! Почему же не буду, когда я уже и теперь в списках полка? На законнейшем основании буду. Только едва ли нам придется долго в окопах сидеть: поговаривают, будто мы пойдем в наступление...

И всплеснула руками досадливо, добавив тихо:

— Проговорилась... Впрочем, это только нижним чинам нельзя говорить, а вам можно, да вы и без меня это узнали бы, конечно... Идем в наступление через несколько дней.

— Вот видите,— в наступление,— так же тихо повторил Ливенцев, оглянувшись по сторонам, так как они стояли на улице села.— И вам все-таки нисколько не страшно?

— Ничуть!

Ливенцев хотел было сказать: «А я и не предполагал даже, что вы были так несчастны там, в Херсоне, что пришли к мысли о самоубийстве»,— но сказал:

— Ну, дай бог, чтобы нас с вами не серьезно ранило, а как-нибудь слегка... Впрочем, если вы успели выписать из Москвы непробиваемый панцирь Савина...

Рядовой седьмой роты совсем по-женски махнул перед его лицом мягкой розовой ладонью и отошел, улыбаясь.

Ливенцев думал, что никто из нижних чинов их полка, кроме рядового Анны Хрящевой, не знает, что их ждет через несколько дней, однако Демка Лабунский, обычно хмурый, был торжествующе радостен, когда случайно встретился с Ливенцевым.

Едва не забыв отдать ему честь, Демка вытянул руку в сторону отдаленного гула и почти крикнул:

— Вот они как! Здорово! Скоро и мы туда тоже.

— Мы? Мы туда не пойдем,— здесь стоять будем,— строго старался смотреть на него Ливенцев.— Откуда ты взял, что мы туда пойдем?

Но тоном большого превосходства, знатока перед круглым невеждой, Демка протянул, подмигнув насмешливо и вздернув левым плечом:

— Зде-есть стоять! Когда мы только третьего батальона и ждали, а то бы мы еще вчера пошли.

— Да откуда ты взял это, Аника-воин?

— От-ку-да! Когда все, как есть, говорят, что пойдем наступать на австрийца.

После ужина, во время поверки, во всех ротах полка записывали бомбистов, и, кроме того, объявлено было двум ротам — третьей и шестой,— чтобы завтра с семи часов утра они отправились в деревни влево и вправо от села Звинячь на поиски соломы и дерева для окопов; при этом разрешалось ломать и сараи фольварков, если они еще уцелели.

Полк начинал уже жить фронтовой жизнью, а мокрый пухлый снег продолжал падать ночами и подтаивать, оседать, делаться жижей, брызжущей из-под ног днем.

Первую звиняческую ночь Ливенцев спал крепко, отчасти от усталости, отчасти от сознания того, что все подготовки и подходы к последней цели его жизни (как и миллионов жизней кругом) — сражению из-за куска земли — окончательно завершены: круг сомкнулся.

На другой день,— все было бело и нежно кругом от снега,— пришел в обед второй полк их бригады, который был в то же время четвертым полком дивизии; с ним вместе подтянулись отставшие их полка. К вечеру улицы запрудили двуколки обозов; наконец, дымящиеся, мокрые кони дотащили орудия и стали, встряхивая головами и нося боками. Другая бригада дивизии еще раньше оказалась в сборе в соседнем селе Бучковце, и один из полковых командиров этой бригады, полковник Фешин, по своему почину и с согласия начальника дивизии генерала Котовича, успел уже произвести рекогносцировку той части позиций, какая приходилась на долю дивизии. С результатами этой разведки Фешина счел нужным познакомить своих батальонных и ротных командиров Ковалевский.

Несколько более зажиточных семейств выехало из Звинячи подальше от беспокойного и прожорливого фронта, и штаб полка поместился в одной из покинутых халуп. Халупа эта была сравнительно с другими большая, однако командиры рот разместились в ее горнице с трудом.

Ковалевский показался всем, не только Ливенцеву, небывало озабоченным, и когда прапорщик Кавтарадзе вздумал пошутить, сказав громко: «Совет в Филях!» — Ковалевский только глянул на него долгим и неподвижным взглядом, не отозвавшись ни словом, как это он

сделал бы в другое время. Перед ним на столе лежали карта и набросок расположения австрийских позиций, бегло сделанный карандашом. На этот именно набросок на сером узеньком клочке бумаги он смотрел довольно долго, прежде чем начал говорить глухо, против обыкновения, и напряженно:

— Господа офицеры, я... нахожусь в некоторой нерешительности, хотя мое личное правило всегда было таково: хороши только те сюрпризы, о которых предупреждают заранее... А когда мы должны приступить с вами к такому чрезвычайно серьезному делу, как наступление, тут сюрпризы всякого рода совершенно неуместны. Но вот для австрийцев большим сюрпризом явится то, что на тихий сравнительно фронт явилась наша седьмая армия — сила свежая, очень хорошо снабженная, численно большая и с талантливым руководством...

Тут Ковалевский забывчиво постучал о стол карандашом, который был у него в руке, и раза два повторил:

— С талантливым руководством, да! С талантливым руководством... Едва ли появление нашей армии на фронте останется неизвестным противнику, едва ли, да,— но мы со своей стороны должны делать все, господа, чтобы себя пока не обнаруживать, и всякие разговоры с нижними чинами о готовящемся нами наступлении я ка-те-го-рически воспрещаю, господа,— категорически! Разведка австрийских позиций нам пока тоже воспрещена штабом армии, но, поскольку мы все-таки должны готовиться к наступлению, то-о... вот, полковник Фешин... путем опроса офицерских чинов стоящей на позициях впереди нас дивизии из состава другой армии добыл кое-какие необходимые нам сведения... необходимые сведения... Что же мы прежде всего должны иметь в виду?.. Прежде всего не будем строить себе иллюзий насчет того, что операция пустяковая. Она не пустяковая, нет, и я лично кладу все надежды на нашу тяжелую артиллерию... Позиции противника сильны. Они расположены на нескольких высотах. Колючая проволока — в несколько рядов. Между этими позициями и нашими — долина речки Ольховец... Ольховец, да... Четыре аршина шириною Ольховец... Пожалуй, даже и речкой нельзя назвать,— ручей, а? Ручей Ольховец... но он пока не замерз — это одно, а второе, и очень существенное: он протекает по очень топкой долине, по очень топкой,— это имейте в виду. Нам, конечно, дадут средства для переправы,— об этом, разумеется, позаботится штаб

армии. Дальше мы должны овладеть теми позициями, какие нам будут указаны, и прорваться в долину реки Стрыпы, в которой сохранилось много сел и деревень. Между нашими же и австрийскими позициями уцелела одна только хата,— одна хата... весь наш актив,— одна хата!.. Носит она у нас название — хата на Мазурах. Никаких деревьев, даже и одиноко стоящих, нет,— и лес и солому нам надо заготовить где-то в тылу, чтобы перебросить в район атаки. Надо устроить несколько землянок и для перевязочных пунктов, чтобы не замерзли раненые, и просто для обогрева. Возможно, что мы получим хотя бы для двух-трех рот белые халаты в целях мимикрии. Прошу иметь в виду, господа, что я, может быть, даже несколько выступаю за границы своих полномочий на сегодняшний день, так как сегодняшний день пока еще день тайн и всяческих там недомолвок. Но я, во-первых, надеюсь на то, что вы обдумаете, что я вам сказал, про себя, проштудируете карту местности, вообще войдете в курс дела, в объеме боевой операции, какая нам предстоит. Я хочу, чтобы вы, господа, шли вперед с открытыми глазами, а не вслепую. В бою вы, каждый из вас, должны проявить свою инициативу, а откуда же она может взяться, если вы не знаете наперед, что вас ожидает? Каждый из вас, конечно, знает своих подчиненных, кому и что можно доверить, от кого и чего можно ждать. Продумайте их как следует всех и проверьте их возможности. Кстати, получились приказы по фронту насчет нижних чинов. Содержание этих двух приказов такое...

Ковалевский остановился, обвел всех глазами, постучал по столу карандашом, видно было, что он затруднялся передать своими словами содержание этих приказов.

— Видите ли, главнокомандующий наш, генерал-адъютант Иванов, конечно, знает, что командиры рот и батальонов беседуют с нижними чинами и о дисциплине, и о долге службы, и о святости присяги, и о воинской чести, и, наконец, о значении настоящей войны для нашей родины. Но приказ подчеркивает особое влияние, какое могут и должны оказать на нижних чинов ваши, господа, с ними беседы. Займитесь этим. Бывает, что в полках попадаются офицеры пьяницы, взяточники и прочее подобное. У меня в полку, я знаю, таких нет. За поведением офицера нижние чины следят в сотни глаз. Он должен быть чист, как стекло. Боже избави,

если офицер проявит хотя бы малейшие признаки трусости в бою,— тогда все погибло! Имейте в виду, что солдаты пишут письма с фронта домой, но домой к ним попадают далеко не все письма, потому что существует военная цензура. Это вы знаете, конечно. Куда же деваются задержанные письма? Отправляются в штабы войск. Задержанные письма и породили приказ, о котором я вам говорю. Итак, вам вменяется в обязанность разъяснять нижним чинам задачи и цели настоящей войны... Конечно, не так разъяснять, как это принято у крайних политических партий,— почти весело добавил Ковалевский, скользнув глазами по лицам Аксютина, Кароли и Ливенцева, которые сидели на подоконнике рядом.

Эта веселость не оставила его, когда он заговорил и о другом приказе.

— Другой приказ касается тех же нижних чинов, но только уж не со стороны их духа, а... тела. Проще говоря, это приказ о порке розгами, которую имеют право применять командиры полков и частей, находящихся в отделе. Двадцать пять ударов имеет право назначать командир полка, пятьдесят — командир бригады. Но... я вполне уверен, конечно, что к этой мере мне прибегать не придется.

— Да и откуда взять розги, если деревьев поблизости нет? — сказал, подняв брови, Аксютин.

В ответ на это несколько вольнодумное замечание Ковалевский снисходительно качнул головой, улыбнувшись одними глазами.

Когда командиры рот третьего батальона выходили из халупы вместе, Кароли говорил другим:

— Ну нет, это уж мерси покорно, чтобы я стал беседовать со своей ротой насчет задач и целей войны! Тоже наивность каких-то героев времен Очакова и покоренья Крыма!.. Я уж учен,— вздумал как-то, еще в Севастополе, об этом спрашивать своих — мне один и брякнул: «Так что, ваше благородие, задача наша состоит защищать капиталистов и буржуев, чтобы с ними никаких происшедствиев не случилось!..» Эти генералы Ивановы родились и учились при крепостном еще праве и думают, что солдат русский находится все под тем же градусом широты и долготы. Поговорил бы он с солдатами сам, а я бы послушал. Вот была бы оперетка Оффенбаха,— накажи меня бог!

— Говорить с солдатами — это еще не так страшно,— заметил Аксютин,— а вот если начнут сечь их, это будет пострашнее!

— Должно быть, думают, что война скоро окончится, поэтому к финишу и вздумали идти в хлыстах,— сказал Ливенцев.— Но мне не понравилось, что Ковалевский потерял дар слова, ему присущий, когда начал говорить о позициях австрийцев. Кажется, он нам передал далеко не все, что ему сказал полковник Фешин. Не наткнемся ли мы тут на такие позиции, что и черт зубы сломает?

— Я тоже обратил на это внимание,— озадаченный у него был вид: таким мне его не приходилось видеть,— согласился Аксютин.

— Ergo [1], дела наши не хвали... Вот тебе и внезапность. Пока мы австрийцам готовили свою внезапность, они нам, может быть, приготовили второй Верден, а? — остановился и поглядел ошеломленно на Ливенцева и Аксютина Кароли.— Вот тебе и обрадовались Галиции, так что Струков даже креститься начал,— в печенку, в селезенку, в корень! Пока мы своих солдат пороть соберемся, австрийцы, кажется, нас всех выпорют, как миленьких.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ливенцев написал два письма — матери и Наталье Сергеевне — и сдал их на полевую почту. Старухе матери он писал, что если на днях он будет ранен или, паче чаяния, убит, то об этом она узнает в первом случае — из его нового письма, во втором — из газет, которые время от времени помещают списки убитых, или от сослуживцев, которым он оставляет ее адрес. И он действительно оставил на всякий случай адрес своей матери Малинке и Значкову.

Письмо к матери было недлинное, и писалось оно привычно. Несколько труднее оказалось написать Наталье Сергеевне. Он облегчил себе это дело только тогда, когда решил, что все письмо к ней должно быть сплошным «возвышающим обманом», к какому прибегают, например, честные сами по себе люди — врачи у постели неизлечимо больных.

[1] Следовательно *(лат.)*.

И он писал, что Галиция — прекрасная, вполне благоустроенная страна, что боевых действий в ближайшее время не предвидится; что окопы, в которых они будут жить, имеют комфортабельный вид; что снабжены они всем прекрасно; что он здесь еще сильнее любит ее голубые глаза и спелый подсолнечник ее волос; что он, третий прапорщик, целовавший ее античные руки в Херсоне, целует их еще крепче теперь; что он мечтает получить от нее несколько теплых строк; что писать ему нужно по такому-то адресу.

Говорить о задачах и целях войны со своими солдатами теперь, когда они пришли уже к последней метѐ, он так же, как и Кароли, считал совершенно излишним. Он твердо решил, что теперь нужно только приказывать, имея в виду, что бой,— первый бой в жизни полка,— уже совсем недалек. И на вечерней поверке, насколько мог строже, он приказал им всем переменить белье, а грязное постараться вымыть и высушить, потому что этого им не придется сделать в окопах.

— И еще, ребята, большой важности дело надо вам сделать, когда доставят нам солому: сплести маты для подстилки. Как их плести, вы знаете, но вот что может случиться,— что и солома у нас будет, а шпа-га-та нам не успеют доставить вовремя. Поэтому каждому из вас надо позаботиться хотя бы о том, чтобы достать у местных жителей ненужные им, бросовые куски веревки, бечевки, шпагата, а в крайнем случае — суровых ниток, чтобы сплести маты хотя бы на первое время... поняли?

— Так точно, поняли! — гаркнули солдаты.

Скомандовав после поверки своей роте: «Разойдись по квартирам!» — Ливенцев пошел и сам в хату, где, кроме него, разместилось человек двенадцать офицеров, но по дороге между патронных двуколок разглядел массивную фигуру Вани Сыромолотова, услышал его рокот и подошел к нему:

— Каким государственной важности делом вы тут заняты, наш дорогой адъютант?

— А вот придумайте способ придвинуть к позициям солому и лес... если их найдут, конечно, где-нибудь в нужном количестве? — загудел Ваня.— Наш обоз второго разряда остался в селе Майданах. Приходится взять несколько двуколок патронных и пулеметных.

— Ну, много ли на них привезешь соломы и бревен? Больше смеха, чем дела.

— Хоть что-нибудь... А больше ведь никаких транспортных средств нет у нас. Конечно, помощь скромная, и придется несчастным нижним чинам тащить все на руках.

— Как? Бревна тащить на руках? Пятнадцать верст тащить по такой грязи? — больше испугался, чем удивился Ливенцев.

— А что же делать, когда больше нечего делать?

— Ковалевский что-нибудь другое придумает, подождите... Он сейчас где?

— Приказ Ковалевского я и исполняю,— инициатива тут не моя. А он сам сейчас в штабе дивизии на совещании командиров полков.

— Он, кажется, что-то нервничает? — осторожно и вполголоса спросил Ливенцев.

— Очень,— также вполголоса ответил Ваня.— Ведь, по его словам, выходит, что к атаке мы совершенно не готовы, а между тем...

— Что между тем? Говорите,— мы свои люди.

— Атака назначена через три дня,— на ухо ему прошептал Ваня.— Все время только гнались за внезапностью, а от этой внезапности может выиграть только противник, раз у нас ничего как следует не готово.

— Что же намерен делать Ковалевский?

— Пока он рвет и мечет. Можно вообразить, что он там говорит, на совещании! Прежде всего ведь надо перебросить через речку Ольховец двуколки, кухни, артиллерию, а как, когда там тридцать сажен топи? Ведь бревна мы готовим не на окопы, а все на ту же переправу через Ольховец. На окопы бревна тратить,— это для нас мотовство, роскошь. Тут хотя бы через топь перебраться без особых потерь на глазах у противника.

— А разве понтонов нам не могут дать?

— Куда там понтоны! Они есть в корпусе, только их берегут для реки Стрыпы, а до Стрыпы поди-ка, сначала допрыгай.

— Так что не лишено вероятия, что командиры полков на совещании у начдива придут к решению — в наступление ни в коем случае не идти, пока...

Ваня не дал Ливенцеву закончить его соображения,— слегка ударил его по спине ладонью и отошел.

Между тем совещание в штабе дивизии было действительно бурным, о чем Ливенцев узнал на другой же день.

«При таких условиях в наступление идти совершенно немыслимо!» — раздавались на совещании бунтарские

слова; и говорил их не кто иной, как полковник Ковалевский, ссылаясь на фешинскую разведку, на отсутствие дорог в тылу, на распутицу.

Он говорил:

— Для меня совершенно ясна мысль этой зимней операции. Взят участок фронта наиболее топкий, но нельзя же, чтобы он был до того топкий, что даже непроходим! Взят участок фронта с наименее активным противником, но вот, по данным рекогносцировки, мы видим, что этот наименее активный противник оказался очень активен! Мало того, что позиции выбраны им чрезвычайно умно, они еще и укреплены чрезвычайно сильно. Надежды на тяжелую артиллерию? У меня они тоже были. Но они рассеялись во время марша от станции Ярмолинцы. Базировать всю зимнюю операцию большого масштаба на станцию в пяти дневных переходах от фронта, что же это такое, как не чрезвычайное легкомыслие? Мы терпели неудачу за неудачей на германском фронте почему? Потому что германцы вводили в дело набранные в тылу большие силы на том или ином небольшом участке нашего фронта и неизменно прорывали наш фронт. Мы затеяли сделать то же самое, мы собрали большую свежую армию и готовимся бросить ее на прорыв. Но у германцев сзади их фронта прекрасно развитая сеть железных и шоссейных дорог! Но за германской тяжелой артиллерией на десятки верст тянутся непрерывно один за другим грузовики со снарядами, а у нас что? Разве мы не видели, какая пробка образовалась даже на той же несчастной станции Ярмолинцы? Стоят вагоны со снарядами несколько дней,— только вдумайтесь в это — несколько дней! — и их не в состоянии разгрузить. Мы начнем наступление, и как раз в тот момент, когда нам до зарезу нужна будет поддержка тяжелых пушек и гаубиц, они будут молчать, а снаряды для них будут лежать на станции Ярмолинцы или в лучшем случае в Городке, когда туда дотянут, наконец, ширококолейку, но их не будет на фронте. И нам придется посылать пехоту, делать совершенно невозможное, то есть, попросту, заведомо губить полки, чтобы в сотый раз доказать всем уже известное, что пехота позиций с неповрежденной проволокой в несколько рядов взять не может. Вот для этого только, значит, мы затрачивали столько энергии на обучение своих людей, для этого создали прекраснейший боевой материал из ополчения, чтобы бросить его просто

в грязь, как мусор?.. Когда германцы заняли Вильну, они не пошли дальше ввиду наступавшей зимы и перед Вильной устроили окопы, но чем и как? Окопной машиной. Проходила машина, а за ней оставался след в виде окопа глубиною в сажень. И окопы эти тут же бетонировались и накрывались. Мы же должны заставлять своих прекрасных солдат рыть окопы саперными лопатками в такой раскисшей земле, которая плывет и сплывается и будет их засасывать, а мы не имеем даже дерева, чтобы укрепить стенки окопов, не говоря уже о бетоне! Нужно же было иметь хоть сколько-нибудь воображения, воображения, да, чтобы представить, как можно провести подобную операцию на деле, а не только соображение о том, какой она вызовет эффект в Румынии! В результате так плохо подготовленной операции эффект может быть только один — отрицательный, и хитроумная красавица эта, от которой в боевом отношении ждать серьезной помощи очень наивно,— упадет в объятия того же Вильгельма, как и Болгария!..

Пока Ковалевский говорил это, семеро его слушателей разнообразно крутили усы или утюжили бороды. У каждого из них была своя, большая или меньшая, оторопь от всего того, что они видели кругом, но оторопь эта была не совсем ясной, расплывчатой; после слов Ковалевского она принимала определенные очертания, однако до того нежелательные, что генерал Котович сказал, подняв бороду к носу:

— Нельзя так мрачно смотреть на вещи, нельзя!.. Вы очень сгущаете, сгущаете краски, Константин Петрович! Очень! Так нельзя!

Это был добрый благообразный старец. Когда-то в ранней молодости он во время русско-турецкой войны провел месяца три в Бухаресте. Прекрасные воспоминания сохранились у него об этом веселом городе. Между тем ведь тогда тоже была тяжелая война: Шипка, Плевна, Осман-паша... Сколько было поражений, сколько потерь, однако кончилось благополучно. Он считал, что у него тоже есть военный опыт. Наконец, и в полевом уставе предусматривается случай, когда нам может быть тяжело, но...

— Врагу нашему тоже нелегко будет, когда мы засыпем его тяжелыми снарядами, и вы увидите, как это все обернется на деле, а не в теории. Теория всегда бывает прямолинейна, вот именно прямолинейна, а практика всю эту прямолинейность нивелирует: там уголок

отрежет, здесь отрежет,— смотришь, и вышло именно так, как надо.

— Теория всегда прямолинейна, совершенно верно,— подхватил Ковалевский,— но разве это ваше замечание относится ко мне? Разве я сочинял оперативный план? Я ведь не сижу уже в штабе, я не теоретик больше, я практик, и я всячески постараюсь, конечно, содействовать... выполнению даже и такого плана, если переменить его нельзя, потому что он не сулит удачи... Но я хотел бы одного,— прошу не понять меня превратно,— чтобы в план этот были внесены существенные поправки.

— О каких поправках мы можем подымать вопрос,— не понимаю,— удивился полковник Палей, начальник штаба дивизии, тоже генштабист, низенький, плотный, чернобородый полтавец.— Хорош или нет план, но ведь расчет делался только на тяжелую артиллерию и внезапность.

Матерый здоровяк Фешин поглядел на него прищурясь и сказал веско:

— Эх, уж эта внезапность! Фантазия. Штабная наивность... Неужели кто-нибудь серьезно может рассчитывать на то положение,— явно нелепое,— что противник не знает о приходе на фронт целой армии, чуть не в двести тысяч? За круглых идиотов, что ли, считают австрийцев? Да у них шпионаж поставлен на пять с плюсом!

— Я не отрицаю, что австрийцы могут знать, что пришло подкрепление...

— Хорошо подкрепление,— целая армия! Тоже иголочка в возу сена!

— Но они не знают, что наступление назначено через три дня,— закончил Палей.

— Узнают. Сразу узнают, как начнут их обкладывать ураганным огнем,— вставил Ковалевский.

Фешин же добавил:

— А раньше незачем им и беспокоиться: их позиции неприступны.

— Но ведь пока что это только ваше личное, притом единственное, мнение, что они неприступны, Семен Афанасьевич,— мягко заметил Котович.— Мнение же штаба фронта совсем иное.

— Да, иное, иное мнение! И этот вопрос — приступны, неприступны — мы оставим совсем. Он для нас лишний,— очень решительно выступил вдруг Баснин

и даже стукнул толстой ладонью о ребро стола и усиленно замигал выкаченным черным маслянистым правым глазом.— Наша задача — эти позиции взять и наступать дальше, в долину Стрыпы!

Ковалевскому никогда раньше не случалось видеть этого грузного, ожирелого старика таким воинственным, но он непритворно испугался, когда старик, запинаясь от охватившего его азарта, вдруг обратился к Котовичу:

— Прошу передать руководство... общее руководство... всей артиллерией дивизии... мне!

— Вот наконец-то разговор наш ставится на деловую почву,— заметно обрадовался Котович.— Конечно, безусловно, артиллерия вся должна быть в одних руках.— И он даже выставил вперед руки, сжал их в кулаки и притянул их к своей тощей, впалой груди, будто взял вожжи.

— Ка-ак в одних руках? Весь тяжелый дивизион? — ожесточенно поглядел на него Ковалевский.

— А где, кстати, командир дивизиона? Или вы его не приглашали на совещание, ваше превосходительство? — спросил Фешин.

— Нет, он получил приглашение, но только... он ведь старый человек, этот полковник Герасимов. Он прислал рапорт, что его всего разломало с дороги, лежит и припарки делает, хе-хе!.. Да он по существу нам теперь и не нужен! Куда ему прикажут поставить орудия, туда и поставит... Я поручаю это всецело Петру Лаврентьевичу,— любезно дотянулся благообразный Котович до жирной спины Баснина, который в ответ на это качнул своей бульдожьей головой и внушительно кашлянул.

Два других командира полков сидели все время молча и курили, прикуривая папиросы один у другого. Прямого касательства к ним совещание не имело, так как полк одного назначался в дивизионный резерв, полк другого — в резерв корпуса.

— Поскольку я представляю себе сущность предстоящей нам атаки,— сдерживаясь с видимым трудом, заговорил Ковалевский,— когда двум атакующим полкам указаны определенные участки фронта, мне кажется неопровержимо логичным разбить всю нашу тяжелую артиллерию между атакующими полками и подчинить одну ее часть Семену Афанасьевичу, другую — мне! Притом разбить на две неравные части — по важности задачи, какая выпадает на долю каждого полка. Вот мое мнение! Раз я ответственен за результат боя на

своем участке атаки, я должен иметь в своем подчинении и орудия. Вот мое мнение. А если по-доз-ре-вается, что я не в состоянии управиться с артиллерией, какая мне будет отведена, то...

— Никто таких подозрений не высказал, что вы, Константин Петрович! — всплеснул руками начальник дивизии.

— Тогда зачем же мне дают няньку?

— Прошу... э-э... выбирать выражения! — тяжело глянул на Ковалевского Баснин.

— Не надо горячиться, да, преждевременно горячиться зачем? — примирительно сказал, поморщась, Котович, а Палей добавил:

— Мортиры именно так и поделены, как вы говорите, Константин Петрович: четыре на ваш участок, восемь на участок Семена Афанасьевича.

— Ка-ак так? На мой участок... где высота триста семьдесят... И только четыре мортиры? — как ужаленный вскочил Ковалевский; Фешин же скромно рассматривал заусеницы на своих ногтях и молчал.— Высота эта — ключ ко всем позициям австрийским, насколько я умею читать карты,— ко всем позициям на участке нашего корпуса, и только четыре мортиры? И почему же Семену Афанасьевичу восемь мортир, когда его задача всего-навсего занять одну деревню? Деревню Пиляву взять? Дайте мне этот участок, я его возьму с налета, и никакой тяжелой артиллерии мне не надо. Для такой пустячной задачи!

— Ого! Пустячной! Жаль, что не вы делали рекогносцировку,— зло заметил Фешин.

— Очень жаль, очень жаль, что не я! Сколько может быть австрийцев в этой Пиляве? Сторожевой отряд?.. Не больше роты? Пусть они там хотя каждую хату защищают...

— Дело совсем не в этом,— перебил Фешин.— Соображения за то, чтобы восемь мортир на моем участке сосредоточить, базировались вот на чем: Ольховец для мортир непроходим, а ваш участок за Ольховцем. Вы и четырех мортир туда не перетянете, куда же вам все двенадцать? У меня же на участке они могут спокойно разместиться и действовать сообразно обстоятельствам. Почему вы думаете, что они не подготовят вам вашей атаки на высоту триста семьдесят? Укрепления же около Пилявы надо видеть, чтобы не говорить, что пустячное дело — взять эту деревню...

Тут Фешин пустился в большие подробности касательно силы и сложности укреплений, возведенных будто бы около Пилявы; Ковалевскому же было ясно, что это одно лишь наигранное красноречие опытного командира полка, не желавшего брать на себя явно рискованной задачи с высотою триста семьдесят и заранее уступившего ее в штабе дивизии своему товарищу-генштабисту.

Спор между ними разгорелся. В спор этот вмешались и молчаливые командиры двух других полков, и Баснин, и даже совсем уже полубезжизненный лысый старичок с одышкой, генерал-майор Лядов, командир другой бригады. Фешин заявлял, между прочим, что люди его полка съели уже носимый запас сухарей, ввиду малых порций хлеба; что если не подвезут в ближайшие дни хлеба и мяса, а также перевязочных средств, то наступление вообще немыслимо. Разгоряченный спором, он даже написал на листке, выдранном из своей полевой книжки, рапорт начальнику дивизии: «Оборудование линии развертывания и перевязочных пунктов при отсутствии перевязочных средств невозможно. В этом, как и во всем другом, ярко сказывается полное отсутствие какой-либо подготовки операции со стороны тыла. Я не знаю, что предпринимается свыше, но категорически утверждаю, что голодные и обледенелые люди не могут дать того максимума работы, который я в силу поставленной мне задачи от них потребую!»

Может быть, ввиду именно такого отчаянного рапорта восемь мортир из дивизиона так и остались за Фешиным, сколько ни пытался их отбить у него Ковалевский.

На совещании этом выяснилось, между прочим, что на участок второго корпуса, рядом с которым приходилась дивизия, исключительно для съемок позиций австрийцев было прислано пять самолетов, но два из них уже разбились при посадке; что для устройства переправы через Ольховец штаб дивизии уже начал искать, но никак не может найти ни одного саперного офицера; что корпусный инженер хотя и существует, но засел где-то в глубоком тылу, пьет и играет в карты, и выцарапать его из тыла на фронт невозможно; что понтонов для переправы через Ольховец штаб корпуса и после повторных и настойчивых просьб не дает, советуя обойтись местными средствами; что хотя для корректирования орудийного огня и была передана в распоряжение штаба дивизии воздушная рота в несколько змейковых

аппаратов, но в ближайшие дни аэростаты подниматься не могли, так как поломались колеса и шестерни у лебедки...

План наступления все-таки был на этом совещании намечен, но Ковалевский, поздно вернувшийся в штаб полка, находил его настолько трудно выполнимым, что не спал сам и не давал спать своему адъютанту часов до двух ночи,— пил чай с коньяком и ругался не менее витиевато, чем Кароли.

А через три дня, после обеда, он приказал полку, пользуясь густым туманом, перейти к хате на Мазурах, всего верст за семь от фронта, куда должны были ранее отправленными ротами свозиться добытые из разнесенных фольварков лес и солома.

Неуклонно исполняя приказ, размешивая сырой и мягкий снег в грязную жижу, негромко, но деловито на ходу ругаясь, по-детски доверчивый к своей судьбе, приближался полк к своей голгофе.

Ввиду того, что на другой день не предполагалось варить обеда, приказано было мясные порции не есть, а положить их в вещевые мешки вместе с хлебом. Приказом по седьмой армии ранним утром назначена была атака австрийских позиций.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На высоте Мазуры от бывшей здесь деревни галичан уцелела всего только одна халупа; остальные были наполовину разрушены австрийскими снарядами, потом разобраны на дрова в окопы. Около этой-то халупы на соломе, сваленной прямо в грязь, и на кучах жердей, приготовленных для починки гати через Ольховец, расположился на привал полк.

Так как наступление назначено было на два часа ночи и подниматься для этого надобно было в час, а в час могло быть отнюдь не светлее, чем теперь в десять, то о сне никто и не думал, хотя после утомительной прогулки в десять верст по топкой черноземной пахоте всем просто животно хотелось спать. Солдаты шутили, ложась на солому и жерди:

— Эх, и постеля ж добра для последнего разу!.. А как австрияков почнем гнать, тогда уж и такой не будет.

Не все до дна в этой и подобных шутках звучало как горькая насмешка над тем, что их ожидало. Если

бы человек не надеялся на лучшее, он не был бы человеком.

Поодаль от людей, тесно связанные с ними общей судьбой, фыркали в сырой темноте лошади обоза, пулеметных и патронных двуколок, походных кухонь. В кухнях кипятили воду для чаю, но разводить костры, чтобы погреться, было строго воспрещено Ковалевским. Он запретил даже и курить, чтобы случайно не подожгли солому, но не курить крученок оказалось выше человеческих сил,— и повсюду на привале вспыхивали, как волчьи глаза в лесу, огоньки зажигалок.

Сам Ковалевский со своим штабом и связистами занял единственную комнату халупы, поставив в угол походную койку и маленький столик, на котором горела свечка в бутылке из-под рома. В двух окошках хаты уцелело только четыре стекла, остальные восемь были кое-как заткнуты соломенными жгутами.

Наладив связь со штабом своей дивизии, телефонисты пропускали провод через разбитое стекло окна, связываясь теперь со штабом соседнего полка справа, полка другой кадровой дивизии, другого корпуса. Ковалевскому дано было знать, что этот полк будет наступать в одно время с его полком и в том же направлении, несколько правее его полка.

Со штабом этого полка ему хотелось договориться о подробностях наступления, чтобы не было разброда сил и разнобоя действий, и когда связь была, наконец, налажена, Ковалевский тут же припал к трубке телефона.

— Говорит полковник Ковалевский... В какое время снимаетесь для наступления? С точностью до одной минуты, чтобы я мог сделать расчет...

Ответ пришел совсем неожиданный:

— Выступаем в половине шестого.

— Ка-ак в половине шестого? — подскочил Ковалевский.— Я не ослышался? В половине шестого? Вот тебе раз! А где же внезапность, на которую мы все время били?.. В половине шестого будет уже светать, и мы понесем большие потери... Чье это приказание?

Ему ответили, что так приказал командир второго корпуса Флуг.

Ковалевский позвонил в штаб своей дивизии генералу Котовичу и начал с обычного бесстрастного «доношу, что...», но чем дальше говорил, тем больше впадал в раздражение:

— ...Час наступления отодвинут почему-то до половины шестого утра, но так как моему полку необходимо наступать на четыре версты в глубину, так как необходимо иметь время, чтобы окопаться, так как нужно как можно скорее занять артиллерийские позиции на западном берегу Ольховца и так как при этом ночном наступлении мы потеряем гораздо меньше людей, я не изменяю отданных мною приказаний и буду наступать в два часа!

Он ожидал, что Котович будет по обыкновению думать вслух и мямлить и в конце концов согласится с ним, но старец ответил неожиданно твердо:

— Вы должны согласоваться со своим соседом справа без всяких отговорок! Преждевременное выступление ваше буду считать преступлением!

Ковалевский сказал: «Слушаю, ваше превосходительство!», а когда бросил трубку, энергично добавил:

— Начинается абракадабра, черт бы их взял, дураков! — и выскочил из хаты наружу освежить голову, потому что застучало в висках.

Офицеры плотной толпой окружили его. Он сказал им:

— Наступление отложено до рассвета, господа. Я думаю, что нечего вам тут зря маяться. Прошу до моего шалашу. Заходите греться.

Когда втиснулось в комнату человек пятьдесят офицеров, сразу стало тяжко дышать и свеча в бутылке спустила свой язычок, но Ковалевский, войдя вслед за всеми, предложил если и не тоном приказа, но все-таки довольно сурово:

— Чтобы не тратить энергии зря, ложитесь и спите!

Ливенцев поглядел на него удивленно и спросил за всех:

— Где же и как ложиться?

— Вот тебе раз! Где и как? Вы теперь — накануне атаки, и лучше этого ночлега у вас, может быть, несколько дней не будет, а вы говорите: где и как! Тут сухо? Сухо. Тепло? Тепло. Чего же вам больше? Двуспальных кроватей?.. Ложитесь на пол и спите.

— Все не уляжемся.

— Как не уляжетесь? В два слоя не уляжетесь? Уляжетесь!

— В два слоя?

Пришлось Ковалевскому самому укладывать своих офицеров на ночлег в два слоя, причем головы верхних

пришлись на ногах нижних; грязные сапоги при этом насухо вытирали соломой. А когда все, наконец, улеглись, он сказал тем же тоном почти приказа:

— И прошу, господа, не думать о неудобствах и вообще ни о чем не думать, а спать!

Сам же он улегся на свою узенькую походную койку и закрыл глаза, но не спал.

За три дня, прошедшие после совещания в штабе дивизии, он не раз объехал верхом сам-друг то с поручиком Гнедых, то с подпрапорщиком Лукиным, то с Ваней Сыромолотовым тот участок фронта до Ольховца, по которому надобно было наступать полку. Он лично распоряжался работой одной из своих рот, гатившей коварную топь речки Ольховец и перекидывавшей через эту речку бревенчатый мост шириною в шесть солдатских шагов. Но очень упорно он разглядывал при этом не только загадочно молчавшие позиции австрийцев за Ольховцем на нескольких смежных высотах, но и деревню Петликовце, большую деревню, в которой вполне сохранилось много крытых черепицей домов, в которой располагалась, по данным разведки, только одна рота австрийского сторожевого охранения и которая начиналась всего на полверсты правее его участка атаки. Через нее должен был пройти, попутно выбив австрийскую роту, крайний батальон того самого кадрового полка из ударного корпуса Флуга, со штабом которого он только что говорил по телефону.

Среди все засосавшей кругом стихии грязи не раз за эти три дня рисовалась ему островом блаженных эта большая деревня, которая осталась как-то совсем в стороне от стремительных планов штабов — армии, корпуса, дивизии. Через нее требовалось только пройти наскоряx, чтобы неуклонно идти к главным целям атаки — укрепленным высотам, захватить которые штабы думали одним, внезапным для австрийцев порывом и на плечах у бегущего противника ворваться в густо заселенную долину Стрыпы.

Между тем стоило только ему несколько вправо двинуть передовые роты своего полка, охватить и занять Петликовце, а соседей своих только предупредить, что он ее займет, и вот у него весь полк под крышей, хотя бы на два дня, пока разовьется общее наступление и прочный успех, если суждено быть этому успеху.

Он очень живо ощущал доверие, которое питали к нему спавшие здесь и за стенами хаты в холодной

грязи на жиденькой соломенной подстилке три тысячи человек его полка. Доверие это надо было оправдать во что бы то ни стало, а для этого надо было, хотя и совершенно беззаконным путем, захватить Петликовце. От этого беззакония не только не страдало дело наступления, которое было ему дороже всего, но явно сберегалась боевая энергия его полка. Между тем никто ведь не будет его и спрашивать, почему и на основании чьего приказа он захватил деревню и устроил из нее себе опорный пункт.

У него явилась было мысль тут же предупредить соседний полк о своем решении, но когда он поглядел на прапорщика Шаповалова, дремавшего, скорчившись около телефона, то оставил ее до утра, чтобы не разбудить ни его, ни кого-либо из других офицеров. Перед жарким делом, которое ожидало их всех наутро, нужно было хоть сколько-нибудь поспать без помехи: может быть, далеко не один из них проснется в это утро в последний раз!

Сам он даже и не пытался заснуть. Он давно уже знал за собой этот великий недостаток военного: излишнюю нервность, но знал и то, что бороться с этим бесполезно, да и стоило ли бороться? Отними у него медицина эту нервность, не стал ли бы он тогда обыкновенным коптителем неба, хотя, может быть, это и выгоднее было бы для его службы. На командование полком напросился он сам; он мог бы спокойненько прозябать в штабах, получать очередные ордена и, наконец, генеральство, но командование полком в бою было его давнишней мечтою.

Еще совсем молодым штабс-капитаном участвовал он в войне с Японией, очень остро воспринимая все неудачи русской армии. Он был прирожденный военный, вышел из военной семьи, учился в корпусе. Стратегия была его любимой наукой. Историю войн с древнейших времен он знал прекрасно. При всем том наступавший день был первым днем в его жизни, когда все его ценные и большие знания должны были дать успех делу наступления целой дивизии, так как полк его был ударным полком.

Когда человеку не спится, время тянется досадно медленно, но не спавший Ковалевский так был весь поглощен игрою всяких представлявшихся ему возможностей утренней переправы через Ольховец, боя за деревню, выбором позиций для легкой батареи и наблюда-

тельных пунктов, разметкой местности для рытья окопов, размещением в Петликовце обоза,— всею массой крупных и мелких вопросов, связанных с жизнью полка, что не заметил, как подошло к четырем часам утра. Но когда он увидел на своих часах, что стрелки стали на четыре, он вскочил и начал расталкивать спавших. Духота ли в избе так одурманила, но улегшиеся в два слоя офицеры спали; спал даже и Ливенцев, и когда он поднялся, ворочая затекшей шеей, зевая и еле соображая, где он и как попал в такую кромешную тесноту, Ковалевский сказал ему весело:

— Ну вот, я очень доволен, что вы поспали! Третий батальон пойдет в авангарде полка, а ваша рота — в авангарде батальона. Имейте это обстоятельство в виду, а пока давайте выйдем все на свежий воздух, проветрим хату.

Тем временем вернулся пеший дозор, в котором вместе с другими был и Васька Котов. Дозор донес, что переправа через Ольховец австрийцами не наблюдается, а застава их стоит около села Петликовце.

— Ну вот, это хорошо, что не наблюдается,— значит, есть надежда переправиться без потерь! — сразу повеселел Ковалевский и даже хлопнул по плечу Ваську.— Ну как, Василий, не трусишь?

— Ну вот еще! — лихо подбросил голову усталый и весь заляпанный грязью Васька.

— А Демка где? — вспомнил Ковалевский.

— Я здесь! — отозвался Демка, выступив из темноты перед окошком, от которого сочился жиденький желтенький свет.— Я прямо в бой пойду, ваше высокобродие!

— Погоди, успеешь... Прапорщик Ливенцев! Где прапорщик Ливенцев?

Ливенцев подошел.

— Выделяйте взвод при офицере для прикрытия работ на переправе. Взвод должен переправиться сам на другой берег и оцепить переправу, чтобы... ну, понимаете, или нужно объяснять детально?

— Понимаю, господин полковник,— ответил Ливенцев, довольно ясно представив, зачем понадобился взвод, и уже назначив про себя для этого четвертый взвод с небольшим по росту, но бойким и боевым подпрапорщиком Котылевым. Вторым взводом командовал тоже боевой подпрапорщик — Кравченко, но он казался ему менее надежным.

А Ковалевский, только узнав, есть ли кипяток для чая в походных кухнях, пошел говорить по телефону с соседним полком насчет деревни Петликовце. Как он и думал, там этой деревне не придавали никакого значения, потому что целились гораздо дальше, а в штабе дивизии согласились с ним после первых же слов, что захватить ее и удержать за собою было бы совсем не плохо.

Поэтому с большим подъемом, будто деревня эта уже взята его полком и без малейших потерь, Ковалевский обратился к собранным им снова в хату офицерам:

— Господа! Дарданелльская операция не удалась гораздо более сильным техническим армиям, чем наша, и Балканы сплошь заняты германцами, но, по моему скромному разумению, ключи от нашего дома совсем не там, где мы их думали найти,— не в Босфоре и не в Дарданеллах. Ключи от нашего дома, господа, зарыты здесь, в Галиции! Здесь именно их и надо искать. Мы победим, это несомненно. Но, господа, извольте выслушать несколько моих — не советов, нет — приказаний. Сегодня, в первый день наступления, мы займем деревню Петликовце и построим за нею линию окопов, но не ближе как в тысяче шагах,— слышите? Приказ мой передать всем подведомственным вам нижним чинам: не зарываться! Ближе тысячи шагов к австрийской проволоке не подходить!.. Прошу не думать легкомысленно, по-штатски,— что без артиллерийской подготовки можно взять с налета, на «ура», одними штыками укрепления такой силы. А наша тяжелая должна еще развернуться, найти для себя позиции, наблюдательные пункты, подвезти снаряды,— это не так просто, на это уйдет весь завтрашний день. Атака высот может быть назначена или завтра или даже послезавтра, потому что бить надо наверняка, объявлять игру только с очень хорошими картами, чтобы не ремизиться. А в штабах у нас, господа, сидят опытные люди,— это знайте... Итак, сначала выступает третий батальон, в версте за ним — второй, в версте за вторым — первый. Впереди третьего батальона десятая рота, за ней одиннадцатая. Направление обеих рот на Петликовце... Таким образом расположите движение...

Тут же, на листочке графленой бумаги, он начал на память чертить план местности на той стороне Ольховца и деревни. А когда кончил чертить и объяснять

и спросил Ливенцева и Аксютина, ясна ли им их задача, то Ливенцев ответил:

— На бумаге как нельзя более ясна, господин полковник!

Аксютин же добавил:

— Вопрос только в том, как нас встретит австрийская рота.

Но тут Ковалевский откинул голову и почти выкрикнул:

— Невзирая на потери,— идти вперед! О занятии деревни донести немедленно мне!

И, выждав несколько моментов, он стремительно притянул к себе Ливенцева и ткнулся сухими губами в его подбородок; потом также Аксютина, Кароли, Урфалова, капитана Струкова. На остальных же не хватило уже порыва,— остальным он только крепко пожал руки. Когда же он совсем по-петровски или по-суворовски очень торжественно сказал: «С богом, господа!» — все поняли, что надо выйти из халупы, не мешкая ни секунды.

А около походных кухонь уже толпились, сморкаясь и откашливаясь, солдаты с манерками за «кипяточком». У большинства совсем не было чаю, нечего было заваривать в манерках, глотали вприкуску кипяток, чтобы согреться после сна на соломе в декабрьской грязи.

Ливенцев посылал Котылева со взводом охранять переправу. Ему казалось неловким Котылеву, который за боевые отличия сделан подпрапорщиком из унтеров, разъяснять тут же длинно и обстоятельно. Но Котылев спросил сам:

— А во скольких шагах примерно от переправы нам рассыпаться в цепь?

— Шагах...— Ливенцев подумал и ответил решительно: — в тысяче. Однако не в редкую цепь и в одном только направлении на деревню. Кто там был сейчас из разведчиков? Надо взять кого-нибудь провожатым.

— И как же нам там — дожидаться, пока не сменят?

— Как только мы перейдем, остальные три взвода присоединятся к нам и идти вместе на деревню.

— Будем деревню брать? Разве наша рота в авангарде, Николай Иваныч?

— Именно наша.

Котылев пожал широкими плечами и отошел собирать свой взвод, а Ливенцев спросил Аксютина:

— Что это значит, что Ковалевский вздумал челомкаться с нами? Как полагаете?

— Что значит? Гм, по-моему, вполне ясно. Обрек нас на пропятие, как Иуда.

— Ну, это вы все-таки мрачно... Просто, может быть, для начала дела... Требование момента, так сказать.

Но Аксютин пробурчал еще мрачнее:

— Вот мы увидим, что это будет за начало дела.

Кароли, так же как и Котылеву, казалось непонятным, почему это вдруг третий батальон назначается в авангард полка, и он говорил Ливенцеву и Аксютину:

— Это мы с Урфаловым страдаем за ваше вольнодумство, господа прапорщики! Так всегда бывает, так и в старину бывало: кого хотят поскорее угробить, того и посылают,— в печенку, в селезенку,— в авангард! Специально для того, чтобы поскорей его хлопнули!

— Ну, вы тоже хватили! Значит, генерал Котович хочет поскорее отделаться от Ковалевского, раз его полк назначен ударным? — спросил его Ливенцев.

Но Кароли взял его за локоть и спросил в свою очередь:

— А вы крепко уверены, что не хочет именно этого?

Урфалов же, который держался всегда поближе к капитану Струкову, как первый кандидат на командование батальоном в случае его смерти, только вздыхал и бормотал неопределенно:

— Пути начальства,— говорится в Священном писании,— неисповедимы. Может, оно уж нам всем представление к наградам пишет, почем мы знаем?

Перемещавшаяся медленно и низко между быстро мчавшихся с запада на восток клочковатых туч луна была уже сильно на ущербе — последняя четверть,— все-таки ночь не казалась совершенно темной. И при свете этой ущербленной луны Ливенцев разглядел около себя узкое лицо Демки.

— Ваше благородие,— вполголоса и просительно говорил Демка.— Ваша десятая рота идет в бой сейчас? Я с вами пойду!

— Э-э, ты...— поморщился Ливенцев.— Ты бы уж лучше с пулеметной командой, Демка.

— А пулеметная же команда как? Она же с вами тоже идет, вам в затылок. Я от пулеметной разве отстану?

— А ты почем знаешь, что пулеметная идет?

— Сейчас капитан Струков Вощилина подзывал, говорил: «Поезжайте за десятой».

В полку было четыре пулемета кольта, шесть австрийских и восемь максима. У прапорщика Вощилина — кольты.

— Это хорошо, что кольты с нами... А ты, Дема, Дема,— сидел бы дома... Но так и быть, иди уж со мной, авось ты целее будешь.

— Слушаю,— радостно выдохнул Демка, державший, как заправский солдат, винтовку на носке сапога прикладом, чтобы не запачкать его грязью.

Ливенцев, конечно, не сомневался в том, что Ковалевский отнюдь не хотел его скорой смерти,— он всегда и неизменно хорошо к нему относился. Тем менее понимал он, почему именно его рота назначалась для первого боевого дела полка. Если даже считать, что это назначение было особенно почетным, то Ливенцев знал, что другие роты, как первая, пятая, которыми командовали кадровики-поручики, были в большем почете у Ковалевского.

Он терялся в догадках, но задумываться над этим долго не приходилось; нужно было поскорее выпить хотя бы один стакан чаю и собирать людей: выступление назначено было ровно в половине шестого.

Проходя мимо выстроенных вздвоенными рядами трех своих взводов и проверяя, у всех ли есть обоймы в подсумках, он говорил, успокаивая больше себя, чем их:

— Это, братцы, не бой, на что мы идем, а сущие пустяки,— перестрелка... В деревне — выяснили наши разведчики — всего-навсего одна австрийская рота, и та из галичан... Они ретиво защищать деревню не будут, а при первых же выстрелах побегут или сдадутся. Куда им там защищаться, когда идет против них целый полк! А у нас зато будут теплые квартиры, как в селе Звинячь. А теплые квартиры по такой погоде — это гораздо лучше, чем в грязи валяться, как сегодня валялись... Теперь квартиры — это дело большое!

— Дозвольте узнать, ваше благородие, так и будем всю зиму стоять в этой деревне? — спросил Лекаренко.

— А это уж дело покажет... Лучше бы было, если бы только несколько дней. Дальше, на реке Стрыпе, на Стрыпе,— река такая,— куда получше этой деревни есть. Если туда пробьемся,— будет наше дело в шляпе. Армия же у нас не кот наплакал... Пробьемся!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До переправы через Ольховец дошли, как обыкновенно ходили по смешанной со снегом галицийской грязи,— ночью. Когда же подходили к переправе, услышали винтовочные выстрелы на той стороне,— несколько, не больше десяти,— потом стихло. Думали, что это сцепились с австрийцами свои, четвертый взвод, но оказалось, разведчики соседнего Кадомского полка. Их встретили, когда они, возвращаясь, бойко прыгали по кочкам трясины несколько в стороне от переправы. Тогда начинало уже светать,— подходило к семи часам. Но в то же время наползал туман от Стрыпы, неся с собою мозглую, холодную сырость.

Однако боевой подпрапорщик Кравченко говорил весело Ливенцеву:

— О це добре! Нехай буде ще гуще! Мы их тоді на кроватях захватимо, де воні будуть з галичанками спаты!

Но переправа оказалась плохою, сколько в эту жадную топь ни запихивали хворосту, бревен, соломы. Люди проходили, конечно, хотя и оступались часто на скользких грязных бревнах, ныряя по колени; но пулеметные двуколки перетащить на другой берег было куда труднее. Лошади выбивались из сил, вязли выше колен и стремились ложиться. Пришлось их выпрягать и осторожно вести в поводу, а двуколки с пулеметами перетаскивать людской тягой.

Не дожидаясь, когда появятся на другом берегу Ольховца пулеметы, Ливенцев двинул роту вперед. За нею на дистанцию всего только взвода шла рота Аксютина. Котылев собрал уже своих, когда они подходили, но Ливенцев снова рассыпал их в цепь, приказав не кашлять, не лязгать винтовками о манерки,— соблюдать тишину, чтобы напасть внезапно.

И потом вышло почти так, как говорил опытный Кравченко. Когда из густого тумана стали уже показываться крупными кусками желтые черепичные крыши и широкие трубы на них, Ливенцев крикнул «ура» и увидел, как, дико визжа, метнулся вперед от него, неестественно втянув голову в поднятые плечи и неумело держа винтовку наперевес, Демка. Так как около него все бежало и кричало: «а-а-а!» разными голосами, и грязь летела комьями из-под ног, и впереди звонко хлопали выстрелы,— Ливенцев выхватил свой наган,—

старый наган, который купил еще во время японской войны,— и побежал вместе со всеми.

Стреляла австрийская застава, но когда цепи подошли к ней близко, она бежала так стремительно, что окружить ее не успели. Зная местность кругом деревни, она как-то непостижимо быстро исчезла, точно растворилась в тумане. Человек двадцать австрийских солдат, еще только выбиравшихся из домов, заслышав перестрелку и крики, тут же сдались. Ливенцев едва успел спросить их, какого они полка (оказались 20-го полка поляки и галичане), едва успел справиться, нет ли раненых в десятой роте (раненых оказалось только двое, и то легко, и их уже перевязывал ротный фельдшер), как к нему подошли, запыхавшись, Малинка и Значков, от которых умчались все более молодые и легконогие из их полурот, пустившиеся догонять бежавшую заставу.

— Что же это такое? Полная неразбериха? Куда же они к черту умчались? И чего вы смотрели? — кричал Ливенцев.— Команду свою надо держать в руках, а не так! Ведь они могут нарваться на засаду и погибнуть!

После этого окрика оба полуротных бросились догонять своих солдат, чтобы они не натворили сгоряча беды.

Но когда бегут по улице несколько человек, разве может вся улица, сколько бы ни было на ней народу, устоять на месте?.. Вслед за десятой ротой помчалась одиннадцатая,— только слышен был из тумана неистовый топот солдатских сапог и опять все тот же будоражащий воинственный крик: «рра-а-а-а-а!»

— Что же это за чепуха чертова получилась? — обратился к подошедшему Аксютину Ливенцев.— Нам надо догонять наши роты, вот бестолочь какая вышла!

— Догонять? Зачем догонять? Разве они сами не вернутся?— устало отозвался Аксютин с пожелтевшим и потным лицом.

— Могут и не вернуться, если под пулеметы попадут! — крикнул Ливенцев.

Он был совершенно подавлен таким глупым оборотом дела, начатого так удачно. И едва только показалась на улице стройно идущая девятая рота с Урфаловым впереди, как он передал ему пленных и своих двух раненых и кинулся туда, где в тумане уже затихали крики. Аксютин с самым серьезным лицом, делая широкие шаги, но сильно сутулясь, побежал за ним, оставив

Урфалова в некотором недоумении относительно того, что произошло в деревне Петликовце. Но, вспомнив, что Ковалевский требовал, чтобы ему немедленно донесли о занятии этой деревни, он послал в тыл к Ковалевскому одного из своих младших унтер-офицеров, что было уже излишним, потому что в это время, подпирая двенадцатую роту, к деревне подходил второй батальон, в голове которого ехал верхом на караковом картинно-красивом коне сам Ковалевский.

И капитан Струков знал, что командир полка близко, и, боясь разноса за то, что не поддержал резервными ротами двух своих авангардных рот, которые гонят и окружают где-то там впереди, в тумане, отряд австрийцев, он кричал Урфалову и Кароли:

— Чего вы стали? Чего вы стоите, не понимаю! Не стоять на месте баранами, а идти!.. Вперед!.. Форсированным маршем!

Еле успел Урфалов вытолкнуть из рядов нескольких человек стеречь пленных. Люди почти бежали на западную окраину деревни, вслед за ротами Ливенцева и Аксютина. Наконец, Струкова одолела одышка,— он остановился и слабо крикнул:

— Сто-ой!

— Ро-ты, сто-о-ой! — передали команду дальше.

Остановились как раз на выезде из деревни.

Тяжело дыша, красный от натуги, сняв шапку и вытирая ладонью потную лысину, Струков говорил с остановками оказавшемуся рядом Кароли:

— Должна тут быть... дальше где-то... высота эта самая... триста шестьдесят шесть метров... а?

— Есть, вот она — дальше... в печенку ее, черта... какая-то высота...— отзывался так же тяжело дышащий Кароли.

— А где же... там еще эта... по карте должна быть... деревня Хупала?

— Никакой решительно... Хупалы не видно.

— А наши роты?.. Куда они делись?

— Провалиться ведь не могли... а нигде не видно... Главное — не слышно.

— А туман что?.. Ведь он же ползет куда, или он... стоит?

— Ползет же... Конечно, ползет... Что же вы не видите, что ползет?

— Ну, а мы... когда такое дело... стоять будем.

— Вы бы все-таки, может быть, сели бы,— Кароли заметил, какой он стал теперь пергаментно бледный и как широко раскрывал поминутно рот.

Рядом был обломок каменной трубы: он подвел его к этому обломку.

Струков сел и забормотал обиженно о Ковалевском:

— Ведь мог бы, кажется... батальонным командирам-то... лошадей... Сам-то небось помоложе меня годами... а все время на лошади... а тут...

Роты стояли, заполнив улицу во всю ширину, не понимая, зачем их остановили, но вот сзади подскакало рысью несколько верховых: впереди Ковалевский, за ним поручик Гнедых и трое конных разведчиков.

Струков поднялся.

— Что, весь батальон здесь с вами? — спросил его Ковалевский.

— Только две роты... Девятая и двенадцатая... Остальные там, впереди.

— Где впереди? Где именно впереди?

— Где-то там, дальше.

— Вот это мило, «дальше где-то»! Как же вы их выпустили из рук?

Струков только развел руками, точно желая показать строгому командиру, что выпустить из рук две роты, когда их в руках целых четыре, нет ничего легче.

— Должно быть, они заняли уж теперь деревню Хупалу! — вскинул бинокль к глазам Ковалевский, а Кароли почтительно сказал:

— Может быть, в бинокль вы разглядите, где эта Хупала, а без бинокля ее не видно.

Продолжая смотреть в бинокль и прямо, и вправо, и влево и тоже ничего не видя, Ковалевский отозвался нетерпеливо:

— Ни черта!.. Но по крайней мере это ведь бесспорно высота с отметкой триста шестьдесят шесть, а?

— Мы и сами так думаем, но... Аллах ведает,— ответил за Струкова Кароли.

— Не аллах, а вы должны знать... Это триста шестьдесят шесть. Значит, роты наши где же? Лезут на эту высоту?

Ответа ему получить не пришлось. Как раз в это время сзади и справа, с севера, раздалась дружная и частая ружейная пальба.

Она длилась с минуту, может быть, две минуты,— и стихла сразу, точно по команде. Потом донесся гул голосов, и похожий и не похожий на «ура».

— Это что такое? Австрийцы? — изменился в лице Ковалевский.— Черт! Нет ничего хуже тумана!

И тут же он повернул каракового коня, и вся кавалькада галопом помчалась обратно. На площади деревни стояла такая зычная перебранка, когда они доскакали, что Ковалевский понял, почему было похоже издали на боевое «ура». Тот самый четвертый батальон кадомцев, которому полагалось взять Петликовце, добросовестно подобрался к ней в тумане с севера и, заметив говорливую толпу людей в шинелях,— дружно обстрелял предполагаемых австрийцев с постоянного прицела.

Ближайшая к ним восьмая рота пострадала сильно. Как раз, когда подъехал Ковалевский, там сносили в одно место и клали в ряд убитых,— их было семеро,— и перетаскивали туда же на руках, без носилок, тяжело раненных: таких оказалось двенадцать. Остальные человек пятнадцать легко раненных подошли сами; среди этих последних был и командир роты, прапорщик Дороднов: пуля пробила ему дельтовидную мышцу на правой руке, счастливо не задев кости.

Зажимая левой рукой рану, он кричал в сторону кадомцев:

— Сволочи, мерзавцы! Своих перебили!.. Эх, слепые черти!

Офицеры-кадомцы отстали и только что подбегали ошалело, ничего не понимая, а солдаты кричали Дороднову:

— А кто нас обстреливал отсюда? Не знаете? То-то и есть! Своих спросить надо!

Потом, твердо усвоив еще с подхода, что деревня эта как бы теперь ихняя собственность, раз им назначено было ее занять и вот ее заняли, кадомцы кинулись шарить по халупам и из одной с торжеством вытащили совершенно потерявшего человеческий облик от страха австрийского солдата.

Орали, ведя его:

— Вот кто стрелял в нас отсюда! Этот стрелял!

И кто-то не выдержал — стукнул его с размаху прикладом в затылок.

Его тело положили невдали от своих убитых, но с разных сторон тащили еще новых, которые прятались по чуланам и под кроватями у галичанок.

Они не стреляли, конечно, им было совсем не до того, они были застигнуты врасплох, и только трусость и разобщенность мешали им выйти самим и сдаться,— но для кадомцев оказалось так удобно, что именно они хотя бы три-четыре пули пустили в них из своих убежищ.

Только благодаря зычному крику Ковалевского эти австрийцы остались живы. Набралось их все-таки человек сорок. Ковалевский был вне себя. Он разыскал командира батальона кадомцев.

— Двадцать раз звонил я в штаб вашего полка, доказывал и доказал наконец, что прямой смысл мне с моим полком занять Петликовце, и там согласились, и вот что вышло в результате! Совершенно лишние потери, семеро убитых, командир роты выведен из строя, как раз когда он более всего был бы нужен... кем я его заменю? Черт знает что! Черт знает что!

А командир батальона, старый капитан, имевший что-то общее со Струковым, оправдывался неторопливо:

— Позвольте, господин полковник. Ведь вы не со мной говорили по телефону, а со штабом полка. Штаб же полка нашего ничего решительно мне не передал. Почем же я знал, что встречу здесь своих, а не австрийцев?.. Наконец, недоразумения этого могло бы и не быть, если бы ваши роты обыскали деревню.

— В последнем вы правы,— соглашался Ковалевский.— Однако чертовы бабы стояли же везде у калиток, когда мы вошли, и их спрашивали, нет ли у них австрийцев, и все они, чертовки, отвечали, что нет. Что же с ними теперь делать? Расстреливать их или вешать, мерзавок?

Но, вспомнив, что штаб его пока еще не обосновался здесь, Ковалевский круто оборвал бесполезные пререкания с капитаном и поехал к лучшему в деревне дому, который называли здесь господским. Конечно, тут и жил раньше помещик, поляк, но теперь дом был пуст. Сюда он вызвал Шаповалова со связистами, и скоро сюда были протянуты провода, и генерал Котович получил донесение по телефону, что Петликовце занята полком Ковалевского. Убитые и раненные кадомцами были приобщены пока к общему числу потерь при занятии деревни.

Кадомцы пошли дальше, уводя своих пленных, и, убедясь окончательно, что деревня остается за его полком, Ковалевский снова поскакал туда же, откуда пришлось вернуться благодаря кадомцам. В том направлении с укрепленных высот начала греметь артиллерия, и

беспрерывно татакали пулеметы, тоже, конечно, австрийские, свои еще не успели подтянуться. Ясно было, что роты Ливенцева и Аксютина где-то ввязались в серьезный бой, опрокинув тем самым все планы, состряпанные на совещании в штабе дивизии. Поддержать эти роты было нечем: даже и легкая батарея не переправилась еще через Ольховец... Вообще Ковалевский видел, что все идет совсем не так, как это представлялось в селе Звинячь и в хате на Мазурах. Единственное разумное, что приходило ему теперь в голову, это — попытаться как-нибудь отозвать зарвавшиеся роты, если они не истреблены уже поголовно.

Между тем шел уже девятый час. Туман начал уже подыматься. На высотах впереди всюду чернели на снегу проталины, отчего высоты эти имели странный вид, будто шахматные огромные доски, поставленные торчком.

Резервных рот третьего батальона не было уже на окраине деревни. Но в бинокль хорошо был заметен капитан Струков с двумя связистами, медленно тащившийся вслед за ротами, конечно, от проталины к проталине взгорья. Но рот этих почему-то не было видно: зашли в полосу тумана или за гребень.

— Куда этих еще понесло? Куда? Зачем? Кто приказал этому... олуху царя небесного губить еще две роты? — кричал Ковалевский, в бессильной ярости то сжимая кулаки, то хватаясь за голову.— Ведь сказано было — в тысяче шагах от проволоки залечь и окопаться! Такой простой вещи не могли запомнить, растеряли мозги!.. Эх, народ!

Он пришпорил было коня, чтобы поскорее догнать Струкова, но в стороне шагах в сорока разорвалась шрапнель. Ехать дальше конной группой было опасно; пришлось спешиться и передать каракового разведчикам. Но догнать батальонного было необходимо. Наткнулся дальше на трех убитых солдат своего полка, погибших тоже от случайно залетевшей шрапнели. Кричал Струкову, делая рупором руки, махал руками. Наконец, один из связистов остановился, остановился и Струков.

Ковалевский был в бешенстве, подбегая. Он не мог говорить, он только хрипел, наступая на Струкова:

— Куда вы? Куда к черту, скажите? Куда?

— Вот донесение получил,— вместо ответа протянул

ему Струков бумажку. Ковалевский присмотрелся к разгонистым карандашным строчкам:

«Занял своею ротою и взводом 11-й роты высоту 370.
Ливенцев».

— Ка-ак так высоту триста семьдесят? — ошеломленно глянул Ковалевский.—Невероятная вещь,—что вы! Триста семьдесят дай бог завтра взять целому полку!

— Мне тоже кажется странным. Если бы не Ливенцев доносил, я бы и не поверил. А Ливенцев — человек серьезный. Все хотел вам донести об этом, да боялся, что преждевременно.

— Как же можно было медлить с таким донесением? Сейчас же надо донести в штаб полка, чтобы оттуда — в штаб дивизии...— заторопился Ковалевский.— Если триста семьдесят занята,— это все, что нам надо, помилуйте! А ну, связисты! Штаб полка!

Он еще не вполне верил этой удаче. Он еще смотрел нерешительно на гребень высоты, на котором вырисовывался мощный профиль австрийского окопа с большим блиндажом посредине, с проволочным заграждением впереди. Но вот на одной из проталин зашевелилось что-то перед самой проволокой, зажелтела шинель; кто-то слабо махал с земли рукою.

— Что это? Раненый? — догадался Ковалевский, и все четверо они подошли к раненым, потому что их было двое, а не один.

Один из них довольно толково объяснил, что они из десятой роты, что их рота заняла окоп шагах не больше как в ста отсюда, за гребнем; что первым через проволоку перелез их ротный командир, прапорщик Ливенцев.

— А вон тот, что на проволоке повис и уже убитый, то наш полуротный, бидолага, прапорщик Малинка,— добавил раненый, показав в сторону рукою.

— Как так? Малинка? Может быть, только ранен? — жалостливо пригляделся к неподвижному, желтевшему на проволоке телу Струков.

— Ні! Вже неживой, ваше высокобродие,— решительно махнул рукою раненый, человек уже немолодой, ефрейтор.

— Жалко. Жалко... Малинка... Гм... Хороший был офицер... жаль... А прапорщик Аксютин? Не знаешь?

— Прапорщик Аксютин, так что мабуть тоже десь в окопе сидят, ваше высокобродь,— довольно браво ответил ефрейтор.

— Ты куда ранен? — спросил Ковалевский.

— В грудя!..

— Навылет? Это ничего, поправишься. Сейчас отправим на перевязочный.

— Пок-корнейше благодарим, ваше...

Ефрейтор не договорил титула, поперхнувшись кровью. Другой раненый только глядел на своего полкового командира молча и без особого любопытства и часто прикрывал глаза; этот был ранен в живот. Шинели обоих были в грязи и в крови,— видно было, что прежде чем лечь смирно, они пытались подняться или ползти.

— Дальше идти нам нельзя,— там пришьют,— сказал Ковалевский, отходя от раненых.

— Непременно пришьют,— согласился, подумав, Струков, посылая в то же время своих связных за гребень горы посмотреть, что там делается и где залегли роты.

Пригибаясь к земле, связные полезли за гребень, а Ковалевский, оглядываясь кругом, спросил:

— Да где же эта деревня Хупала, которую должны занять кадомцы,— никак не пойму!

— Никакой деревни там нет, только ямки остались от фундаментов,— я посылал туда разведчиков,— сказал Струков.

— Ну, вот видите, вот видите, как составляются карты и как пишется история! Хупала, Хупала, а оказалось, ее и в природе не существует... Эх, скверно, что у Ливенцева козырек окопа в нашу сторону смотрит. Но неужели мы с вами стоим на высоте триста семьдесят? Не верится! А если триста семьдесят, то будет жестокая контратака... Решительно остановите всякое продвижение! И пусть скорее окопаются. Я вас поддержу первым батальоном.

Связные вернулись из-за гребня в целости. По их докладу Ливенцев с ротой засел в окопе всего шагах в ста от гребня, но впереди есть еще окопы,— те в руках австрийцев. Стреляют в австрийцев и из другого окопа влево,— там, говорят, прапорщик Аксютин со своими. Остальные роты лежат за прикрытием.

— Черт знает! Ни орудий, ни даже пулеметов. И полезли занимать ключ ко всем здешним австрийским позициям. Ведь если сейчас нас не поддержит тяжелая... мы... мы можем погибнуть!

Однако по телефону он передал в штаб полка, что высота 370 занята третьим батальоном.

— А вон наши пулеметы идут,— сказал в это время один связной, вглядевшись в туман.

— Где? Где пулеметы?

Ковалевский готов был расцеловать прапорщика Волщилина, который вырвался вдруг из тумана совсем недалеко, левее шагов на двести, строевым шагом подымаясь впереди четырех шеренг своей команды.

— Наконец-то! Ну, вот молодцы! Хоть какая-нибудь поддержка ротам,— говорил Ковалевский.

Он еще раз огляделся внимательно кругом, соображая и прикидывая местность к той карте, которую изучал во всех деталях, и добавил:

— Ну, хорошо, теперь дело за артиллерией... И еще батальон развернуть влево. Сейчас еду и все устрою. Прощайте пока, Владимир Семеныч, прощайте, родной, и бог вам на помощь!.. Неужели не переправилась батарея? Должна уж переправиться... И куда же к черту делись кадомцы? Наделали гнусностей и исчезли! Они должны быть у нас справа и держать с нами связь, а их нет. Черт знает, какая получилась неразбериха!

И, в последний раз проводив любовным взглядом пулеметчиков, как на параде соблюдавших совершенно лишнее здесь равнение и уже подходивших к самому гребню горы, Ковалевский поспешно, делая большие шаги, двинулся вниз, держась того же телефонного провода, какого держался, поднимаясь.

Раненым он еще раз крикнул на ходу, что пришлет санитаров.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Если бы Ливенцева спросили, когда он сидел в австрийском окопе, каким образом он попал в этот окоп, он не ответил бы сразу, потому что ничего обдуманного им лично не было в этом деле. Он даже не представлял ясно, подвиг ли это со стороны людей его роты, или глупость чистейшей воды. Он знал только, что раньше никогда в жизни не приходилось ему пробежать столько тепло, по-зимнему одетым. То же самое он думал и об Аксютине, бросая ему на бегу отрывочные фразы:

— Вот так именно и бегут люди куда-то вперед... Потом таким же манером бегут они назад... При этом иногда им простреливают спины и прочее... на войне это называется атакой.

— Ясно,— одышливо отозвался историк, трудившийся в поте лица, серьезно и добросовестно выбрасывавший ноги и действующий руками по всем правилам бега.

Даже и когда они догнали, наконец, роты, свернувшие с шоссе куда-то влево, на снежное взгорье, Ливенцев все-таки не представлял, куда именно они бегут и зачем бегут то по снегу, то по проталинам, вверх по совершенно какой-то лысой, без малейших кустарников, пологой горе, в густом и мозглом тумане.

Но когда отчертился впереди, в небе, как сгусток тумана, на самом гребне горы точь-в-точь такой блиндаж, какой рисовал на клочке бумаги в хате на Мазурах Ковалевский, когда разъяснял ему и другим ротным третьего батальона их ближайшую боевую задачу, он сразу понял, что он — на высоте 370, и решение всей боевой задачи полка от него в ста шагах.

С этого именно момента он забыл о себе самом, отрешился от себя, перестал даже помнить, что он — Ливенцев. И, когда загрохотали вдруг винтовочные выстрелы оттуда, от блиндажа, и стали вскрикивать около него раненые, он с силой вырвался вперед, выхватил револьвер, крикнул отнюдь не своим, совершенно даже неестественным голосом:

— За мно-ой! Ура-а!

Потом как-то необыкновенно удачно перескочил через невысокую проволоку, и действительно, не только первым, даже единственным добежал до окопа, из которого выкарабкивался поспешно последний очень толстый австриец, чтобы тут же удариться в бегство вслед за другими.

Но, увидя перед собою русского офицера с револьвером в руке, он, красный от натуги, испуганно мигающий белыми ресницами, безмолвно положил винтовку к его ногам и стал руки по швам. В бежавших впереди австрийцев, темными пятнами растворявшихся в желтом тумане, стреляли солдаты Ливенцева без его команды.

Кое-кто пустился было за ними вдогонку, но Ливенцев, спросивший пленного толстяка по-немецки, есть ли дальше еще окопы, и узнавший, что есть несколько более сильных, крикнул:

— На-за-ад! Куда помчались? Назад!

Рассчитывать на внезапность нападения было уже нельзя: впору было удержать за собою только этот случайно и счастливо занятый окоп с блиндажем за ним.

И точно так же, как это было сделано ночью на переправе через Ольховец, он направил вперед цепью один взвод, в который очень решительно шагнул и Демка, как опытный разведчик, а с остальными тут же начал приспосабливать занятый окоп к обороне: проделывать новые бойницы, копать новые окопы вправо, влево и прямо вперед от австрийского, потому что в занятом окопе можно было разместить не больше взвода. Тогда же он послал назад, Струкову, донесение о взятии высоты 370.

Но этот захваченный окоп был устроен до того хозяйственно, прочно и удобно, что солдаты десятой роты даже не понимали, как могли с ним расстаться австрийцы. Умеренно глубокий, он весь был обделан деревом,— в нем было сухо; после ночи, проведенной в холодной грязи, это привело всех в особый раж. Кричали:

— Вот это добро!

— Вот это хата, так хата!

— Гарно австрияки зробилы, хай им черт!

Несколько одеял оказалось в окопе, брошенных при поспешном бегстве, несколько консервных коробок, еще не вскрытых, венские газеты, порванные и целые,— даже книжечку новелл Эдгара По нашли солдаты и поднесли своему ротному на просмотр, о чем тут немцы пишут:

— Может, это что касающее замирения, ваше благородие,— подчитайте!

Но через минуту ясно стало для всех, что до замирения далеко: оттуда, из тумана, стали долетать пули,— подготовлялась контратака австрийцев.

В то же время частая стрельба поднялась справа.

— Обходят! Обходят! — закричал, подбегая, Значков.

— Как обходят? Кто обходит? Это, должно быть, наши!.. Где Аксютин с ротой? Что вы орете ерунду! Берите свой третий взвод и вперед!.. Поддержите четвертый!

Ливенцов прокричал это залпом в промежуток между ружейными залпами впереди и справа, но Значков не двинулся с места,— искаженное лицо его дрожало.

Ливенцев бросился к нему, взял за плечи и закричал ему в ухо:

— Собрать третий взвод и вперед!.. Принять командование цепью.

— Тре-тий взво-д! Ко мне-е! — заверещал совсем петушиным голосом Значков.

Но тут же к нему подбежало человек двадцать, и только, как будто всего двадцать и было во взводе.

— Тре-етий взво́-од! — во всю силу легких крикнул Ливенцев.— Вперед, бегом! Ма-арш!

Он был, как в чаду, и сомневался, слышат ли его, но третьего взвода солдаты бежали от окопа, который начали было рыть, к Значкову, и сам Значков побежал вдруг, отчаянно взмахнув руками, вперед.

И странно, только когда отделился от роты этот взвод, и не то что пошел нехотя, а побежал, как на плацу на ученье, в туман, навстречу пулям, Ливенцев в первый раз за всю свою службу почувствовал себя командиром роты, и,— что еще, может быть, было страннее, это свеяло с него закруживший его было чад,— стало отчетливо в сознании: два взвода в цепи, два в резерве,— противник наступает... надо наладить связь с ротой Аксютина...

Но в это время как раз подскочил к нему пожилой, густобородый унтер-офицер Старосила, с испугом в глазах не за себя, а за него:

— Ваше благородие! У в окоп!.. Ховайтеся у в окоп!..

И он даже потянул его отечески за рукав шинели.

— Почему в окоп? — не понял Ливенцев.

— А как же ж, когда стреляют, а вы стоите!

Ливенцев все-таки прислушался к перестрелке впереди и справа и осмотрелся, насколько что-нибудь можно было различить в тумане, и только потом не спеша пошел, но не в окоп, а к блиндажу, и стал за его надежным земляным куполом вместе со Старосилой.

— Должно быть, и прапорщик Аксютин послал полуроту в цепь... Значит, в цепи у нас рота,— сказал про себя Ливенцев, однако громко.

Старосила, оглянувшись в это время назад, заметил кого-то из девятой роты, потом еще и еще появлялись там сзади из тумана солдаты девятой.

— Ваше благородие! — крикнул он радостно.— Еще одна рота наша идет!

— Неужели? Где?.. Ого! Ну, теперь нас не вышибут. Поди передай поручику Урфалову, что у нас два взвода в цепи, два в резерве. Скорей!

Старосила, пригнувшись, покатился назад рыжим шаром, как катится осеннее перекати-поле по степи, когда ветер колышет и рвет иногда такой же туман.

Однако из объяснений Старосилы Урфалов не понял, чего именно хотел от него Ливенцев, но, заметив, что он стоит за вполне надежным прикрытием, уложил пока свою роту на гребне и ниже гребня, а сам, пригибаясь,

как и Старосила, скоро очутился около прапорщика и поднял на него вопросительно восточные глаза.

— Там — контратака австрийцев! — прокричал ему Ливенцев.— Поддержать своих нужно! Двумя взводами!

Он думал, что Урфалов поймет наконец, что ему надо сделать, и он действительно понимающе закивал головой и замахал так же понимающе вперед обеими руками:

— Идите! Идите с богом!.. А я в резерве побуду.

— Вы пошлите два своих взвода!

— Я — я? Зачем же я-то?.. Зачем разбивать роты?

Пулеметов со стороны австрийцев раньше не было слышно; они покрыли своей равномерной строчкой беспорядочную ружейную пальбу именно теперь, когда Ливенцев был раздражен этим непонятливым старым поручиком восточного обличья.

— Пулеметы! — вскрикнул он растерянно.

— Ого! — больше выдохнул, чем сказал в ответ Урфалов и прижался плотнее к накату блиндажа.

Это и были те самые минуты боя на занятой высоте, когда полковник Ковалевский, догнав капитана Струкова, подходил с ним вместе к гребню.

— Эх, погибнут,— жалостливо качал головой Ливенцев, совершенно не зная, что он мог бы сделать для того, чтобы выручить свои два взвода.

— Ничего!.. Лягут! — утешал его Урфалов.— Закопаются.

— Там с ними Котылев, подпрапорщик... А если он убит?.. На Значкова я не надеюсь.

— Ну, так уж и убит! Жив небось! — успокаивал Урфалов.

— А двенадцатая рота где?

— Правее пошла.

— Тогда мы можем их обойти справа и слева! — обрадовался Ливенцев.

— Это уж пускай батальонный командир решает.

Они не знали оба, что, кроме батальонного командира, за гребнем горы стоял в это время и командир полка, который ушел через несколько минут, когда увидел пулеметную команду Вощилина.

Эти радостные крики солдат своей роты и девятой: «Наши пулеметы! Наши идут!» — Ливенцев расслышал и сквозь пальбу, и будто сразу спаслись от истребления два посланные им вперед взвода,— так ему стало легко вдруг, и прочно почувствовал он себя на занятом куске горы. Когда он начал определять здесь, около себя, мес-

та для четырех пулеметов, ему стало ясно, что не австрийцы идут там впереди в контратаку, что они отбиваются от атаки его двух взводов и, может быть, тоже двух взводов одиннадцатой; что между их пулеметами и русскими солдатами не может быть австрийских солдат.

— Старосила! — крикнул Ливенцев.— Иди, брат, к батальонному за приказом: двигаться нам вперед или отозвать наших, чтобы зря не тратить людей... Вот сейчас напишу записку.

Но посылать написанную в полевой книжке записку Ливенцеву не пришлось: внезапно замолчали австрийские пулеметы.

— Что это значит? — спросил Ливенцев Урфалова.

Тот только молча повел головой.

— Наступать нельзя,— уже Старосиле говорил Ливенцев.— Там позиции сильные,— пленный не врал! Там пулеметы в окопах, здесь их не было...

И когда, медля отдавать Старосиле записку, он пришел, наконец, к безошибочному, как ему показалось, выводу отозвать зарвавшиеся взводы, он увидел перед собою, в тумане: быстренько и согнувшись, как перепелки в траве, несколько человек его солдат подбежало оттуда, из жуткой неизвестности... Потом больше, еще больше... И вот к нему подошел запыхавшийся Значков. Оторопелый был у него вид, когда, взяв под козырек руку, он докладывал:

— Невозможно было держаться... Я приказал отступать.

— Прекрасно сделали! — обрадовался Ливенцев.— Все отходят?

— Кто может идти,— отходят.

— А убитых... много?

— Есть убитые...

— А Котылев? Котылев как?

— Котылев?

Значков обернулся. Теперь шли уже густо. Одного почти несли на руках двое.

— Вон, кажется, несут Котылева!

— Что? Ранен? Э-эх, несчастье!

Действительно, Ливенцеву подлинным несчастьем для роты показалось, что ранен знающий, опытный, спокойный, рассудительный командир взвода Котылев, и он кинулся к раненому сам. Но это оказался только похожий издали на Котылева унтер-офицер роты Аксютина,

и те, кто его несли, просто не туда попали в тумане. Котылев тут же подошел сзади всех своих. Он уже подсчитал свои потери.

— Кажется, пятеро остались, Николай Иванович,— сказал он с подходу.— На пулеметы нарвались мы. Теперь их вынести нельзя, надо вечером.

Он даже не сомневался, этот Котылев, что роты продержатся тут до вечера, что их не выбьют через час, через два австрийцы. И в лице не сдал: обыкновенный, как всегда, подпрапорщик Котылев.

— Ну, хорошо, что так вышло, очень хорошо! Я думал, будет гораздо хуже. А к нам пулеметы подошли...

— Есть пулеметы? Какие?

— Вощилин с кольтами... Теперь, должно быть, нас австрийцы щупать будут. Надо окопы... и проволоку перенесть.

— Ну, раз у нас пулеметы, пускай щупают. Нарвутся!

И Котылев не то что улыбнулся, но как-то так моргнул черными бровями, что это стоило любой радостной улыбки.

Спешно подсчитали раненых, чтобы отправить командой вниз, в деревню: в обоих взводах оказалось их двадцать шесть человек. Проворно начали рыть окопы в черноземе, который был глубок даже и здесь, на горе, потому что рачительно распахивалась и удобрялась веками до войны даже гора эта, как и все высоты кругом. Два пулемета устроили в австрийском окопе, два отправили Аксютину, но с тем, чтобы он их немедленно вернул, если к нему подойдет другая пулеметная команда.

Когда же пошли снимать проволоку с кольев и прежде всего сняли труп прапорщика Малинки, убитого честно пулей в лоб над переносьем, го увидели, как безжалостно было разодрано колючками проволоки его лицо, ставшее совершенно неузнаваемым: глубокие разрезы, как ножом, запекшиеся сгустки крови, выдавленный глаз...

Курбакин, который снимал его, по-своему горласто говорил другим:

— Во-от, братцы, кого мать-то ро́дная не узнает!

Другие качали головами, столпясь:

— И почему же это так могло?

— Как почему могло? — входил уже в раж Курбакин.— Да он же когда на этую проволоку упал, я с ним рядом находился и всю эту картину видел до точки...

А тут ротный наш вперед рванулся с криком своим да на него с ногами вскочил,— махнул через... Вот! Вот как это дело было!.. Ну, а за ротным уж другие пошли на него сигать... Его если раздеть — осмотреть, ни одной кости в целости не найдешь, все размолотили.

Ливенцев подходил в это время наблюдать за работой. Он расслышал, что горланил Курбакин. И только теперь вспомнил он, что было так слабо отмечено где-то в разгоряченном мозгу, что действительно, подпрыгнув с земли, чтобы перескочить через проволоку, он наступил на что-то мягкое, рыжее, на какую-то шинель, брошенную на заграждение, как когда-то, еще в первый год войны,— читал он в газетах,— казаки генерала Келлера бросали на проволоку свои черкески и овладели окопом.

— Неужели я это сделал первый? — прошептал ошеломленно Ливенцев, боясь подойти ближе к трупу Малинки.

Но тут грохнуло далеко со стороны австрийских позиций, пронеслась, мяукая и лязгая, не очень высоко над ним шрапнель и разорвалась шагах в тридцати, подкрасив розовым туман.

— Скорей, скорей, ребята! — закричал Ливенцев.— Сейчас они пойдут в контратаку!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В господском доме, в штабе полка хозяйственно устраивались, как будто рассчитывали пробыть тут по крайней мере с месяц, Ваня Сыромолотов и прапорщик Шаповалов, по внешнему виду как будто развинченный, вихлястый, но на самом деле очень слаженный малый, шутник, с поминутно подмигивающими черными глазами. Связь, налаженная им и со штабом дивизии, и с соседним кадомским полком, и с только что занятыми позициями своего полка, работала безукоризненно, и он, не то чтобы старавшийся не унывать ни при каких обстоятельствах, а просто неспособный унывать, между делом рассказывал Ване «самый свежий анекдот» о каком-то «мокром месте», когда бурей влетел взбешенный Ковалевский, ругая штаб корпуса еще от двери:

— Подлецы или идиоты? Или и то и другое? Убеждал, доказывал, приводил все резоны, какие можно на человеческом языке найти: необходимы понтоны! Дайте

понтоны!.. А теперь вот сиди без артиллерии! Эх, ослы безмозглые!

— Два горных орудия переправились, Константин Петрович,— захотел успокоить его Ваня, но Ковалевский кивнул головой иронически:

— Благодарю вас! Два горных!.. А легкая батарея застряла! Шесть лошадей подохли — выбились из сил. Я уж послал туда учебную команду помогать артиллеристам. Может быть, как-нибудь на руках вытащат... Сейчас, понимаете,— сию минуту нужна там до зарезу артиллерия,— и я третьему батальону обещал,— и там ждут, понимаете? Ждут, потому что я обещал, и ничего не могут дождаться за целый день! А понтоны лежат и дожидаются. Стрыпы! Сумасшествие! Абракадабра!.. Сейчас придут с высоты триста семьдесят двенадцать человек раненых из десятой роты,— я их обогнал, когда сюда ехал... На горе есть тяжело раненные, послать за ними санитаров. Прапорщика Малинку исключить из списков полка,— убит...

— Убит?

— Будут сегодня, конечно, еще убитые и раненые... А перевязочный пункт?

— Устраивает полковник Добычин с врачами...

— Распорядитесь, чтоб послали кухни с горячим на высоту триста семьдесят... Музыкантскую команду пусть нагрузят хлебом и пошлют туда же,— нам теперь не до музыки. А я буду сейчас говорить с начдивом насчет артиллерии... Пусть или дают нам понтоны, или посылают ее куда-нибудь в обход, где есть переправы, иначе и весь конский состав погибнет, и орудия увязнут, и людей мы измучаем... Эх, подлецы!

И он взялся за трубку телефона, но Ваня, переглянувшись с Шаповаловым, сказал осторожно и как бы между прочим:

— Подводы с хлебом еще не подошли. Кухонь тоже пока еще нет.

— Как так нет? Десятый час, и нет? Вы справлялись?

— Только что справлялся.

Ковалевский свирепо воззрился на Ваню, как будто он был штаб корпуса, потом махнул рукой:

— Тогда отставить и кухни и хлеб!.. Потом, после... Теперь нам нужнее всего артиллерия. Без артиллерии третий батальон все равно погибнет, и зачем ему тогда хлеб?

Из штаба дивизии ответили, что просить в штабе корпуса понтоны будут сейчас же, но за успех просьбы не ручаются, и в свою очередь справились, действительно ли высота 370 занята полком?

— Еще бы не действительно, когда на ней сидит мой батальон,— ответил не без гордости Ковалевский.— Но долго ли он просидит там без поддержки артиллерии,— это вопрос.

— Знаете ли что, пошлите туда еще батальон на помощь,— мягко посоветовал генерал Котович.

На это раздраженно, но сдержанно отозвался Ковалевский:

— Слушаю, ваше превосходительство,— я пошлю, конечно. Но и второй батальон, который я пошлю,— это все та же пехота, только пехота, другими словами,— пушечное мясо, и больше ничего. А послать еще батальон — это, разумеется, мой первый долг. Однако чем больше нашей пехоты будет под ударами австрийских батарей, тем больше будет у нас потерь.

Перед тем как послать свой второй батальон развернуться левее третьего, Ковалевский справился все-таки, где четвертый батальон кадомцев. Оказалось, что кадомцы, проблуждав в тумане часа два,— между прочим, и в поисках исчезнувшей деревни Хупалы, которую были должны они взять с бою,— примкнули, наконец, к батальону Струкова справа, так что если выдвинуть еще батальон влево, то получилась бы весьма милая сердцу всех штабов картина сплошного фронта. Ковалевскому оставалось только, собрав батальон, повторить ротным командирам приказ: не рваться вперед, пока не прогремит своя тяжелая.

Батальон прошел взводными колоннами перед своим командиром полка, как на параде, чеканя шаг. Восьмою ротою вместо Дороднова командовал другой прапорщик, Косцов. Когда проходила мимо седьмая рота, Ковалевский заметил на фланге первого ряда первого взвода солдата, который ему улыбался вопреки всем правилам дисциплины, и вспомнил, что это — Анна Ивановна, охотник Хрящева. Он хотел было крикнуть ей, чтобы она осталась, но это расстроило бы движение рот, а он каждую встречал торжественно громким криком:

— Пятой роте удачи и победы!.. Шестой роте удачи и победы!..

Роты гаркали в ответ:

— Пок-корнейше благодарим, ваше вскобродь!

Последний взвод восьмой роты шел в половинном составе: это именно он и попал под шальные пули кадомцев.

Туман поднялся; сильно капало с крыш. Как всегда в оттепель, пахло близкой, притаившейся где-то за горизонтом весною. Простоволосые галичанки выставились у калиток, по-своему внимательно оценивая это новое русское войско, так неожиданно ворвавшееся к ним вместе с туманом, и про себя решая: погонит ли оно войска старого Франца-Иосифа, или те погонят его? По их хмурым лицам видно было, что в удачи и победы русских солдат они не очень-то верили (кое-кто из них еще продолжал прятать солдат австрийской роты у себя под кроватями), а ближайшие к ним фланговые проходившего на позиции батальона задорно подмигивали им, многозначительно кашляли и отпускали нежные, конечно, хотя и довольно густые шуточки.

Второй батальон шел бодро и уверенно, стремительным, размашистым шагом. В нем все, начиная с командира его, капитана Широкого, крепко сработанного, хотя и пожилого человека, и кончая добровольцем Хрящевой, были в полной власти того чисто охотничьего подъема и задора, когда очень легкий первый успех кружит и пьянит голову, обещая другие такие же быстрые и легкие успехи.

Кругом — справа и слева,— очень далеко вправо и очень далеко влево,— гремела канонада, и никто не сомневался в том, что так раскатисто и всепобедно гремит это та самая тяжелая, которую видели и пропускали они вперед на станциях, ведших к Ярмолинцам, и на грязном шоссе от Ярмолинцев к фронту гремит и разбивает все в пух, прах и дребезги в австрийских окопах, и теперь их дело, дело пехоты, занять одну из тех невысоких высот, по соседству с высотой, занятой уже третьим их батальоном. А чем же хуже третьего второй батальон?

Все знали, что наступает не один их полк, а множество русских полков нескольких армий, таких же огромных, как седьмая, маршируют вот теперь в одно время с ними к тем высотам и гонят с них повсеместно австрийцев.

Они не ели с утра ничего, кроме тех залежавшихся в вещевых мешках мясных порций в двадцать два золотника весом, которые приказано было им сохранить от вчерашнего обеда; они мало и плохо спали холодной ночью на соломе в грязи, но им говорили бывавшие в боях,

что австрийцы, убегая из окопов, бросают в них нераскрытые коробки консервов, непочатые бутылки рома... кому не лестно воевать с подобными богачами?

Капитан Широкий, выведя батальон за деревню, в авангард назначил нечетные роты, а четные — в резерв, потому что молодым прапорщикам, Яблочкину и Косцову, он доверял гораздо меньше, чем Хрящеву из седьмой и поручику Дубяге из пятой, почти сверстнику своему по годам.

Высота, на которой расположился третий батальон, вся была ясна теперь молодым зорким глазам даже и без бинокля, а в бинокль виден был под ее гребнем даже и шалашик, кое из чего слепленный связистами для капитана Струкова, и Широкий, обшаривший в бинокль все ведущие на эту высоту тропинки, четко заметные теперь на проталинах, раза три сказавший про себя вдумчиво: «Ггу... Та-ак», и неоднократно погладивший при этом свой раздвоенный крупный подбородок, который он успел уже выбрить в это утро,— не спеша назначил для седьмой роты место с левого фланга третьего батальона; пятая же должна была развернуться еще левей, на склоне соседней высоты, на гребне которой поблескивала, как осенняя паутина, густая, в несколько рядов, проволока и высился над нею внушительный, но совершенно безмолвный блиндаж.

— Оттуда все давно бежали,— кивнул на этот блиндаж Яблочкин, несколько завидуя Дубяге, который через какие-нибудь полчаса хорошего марша будет со своей ротой в австрийских окопах, о чем широковещательно и многошумяще, как о крупной победе, напишут в приказах по дивизии, потом по корпусу, по седьмой армии и наконец, может быть, даже в оперативной сводке Юго-западного фронта, печатаемой во всех газетах.

Поручик Дубяга осторожно ответил на это:

— А вот будем посмотреть, бежали или там сидят,— но по глазам его было видно, что думает он то же самое: бежали.

Авангардные роты без опаски отошли вперед шагов на сорок, рассыпались, как на ученье на казарменном плацу, по два взвода в цепь, и с расстегнутыми на груди и шее шинелями, отодвинув на затылки с потных лоснящихся лбов серые шапки, солдаты, подбадривая друг друга шутками на ходу, споро начали взбираться по отлогим взгорьям, стараясь только о том, чтобы не сбиться с тех направлений, какие им прокричали их ротные.

И седьмая рота подходила уже к своему рубежу, начав резать проволоку, когда вдруг заговорил загадочно молчавший блиндаж на соседней высоте. Пулемет застрекотал так нерешительно, с паузами, точно за ним сидел кто-то совсем неумелый, только что обучавшийся искусству владеть им и как будто стеснявшийся пускать его в дело не по мишеням, а по живым движущимся целям.

Однако несколько раненых упало, несколько человек сзади бросились было бежать вниз,— их едва удалось остановить Хрящеву:

— Куда-а! Вперед, черти! Там пустой окоп... А здесь перебьют! — кричал он, сразу сорвав себе криком голос.

Но голос добровольца Хрящевой оказался гораздо звончее и устойчивей. Она кричала то же самое: «Вперед! В окоп! Он пустой!» — и эти крики дошли. Солдаты ринулись в прорезанные ходы, вырвались за гребень, добежали до пустого окопа. Окоп, правда, был небольшой, всего на взвод, набились в него густо, как могли терпеть, но потом успокоились, разобрались: гребень этой высоты оказался несколько выше, должно быть, чем той, с которой бил пулемет,— пули летели некоторое время над головами, потом оборвало, и уж многие могли выбраться из тесноты наружу, оглядеться, заметить невдали от себя еще окопы, занятые третьим батальоном, даже подсчитаться во взводах. Сначала недосчитались около сорока человек, но потом доползли несколько человек отставших и нераненых. По их словам, остальные три роты легли пóкотом, где стояли, и едва ли остался среди них в живых хоть один человек. Между тем, доброволец Хрящева, подобравшись к бойнице и приладившись там, стала выпускать пулю за пулей в австрийский блиндаж, и солдаты испуганно взмолились своему ротному:

— Ваше благородие, что же это они делают? Воспретите им! А то ведь он осерчает, шрапнелью нас крыть зачнет,— куда тогда деваться? Нам надо теперь тихо сидеть...

— Зачем же у нас винтовки? — пробовала спорить с ними Анна Ивановна, но солдаты говорили, что винтовкой много не сделаешь, а разозлить можешь, и лучше зря не стрелять. Хрящев мигнул жене, чтобы она умерила свой воинственный пыл, и послал одного из унтерофицеров к командиру третьего батальона для получения приказаний, что ему с ротой делать дальше.

А капитан Широкий тем временем передал по телефону в штаб полка, что три его роты пришиты пулемета-

ми австрийцев к земле, лежат, окапываются, но двигаться вперед не могут и несут потери; что седьмая перебралась под огнем на ту же высоту, на которой сидит третий батальон, но оставила у проволоки десятка два убитых и тяжело раненных; что если полк не поддержит их всех сейчас же, без промедлений, энергичнейшим артиллерийским обстрелом австрийских укреплений, то им грозит гибель.

Ковалевский обещал звонить в штаб дивизии и настоятельно требовать помощи тяжелого дивизиона, так как свои легкие орудия еще не подошли с переправы.

Однако в штабе дивизии, куда он позвонил тут же, отнеслись к его требованию очень сдержанно и прежде всего спросили его, почему он своим полком занял совсем не свой участок фронта, что его участок должен быть на две версты левее, что из штаба корпуса генерала Флуга звонили им, что это — безобразие, что эту путаницу надо сейчас же исправить и передать весь занятый беззаконно участок Кадомскому полку.

— Как же это сейчас передать участок боя? — очень изумился Ковалевский.— Ведь сейчас там бой!

— Ну, какой там бой! Вы преувеличили немножко,— игриво ответил полковник Палей.— Кадомцы идут уже сменять ваших. И смена произойдет безболезненно под прикрытием тяжелых батарей всего корпуса, а не одной нашей дивизии. Это будет серьезное прикрытие, поверьте.

Ковалевский поверил и передал капитану Широкому, что скоро загремит корпусная тяжелая, что придут сменять его батальоны кадомцы, что ему осталось продержаться считанные минуты.

Однако прошло полтора часа, когда, приблизительно в полдень, начался обстрел австрийских высот тяжелыми снарядами, и Ковалевский не мог уже усидеть в штабе и вихрем поскакал из деревни на высоту 366 посмотреть, как и где будут ложиться наши снаряды, как во время канонады, днем, произойдет смена его второго батальона четвертым Кадомского полка и куда, наконец, удобнее всего передвинуть ему свой полк.

Но на самой окраине деревни, в последней халупе было до того крикливо и весело, что Ковалевский приостановил коня, и трое конных разведчиков и два связиста, ехавшие с ним вместе, тоже остановились.

И вот отворилась дверь халупы, и с бутылкой водки в одной руке, с коробкой икры в другой, бородатый, рас-

трепанный, краснорожий, как Силен, показался в ней командир четвертого батальона кадомцев и запьянцовски крикнул ему:

— Аа-а, гос-сподин полковник, сосед! Прошу ко мне. Разделите трапезу!

Ковалевский был поражен.

— Вы здесь? Теперь? Как так?.. Но ведь ваш батальон пошел или нет сменять мой второй батальон? — закричал он так, как мог бы закричать при подобных обстоятельствах даже и не во время канонады.

— Черт с ним,— махнул рукою Силен.— Все равно,— далеко не уйдет. Заходите!

— Я сейчас же сообщу вашему командиру полка о вас, мерзавец! — крикнул Ковалевский и ударил лошадь, не дослушав, что такое кричал пьяный капитан ему вдогонку.

На шоссе он догнал полубатарею трехдюймовок, только что переправившуюся с помощью его учебной команды через Ольховец. Это была большая радость: четыре трехдюймовки и четыре зарядных ящика при них. Они были всесторонне заляпаны грязью, и грязные, измученные лошади еле волокли их, но и такими они все же годились для боевой работы.

Постепенно налаживалось все: гремела из тыла тяжелая, под рукой были легкие орудия, хотя и с небольшим запасом снарядов, наконец и батальон кадомцев нестройной, правда, и довольно бесшабашной толпой, но с явным все-таки подъемом прошел невдали, сплошь предводимый одними только молодыми прапорщиками, туда, где залег второй батальон его, Ковалевского, полка.

Все утрясалось, становилось на свои места... Но когда он пристально начал наблюдать в бинокль, где именно приходятся разрывы наших чемоданов, он не заметил ни одного разрыва на той самой высоте, с которой обстреляли из пулеметов и пришили к земле второй батальон.

— Как же это так? Куда же они бьют? Что они такое обстреливают? — бормотал он в полнейшем недоумении.— Ведь я же точно рассказал Палею, где пулеметные гнезда австрийцев... Что же опять за абракадабра такая творится?.. Как раз надоумил черт теперь именно затеять смену,— удобный случай для австрийцев расстрелять оба батальона...

И Ковалевский кинулся к трехдюймовкам, остановившимся на шоссе с видом, вполне ко всему безучастным.

— А ну-ка, братцы, кто у вас тут за старшего? — крикнул он артиллеристам.

Те ответили, что их командир — штабс-капитан Плевакин — пошел искать наблюдательный пункт и вот теперь возвращается.

Действительно, со стороны деревни подходил довольно развинченным шагом какой-то офицер в независимо сидевшей набок фуражке, с дюжим и, как показалось еще издали, малиновым носом.

Он подходил, точно сознательно, медленно, потом вдруг остановился, постоял с минуту на месте, поглядел туда и сюда кругом и решительно повернул назад.

— Куда же он, этот Плевакин? Все ищет место для наблюдательного пункта? Отнюдь не похоже,— говорил, наблюдая за ним, Ковалевский и закричал, сделав рупором руки: — Капи-тан Пле-ва-кин!

Плевакин не мог не слышать сильного голоса, однако не обернулся и шел, все убыстряя шаг. У Ковалевского мелькнула мысль: «А не Плевакин ли здесь сидел и пил вместе с командиром четвертого батальона кадомцев?» По цвету его дюжего носа и по развинченной пьяной походке было похоже именно на это. И не шел ли он опять туда же допивать водку, в то время как сейчас, может быть, начнется сосредоточенный расстрел австрийцами почти двух тысяч русских солдат?

Ковалевский двинулся за ним. Он нагнал его почти у той самой окраинной халупы, где обосновался краснорожий Силен.

— Вы штабс-капитан Плевакин? — крикнул раздраженно Ковалевский.

— Я штабс-капитан Плевакин,— вполне независимо ответил тот, не подбросив даже на секунду руки к козырьку ухарски сидящей фуражки.

— Возвращайтесь немедленно к своим орудиям и обстреляйте одну высоту по моим указаниям!

— Ни-ка-ких ваших указаний и приказаний я исполнять не обязан,— очень отчетливо ответил Плевакин и голову подбросил так энергично, что шевельнулась и чуть не слетела фуражка.

— Ка-ак так не обязаны? — вскипел Ковалевский.

— Очень просто. У меня есть свое начальство, а вам я нисколько не подчинен.

Крупные желтые зубы, малиновый нос, как руль, серые навыкат нагло и враждебно глядящие глаза, резкий запах водки и зеленого лука, который красовался в ящи-

ке в одном из окошек крайней халупы,— все это обдало Ковалевского нестерпимым жаром, но он пытался еще сдержаться, он старался обосновать свое требование, говоря размеренно:

— Вы с полубатареей на территории моего полка — раз! Вы обязаны, как гласит приказ начальника дивизии, «содействовать пехоте в выполнении ею боевых задач» — два! И если вы сейчас же со мною вместе не вернетесь к орудиям и не откроете огня по той цели, какая мною вам будет указана, то я вас арестую!

— Меня? Не имеете права! — крикнул Плевакин.

— Ах, та-ак? Связные! — гораздо громче его крикнул своим связным Ковалевский.— Сейчас же взять штабс-капитана и вести его во второй наш батальон! И если не будет идти вместе с вами, коли его, сукина сына, штыками!

Двое связных тут же подскочили к Плевакину.

— Вы за это ответите! — крикнул Плевакин, отходя под конвоем связных.

Вместо ответа ему Ковалевский приказал еще раз своим солдатам:

— Чуть только остановится,— коли его, как собаку! И веди его прямо, как лежит провод...

Последнее добавил он затем, чтобы связные не вздумали вести его по шоссе, где могла бы отбить своего командира орудийная прислуга.

Минут через десять канонада стихла: огненный вал, прокатившийся по австрийским позициям, там, наверху, в штабе армии, был сочтен вполне достаточным для того, чтобы разгромить неприятельские блиндажи и подготовить успех русской атаке.

Минут через десять, доскакав до штаба своего полка, Ковалевский снова звонил в штаб дивизии, прося выяснить, почему артиллерия совсем не обстреливала сильно укрепленную высоту, левее высоты 370.

— Не представляю, о какой высоте вы говорите,— раздраженно ответил Палей.— Но знаю, что решено было не обстреливать высоту триста семьдесят, как занятую вашим полком. Кстати, от командира тяжелого дивизиона был запрос: действительно ли высота триста семьдесят занята вами? Он говорил, что, по его наблюдениям, там прочно сидят австрийцы.

— Какие же австрийцы, когда там сидит мой третий батальон и одна рота второго? Что за абракадабра! — возмутился Ковалевский и бросил трубку.

Непосредственной связи с Басниным, взявшимся, чтобы не быть совсем безработным, руководить всею артиллерией дивизии, у него не было, и он только еще напряженно думал, как ему вызвать другого, вместо Плевакина, артиллерийского офицера к трехдюймовкам, когда получилось сбивчивое, но яркое и подавляющее донесение капитана Широкого о катастрофе, которой он так боялся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда к резервным ротам — шестой и восьмой — подходил батальон кадомцев, тяжелые снаряды, летевшие с русской стороны, еще бороздили шумно воздух и рвались где-то в этих австрийских высотах с гулом, от которого дрожала земля.

Разрывов на той высоте, на склоне которой залегли роты, не удалось, правда, никому заметить, но пулеметы и винтовки там замолкли: так в пустыне ночью, когда ревет лев, трусливо умолкает вой гиен и шакалов.

Это ободрило роты; многие в них не только подняли головы, но даже встали, а кадомцы подошли шумной, крикливой, совершенно непарадной толпою, а, главное, молодые прапорщики, которые вели эту орду, ни словом не обмолвились, что привели ее на смену: они шли в атаку. Если деревню Петликовце ранее их заняли другие, то теперь раньше других, трусливо приникших к земле, возьмут они австрийскую гору. Они так и кричали, проходя мимо лежачих рядов:

— Эй, трусы! Скапустились?.. Вот мы им сейчас дадим перцу!.. Марш вперед!

Большая уверенность в своих силах всегда действует на других. У кадомцев не было даже пулеметов, но они были уверены в себе. И если командирам шестой и восьмой рот кое-как удалось удержать своих, то пятая, головная, снялась вся, как один человек; даже поручик Дубяга, чтобы не остаться совсем без роты, хотя и озирался все время назад, поплелся в хвосте кадомцев.

Напрасно останавливал своих капитан Широкий, кричал и махал им руками: когда шумная ватага кадомцев достигла передовых, совсем, как оказалось, не занятых австрийцами окопов и прошла их, снялась с места и побежала за ними шестая рота, неистово крича «ура». Этот крик заразителен: из последней, восьмой, перед которой стал с револьвером в руке и страшными глазами,

на какие он был способен, капитан Широкий, все-таки человек пятьдесят, крича, помчались вслед за шестой.

Должно быть, австрийцы с немалым изумлением наблюдали этот неосмысленный порыв. Они молчали, пока передние ряды не подошли вплотную к густой проволоке главных позиций. Тогда сразу, с фронта и с боков, полетел в толпу рой пуль, над головами начала рваться шрапнель; это было так неожиданно для наступавших, что они даже не пытались отстреливаться. Они легли ничком в грязь, однако это не было спасением, и вот минуты через две-три из кучи лежавших поднялся на штыке белый платок, а еще через несколько минут все желтое поле валявшихся в грязи перед проволокой зацвело белыми цветами. И вот на бруствере показались австрийцы, радушно приглашавшие «русов» в плен.

Только что проходили кадомцы с такими геройскими лицами, с такими хвастливыми криками, с таким полупьяным подъемом, что, казалось бы, и сам черт им не брат, не то чтобы какие-то там австрийцы, которых они и за солдат не считали, и вот теперь они шли к этим самым горе-солдатам в плен, робкими кучками вставая то здесь, то там, бросая винтовки, с поднятыми руками, в которых трепались только платочки, как у баб, а на бруствере в небрежных домашних позах победители-австрийцы готовились, сосчитав их, отправить в тыл на работы.

Такого срама не могли вынести в седьмой роте, и к широкой, как окно, бойнице окопа, откуда недавно еще просили отойти добровольца Хрящеву, теперь кинулись многие: всякому хотелось выпустить обойму в австрийцев. Бо́льшая часть роты разместилась за прикрытием около окопа, и оттуда тоже поднялась пальба. Видно было, как несколько австрийцев упало, остальные спрятались поспешно. Под выстрелами своих сдаваться стало опасно, и кадомцы снова легли.

В сильный цейс Хрящев разглядел, как в задних рядах мечутся Дубяга и Яблочкин, стараясь овладеть своими ротами и отвести их назад... Но вот звонко и часто застучали пули по блиндажу,— две-три залетели в бойницу: австрийцы направили пулемет в сторону седьмой роты. Сразу несколько человек оказались ранены,— все отскочили от бойницы. Между тем за густой паутиной проволоки там, у австрийцев, не было уж видно никого.

— Отставить! — скомандовал Хрящев.— Не трать зря патронов!.. Своим ротам мы помогли — может быть, отойдут...

Но и на двадцать шагов не успели отойти Дубяга и Яблочкин с теми, кого удалось им собрать: вновь обстреляли их из пулеметов и пришили к земле. Кадомцы снова выставили платки на штыках. На бруствер начали выходить австрийцы принимать пленных...

— Часто!.. Пачки! — свирепо командовал Хрящев.

На это австрийцы ответили шрапнелью, и седьмая сразу умерила боевой пыл. Разрываясь, австрийская шрапнель давала розовое облачко, медленно оседавшее на землю. Подышав этим розовым дымом, солдаты ошалело водили затуманенными головами; иных тошнило. Кричали с разных сторон:

— Это ж они самые и есть — газы вредные! Ребята, надевай маски!

Охотник Хрящева хотела было крикнуть звонко, что это совсем не ядовитые газы, но у нее тоже мутнела голова.

Единственная резервная рота капитана Широкого тоже пыталась стрелять через головы своих в австрийцев, когда сдавались им кадомцы, но боялась задеть своих, спасавшихся бегством, и скоро умолкла.

— Вы видите теперь сами, в какой переплет мы попали,— укоризненно говорил Широкий Плевакину, когда привели его к нему связные и доложили, по чьему приказу привели.— Вот дайте-ка своим орудиям отсюда приказ начать обстрел.

Но Плевакин отзывался на это презрительно к капитану и бешено-зло к Ковалевскому:

— Об-стрел! Тоже суются все мне указывать! Что я могу сделать своей шрапнелью с окопами долговременного типа? Ничего ровным счетом. И никакого обстрела я не прикажу начинать. А ваш за этот дикий арест здорово ответит! Этой наглой твари влетит...

Так как Широкий сидел не в закрытии и австрийцы обстреливали иногда и восьмую роту, то Плевакин закричал вдруг:

— Не имеете права держать меня здесь под огнем! Пойду и донесу и о вас и о вашем трынчике — командире полка!

И он решительно двинулся было в сторону шоссе, но связные, забежав вперед, еще решительнее направили на него штыки.

— Сволочи, пусти! — орал на них Плевакин.

— Ваше благородие, не ругайся, ты арестованный,—

наступали на него — штыки вперед — связные.— Арестованный часовых своих не имеет полного права ругать: за это вашего брата под военный суд. Офицер, а устава гарнизонного не знаешь!

Капитан Широкий так часто взывал о помощи, что Ковалевский, хотя и отлично понимал, что чем больше пехоты перед сильно укрепленной позицией, тем больше будет потерь, все-таки сам повел еще две роты, взятые из первого батальона, на помощь второму.

Но день уже мерк. Небо сплошь заволокло вязкими серыми тучами; начал сеяться дождь; дождь становился все упористей, назойливей, крупнее; солнца не было видно за тучами, но чувствовалось, что оно уже совсем низко стоит над гребнями увалов,— вот-вот уйдет за них, и короткие сумерки сменятся беспросветно темной дождливой ночью.

Когда третья и четвертая роты подходили к восьмой, шестая, сколько удалось ее собрать Яблочкину, бежала врассыпную вниз, пятая, всего около двух взводов, штыками пробивалась сквозь ряды обступивших ее австрийцев, в большом числе вышедших из блиндажей, а недобитые кадомцы и тесно перемешавшиеся с ними солдаты пятой роты сдавались, проходя по гребню высоты с поднятыми руками.

Ковалевский, подъезжая впереди рот, мог довольно отчетливо разглядеть только последнее.

— Шрапнелью, шрапнелью бы их, мерзавцев! — кричал он, протянув руку туда, в сторону воздетых рук.— Плевакин где? Где штабс-капитан Плевакин?

Но Плевакин, бывший поблизости и слышавший этот крик, сказал ему, ненавидяще на него глядя:

— Плевакин,— позвольте доложить, господин полковник,— только штабс-капитан артиллерии, а совсем не батарея. Стрелять шрапнелью он не может!.. Кроме того, он арестован, так сказать...

— Во-он отсюда к чертовой матери! Не погань мне фронта! Во-он! Связные, освободи это гнусное дерьмо! Пусть идет к черту!

Между тем австрийцы видели, что добыча от них ускользает. Дубяге с кучкой своих и пятью-шестью десятками кадомцев удалось пробиться, и они бежали вниз, пользуясь сумерками, дождем, хлеставшим их спины, ползущей под ногами, не способной задержать грязью, увлекаемые примером шестой роты, бежавшей впереди и

не пытавшейся занять ни одного из попадавшихся пустых передовых окопов.

Австрийцы без выстрелов ринулись за бежавшими. Может быть, это был тоже непредусмотренный их командованием порыв передних рядов, увлекший задние; может быть, подсчитан был большой перевес в своих силах, суливший легкий и полный успех, но Ковалевский был удивлен стремительностью этой контратаки. Бежавшие неминуемо должны были расстроить ряды стоявших трех рот, которые могли и не устоять на месте, а побежать вместе с ними, и были бы наполовину истреблены, наполовину рассеяны.

Но тут спасительно залаяли пулеметы кольта со стороны окопа, захваченного Хрящевым. Это было так неожиданно для австрийцев, что они остановились и повернули назад.

И в сырых, душных сумерках, наступавших одинаково плотно на обоих противников, в спором, прилежном дожде, по совершенно распустившемуся, глубоко и рачительно еще с осени распаханному чернозему, в котором тонули ноги, австрийские роты медленно поползли назад в свои блиндажи, русские отведены были Ковалевским ближе к шоссе.

Первый день наступления был закончен. Оставалось только подобрать своих тяжело раненных и убитых, а легко раненные, как жуки, притворившиеся мертвыми на время контратаки, подходили вечером сами.

Санитары работали без отдыха всю ночь. С фонарями и носилками ползли они по склонам горы, отыскивая тяжело раненных и трупы своих. Австрийские санитары были заняты тем же, но они собирали еще и русские винтовки и пачки нерасстрелянных патронов к ним, брошенные при бегстве.

Ночь примирила врагов. Они сходились беззлобно и даже беседовали, когда среди австрийцев попадались галичане или поляки.

К утру халупы деревни были завалены ранеными своего полка и кадомцами, виновниками побоища. Всю ночь полковые врачи и фельдшера были заняты осмотром ран и перевязкой, но вывезти раненых в тыловые госпитали было нельзя: переправа через коварный Ольховец уже к вечеру первого боевого дня совершенно утонула в топи. Ковалевский послал учебную команду и музыкантов чинить ее ночью, чтобы хотя к утру ротам, ночующим

в грязи, под дождем, подвезти хлеб и кипяток для чаю, а если будет можно, то и обед.

Тела убитых сложили на землю за окраиной деревни, у кладбища. Ранним утром особо наряженная для этого команда копала для них обширную братскую могилу. Около двухсот человек в двух батальонах полка оказалось убитыми, около четырехсот ранеными, а человек пятьдесят из пятой роты сдались вместе с кадомцами. Кроме Малинки, было убито еще трое прапорщиков, десять ранено.

Ваня Сыромолотов с писарями составлял списки потерь полка, чтобы не запускать этого важного в хозяйственном отношении дела, так как главная атака австрийских укреплений была еще впереди.

О. Иона, который и здесь, в Петликовце, как раньше в селе Звинячь, бродил целый день одиноко по огородам и ковырял то здесь, то там носком сапога раскисшие грядки в надежде найти забытую с осени головку чесноку, готовился наутро — прилично случаю — отслужить панихиду по «воинам, во брани убиенным».

И в то время как Ковалевский полно и точно, до последнего человека, передавал в штаб дивизии о больших потерях своего полка и о скромных его успехах, командующий седьмой армией генерал Щербачев доносил в штаб Юго-западного фронта, генерал-адъютанту Иванову: «При атаке дер. Хупала 14-я рота Кадомского полка под сильнейшим огнем преодолела девять рядов проволочных заграждений и ворвалась в деревню. Встреченная контратакой, рота приостановилась, но ефрейтор Иван Левачев бросился вперед, и после рукопашной схватки австрийцы бежали, оставив пленных...»

Так командир четвертого батальона кадомцев, батальона, уже переставшего существовать, убеждал высшее начальство не только в том, что деревня Хупала существует, но и в том, что она была взята им после молодецкого боя, как после такого же упорного успешного боя была им занята деревня Петликовце раньше двумя часами. И в спешном порядке шли вслед за этим донесением представления: красноречивого капитана — в подполковники, командира Кадомского полка — к георгиевскому оружию, командира четырнадцатой роты и ефрейтора Ивана Левачева, благополучно сдавшихся австрийцам,— к георгиевским крестам.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром следующего дня генерал Котович со всем штабом своей дивизии перебрался из удобного села Звинячь ближе к фронту,— в одинокую хату на Мазурах, так как готовилась главная атака австрийских позиций. По телефону он передал Ковалевскому, что Щербачев очень недоволен им за то, что в его полку процент выбывших из строя офицеров, в отношении к выбывшим нижним чинам, оказался самый большой, между тем как офицеров надо беречь: солдат на пополнение убыли могут прислать из тыла еще сколько угодно, офицеров же заменить некем.

— Слушаю, ваше превосходительство, я приму это к сведению и руководству,— ответил ему Ковалевский.— Хотя я осмеливаюсь думать, что и из нижних чинов тоже найдется немало совершенно незаменимых... Но вот до сих пор я не могу ничем накормить ни офицеров, ни нижних чинов на позициях, ни здоровых, ни раненых в деревне, потому что через этот пустяковый, по мнению штаба армии, ручей Ольховец не в состоянии перебраться ни повозки с хлебом, ни кухни. Что на этот счет думают в штабе армии? Получу ли я, наконец, понтоны?

Котович поручил справиться об этом полковнику Палею, и тот через четверть часа сообщил, что понтоны решено дать: перед главной атакой даже и главное начальство явно становилось добрее.

Донесений, подобных тому, какое послано было запьянцовским командиром четвертого батальона Кадомского полка, главное начальство получило в конце первого дня много. Точно у всех сплошь оказались одни только успехи, и все успехи достались самой дешевой ценой. Только один Ковалевский донес о своих пятидесяти «пропавших без вести», как принято было называть сдавшихся в плен, и этого ему не простили в штабе армии. Напротив, там очень хвалили полковника Фешина, который с потерей всего нескольких десятков человек взял «очень сильно» будто бы укрепленную деревню Пиляву,— взял и не двинулся оттуда ни на шаг за целый день, неизвестно зачем собрав около себя две батареи гаубиц.

Окрыленный этими общими «успехами» войск и приписав, конечно, все эти успехи хорошо задуманной и еще лучше проведенной внезапности наступления, главный штаб наступающей армии уже видел, как перешагнет

она одним мощным ударом через столпившиеся за досадным Ольховцем высоты — в богатую долину Стрыпы и вышвырнет австрийские войска в снежную пустыню за этой долиной,— туда, далеко на запад.

В этот день должны были во всей красе показаться тяжелые орудия, наиболее могучие машины войны,— поэтому артиллерийские дивизионы проявили большую деятельность с раннего утра.

Тяжелые орудия подтягивались ближе к фронту, перемещались и, наконец, устанавливались прочно. К тяжелым орудиям тяжкие грузовики ревностно по тяжелому бездорожью подвозили из тыла снаряды. Артиллерийские офицеры в спешном порядке ретиво выбирали наблюдательные пункты. Вся длинная линия обстрела разбита была на номера; и каждый дивизион получил задачу засыпать снарядами свой номер...

Самые мощные машины войны требовали математической точности предписаний, и штабами выработан был точнейший распорядок их действий. Ровно в одиннадцать часов одновременно все батареи должны были открыть огонь ураганного напряжения; этот разрушительнейший огонь должен был длиться ровно двадцать минут, чтобы за это время все в неприятельских укреплениях было разбито в мелкие щепки. Затем должно было наступить десятиминутное торжественное молчание, необходимое для того, чтобы оставшиеся в живых люди, там, в разбитых редутах, пришли несколько в себя и вздумали бы спасаться бегством. На этот случай,— для истребления не добитой еще живой силы врага,— открывался новый десятиминутный огонь такой же силы, как и прежний. И чуть только он смолкал, то есть ровно в одиннадцать часов сорок минут, вся пехота должна была стремительно и равномерно двигаться в атаку, артиллерия же — прокатывать постепенно все дальше и дальше огневой вал в глубь австрийских позиций, чтобы остановить всякий порыв противника придвинуть к атакованным пехотой участкам помощь из тыла.

Наибольшую ученость в распорядок обстрела вносил присланный, как инструктор, из штаба Юго-западного фронта артиллерийский генерал Вессель, коротенький человечек, полный неистощимой энергии, почтительного уважения к орудиям крупнейших калибров и самых розовых надежд на полный успех атаки.

На огневой вал полагалось истратить по семи снарядов на орудие: поддерживать штурм пехоты должна бы-

ла уже легкая артиллерия, стреляющая в замедленных темпах шрапнелью.

Кроме всего этого, для решительной минуты, когда нужно было поддержать сосредоточенным огнем прорвавшиеся уже части, обусловлена была команда: «Навались!» По этой команде тяжелая должна была заговорить снова во всю мощь своего голоса, чтобы разгром неприятельских тылов был окончательный и полный.

Как узнал Ковалевский, эта команда «навались!» была подана накануне, и подана совершенно неожиданно для штаба армии. Тогда еще не только ничего не было приготовлено для обстрела с дальних артиллерийских позиций, но, по замыслу командующего фронтом, в силу точного выполнения его же приказа: «Остерегайтесь! Молчите!», тяжелые батареи должны были затаенно молчать, как будто их и нет совсем, и только в день главной атаки надлежало им изумить, ошеломить врага своим присутствием и потом раздавить его.

Виновником,— весьма отдаленным, правда,— этой команды оказался, как теперь выяснилось, все тот же прапорщик Ливенцев с его донесением, что он занял высоту 370.

Успеха немедленного и решительного ожидали тогда все, от генералов до последнего полкового телефониста, и скромное донесение это на экономном клочке бумаги попало будто в рупор огромнейшего раструба. Телефонисты передавали его друг другу настолько раздутым, насколько могла раздуть их воспаленная и досужая фантазия; и у десятого или двадцатого из них получился уже полный прорыв австрийских позиций полком Ковалевского, который будто бы ушел уже верст на шесть в глубину их и гонит к Стрыпе австрийцев, у которых паника и дикое бегство. Тогда-то и была подана по телефону на батареи кем-то и как-то, должно быть, темпераментным Весселем, эта взволнованная, подъемная команда, и совершенно беспорядочно зарокотала тяжелая, вопреки предуказаниям высшего начальства.

Ковалевский не пытался узнавать, насколько и кто из его телефонистов постарался так неумеренно расхвалить свой полк. Он доволен был уже и тем, что задача его в этот новый день, в день решительной и главной атаки, была вполне второстепенной: следить за успехом соседнего, Кадомского полка и в нужную минуту этот успех развить.

Правда, несколько удивлен он был, как могли в штабе корпуса назначить при главной атаке тараном полк, так нелепо потерявший целый батальон накануне, но он не знал, что командир Кадомского полка не доносил еще об этой потере по начальству, а молодецкие дела полка при занятии «сильно укрепленных» деревень Петликовце и особенно Хупалы очень высоко поставили боевую репутацию полка в глазах штаба.

Наступление должно было вестись теперь на высоту 384,— правее той, на которой сидели в занятых и заново вырытых окопах пять рот полка Ковалевского. Для того чтобы осмотреть как следует и поближе эту высоту, Ковалевский после похорон убитых поехал на позиции своего полка. Кстати, к девяти утра переправились, наконец, кое-как походные кухни и подводы с хлебом, и та же музыкантская команда, которая работала ночью на переправе, назначена была сопровождать хлеб и раздать его на позициях ротам.

Снова, как и накануне, держался с утра плотный, желтый, ползучий туман. В этом тумане, когда Ковалевский проезжал верхом улицей деревни, очень поразила его зеленолицая и белоглазая какая-то девчонка лет тринадцати, глядевшая на него исподлобья, но в упор таким сосредоточенно-ненавидящим и презрительным даже взглядом, что он отвернулся. Если бы он был суеверен, то мог бы считать встречу с такой малолетней сивиллой дурным для себя знаком.

Перестрелка пока еще не начиналась: готовились к ней и здесь, и там, подтягивались резервы, устанавливались машины войны.

Когда Ковалевский ехал по шоссе за деревней, он сказал сопровождавшему его поручику Гнедых, кивая на высоту, с которой оборвались и кадомцы и его две роты:

— Эх, сюда бы нам парочку броневиков с пулеметами!

— Большая все-таки дистанция для пулеметов,— отозвался Гнедых.

— Порядочная, верно, однако не предельная. Вон с того загиба броневики отлично могли бы действовать, только лиха беда, что их нет у нас.

— Но они могут найтись у австрийцев.

— Ну еще бы,— конечно, могут. А что сделали у нас на этот скверный случай? Даже и трехдюймовки увезли куда-то. Это все мерзавец Плевакин!

Но трехдюймовки стояли несколько дальше, в стороне от шоссе, уже замаскированные и потому едва заметные в тумане. Ковалевский удовлетворенно сказал: «Ага! Это все-таки хоть что-нибудь» — и проехал, не задержавшись ни на секунду, хотя около орудий был уже не Плевакин, а другой офицер,— прапорщик с широким, весьма недоспавшим лицом.

— Вот если бы заложить фугасы на шоссе против броневиков австрийских,— мечтательно предложил Ковалевский, искоса взглянув на поручика Гнедых, но тот отозвался угрюмо:

— Штука неплохая, только если свои не взорвутся на этих фугасах.

— Это можно уладить... Мы попробуем.

Высота 384, на которую должны были сегодня наступать известные в штабе армии своею доблестью кадомцы, иногда темно-сине прорывалась из ползучего желтого тумана, и тогда можно было разглядеть на ней в бинокль тускло поблескивавшие очень густые сети проволоки, мощные редуты и за редутами однообразные шапки сырой черной земли, наподобие муравьиных куч,— блиндажи.

— Чудесная цель для наших чемоданов, чудесная,— потер руки Ковалевский.— Лучше нечего и желать... Только бы к одиннадцати поднялся этот чертов туман.

Но туман был пока очень плотен, хотя и двигался быстро. Зато он позволил безнаказанно подобраться к незатейливому шалашу капитана Струкова, в котором ютился тот с двумя связными,— своим полевым штабом.

— Ну, как провели ночь? — спросил его Ковалевский, хотя уже спрашивал об этом из штаба полка по телефону.

— Жутко было, признаться, хотя мы все-таки спали по очереди,— кивнул на связных Струков.

Он хотел казаться добродушным, пытался даже улыбнуться, но не вышло. Вид у него был пришибленный, болезненный, под глазами — сизые набрякшие мешки; лицо желтое, острые скулы.

Чтобы его взбодрить, Ковалевский сказал:

— Завтра выспитесь как следует: сегодня прорвем фронт и будем на Стрыпе.

— Прорвем, вы думаете? — усомнился Струков.

— Непременно. В одиннадцать загремит тяжелая... И тогда мы шагнем, как боженьки!.. А пока что хочется проведать роты. Хорошо, что проволоку удалось перенести, прекрасно!

Проволоки, на которой вчера висел труп Малинки, уже не было,— ее смотали и перетащили еще вечером, после разгрома кадомцев. Ее увидел Ковалевский на кольях впереди блиндажа, занятого десятой ротой, когда пробрался к прапорщику Ливенцеву.

Если бы кто посторонний присутствовал при этом, он мог бы подумать, что это — встреча двух закадычных друзей, очень давно не видавшихся, а совсем не начальника со своим подчиненным, которого послал он по небольшому делу всего день назад.

— Ну, знаете ли, Николай Иваныч,— вам хвала и честь! Вы реноме прапорщика подняли на большую высоту,— сияя и ласково хлопая его по плечу, говорил Ливенцеву Ковалевский.— Очень смелую проделали штуку... мною совсем не предуказанную хотя,— но, как говорится, победителей не судят,— а к награждению я вас непременно представлю... И что тут не дали никому зарваться,— прекрасно сделали, чудесно. Могли бы австрийцы перестрелять, как перепелок. А теперь им сунуться сюда не так просто. Вошло пудами, а выйти может только золотниками. Однако не видать им этого блиндажа больше, как не видать Ташкента, если только не попадут к нам в плен. А попадут! Сегодня мы их загребем... Сегодня мы их будем гнать, как баранов!.. А здорово все-таки сделали блиндаж, надо сказать правду. Накат из таких толстенных бревен, а?

— Двойной накат,— сказал Ливенцев.

— Двойной? Вот видите! И земли насыпано сверху аршина два...

— Три аршина,— я мерил.

— Три аршина? Ого! Хотя чернозем в данном случае хуже, чем песок, например, все-таки... три аршина земли и два ряда толстых бревен,— такая крыша шестидюймовому снаряду не сдастся,— а бери выше! Гм,— здорово укрепились. Ну, ничего. Артиллеристы наши обещают все разнести.

— Только бы не нас, из лишнего усердия,— заметил Ливенцев.

— Что вы, что вы! Я ведь предупредил, что триста семьдесят занята нами, то есть передняя зона наша, а заднюю... пусть лупят в хвост и в гриву... Предупредил, как же,— будьте благонадежны. Ну, храни вас бог!

И как в хате на Мазурах, уходя от Ливенцева, Ковалевский обнял его и чмокнул в подбородок. Но на фельдфебеля Титаренко, так же как и на стоявшего ря-

дом с ним фельдфебеля девятой роты, расположившейся около десятой, он прикрикнул, что очень мелки и широки получились у них окопы.

— Как копали, то вполне было по уставу, ваше высокобродие,— раздумчиво ответил ему Титаренко.— Ну, что же сделаешь, когда земля оползает? Все одно, как по киселю бадиком борозду делать, так и это... Это же чистый кисель, а не земля.

— Углубить! — приказал Ковалевский и спустился с гребня, едва успев пожать руку Урфалову и кое-кому из младших офицеров, потому что над головой пролетела, визжа, австрийская шрапнель, а за ней другая, так что могло явиться подозрение, не узнали ли австрийцы о готовящейся атаке и не хотят ли они показать, что к ней готовы. А между тем надо было окончательно установить свои свободные роты уступом за Кадомским полком и следить за несомненным успехом этого полка, чтобы не упустить подходящего момента расширить этот успех.

Незадолго перед одиннадцатью часами он был на месте, где стояли в готовности роты второго и первого батальонов. Вынул часы, смотрел на минутную стрелку. Все уже было сказано командирам рот,— нечего было приказать больше. Пролетали иногда, то визжа, то мяукая, то лязгая, снаряды австрийцев.

— Погодите, голубчики, погодите,— говорил Ковалевский, кивая капитану Широкому.— Сейчас и мы вам всыпем, до новых веников не забудете!

Но вот минутная стрелка дошла до одиннадцати. Все напряглось в Ковалевском в ожидании оглушительного залпа своей тяжелой. Он ждал полминуты, минуту, две... Наконец, пробормотал:

— Что за черт! Так ушли вперед часы, а только два часа назад поставил по часам Палея...

Через четверть часа он уже звонил в штаб полка, чтобы узнать, в чем дело. Сыромолотов справился и ответил, что атака отложена на два часа из-за тумана.

— Ну вот тебе на! Отложена. Из-за тумана ли, или все эти Плевакины не изволили еще найти наблюдательных пунктов? Ох, начинается какая-то абракадабра. Чувствую, что начинается!

Все-таки довольно терпеливо Ковалевский прождал еще два часа. За это время ему доложили из штаба полка, что одна из австрийских шрапнелей ворвалась в халупу, занятую музыкантской командой, в то время, когда музыканты еще не вернулись с позиций, куда отправ-

ляли хлеб; поэтому никто из них и не пострадал, но инструменты все исковерканы, изувечены, приведены в полную негодность.

— Ну вот, небось ругали меня в «до мажоре» за то, что я их с хлебом послал, выспаться им не дал, а теперь пусть за это мне спасибо скажут, что живы остались,— протелефонировал Сыромолотову Ковалевский.— На войне так: не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

В тринадцать часов его известили, что артиллерийская подготовка назначена на пятнадцать часов. Ковалевский выругался и уехал в штаб.

Но к пятнадцати часам он все-таки был на месте. В штабе узнали, что наступление должно было развернуться от деревни Доброполе,— с большими потерями взятой накануне той дивизией, к которой принадлежал Кадомский полк,— и к северу от нее; так что на высоту 370 никто не наступал, и роты, сидящие там, оставались, значит, без всякой поддержки на случай контратаки австрийцев.

Еще что он окончательно уяснил, будучи в штабе, это то, что артиллерийский обстрел, на который возлагали такие большие надежды, будет вестись вслепую, что орудия не пристреляны, что командирам тяжелых батарей совершенно неизвестно расположение австрийских блиндажей, фланкирующих участков, пулеметных гнезд, мест скопления резервов,— вообще решительно ничего, что приготовлено австрийцами за трехмесячное сидение их здесь на одном месте. Фотографических снимков австрийских позиций не было и в помине. Три неповрежденных самолета, прибывшие для этой цели, еще не пытались летать ввиду тумана.

После того как Ковалевский увидел утром, что собой представляет блиндаж, захваченный Ливенцевым, он теперь, в пятнадцать часов, когда надвигались уж сумерки, отчетливо начал понимать, что замыслы высшего командования по-детски просты: вполне бессистемной затратой какой-нибудь тысячи чемоданов потрясти до ужаса австрийских солдат и обратить их в неудержимое бегство, к которому они так привыкли.

Канонада началась, наконец, на этот раз точно в пятнадцать часов. Неумолкающий гром выстрелов сзади и гул высоко пролетавших снарядов были действительно так жестоки и ни с чем в природе не сравнимы, что потрясенными оказались свои же солдаты. Они стояли, пригнув головы и переглядываясь исподлобья.

Но вот кончилось, как отрезало. Упала тишина, и третий батальон кадомцев пошел в атаку на высоту 384.

Упала тишина только сзади, а спереди австрийцы продолжали выпускать снаряды, неторопливо, размеренно, методически, как делали они это весь этот день и до ураганного огня русских. Казалось бы, все там должно быть исковеркано, изувечено, как медные трубы полка Ковалевского,— но нет: по-прежнему визжа, и мяукая, и лязгая, продолжали лететь шрапнели и гранаты, и Ковалевский вдруг понял, что атака, в успехе которой он не сомневался еще утром, обречена на провал... Но вот огневой вал русских чемоданов снова покатился уже по тылам австрийских позиций.

Кадомцы шли, тяжело ступая, с трудом выдирая ноги из пахоты. Как они были непохожи на бравых вчерашних кадомцев! Зеленые от сумерек лица их были сосредоточенно-угрюмы. У всех очень резко запали щеки и глаза, выперли нижние челюсти и скулы.

Темнота между тем наступала на них в то время, как они наступали на совершенно неизвестную им гору, на гребне которой, может, было даже и не девять рядов проволоки, в порыве вдохновения придуманных командиром их четвертого батальона для несуществующей Хупалы, а гораздо больше. Кто мог поручиться, что проволочные сети разорваны нашей канонадой?

Прошло с полчаса, как ушли кадомцы. Стало совсем темно.

— Знаете что,— говорил Ковалевский капитану Широкому,— мы ведь призваны развить успех кадомцев, но успеха, кажется, никакого не будет. На всякий случай пошлите цепь дозоров для связи с ними, а я поеду в штаб полка. Мне здесь совершенно нечего делать. Сообщите мне потом, что и как, но должен вас предупредить, что если даже вы мне донесете об успехе, я вам отвечу так: прошу проверить сведения лично!.. По-моему, нет ничего гнуснее и подлее втирания очков начальству.

И он уехал.

Ваня Сыромолотов совсем не ждал его. Он сидел в шинели внакидку, так как в штабе было довольно прохладно, и зарисовывал карандашом в свой альбом группу: Шаповалова, тоже сидевшего в шинели внакидку, обхватив колени руками и беспечно насвистывая вальс «Дунайские волны»; Добычина, очень подавшегося за последние дни, хмурого от большой усталости и в шинели, плотно застегнутой на все крючки, и казначея Тата-

ринова, который был в легком коротком полушубке, оставаясь пока таким же округлолицым, каким был и раньше.

Когда вошел Ковалевский, все посмотрели на него изумленно, а Ваня сложил альбом.

Но Ковалевский сказал, стараясь быть спокойным:

— Продолжайте, господа, продолжайте: это нашим наступательным операциям не помешает.

И даже сам открыл альбом Вани — посмотреть на его рисунок.

Так же неожиданно, как он вошел, он спросил Ваню, разглядывая, что он успел набросать:

— Как вы думаете, Иван Алексеич, что нужно иметь командиру корпуса, чтобы... чтобы хорошо управлять корпусом в бою?

— Художественное воображение? — полувопросительно ответил Ваня, подумав.

— Гм... мнение специалиста в своей области искусства,— улыбнулся Ковалевский.— Так же точно, если бы спросить фабриканта обуви, он бы ответил: «Хорошие сапоги для солдат».

— Однако без большого воображения управлять большой армией нельзя,— упорствовал Ваня.— Взять хотя бы паршивую эту речку Ольховец... Если бы начальство представило себе переправу через нее во всех деталях, тогда бы оно...

— Тогда бы оно сказало, как и сказало нам: «Используйте для переправы местные средства». Вот и весь разговор... Нет-с! Надо мыслить войну чисто прагматически: причина — следствие, причина — следствие... цепь логических посылок и выводы. На войне есть минимум здравого смысла, из пределов которого выскакивать нельзя, и знать его надо, как пятью пять, но именно его-то у нас и не знают... И не хотят знать, вот что главное. Самое важное — это в каждый ответственный момент до точки знать свои силы, и хотя бы процентов на семьдесят знать силы противника. А у нас знания только вчерашние, а сегодняшних — никогда не бывает.

Так как в это время зевнул, всячески сдерживая зевоту и делая поэтому неестественно страшное лицо, Добычин, то Ковалевский очень живо обратился к нему:

— Лев Анисимыч! Хотите спать? Ложитесь, голубчик, и спите. Копите энергию. Она нам сегодня уж не понадобится, а завтра будет нужна. Покойной ночи!

А Шаповалову Ковалевский сказал:

— Сейчас, должно быть, будет говорить капитан Широкий, но-о... хорошего ничего он нам не скажет.

— Как так? Думаете, что атака наша... крахнет?

— Захлебнется. Это ясно, как фельдфебельский сапог.

— Неужели, Константин Петрович, захлебнется? — испуганно пробасил Ваня.

— Как она была подготовлена, так она и пройдет. Вот это и называется предвидеть... Стреляли громко, а что толку? В белый свет. Незачем было снаряды тратить. Много труда затратить пришлось, пока их доставили, а какое впечатление они произвели на противника? Сегодня же мы с вами узнаем, что никакого... А командир корпуса сейчас десятый роббер в винт играет у себя в Хомявке. В имении очаровательнейшей, черт ее дери, польки Богданович!.. Мы тут не знаем, где кусок дерева взять для переправы, а пошли-ка солдат нарубить бревен в ее лесу, что вам запоет наш корпусный командир!.. И какой же может быть у него винт без корпусного инженера? А мы с вами этого полубога можем увидеть только во сне. Зачем же он существует, скажите?

Часов в девять капитан Широкий сообщил по телефону, что высланные им дозоры донесли что-то совсем несообразное: будто никаких рот кадомцев в том направлении, в каком они шли, уже не осталось,— часть их отошла назад и вправо, к фольварку Михалполе, а бóльшая часть разбежалась.

— Ну, вот видите, вот видите! Вот вам и успех, который мы должны были развить... Но все-таки надо же установить связь с ними, чтобы при контратаке австрийцы не зашли нам в тыл. Вы понимаете? Пошлите конных разведчиков — пять-шесть разъездов,— приказал Ковалевский и, положив трубку, обернулся к Ване и Шаповалову:

— Вот вам и главная атака... А сколько было на нее надежд!

Через час капитан Широкий звонил снова. Оказалось, что два из посланных разъездов наткнулись на несколько австрийских команд, которые высланы были для улова пленных и сбора оружия убитых и раненых кадомцев.

— Ну, вот видите, вот видите!.. Логика вещей подскажет им еще и контратаку, как это было вчера, а у

нас легкие орудия стоят без прикрытия! — прокричал Ковалевский Широкому.— Они могут свободно захватить наши орудия... Сейчас же выделите прикрытие! Если мы, даже не зная местности, вздумали наступать ночью, то что им мешает при отличном их знании местности сделать то же? Нужно готовиться ко всему теперь же,— потом будет поздно!

Отдав этот приказ, Ковалевский позвонил в штаб дивизии. Но в ответ на его доклад о положении на высоте 384 полковник Палей сказал насмешливо:

— Вот уж действительно у страха глаза велики! У вас неверные сведения, Константин Петрович! Кадомцы высоту взяли и идут сейчас дальше. Вообще атака развивается превосходно.

Ковалевский спросил ошеломленно:

— А у вас, у вас откуда такие сведения?

— Я только что говорил со штабом корпуса.

— Ну, знаете ли, я своим разведчикам больше верю, чем штабу корпуса! — совершенно несдержанно крикнул Ковалевский.— А так как не хочу потерять ни орудия, ни деревню Петликовце, то приму меры для их охранения, насколько это в моих скромных силах... Это и будут мои действия в развитие успеха атаки!

И он действительно из двух рот первого батальона, оставшихся в резерве в Петликовце, приказал выделить полуроту в заставу на шоссе с западной стороны деревни.

Австрийской контратаки не было в эту ночь, были только обычные поиски разведчиков; но штабы убедились наутро, что целую ночь к ним, в ближайший тыл, с боевого фронта поступали донесения об успехах, которых не было, и о стремительном движении вперед в то время, когда полки откатывались назад, на те же позиции, с которых начинали атаку.

Это вызвало наутро негодующий приказ по армии, которым строжайше воспрещались ложные донесения, мягко названные «непроверенными слухами».

Так как уничтожающее действие самых мощных машин войны не могло быть, конечно, взято под подозрение, то в штабе армии усомнились в уменье артиллеристов владеть ими и усиленно начали искать германских руководств для стрельбы из тяжелых орудий. Скромно и далеко не полно потери армии за эту ночь были исчислены в пять с лишним тысяч.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Третий день наступления выдался неожиданно для всех ясный, тихий и теплый. Эта неожиданная ясность декабрьского галицийского неба неминуемо должна была отразиться в мозгу армии,— в штабах генерала Щербачева и корпусных командиров Истопина и Флуга.

Пожертвовав всем для внезапности атаки и все-таки не добившись заметных успехов, новая армия, явившаяся тайно на этот фронт, показала уже противнику, что явилась она не с пустыми руками, и больше ей нечего уж было таить.

И с утра в этот ясный день все старшие генералы армии пришли к счастливо-ясной мысли, что наступавшим частям, три дня проведшим без крыши, три ночи не спавшим и почти ничего не евшим, необходимо дать отдых.

Об этом решении Ковалевский узнал, встретив на улице деревни генерала Весселя в сопровождении двух полковников, командиров дивизионов: тяжелого — Герасимова и легкого — Гриневича.

— Скажите мне спасибо, полковник,— весело заговорил инструктор артиллерии, несколько задержав руку Ковалевского.— Флуг сидит на горе Бабе, Флуг лежит на Бабе, Флуг спит на Бабе, Флуг, словом, большой бабник, а все донжуаны воинственны, и он тоже. Знаете ли, что он непременно хотел, чтобы наступали и сегодня, но я представил на совещании все резоны за отдых, и вы с вашим геройским полком можете, наконец, выспаться, с чем вас и поздравляю!

— Спасибо, если это сделали вы. Но хотел бы я очень знать, почему так скверно стреляла вчера тяжелая? — спросил Ковалевский.

— А когда же она могла пристреляться? Вчера совсем не нужно было стрелять,— я говорил это, но восторжествовало мнение все того же Флуга: вызвать если не разрушение всех позиций, то сильнейшее моральное потрясение. Вышла напрасная трата снарядов. Кстати, ваш полк занимает высоту...

— Высоту триста семьдесят.

— Гм... Высоту триста семьдесят...— Вессель развернул карту.— Мы наблюдаем ее,— она теперь отлично видна,— однако, по всем видимостям, ее занимают австрийцы, и занимают очень прочно.

— Пять моих рот, а не австрийцы,— я это несколько раз передавал и полковнику Герасимову и полковнику Гриневичу,— рассерженно отозвался Ковалевский.— И всячески просил не перестрелять моих солдат.

Седобородый, старчески худой, но старающийся держаться прямо, Герасимов прищурил выцветшие глаза и заговорил неожиданно твердо:

— А мне все-таки кажется, извините, что ваших солдат на высоте триста семьдесят нет, а есть австрийцы. По крайней мере только что вернулся оттуда мною посланный один младший офицер и донес, что его там жестоко обстреляли, что он едва унес ноги.

— Непостижимо,— кто его мог обстрелять? — насмешливо ответил Ковалевский.— Может быть, он был в австрийской шинели? Вот высота триста семьдесят,— указал он рукой,— там пять моих рот.

— Гм... Эта, по-вашему, триста семьдесят? — спросил Вессель.— Почему же, по-нашему, это — триста семьдесят пять?.. А триста семьдесят — вот эта, левее.

— Как так триста семьдесят пять? Как левее?

— Мы руководствуемся картой... Взгляните. Вот шоссе. Вот высота триста шестьдесят шесть, вот триста восемьдесят четыре, вот триста восемьдесят два,— это на север, а на юг от шоссе — триста семьдесят пять и... триста семьдесят, о которой мы с вами спорим.

Ковалевский присмотрелся к карте, мгновенно понял, что он ошибался эти два дня, и забормотал сконфуженно:

— Абракадабра!.. Это один из моих ротных командиров сбил меня с толку. Он занял триста семьдесят пять, а прислал донесение, что триста семьдесят! Конечно, большая вина на мне,— я оказался излишне доверчив.

Он даже покраснел, до того смутила его такая явная ошибка. Но Вессель сделал вид, что не замечает этого смущения. Он только погрозил в сторону высоты триста семьдесят кулаком, добавив к этому:

— По-го-ди-те, голубчики! Теперь мы вам покажем кузькину мамашу! Раз интердикт с вас снят, мы вам пропишем... Мы вам дадим пфеферу в количестве, вами непредвиденном.

Он был так доволен, что недоразумение с этой высотой наконец разъяснилось, что готов был, кажется, пуститься в пляс. И Ковалевский, который все еще был угнетен допущенной ошибкой, сказал вдруг с подъемом:

— Вот пропишите им в самом деле, и я вам даю слово, что хотя остался у меня в резерве всего один батальон, я возьму ее этим одним батальоном, высоту триста семьдесят.

— Эту вашу мысль я буду всячески поддерживать,— сказал, откланиваясь, Вессель, крепко пожимая его руку; Герасимов был тоже, видимо, доволен тем, что оказался прав, а Гриневич, несколько излишне полный и с несколько надменным взглядом красивых карих глаз, намеренно отстав от остальных, сказал Ковалевскому недовольно:

— Я получил жалобу на вас от одного из своих офицеров,— Плевакина, штабс-капитана.

— О да, да,— Плевакин, да,— все еще не простивший себе своей оплошности с высотой 370, очень живо отозвался Ковалевский.

— Я, конечно, не мог не верить своему офицеру, но, знаете, он написал мне что-то совершенно невероятное.

— Что я его арестовал?

— Действительно? Это было?

— Да, да. И если он сделает то же, что сделал, я снова сделаю то же, что я сделал.

— Но я... я должен буду передать его жалобу по команде,— потому что, согласитесь сами...

— Сделайте одолжение,— перебил Ковалевский.— Пожалуйста, делайте, как находите нужным.

Расстались они неприязненно, но Ковалевский тут же забыл об этом, потому что, если бы даже его и признали виновным в превышении власти, сам он чувствовал за собою гораздо большую вину: высоту 370 считал он ключом ко всем австрийским позициям на этом участке фронта, и в то же время, благодаря только его настойчивым требованиям, тяжелая артиллерия ее не обстреляла ни вчера, ни третьего дня!

Он сейчас же пошел говорить о своей ошибке по телефону со штабом дивизии.

Полковник Палей был как будто даже доволен,— это уловил по его несколько насмешливому тону Ковалевский,— что самый заносчивый и самоуверенный из командиров полка дивизии так опростоволосился,— но большого значения его ошибке не придавал, потому что о высоте 370 был более скромного мнения, чем Ковалевский.

— Каждая высота тут укреплена одинаково,— система укреплений одна и та же,— зевая в трубку, говорил Палей.

— Может быть, хотя едва ли так... Но высота триста семьдесят выдвинута вперед и фланкирует все наступающие наши части,— как же можно, что вы! Ее именно и надо взять в первую голову! — горячился Ковалевский.— Я предлагаю взять ее своим полком, конечно, после основательного обстрела.

— Перед каждой головной частью та или иная высота, и она-то и кажется каждой части ключом ко всем тут позициям,— снова зевнул в трубку Палей.— Генерал Флуг настаивает на том, чтобы взять триста восемьдесят четыре. В этом есть смысл, и когда триста восемьдесят четыре будет взята, то мы зайдем австрийцам в тыл, и высоту триста семьдесят совсем не нужно будет брать,— ее и так очистят.

— Вашими бы устами мед пить. А когда же Флуг собирается брать триста восемьдесят четыре?

— Сегодня после обеда.

— Ка-ак так сегодня? Сегодня же решенный отдых.

— Да-а, об отдыхе говорилось, но... получено сообщение, что граф Ботмер подводит из своего тыла сюда большие подкрепления,— решено его предупредить.

— А как же с отдыхом? Ведь так можно вымотать всех — и нижних чинов и офицеров? Куда же к черту будут они годны через два-три дня?

— Да ведь вашему полку придется только поддерживать атакующих кадомцев, как вчера было.

— Куда же годятся кадомцы для новой атаки?

— Это уж дело Флуга и командира Кадомского полка, а не наше с вами.— Палей снова зевнул в трубку, так что слышно было, как хряснули его челюсти.

— Приятного сна! — крикнул ему Ковалевский и, соединившись со Струковым, с которым уже говорил раньше о том, как провел он ночь, Ковалевский приказал ему передать выговор прапорщику Ливенцеву за то, что своим донесением сбил его с толку: заняв,— и то лишь на гребне,— высоту 375, вполне второстепенного значения, назвал ее высотою 370 и тем ввел в заблуждение весь командный состав армии.

— Оповестить прапорщика Ливенцева, что...— начал было переспрашивать Струков, но Ковалевский перебил его резко:

— Не оповещение,— какое там к черту оповещение! — а строгий выговор с предупреждением вперед более внимательно относиться к тому, что доносит, и не-

проверенных сведений мне не доносить, чтобы в глупое положение меня не ставить!

Впрочем, минут через двадцать он звонил ему снова и спрашивал, передал ли он выговор Ливенцеву, а когда Струков начал извиняться, что еще не успел этого сделать, но сейчас сделает, Ковалевский прокричал ему:

— Знаете ли, отлично, что не успели,— я скажу ему об этом сам, когда зайду навестить батальон. А то эти штатские люди, эти студенты, они... они так воспитаны, что он может еще обидеться, а во время боя это нехорошо.

— Предполагается разве бой сегодня, под австрийский Новый год?

— Наступление будет вестись там же, где и вчера,— на всякий случай будьте готовы. Я вам потом сообщу, как и что. Храни вас бог!

Генерал Флуг, бывший во время японской войны начальником штаба медлительного Куропаткина, теперь, будучи корпусным командиром, проявлял большое упорство в атаке австрийских позиций. Артиллеристы под руководством Весселя еще только занимались перегруппировкой орудий, когда им приказано было в тринадцать часов открыть огонь. Однако к этому времени командиры батарей не успели еще вернуться с наблюдательных пунктов, так что даже и в четырнадцать часов обстрел начаться не мог. Артиллерийская подготовка атаки началась позже пятнадцати, но снарядов оставалось уже мало, обстрел был медленный, с поправкой каждого выстрела.

Ковалевский был снова у своих рот второго батальона, и мимо него снова шли в атаку кадомцы — остатки тех, которые ходили накануне. Но теперь лица их были страшны. Ночью они под огнем пулеметов лежали, вдавив головы в грязь, умываться же днем им, видимо, не пришлось, и теперь они проходили черные, как эфиопы,— только поблескивали глаза, иногда зубы в открытых от быстрого шага ртах. Еще с дальних дистанций их встретил вновь сильный пулеметный огонь австрийцев: количество пулеметов на высоте 384 явно выросло за этот день.

Не один только Ковалевский видел уже по самому началу атаки, что она будет так же безуспешна, как и вчера; это говорили командиры и других полков, выдвигавших поддержки кадомцам. Двигавшийся уступом за кадомцами батальон капитана Широкого был обстрелян с дистанции в две тысячи шагов и, потеряв до ста

человек, остановился: идти дальше значило просто идти на расстрел.

В эту ночь дивизия, к которой принадлежал Кадомский полк, понесла такие большие потери, что совершенно потеряла боеспособность, и остатки ее на другой день были отправлены в тыл.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Генерал Щербачев, этот невысокий и сухой, узкоплечий человек, плешивый со лба, с очень близко к длинному хрящеватому носу посаженными глазами и глухим голосом, был очень удивлен и раздосадован бесплодностью трехдневных атак.

Новому верховному главнокомандующему — царю и новому начальнику его штаба — генералу Алексееву непременно нужна была крупная победа, иначе зачем же было сменять неудачника, великого князя Николая, и отсылать его, вместе с его начальником штаба Янушкевичем, на Кавказский фронт? Крупная победа нужна была и для того, чтобы поднять русские фонды в глазах богатых деньгами и военным снаряжением союзников — французов и англичан, и для того, чтобы оттянуть с их фронта на свой, русский, значительные германские силы. Наконец, крупная победа нужна была и для того, чтобы внутри России несколько успокоить всех недовольных затянувшеюся и совершенно беспросветной, неслыханно несчастной войной.

Но было в то время и еще одно обстоятельство, властно требовавшее крупной победы. Обстоятельство это, ввиду своей крайней деликатности, скрывалось от нескромных взглядов грубой толпы и известно было только во дворце: из Вены приехала в Петроград бывшая фрейлина двора Васильчикова с очень важным письмом от брата царицы, принца Эдди, с изложением возможных условий сепаратного мира.

Это скрытое обстоятельство требовало крупной победы на галицийском фронте потому, что и подлинный правитель России — Распутин и царица Александра очень крепко ухватились за возможность мира, но мириться хорошо, когда ты силен, а сила выявляется в победе.

У генерала Щербачева был мозг математика. Он точно вычислил все, что необходимо было для победы, он

шел к этой победе не ощупью, а наверняка, он не забыл даже и внезапности нападения, способного иногда удесятерить силы, но, сделав все нужное для победы, он вдруг увидел, что победы нет, и лучшему из своих корпусных командиров, ученейшему, и опытнейшему, и упорнейшему генералу Флугу он прислал из Городка приказ, которым требовал: «Принять самые решительные меры к успеху... сменить всех лиц, которые оказались не на своих местах... Сильная артиллерия и большой расход патронов должны были бы обеспечить победу... Видимо, не было строгого плана и строгой системы, не говоря уже про отсутствие связи. Успеха, которого не добились на широком фронте, необходимо добиться на более узком...»

Однако даже и для упорнейшего Флуга, прочно сидящего на облюбованной им Бабе в нескольких верстах от фронта, на четвертый день наступления стало ясно, что войскам его корпуса, так же как и войскам соседнего, к которому принадлежала дивизия Котовича, необходимо дать прежде всего отдых уже по одному тому, что для нового наступления не было снарядов.

Снаряды подвозились, правда, все время, поезд за поездом на станцию Ярмолинцы и дальше — на Проскуров, но оттуда доставить их на фронт представлялось почти неразрешимой задачей. Тяжелые грузовики артиллерийских парков совершенно утопали на окончательно размолотом шоссе. Приходилось перегружать снаряды на более легкие машины, но и те часто ломались и выходили из строя. Щербачев неустанно трудился, отыскивая средства, чтобы сделать проезжими дороги: мобилизовал население на работы по замощению шоссе, привлекал к работам даже конный гвардейский корпус, стоявший в тылу в видах развития будущего успеха пехотных атак, но все это мало помогало делу,— снарядов на фронте было, по мнению Весселя, недостаточно даже для защиты, не только для наступления.

Кроме того, Вессель теперь уже не хотел ни за что уступить Флугу, если бы даже тот и потребовал от него нового обстрела: он требовал теперь сам по крайней мере сутки для пристрелки батарей. Он сумел убедить и Щербачева, что драгоценные по своему действию и по трудности их доставки тяжелые снаряды нелепо было бы тратить как попало, что каждый снаряд должен быть послан в ту именно точку неприятельских позиций, какая от него больше всего пострадает, как пуговицы на брю-

ках пришиваются только там, где они нужны для подтяжек и прочих серьезных целей, а не всюду и сплошь. Вессель не уступил и самому Щербачеву, когда тот предложил было придвинуть тяжелые батареи поближе к фронту: он не видел в этом пока никакой нужды. И весь день, пока отдыхали передовые полки, он хлопотал неутомимо, чтобы артиллерийскую подготовку новой атаки, на более узком фронте, обставить как можно более научно и безупречно со всех точек зрения.

Теперь атака должна была вестись на высоту 370, и вести ее должен был полк Ковалевского. И если все, что сделано было раньше его полком,— захват окопов на высоте 375, отчаянная и совершенно нелепая игра в атаку по почину бесшабашного четвертого батальона кадомцев, даже и занятие деревни Петликовце,— совершилось без его личного участия, то теперь он не хотел пропустить ни одного, самого тонкого и самого мелкого штриха в подготовке атаки, не продумав его лично и на месте со всех сторон.

Но атака высоты 370, которая была выдвинута сильно вперед по сравнению с остальной линией австрийского фронта и на которой отчетливо видны были даже и без бинокля редуты и блиндажи и густая паутина проволоки, представлялась легким и простым делом командиру бригады Баснину, и он просил Котовича поручить всецело ему осуществить эту атаку. Котович, конечно, согласился, и Баснин, чтобы ввести в дело оба полка своей бригады, северный склон оставил за Ковалевским, а на южный назначил полковника Дудникова, который тоже должен был выделить батальон для атаки. Так как Ковалевский считал, что высота занята не меньше чем полком мадьяр, то против этого плана не возражал ни слова; напротив, он говорил своему адъютанту:

— Все складывается как нельзя лучше. Вся артиллерия дивизии в руках у Баснина, к высоте он уж, конечно, присмотрелся, артиллеристы наши обещают в полчаса все австрийские окопы и блиндажи изуродовать, как бог черепаху. Значит, наше дело только — «приди и возьми», что мы и должны будем сделать без особых потерь. Наконец-то стали на правильный путь: с этой высоты если бы начали в первый день, непременно мы бы уж теперь поили коней на Стрыпе.

Для атаки он готовил красу полка — первый батальон. Как рачительный хозяин, он сберег его к самому трудному, быть может, но зато и к самому почетному

делу. Батальон этот провел дни наступления не под дождем и туманом, не в невылазной грязи, а под крышами Петликовце; люди отдохнули после пятидневного перехода, обсушились, обчистились, часто баловались чаем, ели горячий обед, что не удавалось под австрийским обстрелом наладить на позициях. За все эти блага жизни от них теперь требовалось совсем немного — пройтись на высоту 370, которая ко времени этой прогулки вся уже будет изувечена снарядами разных калибров, и занять то, что уцелеет от австрийских окопов.

Батальоном командовал капитан Пигарев, более молодой, чем Широкий и Струков, гораздо более видный и бравый, голос которого мало уступал в зычности голосу самого Ковалевского. Кроме того, Пигарев был весьма неплохой тактик, и Ковалевский надеялся, что если будет трудная минута при атаке, то он не растеряется и там же, на месте, придумает необходимый тактический ход и его выполнит удачнее, чем это могли бы сделать Струков или Широкий.

Несколько раз показывая Пигареву тот склон, по которому он должен подымать свои роты, Ковалевский говорил ему:

— Не забывайте же, Алексей Данилович, про окопы,— они были пустыми, когда наступал второй батальон, и глупо сделали тогда Дубяга и Яблочкин, что их не заняли,— в них можно было бы удержаться. Прекрасный исходный пункт для решительной атаки. Я думаю, что если даже их заняли опять австрийцы, то при обстреле опять очистят. Непременно суньте в них хотя бы по взводу. А затем — конфигурация гребня. Видите, как проволока спускается круто вниз? Это что значит?

Пигарев, нерешительно улыбаясь, присматривался к гребню серыми небольшими глазами и отвечал так, чтобы ошибки в ответе во всяком случае не было:

— Если круто спускается проволока, значит, круто придется нам.

— Напротив, совсем напротив! — весело возражал Ковалевский.— Это значит, что когда ваша авангардная рота дойдет до проволоки и начнет ее резать, она может заниматься этим совершенно спокойно: гребень в это самое время будет обстреливаться нашими легкими батареями, а легкие батареи наши,— вам известно, как они стреляют! Оскандалились пока что тяжелые, а легкие у нас — конфетки! Раз ваша первая рота дойдет до проволоки,— значит, высота наша. Это имейте в виду.

Пигарев был выше среднего роста; когда стоял перед начальством, казался стройным; небольшая бородка его, почти шоколадного цвета, расходилась от подбородка веером,— и это почему-то придавало ему особую молодцеватость. Был снова ясный день; новая нижняя проволока поблескивала на солнце, и Пигарев, соображая про себя, сколько может быть рядов этого серьезнейшего препятствия, говорил вдумчиво:

— Это представить можно, Константин Петрович, но все-таки лучше было бы, если бы колья завалили наши снаряды, а не то чтобы резали проволоку нижние чины. Паскудное это занятие.

— На этом я буду всячески настаивать! Конечно, французы, например, проволоки не режут — это отсталый прием. Я уже говорил об этом Баснину, но он ссылается на то: «А вдруг не хватит снарядов?» В первую голову уничтожить, дескать, живую силу и машины: горные пушки, пулеметы,— а уж потом... Но я буду при орудиях сам! Я сам буду следить за обстрелом. Этот Баснин придумал было такой план атаки, что у меня волосы встали дыбом. Чтобы артиллерия обстреливала высоту ночью, а на рассвете чтобы мы овладели ею штыковым ударом! Каково? И наш Котович согласился с ним, вот что ужасно! Хорошо, что хоть корпусный командир согласился не с нашими генералами, а со мною, что эта тактическая абракадабра годится только для оловянных солдатиков, а не для живых людей. Я просил также, чтобы мне временно подчинить батальон дудниковского полка, чтобы я мог успеть его подготовить, а то он засиделся в резерве и будет смотреть тут на все, как баран на новые ворота. Но, конечно, раз ожидается успех, Дудников сам желает пожать лавры. Пусть его, лишь бы ничего не напортил. Я, разумеется, с ним договорюсь, как действовать вашему батальону с его батальоном.

Свой командный пункт Ковалевский наметил у блиндажа, взятого Ливенцевым. Отсюда по воздуху было не больше полуверсты до гребня высоты 370, и были видны все изломы австрийских окопов. И ему все хотелось, чтобы командир легкого дивизиона Гриневич дал сюда артиллерийского наблюдателя. Но отношения с ним были испорчены из-за Плевакина; он отказал в этом. Между тем с высоты 366, где расположились артиллерийские наблюдатели сплошною кучей, совсем не видно было окопов против блиндажа Ливенцева. Представляя, какой будет обстрел позиций при таком наблюдении, Ковалев-

ский приходил в бешенство и настоятельно требовал кого-нибудь на высоту 375. Был прислан, наконец, один совсем молодой подпоручик, посмотрел на австрийские окопы, сказал беспечно: «Ничего,— зашьем снарядами!» — и быстро ушел.

Ковалевскому оставалось только жаловаться на подобное отношение к серьезнейшему общему делу артиллеристов дивизии генералу Баснину, однако Баснин почему-то принял сторону артиллеристов: быть может, потому только, что жил в Петликовце в одной хате с ними, как взявший на себя еще раньше командование артиллерией, хотя и был до отставки кавалерийским генералом.

К тому, чего добивался Ковалевский, внимательнее мог бы отнестись Вессель, но он был занят в это время на других участках фронта, где тоже готовилась атака, одновременная с атакой высоты 370. Ковалевский хотел залучить на свой фронт хотя бы одну из двух крупнокалиберных батарей, все еще остававшихся у Фешина, хотя он никуда не двигался из деревни Пилявы, но Фешин сослался на то, что на него возложена демонстрация, и батареи необходимы ему самому. Баснин тем охотнее согласился с ним, что свои артиллерийские средства считал более чем достаточными для такого пустого дела, как разгром одной всего высоты.

Он сказал Ковалевскому, с явной досадой глядя на него мосичьими, стеклянно-блестящими глазами:

— Ну, знаете ли, Константин Петрович,— это, наконец, становится всем нам поперек горла, что вы нас так беспокоите по пустякам! Давай вам то, давай вам это, как будто не сделают всего, что нужно, без вас. Вы — командир пехотного полка, будете вести свой полк на развалины, на... мусорные ямы, вот на что! Ничего там живого не останется после артиллерийского обстрела.

— Я сомневаюсь в этом. Я вижу, как ведется подготовка к обстрелу, и я не хочу, чтобы полк мой попал в западню по милости разных Плевакиных!

— Плевакин,— вот видите,— Плевакин!.. Я знаю, как вы его вздумали арестовать,— мне известно это, известно, да, известно!.. А между тем Плевакин работает за семерых.

— Очень рад, если это я его выучил, как надо работать. Но работает он все-таки скверно. Я вижу, что артиллеристы не уточняют целей, их план даже не предвидит обстрела проволоки, а за это будет расплачиваться пехота.

Баснин несколько секунд стоял, выпучив глаза и расставив руки, наконец прохрипел:

— Я... я не могу больше говорить с вами... и не желаю, да! Не могу и не желаю!..— и повернулся к нему жирной спиной.

Это была уже ссора с непосредственным начальством, однако и спустя часа три после этой ссоры Ковалевский все-таки требовал прислать наблюдателя на высоту 375, к блиндажу десятой роты, и в день атаки, точно для того чтобы как-нибудь отделаться от назойливого командира полка, явился от чужой тяжелой батареи, пожертвованной Флугом для обстрела 370, телефонист и доложил, что наблюдатель к нему шел с проводом от своей батареи, но провода не хватило, и он остался внизу.

— Ка-ак так провода не хватило? — закричал Ковалевский.— Да, наконец, если и не хватило,— я ему дам провода сколько угодно, хоть на пять верст!

Прапорщик Шаповалов был вместе с Ковалевским в это время у блиндажа десятой роты, а в блиндаже в углу нашелся смотанный запасной провод. Быстро захватив с собой и этот провод и пришедшего с докладом телефониста, Шаповалов помчался вниз, и за полчаса до начала атаки Ливенцев увидел жидкого, белобрысого, совсем еще зеленого подпоручика-артиллериста, который, представляясь Ковалевскому, глядел на него опасливо исподлобья. Но Ковалевский был очень обрадован. Он взял его за локоть и торопливо повел в окоп:

— Вот сюда, поручик Пискунов, сюда! Здесь самое удобное для вас будет место: наблюдать отсюда прекрасно, и вы в безопасности. Видите их окопы? Все как на ладони. Может быть, фронтальный огонь при таком устройстве окопов — при такой ломаной линии,— будет и слаб, но зато косоприцельный, да еще на близких дистанциях — сильнее и быть не может!.. А вон залегла моя первая рота — в лощине. Когда к ней подойдет вторая, она встанет и пойдет в атаку.

Ливенцева несколько удивило в Ковалевском, что даже и этому белобрысому юнцу, с потным плоским носом и холодными вялыми руками, он развивает подробно придуманный им план атаки. Он объяснял себе это тем, что наблюдатель этот, каков бы он ни был сам по себе, являлся в его глазах не только связью с далекими отсюда машинами войны; нет, он олицетворял собою все эти машины, и пока будет идти артиллерийская подго-

товка атаки, Ковалевский не отойдет ни на шаг от него, от артиллерийского подпоручика Пискунова.

Первая рота заняла свои окопы в лощине перед подъемом на 370 еще ночью. Ливенцев представлял себе теперь, как встанет и пойдет резать ножницами проволоку эта краса полка, подобранная очень тщательно самим Ковалевским еще в Севастополе из красивых, рослых, смуглых украинцев, лучших певунов и плясунов и лучших стрелков полка, во главе с фельдфебелем Ашлóю, самым сильным человеком в полку и самым представительным из всех фельдфебелей, которого давно уж наметили отправить с австрийским знаменем в ставку, когда случится полку захватить с бою это знамя.

Был снова ясный и безветренный день. Снег почти сошел со склонов, на которые падали лучи солнца, но он оставался еще на теневых скатах высот и был там насыщенно синим.

Высота 370 совершенно молчала, в то время как против нее с двух сторон накоплялись роты двух полков, и несколько тяжелых и легких батарей делали последние приготовления к тому, чтобы превратить ее блиндажи и редуты, так прочно и так искусно сделанные, в нагромождение деревянных обломков среди бесчисленных ям.

Четыре кольта остались у Хрящева в окопе, а здесь, при третьем батальоне, батареей выстроились на бруствере остальные одиннадцать пулеметов полка,— шесть максима и пять австрийских. Теперь атакующий не таился и не хотел уже пользоваться ни туманом, ни ночью, ни внезапностью: теперь он чувствовал себя достаточно сильным, чтобы не скрываться, и взял себе в союзники полуденный яркий свет, чтобы ни одна граната его, ни одна шрапнель не пропала даром.

Атака назначена была в тринадцать часов, и ровно без десяти тринадцать прапорщик Шаповалов передал по телефону командиру легкого дивизиона, что полк к атаке готов.

Ливенцев видел в полуверсте от окопов первой роты вторую и знал, что за нею в таком же расстоянии будет идти третья, потом четвертая; такой простой план атаки придуман был Ковалевским потому, что ему был отведен участок для атаки всего в шестьсот шагов, а на остальной участок должны были наступать роты полка Дудникова.

Эти десять минут, оставшиеся до начала атаки, Ливенцев провел в том, что в открытом окопе удобнее для

стрельбы устраивал лучших стрелков своей роты с наказом целиться в австрийские бойницы, если можно будет эти бойницы удержать на мушке, а если нет, то по живым целям, когда представится к этому возможность.

Даже и в эти последние перед атакой десять минут загадочная высота 370 напряженно молчала. Наконец, ровно в тринадцать часов, там, за деревней Петликовце, лопнуло в нескольких местах, и сюда на высоту напротив домчались первые гранаты. И весь третий батальон, сидевший, стоявший и лежавший около австрийского блиндажа, впился глазами в самый гребень, по которому вился зубчатый сплошной окоп.

В одном месте окопа там брызнуло вверх дерево козырька и земля.

— Ага! — довольно сказал Ковалевский Ливенцеву.— Это здорово.

И еще несколько раз он восхищенно вскрикивал: «Ага!» — но об этом уже только догадываться мог по движению его губ и по блестящим глазам Ливенцев, потому что от сплошного гула разрывов ничего не было слышно и в двух шагах. Казалось, что и под ногами земля гудела и вот-вот начнет взрываться и плескать черноземом и бревнами в воздух, как там, напротив, и поэтому сами собой шире, упористей ставились и глубже вдавливались ноги.

И показалось, что бесконечно долго так было,— сплошной грохот,— и гребень горы в дыму, точно там извергается вулкан. Но прошло всего только десять минут, отведенные для ураганного огня; потом контуры горы стали яснее и тверже,— бомбардировка перешла на замедленный темп, а внизу, влево, видно стало, как в колонне пополуротно, разомкнутыми рядами, прапорщик Кавтарадзе вел свою вторую роту к окопам первой.

Это была незабываемо торжественная минута, когда, выждав подхода второй, поднялась из окопа первая и пошла, и кто-то в ней блеснул над головою голубой сталью шашки. Ливенцев догадался, что это — фельдфебель Ашла: офицеры ходили без шашек здесь, на фронте. Он очень отчетливо представил себе, как идет впереди своих красавцев поручик Одинец, рослый и статный человек лет тридцати двух-трех, всего за год до войны вышедший в отставку, таврический земец...

Рота шла к проволочной сети, показавшейся именно теперь,— хотя три дня уже была она перед глазами Ливенцева,— очень широкой почему-то и непреодолимой.

— Присмотритесь, есть ли проходы? — кричал, подскочив к нему, Ковалевский.— Я не вижу!

— И я не вижу! — крикнул ему Ливенцев, добросовестно проведя по всей проволоке ищущим взглядом.

— Нет?.. Нигде нет? — Лицо Ковалевского побледнело, побелели даже глаза; оно было почти безумное.

— Нигде не вижу проходов! — беспомощно правдиво повторил Ливенцев.

А между тем из каких-то там уцелевших в окопах австрийцев бойниц доносились сюда редкие, правда, ружейные выстрелы, слышные в промежутках между разрывами русских снарядов.

— Они живы? Они стреляют, вы слышите? — кричал Ковалевский и тут же метнулся к линии пулеметов, и оттуда донесся его покрывший гул разрывов голос:

— Пулеметам выпустить очередь по линии бойниц!

Нервно зататакали пулеметы. Кое-кто из назначенных Ливенцевым стрелков, больше наугад, чем целясь,— бойниц не было видно,— принялся выпускать медленно и деловито пулю за пулей.

Первые ряды первой роты были уже у проволоки, и вот — очень ярко вдруг вырвалось это оттуда — то же самое голубое лезвие шашки Ашлы раза четыре всплескивало вверх и падало вниз. Ливенцев догадался, что это он рубит проволоку у кольев... Но вот он вдруг как-то странно нагнулся направо, взбрыкнув левой ногой, и упал, вскочил было и упал снова, и несколько раз так с ним было, и Ливенцеву против его воли померещились при этом виденные когда-то в детстве петухи, которым у кухни кухарка Настасья рубила головы топором на полене, а они долго подскакивали безголовые и брызгали кругом на траву кровью.

И все стоявшие доверчиво с ножницами у проволоки вдруг упали, может быть по чьей-нибудь команде,— мысль отказывалась думать, что все они подстрелены так же, как несчастный Ашла.

— Ашла убит! Вы видели? — подскочил снова к Ливенцеву Ковалевский.— А они, мерзавцы, уверяли...

Ливенцев понимал, что «мерзавцы» — это артиллеристы.

Ковалевский кусал себе губы; лицо его перекосилось, когда он кричал Ливенцеву:

— Капитан Пигарев должен был идти со второй ротой,— где он? Вы видите? Убит?

У Ливенцева зрение было острее,— он присмотрелся. Он ответил неуверенно:

— Кажется, это Пигарева ведут двое...

— Ранен? Значит, ранен? Я тоже вижу: ранен!

— Все трое легли в яму... в воронку!

— Ранен? Кто же будет руководить атакой? Э-эх!.. Э-э-эх!.. Надо задержать четвертую! Не подготовлена атака!

И Ковалевский кинулся в блиндаж к телефону.

А Ливенцев увидел, как над жидкой ползучей цепью подходившей согнувшись, как бы на четвереньках, третьей роты лопнула шрапнель,— австрийская, с розовым дымом. Через несколько секунд другая, третья...

— Заградительный огонь это называется,— сказал опытный подпрапорщик Котылев своему ротному.

— Заградительный? Откуда?

— Оттуда, с дистанции...

— А что же наша артиллерия зевает?

— Наша все-таки кроет,— сказать нельзя... Если бы всегда так!

Ливенцев поглядел на Котылева,— у него был серьезный, как обычно, деловой вид,— только глаза шире и густые темные брови выше.

Вторая и третья роты ползли вперед небольшими кучками — по пять-шесть человек, и у проволоки шевелились лежачие.

Из блиндажа выбрался Ковалевский. Он был спокойней на вид. Ливенцев подошел к нему сказать о заградительном огне австрийцев.

— Сколько вы насчитали разрывов? — спросил Ковалевский очень живо.

— Семь... вот восьмой... девятый...

— Жидко... Но все-таки живы! Ведь наши все время бьют по гребню, и какой результат гнусный!.. А Пигарев жив и не ранен... Сейчас получил от него телефонограмму. Залег в воронке. Четвертую роту он догадался оставить в окопе первой... Потери большие, но режут проволоку... Может быть... Все зависит от артиллерии... Но ведь нет,— нет ни одного попадания против нашего фронта! Нет. Вы видите?

Действительно, снаряды рвались где-то сзади, левее, ближе к той стороне, откуда наступал невидный отсюда полк Дудникова. Получалось такое впечатление, будто артиллерия вся, сколько ее есть, работает на тот полк,

а этот, полк Ковалевского, обрекает на расстрел у широчайшего поля проволоки.

И когда Ковалевский кинулся к наблюдателю, подпоручику Пискунову, сидевшему в окопе, Ливенцев его понял: он сделал бы то же самое на его месте. Он сделал это и теперь не из подражания,— подскочил к окопу вслед за командиром полка и увидел то, чего никак не ожидал увидеть: подпоручик Пискунов, скорчившись, лицом вниз, лежал на дне окопа.

— Что с ним такое? А? Разве к нам долетают пули? — кричал Ковалевский.

Пискунов не поднял головы.

— Разрыв сердца, что ли?

— Это они от испугу, ваше всокбродь,— объяснил один из связных.

— Ка-ак от испуга?.. А ну, вытащить его сюда, ко мне!.. Че-ерт! Что это такое?

Пискунова подняли двое, схватив его под мышки. Лицо его было в грязи, белые глаза едва ли что-нибудь видели ясно. Если бы его не поддерживали, он едва ли мог бы и стоять,— он обвисал как-то всем своим хлипким телом на руках двух крепких парней из десятой роты — Осмальчука и Швачки.

— Вы что это... поручик, а? — зыкнул на него Ковалевский.

Губы Пискунова шевельнулись беззвучно. Он что-то сказал, но совершенно ничего не было слышно из-за гула и треска разрывов.

А Ковалевский кричал уже не ему, а одному из своих связистов:

— В око-оп его!.. И если он опустит голову ниже бруствера, бей его по голове прикладом!

Пискунова увели, а Ковалевский кричал уже Ливенцеву:

— Вот какого наблюдателя нам дали, сукины дети!

И потом тут же тому связному, который стоял в окопе рядом с Пискуновым:

— Передай на его батарею, что ни одного разрыва против нас нет... что я спрашиваю, куда они стреляют? Если в небо, то для нас это не нужно, скажи!

И вдруг он повернулся к Ливенцеву снова:

— А наши отстреливаются там, не видите?

Трудно было бы различить в сплошном орудийном реве примешанные к нему слабые выстрелы из винтовок

на слух,— это можно бы было определить, только внимательно присмотревшись. Ливенцеву показалось, что кое-где иногда стреляли,— по бойницам очевидно, больше не по чем было стрелять,— но стреляли из задних кучек.

— А передние ряды? Я не вижу, чтобы отстреливались передние! — кричал Ковалевский.

— И я их не вижу! — кричал ему Ливенцев.

— Но ведь это же черт знает что! Я передал в штаб полка, что проволоку режут, а они, может быть, только лежат под проволокой, а? Где поручик Одинец,— не различаете?

Видны были только все одинаковые, желтошинельные, маленькие, слабо копошащиеся местами, а местами совсем неподвижные; как можно было различить среди них поручика Одинца?

— Если он убит или тяжело ранен... а?.. А у Пигарева какой может быть кругозор в его яме?

Внимательно и довольно долго глядя в бинокль, он вскрикнул вдруг:

— Сто! Сто, не меньше!

— Чего сто? — не понял Ливенцев.

— Сто проволок, проволок сто, не меньше, перерезать надо, чтобы сделать один только проход! Вы представляете?.. Сто раз можно быть убитым за это время!.. Подлецы! Пожалели снарядов на такое важное дело!.. Позици-онная война, а не маневренная, нет! А они... Они бы мне лучше проходы в проволоке сделали,— только, ничего больше... Идиоты!

И точно для того, чтобы доказать, что он прав, там, на гребне, на бруствере, показались один за другим десять,— ровно десять,— это ясно видел и сосчитал Ливенцев,— австрийцев и стали, как на ученье, в шеренгу, винтовки у ноги. Потом они очень четко и согласно, как по команде, взяли на изготовку, потом на прицел и совершенно спокойно, обидно спокойно, начали расстреливать на расстоянии каких-нибудь ста шагов от себя ряды первой роты.

— Это что-о? Что это? — дико выкрикнул Ковалевский и кинулся к пулеметам.

К пулеметам же спешил и Струков, еще с утра покинувший свой шалаш ввиду близкого боя и обосновавшийся в прочном блиндаже с двойным накатом под саженью земли. Но одиночные стрелки без особой команды уже работали спусками и затворами, увидя перед собою живую цель.

Трое — это заметил Ливенцев — упали там с бруствера, а может быть, только спрыгнули, остальные же, выпустив по обойме, взяли к ноге, повернулись, как по команде, и сошли так же неторопливо, как взошли.

Это уж было похоже на явное издевательство. Выходило, что там, в этих подземельях, не только никто не подавлен нашим ураганным обстрелом, как был подавлен им артиллерийский подпоручик Пискунов, но его как будто и не заметили вовсе, как не замечали пуль наших стрелков. Однако там молодечество не ограничилось этими десятью. Только они сошли, на смену им вышли другие десять, и все повторилось, как на ученье перед казармой: выстроились в шеренгу, в два приема взяли на прицел винтовки...

Около пулеметов бушевал, выходя из себя, Ковалевский. Действительно, было обидно,— эту великую обиду остро чувствовал и Ливенцев,— пулеметы деятельно татакали,— одиннадцать пулеметов,— австрийцы же спокойно опоражнивали свои обоймы по несчастным, не добитым еще солдатам первой роты, молодцам, красавцам, превосходным стрелкам,— цвету полка! И они, превосходные стрелки, совсем не отвечали на этот дерзкий обстрел... Значит, не могли уже больше владеть винтовками...

Под неистовый крик Ковалевского пулеметы заработали вовсю, и это все-таки оказало желанное действие: больше уж не стало видно смельчаков на брустверах, но как раз в это время почему-то совершенно прекратился обстрел высоты из орудий,— не было уж видно ни одного разрыва, очень слышна стала методическая, как у швейных машин, трескотня пулеметов, старавшихся нащупать бойницы, как видно совсем не поврежденные снарядами.

— Почему же замолчали наши? — кричал Ковалевский.— Почему замолчала ваша батарея, подпоручик Пискунов? — подскочил он к незадачливому наблюдателю.

Пискунов боялся уже теперь ложиться на дно окопа,— около него стоял связной с винтовкой,— он только втиснул голову в плечи, насколько позволила ее втиснуть тонкая, беспозвоночная на вид шея, и дрожал мелкой дрожью. Так же стоял он и тогда, когда связной бесцеремонно повернул его, как музейную куклу, лицом к командиру полка.

— Вытащи его из окопа! — приказал связному Ковалевский.

Ливенцев придвинулся ближе, мигнув Струкову.

— Ты... офицер, или... или что ты такое? — с бранью гораздо более крепкой, чем эта брань удавалась подпоручику Кароли, накинулся на Пискунова Ковалевский.

Пискунов, потерявший совершенно человеческий облик, пятился, Ковалевский наступал, хватаясь за кобуру браунинга, но когда он выхватил, наконец, браунинг, Пискунов бросился вдруг бежать.

— Застрелю-ю-ю, сволочь! — кричал, ринувшись за ним, Ковалевский, но следивший за его движениями Ливенцев бросился к нему и еле удержал его, обхватив сзади.

Пискунов бежал самозабвенно. Откуда взялась такая резвость в его дрожавших, обомлевших тонких ногах,— непонятно было Ливенцеву, но он скоро исчез за гребнем, а оттуда, из-за другого гребня, с высоты 370 вдруг налетел целый рой шрапнели.

И хотя на Ливенцева глянуло было за секунду перед этим совершенно безумное лицо Ковалевского, готового крикнуть уже ему, непрошеному защитнику Пискунова, что-то незабываемо оскорбительное, эта австрийская шрапнель, обдавшая все кругом пулями, как градом, и окутавшая всех удушливым дымом, погасила вспышку.

— В блиндаж! Идите в блиндаж! — закричал Ливенцев, не отнимая от своего командира заботливых рук.

Струков впереди их тоже бежал к блиндажу, согнувшись. За ним побежали они оба — Ливенцев и Ковалевский.

Шрапнель молотила по третьему батальону недолго,— не больше пяти минут; появились первые в этот день раненые и убитые,— всего человек двенадцать. Однако пулеметы, стоявшие в ямках на бруствере в ряд, не прекратили стрельбу, как под внезапно налетевшим, хотя бы и проливным, дождем не прекращают работы хорошие рабочие.

Ковалевский же в блиндаже вызвал центральную станцию и приказал справиться, почему замолчали батареи.

И вот в ответ на этот понятный, казалось бы, вопрос поползла совершенно непостижимая телефонограмма: срочный и довольно длинный приказ генерала Баснина, которым полк Дудникова почему-то совсем снимался с высоты 370 и направлялся на более южный участок ав-

стрийских позиций, а полку Ковалевского ставилась задача непременно овладеть второй укрепленной полосой. Артиллерия же на участке его полка замолчала в видах того, чтобы не перебить своих.

Телефонист химическим карандашом, щедро его слюнявя, так как свету в блиндаже было немного, а ему хотелось ясно видеть свои же строчки на шершавой бумаге, записывал этот длинный приказ, от которого у Ковалевского все шире становились глаза, пока он, наконец, не выскочил из блиндажа освежиться. Струков, вздергивая плечами и выпячивая губы, вскрикивал с паузами: «Что за дичь!.. Что за пропасть!.. Боже мой, как нам не везет!»,— а Ливенцев пытался все-таки что-нибудь понять и осмыслить в этом явно бессмысленном приказе, когда в блиндаже появился снова Ковалевский.

— Кончил принимать? — заорал он на телефониста.

— Так точно,— вытянулся, руки по швам, тот, твердя про себя последние три слова, которых не успел записать.

— Давай сюда!

— Еще дописать три слова, вашескобродь!

— Черт с ними! Три слова,— черт с ними! Весь первый батальон расстрелян, а они тут... мать... мать... мать... с тремя словами!.. Вместо трех тысяч снарядов — три слова... Кончено с первым батальоном!..

И Ковалевский так поглядел на Струкова и Ливенцева, что Ливенцев прикусил себе до боли нижнюю губу, потому что к горлу подкатило что-то жесткое.

С полминуты сидел так Ковалевский, ошеломленно глядя в одну точку, но вдруг выхватил часы и крикнул телефонисту:

— Передавай в штаб корпуса!.. «Пятнадцать часов пять минут... Командиру корпуса. Копия начальнику дивизии. Генерал Баснин сошел с ума. По его приказу полк, который должен был поддерживать атаку моим полком высоты триста семьдесят, остановлен, отозван и направлен на атаку позиций, расположенных южнее. Артиллерия по его приказу прекратила совершенно огонь в то время, когда мои роты находились вплотную у проволочных заграждений и резали их. Вследствие этого они несут огромные потери от пулеметов противника, нисколько не пострадавших от очень плохо организованного обстрела. Прошу назначить расследование. Номер двести семь. Полковник Ковалевский».

Едва дослушав, что диктовал Ковалевский, Ливенцев выбрался из блиндажа, так как понимал, что его место

теперь совсем не здесь, а около своей роты, в которой было уже семеро раненых, между ними унтер-офицер Лекаренко. Так как ранены все были легко, то под его командой Ливенцев отправил их в тыл.

Между тем солнце насмотрелось уже на картину боя и уходило за те заповедные высоты у берегов Стрыпы, до которых так трудно оказалось добраться седьмой армии. Телефонограмма Ковалевского, видимо, произвела впечатление на командира корпуса, который разрешил себе на время решительной атаки оставить уютную Хомявку и приехать к генералу Котовичу в хату на Мазурах; вдруг снова начали рваться снаряды на гребне высоты 370, и снова показалось, что там все спрятались в глубокие «лисьи норы» и прижукли.

— Поздно! Поздно! — закричал по направлению к деревне Петликовце Ковалевский, появясь неожиданно около Ливенцева.

— А может быть, они догадаются рвать снарядами проволоку? — отозвался ему Ливенцев.

— Не хватит у них на это ни ума, ни снарядов. Теперь уж не хватит снарядов,— это видно...

Действительно, разрывов было немного,— их уже можно было считать. Кроме того, глухо гремело и к северу и к югу, потому что снова наступала вся седьмая армия и рядом с нею девятая.

— Самое умное было бы вывести остатки рот из боя, когда стемнеет,— выбрав несколько моментов относительной тишины, сказал Ковалевский.

— Конечно, так и надобно сделать,— живо согласился Ливенцев, но Ковалевский поглядел на него строго:

— Без приказания начальства этого сделать нельзя,— и отошел к пулеметам, а Струков, подойдя сзади, крикнул ему в самое ухо:

— Поручик Одинец убит!

— Неужели? Откуда вы знаете?

— Телефонировал сейчас капитан Пигарев.

Он переждал грохот взрыва большого снаряда и добавил:

— Прапорщик Кавтарадзе убит!

— И Кав-та-радзе?

— Остальные прапорщики в трех ротах ранены все! Девять человек!

— Боже мой! Вот бойня!

В сумерках лицо Струкова было зеленое, как у мерт-

веца, и глаза глядели, как глядят глаза мертвецов: изумленно, неподвижно и нездешне.

Поручик Урфалов подошел тоже. Как осунулось лицо этого старика турецкого облика, Ливенцев заметил только теперь, в сумерках, вообще беспристрастных к нечеловеческим лицам.

Он подошел спросить Струкова:

— А не погонят ли и нас в атаку, а?

— Типун вам на язык! — сердито ответил Струков и раза два махнул в его сторону рукой, точно он мог кому-нибудь из высшего начальства внушить такую опасно-нелепую мысль.

И Урфалов отошел, потому что издали командир полка делал им трем разделяющий жест, и он первый заметил этот жест. Не раз говорил и раньше Ковалевский, что нельзя офицерам во время боя собираться в кучки, как на ротных ученьях на лагерном плацу.

Рот Аксютина и Кароли отсюда не было видно: они укрепились за гребнем вправо, и окоп их глядел в сторону высоты 384, а не 370. Пять австрийских пулеметов были до этого в их окопе: Ковалевский взял их сюда только на время боя. А четыре кольта из окопа Хрящева лаяли иногда довольно ретиво, и однажды Ливенцев заметил, что над тем местом, где они стояли, разорвалось сразу несколько шрапнелей.

Сумерки становились все гуще,— перестрелка все реже.

Ковалевский дождался, когда стрелки его часов показали ровно шесть, и донес Котовичу:

«Роты первого батальона остались совсем без офицеров. Нижние чины трех первых рот почти полностью выбыли из строя. Атака высоты 370 может продолжаться только свежими крупными силами. Прошу указаний, будет ли прислан резерв для продолжения атаки».

Он надеялся, что Котович позволит отвести под прикрытием темноты ничтожные остатки рот и спасти недобитых раненых, но в хате на Мазурах в ожидании прорыва австрийских позиций собралось несколько генералов, кроме корпусного командира; был даже представитель самого командующего армией. Поэтому получился ответ, что будет послан батальон из резерва командира корпуса.

Этого свежего батальона для продолжения атаки Ковалевский прождал напрасно еще около двух часов и, наконец, приказал санитарам убирать раненых и собирать винтовки.

Австрийцы выпускали иногда ракеты и при их свете продолжали стрельбу, но уже лениво, и около полночи все на высоте 370 умолкло: на нее спускался торжественно новый, 1916 год.

Но на север от нее и на юг все еще продолжало греметь, и тревожаще вспыхивали вверху и расцвечивали темноту то тут, то там очень яркие красноватые ракеты.

Ковалевский справился, наконец, по телефону, не заблудился ли тот батальон из резерва, который должен был прийти к нему продолжать атаку, и узнал, что этот батальон Баснин распорядился послать на помощь не ему, а полковнику Дудникову, атакующему совершенно не обстрелянные еще артиллерией позиции на высоте 367,— несколько южнее 370. И еще раз, но уже не в телефонограмме на имя командира корпуса, а прапорщику Ливенцеву с чувством сказал Ковалевский:

— Баснин сошел с ума! Это совершенно ясно. Пусть назначат медицинское обследование его умственных способностей.

После этого, сделав кучу распоряжений Струкову, он отправился в штаб полка: он решил, что больше тут ему уже нечего делать.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В «господском доме», самом большом доме в деревне, шла спешная работа полковых врачей и фельдшеров, так как он был отдан под перевязочный пункт и весь уже переполнен ранеными, когда добрался до него Ковалевский.

Ваня Сыромолотов перенес канцелярию полка в маленькую переднюю, а комнату, в которой была канцелярия, тоже небольшую, заняли девять раненых прапорщиков.

При свете стеариновой свечки, втиснутой в зеленую бутылку, Ваня начерно составлял список раненых нижних чинов. Ночь была все-таки холодная, двери передней то и дело отворялись. Ваня сидел в шинели и шапке. Из бывшей канцелярии доносились возбужденные, громкие голоса прапорщиков, уже перевязанных и наслаждавшихся горячим чаем, а дальше, в соседних с нею комнатах, стоял сплошной гул, иногда вскрикивания и затяжные стоны при перевязках.

— Сколько? — коротко и понятно спросил Ковалевский, едва вошел.

— Пока принято свыше двухсот... кажется, двести двенадцать всего... Но все время приносят... а есть и такие, что сами приходят,— поднялся и пробасил Ваня.

— Рота раненых... Да рота будет убитых! Вот что сделали с нами эти Герасимовы, и Гриневичи, и Баснины!.. Откуда старый идиот этот взял, что высота была будто бы нами занята,— вы не знаете?

— А она разве не была занята? — в недоумении спросил Ваня.

Ковалевский поглядел на него так, что он тут же начал усиленно рыться на столе в куче телефонограмм, пока не услышал окрика:

— Какого же именно черта вы ищете, не понимаю! Донесение, что ли, такое было? Откуда?

— От командира седьмой роты, господин полковник.

— Седьмой? От Хрящева? Каким образом? Что он такое мог донести?

— Вот,— нашел, наконец, Ваня.— Вот тут... «Окоп передовой заставы занят нашими. Сейчас последует атака на передовую заставу. Хрящев».

— И только всего? Окоп передовой заставы,— вы понимаете, что это такое и где именно? Разве взять окоп заставы значит взять высоту?

— Я не представляю ясно, но когда запросили из второй батареи, как движется атака, я передал это дословно,— и оттуда ответили...

Тут Ваня запнулся, потому что лицо Ковалевского показалось ему страшным. Но Ковалевский спросил придушенно:

— Ответили, что прекращают обстрел, так? Чтобы не перебить своих?

— Мотивировка была именно такая, господин полковник,— окончательно смешался Ваня.

— Если вы, шляпа, не знаете, что такое окоп передовой заставы,— очень зло посмотрел на него Ковалевский,— то артиллеристы-кадровики должны были знать... А Баснин? Откуда взял Баснин свой сумасшедший приказ совсем прекратить обстрел,— всей высоты обстрел, прекратить совсем,— откуда, не знаете?

— Баснин? — Ваня медленно поднял крутые плечи. Но, видя, что он чувствует себя почему-то весьма неловко, поэтому обдумывает ответ, Ковалевский прикрикнул:

— Говорите же, когда вас спрашивают!

— Баснин запрашивал по телефону, кто взял высоту, вы или Дудников.

— Такая именно постановка вопроса была? Вы не сочиняете?

— Буквально такая. Он говорил: «Я отчетливо вижу наших солдат на высоте, но не знаю, какой именно полк взял высоту».

— Сошел с ума! Откуда он за четыре версты мог это видеть? Сошел с ума! А вы? Что вы ответить могли на такой вопрос?

— Я?.. Я сказал, конечно, что если высота взята, то... взял ее, разумеется... наш полк! — насилу договорил Ваня и опустил глаза.

— Ну-у, знаете ли, вы... черт знает что такое! Младенец вы, что ли, говорить такие вещи? Ка-кой патриот своего полка! Да вы знаете, что вы наделали таким ответом этому идиоту?

— Я ведь сказал только: «Если взята»,— пробовал хотя бы несколько оправдаться Ваня, чувствуя, что вина его действительно велика.

— «Если»?.. Нет, вас надо отчислить в строй, чтобы вы знали, как берут высоты! И я вас отчислю! А Хрящеву... Хрящеву объявить строгий выговор в приказе, чтобы он не лез со своими донесениями в штаб полка в то время, когда командир полка на месте боя сам.

Ваня поглядел на него несколько непонимающе:

— Прапорщик Хрящев недавно доставлен сюда, господин полковник.

— Что это значит: доставлен? Почему доставлен?

— Ранен двумя шрапнельными пулями. Жена его, говорят, убита за пулеметом.

— Хрящев... тоже ранен? Жена его убита?.. Что вы говорите! Когда же это случилось?

Ковалевский был поражен чрезвычайно. Он несколько секунд стоял совершенно остолбенело, потом кивнул на дверь:

— Здесь Хрящев?

— Так точно,— оштрафованно, разжалованно-глухо ответил Ваня, не чувствуя уже себя не только адъютантом, но даже и прапорщиком.

Ковалевский вошел в бывшую канцелярию и остановился у порога.

Десять раненых прапорщиков, лежащих и сидящих прямо на полу, на неопрятно разбросанной и затоптан-

ной уже соломе, около большого синего чайника и нескольких эмалированных чашек,— десять прапорщиков, очень слабо освещенных единственной и до половины сгоревшей уже стеариновой свечкой, стоявшей в спичечной коробке вместо подсвечника на подоконнике,— десять прапорщиков, уже забинтованных и потому мало похожих на тех, кого привык видеть в строю Ковалевский, составляли почти четверть офицерского состава его полка. С убитыми сегодня и с убитыми и раненными в первый день наступления вышло, что он потерял уже половину своих офицеров, что должно было вызвать сугубый выговор у генерала Щербачева.

Подсчет потерь в нижних чинах полка Ковалевский сделал уже раньше, когда говорил с Ваней: приблизительно и неполно треть полка! Он знал, что за эти огромные потери выговора от командующего армией он не получит («нижних чинов пришлют еще сколько угодно!»), но весь полк был ведь он сам — Ковалевский Константин Петрович, полковник генерального штаба,— и теперь, именно в эту минуту, когда вошел он к раненым прапорщикам, он самому себе показался на целую голову ниже и телом гораздо легче и суше, точно шестнадцатилетний кадет.

И привычно-начальственного тембра голоса он не мог отыскать в себе теперь, когда спросил от двери негромко:

— Ну что, как, господа?.. Как ваше самочувствие?

Он понимал, что очень трудно раненым ответить на этот вопрос, но другого подобрать не мог и был в первый момент удивлен, когда несколько голосов сразу ответило:

— Отлично себя чувствуем... Прекрасно!

Бравада? Нет, лица улыбались,— возбужденно-довольные лица людей, только что избежавших смертельной опасности, получивших при этом некоторые изъяны, но не убитых, как Одинец или Кавтарадзе,— это главное.

И, оглядев их всех и поняв, как можно было понять, Ковалевский сказал уже гораздо громче и увереннее:

— Ну вот, поправитесь, отдохнете в тылу,— милости прошу опять в мой полк: тогда вы уж будете опытные, обстрелянные...

— И простреленные,— добавил один прапорщик.

— И простреленные,— совершенно верно, что еще важнее, чем обстрелянные. Тогда вы будете прекрасный боевой материал.

— А бой еще идет? — спросил другой прапорщик.

— Если бы шел, я бы не был здесь, с вами. Но даже если бы была у нас победа, я поздравил бы вас только с пирровой победой. Однако удачи не было... Подвела артиллерия. Плохо, кажется, и на всем фронте, не только у нас.

Говоря это, Ковалевский вглядывался при мигающем на подоконнике огарке во все лица, стараясь отыскать среди них лицо Хрящева; наконец, узнал его по рыжеватой бородке, треугольником проступившей из белого бинта, сплошь окутавшего ему голову и лицо, и подошел к нему вплотную, чувствуя, что нужно что-то сказать, и не зная, что можно сказать человеку, у которого только что убило жену тою же шрапнелью, которой ранило в голову и его самого.

Но говорить ничего не пришлось: Хрящев лежал без сознания.

Ковалевский поглядел вопросительно на прапорщика Легонько, раненного в ногу и вдоль спины наискось,— и чернявый Легонько понял его взгляд, качнул отрицательно головой и добавил:

— Врач сказал, что я ходить буду, и спина заживет, а Хрящевым он недоволен.

— Какой именно врач так сказал?

— Устинов.

Устинов был старший врач. Ковалевский пошел к нему в соседнюю большую комнату, где он с младшим врачом Адрияновым перевязывал раненых солдат.

Здесь было тесно, и непрошибаемо густ был воздух. Тяжело раненные лежали на полу вповалку; раненных в живот тошнило... Запах махорки, которую курили солдаты в коридоре, был самый приятный из всех скопившихся тут запахов. Старший врач до призыва не имел никаких чинов и носил погоны титулярного советника, так же как и младший врач, он был гораздо менее упитан, гораздо более суетлив, гораздо менее категоричен в диагнозах и прогнозах, гораздо более скромен в обращении с солдатами, чем Адриянов.

Его спросил Ковалевский о Хрящеве:

— Как вы находите, доктор, раненого Хрящева?

И Устинов еще смотрел на него мутными, заработавшимися глазами, стараясь припомнить, какой из множества перевязанных им Хрящев,— Адриянов же ответил решительно:

— Почти безнадежен.

— Неужели безнадежен? Что вы,— послушайте!.. Прапорщик Хрящев. Ранен в голову,— подсказал Ковалевский Устинову, надеясь, что он не будет настолько беспощаден к одному из лучших его ротных командиров.

Устинов припомнил рану Хрящева.

— А-а, да, да... Хрящев, да... Ранение разряда тяжелых, но-о... все зависит от выносливости организма. Для иных подобная рана жизни не угрожает.

— Ну вот, это другое дело,— спасибо вам, что успокоили. У Хрящева организм железный,— повеселел Ковалевский и тут же, наклонившись к уху Устинова, спросил шепотом:

— «Пальчиков»-самострелов нет ли?

— Пока не замечено,— так же тихо ответил Устинов.

— Если будут, прошу записать отдельно.

Устинов понимающе качнул головой.

Добычин распорядился уже, чтобы раненых накормили и дали им кипятку для чаю. И Ковалевский видел, что большинство солдат здесь, так же как почти все прапорщики в соседней комнате, имели довольные, радостно-возбужденные лица. Надежда на то, что они уже отвоевались, что пока они как следует оправятся от ран, окончится эта сумасшедшая война, очень откровенно светилась почти во всех глазах, и раненные несколько тяжелее тех, кто свободно двигался, чувствовали себя гораздо счастливее и спокойнее других.

Еще не рассвело как следует, когда в «господский дом» приехало важное лицо — корпусный врач Добров, высокий белоглазый старик в золотых очках, с сильно угреватым, красным, седобородым лицом, с носом в кедровую шишку величиной.

Это был кадровый военный врач, статский советник; на Устинова, как мобилизованного и «титуляшку», смотрел он презрительно. Голос у него был громкий, грубый, лающий, и пахло от него спиртом, но едва ли потому, что его денщик оттирал аптечным спиртом жирные пятна на его шинели и френче.

Он приехал будто бы затем, чтобы посмотреть, как оборудован в полку перевязочный пункт, но Устинова спрашивал только о том, много ли поступило к нему раненых (точно) и сколько именно убитых найдено санитарами (тоже точно), а нескольких раненых солдат как бы между прочим спрашивал:

— А что, братцы, много ли мерзавцев из вас сдалось там, на горе, когда вы гору у австрияка взяли?

Эти вопросы раненым задавались, конечно, не при Ковалевском, который в это время мертвецки спал на своей узенькой походной кровати, но когда он узнал о них, он догадался, что генерал Баснин все-таки остался при своем убеждении, будто высота 370 была взята, но потом взявшие ее солдаты сдались. В таком виде, конечно, он и представил это дело начальнику дивизии, а может быть, и непосредственно командиру корпуса, бывшему в хате на Мазурах; поэтому Добров и появился так неожиданно и так рано.

Для убитых рядом с первой братской могилой копали вторую, столь же обширную, и в то время как прапорщика Хрящева, все еще не приходившего в сознание, эвакуировали вместе с другими ранеными в тыловой госпиталь, тело добровольца Анны Хрящевой засыпали галицийским черноземом около деревни Петликовце вместе с телами поручика Одинца, прапорщика Кавтарадзе, фельдфебеля Ашлы и ста девяноста других прочих.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Потери нижними чинами в полку Дудникова оказались еще больше, чем в полку Ковалевского, но зато гораздо меньше было там выведено из строя офицеров, потому что их несравненно меньше и вводилось в строй. Этот драгоценный и незаменимый, по мнению Щербачева, боевой материал, оплот армии, установил там для себя дежурства, как в мирное время или в глубоком тылу, и только по одному прапорщику шло в атаку с каждою ротой, остальные держались в безопасных местах.

Когда цифры потерь в передовых полках дошли к концу следующего за атакой дня до командующего армией, Ковалевский, как и ожидал, получил новый и строгий выговор за «перерасход офицерского состава полка», но «дежурств» в своем полку он все-таки не ввел.

— Если я неспособен командовать полком, пусть меня отчисляют,— говорил он,— но делать явную подлость в отношении нижних чинов я никому из своих офицеров не позволю. И полк мой все-таки прочно сидит на высоте триста семьдесят пять,— пусть-ка похвалятся подобными успехами другие полки, те самые, которые прячут своих офицеров!

Он знал уже, что эта новая ожесточенная атака, которая велась по всему фронту седьмой армии, потерпела

полнейшее крушение, хотя, как и раньше, целую ночь шли в штаб Щербачева беззастенчиво-лживые донесения о занятых австрийских позициях и победном продвижении далеко вперед, к берегам Стрыпы.

Зато Ковалевский был доволен тем, что в штабе армии, уложив бесполезно не один десяток тысяч человек, поняли, наконец, что ножницами под огнем пулеметов резать мощные проволочные заграждения нельзя, и атаку можно начинать только в том случае, если снаряды пробьют в них проходы!

И хотя снарядов оставалось уже совсем немного, а на обильный подвоз их по бездорожью ни у кого не было надежды, и хотя в ударном корпусе упорно сидящего на Бабе Флуга были уже основательно разгромлены две дивизии, новая атака все-таки была решена и назначена на канун русского Рождества.

Но теперь высота 370 была уже оставлена в покое; теперь все усилия направлялись снова на высоту 384, с которой сорвалось уже несколько полков Флуга, и добиться решительных успехов на ней приказано было вызванной из резерва свежей бригаде туркестанских стрелков.

Чтобы обмануть австрийцев, Щербачев приказал передовым частям отойти от позиций противника на высоте 384 на тысячу шагов. Этот приказ не мог быть выполнен, потому что передовые части и без того откатились в конце боя и стояли уже несколько дальше, чем на тысячу шагов от австрийцев.

На подготовку к атаке дано было теперь два дня, и сосредоточенная молотьба снарядами проволочных полей началась.

— Ну наконец-то поумнели! — оживленно говорил Ковалевский под гром этой обдуманной канонады.— Теперь уж можно, кажется, надеяться, что мы прорвемся. И туркестанские стрелки — это все-таки кадровые части, а не бывшие ополченцы. Есть в этом кое-какая разница.

Однако трудно было убедить даже и легкомысленных австрийцев в том, что, тщательно пробивая проходы в проволоке на высоте 384, русские полки не готовятся к атаке этой именно высоты. На второй день предположенной подготовки, в обед, несмотря на державшийся туман, началась вдруг бешеная ответная канонада австрийцев.

Ковалевский с Добычиным, Шаповаловым и своим опальным адъютантом обедал в офицерской столовой, устроенной все в том же поместительном «господском доме», и говорил о Баснине:

— Я слышал, что он упорно продолжает всех убеждать, будто наша первая рота взяла триста семьдесят... Вот и поди, объясняй, что это такое. Клянется, что видел русские шинели на бруствере.

— А может быть, и были выставлены чучела из соломы в русских шинелях? — сказал Добычин.

— Зачем маскарад такой?

— Чтобы ввести в заблуждение, разумеется.

— Одного только генерала Баснина?.. который, может быть, видел австрийцев на бруствере?..

— Мог быть такой оптический обман,— пробасил Ваня.— Он очень хотел увидеть русские шинели там, на горе,— и вот увидел.

— Есть на эту тему такой анекдот,— спрятав веселые глаза в припухшие веки, начал было Шаповалов, но анекдота этого не пришлось ему рассказать во время обеда: осколки разорвавшегося вблизи снаряда загремели по крыше дома, а когда от неожиданности все привстали, показалось, что колыхнулись стены от грохота нового взрыва,— задребезжали окна, и в конце полутемного коридора они увидели вдруг небо, когда выскочили из столовой: большой осколок пробил там, вверху под крышей, каменную стену.

— Однако явно в штаб полка бьют! — крикнул Ковалевский, выталкивая всех на улицу и выходя сам.

— Дом большой, заметный, белый,— объяснил Ваня, но Ковалевский недоверчиво повел головой.

— Не-ет, едва ли только поэтому. В деревне, должно быть, есть шпионы. Хотя могли рассказать об этом и наши, из пятой роты, которые сдались в первый день.

Один чемодан попал в полковой обоз и разбил несколько санитарных и патронных двуколок; в другом месте через зарядные ящики перекинуло артиллерийский передок... По деревне забегали в испуге бабы и дети.

— Прȯшу пана, цо то бéндзе! — резко крикнул кто-то высоким, испуганным голосом сзади Ковалевского, и, оглянувшись, он увидел ту самую девчонку с ненавидящими глазами, которую уже видел однажды.

— Прячься скорее в погреб! — крикнул он ей.

Она отошла не сразу, она ждала, но он пошел к за-

рядным ящикам успокоить панику, которая поднялась было там среди солдат артиллерийского парка.

А минут через десять, когда снаряды начали рваться уже правее деревни, двое разведчиков привели к нему австрийского солдата, который на их глазах спускался, легко раненный в спину осколком, с чердака одной из халуп, развороченной снарядом; за ним в отдалении третий разведчик вел эту самую девчонку и ее мать, хозяйку халупы, на чердаке которой восемь дней скрывался австриец.

Суд Ковалевского был недолог: всю в слезах от испуга, все призывавшую в свидетели своей невиновности самого «пана Езуса» и воздевающую в мозглый, хотя негустой туман худые руки, уже немолодую, с растрепанными полуседыми косицами женщину он отпустил вместе с девчонкой чинить крышу на их халупе,— эти крыши были дороже для полка самого неподкупного правосудия,— австрийца же отправил пока на перевязку, установив только, что он из той самой роты 20-го полка, стоявшей здесь до их прихода, и отложив допрос его до более свободных минут.

Надо было снова готовить свои свободные роты для развития успеха атаки теперь уже не Кадомского, почти уничтоженного полка, а свежих и бодрых и уверенных в этом успехе туркестанцев.

Но этот приказ о «развитии успеха» вскоре был заменен другим, совершенно противоположным, потому что любезный командир корпуса генерал Истопин обещал помочь упорному и воинственному командиру корпуса, генералу Флугу, новой атакой высоты 370.

Пришлось прибегнуть не только к телефону, даже к телеграфу, чтобы снова и снова доказывать, что лезть на проволоку, в которой не проделано проходов, это значило совершенно погубить полк.

Но ведь наступавшая ночь была ночью под Рождество, поэтому телеграф и телефон были забиты совсем неделовыми, горячими, и нежными, и сердечными поздравлениями из дальнего и ближнего тыла, как будто на фронте, где люди только и думают, что об атаках, есть время для поздравлений «с наступающим праздником».

Кое-как удалось добиться замены в приказе командира корпуса слова «атака» словами «усиленная разведка». Эту усиленную разведку должен был сопровождать усиленный же обстрел высоты 370 всей артиллерией ди-

визии Котовича, чтобы отвлечь с высоты 384 австрийские резервы на юг.

Ковалевский тоже усиленно думал, как именно произвести эту разведку, чтобы шуму было как можно больше, а жертв как можно меньше. И когда придумал наконец, весело сказал своему адъютанту:

— Ну так и быть уж, Иван Алексеич,— раз Баснин захотел во что бы то ни стало, чтобы на невзятой высоте замелькали шинели нашего полка, то вина ваша простительна. Только вперед знайте, пожалуйста, с кем вы имеете дело, и не подливайте масла в такой клокочущий огонь. Если сегодня ночью спросит вас — взята ли высота, без всяких справок и раздумий говорите: «Нет!»

К вечеру пришел новый приказ, которым подтверждался первый относительно развития успеха туркестанцев, но не отменялся и второй об усиленной разведке. Теперь, уже не споря с генералом Котовичем, Ковалевский обещал выполнить и тот и другой приказы, потому что его план разведки требовал всего-навсего двадцать человек пулеметчиков к десяти пулеметам.

Пулеметчиков этих могли, конечно, назначить начальники трех пулеметных команд полка, но Ковалевский вызвал охотников, пообещав им представить к Георгию каждого, и охотники тут же нашлись и перетащили пулеметы в темноте с высоты 375 к бывшим окопам первой роты.

Затем все свершилось в назначенные часы и минуты, перед утром, чтобы атакующие туркестанцы хотя и не совсем ясно, но видели пробитые в проволоке проходы.

Впереди атакующих двух батальонов, по одному от каждого полка бригады, шли роты сапер с пироксилиновыми зарядами, которыми они должны были взрывать новые ряды проволоки, если австрийцы успели их натянуть.

За полчаса до атаки туркестанцев начался обстрел высоты 370 из всех назначенных для этого орудий; через пять минут после начала обстрела деловито застрекотали по бойницам окопов пулеметы охотников. Немедленно начали отвечать им австрийские батареи, чем дальше, тем ожесточеннее; изо всех бойниц навстречу «наступающим» русским открыт был неистовый ружейный и пулеметный огонь, и полчаса тянулась эта игра в атаку, пока не заговорила артиллерия корпуса Флуга, прикрывавшая настоящую атаку туркестанцев.

Ковалевский, довольный своею выдумкой, с увлечением следил, насколько позволял мутный свет рассвета, за всем кругом, стоя со своими ротами в резерве, веря уже в успех и готовясь кинуться вперед по первому приказу, хотя в затылок передовым — 10-му и 21-му Туркестанским полкам — продвигались остальные два — 9-й и 20-й, и большая уверенность в окончательной победе видна была в их рядах на всех лицах.

Все ясней и отчетливей становилось кругом,— тумана не было, день обещал стать ясным, солнечным после холодной морозной ночи.

Конечно, победного «ура» туркестанцев там, на высоте, не было слышно здесь за орудийным громом, но в девятом часу Ковалевский услышал впереди себя радостные крики:

— Пленные! Пленные идут!

И вот они поравнялись с ним и быстро прошли дальше,— пленные австрийцы, человек двадцать.

Но впереди кричали возбужденно:

— Еще! Еще пленные! Много!

Не удалось расспросить сопровождавших туркестанцев, что делается там, на высоте, потому что подходили еще, в стройных рядах, отбивая шаг, как на параде, целые роты австрийцев при офицерах. Ликование наших солдат стало всеобщим, никому уже не стоялось на месте,— все рвались вперед, но нужно было пропустить полки туркестанцев: высота 384 была их добыча. Упорный Флуг, наконец, добился крупного успеха.

Умолкли русские пушки, чтобы не расстрелять своих, однако везде на высоте стали заметны мощные взрывы австрийских снарядов по потерянным окопам. Пленные почему-то не спускались уже больше беглым шагом вниз. Перед 9-м и 20-м полками зловеще начали рваться гранаты и шрапнели...

Потом стало известно Ковалевскому, что командиры 10-го и 21-го полков отстали от своих стремительных частей и пристали к двум другим полкам.

— Как отстали? Почему отстали? — вскрикивал возмущенный Ковалевский.

Но вот он увидал, что 9-й и 20-й полки остановились перед разрывами австрийских гранат. Точно непроходимая черта была проведена по бурой, скованной уже теперь морозом, земле. Потом стало видно: шли вниз толпы туркестанцев,— желтые шинели, серые папахи. Шли так, как могут идти только раненые. Непонятным являлось

только то, что заградительный огонь австрийцев пропускал их сюда, но не пропускал вперед 9-й и 20-й полки.

Что-то странное заметил Ковалевский в одном окопе, хорошо видном с того места, где он стоял. Оттуда выскочило несколько русских солдат, за которыми показалась толпа австрийских... Несколько времени русские солдаты барахтались между проволокой окопа, потом движения их затихли.

— Что это? Смотрите! Смотрите! — кричал Ковалевский капитану Пигареву, стоявшему с ним рядом.

— Очевидно, контратака,— отзывался Пигарев.

— А что же второй эшелон туркестанцев?

— Залег. Видите? Лежит!

Действительно, полки легли перед линией заградительного огня, как впадающие в каталептическое состояние петухи перед чертою, мелом проведенною на полу около их клюва.

— Что же это такое? Преступление! Измена! — кричал Ковалевский.

— Посмотрите направо,— сорок третья дивизия тоже легла,— кивал вправо Пигарев.

Одна из растрепанных уже дивизий Флуга должна была развить успех туркестанцев,— это знал Ковалевский,— дивизия эта припала к земле.

А на высоте 384 красными звездочками то здесь, то там победно рвались, добивая прорвавшиеся полки, австрийские снаряды.

От последних спасшихся бегством оттуда туркестанцев Ковалевский узнал наконец, что там случилось.

Проходы в проволоке были проделаны, и, обходя воронки и торчащие кверху щетиной куски проволоки, батальоны поднялись без больших потерь к окопам. Брошенные в контратаку на них три роты чехов сдались сами; прозябшие за ночь и голодные туркестанцы рассыпались по окопам. Они сняли с пленных то, что им казалось теперь дороже всего: фляжки с ромом и коробки консервов, и тут же выпили ром из горлышек и съели консервы, вспоров коробки штыками; но этого на всех было мало. Рассыпавшись по окопам в поисках консервов и рома, батальоны превратились в беспастушное стадо. Часть из них двинулась толпою дальше к берегу Стрыпы. А между тем им навстречу спешила из глубокого австрийского резерва дивизия мадьяр... Четыре батальона туркестанцев там, на коварной высоте 384, частью были расстреляны, частью переколоты в тесных

окопах, частью, пьяные, взяты в плен. Спаслись только раненные в самом начале атаки и те здоровые, которые провожали их, как добровольные санитары.

Эти раненые заполнили улицу деревни Петликовце. Добычин послал конного ординарца к Ковалевскому просить распоряжения, что с ними делать, так как их совершенно некуда было девать: все халупы деревни были уже забиты до отказа. Белая с желтыми разводами невысокая колокольня церкви в Петликовце, ярко освещенная солнцем, бросилась в глаза Ковалевскому, когда он слушал ординарца, и он сказал то, что пришло ему в голову мгновенно:

— Передай заведующему хозяйством вот что: в деревне пока свободное здание только одно — церковь. Устроить перевязочный пункт в церкви,— понял?

— Так точно, понял!

Ординарец секунд пять смотрел на своего командира полка несколько недоверчиво: не шутит ли он,— потом торопливо задергал поводья и поскакал обратно.

Весь день до вечера стояли, сидели, лежали в ямах полки, батальоны, роты разных частей, предназначенные штабом армии развивать успех туркестанцев.

В ответ на заградительный огонь австрийских пушек деятельно принялись работать русские машины войны разных калибров, подготовляя новую атаку, но массы скопившихся у подножья высоты 384 русских войск не шли в атаку. Второй эшелон туркестанцев был подавлен тем, что погиб первый эшелон; остатки сорок третьей дивизии представляли собой полуголодных, полубольных людей, смертельно утомленных несколькими боями и несколькими ночами без сна, в холодной грязи. Даже у своих солдат второго батальона Ковалевский к ужасу своему увидел винтовки, забитые застывшей грязью, совершенно неспособные стрелять; лица позеленевшие, скуластые, с запавшими и горящими глазами; опухшие кисти рук; несвободные, старческие движения ног, когда случалось им переходить с места на место... Такие солдаты могли умирать, но идти в атаку и побеждать уже не могли.

Однако штаб армии требовал победы. И то, что весь день до вечера (день Рождества) стояли, сидели, лежали, уткнувшись в холодную землю, несколько тысяч человек в желтых шинелях и серых папахах, не идя вперед и не уходя назад, зависело только от командиров

отдельных частей. Командиры эти были воспитанные, вежливые люди,— они не решались доложить высшему начальству о крупной заминке в атаке,— они доносили неопределенно, правда, зато успокоительно: «Наступление продолжается».

И хотя на высоте 384 все уже кончилось еще в десять с половиной утра, в местечко Городок генералу Щербачеву доносили в полдень, что она занята туркестанцами. Через час доносили, что началась контратака австрийцев. Еще через час, что высота нейтральна. Еще через час, что наша контратака развивается успешно... Только когда уже начало смеркаться, решились сообщить о положении, как об очень запутанном, и, подготовив таким образом штаб армии к истине очень грустной и горькой, генерал Флуг признал в семь вечера, что его корпус к наступлению совершенно неспособен.

Так день русского Рождества — 25 декабря по старому стилю — стал днем смерти всех розовых надежд на быструю и решительную победу на галицийском фронте и грандиозных планов генерал-адъютанта Иванова непреоборимым маршем четырех объединенных армий дойти до вожделенных берегов Дуная и этим маршем закончить победоносно войну.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

На другой день утром капитан Струков рапортовал Ковалевскому, что в его батальоне много больных: человек пятьдесят при рапорте направил он в Петликовце. Команда больных и обмороженных пришла также и из седьмой роты.

Кое-как устроив больных рядом с канцелярией полка, Ковалевский донес в штаб дивизии, что его полк потерял уже почти половину своего состава, нуждается в пополнении и отдыхе, что в нем много больных и обмороженных и что он, командир его, ждет распоряжений начальника дивизии.

Генерал Котович вызвал его к себе в хату на Мазурах.

— Вот видите, как у нас делается, Иван Алексеич,— раздосадованный этим вызовом, говорил Ковалевский Ване.— Вместо того чтобы самому начальнику дивизии сюда приехать, посмотреть тут все на месте,— а мы бы ему показали товар лицом,— он предпочитает вызывать командиров полков, как будто у них только и дела, что

шлепать по десять верст туда и обратно... А больше всего эти начальники дивизий любят получать бумажки за подписями... О-ох, эти бумажки за подписями!.. И с номером, непременно с номером... От бумажек все наши качества... Ну что он мне может сказать? Поговорит, повздыхает, посоветует потерпеть с недельку? Да через недельку у меня останется только штаб, а полка уже не будет!

Все-таки, взяв с собой Горюнова, одного из конных разведчиков, как ординарца, он выехал верхом на караковом немедля.

Подморозило за ночь. Шоссе было кочковатое и звонкое, но проселок, на который пришлось свернуть, все-таки таил под мерзлой коркой глубокую грязь, в которую иногда проваливались до колен лошадиные ноги.

Мост через Ольховец был уже теперь устроен понтонерами довольно сносно.

— Ну вот, это похоже на дело,— говорил разведчику Ковалевский, въезжая на этот мост.— А то мы тут бились с ним и мучились, как черти в аду!

— Так точно, вашскобродь,— отзывался бойкий разведчик.— Говорится пословица: без струменту и вошь не убьешь.

Одинокая халупа, когда подъезжал к ней Ковалевский, напомнила ему ночевку в ней офицеров, спавших в два слоя,— офицеров, из которых нескольких уж нет в живых,— и его собственные планы и расчеты на будущее, которые показались ему теперь ребяческой чепухой.

Входя в хату, он ожидал, что найдет Котовича удрученного неудачами, выпавшими на долю его дивизии, а чернобородого Палея — желчным и, может быть, даже ядовито-насмешливым, но оба они, пившие в это время чай с коньяком, встретили его непредумышленно-ясными улыбками. Котович даже налил ему сам коньяку в стакан чаю, говоря при этом весело и несколько даже кокетливо:

— А я за вас благодарность получил от командира корпуса,— да-а!

— Вот как? За что же именно? — удивился Ковалевский.

— Да вот за вашу последнюю атаку на эту подлую высоту триста семьдесят.

— Ага! Правда ведь, ничего получилось? И отделался я всего только семью ранеными пулеметчиками.

— А Дудников вздумал действительно наступать — и двести тридцать раненых и убитых! — подмигнул

Палей.— Отчего вы ему не предложили свою выдумку?

— Признаться, я даже не знал, что он тоже призван сыграть атаку,— удивился Ковалевский.

— Мало связи у нас между частями, мало связи.

— Я уверен все-таки, что Дудников не погнал бы своих на штурм, если бы за его спиной не стоял генерал Баснин,— без стеснения сказал Ковалевский, но Котович после этих слов стал вдруг задумчив, и все улыбки слетели с его благорасположенного лица.

— Разве можно было, Константин Петрович, посылать мне такую телефонограмму, какую вы послали на днях?.. Я и об этом хотел поговорить с вами, да. Что же это такое, скажите пожалуйста? «Генерал Баснин сошел с ума»... А тут как раз корпусный командир сам сюда приехал, и скрыть никак было нельзя... Ведь вам за это отвечать придется!

— Что ж,— пусть все-таки сначала разберут дело.

— Да как бы его там ни разобрали, нельзя же так: «Сошел с ума!» Мало ли какие бывают трения, да сору-то, сору-то из избы не выносят.

— Смотря какой сор! Благодаря тому, что по приказу Баснина обстрел высоты прекратился, мы... Я бы мог вам, конечно, сказать сейчас: «мы высоты тогда не взяли»,— но я этого не скажу, конечно, потому что высоты мы все равно не могли бы тогда взять. Но мы бы потеряли вдвое меньше людей,— вот что важно. Почему двести человек погибли тогда совершенно зря? Об этом спросите у генерала Баснина.

Видя, что Ковалевский раздражается до того, что не пьет чаю, Котович сказал ему:

— Пейте все-таки чай, пейте,— в нем вещество это такое... Он полезен вообще,— особенно зимой.

И добавил ему еще коньяку.

Наконец, разговор перешел на полк Ковалевского, каким он был теперь, и Котович с большой готовностью соглашался, что людей надобно пожалеть, что люди за эту заботу о них потом отплатят своею службою, а если они станут калеками, инвалидами от болезней, а не от неприятельских пуль и снарядов, то, разумеется, кого же за это будут винить? Ближайшее начальство будут винить.

— Я сегодня доложу об этом командиру корпуса. Сейчас только десять часов, в такое время он не встает, о-он встает несколько позднее. Я ему доложу. И думаю

я, что он согласится, что вашему полку надо дать отдых. Да-да, я думаю, что я его уломаю. Вы знаете, уже подвозят к нам на фронт проволоку, колья,— все вообще такое, чтобы укреплять наши позиции, да, да.

— Наконец-то! Наконец-то начинают догадываться, что война позиционная,— очень обрадовался Ковалевский.— Ухлопали зря тысяч тридцать и догадались.

— Тридцать, вы думаете? — живо подхватил Палей.— Просчитаетесь, кажется.

— Вы думаете, что больше?

— Мне кажется, что побольше... Я говорю, конечно, не об одной нашей седьмой армии, а о всем фронте.

— И вот результаты,— развел руками Котович.— Ну, что же делать. Учимся воевать по-современному, а за науку платим.

— Но с наступлением покончено или нет? — спросил Ковалевский.

Котович сделал губами и плечами знак неопределенности и ответил не на вопрос:

— Говорят, будто шестьдесят тысяч пополнения для нашего фронта готовят в тылу... Будут присылать по мере надобности. Также и насчет снарядов: идут большие запасы снарядов. Одним словом, за чем-нибудь они идут к нам, а? Снаряды, пополнения людьми, материальной частью, вообще всем, всем... И тяжелые батареи еще идут.

— И неужели все это для продолжения зимней кампании? Как хотите,— не хочется верить. Замороженных будет втрое больше, чем убитых! — разогревшийся от чаю с коньяком вскрикивал Ковалевский.

Палей кивнул ему на перегородку, за которой помещались связисты и писаря, и он, не умея говорить шепотом, начал прощаться, перейдя при этом на французский язык. Котович повторил, что командиру корпуса доложит и о результатах ему сообщит. Остаток коньяку в бутылке Ковалевский с разрешения генерала взял с собою и, найдя своего разведчика Горюнова около лошадей, сунул ее ему:

— А ну-ка, глотни для согрева!

Разведчик радостно взял под козырек и так и не опускал правой руки, пока не вытянул всего коньяка из бутылки. Потом поспешно обтер усы и гаркнул:

— Покорнейше благодарим, ваше высокобродие!

Пустую бутылку он подержал немного, потом досадливо сунул ее в карман, и когда подводил каракового

жеребца своему командиру, в глазах его была такая преданность, которую всегда хотел видеть в солдатских глазах Ковалевский.

Едва только он вернулся в Петликовце, как в штабе полка была принята телефонограмма от штаба дивизии, что командир корпуса разрешил полку отдых и что занимаемые полком позиции должны быть сданы той части, которая придет на смену. Ковалевский тут же передал это в роты, продолжавшие сидеть в окопах, добавив, что сделано это распоряжение по его рапорту и что ждать смены придется не больше, как два дня. Но уже часа через два стало известно, что по приказу Щербачева шестнадцатый корпус, стоявший в резерве, идет сменять совершенно выдохшийся второй корпус Флуга, а так как Ковалевский, в погоне за крышами деревни Петликовце, занял позиции на участке не своего, а второго корпуса, то и сменять его полк должен был полк из шестнадцатого корпуса в ту же ночь.

Это была величайшая радость из всех, какие когда-либо испытывал прапорщик Ливенцев за свою жизнь: капитан Струков сказал ему, что с наступлением темноты его роту, как и другие роты третьего батальона, как и седьмую роту, сменит какой-то, неизвестно пока еще какой именно, полк.

— Ну, брат, охотник за черепами, мы с тобой и навоевались вдоволь и уцелели,— не всякому это удается сделать,— похлопал он на радостях Демку по серой папахе.— Теперь сменяемся, и можешь ты домой шпарить, в свой город Мариуполь!

— Еще чего — домой! — обиделся дрожавший перед этим от холода Демка.—Когда мы теперь с Васькой должны Георгия получить...

Действительно, когда вызывались желающие к пулеметам разыграть ожесточенную атаку на высоту 370, Демка и Васька вызвались первыми, и при этом громком деле не были ранены ни тот, ни другой.

Еще засветло Петликовце гремело разноголосой начальственной руганью, бодрой и хозяйственной: тысячи новых, не обстрелянных еще солдат, приустав от марша из тыла, заполнили всю улицу деревни и все дворы, дули в варежки, чтобы согреть руки, прикуривали друг у друга цигарки, хрустели сухарями и корками хлеба, кашляли и звучно плевали наземь... Это один из полков шестнадцатого корпуса пришел на смену полка Ковалевского.

Командир пришедшего полка, сутуловатый длинноусый человек, лет пятидесяти с лишком, очень подробно выспрашивал Ковалевского, стараясь уяснить себе, насколько трудна тут будет его служба зимой; но наибольшее внимание его привлек штаб полка — «господский дом», пострадавший от последней канонады.

— Гм... Это оттого, что он — белый, этот дом... Большой, белый, издали очень заметный,— глубокомысленно сказал он, оглядев его снаружи.— Белый,— вот в чем ваша ошибка. Вам надо было покрасить его в цвет земли.

— Когда же мне было его красить? И чем именно красить? Где взять краски? — на ходу возражал Ковалевский, но его заместитель был самоуверен.

— Ничего, я разыщу... Я найду краски... И завтра же с утра займусь маскировочкой.

— А если послезавтра пойдет снег?

— Ну, тогда уж, разумеется, опять побелить можно.

Ваня Сыромолотов с Шаповаловым, связистами и писарями спешно укладывали штабное имущество. Адъютант нового полка получил в наследство карту местности с отметками на ней, список дворов, занятых полком, расположение окопов и много прочего, что нужно было знать адъютанту. С приходу отряжались уже батальоны и роты на смену окопников; обоз первого разряда полка Ковалевского уже очищал место для нового обоза и поворачивал в тыл; роты, сидевшие в халупах, выходили и строились, готовясь к ночному походу, когда соберутся роты, занимавшие окопы.

И они пришли наконец, чтобы идти дальше — в ночь, в темноту, к переправе через Ольховец, к хате на Мазурах и дальше в пустые поля, в какие-то землянки, которые вырыл в этих пустых полях и занимал до них другой, стоявший в корпусном резерве и куда-то переброшенный полк.

И потом была ночь нелегкого ночного похода в темноте, по мерзлым дорогам и по кочковатой застывшей пахоте, за которую цеплялись ноги. Но радостно было идти Ливенцеву, уходить от окопа с великолепным непроницаемым блиндажем, который с разбегу, в тумане, совершенно неизвестно зачем заняла его рота и который нужно было всячески защищать от контратаки австрийцев, тоже неизвестно зачем.

Идти отдыхать, хотя бы и в землянки, было гораздо понятнее не только для Ливенцева, но и для всей этой

вразброд идущей массы людей, которая шла бы, конечно, с песнями, если бы не ночь. Но, кроме того, что он простился с окопом, у Ливенцева была и еще одна — трудно было определить ему самому — маленькая или большая причина для радости: Ваня Сыромолотов сунул ему, когда он подошел с ротой, письмо в очень узеньком конверте. Оно было получено как раз в день последней, рождественской атаки,— переслать его было и некогда и трудно.

— Откуда? — спросил Ливенцев.— Не заметили штемпеля?

— Кажется, из милого нашим сердцам Херсона... У вас кто-нибудь остался там?

Ливенцев догадался, что письмо от Натальи Сергеевны.

Что бы ни было в этом письме, но нести его в кармане шинели, знать, что оно при тебе, что всегда ты можешь его прочитать, если захочешь, даже и теперь, ночью, при скромном огоньке зажигалки,— в этом была огромная, почти детская полнота радости, хотя он и не мог бы определить точно, почему именно.

Даже больше того: у него не было любопытства к тому, что именно написано было ею; он знал, что подбор тех или иных слов в письме — дело минутного настроения иногда; стоит этому настроению измениться под влиянием пустейших случайных причин,— и весь строй и склад письма станут совершенно иными.

Но было и еще одно, что мешало Ливенцеву прочитать письмо там, в Петликовце, или здесь, в походе. Если бы его спросили об этом, он ответил бы с тою улыбкой, которая была ему свойственна при всех обстоятельствах жизни, которая не сошла бы с его лица и в гробу: «Письмо адресовано прапорщику Ливенцеву, да, но он не совсем еще в своей шинели,— не вполне вернулся в себя... Чтобы сказать это понятнее,— он совсем затерялся было, забыл о себе самом, ушел от себя самого куда-то, в окоп, в блиндаж,— зарылся в землю на три аршина,— стал нижечеловеком и только понемногу приходит в себя. Когда придет окончательно,— прочитает, что ему пишут, ему такому, какого видели там, в Херсоне, когда он мог свободно ходить по улицам, заходить в торжественно-тихие комнаты публичной библиотеки и читать там резонирующего стоика на троне — Марка-Аврелия-Антонина».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Только утром, когда уже вполне рассвело, медленно шедший полк добрался, наконец, к тому месту, где он должен был стать на отдых, как корпусный резерв, но землянок, о которых говорилось, удобных для жилья землянок, оставленных ему ушедшим на фронт полком, никто не увидел.

Не было никаких землянок: на обширном месте бывшей стоянки полка рядами разлеглись только ямы, вида обычных лагерных ям, когда осенью снимают палатки с фундаментов из дернин. В каждой такой яме было нагажено, а около ям белела зола от костров, валялись обрывки газет, порванные открытки, разбитые бутылки, обоймы от патронов, пустые гильзы, масляные тряпки и прочий хлам.

— От австрияков окоп мы получили вполне справный, а также блиндаж какой геройский,— говорил фельдфебель Титаренко Ливенцеву.— А от своих же что мы такое получаем, ваше благородие? Аж даже и сказать страмно. Это ж называется свалки, куда из Херсона бочки по ночам возили!

— Да нет, тут что-то не так. Мы просто не туда попали. Вот я сейчас узнаю, в чем дело.

И Ливенцев пошел туда, где около Ковалевского собрались трое батальонных и несколько ротных. Ковалевский был совершенно взбешен:

— Только мерзейшие подлецы могли допустить подобное! Солдаты сожгли все жерди и всю солому,— это ясно. Была тут пляска диких вокруг костров... Но где же в это время были командир полка и все офицеры? Плясали тоже? Что же, их не предупредили, что сюда придет другой полк на их место? Это... это не мелочь, господа! Шалаши сожгли, а из землянок сделали нужники,— вот и все, на что оказались способны... Ну вот что: тут верстах в пяти деревня Хомявка, где — командир корпуса. Я сейчас же еду туда с докладом. А люди пусть станут на привал. И пусть поглядят, что тут наделали свиньи, чтобы самим им такими свиньями не быть.

— По карте недалеко тут село Коссув,— сказал капитан Широкий.— Должно быть, вон там видно селение,— этот самый Коссув и есть. Почему бы нас не направить в Коссув?

— Коссув, или черт, или дьявол, только нам нужны крыши и печи, а не пустое поле,— так я и скажу генералу Истопину!

И Ковалевский не больше как через полчаса прискакал в Хомявку.

Это была уже не несчастная одинокая хата на Мазурах, где ютился старец Котович со своим штабом,— это была помещичья усадьба, в которой не привыкли вставать рано зимою.

Больше же всего не привыкли к подобному нарушению правил светской жизни сам Истопин и его начальник штаба генерал Полымев. Около часа пришлось ждать Ковалевскому, когда они встанут. За этот час он успел осмотреть имение пани Богданович, устроенное на широкую ногу.

Дом был прекрасной архитектуры,— в два этажа, с высокой мансардой, с несколькими балконами, с зимним садом; три бронзовые конские головы в естественную величину были вделаны в стены обширной каменной конюшни; старинный парк, содержащийся в большом порядке, окружал дом; рыбный пруд разлегся тут же, в парке, с кокетливой, пестро окрашенной купальней на нем... И симментальский и швицкий скот был тут цел и не тронут, и чисто одетые, в однообразных серых шляпах с черными лентами, очень вежливые галичане-старики и поляки, которых не коснулся призыв в армию, привычно делали свое батрачье и приказчичье дело и на скотном дворе, и в конюшне, и в парке, как будто не гремели орудия всего за двадцать верст отсюда и не погибали там люди десятками тысяч.

В десять часов доложили, наконец, Истопину о приехавшем командире одного из полков его корпуса, и Ковалевский был, наконец, принят.

Бывают люди, которые считают нужным из всех человеческих свойств, качеств и манер поведения выращивать в себе только одно: важность. Любопытно, что подобные важнецы попадаются даже в совсем маленьких чинах, на совсем пустяковых должностях, но неизбывная важность так и хлещет фонтанами изо всех их пор.

Конечно, у Истопина было больше прав на важность, чем у швейцаров, станционных жандармов или мелких чиновников разных присутственных мест. Он был генерал-лейтенант, еще не старый, но больших связей при дворе, видного роста, умеренной полноты, с доволь-

но густыми еще волнистыми каштанового цвета волосами, тщательно зачесанными назад. Теперь, когда только что умылся, волосы его были влажны и лоснились. От его тужурки толстого сукна, в петлице которой белел и поблескивал Георгий, неизвестно за что именно полученный, пахло духами. Руки у него были холеные, белые, с едва заметными коричневыми веснушками, на пальцах правой руки толстые перстни с крупными солитерами.

Он принял Ковалевского стоя, величественно наклонив несколько голову влево.

Он сказал выразительно, хотя и негромко:

— Пхе... Что именно вы имеете нужду... пхе... доложить мне, полковник?

— Ваше превосходительство, во исполнение полученного мною приказа я привел свой полк, назначенный в корпусный резерв, но никаких землянок, удобных для устройства в них полка, не оказалось.

— Что это значит? Пхе!

— Были, очевидно, крыши над ямами,— они могли быть из жердей, веток, соломы,— но полк, уходя на фронт, сжег все эти крыши, а ямы обратил в отхожие места, ваше превосходительство.

Истопин опустил брови ниже, чем им положено быть, слегка выпятил полные губы (бороду он брил, а усы коротко подстригал) и этими пухлыми губами только дунул слегка, так что вышло даже не «пхе», а «пф», но ничего не добавил к «пф», предоставляя самому Ковалевскому догадаться, что он просто плохо воспитан, говоря о подобных вещах.

Ковалевский же продолжал:

— Между тем, ваше превосходительство, мой полк состоит из обмороженных, полубольных людей, десять дней проведших в боях, на позициях, в грязи, без подстилки, большей частью без горячей пищи, так как ее невозможно было подвезти днем.

— Пхе... Можно было подвозить ночью, полковник!

— Ночью подвозить было нельзя, ваше превосходительство, ввиду беспрерывных почти ночных атак. Люди совершенно обессилели, они почти падают от усталости. Теперь я их оставил в пустом поле.

— Пхе! Чем же я могу тут вам помочь, не понимаю! — несколько даже шевельнуть полными плечами разрешил себе Истопин при такой явной несуразности положения.

— Между тем, ваше превосходительство, недалеко есть селение Коссув,— большое селение, как я навел справки, наполовину не занятое никем. Если бы вы разрешили отвести мне полк туда, люди были бы обогреты, восстановили бы свои силы, отдохнули бы от очень тяжелых впечатлений...

— Пхе... Они так деморализованы, вы хотите сказать?

— Они в подавленном настроении исключительно в силу просто физической усталости и... ревматических болей в суставах рук и ног, ваше превосходительство,— и единственное, что могло бы восстановить их бодрость и боеспособность, это — теплое помещение в привычной для них сельской обстановке. Если фронт вообще переходит на более спокойное зимнее состояние, то...

— То? — перебил его вдруг Истопин.— То что вы хотите сказать? — И закинул голову дальше назад и больше влево.

— То, мне кажется, совсем незачем сознательно лишать полк хорошей зимней стоянки и морозить его всего в нескольких верстах от жилья,— договорил Ковалевский.

— Э-э, это уж предоставьте знать нам, полковник,— снисходительно поглядел на него Истопин.— Для чего это делается, что полк стоит в землянках, а не в хатах,— на это есть у нас свои основания, пхе!

Но Ковалевский сам знал, что это за основания, и потому продолжал:

— Если понадобится корпусный резерв, ваше превосходительство, то обогретые, отдохнувшие хорошо, в обычном человеческом жилье, люди перемахнут эти несколько верст единым духом, форсированным маршем, за каких-нибудь сорок минут, а главное, будет вполне восстановлена боеспособность полка, который, кстати сказать, потерял треть состава.

— Вы получите пополнение, полковник.

— С пополнением надо будет усиленно заниматься, ваше превосходительство, а разве возможно будет сделать это в землянках?

Этот длинный разговор, видимо, утомил уже Истопина. Он решил его закончить. Он сказал брезгливо:

— В конце концов на селение Коссув в данное время нет пока претендентов, поэтому, полковник, я могу вам разрешить... пхе... воспользоваться им, дабы...

Но тут в комнату, в которой происходил разговор, вошел генерал Полымев,— толстый, маленькие глазки в белесых ресницах, белые волосы тщательно приглажены наискось, чтобы прикрыть лысину.

Он слышал, о чем говорилось, и вошел, чтобы опрокинуть все доводы Ковалевского, которому подал руку, глядя в это время на Истопина.

— Хороши же мы будем,—сразу с подхода заговорил он,— если разрешим разместить полк в Коссуве! Тогда нам всякий скажет: «Что же вы были за дураки — держали другой полк в землянках, когда были для него налицо хорошие квартиры, а?»

— Вот именно, пхе! Вот именно так и могут сказать! — тут же согласился со своим начальником штаба Истопин, но, поняв, что это еще недостаточное основание для продолжения глупости, он добавил: — Кроме того, место корпусного резерва именно там, где эти землянки,— в четырех-пяти верстах перед штабом корпуса, а не где-то там в стороне от штаба, пхе! Итак, полковник, полк ваш безоговорочно должен занять эти землянки.

— Конечно, штаб полка может быть помещен в селе Коссув,— добавил Полымев.

За это ухватился Ковалевский:

— Может быть, кроме штаба полка, разрешите хотя бы две роты только поместить там тоже, две роты наиболее слабых, истощенных, полуобмороженных людей, ваше превосходительство?

Истопин вопросительно поглядел на Полымева, проговорив задумчиво:

— Две роты, а? Пожалуй, две роты... пхе...

— Две роты, я думаю, можно будет,— отозвался Полымев.

Ковалевский поблагодарил и за это, откланялся и вышел. У него мгновенно возник план «недослышки», недопонимания насчет двух рот: он решил две роты, наиболее сохранивших силы, оставить в поле, остальные увести в Коссув. Он вполне был уверен в том, что ни Истопин, ни Полымев считать его рот не будут. Он справился у адъютанта Истопина, где можно достать жердей, хвороста, соломы для землянок, и, установив, что это можно добыть в тот же день, поскакал к оставленному полку.

Он устал от бессонной ночи, завершившей собою несколько бессонных и почти бессонных ночей на фронте.

Ему хотелось есть, выпить подряд стакана два-три горячего крепкого чаю, и он вспомнил не без горечи, что в соседней с тою комнатой, в которой принял его Истопин, звякала посуда, расставляемая на столе для утреннего завтрака чинов штаба денщиками командира корпуса. Когда он услышал это радостное звяканье посуды, он подумал, что сам Истопин или свиноподобно толстый Полымев пригласят его к завтраку, и немало был удивлен, выходя, что ни тот, ни другой не вспомнили об этом.

Мягкие кресла в чехлах, малиновые бархатные драпри, подвязанные толстыми шнурами, картины на стенах и ковры на полу,— все это благополучие помещичьей усадьбы, пока еще не тронутое войною, так приятно поразившее его, когда он вошел, казалось ему теперь, когда он ехал, почти ничего не добившись, обратно, к брошенному под круглой сопкой в загаженной лощине полку, вопиющим наглым развратом, требующим немедленного уничтожения.

Это была штаб-квартира, в которой царил бесконечный винт; от карт тут досадливо отрывались иногда, когда устами Котовича или Палея испрашивались распоряжения, жизненно необходимые для фронта; тогда по телефону на фронт, гибельный и нелепый по своей неподготовленности, приходило распоряжение, удручавшее своею глупостью или отзывавшееся почти явной насмешкой. Так, когда в окопы для рот, занявших высоту 375, Ковалевский потребовал железных печей для кипячения воды, разогревания обеда,— просто, наконец, для согрева солдат, корпусный инженер, обитавший в этом же доме пани Богданович, ответил, что самое лучшее сделать в окопах печи из кирпича, который можно-де найти в изобилии поблизости. И печей не прислали, и дней десять, пока роты сидели в окопах, они ели холодный борщ, пили холодную воду, обогревались тем же теплом, какое предоставлено в конуре зимою цепной собаке.

Отсюда, из этого дома, притаившегося в вековом парке, около рыбного пруда, исходили однообразные и немногословные приказы о наступлении, в целях «развития успехов» корпуса Флуга. Отсюда однажды, правда, приехал Истопин в хату на Мазурах, но только потому, что туда же приехал и представитель командующего армией Щербачева: надо было показаться близ фронта, неудобно было перед высшим начальством беспечно про-

сидеть эти несколько часов решительной атаки на всем фронте армии у себя за винтом,— пришлось на несколько часов пожертвовать удобствами и привычками.

Неловко было как-то даже и подъезжать к своему полку, когда две роты приходилось обидеть совершенно незаслуженно (Ковалевский решил уже окончательно оставить здесь в землянках только две роты, каких бы последствий ему это ни стоило); едва удержался он, чтобы не выругать Истопина и его начальника штаба во весь свой зычный голос перед посиневшими от холода и усталости солдатами, которых офицеры постарались поднять с привала и построить, завидев, что он едет.

Только здесь, на привале, под крутолобой сопкой, при дневном, хотя и неполном (день был облачный) свете, прапорщик Ливенцев увидел, как поредела его рота, как усох, обеднел людьми весь вообще полк, какие все стали ошарпанные, понурые, грязные, исхудалые, обросшие, постаревшие на десять лет.

Лицо подпоручика Кароли как-то неестественно сжалось в комок; очень вытянулся его нос, раздвоенный на конце, как клюв; густая седая щетина вылезла повсюду от уха до уха; черные глаза блестели лихорадочно. Никто бы в нем не узнал не только мариупольского адвоката, но даже совсем недавнего, довольно бравого командира роты, шагавшего по меотийским болотам от станции Ярмолинцы на фронт.

— Как самочувствие? — спросил его Ливенцев.

Кароли выругался без особого жара и бедно по образам, но добавил неожиданно для Ливенцева:

— А здорово вы подались, Николай Иваныч! Как после тифа или подобной же стервочки, накажи меня бог!

— Гм... вот как? В зеркало не смотрел, не знаю.

Он держал в это время руку в кармане, а в руке — письмо Натальи Сергеевны, которое все не решался прочитать. После слов Кароли он вынул из кармана руку.

Прапорщик Аксютин кашлял и недоумевающе поводил при этом выкаченными от худобы глазами и отросшими усиками, тонко скрученными в две прямые стрелки. Он стал похож на полевого кузнечика, заболевшего гриппом.

— Спать хочу,— говорил он Ливенцеву, глядя на него пристальным, но кукольным взглядом.— Если бы меня не будили, я проспал бы пять суток... Может быть, даже и больше...

Даже поручик Урфалов, которого Ливенцев все-таки ежедневно видел в окопах, здесь, вдали от них и после ночи похода, показался новым. Давно не бритый, он, конечно, так же украсился седою щетиной, как и Кароли, но он утратил свое восточное спокойствие, он забыл уже свою, казалось бы, приросшую к нему до гроба привычку начинать все, что бы ни говорил, со слов «изволите видеть». Эти два слова заставляют предполагать в говорящем большую выдержку, немалую утонченность и безукоризненный такт.

Теперь Урфалов был гневен.

— Даже в японскую войну, в Маньчжурии, так не издевались над нашим братом, армейцем! — вскрикивал он, суча кулаки.— За людей перестали считать, сукины дети! Кажется, ведь за нами никто не гонится,— неприятель не наступает нам на хвост, отчего же, спрашивается, такой беспорядок? И где же беспорядок такой, я вас спрашиваю? Под самым носом у корпусного... Радовались люди, что они в Галицию едут. Вот тебе и Галиция!

Солдаты, сбившись в кучки, пытались спать. Ругаться и про себя и вслух они уже устали.

Ковалевский, подъехав, прокричал, как команду:

— Четвертой и восьмой ротам остаться здесь и привести в порядок землянки! Остальным — направляться в село Коссув на отдых!

В полку знали, что четвертая и восьмая рота держались все время в резерве и сравнительно мало имели потерь от австрийского огня и от болезней. Приехав от корпусного командира, Ковалевский как будто передал полку его непосредственный приказ, изменить который он не волен. Против такого приказа ничего не имел даже разгневанный на высшее начальство поручик Урфалов, и его рота первая взяла направление на Коссув; за нею вытянулся весь третий батальон, за третьим второй и первый. Ковалевский остался на время, чтобы объяснить прапорщикам — ротным, как приспособить землянки для жилья и откуда получить для этого жерди и солому; строго-настрого приказал ничего не рубить в соседней роще, так как роща эта — священна, принадлежит самой пани Богданович; постарался убедить упавших духом, что в землянках можно будет устроиться ничуть не хуже, чем в селе, которое будет, конечно, забито до отказа, в чем они сами убедятся через несколь-

ко дней, когда им будет прислана смена из рот, отдыхающих в селе...

Наставлений пришлось сделать и прапорщикам и фельдфебелям довольно много, и десять рот полка за это время довольно далеко ушли по направлению к зажиточному,— это было заметно и с расстояния в пять верст,— селу Коссув. Но застоявшемуся караковому Мазепе не стоило большого труда их догнать.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Селение Коссув представлялось зажиточным только издали; вблизи оно оказалось так же ободранным войсками, как и другие галицийские села и деревни, и полнейший переполох среди стариков, ребят и особенно баб, на которых лежало все хозяйство, поднялся во всех дворах, когда неожиданно в улицу вошел полк, с повозками обоза, с пулеметными и патронными двуколками, с командой конных разведчиков,— боевой пехотный полк, и на долговременную стоянку. Опытные крестьянские глаза давали точную оценку худым, ребрастым, зануженным лошадям, которые должны были съесть много сена, ячменя, овса, и худым, измученным людям в желтых шинелях, которым понадобится много мяса, сала, картошки, чтобы оправиться, нажить тела, стать сколько-нибудь похожими на сносных солдат. Полуголодные всегда боятся голодных, а что такое военные реквизиции — здесь уже знали.

Ливенцев отметил, входя с ротой в село, очень широкие трубы над просторными высокими крышами, крытыми чаще соломой, смазанной глиной, как это привычно было видеть ему во время пятидневного похода в селах Подолии, иногда дранью, как кроют в России только на севере; перед каждой халупой красовался палисадник, огороженный обáполами; небольшие окошки со стеклами цвета голубиного зоба и большие калитки с громоздкими щеколдами, несомненно сработанными местными кузнецами; молодые вишни и сливы в палисадниках, и около них беловолосые, сероглазые ребята, глядящие с огромным любопытством, но без малейшей тени оживления.

И в той халупе, в которой поместились Ливенцев и Значков, тоже было двое белоголовых ребят, но они испуганно юркнули куда-то, и долго потом их не было

видно, и мать их — Хвеся, самая обыкновенная Хвеся, как и на Волыни, и в Полтавщине, и в Херсоне, заботливо о себе и о них спросила:

— Може, панам охвицерам треба до лазни?

Хвеся была повязана ситцевым платком,— красные горошины по белому полю; синий линялый фартук застегивался сзади, на пояснице; тяжелые деревенские башмаки, шерстяные чулки, красные, широкие в запястьях руки,— обыкновенная Федосья, молодая еще баба-солдатка, с несколько суровым, хотя и совсем безбровым лицом. Такая могла бы быть и в любой русской деревне, но Ливенцеву стало как будто даже неловко, что о бане вспомнила она, блюдущая чистоту своей халупы, а не он, под командой которого человек двести солдат, и все, как и он сам, прежде всего нуждаются, конечно, в бане.

И он тут же вышел на улицу искать капитана Струкова,— нельзя ли устроить с приходу баню для всего третьего батальона.

И когда он шел к Струкову, одно только это ощущение возможной и близкой уже чистоты всего тела как будто дало ему право тут, на переполненной солдатами улице, вынуть из кармана шинели письмо Натальи Сергеевны, чтобы посмотреть на ее почерк. К его удивлению, почерк оказался крупный, размашистый, энергичный,— буквы очень каких-то уверенных, совсем по-мужски смелых очертаний, так что он усомнился — от нее ли это письмо. На почтовом штемпеле стояло «Херсон», но ни от кого больше он не ожидал письма из Херсона, однако чувство большого разочарования заставило его вскрыть конверт, чтобы посмотреть на подпись. Он сделал это нерешительно,— отогнул пальцем конверт от письма, чтобы видна стала подпись, но когда прочитал «Н. Веригина», то ему стало вдруг стыдно за свою недоверчивость, и почему-то сразу все, что было на улице, преобразилось в его глазах в легкое, радостное, очень праздничное, несмотря на донесшуюся издали как раз в этот момент яркую солдатскую матерщину.

Струков, показавшийся тоже добрейшим и милейшим человеком, сказал, что баня теперь это все равно, что в прикупе четыре туза, и что об этом хлопочет сейчас сам Ковалевский, а уж если взялся за это он сам, то, значит, баня непременно и скоро «предстоит»... Так и сказал почему-то «предстоит» и очень игриво при этом дернул вперед своей мочалистой бороденкой.

«Предстоявшая» баня действительно осуществилась для третьего батальона после обеда, часам к трем, а в четыре, очищенный не только от окопной грязи, а будто бы сразу от всех тягчайших и как бы не наяву, а в тифозном кошмаре виденных окопных ужасов, Ливенцев, уединившись около окошка, вынул, наконец, письмо из конверта.

Прочитав одно только обращение «Родной Николай Иванович», он почувствовал, что у него затуманились глаза.

Там где-то, в необыкновенно далеком, почти сказочном каком-то Херсоне она со своею девственно чистой постелью за японской ширмой, со своим пианино, пусть даже расстроенным, со своей античной головкой, пусть даже небольшою, и во сколько же миллионов раз она умнее всего, что делается тут кругом, где человек почему-то должен спокойно смотреть, как рвутся около него и в клочья рвут людей краса и сила войны — тяжелые снаряды, а если ужаснется и упадет лицом в окоп, как подпоручик Пискунов, то вот уж он и лишен звания человека...

Прошло всего только десять дней боев, и все эти десять дней гремела, грохотала канонада то утром, то вечером, то ночью, тот днем, то в мозглом тумане, то при ярком солнце,— что было еще непонятнее,— и все визжали, и лязгали, и рвались огромные снаряды, и совершенно бестемпераментно, угнетающе однообразно, не повышая, не понижая тона, строчили саван для тысяч людей самые проклятые машины войны — пулеметы... Пока только десять дней прошло, но ведь дальше, после этого вот отдыха, может быть еще сто дней?.. Или даже двести?.. Или триста?.. Год?.. Два года?..

Наконец, он решительно отдернул руку и начал глотать строчку за строчкой, как только что перед этим глотал крепкий горячий чай.

«Я читала ваше письмо и думала, что вот вы зачем-то хотели показаться мне иным, чем я вас представляла и представляю, но ведь и я, конечно, тоже иная, чем могла показаться вам. Когда мы встречались и говорили с вами, оставалось столько недоговоренного и с моей стороны и с вашей,— но я все-таки вас чувствовала, поверьте мне, и понимала, что вы не чувствуете меня. Почему же я не сказала вам об этом? Да просто потому, что мы все сейчас,— и вы, и я, и всякий, и всякая — пролетаем, как тени на фоне, а не живем; этот фон —

война, конечно,— и мы — передний план — сейчас совершенно задавлены не задним планом даже, а фоном, потому что фон этот несравнимо ярче, неизмеримо сильнее всех нас, кто на переднем плане, по своим тонам! Припомните-ка, вы со мною никогда не говорили серьезно о войне, как это ни странно мне было наблюдать в вас — прапорщике, подготовлявшем и себя и людей к войне. Вы говорили со мною о музейных экспонатах, о книгах, иногда о музыке, а в жизни уж ничего этого не осталось, и незачем стало настраивать расстроенное пианино, когда расстроилась непоправимо вся жизнь. Я понимала, конечно, что вам просто хочется отвлечься как-нибудь от того, что вас мучает, что вас ожидает,— от войны,— и вы делали всякие попытки в этом направлении. Но уйти от такой войны, как эта, нельзя, и вы не ушли, конечно, хотя и пишете мне, что у вас превосходные (!) окопы, даже «комфортабельные», что похоже уже на простую насмешку не надо мной, разумеется, а над вашими там окопами. Я очень желаю, чтобы вы в своих превосходных окопах не только не были ранены, но и не заболели ничем (даже и отвращением к этим окопам) и вернулись бы когда-нибудь в Херсон, хотя бы даже и в шинели прапорщика, но лучше бы в обыкновенном пальто. Тогда, мне кажется, у вас нашлось бы, о чем говорить со мною, кроме музеев, библиотек и музыки. Мне было очень тоскливо узнать из вашего письма, что вы в Галиции, где как раз,— пишут в газетах,— начались какие-то операции. Пока сведения об этих операциях очень туманны, и в статьях о них много белых мест. Успокойте меня, напишите, что с вами не случилось ничего страшного. Если можно, телеграфируйте,— письмо будет долго идти. Никогда раньше не читала я так внимательно газеты, как читаю их теперь, и только теперь вижу, как они убоги и как они неистово лгут. Буду с большой тревогой за вас ждать телеграммы. Пришлете? Н. Веригина».

Раза три перечитал Ливенцев эти строки, написанные таким энергическим, новым в его жизни почерком и от нового для него человека,— он раньше не знал такой Веригиной.

Он бережно положил письмо обратно в конверт и спрятал его во внутренний карман тужурки. Тут же написал на листочке, вырванном из полевой книжки: «Провел десять дней в боях здоров подробно письмом Ливенцев». И вышел, чтобы сдать телеграмму.

Никогда не случалось с ним раньше, чтобы чье-нибудь письмо зарядило его вдруг такою радостной силой. Он пытался объяснить это тем, что никогда в прежней его жизни не приходилось ведь ему участвовать в боях и быть настолько обессиленным, как теперь, и вот над ним, обессиленным, начинает реять шопенгауэровский «гений рода» в лице Натальи Сергеевны. Но такое хихикающее исподтишка объяснение сразу показалось ему подлым; он его тут же выгнал из себя; Наталья Сергеевна представилась ему такою, какой он ее оставил в библиотеке, когда простился с нею перед отъездом: на голубых глазах ее тогда показались слезы,— почему? Оскорблен ли был этот гений или опечален? Он не хотел даже искать объяснений своей радости, чтобы ее не свеять. Он просто начал себя чувствовать как будто вдвое шире прежнего, и вдвое упористей становились его ноги на эту, безразлично чью — австрийскую или русскую — землю на улице села Коссув.

Земля эта считалась русской уже больше года, и русские чиновники правили ею, и один из подобных чиновников принял от Ливенцева телеграмму в Херсон, как принял бы ее в исконно русском большом селе в Орловской губернии.

В этот день Ливенцев получил и письмо от матери, которая поздравляла его с Рождеством и заодно с наступающим Новым годом, как это было принято у нее уже много лет. Письмо было небольшое: мать его не любила тратить излишнее количество слов на письма; она в жизни была неразговорчива. И что она, одинокая старуха, могла сделать с войной, захватившей в свой круговорот и ее сына, как и миллионы сыновей других матерей-старух? Она не давала советов, как ему надо вести себя, чтобы уцелеть, потому что не могла дать таких советов; она не писала ему, что за него молится, потому что плохо верила в силу молитв. О себе же писала, что пока ничем не болеет, и Ливенцеву приятно было еще лишний раз убедиться в том, что мать его — крепкая женщина.

Вечером он писал короткое, как это повелось между ними, письмо матери, думая написать Наталье Сергеевне обстоятельно все, что пришлось ему испытать. Однако и это короткое письмо помешал дописать Титаренко, войдя с докладом.

Фельдфебель был мрачен. Он смотрел на него исподлобья, говоря от двери:

— Ну, ваше благородие, кажись, будет так, шо позагубили мы людей в тех окопах. А командир полка при вас же говорили: копать глыбже. Когда же глыбже начали копать,— вы же сами хорошо видали это,— земля оползает, как она вся пропитанная водой. А теперь вот — руки-ноги пораспухали у людей, аж стогнут. Иначе сказать — поморожены люди.

— Вот тебе на! Раньше ведь не было замечено, почему же вдруг теперь и у всех?

— Раньше люди тепла совсем не имели две недели, вот почему. А теперь, как в тепло попали, на коленки жалуются и еще вот на эти места,— показал Титаренко на сгиб кисти и локоть.

— Суставной ревматизм? Вот черт! А в других ротах?

— В нашем батальоне во всех ротах так... И в седьмой роте, я спытывал,— тоже. Также и у меня вот в коленке крутить зачало, ну, я еще смогдаюсь. И пальцы помороженные пухнут тоже.

Ливенцев бросил начатое письмо и пошел по халупам, в которых разместилась его рота. На другой день, с утра, около семидесяти человек пришлось ему отправить в тыловые лазареты: они не только не могли двигаться сами, но от болей во всех суставах непрерывно стонали и кричали. Их выносили из халуп на носилках. Всего из полка было отправлено более пятисот человек. Остальные, менее обмороженные, оставлены были отлежаться здесь, в Коссуве.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Наступление кончилось, но телеграммы о нем продолжали идти: в штаб Юго-западного фронта, а оттуда в ставку. Однако были и такие телеграммы, которые шли непосредственно в ставку, минуя Иванова и его генерал-квартирмейстера Дитерихса. Это были телеграммы Щербачева, обвинявшие в неудачах своей армии не кого другого, как самого Иванова и его штаб; кроме телеграмм, в ставку были отправлены из седьмой армии подробнейшие донесения о том, как мешал своими действиями успеху наступления Дитерихс. Эти донесения в секретных пакетах привозили офицеры, командированные Щербачевым. У Дитерихса был свой план наступления, но ставка приняла план Щербачева, и те-

перь, по донесениям командира седьмой армии, выходило, что Дитерихс делал все, что мог, чтобы провалить наступление: задерживал отправку снарядов для тяжелых орудий, сознательно создавал перебои в снабжении провиантом, отозвал из седьмой армии целую дивизию, без которой нельзя было развить наступление...

Живя в Могилеве-губернском, где была ставка, царь получал, конечно, ежедневно сведения о том, как идет наступление, но сведения эти были сбивчивы, иногда просто ложны. Сообщалось по существу не о том, что было вчера, а о том, что могло бы быть, что непременно должно было произойти завтра, так как в первые дни даже и начальник штаба генерал Алексеев не хотел думать о неудаче операции, задуманной так, казалось бы, блестяще, снабженной так, казалось бы, современно и подготовленной в такой совершенной, казалось бы, тайне.

Приводились, правда, причины, мешавшие быстрому и полному, решительному успеху русских войск,— например, очень густые туманы, не позволявшие тяжелым орудиям вести удачный обстрел неприятельских позиций. Но у «верховного главнокомандующего» был свой домашний верховный главнокомандующий — Распутин, для которого, по мнению царицы, ничего не стоило расчистить от туманов все укрепленные высоты между Ольховцем и Стрыпой. Узнав о зловредных туманах, она сообщила об этом «старцу» и потом писала мужу в ставку: «Наш Друг сделал выговор, что ему этого не сказали тотчас же,— говорит, что туманы больше не будут мешать».

Самому же Распутину мешал военный министр генерал Поливанов, относившийся к нему без требуемого им подобострастия, и царица безотлагательно сообщала в ставку его мнение, что Поливанова нужно сместить, а на его место назначить главнокомандующего Юго-западного фронта Иванова, которого, в свою очередь, заменить Щербачевым.

Начальник штаба Алексеев был человек очень набожный. Когда он чего-нибудь не понимал и был удручен этим непониманием, он запирал дверь своего рабочего кабинета в ставке, становился на колени перед образом и молился весьма истово полчаса, час, сколько позволяло его загруженное работой время... Так молился он и тогда, когда получил окончательные сводки о больших потерях и совершенно ничтожных успехах за декабрьскую операцию в Галиции — Буковине.

Это была первая операция, подготовленная им, новым начальником штаба, при новом верховном главнокомандующем. В эту операцию были вложены им все его стратегические способности, весь его опыт большого штабного работника, все боевые средства, которые можно было снять с других фронтов, чтобы перебросить на Юго-западный,— и все это не привело ни к чему, и старый великий князь, Николай-большой, сосланный на Кавказ, мог теперь злорадствовать там, видя крупную неудачу своего заместителя в ставке, Николая-маленького.

Царь, ревностно следивший вначале за наступлением сам, под Рождество уехал из ставки на Западный фронт, где задумал такое же наступление, а потом — к семье в Царское Село, но под Новый год снова вернулся в Могилев, и Алексееву назначен был день и час для доклада о положении дел.

Царь только что вернулся с прогулки по расчищенным аллеям большого сада около ставки. Раздевшись, он остался, как всегда, в теплой, подпоясанной кожаным поясом рубахе защитного цвета, с широкими полковничьими погонами. Длинные рыжие брови, длинные рыжие с проседью усы, которые он оттягивал и подкручивал привычно двумя пальцами левой руки — большим и средним, его старили и придавали ему запущенно-фельдфебельский вид. В его кабинете на большом письменном столе лежала, покрывая его весь, как скатерть, карта Юго-западного фронта с массой отметок на ней, сделанных красным и синим карандашами. На карте лежал последний номер юмористического журнала (серьезных журналов царь не любил и не читал). Приготовляясь слушать длинный деловой доклад, собственноручно написанный Алексеевым и заполнивший довольно пышную тетрадь в простой синей обложке с белым ярлыком на ней, царь был спокоен и любезен, как всегда. Вынув серебряный портсигар с монограммой, он закурил папиросу, что означало полную его готовность слушать, как бы это ни было скучно: ведь то, что операция не удалась, было уже ему известно.

Приземистый Алексеев, значительно лысый со лба, с такими подчеркнуто простонародными носом и усами, украшенный аксельбантами и двумя крестами,— Георгия на груди и Владимира на шее,— внешне был спокоен, и, как обычно, правая полуседая бровь его весьма ершилась и задиристо лезла кверху, левая хитренько-

скромненько опускалась вниз и почти закрывала и без того узенький серый глаз, но только один его генерал-квартирмейстер Пустовойтенко, тоже приглашенный на доклад царем, красивый и ловкий по фигуре молодой генерал-майор, знал, как тяжело ему далась неудача на фронте и какого труда стоило ему составить доклад так, чтобы отвести больше места и придать большее значение подготовке операции, количеству выпущенных тяжелых и легких снарядов, произведших бесспорно огромное моральное действие на противника и причинивших ему громадный вред; наконец, упорству, с каким части седьмой и девятой армий вели атаки на первоклассно укрепленные позиции австрийцев.

Царь слушал доклад Алексеева, иногда взглядывая на карту перед собою, когда появлялись и требовали его внимания названия деревень или обозначенных цифрами высот. С некоторым беспокойством присматривался он к пухлой тетради своего начальника штаба, явно желая, чтобы она поскорее показала свой последний лист, но ни одним словом не намекнул на это: он был воспитан в терпении, он был приучен с детства владеть собою и улыбаться благожелательно даже тогда, когда слышал что-нибудь для себя неприятное.

И когда он услышал наконец, как Алексеев, дойдя до последней страницы доклада, глухим отнюдь не от усталости голосом и со слезами, навернувшимися на старые серые глаза, стал перечислять потери, понесенные теми или другими частями пехотных войск, ведших атаки, он улыбнулся милостиво и взял в обе руки юмористический журнал.

Алексеев дошел до последних строк доклада, бывших для него наиболее мучительными,— до общей суммы потерь. Он даже задержался несколько на этих строках глазами, как бы проверяя самого себя в последний раз: так ли он произвел это школьное упражнение в сложении простых целых чисел, не ошибся ли в сторону увеличения итога? И после паузы он закончил забывчиво глухо и невнятно:

— В общем, следовательно, наши части потеряли за десять дней боевых действий убитыми, ранеными и пропавшими без вести в круглых цифрах пятьдесят тысяч человек.

В его докладе стояли еще три слова: «не считая больных», но этих слов сознательно не прочитал он, потому что боялся услышать вполне естественный вопрос царя:

«А сколько же, приблизительно хотя, заболело на фронте за эти дни?» У него же не было данных даже «приблизительно», так как не все части дали сведения о том, сколько заболело; однако и по тем отрывочным, неполным данным, какие у него имелись, можно было бы дать такой ответ: «Число заболевших очень велико и едва ли не составляет половину общего количества убитых и раненых».

Закончив свой доклад, Алексеев несмело посмотрел на царя, но царь весело и широко улыбался той удачной, по его мнению, карикатуре, какую он нашел в журнале.

— Вы кончили? — спросил царь и, не дав ему ответить, протянул журнал.— Посмотрите-ка! Правда, ведь довольно бойкий рисунок, а?

Алексеев недоуменно взял журнал дрожащей рукой и не сразу смог отыскать глазами рисунок, развеселивший царя бойкостью, потому что рисунков на странице было три и изображали они известную с давних времен историю о репке, но применительно к современному положению в Европе. «Дед», Франц-Иосиф, будто бы посадив «репку» — войну,— поливает ее из лейки, это был первый рисунок; «репка»-война выросла «большая-пребольшая», и «дедка», Франц-Иосиф, пятится от нее в испуге на карачках; а третий рисунок — репку тянут Франц-Иосиф, Вильгельм, султан Магомет V и Фердинанд болгарский, ухватясь один за другого, но «тянут-потянут, вытянуть не могут», а «репка» подмигивает им и скалит зубы.

Не было ничего смешного в этих трех рисунках, хотя карикатурист и старался всячески сделать смешными и развалину Франца-Иосифа, и Вильгельма с его знаменитыми усами и в неизменной каске, и босоногого почему-то Магомета, и Фердинанда с носом, как у марабу.

— Д-да-а,— неопределенно протянул Алексеев, не зная, как отнестись к такому странному повороту в сторону от его доклада.

Пустовойтенко же, который счел для себя необходимым дотянуться до журнала, приглядевшись внимательно к рисункам, нашелся заметить только:

— К сожалению, тут, кажется, нет фамилии художника, ваше величество.

— Стоят на третьем в углу какие-то инициалы,— любезно отозвался царь и весело добавил:— Возможно, что это только еще начинающий художник, поэтому застенчив. Но рисунок боек, очень боек!.. Очень боек, да...

(Тут он посмотрел на часы.) Ну что же, господа, время обедать.

И поднялся, улыбаясь все так же любезно-непроницаемо, и тут же вскочили и вытянулись Алексеев и Пустовойтенко.

На простом, унтер-офицерском, лысолобом и плоском лице Алексеева оставалось не рассеянное карикатурой выражение того, что пережил он, читая последние строки своего доклада, и царь это, должно быть, заметил, потому что, выходя из кабинета, сказал ему снисходительно:

— Что же касается потерь, то они ведь необходимы, Михаил Васильевич,— нельзя наступать без потерь...

— Я думаю,— сказал Алексеев,— что потери австрийцев были не меньше, ваше величество, принимая во внимание ужасное действие наших тяжелых батарей.

— Ну вот видите, конечно, их потери не могут быть меньше. Что же касается Иванова, то, может быть, он получит другое, высшее назначение... А Эверт,— я был у него перед Рождеством, видел несколько корпусов,— он прекрасно одел свои войска, у нижних чинов очень сытый вид,— прекрасные войска. И, знаете, погода там была необыкновенно теплая для декабря,— три градуса, два градуса, даже однажды было всего один градус мороза,— настоящая оттепель... Я думаю, что наступление на фронте Эверта пройдет удачнее.

Небрежно и на ходу было сказано всего только несколько фраз, но это были фразы очень большого значения и для Алексеева и для Пустовойтенко. «Высшее назначение» Иванова после того, как провалилось декабрьское наступление на его фронте, было совершенно непостижимо. Его можно было понять так, что царь хочет сделать Иванова вместо Алексеева своим начальником штаба и с ним уже подготовить тщательно наступление на Западном фронте. Однако только что провалившееся наступление проводилось ведь не кем иным, как Ивановым, и возникал понятный вопрос: почему же будет удачное наступление на Западном, если его подговорит тот же Иванов. Не говоря уже о том, что против Эверта стоят не австрийцы, а германцы... И хотя царь все время разъезжает, делая смотры войскам, и хотя за один из подобных смотров вблизи фронта он получил, благодаря все тому же услужливому Иванову, Георгия 4-й степени, и хотя в половине декабря он был произведен своим кузеном, королем Георгом, в фельдмаршалы

английской армии, все-таки и Алексеев и Пустовойтенко отлично знали, что работать над подготовкой к наступлению царь совершенно не способен и не будет.

Идя следом за царем по коридору ставки, Алексеев посмотрел вопросительно на своего генерал-квартирмейстера, подняв бровь даже и над левым глазом, а тот в ответ только вздернул непонимающе плечом.

После обеда Пустовойтенко, очень встревоженный возможным крутым переворотом в своей службе, случайно, правда, но прекрасно налаженной, высказал Алексееву то, о чем упорно думал:

— Если Иванов будет назначен на ваше место, то генерал-квартирмейстером у него будет, конечно, тот самый Дитерихс, на которого столько жалоб вы получили от Щербачева.

Этим замечанием, как будто брошенным между прочим, Пустовойтенко рассчитывал вызвать своего начальника на откровенность, и тот не замедлил оправдать расчеты, потому что полон был тех же мрачных мыслей.

— Да, вот еще и это, а как же? Недоразумение у Дитерихса, то есть у Иванова с Щербачевым и Головиным,— отозвался он очень живо.— Я не докладывал его величеству,— думал, что надо бы проверить сначала,— однако Щербачев не из таких, чтобы ложные сочинять доносы! Подкладка, разумеется, была серьезная. Нужно сделать из его донесений краткую сводочку, и я доложу его величеству.

Пустовойтенко понимающе наклонил голову, Алексеев же продолжал, повышая голос:

— Я не имею права не докладывать о таких серьезных вещах, как сознательная задержка снарядов перед наступлением или сознательная, конечно, тоже подача их черт знает куда, только не туда, где они нужны до зарезу. А эта возмутительная история с восемьдесят второй дивизией пехотной? Почему Иванов приказал ее снять с фронта? Дивизия стояла и все знала, что делается на фронте, и вот... И вот ее уводят в тыл, как раз когда приходит седьмая армия! Она и передать ничего не успела, ее в спешном порядке отводят, и седьмая армия остается без глаз в совершенно новом для нее месте и, естественно, путается в ориентировке,— одну высоту принимает за другую, тыкается туда и сюда, как слепой щенок. Да ведь это что же такое? Вторая маньчжурская кампания! Там все китайские деревни были «Путунда», то есть «не понимаю», а здесь не разобрались

как следует в местности и запретили даже разведки делать перед атакой: пришли,— вали сразу в атаку! Первоклассно укрепленные позиции хотели взять без артиллерийского обстрела,— каковы Иванов с Дитерихсом? Из штаба Иванова назначается день атаки, несмотря на то, что на фронте совсем не готовы. Нет, я не имею даже и права не доложить этого государю! Мы так трудились тут, чтобы для этой операции фронт наш не имел ни в чем недостатка, мы, можно сказать, из кожи лезли, чтобы собрать туда все, что могли, и стараниями Иванова все было сведено на нет.

— Если даже виновата тут была просто усталость со стороны Иванова, о чем он и заявлял государю,— подсказал своему начальнику еще один довод Пустовойтенко,— то ведь быть начальником штаба в ставке разве легче, чем быть главкоюзом?

— Вот именно, вот именно, да,— подхватил Алексеев.— Государь при мне спрашивал его, не устал ли он, и он при мне ответил: «Очень устал, ваше величество!..» Он добавил, разумеется, что полагается: что рад служить на пользу отечеству, но от подобных операций, как им проведенная, отечеству огромный вред, вот что! Подобные операции способны только поднять дух австрийцев, а нашу армию деморализуют, вот что. У нашей армии может получиться прочное убеждение, что позиции противника совершенно неприступны, если мы, даже имея тяжелые дивизионы, ничего не могли с ними сделать! Мы не имеем права на такие жалкие результаты наступлений, как проведенное Ивановым... Удачей, какую мы ожидали, мы могли бы приобрести в союзники Румынию,— как бы она там ни была ничтожна по своим военным силам, а теперь мы ее можем толкнуть в сторону Германии... Вот что сделал Иванов со своим штабом!

— Крестный папаша наследника,— чуть усмехнулся Пустовойтенко.— Этого качества вполне достаточно, чтобы его оправдали в Царском Селе. И Распутин за него горой стоит!

— Вы думаете, что все дело в Распутине?

— Думаю, что все в Распутине, которого вы сюда, в ставку, не желаете впускать,— улыбнулся Пустовойтенко.

— Ну что вы тоже! Разве я — хозяин ставки? Если он приедет вместе с государем, то как же я могу его не впустить? С собакой приедет царь,— собака вместе с ним войдет, с Распутиным — Распутин войдет. А мне

лично он, конечно, так же здесь нужен, как и вам. Так я и сказал императрице на ее запрос об этом мерзавце. Если хочет познакомиться с фронтом,— пусть специально для него устраивают маневры с соблюдением всех особенностей современного боя, даже, если хотят, с убитыми и ранеными для большей наглядности,— это меня не касается, поскольку я — не военный министр, а в ставке ему нечего делать.

Напоминание о Распутине всегда вызывало в Алексееве чувство не только возмущения, но и ошарашенности. Все, чем он был занят в ставке, вращалось в рамках строгих логических понятий,— стратегия основана на трезвой логике, не допускающей никаких случайностей и чудес. Но чуть только дело касалось его бесед с царем, он видел, что логика тут понемногу сдает уже свои позиции чему-то другому, ей чуждому. Однако в царе он видел все-таки военного, хотя бы всего только бывшего батальонного командира лейб-гвардии Преображенского полка, так и не сумевшего подняться в своем кругозоре выше этого невысокого поста. Однажды царь спросил его даже, на сколько верст и под каким углом стреляют немецкие сорокадвухсантиметровые пушки. Это все-таки указывало на некоторый интерес к чисто военным вопросам.

Но Распутин, за одну мысль о разоблачении которого совсем недавно еще, как он знал, слетел с места товарищ министра внутренних дел бывший шеф корпуса жандармов, генерал Джунковский, приезжавший в ставку выпрашивать себе должность хотя бы командира бригады,— Распутин был совершенно вне его логики.

Отсюда-то и приходила ошарашенность, пришла она и теперь, и Алексеев только покраснел так, что круглая бородавка под его правым глазом стала совсем багровой, и закончил разговор, сильно понизив голос:

— Знаете ли что, Михаил Саввич,— пусть назначают на ваше место Дитерихса, на мое — Иванова, все равно. Выиграть эту войну мы ни в коем случае не можем. А что мы идем к грандиознейшей внутренней катастрофе,— это ясно. И дай бог нам с вами в ней уцелеть!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

По жалобе Баснина на Ковалевского, осмелившегося усомниться в наличии умственных способностей у генерала, другой генерал — Истопин — приказал третьему

генералу, командиру бригады Лоскутову, произвести дознание.

Лоскутов прислал Ковалевскому в Коссув бумажку с требованием явиться к нему в соседнее село, где стояла в резерве его бригада, и дать свое показание.

Ковалевский сказал своему адъютанту:

— По-видимому, Иван Алексеич, и вы, как свидетель, понадобитесь там, у этого следователя по особо важным делам, потому что Баснин говорил с вами. Придется нам поехать с вами вместе. Ничего, что ж,— проедемся. Погода неплохая,— не вредно проехаться.

Говоря это, он улыбался с виду беспечно, и Ване подумалось даже, что он шутит; но он приказал оседлать вместе со своим Мазепой и его Весталку.

Как добродушны бывают огромные сенбернары, окруженные обыкновенными, хотя и голосистыми, дворняжками, так, по существу своей натуры, был добродушен и Ваня Сыромолотов, физически очень сильный человек. Ковалевский был прав, конечно, когда говорил, что адъютант боевого полка должен обладать воловьими нервами и безупречным здоровьем, что слабые совсем не годятся на эту должность. Ваня был нетороплив в работе, но работать он мог по двадцать часов в сутки, иногда и больше. Он, правда, медленно разбирался во всем новом, что на него сваливалось каждый день, но, разобравшись, действовал неуклонно и точно, применяя тут свои навыки при работах над сложным рисунком.

В Ковалевском он, как и Ливенцев, видел знатока современных способов ведения войны, который был пока еще на очень малой роли,— но гораздо больше был бы на месте, если бы получил в командование дивизию вместо старца Котовича, например. Как художник, Ваня внутренне увлекался гигантскими размерами совершающихся около него событий, как атлет, он напрягал всю свою мощь. чтобы их выдержать и под тяжестью их не согнуться, как человек просто, он был очень удручен ими.

И сейчас, когда он ехал по шоссе рядом с Ковалевским шагом на своей добротной еще, но уже похудевшей Весталке, он говорил:

— Колесников Степан, мой товарищ по Академии, довольно живо рисует тела убитых на полях сражений,— попадаются иногда его рисунки в журналах, а я попробовал как-то зарисовать в альбом своих убитых однополчан и не смог закончить.

— На эту тему есть где-то у Байрона,— отозвался Ковалевский,— и звучит это в русском переводе так:

Когда в полках ни друга нет, ни брата,
Вас может восхитить сраженья вид...

Когда же рядом с вами убивают ваших товарищей, то, естественно, восхищаться сраженьем дико. Даже и Ахилл, как вам известно, оплакивал смерть друга — Патрокла. Когда-нибудь после войны вы напишете на военную тему картину, а теперь не угодно ли вам побеседовать с Лоскутовым тоже на военную тему,— правда, только из другой оперы.

— Что же я все-таки должен говорить этому Лоскутову? — осведомился Ваня.

— Только то, что было в действительности, без всяких досужих сочинений,— живо отозвался Ковалевский.— Вам сказал покойный Хрящев, что-о...

— Разве Хрящев уже умер?

— Я думаю, что умер... Сказал, что взят передовой окоп, а вы передали Баснину, что-о...

— Я так и передал, что занят передовой окоп,— уверенно перебил Ваня.

— Тогда пусть предположат, что он недослышал и понял, как ему хотелось понять... Затем насчет того, какой полк занял высоту, расскажите все дословно, как оно было... Пожалуйста, только не сочиняйте! Вот именно от того, что на фронте у нас чересчур много сочинителей, мы и погибаем. В три шеи надо гнать с фронта всех сочинителей вообще, не говоря уж об этих мерзавцах,— специальных корреспондентах газет! Сидят, подлецы, в кофейнях в ста верстах от фронта и такую неподобную чушь и гниль своего изобретения отсылают в доверчивые редакции, что только судить и вешать их, как за измену!

— Может быть, редакции не столько доверчивы, сколько... держат нос по ветру?

— Мерзавцы, конечно, везде и всюду. Во время войны все-таки порядочней быть на фронте, чем оставаться в тылу. На фронте хотя и плохо, но все воюют, а в тылу только воруют. Однако всякая ложь в донесениях на войне — это ничем не лучше воровства. И вот тому же Щербачеву я не прощаю того, что занял он, будучи в армии Рузского, в четырнадцатом году, совершенно не защищавшийся австрийцами Львов, а донес, что взял

его с бою. Почему же, спросите вы, пожалуй, так он донес? Очень просто, конечно, почему: если двигался на Львов и занял его, как пустое поле,— это одно, а если взял его, как укрепленный пункт,— это совсем другое, и за это пожалуйте белые кресты! И вот теперь сам Щербачев командует армией и удивляется, почему так вдохновенно все врут ему в своих донесениях... И во всех ведомствах только и дела делают, что изумительно врут. Воруют и врут. А лошади наши вот перешли уж на пять фунтов сена, а дальше, может быть, и на фунт перейдут, потом подохнут. Почему же именно? В России сена нет? Есть, конечно, только надо его доставить, а чтобы доставить, надо вагоны, а вот я недавно узнал: под жилье беженцам отведено сто двадцать тысяч вагонов,— как вам это понравится?

— Для беженцев можно бы построить бараки, зачем же держать их в вагонах? — удивился Ваня.

— Бараки... Наивность!.. Конечно, к этой гениальной мысли кто-нибудь там, в тылу, не один раз приходил, и деньги на это, несомненно, отпускались, но деньги украдены попечителями о беженцах, и число вагонов с беженцами во всяких станционных тупиках растет и растет, а на фронте растет падеж лошадей от бескормицы.

Лоскутов встретил их, потирая руки, но, может быть, он прибег к этому жесту не потому, что готовился насладиться муками грешного полковника на огне его хитроумно задаваемых вопросов, а просто оттого, что сам он был стар и костляв, а в халупе, где он помещался, было для него несколько прохладно. Во всяком случае, массивный Ваня произвел на него большое впечатление своею явной мощью, и, раньше чем начать дознание, он спросил ошеломленно Ковалевского:

— Это ваш адъютант? Где же вы такого молодца взяли?

— По особому заказу,— живо усмехнулся Ковалевский, наблюдая Лоскутова, который должен был постоять за папскую святость генеральского чина, но мало как будто имел для этого силы.

Прежде всего был он очень суетлив для генерала, он весь точно дергался на пружинах или делал замысловатые номера неведомой гимнастики.

Командиры бригад не имели штабов,— при Лоскутове был только один связист,— и все делопроизводство

вели они сами, и Ване, получившему уже большой опыт в ведении военно-канцелярских дел, ясно было, что дознание по делу полковника Ковалевского,— всего-навсего пять-шесть бумажек, в порядке лежавших у Лоскутова на столе,— и было все, что можно было назвать его службой отечеству за последнее время.

— Неприятно, неприятно, полковник, очень мне неприятно вести это дознание, но что делать, долг службы, долг службы. Получил предписание от командира корпуса,— долг службы!

Лоскутов разнообразно поиграл костлявыми пальцами перед небольшим желтым лицом, несколько раз то выпячивал, то прятал губы, то выкатывал, то щурил светлые колючие глаза, наконец строго и в упор спросил Ковалевского, подняв обеими руками телефонограмму его на имя Котовича:

— Эта вот тут вначале фраза: «Генерал Баснин сошел с ума»,— эта фраза вами лично диктовалась, полковник, или... или она как-нибудь случайно сюда попала?

— Мною лично,— спокойно ответил Ковалевский.

— Вами лично? Не отрицаете?.. Нет?.. Замечательно!

Лоскутов очень деятельно потер руки, точно растирал на ладонях летучую мазь, потом стремительно бросился к перу, чтобы записать такое категорическое признание.

— На чем же вы основывались... руководились, иначе сказать, вы чем, чтобы такое... такую фразу... с такой именно фразы, точнее, начать свое донесение?

— Основывал свою фразу на том, что оставить в решительный момент атакующую часть без поддержки артиллерии мог только внезапно помешавшийся человек,— очень отчеканенно ответил Ковалевский.

— Замечательно!.. Я сейчас запишу это...

Потом, перебрав бумажки на столе, он вытащил одну из них, уже успевшую обрасти двумя-тремя другими, и, поиграв пальцами, и губами, и глазами, спросил:

— А вот тут клеветнический какой-то,— ясно, что клеветнический,— как же иначе? — рапорт на вас, полковник, гм... рапорт, конечно... некоего штабс-капитана Плевакина по своему артиллерийскому начальству, будто... будто вы его за что-то арестовали и приказали... Позвольте мне посмотреть, что он тут такое написал, этот штабс-капитан Плевакин... будто приказали двум нижним чинам своего полка... я сейчас найду...

— Не трудитесь искать, я это помню,— сказал Кова-

левский,— я приказал двум связистам отправить его на позиции одного своего батальона и держать там до вечера, а если он вздумает не подчиниться моему приказу, заколоть его штыками.

— Так это было, полковник? Было действительно? Вы не отрицаете?

— Нисколько!..

— Замечательно!.. Очень замечательно!

На голом темени генерала разместились вполне симметрично четыре шишки — липомы; он энергически потер их сначала одной рукой, потом другой, пожевал губами и кинулся к ручке записывать.

— Та-ак!.. Так-так-та-ак!.. Та-ак! Замечательно!

Потом он, как будто даже весьма повеселев, разнообразно работая костлявыми пальцами, вытащил из кипы бумажек еще одну, тоже обросшую, и спросил, щурясь:

— А подпоручика артиллерии Пискунова вы тоже...

— Как? И этот на меня жаловался? — удивился Ковалевский.— Ему недостаточно, что он унес свои подлые ноги и цел остался? Он в чем меня обвиняет?

— Вы меня перебили, полковник! Это, это, знаете,— это не полагается делать при дознании. Но подпоручик Пискунов рапортует, будто вы тоже приказали... вот тут есть это... одному из своих нижних чинов разбить ему голову прикладом, если он ее опустит ниже бруствера... Это тоже было?

— Насколько я помню, именно так и было и иначе не могло быть там, на позиции, во время атаки! Когда ты офицер-наблюдатель, когда от тебя зависит корректировать артиллерийский огонь, то будь ты какой угодно Пискунов, ты должен делать свое дело, а не валяться на дне окопа! — повысил голос Ковалевский.

— И вы ругали его... гм, да... вот тут он их приводит... разными крепкими словами, полковник?

— Непременно!

— Замечательно!

Когда и это показание было записано, Ковалевский спросил Лоскутова:

— Есть еще какой-нибудь рапорт на меня, ваше превосходительство?

— Мне кажется... Я так думаю, полковник, что... что вполне довольно и этих трех...— потер руки Лоскутов, лицо его вдруг стало горестным, точно заранее он тоско-

вал об участи, какая ожидает этого бравого на вид полковника-генштабиста.

— Тогда позвольте откланяться. А моего адъютанта я вам сейчас пришлю.

Ваня вышел, когда начался допрос Ковалевского, и, оглядывая улицу этого села, думал, как последовательно и совершенно точно передать свой разговор по телефону с Басниным так, чтобы выгородить своего командира, однако не утопить совершенно напрасно и себя.

Ковалевский вышел наружно спокойный, но по тому, как протиснул сквозь зубы: «Бывают же такие олухи на свете!» — Ваня понял, насколько сильно он взвинчен допросом. Он только качнул головой в сторону двери, и, входя к этому странно суетливому, точно страдающему пляской святого Витта, генералу, Ваня чувствовал себя не совсем уверенно.

К тому же и генерал как будто даже не ожидал, что он войдет, потому что посмотрел на него удивленно.

— Я в качестве свидетеля по делу своего командира полка, ваше превосходительство,— поспешил пророкотать Ваня.

— Сви-де-теля? Каким это образом свидетеля?.. Я вас, прапорщик, не вызывал ведь как свидетеля? — заиграл пальцами Лоскутов.

— Так точно, вызова от вас я не получал... Но это я говорил по телефону с командиром бригады, генералом Басниным и, очевидно, был им не так понят, почему он и приказал отменить обстрел высоты...

Лоскутов перебил его, всем телом приходя в движение:

— Ка-ак бы там ни было, ка-а-ак бы там ни было, э, прапорщик, суть дела совсем не в том... не в том! А кроме того...— он схватил со стола какую-то бумажку,— ваша фамилия, прапорщик?

— Сыромолотов, ваше превосходительство.

— Вот он — рапорт генерала Баснина... но в нем... (Лоскутов сильно прищурился, просматривая бумажку). В нем, видите ли, совсем ни о каком прапорщике не говорится... Одним словом, что я хочу вам сказать?.. Ваша попытка замолвить кое-что в пользу своего командира... я ее ценю, э, да... Она похвальна, прапорщик... попытка эта. Только без надобности... Вот!

Ваня понял, что ему остается только выйти, и сказал несколько сконфуженно:

— До свиданья, ваше превосходительство.

Лоскутов, несколько приподнявшись, протянул ему костлявую, холодную руку, почему-то говоря при этом скороговоркой:

— Да!.. Да-да-да!.. Вот именно... Всего хорошего!.. Именно так.

Когда Ваня передал Ковалевскому свой разговор с Лоскутовым, тот сначала посмотрел на него сердито, потом, садясь на Мазепу, подмигнул ему не без веселости:

— Видали, как надо дознание производить? Учитесь! Когда выслужитесь в генералы,— пригодится... Строят какую-то глупую комедию, как будто больше нечего делать. Из-за этого даже лошадей не стоило беспокоить, не только нас.

Однако дня через три после этого Ковалевского вызвали в штаб корпуса, и Истопин встретил его очень начальственно-раздраженно и крикливо:

— Вы-ы! Что это там такое изволите выкидывать, а?.. Пхе!.. Вам надоело командовать полком, а?.. Пхе... Вы хотите, чтобы я вас отчислил, а?.. Пхе!..

Ковалевский пытался было после этих трех вопросов ответить хотя бы на один, но только успел сказать: «Ваше превосходительство!» — как Истопин поднял палец в знак того, что он отнюдь не окончил и даже совсем не ждет от него никаких ответов.

— Вам, конечно, опротивела гря-язь на фронте, еще бы!..— продолжал он, повышая голос.— И тысяча разных неудобств вообще, пхе!.. Кроме того, и кое-какой риск, натурально связанный с фронтом, пхе!.. Вам хочется снова в штаб, на спокойное креслице!..

Тут Истопин, точно задохнувшись, сделал паузу и продолжительным уничтожающим взглядом показал опальному полковнику, что знает все вообще его тайные мысли.

— Ваше превосходительство! — успел во время этой паузы вставить Ковалевский, но Истопин опять поднял палец.

— Быть может, вы надеетесь на свои связи, но-о... прошу помнить: ни-ка-кие связи вам не помогут, и я-я-я... пхе... не отчислю вас от командования, так и знайте... что бы вы такое там ни выкидывали от скуки и огорчения,— нет! Не отчислю!.. Можете идти.

Ковалевский поклонился и вышел, видя, что всякое его слово будет не только бесполезно, но и вредно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда отправили в тыловые госпитали обмороженных, в роте Ливенцева осталось всего около ста человек; в других же, как в первой, второй, пятой, одиннадцатой, еще меньше. Полк нуждался в большом пополнении, и оно пришло из резерва армии.

Но пополнение это дрессировалось для войны не Ковалевским. Когда он вздумал устроить полковое ученье, то эти новые солдаты его полка так его возмутили своей плохой подготовкой, что он едва не сорвал голоса на бешеном крике. Много попало в полк белобилетников, забракованных при врачебном осмотре в начале войны, а из них большая половина стариков. И если Ковалевского возмущала никуда не годная их военная выправка и подготовка, то их, в свою очередь, угнетала одна, неусыпно сверлившая их мысль, что они взяты на службу не по закону. И если Ковалевский смотрел на их валковатые, понурые, совсем не солдатские фигуры с огорчением природного строевика, то они на него с первых же дней стали глядеть с плохо припрятанной злобой природных хлеборобов, незаконно оторванных от земли.

Ваня Сыромолотов передавал Ливенцеву, что на имя Ковалевского пришла также и секретная бумага, в которой пополнение, пришедшее в полк, аттестовалось, как «затронутое преступной пораженческой пропагандой»...

— Поэтому рекомендуется командному составу полка мозги им вправить,— рокотал Ваня.

— Ну, это уж гиблое дело!.. Как же все-таки советуют за это браться? — любопытствовал Ливенцев.

— Рекомендуется установить за ними «неослабный надзор» и, конечно, «вести беседы о целях войны».

— Не поможет,— отозвался Ливенцев.

Ковалевский собрал ротных командиров, чтобы кое-что разъяснить им и кое-что приказать.

— Вы, господа,— говорил он с небольшими запинками,— все приняли в той или иной степени боевое крещение... Некоторые из вас представляются мною к наградам... также и многие нижние чины. Полк кое-каких успехов все-таки добился, чего нельзя сказать о других полках, выступавших рядом с нами... В занятых третьим батальоном и седьмою ротою окопах австрийских и теперь сидят роты сменившего нас полка, так что эти око-

пы заняты прочно. Успехи скромные, что и говорить, но, повторяю, другие полки и этим похвастаться не могут. Благодаря чему же все-таки эти успехи достигнуты? Благодаря тому, что и вы, господа ротные командиры, и находившиеся под вашей командой нижние чины свои обязанности воинские понимали... понимали, да. Только благодаря этому... Нужно сказать, что нижние чины были в большинстве все-таки молодых годов и прошли очень основательную подготовку. К несчастью, полк потерял половину своего состава,— и офицерского и нижних чинов,— потерял во время боев и от болезней... Что делать,— потери огромные, очень болезненные... Пятьдесят процентов! Успехи скромные, потери огромные. Печально, да, очень печально... И вот нам прислали пополнение,— свежие силы. Есть такое старое изречение: «Война портит солдат». Звучит изречение несколько смешно... несколько смешно, да... несколько смешно. Но по существу оно правильно: война портит солдат в том смысле, конечно, что чем больше она тянется, тем солдат, поступающий на фронт, все хуже и хуже по своим боевым качествам. Люди — не солнце, вечно гореть не могут... не могут, да... к сожалению, не могут. И вот перед вами, господа, задача, я не сказал бы, что легкая, нет, очень трудная задача, перевоспитать то пополнение, какое нам прислали, потому что оно, как вы сами, конечно, разглядели, воспитано очень плохо. Дурно воспитано во всех отношениях, да. Со временем оно ассимилируется, разумеется, там, в боевой обстановке, но все-таки вы должны его подготовить. Как это сделать? Беседуйте, разъясняйте,— на то указывайте, что вот уже много губерний наших заняты германцами, и жители их или стали беженцами, то есть круглыми нищими, или попали в рабство,— роют окопы для немцев за кусок черного хлеба. Горе побежденным!.. Растолкуйте им, что это значит. Их могла не интересовать участь польских губерний, однако пополнение наше из Екатеринославской, Херсонской губерний, а ведь до них уже недалеко. Разъясните им, что, пройди австрийцы через этот наш фронт, и вот они уже занимают Подолию, занимают Волынь, а там уж и в их хаты на постой венгерских драгун дадут. Если Варшава была от них далеко, если о Вильне многие из них, может быть, и не слыхали, то скажите им, что под ударом врага теперь Киев, Одесса, что если не мы побьем противника, то противник побьет нас,

и тогда прощай наши Одесса и Киев, Екатеринослав и Херсон!.. Покажите им все эти города на карте, чтобы они видели, что им грозит участь Вильны и Ковно... Говорите им, что до конца войны,— чего они, конечно, все жаждут,— теперь уже совсем недалеко, что противник наш вот-вот крахнет, потому что на него наседают оттуда, с запада, французы, англичане, итальянцы... Наконец, можете говорить и то, что зимою никаких боевых действий не предвидится, и, по-видимому, до весны мы проживем спокойно, на том же фронте, на каком мы сейчас... А весной — тогда будет видно, что и как,— может быть, весной они будут свою землю пахать,— словом, утро вечера мудренее... Главное же, господа, чтобы они были заняты целый день службой или работой,— это самое важное. Тогда всякая эта домашняя дребедень не будет им лезть в голову. Впрочем, об этом последнем заботится наше начальство: как только окончится наш двухнедельный отдых, господа, мы идем на позиции.

— Как? Туда же, где и были? — спросил Ливенцев

— Почти туда же. Несколько южнее. Да, именно, мы займем те самые позиции, какие должны были бы мы занять по первоначальному распределению участков, если бы мы не двинулись в расположение чужого корпуса, в эту самую деревню Петликовце... Кстати, Петликовце. Совершенно случайно я узнал, что командир Кадомского полка представлен к награде за... что бы вы думали? За «взятие деревни Петликовце после жаркого боя»... с нашей восьмой ротой, как вам известно!.. И получит за это, должно быть, георгиевское оружие... А мы с вами ничего, потому что взяли мы Петликовце контрабандой, потому что никто нам такой боевой задачи не давал. Словом, за то, что сделано нами, наградят кадомцев: так пишется история, господа!

Ковалевский говорил это по внешнему виду довольно спокойно, но Ливенцев слышал от Вани, что после выговора, который он получил от корпусного командира, он, приехав, опорожнил бутылку коньяку, чего с ним не случалось раньше, потом чуть не избил ксендза, хозяина дома, в котором помещался штаб полка.

Этот ксендз униатской церкви был в сущности безвредный человек, безобидно веселый и услужливый, но он не вовремя вздумал пошутить над русским войском, сорвавшимся с австрийских укрепленных высот.

Он продекламировал не совсем салонные старые польские стишки и указал туда, где были австрийские позиции на Стрыпе. Вот какие были эти стишки:

То не штука
Забить крýка,
Але сòву
Втрафить в глову,
А то штука
Нòва й свѐжа —
Голем дýпем
Зàбить ежа!

Любивший веселых людей Ковалевский, может быть, только улыбнулся бы этому в другое время, но тут он пришел в ярость, и неизвестно, чем бы кончилась эта вспышка ярости, если бы Ваня не схватил в охапку ксендза и не выкинул бы его из его же дома за дверь, посоветовав ему спасаться бегством.

За несколько месяцев командования ротой Ливенцев очень сжился с людьми, и нашествие полутораста человек новых людей, притом совершенно не имевших привычно солдатского облика, весьма удручало его в первые дни. Было как когда-то, в августе четырнадцатого года, в Севастополе, в дружине, и не хватало только соломенных брилей на головах этих новых солдат, а на ногах их — корявых домодельных постолов из шкуры рыжего бычка своего убоя. Ходили валковато, руками ворочали сонно, глядели затаенно-враждебно... Нельзя было даже и представить, что они когда-нибудь побегут с неуемною прытью ног догонять убегающих австрийцев, промчатся на укрепленную гору через галицийскую деревню, перемахнут через два ряда проволоки и ворвутся в неприятельский окоп.

Он пробовал говорить с ними так, как советовал говорить Ковалевский, и показывал им на карте Киев и Одессу, Екатеринослав и Херсон, но они после таких его бесед подходили к нему то поодиночке, то целой шеренгой, в затылок, и жаловались ему на то, что совсем неправильно взяты,— что они белобилетники, что они больны тем-то и тем-то, что они совершенно неспособны к службе, что они стары, что у них — куча детей.

— Я вполне допускаю, что говорите вы сущую правду, но сделать по вашему желанию решительно ничего не могу,— говорил им Ливенцев.

— Напишите о нас бумагу начальству,— давали ему совет они.

— А кто же вас призвал, как не то же самое начальство? — спрашивал их Ливенцев, но они указывали точно:

— Начальству, какое повыше, написать надо.

— У нас с вами нет начальства выше царя, но вы ведь и призваны по высочайшему манифесту о переосвидетельствовании белобилетников,— разъяснял им Ливенцев.— Врачам даны были указания, кого признавать годным к службе. Раз вы признаны годными, о чем можно еще говорить? Всякие бумаги писать начальству теперь совершенно бесполезно.

Четверо из бывших белобилетников оказались особенно упорны в своих просьбах и жалобах, потому что все они были не только земляки, а даже с одного хутора и держались очень плотно, спаянной кучкой. Двое из них были двоюродные братья — Воловики, двое других, один — Борозднá, другой — Черногуз, приходились им шуряками. Друг друга они называли по именам: Петро, Микита, Савелий, Гордей. Народ все рослый, плечистый, бородатый, пожилой,— каждому за сорок,— попали они по дружной своей просьбе в один взвод и в одно отделение, как до этого тем же путем назначены были в один полк и в одну роту.

Нашлись в полку из пополнения и такие, кто жил с ними по соседству в Екатеринославщине, вблизи Днепра; те называли их четверых «бабьюками», потому что хутор их имел прозванье «Бабы», занесенное даже и в строгие казенные бумаги.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Хутор назывался «Бабы», а хуторяне звались «бабьюки».

«Бабы» — это очень просто вышло. Был казак Воловик с женой — три сына, семь дочерей; сыновей женили,— всех баб стало одиннадцать, мужиков четверо. Кто ни ехал мимо — у ворот бабы, у колодца бабы, на дворе бабы, в огороде бабы, везде бабы, а хата одна,— и на всех кольях тына всегда что-нибудь бабье сушилось, проветривалось, торчало: красные юбки, белые плахты, головные платки, печные горшки, молочные крынки... и куда ни сунь глаз по хутору,— везде бабий обиход; даже скирды на гумне поставлены были не совсем по-мужицки — не высоки и не круглы, а так, как

бабе сподручнее, и это издали еще различал привыкший с одного взгляда обшаривать все горизонты приметливый степной взгляд.

Весной много было в огороде маку и высокой рожи; летом — бархатцев, от которых такой запах, что и не хочешь — чихнешь; осенью георгин и «дубков», как называют украинцы хризантемы.

И пошло кругом:

— А идить, дядько, по тому шляху, коло того хутора, де бабы...

— А не купить ли, хлопче, мерину нашему овса на том хуторе, де бабы?

— А не знаешь ты, куме, кто же це пропылил на возку таком справном,— мало не панок какой... Вус такій сывый.

— Да это ж сам старый бабьюк и е...

— А-а... Ну да,— мабуть, шо так...

Так само собой прозвался хутор «Бабы», а кто жил в нем, стали бабьюки.

С течением времени разобрали по округе всех Воловичек. Баба — человек в хозяйстве нужный; породнился хутор с другими хуторами и селами, но на место выданных понасыпалось еще втрое больше девок у трех сыновей Воловика, и так это бессменно, как завелось, так и продолжалось: степная дорога, при дороге — хутор, возле ворот — бабы, на дворе — бабы, в огороде — бабы, куда ни сунь глаза — везде бабы; на всех кольях плетня — красные юбки, белые плахты, платки и горшки, и длинногорлые глечики вверх днищами, а хата одна, только расперло ее на четыре фасада, как голубятню у хорошего голубятника. Сараев, амбаров, конюшен, коровников, свинюшников и овчарен тоже прибавилось.

Стал уже совсем древний старый бабьюк, а сыновей не отделял.

Говорили о нем, что он с «медведя» деньги нажил. Когда-то, еще перед «волей», ходили цыгане с медведями по деревням, сбывали фальшивые ростовские кредитки; с ними будто знаком был и Воловик.

С «медведя» ли, нет ли, а деньги водились. Банков никаких старый бабьюк не знал, а был такой семейный, окованный железом сундук — «скрыня»; в этой-то скрыне и скрывался весь бабьюковский клад, а старик лежал на печи, «биля скрыни», как сказочный змей-горыныч, и охранял.

Продавались ли осенью пшеница, или битые кабаны, или шерсть,— так уж завелось: деньги все старику,— старик их в скрыню. И когда видел, что набралось, гоговорил сыновьям:

— Гм... Мабуть, грошей богато стало, а на черта воні? Пошукайте, хлопці, де що путнее, абы купить...

И хлопцы — у самого младшего из них были уже внуки — начинали соображать про себя, у кого из окрестных мелких панков выгоднее купить землю.

Так прибрали бабьюки к рукам порядочно десятин, а с ними вместе шесть усадеб не очень приглядных, без домов с колоннами и липовых парков,— степных, мелких, мало чем отличных от их хутора. В одну усадьбу посадили, кого дед указал из своих внуков, в другую — другого, а доходы с этих усадеб шли опять же в ту же самую семейную скрыню, на печку к деду.

Нельзя сказать, чтобы не ссорились на хуторе «Бабы»: где бабы, там и ссоры,— но ссоры были домашние, короткие и безвредные, как вспышки вечерних зарниц, и старик, даром что был древен, судил, точно сам Соломон.

Однажды у одной пропало намисто с дукача́ми. Только что положила намисто, одеваясь в церковь, на открытое окно (дело было в мае), а сама причесывалась перед зеркалом, и никто мимо окна не шел, только золовка Христя, глядь — намисто пропало.

Воровства еще не было в доме Воловика.

Ради этого случая слез старый с печи, выбрался на завалинку, скрюченный, с черными ключицами, жутко глядевшими сквозь открытый ворот рубахи, с белым пухом вокруг гладкого темного темени, с зеленой бородой, с беззубым начисто ртом (без малого сто лет было Воловику)... И такая была картина:

Смотрело сверху древнейшее степное майское солнце, сидел на завалинке в белой посконной рубахе белый и древний, как само солнце, дед, а кругом него приряженные для праздника солнечно-красные от яркого кумача и пышущие степным здоровьем бабы.

Когда столпились все вместе, то вышло, что вот-вот хоровод завьют: что-то около сорока баб, и все стрекотали, как сороки, и кивали укоризненно головами, глазами правых глядя на виноватую Христю.

Было несколько и казаков, но те стояли поодаль, не мешаясь в бабское дело, а лущили семечки, говоря о хозяйственном...

Только младший из сыновей Воловика, семидесятилетний Митро, стоял тут же около отца и ждал какого-нибудь приказу, как привык он это за всю свою жизнь.

— А ну, поди сюда, суча дочь,— сказал Соломон Христе, крепко почухавшись и заслонив от солнца (от другого солнца, того, что на небе) глаза черной ладонью.— Як тебе зовут?

— Та Христя ж,— удивилась Христя.

— То я и сам бачу и знаю, що Христя,— тільки порядок такий...— И не спеша повторил дед: — Христина... А тебе як зовут? — обратился он к той, у которой пропало намисто.

— Та Хивря ж,— так же, как и Христя, удивилась усердно та, даже руками плеснула.

— Хивря,— повторил старик, подумал, как оно будет по-настоящему, по-церковному, и не мог вспомнить.— Ну, кажить теперь, як воно було,— мотнул головой Хивре.

— Ось стою я, дідусь, биля вікна, косу собі заплетаю, бо в церковь ладнаюсь прибратысь, щоб як у людей, так щоб и у мене, а намисто зняла, на вікно положила,— зачеканила Хивря,— и нико́го за вікном не було́, тільки Манька телка паслася, как она ногу себе повредила,— в стадо не пишла, и як вона теперь пасется... Аж глядь,— Христя мимо иде... Я собі бєзо внимания: Христя и Христя, иде и иде... Байдуже мені: хай собі иде... Аж глядь,— нема намиста.

— Ось, чуете?.. На чем вгодно прысягну,— заплакала в голос Христя.— На божой матери присягну, на Миколе-угоднике прысягну, на Варваре-мучениці прысягну!..

И вдруг кинулась в хату, проворно сняла с божницы черный образ Николы, и не успели хватиться, как уже вынесла, поставила к дедовой ноге и бух в землю.

— Стой, стой,— остановил и положил икону дед.— Ишь швидкая какая!

Покачал головой, подумал, вспомнил, должно быть, что он казак, и сказал:

— Ты на Миколі не прысягай, ты ось на рушниці прысягни... А вынеси, Митро, рушницю з хаты...

И, замешкавшись немного, вынес Митро рушницу из хаты, берданку, заряженную картечью на случай волков или разбойников, и подал ее старику.

Положил древний ружье на колено, обхватил, как и следовало, указательным пальцем курок и сказал Христе:

— Ось — цілуй у дуло.

Попятились от ружья бабы, а Христя стала на колени, перекрестилась, ткнулась головой в земь и только что хотела поднять голову, как грянул над ней выстрел: не совладел дед с курком; забывчиво нажал его пальцем, и Христя от страху перекувырнулась голыми ногами кверху, простреленно завизжав, а в отдалении грузно хлопнулась пестрая телка, та самая Манька, о которой говорила Хивря: картечь попала ей прямо в нагнутую голову, пролетев над головой Христи.

Тем и кончился суд.

Едва успели прирезать телку — спустить кровь, укоризненно глядели все на деда, а он сидел, потупясь, и кротко жевал губами, не выпуская ружья из рук.

Потом накинулись бабы на Христю: через кого же, как не через нее, телка пропала?.. Но когда, не мешкая в теплый день, содрали с телки шкуру и начали свежевать мясо, то в рубце ее нашли Хиврино намисто с дукачами: шла мимо окна и стянула его языком.

Когда сказали об этом деду, он заплакал. Потом велел повести себя к иконе Миколы, долго стоял перед ней на коленях, бормотал обрывки молитв, какие еще помнил, и плакал от счастья, что «посетил его бог».

И никто не пошел в этот день в церковь, и все бабьюки, сколько их было, вслед за Хиврей, которой приказал это дед, кланялись Христе и просили у ней прощенья.

А дед посадил ее рядом с собой на лавке, гладил ее примасленную для праздника голову трясучей корявой рукой и все угощал ее жамками с мятой и цареградскими стручками, и орехами, и всякими сластями, какие нашлись, и приговаривал:

— Злякалась, бідолачка?.. И я аж злякавсь, старый,— думав, что тебе вбив.

А Митро добавил около:

— Вот она, рушниця-то, и сказала, де правда.

— Та рушниця — свята! — убежденно решил вдруг дед.— То вже мені видать, що ею православных людей не бито!

И решил он в тот же самый день призвать из села попа, отслужить молебен, и на том месте, где нашлось намисто, заложить часовню, и чтобы в часовне той на аналое положить икону Николая-угодника, перед ней повесить намисто с дукачами, а сзади его рушницу — «бо вона, як я бачу, тоже свята».

Так и сделали бабьюки.

И в тот же год к сентябрю поставили часовню, и только ружье, по совету попа, прикрыли деревянным футляром, а когда через год после того умер, наконец, старый дед, до ста лет не дотянувши всего двух месяцев, схоронили его при той же часовне.

Савелий Черногуз был мужем Христи, теперь уже сорокадвухлетней хуторской матроны; Гордей Бороздна — мужем Хиври; Микита Воловик был младшим сыном покойного Митра; Петро Воловик тоже младшим сыном брата Митра — Прокопа.

Таково было нерушимо крепкое гнездо этих четверых бородатых, дружных между собою бабьюков, и тяга их назад, домой, в безотказно родящие поля хутора «Бабы», к своим безотказно родящим, сверкающим и звенящим по праздникам намистами из дукачей бабам была безмерна.

И Ливенцев понимал эту тягу: он тоже думал, что не плохо было бы ему получить хотя бы двухнедельный отпуск, проехаться в Херсон, повидаться с Натальей Сергеевной, которую удалось ему рассмотреть только отсюда, за несколько сот верст, точно была она вершина Эвереста.

Он получил от нее второе письмо и ответ на свою телеграмму. Письмо это начиналось словами: «Я страшно рада!» Это письмо было совсем без обращения, и в тексте письма никак она не называла его, ни «родным», ни даже «Николаем Ивановичем». Но это было письмо действительно родного, трепетно о нем беспокоящегося человека.

Несколько раз перечитывал Ливенцев это письмо, но только в то время, когда в халупе не было Значкова, потому что боялся, что не скроет даже и перед ним, без особого труда снискавшим благосклонность краснорукой Хвеси, свое такое неожиданное и перерождающее счастье.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Между тем двухнедельный отдых полка подходил уже к концу. В селе Коссув должны были оставаться только нестроевые команды под началом Добычина, а все двенадцать рот вместе с самим Ковалевским готовились выйти с таким расчетом, чтобы к полночи прийти

на позиции сменить стоящий там полк (тот самый, который легкомысленно обошелся с землянками корпусного резерва).

Зима уже стала прочно на галицийскую пахоть,— захолодила ее и щедро завалила снегом, но дни все время стояли редкостно тихие. Только с утра в тот день, когда надо было выступать полку, поднялся несильный ветер, северо-западный, поначалу даже как будто сырой.

— Опять, кажется, надует оттепель, в печенку его корень! — говорил Кароли Ливенцеву, приглядываясь к небу, в котором пьяно кружились крупные хлопья снега.— И попадем мы опять в меотийскую грязь.

Полк выступал ровно в три часа дня, чтобы, не торопя людей, прийти вовремя к смене. Лошадей пришлось взять только наиболее крепких и для неотложных нужд: под полевые кухни, пулеметы, патронные двуколки, повозки обоза первого разряда. Даже своего Мазепу Ковалевский оставил, сам же ехал в санях ксендза: лошади несколько дней уже почти не видели сена и сдали в теле.

Ливенцева спрашивали те из его роты, с которыми провел он десять дней в занятых окопах:

— Ваше благородие, неужто опять там же сидеть придется еще две недели?

— Нет, не там... Там сидят теперь другие. А мы будем близко, но все-таки не там,— старался успокоить их Ливенцев, но они добивались точного ответа:

— А это же как,— лучше оно будет, чи ще хужее?

— Гораздо лучше,— обнадеживал Ливенцев.— Прежде всего, боевые действия едва ли откроются. Отсидим свое и пойдем домой в Коссув.

— А австрияки же как будут?

— И австрияки будут сидеть.

Бабьюки старались не пропускать ни одного слова ротного командира, и, слыша о том, что они должны были делать предстоящие две недели, Микита Воловик сказал густо:

— Безросчетно!

Петр же Воловик добавил:

— Тілько стіснительно для людей!

Савелий Черногуз, муж Христи, ворчнул, глядя на свои чоботы:

— Бо зна що!

А Гордей Борозднa, муж Хиври, только махнул рукой и тяжко поскрипел зубами.

Батальон за батальоном, рота за ротой, солдаты, бывшие в боях, рядом с необстрелянными солдатами из пополнения с песнями вышли из села и пошли по шоссейной дороге спокойным и бодрым шагом отдохнувших и сытых, тепло одетых людей. На всех были ватные шаровары и ватные телогрейки: полк, потеряв уже несколько сот обмороженными, теперь сделал все, что в силах был сделать.

Однако холодно не было; только, чем дальше отходили от села, упорней дул все более и более плотневший ветер. Петь бросили скоро,— с поворотом дороги несколько к северу ветер начал дуть в лицо. И гуще как будто стал сыпать снег.

В шеренгах сначала пытались шутить:

— Ну, смотри ты, австрияк какой вредный. Не хоче, шоб мы до ёго шли.

— Трубы такие у себя понаставил, шо до нас дуют.

— Звестно, хитрый немец, матери его черт!

Потом стало уж не до шуток: каждый шаг приходилось брать грудью. За три часа марша, оказалось, прошли всего пять километров. А уже сильно начало темнеть.

Ковалевский, проехавший было довольно далеко вперед, вернулся, чтобы подтянуть полк. И десятой роте слышно было только, что он кричал что-то, но ветер рвал все слова его в мелкие клочья.

— Шире шаг! — передавали из передних рот команду.

Солдаты ворчали:

— Куда же еще шире? Чтоб штаны полопались?

— В такую погоду хороший хозяин собаку из конуры в хату берет, а не то что...

— Это ж называется метель, какая людей заметает.

Ливенцев слышал, что говорят его солдаты,— он шел рядом с ними и видел, как труден был каждый шаг. Но он знал, что до окопов, которые должны они были принять в полночь, считалось не меньше восемнадцати километров, и он сказал Значкову:

— Если так будем идти, ни за что не придем к сроку.

Значков же ответил:

— Если так будем идти дальше, как шли, это бы полбеды. А то ведь люди устанут,— не железные. Дай бог доползти к свету.

В наступившей темноте полк еле двигался. И офицеры, как и солдаты, совершенно выбивались из сил. Ко-

валевский теперь не отъезжал уж далеко от полка и несколько раз останавливал его на отдых. Метель местами совершенно оголяла землю, местами в сугробах люди вязли по пояс, и в таких сугробах, в темноте, падая один на другого, солдаты отводили душу в неистовом несосветимом мате, но, выбираясь из сугробов, они все-таки шли дальше, только чтобы куда-нибудь, наконец, дойти.

На одной из остановок Аксютин сказал Ливенцеву:

— Не знаю, как вы, а я теперь с восхищением вспоминаю ту классическую грязь, по какой мы с вами перли сюда со станции.

— Все на свете познается путем сравнения,— отозвался Ливенцев.— Может быть, когда-нибудь вы с не меньшим восхищением будете вспоминать и этот поход.

— О нет, никогда! Нет, что вы, ну его к черту! Я через час наверно издохну от усталости.

Но часам к двенадцати метель стихла, и это позволило полку к трем часам кое-как добраться до окопов, из которых еле выбрались занесенные, закупоренные толстыми снежными пробками, полусонные люди.

По-прежнему в хате на Мазурах остановился штаб полка — прапорщик Шаповалов с несколькими связистами (Сыромолотов остался в Коссуве), но рядом со штабом поместился и перевязочный пункт.

Коварная речонка Ольховец, наконец, замерзла, укрылась снегом,— через нее прошли; деревню Петликовце обошли стороною, чтобы выйти прямиком к подножью высоты 370, очень памятной всем, кто остался из прежнего состава полка. Как раз против этой высоты пришлись окопы третьего батальона; остальные роты разместились южнее.

Очень какой-то странный оказался ротный командир, которого сменял Ливенцев. Трудно было решить ночью, в каком он чине, хотя стало уже несколько светлее, чем было, и хотя он пробормотал что-то, знакомясь с Ливенцевым, когда вышел из своей землянки. Ливенцев наугад назвал его прапорщиком, но он обиделся.

Он спросил вздернуто:

— Кто прапорщик? Вы прапорщик?

— Я прапорщик,— недоуменно ответил Ливенцев.— А вы, простите?

— Я?.. Я пока поручик.

— Тысяча извинений... Ваша фамилия? Простите, я не дослышал.

— Дре-ва-лю-ков,— отчетливо и раздельно выговорил тот.

Ливенцев хотел было рассмотреть лицо поручика Древалюкова, но оно было закутано башлыком.

— Очень поздно пришли нас сменять, прапорщик,— недовольно сказал Древалюков.

— Очень трудно было идти, поручик,— возможно мягче сказал Ливенцев.— На ваше счастье метель утихла... И еще вас ожидает счастье: землянки, какие ваш полк спалил и загадил, наш полк привел в порядок и в порядке оставил вам. Пожалуйста, сдайте мне окопы вашей роты, чтобы я знал, что я такое принимаю.

— Церемонии китайские,— буркнул поручик и отошел.

Рота его вылезала из окопов по-хозяйски шумно, ругань при этом вспыхивала отборная. Молодому прапорщику десятой роты, прибывшему в нее с пополнением, удалось разыскать в сменяемой роте командира взвода, тоже прапорщика, и от него узнать, что на высоте 370 теперь только одна горная пушчонка, что иногда она палит, когда австрийцам становится особенно скучно; но большей частью там тишина и покой.

— Так что это ничего, что такой содом подняли ваши солдаты? — спросил этого командира взвода Ливенцев.

— Ни-и черта не значит! Там сейчас спят без задних ног. Будут там беспокоиться из-за какой-то нашей смены,— лихо объяснял прапорщик, как бывалый и опытный зеленому новичку.

У Ливенцева припасен был на всякий случай небольшой огарок восковой свечки, и с ним он обошел окопы, какие ему достались. Земля тут оказалась суглинистая, очень крепкая, и стенки окопов и ходов сообщения были отвесные и довольно сухие.

— Козырьки жидкие,— сказал он Значкову,— но хорошо и то, что хоть не спалили их перед нашим приходом,— могли бы спалить.

Но Значков смотрел больше под ноги, чем на козырьки, и отозвался с чувством:

— Зато уж нагадить везде нагадили, подлецы!

Окопы, занятые ротой Ливенцева, были крайние окопы передовых позиций полка; роты Аксютина и Кароли остались в полковом резерве. Перед окопами торчали из снега жидкие колья проволочных заграждений,— всего только два ряда, как узнал Ливенцев.

Осмотревшись на принятом участке позиций, он позавидовал втайне поручику Древалюкову, уводившему свою роту в тыл. Две недели пробыть тут посреди сугробов в зловонных ямах, под зорким наблюдением австрийских полков, по-домашнему расположившихся на совершенно неприступных теперь высотах, представлялось ему весьма трудной задачей. В окопах были печи, сложенные из кирпича, но печи эти были холодные, хотя около них и валялись кое-где тонкие поленья.

— Тепло, что ли, так было тут, что не топили? — спросил Ливенцев Титаренко.

Титаренко поглядел вверх и ответил вдумчиво:

— Мабуть, ваше благородие, так, что трубы не тягнули,— снегом забило.

— Надо прочистить.

— Это я скажу людям... А как знов задует?

— Гм... А еще может задуть?

— Ему, губастому, только и дела,— дуй та еще дуй.

— Плохо будет секретам стоять на ветру. Надо будет их тогда менять чаще.

— А может, их, ваше благородие, на эту ночь и вовсе не ставить, как люди очень уставши?

Ливенцев видел, что его фельдфебель хочет идти против полевого устава, оберегая людей своей роты от излишней траты сил, и что это действительно можно сделать без всякого риска, так как австрийцы скорее всего не будут наступать непременно теперь вот, в эту ночь, как не делали они этого и неделю и две недели назад, но вспомнилась виденная им на этом же склоне контратака мадьяр против второго батальона и кадомцев, и он сказал Титаренко:

— На грех мастера нет,— посты все-таки надобно выставить. Если и не наступление, а партия ихних разведчиков подойдет, тоже может при удаче порядочно переполоху наделать.

— Слушаю,— только тогда людям надо расчет сейчас произвесть, пока не уснули, а то их и пушкой не подымешь... И не найдешь даже в темноте, кого надо.

— Неужели нигде ни одной лампочки нет?

— Ваше благородие, никакого света как есть быть не может! Хотя бы свечки кусок.

— Э, черт, действительно подлость! Ну, эту ночь скоротаем уж как-нибудь, а завтра...

Ливенцев отходил от Титаренко с чувством большой обиды за своих солдат, которые шли сюда двенадцать

часов, ныряя в сугробах, под лютым ветром, дувшим в лицо, и вот пришли, и в окопах — голая земля, и в окопах нельзя затопить печи, и в окопах кромешная тьма и вонь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Утро было тихое. Светло-синие и густо-синие снега разлеглись кругом умиротворяюще-насмешливо. Знаменитая высота 370 молчала, как совершенно покинутая людьми. Трудно было теперь на ней различить вообще что-нибудь, не только проволочные поля, около которых совсем еще недавно корчились, умирая, расстрелянные в упор такие бравые, сильные люди, как Ашла, Одинец, Кавтарадзе и сотни других. Мирно иссиня белела высота 375, так отчетливо памятная Ливенцеву почти не смолкавшей на ней и около нее канонадой.

Теперь было невероятно тихо, точно совсем и не стояли друг против друга, закопавшись в землю, две огромнейших армии. Просто была обыкновенная, привычная с детства, русская зима, пробравшаяся сюда, вслед за русскими полками, не очень далеко от старогосударственной русской границы.

В окопах кое-как прочистили печные трубы, готовились затопить печи, когда приехал из штаба в хате на Мазурах все в тех же ксендзовских санях Ковалевский и приказал расчищать все ходы сообщения, засыпанные во всю почти двухметровую глубину снегом.

— Вычистить весь снег до подошвы — это будет, пожалуй, не легче для людей, чем новые ходы выкопать в земле,— сказал Ливенцев.— Может быть, господин полковник, вы разрешите расчистить их только на аршин, не глубже?

— Нет, уж вы, пожалуйста, сделайте то, что я приказываю, —неожиданно повысил голос и строго посмотрел Ковалевский.— Вычистить непременно до подошвы!

— Слушаю... Но снегу придется выкинуть много,— лежать он будет высокой стеной, ближе к подошве он будет затоптанный, грязный...

— Что вы собственно хотите сказать?

— Я думаю, что таким образом мы сами строим прекрасную цель для австрийских орудий,— договорил Ливенцев, но Ковалевский посмотрел еще строже:

— Окопы и ходы сообщения мы должны содержать в порядке, и никаких кривотолков тут быть не может. Что касается австрийских артиллеристов, то не думайте, пожалуйста, что линия наших окопов для них большая загадка: они ее отлично знают. А что касается трудности для людей, то-о... люди не должны сидеть без дела,— люди должны быть заняты! Если здесь нельзя производить ученья, то нужно давать им работу. А когда они не работают, ваши субалтерн-офицеры должны вести беседы о задачах и целях войны... под вашим непосредственным руководством и... под вашу личную ответственность, должен я добавить... Под вашу ответственность, да!

Ковалевский повторял отдельные слова и фразы только тогда, когда был несколько выведен из равновесия,— Ливенцев это заметил уже давно и теперь терялся в догадках, что могло его раздражить: окопы и ходы сообщения были засыпаны снегом одинаково по всему фронту полка,— в десятой роте метель действовала с той же силой, как и в других. Раздражать командира полка еще больше, чем он был раздражен, Ливенцеву отнюдь не хотелось. Он сказал обычное: «Слушаю, господин полковник»,— и Ковалевский ушел в окопы других рот.

Расчистка ходов сообщения началась. Невыспавшиеся, с припухшими подглазнями, со смятыми лицами солдаты, опасливо взглядывая на австрийские высоты, начали действовать лопатами без необходимого одушевления, но потом размялись, втянулись,— может быть, запах снега слегка опьянял их и бодрил; может быть, каждый из них поверил в необходимость того, что они делали, но работа, чем дальше, шла бойчее и к обеду подходила уже к концу, когда снова исподволь, наскоками, то здесь, то там по снежной равнине, взбрасывая и крутя снег, началась поземка.

В обед на чистое до того небо натянуло тучи; повалил крупный снег, ветер становился все более холодным, упругим, сплошным... Походные кухни едва успели подвезти обед, как закрутило, завертело, завыло,— потемнело кругом, и начал бушевать буран.

— Ну вот,— чистили-чистили снег полдня, а зачем, спрашивается? — говорил Значков Ливенцеву, уходя с ним в землянку.— Солдаты ругаются...

— Ничего. Из всех бессмысленностей и бесполезностей эта все-таки наименьшая,— отозвался Ливенцев.

— Да ведь завтра, может быть, опять придется проделать ту же самую работу?

— Это все-таки кажется мне гораздо проще, чем им и нам думать над задачами и целями войны, а? Или вы не согласны?

Значков поспешил согласиться.

Долго бушевала и выла метель. Напор ее не ослабел,— напротив, к ночи она казалась еще сосредоточенней, яростней, напряженней. Она штурмовала окопы обеих враждебных армий, и когда Титаренко спросил Ливенцева, ставить ли в эту ночь секреты, Ливенцев хотя и сказал: «Будет преступлением по службе, если не поставим»,— но приказа точного и строгого не сделал.

С вечера он не спал; огарок восковой свечки, какой у него был, догорел прошлой ночью, зажечь было нечего. Он лежал и слушал, как вопила буря, проносясь над землянкой, и как разнообразно храпели Значков и другой новый в роте прапорщик — Привалов, но вот почему-то вопли бури стали доноситься не так резко и будоражаще; наконец, совсем стихли, и обеспокоенный этой тишиною больше, чем бураном, он выбрался из землянки.

Это было трудно сделать, но нужно. Тишина оказалась такою же неожиданной и загадочной, как и в прошлую ночь. Вызвездило. Ущербленная луна стояла на западе, над высотами. Сразу представилось почему-то, что по этому белому, необыкновенно чистому и свежему снегу подкрадываются вот теперь к окопам австрийские цепи в белых халатах. И могут без выстрела подойти и забросать окопы гранатами,— потому что секретов впереди их нет, конечно.

Ливенцев сделал несколько шагов в глубоком и рыхлом снегу по направлению к своим окопам, но очень трудно оказалось разобрать среди трех-четырех выросших за несколько часов бурана длинных сугробов с завитыми и нависшими карнизами,— за какими из них скрылся бруствер ближайшего окопа.

Свету от луны было как будто довольно, но в то же время неверный свет этот очень прихотливо разрисовал бликами все кругом, и это делало совсем неузнаваемым то, к чему успели приглядеться глаза днем. Обходя один из сугробов, Ливенцев сразу же потерял правильно было по памяти взятое направление и провалился неожиданно в какую-то яму по пояс. Выбираясь из этой ямы, он соображал, что если это — ход сообщения, корый расчищался утром, то окопы должны быть вправо и влево. Он представил теперь австрийские цепи в белых халатах, задавшиеся смешною целью отыскать русские

окопы, и улыбнулся. Вспомнил о лыжах, на которых только и можно бы было ходить по такому снегу, но ни от кого не приходилось слышать, что у австрийцев есть лыжники. Да если бы и были, что они могли бы сделать при такой тщательной маскировке, над которой потрудилась двенадцатичасовая вьюга?

И, выискивая в снегу свои же следы, успокоенный Ливенцев вернулся в землянку. Однако, уже засыпая, он подумал вдруг: «А хватит ли на всю ночь воздуха для людей в окопах, закупоренных так основательно метелью?» Рассчитать это было трудно, и спал он, несмотря на дневную усталость, плохо, проснулся рано, еще не начинало белеть небо.

Теперь уже без приказа Ковалевского принялись откапывать с раннего утра и входы в окопы и ходы сообщения, так что когда часам к девяти приехал Ковалевский, сделано было довольно много, но из стоявших на постах людей трое оказались обморожены и едва дошли до окопов, где их оттирали снегом. Они лежали пластом, ожидая, когда их отправят на перевязочный пункт, однако их не на чем было отвезти. Об этом при рапорте сказал Ливенцев Ковалевскому. Тот поморщился:

— Э, началось, значит, опять! А начальство наше не любит, когда бывают обмороженные. Между тем... как добиться, чтобы их не было при такой сумасшедшей погоде? Сделать разве так: перевести перевязочный пункт сюда в резерв, в одну из землянок батальонных командиров. Да и мне придется оставить хату на Мазурах, потому что едва доехал сюда оттуда: занесло все дороги. В таком случае придется вытеснить еще одного батальонного командира,— вот что получается. Нам надо непременно устроить большую землянку для перевязочного пункта,— обмороженные могут быть еще, могут быть и раненые... Надо будет человек на пятьдесят, не меньше. Вот видите, об этом не подумали вовремя, и приходится исправлять преступное чужое легкомыслие нам. Придется назначить людей на работы — копать землянки.

— И от моей роты тоже? — спросил Ливенцев.

— Нет, конечно, от рот резерва.

— А нам нельзя ли откуда-нибудь получить хотя бы по две свечи на окоп?

— Да, я уже слышал от других ротных командиров об этих свечах... Это, конечно, большое упущение. Если установится погода, все необходимое будет доставлено сегодня же. И за обмороженными пошлю сани... Хотя

саней вообще у нас нет. Весь обоз на колесах, а лошади истощены от бескормицы,— лошади не везут, падают. Я видел несколько брошенных повозок. Лошадей обозные выпрягли и увели кое-как, а повозки брошены на произвол стихии. Хорошо, что телефон действует, я уже сообщил о наших бедствиях в штаб дивизии. Вот и дров нигде нет — нужно, чтобы сегодня непременно привезли дрова, иначе обмороженных будет не трое, а гораздо больше!

Ковалевский оглянулся кругом, поглядел внимательно на небо и добавил:

— Вы, математик, как насчет предсказывания погоды, а? Установится с сегодняшнего дня погода или нет?

— Какое отношение имеет погода к теории функций? — улыбнулся Ливенцев.— Австрийцы могли бы нас осведомить, какие ветры еще ожидаются и когда,— у них, наверно, следят за погодой.

Ковалевский еще раз оглядел небо и сказал уверенно:

— Сегодня будет тихо. Сегодня переберемся пока в те землянки, какие есть, а завтра устроимся как следует, в новых землянках. А что касается австрийцев, то им, конечно, тоже не сладко.

Уходя, он обернулся, чтобы добавить:

— Кстати, мне доставили вчера утром ящик красного вина. Пришлю вам бутылку для поддержания сил. А ходы сообщения вы все-таки прикажите очистить опять до подошвы. Боевой порядок в полку прежде всего! Иначе будет не полк, а стадо... И штаб полка я перетащу сюда не позже как в обед. Также и перевязочный пункт. Он будет помещаться пока в землянке командира вашего батальона, а капитан Струков может перейти пока или к вам, или к Урфалову, куда захочет... Уже и теперь есть на дороге сугробы по грудь лошади, а дальше может быть еще хуже. При таких обстоятельствах штаб полка в пяти верстах от полка быть не смеет и не будет!

Ливенцев понимал, что, говоря ему это, Ковалевский просто думает вслух — переезжать ли ему сегодня, или остаться в гораздо более приспособленной для жилья, чем какая-то землянка в снегу, хате на Мазурах. Наблюдая, как его командир решительно зашагал по глубокому снегу, Ливенцев понял, что он действительно переедет в обед, как и сказал. Поэтому он тут же поставил людей расчищать ходы сообщения до подошвы.

Зябко пожимаясь, бормотал Значков:

— Сизифова работа. Ведь ночью может опять все засыпать...

— Си-зи-фо-ва! — усмехнулся Ливенцев.— Сизиф работал все-таки в теплом климате, это во-первых, а во-вторых, он не нуждался в борще и каше. А если там, за Ольховцем, снег по грудь лошади и подводы обозные бросают, то у нас может не быть ни борща, ни каши для наших сизифов. Это уж гораздо хуже, чем в Тартаре.

Четверо бабьюков, по привычке держась один около другого, хмуро подошли с лопатами к канаве, в которой они уже работали этим утром.

Они ничего не говорили друг другу,— Ливенцев заметил, что в его присутствии они вообще были здесь молчаливы,— но у каждого из них было лицо именно такое, какое могло быть только у Сизифа перед его знаменитым камнем.

Зато Курбакин был и здесь разговорчив, как и прежде, только вид у него стал как-то еще более диким, и лицо его, очень какое-то широкое по линии коричневых навыкат глаз, почернело заметно.

Он подходил к ходу сообщения вместе с бабьюками, но отстал от них, чтобы обратиться к своему ротному с вопросом:

— Дозвольте спросить, ваше благородие,— вот австрияки в нас не стреляют, хотя же они нас по-настоящему должны всех видать... Не может так нешто случиться, что они,— как известно всякому, люди не без ума же,— взяли да своих отвели куда подальше из-за погоды такой неудобной?

— Нет,— этого быть не может. Где они сидели, там и сидят,— сказал Ливенцев и кивнул ему, чтобы шел выкидывать снег; но Курбакин сделал вид, что не заметил кивка.

— Я это к тому, ваше благородие, что вот, думаю, мы здесь должны страдать напрасно, а их, как они понятно люди умные, может, и духу-звания тут нет...

— Иди, копай! — поморщился Ливенцев.

— Слушаю, ваше благородие! — зычно отозвался Курбакин и повернулся по форме кругом, стукнув сапогами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Это был героический переход штаба полка с полковым знаменем и перевязочного пункта со всем его сложным хозяйством из хаты на Мазурах через навороченные

всюду сугробы сюда, на позиции, в совершенную снежную пустыню, однако, если и не к обеду, а к вечеру, все-таки переход этот был совершен, и даже наполовину была выкопана большая землянка, рассчитанная на пятьдесят больных, а новую землянку для штаба полка оставалось только накрыть и сложить в ней печку.

Между тем походные кухни все-таки не могли пробиться к передовым окопам: борщ и каша попали к сизифам совершенно холодными, дров же в окопах не было, печи не топились.

Хлопая, как хлопушками, застывающими рукавицами и притопывая, как под музыку, мерзлыми сапогами, сизифы все-таки послушно пытались прочищать узенькие тропинки в тыл между блиндажами, и дотемна вонзались в снег и отбрасывали его лопаты.

К вечеру всем казалось, что как будто бы сладили, справились, подкатили камень к вершине, но как же гулко и стремительно покатился он снова вниз ночью!

Не норд-вест уже задул теперь, а норд-ост. На австрийские старательно укрепленные высоты обрушился теперь всей своею злобной и страшною силой ветер бескрайних русских степей, но в первую голову оледенил он и засыпал скромненькие окопы русских полков.

Когда утром Ковалевский проснулся и при слабом колышущемся свете огарка огляделся в землянке, он увидал часового у знамени, того самого, какого видел еще с вечера, когда ложился спать,— одутловатого мужичка со свалявшейся бородкой. Он держал винтовку у ноги, как и полагалось, но у него то и дело слипались глаза.

В печке трещали и стреляли сырые поленья, видимо только что подброшенные: связисты уже встали; и когда стрельба поленьев была особенно сильна, часовой вздрагивал и шевелил головой, но потом глаза его опять слипались.

— Что за черт! Тебя что, не сменяли, что ли, целую ночь? — спросил его Ковалевский.

— Никак нет, не сменяли, ваше высокбродь,— ответил часовой, приободрясь.

Ковалевский посмотрел на свои часы,— было около восьми. Он подсчитал,— вышло, что часовой этот стоял одиннадцать часов.

— Вот так штука! Что же случилось с караулом?

Ковалевский поднялся, выпил залпом стакан красного вина, разбудил Шаповалова и выбрался наружу. Око-

ло землянки стояли два связиста, взобравшись на сугроб, и смотрели кругом.

— Что? — встревоженно спросил их Ковалевский.

Связисты ответили один за другим:

— Никого как есть нигде не видно.

— Только снег и снег, а людей нет.

— Ведь караульное помещение здесь же где-то, около?

Ковалевский сам вскарабкался на сугроб, наметенный ураганом над землянкой, поглядел вперед, направо, налево,— нигде ни малейшего следа человека — белая пустыня... Он стал припоминать расположение полка, став лицом на север.

Ураган утих, только кое-где крутились невысокие снежные столбики и, пробежав несколько шагов, падали бессильно. За этими вихрями, как за дымом, трудно было различить формы сугробов, под которыми только и могли скрываться землянки. Наконец, Ковалевский определил, больше по направлению и расстоянию от себя, где могла таиться караулка.

— Ребята! Лопаты бери и пойдем,— приказал он связным.

Увязая на каждом шагу, добрались они до намеченного круглого сугроба.

— Здесь или нет? — спросил связных Ковалевский, но один ответил: «Не могу знать!» Другой только повел бровями. Однако при следующем шаге Ковалевский провалился в снег по пояс и сказал удовлетворенно:

— Ведь я же говорил, что здесь! Откапывай, тут дверь в землянку.

Отбросили наскоро снег. Согнувшись, вошли в землянку. На полу, сбившись в кучу, спали семь человек, из них один — караульный унтер-офицер. Они только пошевелились, когда вошел в землянку их командир полка, но не поднялись, даже не открыли глаз.

— Что же это с ними? Задохлись тут, что ли, они? — спросил Ковалевский.

— Застыли,— сказал один связист.— Ночь-то какая была!

— Расталкивай их! Вытаскивай наружу.

Унтер-офицера Ковалевский потащил сам, но шинель его примерзла к земле, пришлось отбивать ее лопатой. Унтер-офицер, чернявый и еще нестарый, крепкий по сложению человек, открыв глаза и узнав коман-

дира полка, попытался было подняться и взять под козырек, но не удержался, упал в снег.

— Три руки снегом! Умойся снегом! Уши три снегом! — приказывал ему Ковалевский.

Связисты вытаскивали других и тут же начинали сами растирать им щеки и носы снегом. Это помогло. Минут через десять все они уже глядели осмысленно и даже поднялись.

— А ну, ребята, бери свои винтовки, иди за нами,— приказал им Ковалевский.— Вам теперь лучше двигаться, а не стоять и не сидеть на месте.

И полуживой караул, с большим трудом переставляя ноги, двинулся по сугробам следом за командиром полка, а Ковалевский спрашивал унтер-офицера:

— Где здесь могут быть еще блиндажи, а? Вспоминай где,— будем других откапывать.

Унтер-офицер, оглядевшись, указал на одну снежную шапку поблизости. Под нею действительно была землянка для отделения стоявшей в резерве роты.

Откопанные тут люди скорее пришли в себя, чем караульные. Их Ковалевский оставил возвращать к жизни офицеров и другие отделения и взводы своей роты. Сам же он спешил дальше. Ему казалось, что погибла уже большая часть полка, особенно страшно было за те роты, в передовых окопах.

Но вот с одного сугроба связисты заметили: суетились где-то, где должна была тянуться линия окопов, люди с лопатами. Ковалевский был очень обрадован, но он стоял внизу, под сугробом, откуда ничего не было видно.

— Где? Где именно? — оживленно спрашивал он, подымаясь сам на сугроб.— Какая это может быть рота? Не знаете?

Связисты не знали, но сам он, не раз уже бывавший в окопах десятой роты, приглядевшись пристальнее, узнал там по фигуре Ливенцева.

— А-а! Так это же десятая, фланговая... Ну, там ротный командир молодчина! За этот фланг я могу быть спокойным... Он, конечно, и соседа своего — Урфалова — откопает... Пойдем в таком случае не туда, а прямо,— на окопы шестой.

Часа два так бродил по глубоким снегам, как бродят рыбаки с бреднем в речках и озерах, деятельный Ковалевский, воскрешая свой заживо похороненный

полк. Выкопал из одной землянки двух батальонных — Пигарева и Широкого (Струков переселился к Кароли). Эти двое взяли своих связистов с лопатами и пошли с Ковалевским дальше. Связные откопали вход в блиндаж другой роты, стоявшей в резерве. Из этого блиндажа вышли не столько полузамерзшие, сколько полузадохшиеся люди, с почернелыми, равнодушными ко всему лицами. Этих едва удалось расшевелить настолько, чтобы они принялись откапывать товарищей: они уже прочно было начали забывать там, в своем блиндаже, что есть начальство и есть их товарищи — солдаты, что они с кем-то воюют, а из-за чего воюют, этого они даже и забывать не могли, потому что этого не знали.

— Вы видите, что делается? — взволнованно говорил батальонным Ковалевский.— Ведь эти гораздо хуже, чем обмороженные. Эти уж были по ту сторону добра и зла! Надо спешить откапывать остальных... Эх, господа, господа! Плохой пример подаете своим офицерам. А что мы ответим начальству, если задохнется у нас половина полка?

В шестой роте оказалось семнадцать человек обмороженных, из них трое особенно тяжело. Эти трое были ночью в секрете как раз во время сильнейшего урагана. Под утро их сменили, но, возвращаясь к себе против ветра, они сбились с направления и попали не в свой блиндаж, а в австрийский, где было пять трупов,— замерз весь полевой караул. Но в этом блиндаже рядом с замерзшими они, трое, все-таки решили просидеть до света и просидели и кое-как добрались к своим, но дойти до перевязочного пункта уже не были в состоянии.

Ковалевский приказал отнести их немедленно.

Против правофланговой третьей роты, где тоже оказалось порядочно обмороженных и где австрийские окопы приходились так же недалеко, как и против шестой, Ковалевский разглядел большую толпу странного вида людей,— будто бы каких-то баб в теплых шалях, и спросил удивленно:

— Что это там за явление такое?

— Австрийцы,— ответили ему.

— Почему же они в шалях?

— Одеяла накинули на головы, а у шей их завязали для пущей теплоты...

— Что же они там делают?

— Должно быть, пришли из резерва откапывать своих окопников.

— Откапывают действительно! Вижу — лопаты у них в руках... Ну, этого мы им не позволим сделать. Давайте сюда пулемет... Мы с ними перемирия не заключали! Пять человек их замерзло, пускай еще сто замерзнет. Мы воюем с ними, а не в бирюльки играем!

Брызнули в закутанных австрийцев из пулемета. Те мгновенно исчезли, но оттуда домчалось несколько ответных ружейных пуль, никого не задевших.

Когда Ковалевский вернулся в свою землянку, он донес по телефону (сам удивляясь тому, что телефонные провода перенесли ураган без повреждений) в штаб дивизии о том, сколько оказалось обмороженных в его полку, о том, что некоторые роты едва не задохлись в землянках, что горячую пищу раздать не удалось, что необходим экстренный подвоз консервов, тем более что на людях никаких неприкосновенных запасов нет; что нет дров, и совершенно нечем топить печи ни в землянках, ни в окопах, что остатками дров отапливаются только перевязочный пункт и штаб полка, но этих дров хватит не больше, как еще на один день... что вообще положение угрожающее; что если дров не доставят в этот день, то, может быть, в видах сохранения людей от замерзания часть землянок придется разобрать на дрова.

Полковник Палей обещал передать все требования немедленно куда надо; но у него были и свои новости.

— Представьте,— говорил он,— снежная буря и здесь наделала немало хлопот. Между прочим, пропал свитский генерал Петрòво-Соловòво. Поехал с поручениями и заблудился или его занесло метелью,— только пропал бесследно. Десять офицерских разъездов были посланы его искать. Семь, говорят, вернулось ни с чем, а три пока неизвестно где... Кроме того, у командира корпуса назначено было совещание, какую деревню отвести под постой его высочеству Михаилу Александровичу,— он назначен начальником дивизии кавалерийской,— и пришлось даже это совещание отложить из-за скверной погоды. Главное, автомобилем никуда не проедешь...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Между тем в десятой роте в эту ночь под утро случилось маленькое «происшествие», столь ничтожное по сравнению с огромным стихийным бедствием на фронте

нескольких полков, расположенных тут, у подступов к Стрыпе, что Ливенцев даже и не доложил о нем командиру полка: бывшие в полевом карауле четверо бабьюков, оставив свои винтовки и патронные сумки в блиндаже, ушли было в тыл, но заблудились в бездорожных и бесконечных глубоких снегах и вышли обратно к окопам своей роты. Случилось так, что они возвращались как раз мимо землянки, из которой выбирался на свет Ливенцев, и он их заметил и крикнул им:

— Стой!.. Куда идете?

Бабьюки же не только не остановились, но проворнее, насколько могли, ринулись было дальше, отвернув как можно круче бороды от своего ротного.

Ливенцев крикнул им громче, и только тогда, переглянувшись, они остановились. Погружаясь в снег до колен при каждом шаге, Ливенцев придвинулся к ним вплотную и спросил:

— Откуда идете?

По замешательству на этих заросших усталых лицах и по виновато мигающим глазам Ливенцев догадывался уже, что им трудно ответить на такой простой вопрос. Однако Савелий Черногуз, прокашлявшись, объяснил хрипло:

— Так что, ваше благородие, шли до околотку.

— На перевязочный пункт? Все четверо? Чем же вы заболели все четверо сразу?

— Дуже поморозились,— ответил уже Гордей Борозднa.

— Где же вас так поморозило? В окопе?

Борозднa посмотрел на Петра Воловика, ища у него помощи. Петр Воловик тоже прокашлялся, как и Черногуз, и сказал хрипло и несколько надсадно:

— Звестно, у в укопі, ваше благородие.

— А кто вам разрешил идти на перевязочный? Фельдфебель?

— Никак нет, не хитхебель, а господин взводный,— очень поспешно ответил за всех другой Воловик, Микита, а остальные трое поглядели на него, Микиту, вопросительно, явно недоумевая, почему показалось ему, что назвать взводного будет лучше, чем фельдфебеля. И по этому торопливому ответу Микиты Воловика, а еще более по недоуменным взглядам остальных Ливенцев догадался, что никто не разрешал им уходить.

Но они четверо были налицо и на ногах после свирепейшего ночного урагана, а остальная рота? Он пока

ничего не знал об этом. Дальше к окопам он пошел вместе с бабьюками. Он спросил еще только о том, что же им сказали и что для них сделали на перевязочном, почти угадав их ответ, что они заблудились и не дошли до «околотка».

Внимание от них было отвлечено сиротливой шинелью, желтым горбом торчавшей из снега как раз у входа в окоп.

— Что это? — испугался Ливенцев.

— Эге! Замэрз, якийсь бідалага! — очень оживился Борозднa.

— А вже ж замэрз,— потянул за шинель Черногуз.

Двое Воловиков разгребли руками снег около головы и ног замерзшего и подняли его, по-рабочему крякнув.

Ливенцев смотрел в очень изможденное, донельзя исхудалое лицо, какое-то стянутое и сморщенное, желтое, твердое на вид лицо с закрытыми глазами, с ледяшками на ресницах, с ледяшками в усах и бороде, и никак не мог догадаться, его ли роты этот замерзший, не чужой ли, заблудившийся ночью.

Но Микита Воловик сказал вдумчиво:

— Так це ж, мабуть, наш Ткаченко?

— Ткаченко, Кузьма,— окончательно установил другой Воловик.

И другие двое сказали: «Ткаченко!» — и Ливенцев, наконец, припомнил Ткаченко Кузьму. Из снега достали его винтовку.

— Как же он мог замерзнуть около окопа? — недоумевал Ливенцев.

— Так он же с нами в дозорных был, ваше благородие,— объяснил Борозднa, а Черногуз добавил:

— Мабуть, и ще якись позамэрзалы!

Он добавил это уверенно и дернул при этом кверху бородою, и все четверо бабьюков поглядели на своего ротного командира такими оправданными перед самими собой глазами, что Ливенцев сразу догадался об их дезертирстве, не удавшемся благодаря той же метели.

Когда очистили вход в окоп, Ливенцев приказал все-таки внести туда тело Ткаченко, не отойдет ли в тепле. Его даже пытались оттирать снегом,— не отошел. Разъяснилось, что он шел вместе с другими двумя, сменившись с поста, он ослабел, отстал, обмороженные ноги еле двигались.

Наконец, он, должно быть, присел, чтобы несколько отдохнуть, но в таких случаях всегда неудержимо хочет-

ся спать, и сон бывает особенно мил и сладок; заснул и больше уж не проснулся. Другие двое, которые пришли с Ткаченко, были обморожены сильно. Но лежать в окопе они не могли, они сидели на своих саперных лопатках, поставив их наискось к стенке окопа. И никто не мог лежать: на дне окопа стояло воды на четверть.

Даже фельдфебель Титаренко, тоже не спавший, а только дремавший ночью, сидя по-птичьи на жерди, поставленной наклонно, смотрел теперь на Ливенцева, как смотрят днем совы. Он пожелтел, опух, у глаз — черные круги.

— Что за черт, скажи ты на милость! Откуда же взялась эта окаянная вода? — спрашивал его Ливенцев, и Титаренко отвечал мрачно:

— Вода, известно, от снега, ваше благородие...

— Как от снега? С крыши капает, что ли? Не могло же столько накапать?

— С крыши капает, это само собой, а второе дело — люди выходят же на вьюгу,— их снегом облепит, и шапку, и шинель, и сапоги также,— они же это все на себе в окоп несут... С каждого не меньше ведра воды оттаять должно, а вода, она никуда, ваше благородие, увойти не может, она вся здесь и стоит. Ее сначала на вершок было, а теперь вон уж сколько...

— Потоп!

— Чистый потоп, ваше благородие.

— Надо выкачивать в таком случае!

— Как же ее выкачивать?

— Как? Котелками. Зачерпывать и выливать в бойницы!

Подпрапорщик Котылев, который тоже не спал эту ночь, подойдя и услышав, о чем говорит ротный, повел головой, усомнившись в пользе маленьких солдатских котелков.

— Тут, если бы где в тылу у помещиков помпу расстараться или хотя бы ведер штук десять, а котелками что же можно сделать? — сказал он снисходительно.

Он тоже поугрюмел за ночь, этот всегда такой бравый подпрапорщик. Он вспомнил австрийский окоп на высоте 375:

— Австриец-австриец!.. Хотя он считается и наш враг, а я бы, признаться сказать, пошел бы на него сейчас в наступление,— ради его окопов удобных. Нары, как же можно! Это ведь какое удобство для людей! Лег себе, как в караульном помещении на мирной службе,

и никакая тебе вода не может мешать. А тут что же такое за пропасть! И темно, как все равно в могиле ты, и ноги в воде, и не лечь тебе и не сесть... Похлопотали бы, Николай Иваныч.

— О свечках я говорил,— обещал командир полка, да что-то нет их. А насчет нар... заикнуться, конечно, можно, но так скоро нар не получим, особенно по такой погоде. Скверно. Это ясно всякому...

— Сказано: «Терпи голод, холод и все солдатские нужды»... День, другой потерпеть можно, конечно, а две недели здесь разве мы вытерпим? Люди ведь не железные — как же можно!

Котылев говорил это вполголоса, чтобы «нежелезные» люди кругом все-таки его не слыхали.

Воду начали выливать через бойницы солдатскими манерками, но Ливенцев скоро убедился сам, что это только зря утомляет людей.

Как итог этой бурной ночи осталось к утру во всех его окопах и блиндажах: вода на четверть, девятнадцать человек обмороженных, из них пятеро тяжело, наконец — один замерзший. Обо всем этом по телефону донес Ливенцев в штаб полка, так как Ковалевский не заходил к нему утром. Он упомянул, конечно, и о помпе, и о нарах, и еще раз о свечах.

Бабьюков же он отозвал в сторону и грозно, насколько мог, сдвигая брови, сознательно не в полный голос сказал им:

— Вот что, ребята. Сейчас же найдите свои винтовки и патронные сумки, где вы их там бросили, и если вы когда-нибудь пойдете без позволения искать «околоток», то смотри-и! О-очень будет вам тогда плохо, ребята!

Он даже и пальцем пригрозил им, протискивая сквозь зубы:

— Идите, дурачье!

Но странно: эти четверо бородатых почему-то ответили тоже не в полный голос:

— Пок-корнейше благодарим, ваше благородие!

И тут же пошли гуськом один за другим к блиндажу полевого караула.

Однако еще, может быть, страннее, чем эта понятливость прощенных дезертиров, было то, что сам Ливенцев счел именно в это утро четверых бабьюков самыми умными людьми во всей своей роте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Не больше, как через час, найден был в снегу перед окопами другой замерзший из дозорных десятой роты,— рядовой Бурачок. Он был еще жив, когда его откопали, и Ливенцев приказал внести его в свою землянку, но тут вскоре сердце его отказалось биться.

Это был молодой еще малый, правда, щуплый, узкогрудый и узкоплечий, из белобилетников. О его смерти дополнительно донес по телефону Ливенцев Ковалевскому, а тем временем замерзшие были обнаружены и в нескольких других ротах. Получив донесения и от других ротных командиров, Ковалевский передал в штаб дивизии, что в его полку за истекшую ночь замерзло на постах и в дороге с постов до окопов восемь человек. Узнав от врача Устинова, что тяжело обмороженных полезно растирать спиртом, он просил прислать ему хотя бы две-три четвертных бутыли спирта.

В спирте интендантство отказало, а восемь человек, замерзших в одну ночь и в одном полку,— это, дойдя до сведения генерала Истопина, заставило его рассердиться до того, что он сказал генералу Полымеву тут же, обеими пухлыми руками ударив о карточный столик.

— Пхе,— это, знаете, совершенно невозможно терпеть дальше! Этот, пхе, полковник Ковалевский так и лезет под суд. Ни в од-ном полку ни о ка-ких замерзших никто ни слова, а у него, извольте-ка, восемь человек. И кроме того, сто с чем-то обмороженных!.. Из других полков если и доносят об обмороженных, то ведь там только единичные случаи, а у Ковалевского все должно принимать катастрофический характер!.. Пхе!.. Это черт знает что, и нам надо назначить следствие по этому делу.

— Опять поручить Лоскутову? — спросил Полымев.

— Нет. Нет. Теперь ничто не мешает передать это дело Баснину,— Баснину, пхе! Он на ножах с Ковалевским и... либеральничать не станет. Он проведет следствие, как надо. Только надо вот что... Ввиду плохой погоды и ввиду... как бы это сказать, пхе... предотвращения подобных нетерпимых случаев передать ему это дело немедленно... пхе!

— Баснину, да... Это — мысль,— согласился Полымев, и приказание о производстве следствия было передано Баснину в обед того же дня.

Но в обед же начался и новый стремительный натиск бурана все оттуда же, с северо-востока, из родных российских степей. Походные кухни снова не могли пробиться не только к окопам, даже к резервным ротам; обед был снова и запоздалый и совершенно холодный.

Часам к двум дня прибыла подвода со свиным салом, посланная еще утром Добычиным из Коссува, но исхудалая от бескормицы пара обозных лошадей, кое-как пробившаяся через сугробы на шоссе, не выдержала ледяного бурана, совершенно выбилась из сил и пала шагах в двухстах от штаба полка.

По расписанию все-таки шла, должна была идти во что бы то ни стало намеченная приказом полковая жизнь, несмотря на бушующий норд-ост. Люди двигались. Они выходили из землянок, из окопов, согретых собственным теплом, на леденящую стужу, чтобы сменять дозорных на постах, чтобы нести караульную службу в резерве, ходили за хлебом, ходили к кухням, вызывались по телефону из штаба полка к той самой злополучной подводе с салом, которое Ковалевский решил немедленно раздать по ротам, чтобы поддержать этим сопротивляемость холоду в людях своего полка.

И вот какая была замечена всеми в этот именно день величайшая странность: шинели на ветру начали звенеть, как колокола-подголоски. В них можно было ходить не меняя отнюдь и никак положения тела: нельзя было не только сесть, даже нагнуться, а кто падал в снег, сбитый сумасшедшим ветром, тот не мог подняться.

Дело было в том, что хотя снег, густо облеплявший шинели, и оттаивал в землянках и окопах, но не вся вода стекала при этом на пол. Сукно шинели на второй год войны было уже такой выделки, что втягивало воду, как губка, и щедро отдавало ее ватным телогрейкам и шароварам. И все это суконное и ватное смерзалось на лютом ветру, стягивало, как кольчуга, и звенело, как ледяные сосульки весною.

Всякий видел, как беспомощны бывают упавшие на спину жуки, как иногда часами напрасно шевелят они в воздухе ножками, чтобы перевернуться, и не могут: жуки тоже одеты в панцири, неспособные менять свою форму.

Но жуки не плачут при этом, а упавшие и не могшие подняться солдаты плакали от бессилия. Это слу-

чалось и невдали от землянок штаба полка, и Ковалевский сам видел это. В землянке штаба тоже набралось на вершок воды, потому что часто приходили туда занесенные снегом солдаты и офицеры и оттаивали гораздо быстрее, чем в окопах, сразу попадая в большое тепло. Как раз, когда таким сбитым на спину жуком оказался около самого входа в штаб один из связных и Ковалевский, выскочив наружу, сам помогал втащить связного в землянку, генерал Баснин властно потребовал его к телефону.

— Командир корпуса,— говорил Баснин,— приказал мне произвести дознание, а точнее говоря — следствие по делу о том, что у вас в полку очень много обмороженных и, кроме того... кроме того, появились даже замерзшие, что уже совсем нетерпимо!

Ковалевский был так ошеломлен этим, что не нашелся даже как ответить. Он пробормотал только не совсем разборчиво:

— Да, ваше превосходительство, нетерпимо... Это совершенно верно.

Чрезвычайно изумило его, что Истопин вздумал производить следствие, как будто он, Ковалевский, командует не только полком, но и стихиями, но еще более изумило то, что он, как Кочубей Мазепе, выдан с головою Баснину. А Баснин спрашивал начальническим тоном:

— Прошу указать мне способ, каким бы я мог до вас добраться.

— В моем распоряжении нет такого способа, ваше превосходительство,— оправившись уже, ответил Ковалевский.— Каким бы способом вы ни пытались пробраться теперь, во время урагана, ваша будущность может быть одинаково печальна. Я сегодня слышал, что пропал свитский генерал Петрово-Соловово, и его не могут разыскать. Ваша попытка пробиться сюда, по моему мнению, только увеличит количество пропавших генералов.

— Прошу... э-э... держаться вполне официального тона, полковник!

— Слушаю, ваше превосходительство. В таком случае вам придется отложить следствие до улучшения погоды.

— Нет, следствие приказано произвести спешно и закончить в кратчайший срок.

— Тогда, ваше превосходительство, в ваших руках как раз и имеется средство произвести это самое экстренное следствие, не двигаясь с места: телефон.

— Как? Следствие производить по телефону?

— Да, благо телефон работает вполне исправно благодаря моей прекрасной команде связи.

После некоторой задумчивости Баснин сказал:

— Пожалуй, да... Пожалуй, по телефону я действительно могу произвести следствие. Но мне ведь нужно будет отобрать показания и у ротных командиров ваших. Это как,— можно будет сделать?

— Разумеется, ваше превосходительство. Вас соединят по вашему требованию с любым из ротных командиров. И даже с кем угодно из нижних чинов, если вы захотите.

И следствие о преступной нераспорядительности полковника Ковалевского началось по телефону, а ураган только еще начинал раздувать свои тысячеверстные мехи, угрожая значительно увеличить количество преступных полковничьих дел.

Когда Баснин вызвал к телефону Ливенцева, он задал ему тот же вопрос, какой задавал и другим:

— Скажите, прапорщик, все ли теплые вещи, както: ватные рубахи и штаны, а также набрюшники, башлыки, были надеты на замерзших в вашей роте?

— В моей роте замерзло двое, ваше превосходительство, и на обоих все это было, так же, как и на всех остальных,— ответил Ливенцев.— Но вот что случается иногда с ватными штанами, например: в свое время был отправлен на пост дозор, как следует, в штанах, а вернулся он без штанов, ваше превосходительство.

— Как без штанов? Вы-ы что это там такое, а? — повысил голос Баснин.

— Я? Даю свое показание,— скромно отозвался Ливенцев.— Объяснение же этого факта таково: штаны были мокрые, хоть выжми; при тяжелой ходьбе по глубокому снегу они сползли вниз, к коленям; здесь они смерзлись в один комок. Только что я это видел сам.

— Если на нижних чинах были мокрые штаны, то-о... вы должны были позаботиться о том, чтобы они их высушили! — прокричал Баснин.— Что было сделано вами, чтобы просушить одежду нижних чинов?

— Мною? Мною ничего не могло быть сделано. Но я приказал бы, ваше превосходительство, протопить пе-

чи во всех окопах и землянках, если бы были для этого дрова.

— Однако свою-то землянку вы, конечно, топите?

— К сожалению, нечем. Во всем полку отапливаются только две землянки: штаб полка и перевязочный пункт. Позвольте мне еще дополнить мое показание, ваше превосходительство...

— Что такое? Говорите, я слушаю.

— Сейчас при мне свалило с ног ветром одного из нижних чинов моей роты, и, когда он упал, у него откололся рукав шинели.

— Как так откололся? Оторвался, что ли, вы хотите сказать?

— Буквально откололся, как кусок ледяшки, ваше превосходительство. Отчасти это можно объяснить физическим законом расширения воды при замерзании.

— Ничего не понимаю,— проговорил недовольно Баснин.— Но ваши показания я проверю. Ваша фамилия как, позвольте? Прапорщик Лихвенцев?

— Ли-вен-цев.

— Так. Прапорщик Ливенцев. Я хотел бы теперь допросить вашего фельдфебеля.

— Слушаю, ваше превосходительство. Я сейчас пошлю за фельдфебелем. Но у меня есть еще показание по этому делу.

— Вы-ы, прапорщик, должны отвечать на те вопросы, какие я вам задаю, и только.

— Я и хочу ответить на ваш основной вопрос, почему замерзают нижние чины моей роты. Возможно, что случаи замерзания будут еще, принимая во внимание, что ураган продолжается.

— Что же вы хотите добавить, прапорщик?

— Люди истощены, ваше превосходительство, тем, что вот уже два дня не получали горячей пищи и не могут спать вот уже две ночи. А не могут спать потому, что в окопах и землянках выступила подпочвенная вода. Получились не окопы, а колодцы. Мы пробовали вычерпывать воду,— правда, только солдатскими котелками,— но это отнюдь не помогает, вода набирается вновь. Нижним чинам негде лечь; они коротают ночь, как куры на нашесте, на своих лопатах...

— Но если... позвольте, прапорщик... Если выступает вода, подпочвенная, как вы говорите, то это значит, что окопы глубоко вырыты, что ли?

— Да, они слишком глубоки, ваше превосходительство, но это было бы ничего, если бы в них были нары, чтобы было на чем лежать.

— Ну, нары, знаете ли, это уж роскошь... Нары!

— Кроме того, в них темно, в окопах,— в них кромешная тьма, что действует на нижних чинов удручающим образом... А человек с удрученной психикой менее способен сопротивляться действиям на него стихий и замерзнуть может скорее, чем тот, которого до подобного состояния не доводят, ваше превосходительство. Какой-нибудь огарок свечки, если бы нам в окопы его доставили, имел бы колоссальную ценность!

— Всего сразу, конечно, нельзя было сделать в окопах, но-о...— И Баснин еще, видимо, обдумывал, как ему закончить начатую фразу и стоит ли ее заканчивать ему, ведущему дознание генералу; ее закончил за него Ливенцев:

— Но тогда трудно и требовать от нижних чинов, чтобы они не замерзали. Это единственный выход из их положения: взять и замерзнуть!

— Что вы такое говорите, прапорщик? — изумленным голосом прокричал Баснин.

— Я говорю, что замерзнуть — это единственный честный выход из положения, ваше превосходительство! Бесчестный же, как дезертирство, например, я исключаю. Я исключаю и еще один честный выход — быть убитым австрийской пулей, поскольку австрийцы лишают нас этого выхода,— очень смирно сидят в своих окопах.

— Много говорите, прапорщик, лишнего, очень много! Ваша фамилия Ливенцев?

— Так точно. Я должен добавить еще одно, ваше превосходительство. Главнейшей причиной замерзания и обморожения я считаю, конечно, хронически мокрые ноги нижних чинов, так как сапоги их, из елецкой ли они кожи или из флотской, не могут не пропускать воду, если в воде приходится стоять часами. Сапоги же наши, как известно, редкостно плохи, портянки у нижних чинов хронически мокры, на холоде они смерзаются, и это приводит к гибельным результатам, так как человек начинает замерзать с ног.

— Ваших показаний с меня довольно, прапорщик! Я просил вас позвать вашего фельдфебеля! — раздраженно прокричал Баснин.

Как раз в это время вошел в землянку Титаренко, и Ливенцев подозвал его к телефону, говоря при этом Баснину:

— Фельдфебель явился, но об этом я узнал только по его голосу, потому что в землянке темно, хотя сейчас только три часа дня. Можно бы сделать в землянке крохотное окошечко, но нет для этого ни рамы, ни стекла. Наконец, можно бы сделать в землянке и дверь, а то вместо двери висит только старое полотнище палатки, а за этим полотнищем — пурга, ваше превосходительство!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

В этот день смеркалось рано, но буран не утихал, напротив, он усилился после захода солнца и в темноте стал зловещей и упорней.

С вечера почему-то в стороне австрийских позиций начали взвиваться в вышину и, падая, озарять тревожно снега ракеты. Иногда раздавалась даже вялая, правда, стрельба. Похоже было на то, что австрийцы были обеспокоены утренним пулеметным обстрелом своей роты, той самой,— в одеялах, как в шалях,— и приняли этот обстрел за начало нового наступления. Во всяком случае, они показывали, что готовы его встретить как следует.

Может быть, начальство свежих и бодрых, хорошо снабженных полков соблазнилось бы возможностью легкого успеха, так как ураган дул в лицо австрийцам, а проволочные поля их были теперь основательно завалены снегом и потеряли бо̀льшую часть своей заградительной силы.

Но русским полкам на позициях в Галиции, как и в Буковине, сейчас было совсем не до мыслей о наступлении.

Обозы, посланные из тыла с продовольствием и дровами, захваченные усилившимся бураном, не только не могли пробиться к фронту, но не могли и повернуть назад. Обозные, спасая лошадей и себя, бросали подводы десятками в снежной пустыне. Часть подвод приказано было генералом Котовичем задержать около хаты на Мазурах, где решено было устроить чайную и питательный пункт. Дрова для топки разрешено было полку

Ковалевского рубить везде, где они еще имеются, не считаясь ни с какими прежними запретительными приказами на этот счет. Но даже, если бы и были где-нибудь поблизости от полка рощи или отдельные деревья, люди настолько уже обессилели, что не могли бы выполнить этого нового благодетельного приказа.

Даже когда по телефону из штаба полка было передано о прибывшей подводе с салом и приглашались приемщики этого сала от каждой роты, иные из ротных командиров, между ними и Ливенцев, ответили, что у них в окопах все люди устали, полны равнодушия к жизни, не только к салу, и никто не вызывается идти за ним две версты, в штаб, чтобы потом тащить на своих плечах мешки с салом,— лишнюю и непосильную тяжесть в то время, когда одна мокрая шинель на каждом весит не меньше пуда.

Ковалевский распорядился тогда нагрузить салом отборных солдат из полкового резерва, чтобы они не только донесли его до окопов, но еще и раздавали его там на руки сами. И к вечеру действительно сало в мешках было принесено, но окопники, хотя в большинстве и украинцы, смотрели на него вполне спокойно.

В таком состоянии роты в окопах встретили новую ночь.

Ливенцев получил приказание как можно чаще менять дозорных и недалеко выдвигать посты, чтобы избежать случаев замерзания; и хотя следить за этим всю ночь сам он был не в состоянии, однако действительно за эту ночь не замерз никто, но зато пятеро в его роте — Курбакин и все бабьюки были ранены в левые руки: просто у них было отстрелено по одному пальцу на левых руках.

Что австрийцы иногда — больше от скуки, должно быть,— постреливали в эту ночь в сторону русских окопов, это было слышно, но совсем не трудно было догадаться, что не австрийские пули нанесли небольшие увечья пятерым окопникам.

— Курбакин, и ты, брат, тоже? — покачал головой Ливенцев, глядя на этого, обычно бравого, иронического человека с такими широко расставленными дикими глазами навыкат.— А еще говорил мне когда-то, что ты — заговоренный, что тебя никакая пуля не возьмет.

— Ваше благородие, дозвольте доложить,— это я об русских пулях так,— от тех я заговорен, а насчет авст-

рийских это не касается,— разъяснил Курбакин и, как старослужащий, добавил просительно: — Разрешите, ваше благородие, мне итить на перевязку: крепко рука болит.

Бабьюки держались, как обычно, кучкой, но старались не отставать от Курбакина и тоже просились «в околоток». Лица у них были угрюмые, глаза больные, и глядели они на него весьма пытливо.

Только у двух Воловиков осмотрел Ливенцев забинтованные кое-как ими самими руки. Обдуманно-однообразно у того и у другого отстрелены были наименее необходимые для работы — безымянные пальцы, а на ладонях остались следы ожогов.

Бывший при этом подпрапорщик Кравченко, командир их взвода, пробормотал насмешливо, но беззлобно:

— О-о, то были гарны стрiлки, га́спидски души, австрияки-паскуды...

Ливенцев сказал, подумав:

— Вот что, братцы... На перевязочный вы пойдете, и мне даже придется дать вам провожатых, чтобы вы не заблудились. Но редкостный случай этот, должно быть, будет выясняться.

Он не добавил «высшим начальством» или «командиром полка»,— бабьюки и без того переглянулись многоречивыми взглядами и потом посмотрели на него еще более пытливо, чем раньше.

Когда Ковалевский, обеспокоенный и возбужденный дознанием Баснина, рано в этот день потребовал сведений о замерзших и тяжело обмороженных, Ливенцев доложил ему о пяти раненных в руки.

— Ка-ак? Что такое?.. «Пальчики»? Самострелы? — отозвался Ковалевский.— Этого только недоставало! Отправьте их немедленно же в штаб полка, ко мне,— слышите? Только отправить, как арестованных мною, под конвоем. И немедленно! Иначе это может заразительно подействовать на других. И нужно же, чтобы именно в вашей роте случилось подобное! Э-эх...

Отходя от телефона, Ливенцев встревоженно думал, к какому решению относительно их может прийти Ковалевский, и мог ли он сам как-нибудь скрыть это членовредительство бабьюков, как за день перед тем скрыл их попытку бежать в тыл с караула, но, наконец, досадливо отмахнулся от этого вопроса. Он вообще был очень утомлен, оглушен воем бурана, простудился в холодной

землянке с полотнищем палатки вместо двери. Его знобило, но он старался двигаться, пытаясь согреться.

В конвой к «самострелам» он назначил Старосилу и двух солдат молодого возраста, мариупольцев.

Буран не то чтобы совсем утих, но стал гораздо слабее и терпимее. Мороз же был небольшой, не больше трех градусов, и день развертывался довольно ясный, но у всех в роте видел Ливенцев какие-то полуздешние, приговоренные лица.

Когда пошли «самострелы», хотя и с провожатыми, но на перевязочный, это заметно оживило роту. К Ливенцеву начали сходиться по двое, по трое обмороженные, просясь тоже на перевязочный. Но они еле двигались, и Ливенцеву хотелось сказать, что если бы только зависело это лично от него, то он сейчас сам ушел бы с ними вместе; но говорил он то, что могло бы их временно успокоить:

— Погоди, ребята! Нельзя же сразу всем на перевязочный,— это раз. А потом, дайте хоть несколько ободняет, потеплеет, станет тише... Наконец, нас могут всех перевести в резерв,— тогда и отдохнем и подлечимся. Я тоже болен, но никуда на стремлюсь, а жду, когда придет моя очередь идти в резерв. На перевязочном все равно некуда вас девать, нет места...

Он понимал, конечно, что никого не убедил; однако толпа разошлась,— опавшие, почерневшие лица, полузрячие, мутные глаза, сутулые слабые спины, деревянные ноги... Но минут через двадцать после этого он услышал из своей землянки какую-то оживленную перестрелку около окопов. Выскочил,— перестрелка еще продолжалась.

— Что это? Что случилось? — кинулся он к Титаренко.

— А что же, ваше благородие, можно сделать теперь с народом? — мрачно ответил Титаренко.— Никому не хотится быть хуже людей... Пятеро пошли на перевязку,— и им хотится.

— Кому хотится? Чего хотится?

— Известно, стреляют себе в руки, ваше благородие.

И он расставил свои руки,— правую ниже, левую выше,— чтобы показать, что такое делают сейчас самострелы.

Первое, что хотел сделать Ливенцев, было — кинуться туда, к ним,— остановить. Но неизвестно было, куда

именно кинуться сначала: выстрелы слышались с разных сторон. Ливенцев глядел на фельдфебеля растерянно; Титаренко на Ливенцева — непроницаемо. Но вот отгремели еще два запоздалых выстрела, и утихло. Случилось то именно, что предвидел Ковалевский и чего не мог ясно предположить Ливенцев: двадцать шесть человек еще отстрелили себе пальцы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Привалов только успел окончить учительскую семинарию перед тем, как его призвали и послали в школу прапорщиков.

Однако не потому, что он был еще очень юн, безбород, безус и бесщек, у него были такие удивленные (круглые серые) глаза. Просто это было его основное свойство: глаза его как будто удивились когда-то до такой степени основательно, что выражение их больше уж не менялось. Он удивлялся всему кругом: и обилию разных знаний у своего ротного, и тому, что его новый товарищ Значков ходил в атаку на австрийцев, попал при этом под пулеметы и остался цел и невредим; удивлялся подпрапорщикам Котылеву и Кравченко, заработавшим по четыре Георгия; удивлялся даже и тому, что он сам, такого некрепкого здоровья на вид, какимто образом живет, спит в холодной землянке и пока еще ничем не заболел...

Удивило его, конечно, и то, что люди, которых он же сам привел, как пополнение, в роту Ливенцева, принялись вдруг хладнокровно отстреливать себе пальцы.

— Что же это такое, скажите? Почему они так все вдруг, а? — спрашивал он озадаченно у Значкова.

— Сговорились заранее,— важно отвечал Значков.

А Ливенцев спокойно телефонировал Ковалевскому приемом и оборотами обычных рапортов:

— Господин полковник, доношу, что во вверенной мне роте оказалось еще членовредителей двадцать шесть человек.

— Как «оказалось»? Где «оказалось»? Когда? — ошеломленно вскрикивал Ковалевский.

— Только что, господин полковник. После того, как увели первых пятерых.

— Так эти выстрелы, какие сейчас слышны были, они, значит, там, у вас в роте, были?

— Так точно, в моей роте.

— Это чёрт знает, послушайте! Я прикажу сейчас же двенадцатой роте сменить вашу, а вашу — в резерв! Это преступление, что вы допустили... Как вы могли это допустить?

Выкрики Ковалевского становились все возбужденнее,— спокойствие Ливенцева все крепло. Он отвечал:

— Предупредить подобное явление так же было не в моей воле, как предупредить буран, чтобы он не разражался.

— Что вы валите на буран! Вы имеете дело с людьми своей роты!

— И среди людей своей роты я не могу запретить, например, самоубийства. Запрещать, конечно, я могу сколько угодно, но запретить не в состоянии ни я, ни кто другой на моем месте.

— А-а! Так? Тогда вы, прапорщик... тогда... объявите немедленно в вашей роте, что все членовредители будут преданы полевому суду и расстреляны! Да так и объявите, что они ничего не выиграют этими гнусностями, не достойными солдата! Тот, кто стреляет в себя, чтобы себя ранить, в того, скажите, будут стрелять так, чтобы убить наповал! Так именно и скажите... Я сейчас же назначу подпоручика Кароли, как юриста, произвести дознание, что явится, разумеется, только проформой,— и потом суд и расстрел,— вот что я сделаю. Объявите им это сейчас же!

Ковалевский был еще под неприятным впечатлением от того дознания, которое производил накануне в его полку Баснин, хотя именно в это утро генерал Истопин убедился, что в других полках его корпуса, стоявших на позициях, были тоже замерзшие и тяжело обмороженные, о которых просто не донесли своевременно, очевидно, думая, нельзя ли будет со временем выписать в расход замерзших, как убитых в перестрелке, а тяжело обмороженных, как раненых, что было бы, конечно, гораздо приятнее высшему начальству, воюющему с неприятелем, но презирающему стихии.

Самое же отрадное, что узнал в это утро Истопин, было то, что в других смежных корпусах,— у Флуга и Саввича,— замерзших оказалось еще больше, чем у него, и, между прочим, в корпусе Флуга, в окопах на высоте 375 погибла, задохнувшись, почти целая рота.

Поэтому дознанию, над которым потрудился с кропотливым усердием врага Баснин, не было дано никакого хода. Но до Ковалевского это решение Истопина пока еще не дошло.

Пока он видел только, что в его полку новое огромное упущение: «пальчики». Когда же после разговора по телефону с Ливенцевым он в раздражении выскочил посмотреть, ведут ли этих пятерых из десятой роты, зачинщиков членовредительства, он увидал нечто другое: шла большая толпа солдат,— человек полтораста,— и ни одного офицера при них.

С трудом продвигаясь по глубокому снегу, толпа направлялась прямо на него, и когда была от него всего в двадцати шагах, он скомандовал ей так зычно, как мог командовать только на смотрах и парадах:

— Команда, сто-о-ой!

К удивлению его, команда остановилась не сразу, а продвинулась еще шагов на пять, на семь. Все были без винтовок.

— Вы-ы что за команда такая, а? Куда прете? — крикнул Ковалевский.

Голосов двадцать вразнобой ответили:

— Шестая рота, ваше всокбродь!

— Ка-ак шестая рота?

Ковалевский сам подошел ближе к толпе:

— Почему шестая рота? Куда же вы идете?

— На перевязочный... В околоток... Больные все! — совершенно несогласно выкрикивались ответы.

— Кто же вас послал? — изумленно, почти испуганно спросил Ковалевский.— Ротный командир послал?

— Никак нет,— сами...

— Вы из окопов или из резерва? Ведь шестая — в окопах?

— Так точно, в окопах... Из окопов мы, чтоб им пропасть, тем окопам!

Ковалевский оглянулся; никого не было сзади его, а перед ним толпа в шинелях, забывшая о том, что она — солдаты.

— Наза-ад! — крикнул он во весь голос.

Однако никто не двинулся назад. Только кто-то сзади крикнул хрипло:

— Куда же назад, когда больные мы все! Подыхать?

Тогда Ковалевский почувствовал, что полк его не только рассыпается, рушится весь, но что он вот-вот

опрокинется на него же и его раздавит. Это почувствовал он в первый раз, но настолько осязательно было в его представлении, что наваливаются на него всей толпой и его давят, что он перешел сразу с командного тона на обыкновенный разговорный,— упал с облаков на простую исхоженную землю.

— Ребята, что вы больны, я верю, но что вас лечить негде, вы можете увидеть сами, когда дойдете до перевязочного пункта... Вон перевязочный,— та вон землянка. (Он указал рукой.) Она уж полным-полна, ни одного человека больше принять не может и не примет, ребята!

— Тогда мы дальше пойдем! — крикнули из толпы.

— Куда именно? В голое поле? Чтобы там замерзнуть наверное?

— Все равно где подыхать!

— Нет, в окопах вас скоро сменят другие,— там вы останетесь живы, а здесь, дальше, и лошади дохнут, не то что люди.

Издохшие лошади, кстати, не были убраны. От толпы они лежали недалеко, и на них указал Ковалевский.

Солдаты посмотрели на полузанесенные конские трупы около подводы, а Ковалевский продолжал:

— Сообщения с тылом никакого нет,— мы отрезаны. Ветер скоро опять усилится, а он будет вам все время в лицо,— не пробьетесь никуда, ребята! Выбьетесь из сил и погибнете,— это знайте!

— Неужто ж снова в те окопы?

— Только в окопы!.. Тем более — ненадолго ведь: я распоряжусь вашу роту сегодня сменить... Все роты, какие были в окопах, пойдут сегодня в резерв.

Толпа потолклась на месте еще несколько минут, наконец повернула обратно. Ковалевский же, еще не пришедший в себя, так же стоял неподвижно на одном месте, и ветер дул ему за воротник шинели.

Но вот он заметил — еще подходило несколько человек с другой стороны, одни без винтовок, другие с винтовками. Он думал, что это тоже беглые из окопов, он несколько опасливо взглядывал на три штыка, поблескивавшие на солнце, и только тогда почувствовал себя снова, если и не таким, как прежде,— все-таки командиром полка, когда узнал из рапорта унтер-офицера Старосилы, что это доставлены арестованные по его

приказу пять человек «пальчиков» из десятой роты. И прапорщик Ливенцев, совершенно было упавший в его мнении, снова стал как будто и не таким уж плохим, а довольно приличным командиром роты, гораздо лучшим все-таки, чем Яблочкин, от которого ушла вся рота, а он даже не донес об этом.

Он посмотрел на арестованных, плотно зажав губы, чтобы не выругаться; однако не выдержал. Ветер дул ему в лицо. Темным разорванным пятном еще виднелась в густой поземке уходящая в сторону окопа шестая рота, но она ведь была только беспорядочной толпой, которой никто не командовал, и первый же крикун мог увлечь ее на любое преступление против дисциплины. Представлялось, что там, за двухверстными снегами, в других ротах передовой линии, может быть, тоже членовредительствуют теперь десятки, если не сотни солдат, окончательно разваливая полк. И начали развал этот вот они — пятеро,— четыре густобородых мужика и пятый, черт его знает, с какими-то дикими глазами навыкат.

— Так это вы-ы... так это вы!..— сразу взвился до высшей ноты звонкий голос Ковалевского, и тугой кулак в серой вязаной перчатке ритмически задвигался перед носом наиболее видного из всех пятерых — Микиты Воловика, а покрасневшие глаза забегали по всей шеренге.— Вот вам покажут, куда и как надо стрелять из русских винтовок,— погодите, мерзавцы!.. Вы поймете, негодяи, зачем существуют наши винтовки!.. Унтер-офицер! Веди эту гнусную сволочь в караульное помещение... Вон туда,— в ту землянку... И сдай там их всех караульному начальнику под расписку.

— Ваше высокобродь! А как же, на перевязку же нам надо, дюже крепко руки болят! — прокричал вдруг, неожиданно для него, Курбакин.

— Пере-вязку? Он беспокоится, что его не перевяжут, подлец! — удивился даже этому выкрику Ковалевский и еще раз кивнул головой Старосиле: — Веди.

И чтобы арестованных, действительно, привели куда следует, он даже прошел за ними шагов тридцать. Бабьюки шли покорно, но Курбакин обернулся вдруг и остановился, чтобы что-то крикнуть еще; однако Старосила расторопно сдернул с плеча винтовку, наставил штык против его шеи и прохрипел:

— Иди, куда приказано, а то-о...

Наблюдая это издали, Ковалевский еще раз подумал о Ливенцеве, что он, пожалуй, не так и виноват: когда же было ему переработать эту орду пополнения, влившуюся в его роту?

Но, возвратясь в штаб и отдав по телефону распоряжение, чтобы роты резерва сменили роты в окопах, а Кароли чтобы произвел дознание по делу пяти арестованных в десятой роте,— он сам вдруг был вызван к проводу генералом Котовичем.

Как это было ни странно, старец спросил его не о том, как прошла ночь и сколько у него новых замерзших,— он спросил его о прапорщике Ливенцеве.

— Генерал Баснин сообщил мне, что у вас в полку есть такой ротный командир, прапорщик Ливенцев...

— Это мог бы сообщить вам и я, ваше превосходительство,— ответил Ковалевский.

— Да, вы... вы, конечно, должны знать его лучше... Так вот, я хотел бы знать, каков он у вас по службе...

— Отличный командир! — с ударением сказал Ковалевский, сразу предположив, что Баснин выступил против него с каким-то доносом.

— Отличный? Гм... Даже отличный, гм... Странно! А генерал Баснин утверждает, что это — отъявленный красный.

— Красный?

— Да, именно так... Будто бы весьма красный.

— Не больше, чем любой прапорщик, ваше превосходительство. Есть, конечно, некоторая либеральность, но он отнюдь не... не красный... А за боевые заслуги он представлен мною к ордену Владимира четвертой степени.

— Вот как? Даже к Владимиру?.. За что же именно?

— Это он занял австрийский окоп на высоте триста семьдесят пять и первый ворвался в окоп, ваше превосходительство, причем захватил пленных...

— А-а?.. Он? Вот как?.. Прапорщик Ливенцев?.. Скажите, пожалуйста! Откуда же у генерала Баснина взялось мнение, что он... гм... Ну, хорошо, хорошо. Кстати, мы позаботились тут, чтобы отряд Красного Креста обосновался в хате на Мазурах... Это затем, знаете, чтобы облегчить вас. Обозные, которые будут к вам направляться, могут там пить чай, вообще подкрепиться, обогреться... Там же и лошади отдохнут, что-

бы взять расстояние до вашего полка без особых каких-нибудь осложнений и... и огорчений.

— Благодарю вас, ваше превосходительство, но должен сказать, что на моем участке уже и сейчас создалось положение если не прямо катастрофическое, то очень к этому близкое. Если буран продлится еще два-три дня,— мой полк, возможно, совсем перестанет существовать.

— Неужели? Неужели так плохо дело? Что же именно такое творится у вас там? — обеспокоился Котович.— Бунтуют, что ли? Бегут?

— Полком овладела, как бы сказать, ваше превосходительство, какая-то полярная паника. Другого определения я не сумею придумать. Нужны будут какие-то экстренные меры,— какие именно, я еще не знаю,— это будет видно по ходу дела... Прошу разрешить мне полноту власти, как капитану погибающего корабля.

— Разумеется,— полноту власти, да... Поскольку вы ведь отвечаете за вверенный вам полк, а не я... Я отрезан сейчас от фронта... Разумеется, вам должно быть виднее там, на месте, что можно сделать. Я же только могу ходатайствовать перед командиром корпуса, чтобы заменить ваш полк другим полком раньше истечения срока, вот что я могу,— только...— нерешительно пробормотал старец и извинился, что другие дела неотложной важности отрывают его от телефона.

Однако Ковалевский понял, что он оборвал разговор не потому, что были какие-то неотложные дела, а потому, что не решался уточнять своего только что данного разрешения на экстренные меры. Тот полевой суд, которому должны были быть преданы пятеро арестованных, являлся превышением власти командира полка седьмой армии, и даже начальник дивизии разрешения на это дать не мог.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Подпоручик Кароли, щеки и подбородок которого опять обросли седой щетиной, а больные глаза жмурились от ветра и слезились, кое-как для дознания добравшись до роты Ливенцева, говорил ему почти шепотом:

— Накажи меня бог, наш командир тоже начал с ума сходить, как и все мы, грешные. Как можно было

додуматься до полевого суда при такой обстановочке? Никуда ни к черту все не годны, и даже очи заплющили, бо вже помирать зібралысь,— их не судить, их лечить надо! В крайнем случае покормить хотя бы борщом горячим... Высушить, наконец, как портянки около печки, а он вдруг — полевой суд над ними. У меня у самого не меньше тридцати восьми градусов температура, а я должен тут дознание производить... нынче я у вас, завтра вы у меня, потому что завтра и у меня окажутся самострелы. В конце концов я хотя и юрист, но следователем никогда не был, а прокурором тем более. Я адвокат, и моя профессия защищать обвиняемых, а не под расстрел их вести...

— Вы это говорили Ковалевскому? — очень живо спросил Ливенцев.

— Что же ему говорить? Он не такой глупый человек, чтобы самых простых вещей не понимать без моих объяснений.

— Однако не понимает. Но вы ведь можете не исполнить заведомо глупого приказа, не так ли?

— Например, каким именно образом? — усиленно замигал леденеющими ресницами Кароли.

— Например, если бы вы получили приказ пройтись на руках по этому снегу,— вы бы, конечно...

— Счел бы такой приказ за глумление над собою, но это совсем в сравнение не идет.

— Не идет? Хорошо-с... А если бы вам приказали пойти или даже поехать в ксендзовых санках в тыл, разыскать там Баснина и убить его для пользы службы,— тогда вы что?

— Это опять не из той оперы! Стрелять в генералов называется террористическим актом, как известно...— криво усмехнулся Кароли.

— Ага! Этому есть особое название... А содействовать расстрелу, обосновывать юридически расстрел и без того полумертвых солдат,— это что такое? Этому есть название на языке юристов?

Кароли поморщился и даже как будто подмигнул не без лукавства:

— Да ведь если вы хотите знать — юридические основания к полевому суду у нашего командира очень шатки. Генерал Щербачев никому из командиров полков не передавал своих прав и привилегий на полевой суд,— это я знаю наверное. Такого приказа по седьмой

армии не было. Так что Ковалевский действует тут довольно самодурственно... Знает он, конечно, что отвечать за каких-то там пятерых расстрелянных нижних чинов он не будет, но по-настоящему отвечать должен... Я этим вопросом интересовался как-то. В армии Брусилова, например, суд над «пальчиками» приказано откладывать до окончания войны, а их только подлечивать в ближайшем тылу — и на фронт. Это, конечно, гораздо расчетливее. Кроме тех пяти, у вас сколько еще самострелов?

— Пока только двадцать шесть. Больше не было ни одного случая.

— Вот видите! А почему не было?

— Я думаю, только потому, что на перевязочный пункт их не отправляли.

— Ну вот. Вот вам и средство под рукой. И на перевязочный не попали и руки болят! Ясно, что нет никакого смысла отстреливать пальцы... А может быть, узнали, что тех пятерых ждет расстрел?

— Хотя мне и приказано было сказать им об этом, но я не говорил. Я все-таки надеюсь, что командир одумается...

Однако Урфалов, тоже дотащившийся до десятой роты, сказал Ливенцеву в тот же день, что он назначен вместе с поручиком Дубягой в полевой суд над его пятью самострелами, а председателем суда — капитан Пигарев.

— И вы действительно будете судить их? — удивился Ливенцев.

— Ну, какой уж это суд, когда приговор, изволите видеть, уже составлен! Суд так, для блезиру.

— Меня сильно знобит,— передернул плечами Ливенцев.— Кароли говорил, что его тоже... А вы как?

— Я? За меня, видно, моя старуха молится, что я как-то терплю. Но вы вот что скажите: как я пойду на это самое заседание суда в штаб, за две версты,— этого уж я не знаю... Я не дойду, нет. Я ни за что не дойду. Я где-нибудь упаду дорогой... и кончусь.

Лицо Урфалова действительно было изжелта-синее и опавшее, как у мертвецов на третий день после смерти. Даже нос его показался Ливенцеву не так толст, как был он еще недавно в Коссуве.

Урфалов же, шмыгая этим своим новым носом, добавил порицающе:

— А Дубяга-то приказал ведь жечь свои землянки.

— Серьезно? — очень оживился Ливенцев.— Зачем?

— Дыма отсюда, от нас, не видно,— его ветром относит... Зачем? Да вот, изволите видеть, приказал воткнуть против ветра в снег бревна из накатов; получилась у него вроде стенка такая, а за стенкой из жердей развел он костер. Люди по очереди греться подходят, а в землянках даже и не сидят.

— Пальцев себе не отстреливают?

— Не было слышно насчет этого.

— Вот видите, какой выход еще оказался из нашего гнусного положения: сжечь все к черту, подождать, пока прогорит, а потом, конечно...

— Вот именно. А потом что? Опять строить снова-здорово?

— Лишнее,— махнул рукой Ливенцев.

— Как же так лишнее? Нам же еще здесь месяца два до марта, до грязи сидеть, а потом, изволите видеть, грязный сезон пересидеть надо, потому что насчет грязи мы уж теперь ученые,— вот и все три месяца выйдет сидеть.

— Сидеть-сидеть! А зачем? Сидеть, замерзать,— и ради удовольствия каких же это мерзавцев, хотел бы я знать?

И, вдруг схватив Урфалова за кисти его башлыка, Ливенцев неожиданно добавил:

— Прошу помнить, что этому мерзкому полевому суду, в котором вы будете участвовать, я придаю большое значение!

Должно быть, совсем непривычно для Урфалова, лицо прапорщика показалось ему очень больным, потому что он отозвался участливо:

— Аспиринчику бы вам выпить порошок, да пропотеть бы потом как следует. Только что у нас пропотеть негде, кроме как у Дубяги возле костра. Да и то это пока австрийцы терпят, а то могут так двинуть в этот костер шрапнелью, что...

Тут ураган, домчавшийся с русских полей, обдал их обоих густою снежною пылью и унес последние слова Урфалова, который спешил уйти в свою землянку.

Ураган начал бушевать вовсю снова, и стало очень сумеречно от надвинувшейся сплошной тучи. Прапорщик Шаповалов передал по телефону командирам

батальонов, что командир полка приказал отапливать землянки чем и как возможно; если где имеются нежилые землянки, их крыши можно сейчас же взять на дрова; воду выкачивать,— вообще стремиться к тому, чтобы занять нижних чинов заботами о них же самих; но ни в коем случае не пускать их на перевязочный пункт.

Этот приказ передан был Струковым Ливенцеву тоже по телефону, но с добавлением, предназначенным только для него одного:

— Приготовьте взвод с прапорщиком Приваловым для приведения в исполнение приговора полевого суда.

— Как? Суд уже состоялся? — почти испугался Ливенцев.

— Может быть, еще и не состоялся, но состоится, конечно. Я вас только предупреждаю.

— Но если суд их оправдает? — все-таки думал ухватиться за какую-то возможность Ливенцев.

— Полевой суд? Оправдает? Что вы, шутите полевым судом?

— Взвода здоровых настолько, чтобы они могли дойти до штаба полка, я не наберу.

— Полагается взвод при офицере. Но если не наберете... Неужели не наберете взвода?

— Нет. У большинства людей полная апатия, сонливость. Они еле способны передвигать ноги. Даже на то, чтобы отстреливать себе пальцы, у них уж нет энергии.

— Вот вы и расшевелите их, пожалуйста, выполнением приказа командира полка.

— Относительно расстрела своих товарищей?

— Сначала относительно выкачивания воды и отопления.

— Первое понемногу делается все время, а на второе они едва ли способны,— очень ослабели, даже и разбирать крыши не в состоянии... Хотя я, разумеется, попробую их расшевелить.

Когда Ливенцев передал Привалову, что он назначен командовать: «Взвод, пли!» — при расстреле бабьюков и Курбакина, тот, сидевший в это время в землянке, был ошеломлен до того, что с минуту только все шире раздвигал воспаленные веки, все выше подымал безволосые брови и напряженно ловил воздух раскрытым ртом, пока не пробормотал, наконец:

— Как так я назначен? Почему же я?

— Выпала вам почетная такая миссия, а вы что же,— недовольны, что ли? — спросил Ливенцев.

— Ну как же так, Николай Иванович!.. Вы, может быть, пошутили?

— К сожалению, нет.

— Неужели их расстреляют, Николай Иванович?

— Я и сам сомневался, однако уверяют со всех сторон.

— А если я откажусь командовать?

— Ого! Это будет неожиданно для вас храбро.

— Могу же ведь я отказаться?

— Под каким предлогом?

— Просто под тем, что я совершенно не в состоянии этого...

— Ведь наше с вами состояние никто не учитывает. Вы еще скажете, что вы и вообще командовать «взвод, пли!» не в состоянии,— но тогда зачем же вы прапорщик?

— Вообще «взвод, пли!» — по австрийским окопам,— это я могу, Николай Иванович, а по своим солдатам, как же это? У меня никакой команды не выйдет, я буду стоять и молчать.

— Вы даже можете и не дойти до штаба полка,— это ведь все-таки две версты с лишним, вы можете заболеть внезапно и потерять голос,— вообще мало ли что с вами может случиться, но это тогда будет предлогом нового судебного разбирательства. На военной службе очень любят судить и приговаривать, для чего существует известный вам дисциплинарный устав.

— Да ведь меня как будто и без того приговорили, Николай Иванович! За что же? Ведь я несу службу, Николай Иванович!

Даже слезы зазвенели в его голосе, и Ливенцеву стало его жаль. Он слегка похлопал его по плечу, но ничего не ответил и вышел определять, какую землянку можно бы было привести в негодность.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

А в землянке полкового караула сидели в это время арестованные, и Курбакин говорил возмущенно и горласто:

— Хотя бы ж мы даже на самòй абвахте сидели, перевязку нам обязаны сделать,— как же так? Ведь ру-

ку ж, ее дергает или нет? Обращаются с нашим братом, как с волками лесовыми!

— Яку-небудь примочку, абы шо, должны бы дать,— поддерживал его Бороздна.— Може, до нас сюда хвершала пришлют?.. У мэне рука аж зайшлася, терпеть не можно.

— Я кровельщик природный, и отец и дед кровельщики были,— горланил Курбакин.— И так что мы с отцом кумпола даже на боговых домах крыли, и случилось мне раз, выпивши я был, упал с кумпола на крышу,— два себе ребра сломал, вот это место. А они, конечно, без внимания к нашему брату: «Срослось, говорят, чего тебе еще надо?» А того мне надо, что я все одно считаюсь калечный, и я своих правов добивался у них глоткой своей, однако они меня забрали да вон угнали куда, в страсти какие... Тут если из железа листового людей понаделать, понаставить, и то куда они к черту!.. А что касается немцев, то я у немцев по колониям тоже работал — каждый день на завтрак колбасу кушал, а на обед как поставят картошки жареной противень, так с этой картошки сало аж капает,— вон какой там харч был. А нам тут, может, и обедать даже не дадут,— скажут: «С завтрашнего дня на довольство запишем, а до завтрева святым духом живите!»

— Детей много маешь? — уныло спросил Черногуз.

— Детей? Есть, конечно, которые спичками по улице торгуют.

— Много?

— Это дело бабское писклят считать...

— А у мэне аж шестеро... хлопцев четверо... Дочку старшу запрошлым летом замуж віддал,— вже свою дітыну люлькае... А мужа угнали тоже,— на ерманьский фронт пійшов. Може, досі вбилы. Так вот и погибать должны люди здря!

— Безросчетно,— сказал Микита Воловик и покивал задумчиво крупной, широко раздавшей серую шапку головой.

А Петро Воловик, вспоминая, как они заблудились, уйдя с полевого караула, и отвечая только своим упорным мыслям, говорил Миките вполголоса:

— Ось як было бы нам итить тоді, досі были бы у якой-небудь деревні... А це не діло,— кивнул он на свою левую руку и махнул правой.

В то, что кричал так громко командир полка, что покажет будто бы им, куда и как должны стрелять винтовки, они не вникали. Они знали, что начальство на то и начальство, чтобы что-то там такое кричать, чем-то угрожать, очень часто вспоминать мать и трясти перед их носами своими кулаками, которые могут быть в перчатках, а могут быть и без перчаток,— смотря по времени года и по погоде.

Немало успокаивало их пятерых и то, что очень спокойно говорил с ними их ротный; бабьюки же, кроме того, помнили, что никакого наказания не положил он им, хотя и видел, что они самовольно ушли с караула. Он даже не обругал их за это; назвал «дурачьем», но разве это называется обругать?

В полдень караульные обедали. Обед их был хотя и не горячий, как они говорили, все-таки теплый, так как от этой землянки кухни находились недалеко. Над котелками с борщом подымался пар, привычно щекотавший ноздри. Хлеб они ели с ломтиками сала. Это было то самое сало, которое раздавали и им в окопах и которого так многим совсем не хотелось есть, потому что люди то и дело засыпали сном замерзающих.

В караульной землянке так же, как и у них в окопах десятой роты, стояла вода,— лечь было тоже нельзя, и сидеть можно было только по-восточному, на корточках. Но воды здесь все-таки было гораздо меньше; здесь сделали для нее ямку в стороне, куда она и стекала, а из этой ямки вычерпывали ее наружу.

Караульные были неразговорчивы и равнодушны; их все время клонило в сон. Только караульный начальник — унтер и разводящий — ефрейтор держались бодрее, как это и требуется от тех, кто начальствует. И однажды,— это случилось уж после обеда,— очень оживились они оба, унтер и разводящий: это они увидели, как со стороны окопов подошла к перевязочному пункту толпа человек около двухсот на глаз.

— Ну, смотри же, пожалуйста,— куда же это они приперли? — удивился унтер.

— Клади всех в околоток,— чуть ухмыльнулся ефрейтор.

Пытались разглядеть что-нибудь там, теперь уже в запретной для них вольной пурге, что-нибудь радующее сердце пятеро арестованных, но их не выпустили из землянки. До них доносились только отдельные выкрики кое-кого из караульных:

— Пошли, братцы,— гляди, пошли!
— Назад же их погнали, или что?
— Да нет же, не назад пошли, а дальше!
— Как дальше? Куда же дальше они могут?
— Ну, вообще домой в деревню поперли!
— Вот так дела!
— А разве же могут дойтить по такой чертовой погоде?
— Нипочем не дойдут!
— Не дойдут, нет. То уж нам звестно! — сказал Микита Воловик.
— Заблудят,— поддержал его Петро.
— Замэрзнуть,— решил Бороздна, безнадежно махнув рукавицей.
Однако то самое, что попытались было сделать они день назад, делали вот другие, и уж не четверо, а почти целая рота. Это их очень взбодрило. Курбакин же толкнул Черногуза кулаком в ребро и сказал совсем радостно:
— Видал, как посыпались? И-идут себе, брат, никаких, потому что их цельная рота... А нас он, конечно, под замочек, как нас всего пять человек. Э-эх, не знали они, что мы здесь сидим, они бы и нас с собой взяли! С цельной ротой, брат, и командир полка ничего не сделает. Поди-ка, поори на них,— а они тебе сдачи!
— Замэрзнуть,— сказал Черногуз тем же тоном, что и Бороздна, но Курбакин ожесточился.
— Раз люди пошли, то, значит, должны дойтить куда надо! У них тогда здесь горит, понял? — ткнул он себя в грудь против сердца.— И никакой им ветер-мороз тогда не страшен. Понял?
Дикие глаза его горели, как могли гореть только сердца уходивших в буран.
И когда донесся звонкий голос Ковалевского со стороны землянки штаба, он снова ткнул Черногуза:
— Кричит, слышишь? Покричи теперь, покричи!.. Что он с ними сделать могёт? Ничего не сделает.
— А как стрільбу відкрое?
— Стрельбу-у? А им что, стрелять нечем? Он в них, а они в него.
— А може, они без винтовок?
— Ну да, дураков нашел! Без винтовок... Винтовку с собой несть, тяжельства особого нету, а она же считается твоя верная защита от врагов внешних-внутренних...

Очень крутила вьюга, трудно из-за нее было что-нибудь рассмотреть,— караульные вошли снова в землянку. Потом разводящий повел троих сменять часовых на постах. А когда вернулся часовой, стоявший в штабе у знамени, арестованные в первый раз услыхали о себе мало понятное.

— А-а,— это те самые, каким полевой суд будет?

— Это ты в штабе слыхал? — спросил унтер.

— Ну да, там же и командир полка говорил и прочие офицеры заходили, тоже разговор был. А подпоручик Каролиев...

Унтер сделал знак словоохотливому парню, и тот замолчал. Потом оба они вышли за двери землянки и там о чем-то говорили недолго, но бабьюки заметили, что, входя снова с надворья в темную землянку, унтер посмотрел на них какими-то оторопелыми глазами.

— Слыхал? Суд, говорит, над нами будет,— сказал Курбакин Бороздне.

— Полевой будто бы,— вполголоса отозвался Борозднa.

— Конечно, как мы не в казармах, также и не в деревне какой, а стоим себе в чистом поле, как волки в своих норах зарымшись...

— Судить нас хочуть, а? — сказал Петро Миките.

— Чул я — судить... А дэ ж судить хочуть? Куды отпра́влять?

И еще не успели прийти в себя арестованные от этой неожиданности, как появилась другая. Весь засыпанный снегом, охлопывающий звонко шинель и шапку обеими руками, вошел в землянку кто-то, перед кем навытяжку стали унтер, и разводящий, и часовые. Арестованные думали, что это командир полка, и по команде унтера: «Встать, смирно!» — встали. Но разглядели, что это ротный двенадцатой роты — Кароли.

Еще в селе Коссуве успели бабьюки цепко за все новое хватающимися зоркими степными глазами приметить этого седого подпоручика, потому что часто видели его вместе со своим ротным, точно бы были они друзьями; ротного же своего считали понимающим человеком; таким же понимающим должен был быть и этот, из двенадцатой роты,— так им казалось.

И даже когда Кароли, отряхнув снег и приглядевшись к ним при очень невнятном свете, шедшем в землянку из двух, нарочно оставленных щелей над дверью,

сказал им: «Ну, ребята, я к вам дознание произвести!» — они все-таки не совсем поняли, что это значит, и смотрели на него внимательнейшими глазами, но безмолвно.

Однако, когда Кароли снял перчатки и вынул из бокового кармана шинели записную книжку с желтым карандашом, бабьюки переглянулись встревоженно: по долгому опыту жизни они знали, что когда готовятся что-то записывать с их слов, то это ни к чему хорошему не приводит.

Но не для всякого легко начать дознание, когда заранее знаешь, что оно в сущности совершенно не нужно, что ни члены суда, ни председатель не прочитают его до конца, а командир полка требует только, чтобы формальность эта была произведена как можно скорее, чтобы успеть до сумерек расстрелять этих пятерых и оповестить об этом все роты.

И Кароли начал с того, что прочертил страничку записной книжки четырьмя чертами слева направо. Получилось всего пять клеток, в которые нужно было вписать как можно короче, что именно будет показывать каждый.

— Прежде всего, братцы, мне нужно будет записать ваши фамилии,— с усилием сказал Кароли.— Твоя фамилия? — обратился он к Миките.

— Воловик, ваше благородие,— напряженно проговорил Микита.

— Так и запишем — Воловик... Твоя? — перевел Кароли глаза на Петра.

— Воловик, ваше благородие,— так же напряженно и громко ответил Петро.

— Это мне нравится! Вы что же это — все пятеро Воловики?

Когда дошел Кароли до Курбакина, тот спросил тем же приемом, каким, бывало, спрашивал своего ротного:

— Ваше благородие, дозвольте узнать,— после разговору вашего на перевязку нас или как?

— По всей вероятности,— пробормотал Кароли.— Вот, значит, с тебя, Курбакин, и начнем наш разговор. Скажи, для чего собственно отстрелил ты себе палец?

— Я-я? Боже сбави, ваше благородие! Меня русская наша пуля нипочем даже и не возьмет, если хотите

знать, как я от нее заговóренный. Это ж даже и ротному командиру нашему известно, можете у них спросить, у прапорщика, их благородия Ливенцева... А это,— он поднял свою левую руку и сам на нее поглядел вдумчиво,— понятно — чистая австрийская работа.

— Курбакин твоя фамилия? Сейчас справимся...

Кароли придвинулся к двери, перекинул листка два в своей книжке и повернулся к нему:

— Вот есть о тебе показание ефрейтора десятой роты Шуляка. Он видел, как ты возился со своей винтовкой, а потом грохнул выстрел, и ты запрыгал на одной ноге, а рукою тряс вот таким манером, чтобы кровь стекла, что ли...

— Я-я? Это, ваше благородие, не относится. Это кто-нибудь другой прыгал, а совсем не я. Прыгал, говорит, а?

И Курбакин повернул голову к бабьюкам, точно ожидая от них горячего негодования по поводу выдумки ефрейтора Шуляка. Но бабьюки стояли ошеломленные. Им уже ясно становилось, что в роте не один Шуляк, а может быть, десятеро Шуляков таких видело, как они возились со своими винтовками и как после выстрелов трясли руками.

И когда обратился Кароли к Черногузу, тот с большим выстраданным чувством не то чтобы ответил на вопрос о пальце, а как бы всей своей жизни сразу подвел итог:

— Шестеро детей имею, ваше благородие, кроме, конечно, ще и внучка маленька на світ зародилась, в зыбке своей качается... А я же сам считаюсь так — білобилетник, ваше благородие!

— Это было раньше,— белобилетник,— а сейчас ты считаешься нижний чин рядового звания, и больше ничего совершенно,— невнятно отозвался Кароли, записывая против фамилии Черногуза: «шестеро детей и внучка; белобилетник».

— Запишите, ваше благородие,— и у мэне то ж само — шестеро,— подвинувшись к нему, негромко, но с большой надеждой в голосе сказал Борозднa.

— Борозднa твоя фамилия?.. Что ж, записать можно.

— А у мэне аж цілых семьеро! — с некоторой даже важностью, если не гордостью, выступил вперед Воловик Микита.

— Хорошо, Никита Воловик, запишем, что семеро детей имеешь,— пробормотал Кароли.

Пятеро детей оказалось только у Воловика Петра, но когда он сказал об этом, то ему показалось, что нехорошо как-то это вышло: только пятеро,— и он добавил:

— Ще двое хлопцев были, ваше благородие, ну, так тіи вже вмерлы, как бы сказать, од нашего з жинкой недогляду.

— Словом, так, братцы, подытожим ваши показания... Сводятся они, значит, к тому, что вы — бывшие белобилетники, многосемейные и считаете, что вас... неправильно, что ли, взяли на службу?

— Так точно, ваше благородие,— довольно согласно ответили бабьюки, а Курбакин вдруг протиснулся вперед, распихивая их, и, уперев дикие глаза в седого подпоручика, выкрикнул:

— Два ребра имею с левой стороны совсем поломанных! С колокольни когда-сь упал, ваше благородие!

— Хорошо, запишем тебе два ребра,— мирно отозвался Кароли.

— А после того дозвольте заявить претензию, ваше благородие: не дали нам обедать нонче! — снова выкрикнул Курбакин.

— Обедать не дали?

— Так точно, ничего не дали!

— Ну, обедать, обедать,— это пустяки, обедать,— смешался было Кароли.— Обедать вообще на позиции приходится не каждый день. Это мы оставим, а вернемся к дознанию... Так вот, значит, все это, что вы мне тут сказали, и послужило причиной того, что вы вздумали отстрелить себе пальцы?

Кароли внимательно смотрел в спутанные дремучие бороды бабьюков, не решаясь поднять глаза выше, бабьюки внимательнейше глядели на ротного двенадцатой роты, которого считали дружком своего ротного, прапорщика Ливенцева, и молчали.

— Вы, конечно, могли бы еще добавить, что вам тяжело было нести службу в такую погоду...— с усилием проговорил Кароли.

— Это ж чистая каторга для людей, а не служба! — подхватил Курбакин.

— Что делать,— погоду хорошую не закажешь у сапожника,— все мучаемся, однако все терпим... Значит, будем считать дознание законченным.— И Кароли боком неловко протиснулся в дверь землянки.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда Ковалевский увидел в этот день, в обед, новую толпу своих солдат, уже гораздо большую, чем прежняя, и когда эта толпа не повернула назад, в окопы, а пошла вперед, в снежную пустыню и буран, дувший ей навстречу, он был не удивлен даже — он был ошеломлен. Если накануне вся толпа беглецов с фронта состояла из солдат одной только шестой роты, то в этой новой толпе были уже солдаты нескольких рот.

Нечего и говорить, что маленькая землянка — перевязочный пункт — не в состоянии уж была больше вместить кого-нибудь еще,— она была до отказа набита больными и тяжело обмороженными. Между прочим, лежал в ней и совершенно разболевшийся прапорщик Аксютин, которого невозможно было никак отправить в тыл из-за бурана. Люди же, нашедшие в себе силы дойти по глубокому снегу сюда за две версты и потом ринувшиеся куда-то,— неизвестно куда,— дальше в снега и вьюгу, хотя и называли себя больными, конечно, были не слишком больны,— это понимал Ковалевский.

— Это бунт! Настоящий, форменный бунт!.. Погибла дисциплина в полку! — выкрикивал он, обращаясь к единственному офицеру, который был в то время около него, прапорщику Шаповалову.— Полк развалился... Еще день-два, и полка не будет, и все пойдет к чертовой матери!

— Можно будет передать в хату на Мазурах, чтобы...— начал было Шаповалов.

— Чтобы что? — перебил Ковалевский.— Чтобы их чайком Красный Крест побаловал? Что еще можно передать туда? А сколько их доберется до хаты на Мазурах? Половину их занесет снегом, и кто же будет отвечать тогда за них, как не я? Мне скажут: «Как вы допустили их уйти?» Я могу ответить, конечно, что остановить пытался, но не мог. А мне скажут, что это не ответ... Воображения, воображения ни малейшего нет у нашего начальства,— вот чем оно страдало и страдает. Сколько ни доноси, все равно: оно не в состоянии даже отдаленно представить, что у нас творится. А когда ротный командир дает вполне правильные показания о том, что в окопах и землянках делается, то Баснину кажется, что он из красных красный... Кстати, вот Баснину

и надо телеграфировать об этой банде,— пусть примет меры к ее задержанию и спасению. Хороший случай ему войти хоть на два часа в мою шкуру! А здесь непременно надо показать, что в полку имеется твердая власть, да... Твердая власть, да... Твердая власть!.. Ускорить надо процесс суда над этими пятерыми негодяями и расстрелять их сегодня же!.. И чтобы ротные командиры сегодня же довели до сведения всех нижних чинов своих рот, что пятеро расстреляны... Сегодня же, непременно сегодня же! Завтра эта мера дисциплины уже не удержит... В штаб дивизии я донесу о расстреле после... А об этой банде, ушедшей в тыл, надо, конечно, теперь же осведомить штаб дивизии: лучше, если это будет исходить от нас, а не от Баснина. Можно было бы сообщить и в штаб полка, в Коссув,— заведующему хозяйством, чтобы выслал подводы навстречу этим... из них половину придется везти, конечно, идти они будут не в состоянии.

— Слушаю, господин полковник. Значит, Баснину, в штаб дивизии, полковнику Добычину... А здесь у нас, в связи с полевым судом...

— Здесь? Надо вызвать в штаб полка Пигарева, Урфалова, Дубягу... И непременно в первую голову Кароли, чтобы закончил, наконец, дознание. А из десятой роты чтобы прибыл взвод с офицером, как я уже говорил.

— Это передано, господин полковник...

— И чтобы вместе со взводом своей роты прибыл, если можно, прапорщик Ливенцев.

— Слушаю.

И телефон в штабе полка заработал.

Услышав от Струкова, что его тоже требуют в штаб полка, Ливенцев сказал:

— И отлично, что требуют. Мне и самому хотелось бы побывать там. Это удовольствие теперь не так часто выпадает на нашу долю.

Целого взвода более-менее здоровых и не занятых по службе людей, конечно, не набралось в роте Ливенцева. Привалов заботливо осматривал каждого и вдумчиво выбирал, и когда число сколько-нибудь годных к маршу в штаб и обратно дошло до двадцати четырех, Ливенцев буркнул ему, что этого за глаза довольно, чтобы застрелить пятерых безоружных.

Сам же он все-таки думал, что расстрел этот, задуманный Ковалевским, в конце концов не состоится. Он

считал своего командира полка по натуре мягким, хотя и очень вспыльчивым человеком, и достаточно неглупым, чтобы не разглядеть явной глупости хотя бы в последний момент.

Во всяком случае, он непременно хотел поговорить с ним об этом, и когда его вызвали в штаб, то это и было все, к чему он стремился сам.

Лихорадка, между прочим, его не оставляла, но так как он болел только в детстве, то не придавал ей значения и не пытался, да и не мог бы хотя приблизительно определить, насколько поднялась у него температура.

В оледенелых шинелях, застревая в снегу и падая по двое, по трое и с огромным трудом подымаясь, солдаты цепочкой, в двухшеренговом строю медленно двигались против ветра; Ливенцев и Привалов сзади.

— Неужто придется мне командовать, Николай Иванович? — мученически спрашивал Привалов и, заслоняя руками лицо от ветра, старался зайти вперед, чтобы в глазах своего ротного прочитать какую-нибудь надежду.

— Власти, вообще говоря, очень любят казнить,— отвечал Ливенцев.— Но иногда им хочется одарить подчиненных своим великодушным вниманием, и тогда они милуют. Помните, как это проделали когда-то с одним из наших великих писателей? Мне кажется, что и Ковалевский просто хочет произвести жуткое впечатление на наших серых героев, а в конечном итоге смертную казнь заменит каторгой, которую самострелам нашим предложат отбыть после войны... если кто-нибудь из них останется в живых до конца войны... и если после войны останется в живых каторга.

— Значит, вы думаете, что их помилуют? — повеселел Привалов.— Это было бы здóрово. А то я не знаю, как бы я командовал расстрелом! Это было бы мне пятно на совести на всю мою жизнь.

— Гм... Неизвестно ведь, что это теперь значит «вся жизнь»,— слабо усмехнулся Ливенцев.

— Да, ваша правда, Николай Иванович,— неизвестно, конечно... А что это вы сказали насчет каторги после войны? Почему она может не уцелеть?

— А вы вспомните сами, что было после японской войны... А размах этой войны куда грандиознее, чем японской, и... она гораздо более неудачная.

Они добрались, наконец, до землянки штаба, над которой отчаянно трепался желтый флажок, стремясь во что бы то ни стало оторваться от древка и умчаться. На часах Ливенцева в это время было уже четыре,— как раз то время, когда он должен был, по приказу Ковалевского, привести своих людей к штабу. Он вошел в землянку, оставив Привалова с солдатами. В штабе было людно и с холоду показалось жарко, но темно. С трудом распознали глаза стоявших кучкой Урфалова, Дубягу и Кароли, и чрезвычайно изумило то, что как раз в это время громко говорил капитан Пигарев кому-то по телефону:

— Пули полетят в сторону вашей роты. Примите меры, чтобы у вас от них не пострадал никто. Что? Когда этого ждать? Это будет сейчас: взвод от десятой роты уже подходит.

Ливенцев понял, что тут уже все решено насчет участи его пятерых, и это так сразу оглушило его, что он остался стоять у двери,— прирос к земляному полу. Его заметил первым Пигарев и сказал:

— Ну вот. Вот и отлично, что вы явились. Сейчас, значит, мы кончим.

Просто, по-деловому было сказано это, и Ливенцев поспешно и поглубже спрятал свою правую руку в карман шинели, чтобы в забывчивости не пожать руки Пигарева.

Он не сразу заметил, что Ковалевский был тоже в землянке, только лежал на своей походной койке, отвернувшись к стенке: он не должен был присутствовать на заседании полевого суда, и в то же время ему некуда было деться; он лежал одетый, положив на лицо шапку.

Но вот Ковалевский шевельнулся при словах Пигарева, сбросил шапку резким движением головы, присмотрелся, прищурясь, к Ливенцеву, вскочил и подошел к нему.

— Это вы, прапорщик? Отлично. Мне надо с вами поговорить. Только здесь неудобно,— пойдемте наружу.

И он продвинул Ливенцева вперед себя, говоря при этом:

— Черт знает, еще недоставало, чтобы надуло флюс! Зуб начал болеть... коренной, справа.

— Вы бы подвязались,— сказал Ливенцев, чтобы сказать что-нибудь.

— Этот бабий способ разве помогает? Нет, единственное средство вырвать, но у врача нашего, конечно, нет шипцов, и зубов, он говорит, никогда не пробовал рвать. Намазал йодом десну,— только во рту навонял... Ну, черт с ним, с зубом. Я хотел вам вот о чем... Баснин почему-то утверждает, что вы красный. Вы давали ему повод прийти к такому выводу?

Рвал ветер, яростно трепался желтый флажок, невдалеке стояла команда, и Привалов, заметивший командира полка, должно быть, прокричал «смирно!», потому что стоял на правом фланге команды и руку держал под козырек.

Этого «смирно» не было слышно,— унес ветер, но Ковалевский заметил, что люди стоят и ждут, когда он поздоровается с ними,— и замахал в их сторону рукой, чтобы стояли вольно.

— Прапорщик Привалов с ними? — спросил он Ливенцева.

— Так точно, Привалов,— ответил Ливенцев.— Что же касается генерала Баснина, то я только давал свои показания, господин полковник, не больше.

— Может быть, в очень резком тоне?

— Не столько в резком тоне, сколько подробно.

— Я так и догадывался, признаться. Но иногда начальство не любит подробностей. Однако я должен сказать, что у вас в роте делается черт знает что. Ни в одной роте нет самострелов, только в вашей! А вы знаете, что это значит, когда солдаты начинают себе отстреливать пальцы, чтобы их убрали с фронта? Это замечено было в первый раз перед сражением при Бауцене, в армии Наполеона, в тысяча восемьсот тринадцатом году, после московского похода, и Наполеон сказал тогда: «Это начало конца империи».

— Ну, если уж привлекать историю, господин полковник, то Фридрих Великий писал Вольтеру: «Если бы мои солдаты были умнее, они бы все разбежались по домам; мое счастье, что они глупы».

— Не это ли вы говорили Баснину? — очень живо спросил Ковалевский.

— Нет, я только давал показания... Я подробно отвечал на его вопрос, почему у меня в роте замерзло двое.

— И что же именно вы говорили такое, что даже и без этой цитаты из письма Фридриха у него составилось о вас мнение, как о красном?

Но Ливенцев не успел ответить, потому что из штаба вышли как раз в это время Пигарев и члены суда и направились к приведенной Приваловым команде.

— Ну вот теперь пусть выведут арестованных,— следя за ними, полузанавешенными поземкой, с живейшим интересом, сказал Ковалевский.

— Неужели? — пробормотал Ливенцев.— А вот же во французской армии полевой суд уничтожен...

Он видел,— очень смутно, правда, из-за метели,— как беспорядочно двигался перед шеренгами солдат Привалов, как Пигарев сам отделил решительным жестом четырех левофланговых и указал им на землянку полкового караула, при этом прикрикнув на них, должно быть, потому что они вдруг пошли быстро, насколько можно было быстро идти по глубокому снегу.

— Неужели все-таки их расстреляют? — в упор спросил он Ковалевского.

— Непременно. По приговору полевого суда,— видимо удивившись такому вопросу, резко отозвался Ковалевский.

— Да, полевого суда, конечно, но ведь этот полевой суд по вашему же приказу, господин полковник. Мне кажется, что вы,— раз вы лично назначали полевой суд,— можете отменить и приговор его, слишком жестокий!

Сказав эту длинную фразу поневоле громко из-за налетевшего сильного ветра, Ливенцев почувствовал, что весь дрожит, но уже не от лихорадочного озноба. Но так же громко ответил ему Ковалевский:

— Напрасно вы это думали, прапорщик!

От густых туч сумерки надвигались быстрее, чем можно было бы ждать их в ясный день, но и при этих надвигавшихся уже сумерках Ливенцев заметил, как отчужденно блеснули зеленоватые глаза Ковалевского. Именно отчужденно, отгороженно, отодвинуто... Этого он никогда раньше не замечал у своего командира полка. Глаза блеснули не начальнически, а враждебно.

Однако это только вздернуло его еще больше, и, не отводя своих осуждающих глаз от этих враждебных, Ливенцев проговорил отчетливо:

— Убивать полумертвых и обезумевших от урагана людей только за то, что они и полумертвы и обезумели!

— Во-он вы до чего договариваетесь, прапорщик! Ого!.. Генерал Баснин, кажется, неожиданно для меня прав...

Ковалевский поглядел на него еще враждебнее, а главное, сосредоточеннее. Но в это время вели уже приговоренных к расстрелу, и он на них перевел взгляд, как к ним же, к этим четырем бабьюкам и Курбакину, приковались и глаза Ливенцева. Их пятерых то заметало поземкой, то открывало. Было ясно, что они куда-то идут, окруженные конвоем, но непонятным казалось, зачем же они идут, а не остановились, чтобы их тащили насильно... Добровольно идут под пули! Может быть, даже не верят в то, что их расстреляют?

— Господин полковник! Я все-таки не верю, что вы... допустите их расстрел! — громко, требовательно, возмущенно крикнул Ливенцев; но Ковалевский отозвался внешне спокойно:

— Не верите? Сейчас поверите.

Сквозь поземку неясно было видно, где поставили приговоренных, тем более что перед ними выстроились двадцать четыре человека в своих обледенелых шинелях; кроме того, кучкой несколько в стороне стояли Пигарев, Урфалов, Дубяга. (Кароли остался в штабе,— это отметил Ливенцев.)

— Неужели Привалов будет командовать? — пробормотал, впиваясь в туманные пятна людей впереди, Ливенцев.

— А-а! — подхватил Ковалевский.—Вы успели и этого юнца заразить своей гнусной пропагандой? Хорошо, мы с вами поговорим особо.

— Вы палач! — крикнул Ливенцев, подавшись к Ковалевскому.

— Что-о? Как вы смеете? — крикнул Ковалевский, выхватывая револьвер из кобуры.

В это время грянул нестройный залп: Привалов скомандовал: «Взвод, пли!»

— Палач!.. Палач! — вне себя раза три подряд выкрикнул Ливенцев, и Ковалевский как-то неестественно взвизгнул и выстрелил ему в грудь.

Этот выстрел совпал со вторым залпом по бабьюкам и Курбакину. Ливенцев упал лицом в снег.

Как раз в это время вышел из штаба Шаповалов,— шинель внакидку и с бумажкой в руке,— пошел к Ковалевскому и с подхода радостно закричал:

— Телефонограмма из штаба дивизии!

Ковалевский сунул браунинг не в кобуру, а в карман шинели и смотрел на него исподлобья. Вид у него был растерянно-одичалый. Это заметил Шаповалов и, подойдя и протягивая бумажку, сказал уже менее оживленно:

— В штабе корпуса решено сменить завтра наш полк во что бы то ни стало и при любой погоде! Отмучились наконец...

Когда Ковалевский взял бумажку, Шаповалов заметил то, чего прежде не разглядел за широкой фигурой командира полка: чье-то тело, лежащее ничком в снегу.

Он посмотрел вопросительно на Ковалевского, углубленного в бумажку, которую все скручивал и вырывал из рук ветер,— шагнул к телу, повернул его и вскрикнул:

— Ливенцев!

— Он жив? — негромко спросил Ковалевский.

— Жив, кажется... Ну да, жив. Ливенцев, Николай Иванович! — завозился около тела Шаповалов и, убедившись, что Ливенцев жив, спросил, подымаясь:

— Каким же образом это, господин полковник?

— Нечаянный выстрел,— сумрачно ответил Ковалевский.— Распорядитесь, чтобы сейчас же отнесли на перевязку... А потом, я думаю, его можно будет сегодня же отвезти в санках в Коссув... Его и Аксютина тоже. Если завтра нас придут сменять, то эвакуацию больных можно начать сегодня... Ветер, кажется, слабеет... Я думаю, их довезут благополучно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

О том, что расстреляно по приговору полевого суда за членовредительство пять человек из десятой роты, было объявлено в тот же вечер во всех ротах, но о том, что командиром полка ранен в грудь навылет командир десятой роты, знало в этот вечер всего несколько человек, бывших в то время в штабе полка. И передавалось это от одного к другому негромко и с оглядкой, как передаются несколько неудобные секреты.

На перевязочный пункт Ливенцев был доставлен как просто раненый, что на позициях событием не являлось,

и как обычно раненому сделали ему там перевязку, не вдаваясь ни в какие расспросы. Сам же Ливенцев во время перевязки хотя и был в сознании, но держался угрюмо-сосредоточенно-молчаливо.

Узнать о его здоровье Ковалевский прислал одного из связистов с запиской на имя врача Адриянова, и тот ответил тоже письменно, что «рану можно отнести к разряду серьезных, так как пробито правое легкое, но непосредственной опасностью для жизни не угрожающих, если только не будет непредвиденных осложнений».

Ветер после захода солнца утих, и ночь обещала быть лунной.

Ковалевский передал в Коссув Ване Сыромолотову приказ выслать к хате на Мазурах широкие обывательские сани при хороших лошадях и принять в них двух офицеров — Ливенцева и Аксютина — для дальнейшей эвакуации.

Чтобы довезти обоих до хаты на Мазурах, Ковалевский давал свои санки, взятые у коссувского ксендза; однако уложить в них двоих тепло укутанных оказалось невозможным. Тогда Ковалевский приказал:

— Аксютина оставить до завтра, Ливенцева же отправить немедленно.

И Ливенцева повезли в тыл. Он понимал, конечно, что, отдав ему предпочтение перед Аксютиным, Ковалевский заботился не об успешнейшем лечении его в полковом околотке в селе Коссуве, а только о том, чтобы его, даже и раненого, не было на позициях, где он так вредно действует на солдат.

Между тем, как это ни казалось странным самому Ливенцеву, озноб, напоминавший ему в последние два дня забытые было болезни его детства, теперь почему-то его оставил, боль же в груди он чувствовал только при толчках на ухабах. Это была острая, колющая боль, и чтоб ее не увеличивать, он, по совету фельдшера, которого дал ему в провожатые Адриянов, старался дышать только носом, неглубоко и часто.

А когда пара старательных, хотя и голодных, лошадей, густо пахнущих трудовым потом, довезла его до хаты на Мазурах, он увидал около этой хаты, одинокой и памятной по первому дню наступления, темные, но крикливые толпы,— в окошках хаты виднелся свет, часто отворялись двери, и в желтой яркой пасти их дви-

гались густо сплоченные серые шапки, шинели, башлыки,— и все это в клубах пара.

— Да это что же такое? Это ведь, похоже, наши, какие ушли в обед, а? — оживленно толкнул фельдшер кучера.

Кучер огляделся кругом и сразу повеселел:

— Наши, а то чьи же!.. И даже подводы тут, вон, наши две стоят.

Действительно, и Ливенцев, присмотревшись, различил в стороне две высокие ротные подводы, с колес которых очищали налипший снег. Кроме того, несколько верховых лошадей стояли тут же и жевали что-то разбросанное по снегу,— сено или солому.

Фельдшер пошел в хату узнавать, что тут такое, и скоро вернулся.

— Кружку чаю, если желаете согреться, могут вам вынести,— сказал он.— А толпятся тут это, конечно, все наши, сердечные. Очень помороженных есть человек двадцать пять, таких, что ходить уж они не могут. Те там в углах лежат, стонут... А семнадцать человек, говорят, пропало совсем...

— Как пропало? — слабо спросил Ливенцев.

— Ну, то есть ослабели очень, упали, их снегом и замело,— и крышка! И этих, какие дошли, их ведь верховые встречали, начальник дивизии послал. Верховые же эти сноп камыша везли,— вешки по дороге ставили, а потом наших окружили со всех сторон, как все равно конвойная команда,— и как какой ослабеет, они его к себе на седло. Вот кое-как и добрались... И нам тоже дорогу протоптали.

— Так вон какой путь оказался, значит... самый правильный... Я так и предполагал, конечно,— пробормотал Ливенцев, думая об этих, ушедших большою толпой из ненавистных окопов.

В это время очень знакомый женский деловитый голос раздался вблизи:

— Где тут лежит в санках офицер раненый?.. Кому тут кружку чаю просили?

Какая-то маленькая женщина в теплой шубке с белой повязкой на рукаве и белым вязаным платком на голове вышла из хаты с дымящейся кружкой в руке, попав как раз в полосу света из окошка.

Никак нельзя было допустить, чтобы это была Наталья Сергеевна. Эта была гораздо ниже ее, голос был

совсем другой, звонкий, и очутиться здесь, где-то в одинокой хате на Мазурах, среди галицийских снегов, с повязкой Красного Креста на рукаве и с кружкой чаю в руках, никак не могла Наталья Сергеевна, но Ливенцеву так капризно захотелось, чтобы это была непременно она, что он сказал, радостно порываясь из саней к ней навстречу:

— Наталья Сергеевна! Вы?

— Нет, вы меня за какую-то другую сестру приняли,— ничуть не обидясь, довольно весело и вполне снисходительно к раненому офицеру отозвалась эта.— Нате вам чаю. Можете взять сами кружку?

— Почему же... такой голос знакомый? — бормотал Ливенцев.— А вас как же зовут?

— Меня? Я — Еля,— беспечно ответила сестра.— Еля Худолей.

— А-а... Вот вы куда попали!

И Ливенцев припомнил совсем юную, почти девочку, сестру из «второго временного госпиталя» в Севастополе.

— А вы меня где видели?.. Берите же кружку, а то остынет. Или я вам сама буду держать, а вы только пейте. Чай сладкий.

— Станьте лицом к свету,— попросил Ливенцев, сам в то же время поворачивая к жиденькому свету, тянувшемуся из окошка, свое лицо.

— Ну да, Еля... Еля Худолей... Только лицо огрубело немного... Может быть, от холода... А меня вы не помните?

Еля приблизила к его лицу свое, но повела отрицательно головой.

— Нет, не вспомню.

— Я Ливенцев... Прапорщик Ливенцев... Из Севастополя...

— О-о! Из Севастополя? Когда же была я в Севастополе? Сто лет назад. Разве я могу всех упомнить?.. Пейте чай, прапорщик, а то остынет. И мне уж надоело держать кружку.

Прихлебывая жидкий, негорячий и не то чтобы сладкий чай, Ливенцев все-таки чувствовал себя гораздо крепче только потому, что кружку с этим чаем держала маленькая Еля, напоминавшая ему красивый южный город у красивой ласковой бухты с такими — мирного вида — боевыми судами, обвешанными матросским бельем.

— Вы ведь уехали из Севастополя на санитарный поезд, Еля... Как же вы очутились здесь?..

— Здесь как? Я сама сюда просилась,— поближе к фронту...

А когда Ливенцев допил чай, она сказала деловито:

— Если вы будете стоять здесь еще и еще захотите чаю, пошлите сказать, я вам принесу...

И ушла в хату.

Между тем Сыромолотов поспешил найти и послать обывательские сани, так что Ливенцеву пришлось ждать их недолго. После бурана было невероятно тихо и не холодно. Довольно удобно уложили его на соломе. Полковые подводы, присланные для обмороженных, тоже были нагружены, и обоз с неподвижными телами двинулся в Коссув, а следом за ним пошли командой те из беглецов, которые чувствовали в себе силы дойти до питательного пункта верстах в пяти отсюда.

В Коссув Ливенцева привезли около полуночи, а на следующий день, который оказался на диво тихим и солнечным, Ковалевский прислал Сыромолотову распоряжение, чтобы прапорщика Ливенцева, пользуясь хорошей погодой, отправить на излечение в ближайший тыловой госпиталь немедленно, а представление его к ордену Владимира 4-й степени, которое пока не получило движения, непременно задержать.

Удивленный Ваня спрашивал Ливенцева, что это значит; Ливенцев отвечал:

— Спросите об этом самого Ковалевского; я думаю, он объяснит это вам гораздо лучше, чем я.

К этому он ничего не добавил. Он затруднился бы объяснить даже самому себе, почему именно ему так противно было говорить о том, кем и при каких обстоятельствах он был ранен.

Благодаря большому движению по шоссе сугробы на нем примяли в два-три часа.

Врач Устинов высказался за то, что особенного вреда в немедленной отправке раненого, только в закрытой машине, а не в санях, он не видит. Случайно такая именно машина попалась, и Ливенцев, к удовольствию Ковалевского, явно не желавшего с ним больше встречаться и терпеть его у себя в полку, хотя бы и в околотке, отправлен был в тот же день к вечеру.

А на другой день вернулся сменившийся полк.

Впрочем, нельзя сказать, что он «вернулся»: во-первых, слишком коротко и слишком энергично это слово, а во-вторых, и самый полк за этот короткий промежуток времени слишком изменился по сравнению с тем, который выходил из села на позиции с песнями.

Несколько сот человек были настолько обморожены, что совершенно не могли двигать ногами. Их везли на всех подводах полка, какие могли набрать, но подвод оказалось мало. Казачью сотню выслали из корпусного резерва в помощь полку, и на казачьих лошадях ехали обмороженные, а казаки шли рядом с ними и поддерживали их за ноги, чтобы они не свалились.

Пришлось и Ковалевскому уступить под обмороженных санки ксендза, а самому идти пешком вместе с офицерами полка.

Шли еле-еле, останавливаясь через каждые десять минут, дожидаясь, пока подтянутся отставшие, а в этих отставших оказывалась большая часть полка. В своих замерзших, оледенелых шинелях солдаты были похожи на рыцарей в тяжелых панцирях, но на рыцарей, уже сбитых с коней. Если это был полк, то это был полк калек. Люди не шли,— ползли, проползая меньше километра за час. Полк сменился в полночь, а к селу Коссув головные части полка подходили только вечером на другой день.

Вслед за прапорщиком Ливенцевым около пятисот человек пришлось отправить в тыловые лазареты, а из оставшихся тысячи полторы жестоко страдали от ревматических опухолей рук и ног.

И все-таки по приказу генерала Истопина тут же с прихода полк должен был выделить четыре роты в знакомые уже ему землянки, впереди весьма благоустроенного имения пани Богданович.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Прошло несколько больше месяца.

В одном из южных тыловых лазаретов долечивался Ливенцев.

Не одно письмо отсюда послал он Наталье Сергеевне, неизменно и однообразно заканчивая каждое из

них словами: «Очень хотелось бы повидаться с вами, поговорить»...

И однажды,— это было в сверкающий ярко-солнечный, хрустально звонкий, первовесенний день,— дежурный по лазарету молодой зауряд-врач, студент-медик Тесьмин, еще издали таинственно улыбаясь, подошел к нему, читавшему газету на своей койке, и сказал вполголоса:

— Прапорщик Ливенцев, вы кого-нибудь ждете?

— Я? Нет... кого же мне тут ждать? — удивился Ливенцев.— Здесь у меня нет никого знакомых... Мать приезжала...

— Гм... А между тем вас очень желает видеть какая-то молодая дама.

— Дама?

— Это вас не устраивает? Гм... может быть, и девица, хотя едва ли такая красивая особа...

— Неужели Наталья Сергеевна? — вскричал Ливенцев.

Тесьмин поморщился.

— Не делайте все-таки таких резких движений и не очень волнуйтесь. И то и другое вам пока еще вредно... Так можно, значит, провести ее сюда к вам?

Но Ливенцев, запахивая халат, двинулся уже из палаты сам навстречу той, о которой так много думал в последнее время.

Вместе с Тесьминым вышел он на площадку лестницы (палата его была на втором этаже), но дальше его Тесьмин решительно не пустил, а быстро сбежал сам на одних только носках по ступенькам.

И был потрясающий момент, когда Ливенцев увидел в пролет лестницы знакомую ему шляпку Натальи Сергеевны на спелом подсолнечнике ее волос. Так захватило дыхание, что он почувствовал настоятельную необходимость отшатнуться и опереться спиной о стену: он был еще слаб для такого ослепительного счастья.

И когда Наталья Сергеевна поднялась (Тесьмин остался внизу) и Ливенцев увидел ее перед собою всю, с головы до ног, высокую и прямую, с античным, строгим в линиях лицом и радостными глазами, казавшимися темными в тени длинных черных ресниц, а на свету — прозрачно-голубыми,— он не мог совладать с собою,— не удержал ни двух крупных слез, ни странной дрожи, мгновенно охватившей все тело...

Хотел что-то сказать, но губы только шевелились слабо и беззвучно, хотел протянуть ей навстречу руки, но руки не поднимались... И она, подойдя, прикрыла его слабо шевелившиеся губы своими теплыми и свежими губами и крепко охватила своими руками его руки, не сказав даже этого ненужного, глупого слова «здравствуйте!», не назвав его привычно, но тоже совершенно ненужно: «Николай Иванович».

— У заведующего библиотекой я отпросилась всего на три дня,— говорила Наталья Сергеевна, когда они сели в небольшой столовой, служившей в лазарете и комнатой для свиданий с посетителями.— Но ехала сюда я,— вы представьте,— около суток!.. А смотреть на карте, как будто и совсем близко от Херсона... на дорогах везде творится невообразимое: везде длинные остановки, везде воинские поезда стоят на путях, а пассажирские пускают, как кому вздумается. Выходит, что мне сегодня же вечером надо ехать обратно, чтобы приехать в срок...

Она говорила самые обыкновенные вещи, самыми обыкновенными словами, но Ливенцев едва понимал, что она говорила.

Ему казалось теперь неслыханным чудом уже и то, что вот она, Наталья Сергеевна, в этом чудовищно скорбном месте — военном госпитале, на простом, жестком, деревянном диване сидит с ним рядом; что там, где не выдыхается тошнотворный запах ксероформенной марли, от нее пахнет духами лориган; что он держит в своей руке ее руку, которая дороже для него всех сокровищ и всех наград...

Но вот она сказала:

— А вы так и не написали мне, как именно вас ранили,— при какой обстановке. Должно быть, ваша рота кинулась занимать еще какой-нибудь окоп и при этом вас ранили?

Она смотрела на него родными глазами. Глядя в такие глаза, невозможно было выдумать что-то насчет австрийских окопов; однако трудно было и сказать всю правду.

Он выбрал неполную правду; он ответил:

— В моей ране виноват наш командир полка,— как это иногда бывает... Не будь в тот момент около меня командира полка, я не был бы ранен.

— Да?.. Я мало поняла все-таки,— улыбнулась она.

— Война ведь вообще дело весьма мало понятное,— слабо улыбнулся и он.— Особенно такая война, какую мы сейчас ведем.

— Да, конечно, именно такая война,— сказала она с ударением.— Но ведь если виноват в вашей ране командир вашего полка, то разве вы не могли бы на него жаловаться высшему начальству?

Он погладил ее руку и повел головой:

— Нет, это было бы бесполезно, прежде всего. Если бы даже я и подал жалобу высшему начальству, то в глазах этого высшего прав всегда тот, кто выше,— в данном случае не прапорщик, конечно, а полковник. Подобное познается подобным; магнит притягивает железо, а к меди он глубоко равнодушен.

— Я начинаю кое-что понимать, кажется,— внимательно присмотрелась к нему она.— Полковник и прапорщик,— тут действительно мало общего... но может быть... (Тут она несколько понизила голос, хотя в столовой сидели только они двое.) Может быть, близко уж время, когда прапорщики привлекут к ответственности полковников, а? И даже генералов!

И когда он вопросительно поглядел на нее, она улыбнулась, добавив:

— Разве для вас секрет это, что мы уже накануне революции?

Ливенцев тоже улыбнулся, как взрослый ребенку:

— И год назад и полгода назад я слышал это... И даже сам говорю это иногда легковерным... Но человеческой глупости все что-то не видно конца. Есть чьи-то стихи:

Гром побед отгремит, красота отцветет,
Но дурак никогда и нигде не умрет,
Но бессмертна лишь глупость людская!

Она пожала ему руку, противореча при этом:

— Не бессмертна, нет! И конец глупости приближается с каждым днем. Теперь он близок, это знайте.

В это время Тесьмин вошел в столовую через двери, выходившие на лестницу, а сосед Ливенцева по койке, поручик Филатов, артиллерист, убежденный и неукротимый сквернослов, вышел из палаты, и, встретившись, они не разошлись, а остановились тут, перекидываясь ленивыми фразами о каких-то пустяках и разглядывая

красивую знакомую прапорщика Ливенцева; поэтому Наталья Сергеевна перевела разговор на Херсон и свою поездку.

Однако вслед за Филатовым стали входить из палаты в столовую еще и еще офицеры, выздоравливающие и потому совершенно изнывавшие от скуки. Наталья Сергеевна твердо выдерживала их назойливые и липкие взгляды и просидела с Ливенцевым все время, отведенное для посетителей.

Когда же она уходила, он не мог расстаться с нею, не проводив ее по лестнице вниз, хотя лестница и была для него пока еще запретным местом.

Здесь, медленно спускаясь со ступеньки на ступеньку, она спросила его, пошлют ли его снова на фронт, когда он поправится окончательно.

— Непременно,— ответил он,— если только мой командир полка не начал против меня дело по обвинению меня в сочувствии красным.

— А-а,— как-то просияла она изнутри и даже остановилась, чтобы поглядеть на него подольше. Он же продолжал:

— Но я все-таки думаю, что такого дела он не начнет,— что ему просто неудобно будет по некоторой причине начать такое дело.

— Я как будто начинаю что-то понимать,— сказала она радостно.— Но как вы думаете,— ввиду вашей раны не оставят ли вас все-таки в тылу?

— Например, в Херсоне? В запасном батальоне? Вообще там, где фабрикуются пополнения для фронта?

— Если бы в Херсоне, это было бы для меня приятнее всего... Впрочем, публичные библиотеки есть ведь и в других городах. Иногда бывает так, что можно с кем-нибудь поменяться местом службы.

Он поцеловал ее руку, и была большая убежденность в том, что он сказал ей на это:

— Я считаю необыкновенной удачей в своей жизни, что вздумал тогда прочитать Марка-Аврелия! Величайшей удачей!.. И я так рад, что вы оказались другою, чем мне показались тогда!

— Разве такие вещи говорят вслух? — притворно изумилась она.

— Теперь это можно сказать. Теперь ведь и я другой. Тогда ведь я был всего только неисправимый математик в шинели, а теперь я уже видел своими глаза-

ми эту войну, и проклял войну, и оценил войну, как надо. И для меня теперь всякий, кто не будет стремиться положить конец этой войне,— подлец! И на фронте я буду или в тыловой части, но, знаете ли, я не хотел бы только одного: отставки. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что,— приблизил он губы к ее небольшому розовому уху, так как они подходили уже к концу лестницы,— потому что революцию способны сделать все-таки вооруженные люди, а не безоружные!

1935 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

Сергеев-Ценский С. Н.

С 32 Преображение России. Эпопея. Утренний взрыв. Зауряд-полк. Лютая зима. / Ил. А. В. Николаева.— М.: Правда, 1989.— 768 с., ил.

С. Н. Сергеев-Ценский — выдающийся мастер русской советской прозы. Его книги, покоряющие читателя сложным и совершенным мастерством, широтой и глубиной общечеловеческих проблем, открывают картины жизни и борьбы отцов, дедов и прадедов, их героизм в защите родной земли, обличают организаторов и вдохновителей войн как самых страшных преступников против человечества.

В настоящее издание вошли романы «Утренний взрыв», «Зауряд-полк» и «Лютая зима» историко-революционной эпопеи «Преображение России», воссоздающие некоторые события первой мировой войны.

$С \frac{4702010200 - 1804}{080(02) - 89} 1804—89$ 84 Р 7

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

УТРЕННИЙ ВЗРЫВ

ЗАУРЯД-ПОЛК

ЛЮТАЯ ЗИМА

Редактор
С. А. Суркова

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
Е. Н. Щукина

ИБ 1804

Сдано в набор 01.06.88. Подписано в печать 23 11 88.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 40,32. Усл. кр-отт 40.74. Уч-изд л. 43,82.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—100 000).
Заказ № 4073. Цена 3 р. 80 к

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии «Курская правда».
г. Курск, ул. Энгельса, 109.

3 р. 80 к.